

РА Булич НН
30 т I Очерки
по исто-
рии...
Б 90 (инд. 1902 г.)

58

2m

WV

2m

Handwritten text on a small rectangular piece of paper, oriented vertically. The text is written in cursive and appears to be a list or a series of notes. The paper is placed on a larger, aged, yellowish-brown background.


МАГАЗИН БУКНИКІ
 МОГИЗА
 18



№ *100*
 II *2m. 5p*

Срок возврата
книги:

157-

РА
30
Б 90

Н. Н. БУЛИЧЪ.

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И

132.

ПРОСВѢЩЕНІЯ

СЪ НАЧАЛА XIX ВѢКА.

ТОМЪ I.



162901 ✓

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1902

Печатается по постановленію Комитета Историческаго Общества при
Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ.

Предсѣдатель *Н. Карневъ.*

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

„Очерки по исторіи русской литературы и просвѣщенія съ начала XIX вѣка“ представляютъ собою курсъ лекцій покойнаго профессора Николая Никитича Булича, составленный имъ и читанный студентамъ Казанскаго Университета въ 1872—1873 гг.

Приступить къ изданію этого труда, такъ давно написаннаго, я рѣшился только по просмотрѣ рукописи глубокоуважаемыми А. Н. Пыпинымъ и В. И. Семевскимъ и по переработкѣ библиографическихъ указаній, любезно исполненной Н. К. Кульманомъ. Хотя нѣкоторый недостатокъ литературной отдѣлки, замѣтный въ иныхъ мѣстахъ лекцій, и даетъ поводъ думать, что авторъ не редактировалъ ихъ окончательно, а можетъ быть, и не предполагалъ печатать въ этомъ видѣ, — тѣмъ не менѣе я считалъ себя обязаннымъ въ этомъ изданіи, какъ посмертному, сохранить текстъ по возможности неприкосновеннымъ.

Въ заключеніе необходимо добавить, что въ 1898 г. историко-филологическій факультетъ Казанскаго Университета принялъ эти Очерки къ напечатанію въ „Ученыхъ Запискахъ“, но спустя полтора года перемѣнилъ свое намѣреніе и постановилъ трудъ этотъ не печатать... Тѣмъ болѣе глубока моя признательность Историческому Обществу при С.-Петербургскомъ Университетѣ, съ такой радушной готовностью помѣстившему лекціи профессора Булича на страницахъ своего научнаго органа.

Б. Н. Буличъ.

1901 г.

ОТЪ РЕДАКЦІИ „ИСТОРИЧЕСКАГО ОБОЗРѢНІЯ“.

Редакція „Историческаго Обозрѣнія“, издаваемого Историческимъ Обществомъ при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ, съ величайшею готовностью взяла на себя помочь сыну покойнаго автора настоящей книги издать ее, напечатавъ ее первоначально въ „Историческомъ Обозрѣніи“. Н. Н. Буличъ (1824 — 1895), въ теченіе тридцати пяти лѣтъ занимавшій кафедру исторіи русской литературы въ Казанскомъ Университетѣ (1851 — 1885), извѣстенъ главнымъ образомъ своими трудами въ области исторіи русской литературы и просвѣщенія во вторую половину XVIII и началъ XIX вѣка ¹⁾, и къ той же эпохѣ относятся его лекціи, составляющія эту книгу. Внутреннія достоинства самого труда, компетентная рекомендація двухъ видныхъ специалистовъ, названныхъ въ предисловіи сына автора, и то обстоятельство, что книга уже была раньше принята къ напечатанію въ „Запискахъ Казанскаго Университета“, — все это, конечно, было достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы Комитетъ Историческаго Общества съ совершеннѣйшею охотою принялъ печатаніе на страницахъ своего органа книги, написанной около четверти вѣка тому назадъ.

Н. Картевъ.

¹⁾ Сумароковъ и современная ему критика. 1854.

— Къ столѣтней памяти Ломоносова. 1865 (въ „Извѣстіяхъ и Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета“).

— Біографическій очеркъ Карамзина и развитіе его литературной дѣятельности. 1866.

— Казанскій Университетъ въ Александровскую эпоху. 1875 (въ „Изв. и Уч. Зап. Каз. Унив.“).

— Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго Университета. 1887 и 1891 (два тома).

ЛЕКЦІЯ I.

Значеніе литературы въ обществѣ.—Отношеніе ея къ жизни.—Зависимое положеніе нашей литературы.—Причина непрочности литературной славы нашихъ писателей.—Взгляды славянофиловъ.

Приступая къ изложенію исторіи движенія русской мысли и литературы въ нашемъ отечествѣ съ первыхъ годовъ девятнадцатаго столѣтія, я считаю необходимымъ предпослать этому изложенію нѣсколько общихъ мыслей и опредѣленій. Онѣ дадутъ намъ возможность лучше и яснѣе понять тотъ предметъ, съ которымъ мы будемъ имѣть дѣло.

Сравнительно съ вѣкомъ предшествовавшимъ понятіе о литературѣ, вмѣстѣ съ развитіемъ общества и политическимъ ростомъ нашей страны, значительно измѣнилось. Измѣненіе это есть необходимое историческое явленіе, и намъ, въ теченіе настоящаго курса, придется указывать, какимъ образомъ совершалось это измѣненіе и какія явленія жизни вызывали его. Прежде главною стороною литературныхъ явленій была сторона *художественная*. Даже по взгляду Бѣлинскаго, литературное произведеніе должно было быть *плодомъ свободнаго вдохновенія* и „дружныхъ усилій людей, созданныхъ для искусства“. Конечно онъ уже требовалъ отъ литературы, чтобъ она выражала и духъ народа, и внутреннюю жизнь его, но прежде всего онъ требовалъ, чтобы произведенія ея были изящны. Онъ говорилъ, что литература есть народное самопознаніе, цвѣтъ и плодъ народной жизни, что ее невозможно отдѣлить отъ развитія общества, которому она служитъ выраженіемъ. Опредѣленія эти и теперь имѣютъ всю свою силу и значеніе, но значеніе литературы въ обществѣ, а слѣдовательно и понятіе о ней сдѣлалось гораздо шире. Въ наше время литература гораздо прямѣе и непосредственнѣе служитъ обществу и государственной жизни, чѣмъ было то прежде; она стоитъ ближе къ жизни. Едва ли будетъ справедливо требовать отъ литературы, посвящающей себя служенію жизни и обществу, занятой по

необходимости временнымъ, высокаго художественнаго совершенства. Многое въ этомъ отношеніи утрачено современною русскою литературою; слишкомъ малое въ ней носить на себѣ печать художественнаго творчества, но близость ея къ общественной и политической жизни очевидна для всякаго, кто слѣдитъ за современностью, и въ этомъ надо видѣть успѣхъ нашей литературы.

Указывая на этотъ успѣхъ сравнительно съ предшествовавшимъ временемъ, мы далеки однако отъ мысли, что она достигла полного совершенства, что не остается болѣе ничего желать для нея, и что она дѣлаетъ свое дѣло вполне достойнымъ образомъ. Нѣтъ, многого еще приходится желать ей и всѣми силами нужно содѣйствовать ей, потому что она составляетъ глубоко національное дѣло. Но дальнѣйшее развитіе ея обусловлено вполне развитіемъ общества, въ которомъ она существуетъ. Чѣмъ больше жизни и мысли въ этомъ обществѣ, тѣмъ полнѣе и живѣе литературная дѣятельность. Она не создаетъ жизни и ея явленій, а содѣйствуетъ только правильному ходу ея; жизнь, напротивъ, создаетъ литературу и даетъ ей смыслъ и содержаніе. Стоитъ только вспомнить о замѣчательномъ пробужденіи русской мысли и литературы въ половинѣ пятидесятихъ годовъ, чтобъ понять, какъ зависитъ литература отъ жизни общества.

Приписывать поэтому литературѣ сильное и преобладающее вліяніе на жизнь общества, говорить, на примѣръ, о томъ, что она можетъ измѣнить нравы и обычаи народа, было бы вполне несправедливо. Въ XVIII вѣкѣ, во время процвѣтанія такъ называемой просвѣтительной литературы, когда свободная мысль, зародившись въ одномъ, болѣе другихъ свободномъ государствѣ, господствовала въ литературѣ европейскихъ странъ въ незначительномъ числѣ ея представителей, въ то время, какъ общества и государства европейскія не сбросили еще съ себя оковъ феодальнаго быта, литературѣ и ея вліянію приписывали слишкомъ много значенія, думали, что она въ состояніи измѣнить условія жизни и нравы общественные. Послѣ французской революціи, когда въ европейскихъ обществахъ стала господствовать реакція, представители этой реакціи обвиняли литературу за революцію, за всѣ ея преувеличенія и ошибки, даже за убійства и преслѣдованія. Во всемъ, что только не нравилось тогда реакціи, должны были быть виноваты Руссо и Вольтеръ. Нѣтъ, историческія событія не вызываются литературою; они приходятъ сами собою, вслѣдствіе неизбѣжныхъ условій жизни, и нравы народа измѣняются не словомъ, не мыслию, а историческими обстоятельствами самой народной жизни. Литература не создаетъ общественнаго мнѣнія, а можетъ только уяснить его, старается направить его въ ту или другую сторону, смотря по тому, изъ какой партіи раздается

голосъ литературы. Власти надъ жизнію литература не имѣтъ. Отсюда понятно, какъ нелѣпы вообще бывають нападенія на вредное будто бы дѣйствіе литературы, вызывающей страсти и волненія, какъ безцѣльно стѣснять ея голосъ цензурою и преслѣдованіями. Только свобода и независимость литературы даетъ ей возможность быть полезною и служить жизни и общественному развитію. Литература только тогда имѣтъ полное право назваться литературою и заслуживать общее уваженіе, когда она подаетъ свой голосъ обо всемъ, что происходитъ важнаго въ общественной жизни, когда она смотритъ на явленія жизни свободно, со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія, когда она ничѣмъ не стѣсняется въ изслѣдованіи причинъ существованія факта. Такая литература въ состояніи руководить общественнымъ мнѣніемъ; она можетъ приготовить и облегчить улучшения въ національной жизни, ея указанія и совѣты спасаютъ общество отъ ошибокъ и бѣдствій.

Всѣмъ извѣстно, что наша литература далеко не достигла еще такого положенія въ обществѣ; утверждать, что она руководитъ его мнѣніемъ, было бы слишкомъ преждевременно, и зато слава Богу, если она успѣетъ развить достаточнымъ образомъ ту или другую мысль, зародившуюся въ обществѣ. Этотъ несмѣлый, нетвердый голосъ литературы зависитъ главнымъ образомъ отъ самого общества, отъ недостатка въ немъ развитія, отъ его вялости и косности. Литература развивается только параллельно съ нимъ, вслѣдъ за нимъ. При всякомъ пробужденіи общества, при болѣе дѣятельной жизни въ немъ—и въ литературѣ тотчасъ же проявляется жизнь и движеніе; она служитъ отголоскомъ имъ и говоритъ тѣмъ громче и убѣдительнѣе, чѣмъ важнѣе дѣло, ею защищаемое. Поэтому направленіе и содержаніе литературы служитъ намъ самою вѣрною мѣркою того, къ чему стремится общество, что волнуетъ его, чего оно желаетъ и добивается. Но при этомъ необходимо условіе, чтобъ литература не стѣснялась разными посторонними обстоятельствами. Мысль сдавленная и прижатая—и робка, и нерѣшительна; невольно она искривляется въ одну сторону и дѣлается неправильною. Въ нашей исторической жизни мы не можемъ, къ сожалѣнію, указать ни на одну эпоху, въ которой мысль и слово пользовались бы широкимъ просторомъ и безусловною свободою. Такихъ счастливыхъ временъ не бывало, и мы можемъ говорить только о такихъ эпохахъ, когда положеніе мысли и слова облегчалось въ нашемъ обществѣ, вслѣдствіе различныхъ историческихъ обстоятельствъ, когда самая власть, задумывая реформы, настоятельно требуемая ходомъ событій, рѣшалась обращаться къ голосу своей страны и народа. Это благопріятное для жизни явленіе происходило въ началѣ трехъ царствованій: Ека-

терины II, Александра I и Александра II. Но вслѣдъ за этимъ непродолжительнымъ пробужденіемъ снова начиналась боязнь мысли и стѣсненіе слова. Эта боязнь мысли есть одинъ изъ главныхъ нравственныхъ недостатковъ нашего общества, — наслѣдіе отдаленной, еще византійской поры нашего развитія, и она преслѣдуетъ насъ до сихъ поръ. Слѣдствія этой боязни мысли были до крайности не выгодны для нашего духовнаго развитія. Она, по нашему мнѣнію, породила тотъ скептицизмъ, то жалкое недовѣріе къ силамъ и собственнымъ, и общественнымъ, которые такъ часто слышатся въ нашей литературѣ. Она отнимаетъ отвагу и смѣлость у голоса литературы. Рядомъ съ мелочностью, апатіей и равнодушіемъ, въ такой литературѣ развивается и невѣжественная, и безстыдная похвальба собою.

Болѣе полутора столѣтій, вслѣдствіе реформы Петра, мы, русскіе, вдвинуты въ общую духовную жизнь Европы, и сдѣлались участниками ея духовной дѣятельности и ея стремленій, а между тѣмъ много ли русскихъ именъ, въ особенности въ наукѣ, извѣстно европейскому міру? Сравнительно съ богатою областью западной науки, у насъ поражаетъ изобиліе посредственности, безсиліе и слабость. Нашей науки едва достаетъ на наши домашнія потребности, и гдѣ уже гордиться ею предъ Европою?

Національная исторія наша представляетъ другое, также въ высшей степени невыгодное обстоятельство: это слишкомъ малый, тѣсный кругъ для дѣйствія нашихъ литературныхъ идей. Напрасно обольщаемся мы громкими именами въ нашей литературѣ, говоримъ о народномъ значеніи того или другого писателя: всѣ эти громкіе слова въ концѣ концовъ оказываются пустыми и бессодержательными фразами. Посмотрите, какъ недолговѣчна слава нашихъ великихъ писателей, какъ скоро забываются имена ихъ, какъ то, что было великимъ и прекраснымъ для одного поколѣнія, теряетъ все свое значеніе для послѣдующаго. Мы не должны сожалѣть объ этомъ столько извѣстномъ всѣмъ явленіи нашей общественной жизни; скорѣе явленію этому надобно радоваться, потому что въ немъ высказывается ростъ духовныхъ силъ и развитіе сознанія, этимъ явленіемъ восполняется мало по малу тотъ разрывъ въ обществѣ русскомъ, который произвела Петровская реформа. Эта реформа отдѣлила массу народа отъ такъ называемаго образованнаго общества, въ которомъ только и могло начаться дѣйствіе литературы, какъ выраженіе слишкомъ малого и ограниченнаго круга. Народъ остался при своихъ вѣковыхъ идеалахъ, при бѣдной и грубой жизни, при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ; образованное же общество ринулось въ путь перобразованій, открытый для него исторіей, и, увлекаясь европейскими идеалами,

постаралось вскорѣ создать для себя свою литературу, которая была бы его выраженіемъ. Вся послѣдующая со времени реформы духовная дѣятельность русскаго общества направлена была и должна быть направлена въ будущемъ къ тому, чтобы первоначально незначительный по числу кругъ образованныхъ людей дѣлался все шире и шире, чтобъ болѣе и болѣе выходило личностей изъ массы народа и примыкало къ образованному кругу. вмѣстѣ съ образованіемъ народа, которое теперь представляетъ сознannую государственную потребность, будетъ расширяться значеніе литературы, становиться плодотворнѣе ея дѣйствіе, а имена великихъ ея представителей станутъ получать по праву названіе народныхъ. Понятно теперь, что первый кругъ образованныхъ людей былъ весьма незначителенъ по числу, и тотъ писатель, который слылъ за великаго или, по крайней мѣрѣ, замѣчательнаго въ немъ, долженъ былъ потерять свое значеніе, какъ скоро кругъ дѣлался шире. Вотъ причина непрочности литературной славы нашихъ писателей и того, что они такъ скоро теряютъ свое значеніе, замѣняясь другими.

Но несмотря на это естественное и необходимое развитіе дѣйствія литературы, мы должны сознаться, что кругъ, въ которомъ она дѣйствуетъ, слишкомъ малъ и незначителенъ до сихъ поръ, особенно если мы сравнимъ его съ литературами западно-европейскими. Напрасно поэтому говорить о могущественномъ вліяніи литературы на общество. Вся масса нашего народа уходитъ изъ подъ этого вліянія; народу совершенно нѣтъ дѣла до тѣхъ литературныхъ восторговъ, которыми мы пробавляемся; онъ не знаетъ прославленныхъ именъ въ нашей литературѣ. Все дѣйствіе нашей литературы происходитъ покуда въ кружкѣ, съ тѣмъ или другимъ направленіемъ, а не въ народѣ. Оттого такими узкими представляются наши литературные взгляды, такими мелкими ея стремленія: она не опирается на народъ. Объемъ понятій, та или другая широта ихъ зависитъ отъ пространства, въ которомъ раздается голосъ литературы. Русскій народъ въ этомъ отношеніи уступаетъ много европейскимъ націямъ, литературы которыхъ превосходятъ нашу и широтою своего дѣйствія и глубиною своего содержанія, развитого болѣе богатою историческою и политическою жизнію.

Такимъ образомъ просвѣщеніе массы народа, поднятіе ея до образованія общечеловѣческаго, слитіе ея съ образованными кругами—представляется глубоко-національнымъ дѣломъ и приготовить широкое поприще для будущей литературы, которая уже не станетъ вращаться въ тѣсномъ кругу избранныхъ. Литература сопутствуетъ только образованію; она развивается только вмѣстѣ съ образованностью; и нѣтъ сомнѣнія, что вмѣстѣ съ развитіемъ круга своей

дѣятельности, съ приближеніемъ къ широкой массѣ народа, она ближе станетъ къ дѣйствительной жизни и будетъ заниматься интересами не мнимыми, не кажущимися только, а дѣйствительными и существенно-важными.

Говоря объ этомъ отношеніи литературы къ массѣ нашего народа, стѣсняющемъ кругъ литературнаго дѣйствія и отнимающемъ много силы у него, мы должны упомянуть здѣсь о взглядахъ партіи, извѣстной подъ именемъ славянофильской. Разсматривая отношеніе массы народа къ образованнымъ слоямъ его, славянофилы являются противниками нашего образованія и цивилизаціи, потому только, что они заимствованы. На начала народности смотрятъ они съ какимъ-то мистическимъ уваженіемъ, считаютъ ихъ вѣчными и неподвижными, считаютъ за грѣхъ нарушеніе ихъ. Такой взглядъ, прямо противоположный высказанному нами, останавливаетъ движеніе, мѣшаетъ прогрессу. Если начала нашей народности неподвижно-священны, то всякое нарушеніе ихъ, всякое удаленіе отъ нихъ есть дѣло анти-національное. Къ счастью такой взглядъ логически не вѣренъ, и нѣтъ въ мірѣ ни одной народности, которая не уступила бы ходу впередъ исторіи и не промѣняла своихъ темныхъ преданій на свѣтъ цивилизаціи. Такимъ образомъ реформа Петра какъ въ концѣ XVII вѣка была дѣломъ спасительнымъ, такъ и теперь осталась таковымъ же. Вся будущая исторія нашего отечества должна идти по дорогѣ, имъ указанной, и внѣ ея нѣтъ спасенія. Какъ только Россія сбивалась съ этой дороги,—еще исторія останавливалась.

Реформа Петра, съ ея неисчислимыми послѣдствіями, составляетъ у насъ глубоко-національное дѣло, и ей должна по необходимости уступить наша народность, сама развиваясь и уступая цивилизаціи. Огорчаются потерю народности, сглаживаніемъ будто бы оригинальныхъ чертъ въ фیزیономіи нашего народа, но это сожалѣніе совершенно напрасно. Можно быть увѣреннымъ, что черты народности не сохраняются насильственно, что если и есть въ ней что-нибудь крѣпкое, не подвергающееся разложенію, то оно останется навсегда при народѣ и пріобрѣтетъ еще болѣе глубокое значеніе при свѣтѣ цивилизаціи. Посмотрите на англичанъ: это самый просвѣщенный и самый оригинальный народъ въ мірѣ. Можно надѣяться, что и мы, русскіе, со временемъ будемъ привѣтствовать свою народность, развитую цивилизаціей, а не темное преданіе, завѣщанное языческою стариною. Но до тѣхъ поръ надобно пройти еще длинную дорогу развитія, устраняя съ нея множество разныхъ препятствій. А препятствій этихъ въ самомъ дѣлѣ весьма много, особенно въ области мысли и слова, которая не можетъ похвалиться вполне прочнымъ существованіемъ и должна выдерживать глухую борьбу съ obscu-

рантизмомъ и невѣжествомъ и въ обществѣ и въ правящихъ сферахъ, которыя иногда святотатственно даже призывали на помощь „духъ народа“ и его византийскую простоту, чтобъ опереться на нихъ въ борьбѣ съ свободою мысли.

Передъ русскимъ развитіемъ, начиная съ XVIII вѣка, нѣтъ другой задачи, какъ сближеніе съ Европою, заимствованіе и усвоеніе отъ нея, какъ приемовъ науки, такъ и господствующихъ идей въ европейскомъ обществѣ, вызванныхъ его движеніемъ. Но это усвоеніе чужого, что мы будемъ наблюдать въ XIX вѣкѣ, усвоеніе необходимое и постоянное, не мѣшало, однако, особенно въ области художественнаго творчества, пробиваться самостоятельности, и чѣмъ больше зрѣла и воспитывалась мысль подъ европейскими вліяніями, тѣмъ попытки на самостоятельныя созданія были глубже и зрѣлѣе. Да, европейское вліяніе имѣло и будетъ имѣть значеніе воспитательное для нашего общества. Это не пустое подражаніе, на которое нападаютъ славянофилы, оно имѣетъ разумныя основанія, и за усвоеніемъ слѣдуетъ разработка и распространеніе заимствованнаго въ своей собственной средѣ, самостоятельное примѣненіе его къ русской жизни и ея содержанію.

Вотъ тѣ общія мысли и общіе взгляды на предметъ насъ занимающій, т.-е. на исторію русскаго умственнаго и литературнаго движенія, начиная съ XIX вѣка, изучить которое намъ предстоитъ. Въ ходѣ нашего изложенія мы не отступимъ отъ высказанныхъ нами началъ, они должны быть руководительными...

ЛЕКЦІЯ II.

Вступленіе на престолъ Александра I. — Отношеніе къ нему общества. — Воспитаніе Александра. Замѣтки Протасова. Лагарпъ. Его юность.

Двадцатипятилѣтнее царствованіе императора Александра, которымъ началось для Россіи новое столѣтіе, представляетъ одну изъ замѣчательныхъ эпохъ ея исторіи. Въ теченіе ея совершилось такъ много событій, измѣнившихъ нашу исторію, внутренняя жизнь страны была такъ разнообразна, подвергалась такимъ различнымъ, непохожимъ другъ на друга, вліяніямъ и колебаніямъ, что эта первая четверть вѣка есть какъ бы цѣлый міръ, въ которомъ началось и окончилось извѣстное развитіе. Въ исторіи развитія вообще трудно указывать на такую внѣшнюю раму, какъ царствованіе государя, и съ его годами соединять факты внутренней жизни страны, но въ государствахъ самодержавныхъ, какова Россія, жизнь страны тѣсно сли-

вается съ личностію правителя, и часто ходъ событій зависитъ отъ его воли. Ничѣмъ это положеніе такъ сильно не подтверждается, какъ царствованіемъ Александра I. Его характеръ, его личныя убѣжденія, его колебанія, его измѣнчивость подъ вліяніемъ событій и внутренней личной его исторіи отражаются на жизни государства, направляютъ въ немъ движеніе мысли и общественное развитіе. Говорить поэтому о внутренней исторіи страны безъ уясненія личности государя едва ли будетъ возможно.

Вступленіе на престолъ Александра I послѣ четырехлѣтняго страннаго царствованія Павла было привѣтствовано всею страной съ глубокимъ, неподдѣльнымъ восторгомъ. По выраженію современника, „онъ возвратилъ Россіянамъ отечество“ ¹⁾. Не одни высшіе классы общества, жалѣвшіе о льготахъ дней Екатерины и напуганные строгостями Павла, но весь народъ привѣтствовалъ молодого государя. „Всѣ чувствовали какой-то нравственный просторъ, записываетъ другой современникъ, взгляды сдѣлались у всѣхъ благосклоннѣе, поступъ смѣлѣе, дыханіе свободнѣе“ ²⁾. Въ запискахъ Ермолова, Комаровскаго, Вигеля, Саблукова можно познакомиться съ этимъ восторгомъ общества и народа. Незнакомые обнимались и цѣловались на улицахъ. Радость выражалась на всѣхъ лицахъ. Въ этой радости общества замѣчено было современниками очень много смѣшного легкомыслія, возможнаго только въ обществѣ, привыкшемъ къ рабству и лишенномъ тѣни свободы; пожилые и знатные люди походили на мальчишекъ, вырвавшихся изъ строгой школы ³⁾. Судить о восторгѣ общества по одамъ нашихъ стихотворцевъ того времени, конечно, нельзя, но къ чести этихъ поэтовъ нужно замѣтить, что муза ихъ все же молчала болѣе или менѣе въ царствованіе Павла и теперь вдругъ заговорила чрезвычайно громко. Ни по какому случаю не было написано столько разныхъ стихотвореній, какъ на восшествіе на престолъ и коронацію Александра ⁴⁾. Самымъ замѣчательнымъ изъ этихъ стихотвореній была „Ода“ Державина, которая по разнымъ намекамъ, высказаннымъ въ ней насчетъ царствованія Павла и по внушенію тогдашняго генераль-прокурора Беклешова, могла быть напечатана только черезъ восемь лѣтъ. Правда, почти то же писалъ Державинъ и при воцареніи Павла; (говорятъ, что самъ Александръ велѣлъ это замѣтить Державину), но тѣмъ не менѣе ода эта пользовалась большимъ уваженіемъ между современниками, и долго потомъ цѣнились

¹⁾ Р. Арх. 1863 г., 730. „Отрывокъ жизни Вас. Пассека, имъ самимъ сочин.“

²⁾ Р. Вѣстн. 1864 г. мартъ „Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля“, 162.

³⁾ Вигель. Р. Арх. 1869 г., 1947.

⁴⁾ Русск. Архивъ 1867 г., 987—988.

Державина удивлялись въ ней смѣлости поэта. Надобно замѣтить, что Александръ при жизни отца очень хорошо видѣлъ и понималъ всю нелюбовь къ нему, слышалъ глухой, сдержанный ропотъ въ обществѣ, а съ другой стороны Александръ слышалъ постоянно кругомъ себя искреннія сожалѣнія и воспоминанія „о славныхъ дняхъ Екатерины“ отъ людей, которые видѣли въ порядкахъ того времени или источникъ личныхъ выгодъ и наживы для себя, или славныя военныя воспоминанія. Этимъ можно объяснить, почему Александръ въ манифестѣ, изданномъ имъ въ день своего восшествія на престолъ, обѣщается „править Богомъ врученный ему народъ по закону и по сердцу премудрой бабѣ своей“. Это обѣщаніе было по душѣ всѣмъ. Известно, что онъ былъ любимъ Екатериною, что желая отстранить отъ престола родного сына, она хотѣла возвести на него внука, что въ этомъ смыслѣ было заготовлено ею завѣщаніе, истребленное при воцареніи Павла. Державинъ умѣлъ въ своей одѣ, гдѣ намекалъ на суровость Павла, воспользоваться и этими обстоятельствами. Въ ней выводилъ онъ Екатерину:

„Стоитъ въ порфирѣ—и вѣщала,
Сквозь дверь небесну долѣ зря:
„Давно я зло предупреждала,
Назначивъ внука вамъ въ царя,
Но вы внимать мнѣ не хотѣли,
Забывъ мою къ себѣ любовь,
Напасти безъ меня терпѣли;
Я нынѣ васъ спасаю вновь.“

Несмотря на запрещеніе печатать, ода разошлась во множествѣ списковъ: такъ близко подходила она къ настроенію общества. Александръ, еще до вступленія своего на престолъ, былъ любимъ народомъ. Крутость Павла приучила смотрѣть на наследника престола, какъ на избавителя, а первыя его распоряженія еще больше увеличили къ нему любовь народную и общій восторгъ. Тотчасъ уничтожена была Тайная Экспедиція, возвращено до 12 т. сосланныхъ Павломъ; виновные по политическимъ преступленіямъ должны были судиться теперь въ общихъ присутственных мѣстахъ, а не особеннымъ судомъ; отмѣненъ былъ указъ Павла, которымъ запрещался ввозъ въ Россію всего печатнаго, даже музыкальныхъ произведеній, и т. п. Общество вздохнуло свободно; восторгъ его былъ неописанный, хотя, конечно, не многіе возлагали на молодого царя прогрессивныя надежды для всей Россіи. „Дней Александровыхъ прекрасное начало“, по выраженію Пушкина, было дѣйствительно одною изъ свѣтлыхъ эпохъ русской политической жизни. Эти первые свѣтлые годы царствованія Александра были временемъ значительнаго возбужденія

общественной мысли и больших надеждъ. Общество проснулось отъ обычной апатіи своей и смутно ждало чего-то, неопредѣленно надѣялось на что-то... Мысль, запуганная реакціонными преслѣдованіями Екатерины въ послѣдніе годы ея царствованія, когда она такъ боялась французской революціи, и совершенно не находившая мѣста при Павлѣ, теперь стала возбуждаться; къ ней обратилась даже сама власть за совѣтами. Всѣ понимали, что настаетъ новое время, и что идти по прежнему направленію уже невозможно. Преобразованія внутри государства сознавались какъ крайняя необходимость, и первые годы правленія Александра до того времени, какъ Россія вступила въ борьбу съ Наполеономъ, по справедливости могутъ назваться эпохою преобразованій.

Обширныя завоеванія Екатерины и слава Россіи за границею въ ея царствованіе стоили государству громаднхъ пожертвованій, и необходимость лучшаго внутренняго устройства его, о которомъ заботилась Екатерина въ началѣ своего царствованія, была забыта въ ея увлеченіи внѣшнею политикою. Внутренняя администрація воеводъ и намѣстниковъ Екатерины напоминала нравы XVII вѣка, и внутри имперіи росло недовольство въ то время, когда не залѣчены еще были всѣ раны, нанесенныя Пугачевскимъ бунтомъ. Высшая власть находилась въ рукахъ бездарныхъ любимцевъ Екатерины, для которыхъ, на старости лѣтъ, она не жалѣла ничего; всѣ они отличались нечестностью, всѣ они грабили государство, прикрываясь именемъ императрицы, которая смотрѣла на этотъ грабежъ съвозъ пальцы. Финансы были въ полномъ разстройствѣ, даже самые знаменитые и прославленные „орлы Екатерины“ отличались полною распущенностію. Екатерина, подъ конецъ царствованія, потеряла въ народѣ всю свою прежнюю популярность; ее любили, поминали и жалѣли при Павлѣ только придворные и сановники изъ-за личныхъ выгодъ своихъ, да распущенные офицеры гвардіи, для которыхъ была при ней такая легкая служба. Люди мысли, хотя число ихъ у насъ въ ту пору было крайне незначительно, отвернулись отъ Екатерины за ея подозрительное преслѣдованіе масоновъ, за ссылки и недовѣріе къ литературѣ. Понятно, что царствованіе Павла, при его всѣмъ извѣстныхъ свойствахъ, не могло способствовать лучшему устройству государства, находившагося въ самомъ печальномъ положеніи. Александръ, въ послѣдніе годы жизни Екатерины, видѣлъ и понималъ это печальное состояніе Россіи. Памятникомъ его скорбной мысли по этому поводу осталось извѣстное письмо его къ другу его юности графу Кочубею, напечатанное въ книгѣ барона Корфа ¹⁾. „Наши дѣла, писалъ онъ

¹⁾ „Восшествіе на престолъ имп. Николая I“, 3. „Nos affaires sont dans un désordre incroyable; on pille de tous cotés; tous les départemens sont mal

между прочимъ въ этомъ письмѣ, — въ неимовѣрномъ безпорядкѣ; грабежъ со всѣхъ сторонъ, порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія стремится только къ расширенію своихъ предѣловъ“.

Трудная задача предстояла такимъ образомъ императору Александру при его вступленіи на престолъ. Всѣ надежды страны, все ея дальнѣйшее развитіе, вся жизнь ея зависѣли отъ него, самодержавнаго государя. Но былъ ли онъ на высотѣ своего призванія, могъ ли онъ выполнить тѣ надежды, которыя возлагались на него? На вопросъ этотъ можно отвѣчать тѣми свѣдѣніями, какія имѣемъ мы теперь о его воспитаніи и о характерѣ до восшествія на престолъ, о тѣхъ вліяніяхъ, подѣ которыми сложились и его характеръ, и его убѣжденія.

Александръ былъ любимымъ внукомъ Екатерины; ему предназначала она русскій престолъ вмѣсто сына, котораго не любила со дня его рожденія. Александра, какъ и прочихъ внуковъ своихъ и внучекъ, она разлучила съ отцемъ и матерью и взяла къ себѣ, чтобъ воспитывать подѣ личнымъ надзоромъ. Философствующую государыню, знакомую съ просвѣтительными идеями своего вѣка, очень много занималъ вопросъ о воспитаніи, и она задумала примѣнить свои свѣдѣнія въ этомъ предметѣ къ воспитанію своихъ внучатъ. Такъ ею былъ написанъ „наказъ“ или подробное наставленіе, какъ вести великихъ князей, въ которомъ замѣтны идеи Локка и Руссо, общія руководительныя идеи для воспитанія въ то время; съ этою же цѣлью она писала педагогическія сказки и нѣкоторыя другія сочиненія. Вообще, какъ видно, воспитаніе двухъ старшихъ внуковъ заботило Екатерину. Главный надзоръ за этимъ воспитаніемъ былъ ввѣренъ ею Никол. Ив. Салтыкову, потомъ графу и князю, который былъ также и попечителемъ великаго князя Павла Петровича въ его молодости. Это былъ человѣкъ, отличавшійся только придворными свойствами, вѣрный и точный исполнитель приказаній Екатерины, полезный для внѣшней стороны воспитанія, но не имѣвшій никакого вліянія на своего воспитанника въ умственномъ отношеніи, что видно и изъ писемъ къ нему Екатерины по поводу великихъ князей ¹⁾. О воспитаніи Александра, о первыхъ проявленіяхъ свойствъ его и характера мы имѣемъ краткія, но очень любопытныя замѣтки одного изъ русскихъ воспитателей его, Протасова ²⁾. Изъ записокъ этихъ

administrés; l'ordre semble être banni de partout, et l'Empire ne fait qu'accroître ses domaines“.

¹⁾ Р. Арх. 1864 г., 477—542. Письма Имп. Ек. II къ Н. И. Салтыкову.

²⁾ Р. Арх. 1866 г., 94—111. Замѣтки одного изъ русскихъ воспитателей Имп. Александра Павловича. Въ полномъ видѣ изданы кн. Авг. Голицынымъ въ изд. „Русская Библіотека“ Лейпцигъ, 1853 г.

видно, какъ непродолжительно было воспитаніе Александра. Съ самаго приѣзда невѣсты его, баденской принцессы, когда ему исполнилось только 15 лѣтъ, онъ почти отсталъ отъ всякихъ занятій; свиданія съ невѣстой, забавы и увеселенія придворныя совершенно развлекли его. Послѣ брака (28 Сент. 1793 г.), когда ему не исполнилось и 16-ти лѣтъ, Александръ продолжалъ еще нѣкоторое время заниматься съ швейцарцемъ Лагарпомъ, но русское ученіе его кончилось. Зато, когда по „наказу“ Екатерины пришло время „отереть Александру свѣтъ, каковъ есть и каковъ быть долженъ“, то окружающіе великаго князя, тѣ люди, съ которыми онъ обращался ежедневно, представляли собою такіе дурные примѣры, говоритъ тотъ же Протасовъ: „что мнѣ оставалось только показать Его Высочеству противныя окружающему свойства, чтобъ показать сколь ненавистны пороки, драгоценна добродѣтель“ ¹⁾. Такова была та придворная среда, которая окружала Александра. Тотъ же Протасовъ замѣчаетъ въ немъ различныя свойства: и честность, и лѣнь, и хитрость, и очень развитое самолюбіе, которое составило и потомъ одно изъ главныхъ свойствъ Александра. Больше замѣтокъ даетъ главный воспитатель Александра—Лагарпъ, но и по запискамъ Протасова замѣтна въ Александрѣ какая-то двойственность и невыдержанность характера. Вліяніе французскаго наставника сказывается въ замѣткахъ Протасова о спорѣ, который онъ имѣлъ съ своимъ воспитанникомъ, по вопросу о равенствѣ людей. Александръ хвалилъ равенство и осуждалъ въ 1791 г. французскихъ дворянъ, которые сожалѣли о своихъ прежнихъ привилегіяхъ; русскій воспитатель старался оспорить эти мысли и развить противное.

Собственно преподавателемъ русскаго языка у Александра былъ довольно извѣстный писатель въ концѣ XVIII вѣка, Мих. Никитичъ Муравьевъ, впослѣдствіи, въ царствованіе Александра, попечитель Московскаго университета и товарищъ министра народнаго просвѣщенія, покровитель Карамзина и Батюшкова, который былъ ему родственникомъ. На умѣ и сочиненіяхъ Муравьева отразилось вліяніе философіи XVIII вѣка, особенно французской, съ которою онъ былъ лучше знакомъ. Сочиненія его, напоминающія слогомъ Карамзина, написаны всѣ въ любимомъ тогда философско-сентиментальномъ родѣ. Въ нихъ говорилъ онъ объ отвлеченной любви къ человечеству, высказывалъ уваженіе къ свободѣ, закону, ненависть къ деспотизму и проч., но все это говорилось болѣе отвлеченнымъ образомъ и въ чрезвычайно мягкомъ, сглаженномъ тонѣ. Своему царственному воспитаннику Муравьевъ читалъ собственныя сочиненія, заставлялъ его

¹⁾ Р. Арх. 1866 г., 107.

переводить „Эмиля“ Руссо, Монтескье, Гиббона и такимъ образомъ способствовалъ развитію въ Александрѣ того отвлеченнаго идеализма, главнымъ проводникомъ котораго были уроки швейцарца Лагарпа. Но Муравьевъ былъ слишкомъ мягокъ по характеру и ненастойчивъ и едва ли онъ могъ имѣть сильное вліяніе на своего ученика. Даже успѣхъ его собственнаго преподаванія русскаго языка болѣе чѣмъ сомнителенъ; Александръ писалъ неправильно по-русски и никогда не любилъ русской словесности; воспитаніе его, какъ русскаго чловѣка, отличалось главнымъ недостаткомъ того времени: онъ былъ воспитанъ по современнымъ идеаламъ Европы вдали отъ родного содержанія.

Главнымъ лицомъ въ этомъ воспитаніи, имѣвшимъ весьма сильное вліяніе на умъ и образъ мыслей Александра, былъ швейцарецъ Фридрихъ-Цезарь Лагарпъ¹⁾. Отношенія этого чловѣка къ императору Александру не походили на обыкновенныя отношенія наставника къ своему воспитаннику; оба они, послѣ того какъ Лагарпъ принужденъ былъ противъ своей воли оставить еще не конченное дѣло воспитанія и Россію, были связаны другъ съ другомъ тѣсною, искреннею дружбою. Опубликованныя записки и письма Александра къ Лагарпу, писанныя въ то время, когда онъ принужденъ былъ съ нимъ разстаться, и потомъ, когда онъ сдѣлался императоромъ, когда онъ „всталъ во главѣ несчастной своей страны“—по его собственному выраженію, даютъ намъ положительныя свѣдѣнія о привязанности, существовавшей между ними, и о томъ вліяніи, которое имѣлъ Лагарпъ на своего воспитанника, хотя письма эти, по всей вѣроятности, напечатаны не всѣ²⁾. „Всѣмъ обязанъ я вамъ, пишетъ 19-лѣтній Александръ къ Лагарпу, моимъ нравомъ, принципами, нравственностью, немногими моими познаніями, которыя могли бы быть гораздо обширнѣе, если бы я лучше воспользовался неисчислимыми попеченіями вашими обо мнѣ и за которыя я не иначе могу расплатиться съ вами, какъ безграничною привязанностью и уваженіемъ къ вамъ, мой милый другъ“³⁾. Въ этихъ письмахъ выражается трогательная печаль Александра, когда онъ принужденъ былъ разстаться съ Лагарпомъ или когда императоръ Павелъ запретилъ ему съ нимъ переписываться.

1) Ф. Ц. Лагарпъ.—Сухомлиновъ. Исслѣд. и статьи т. II, 35—143.

2) Сб. рус. Ист. об. т. V, 1870 г., 1—121.

3) Ibid. 25. C'est bien juste, vous devant tout: mes moeurs, mes principes, ma morale, le peu de connaissances que j'ai et qui auroit pu être, en plus grand nombre si j'avois profité d'avantage des peines sans nombre que vous vous êtes données pour moi, et que je ne saurois jamais être en état d'acquitter envers vous que par mon attachement et mon estime pour vous, qui sont sans bornes, mon cher ami.

Ему повѣрять онъ тайныя мысли свои, которыя, безъ сомнѣнія, не могъ высказывать своимъ окружающимъ, „когда онъ чувствовалъ, по словамъ его, себя одинокимъ при дворѣ, имъ ненавидимомъ и содрогаясь отъ одной мысли о своемъ будущемъ предназначеніи“. Онъ мечтаетъ не о царствѣ, которое онъ охотно готовъ уступить за ферму подлѣ Лагарповой; онъ въ высшей степени недоволенъ своимъ положеніемъ и высказываетъ твердое и неизмѣнное намѣреніе отдѣлаться со временемъ отъ предназначеннаго ему бремени. „Положеніе мое, пишетъ онъ къ Лагарпу, день ото дня становится все невыносимѣе для меня по всему, что я вижу вокругъ себя. Непостижимо, что происходитъ здѣсь; всѣ грабятъ, почти не встрѣчаешь честнаго человѣка; это ужасно“ ¹⁾. Такія сердечныя изліянія, доказательства глубокаго дружескаго чувства, указываютъ на не совсѣмъ обыкновенныя отношенія Александра къ Лагарпу. Дружба ихъ не измѣнилась въ теченіе сорока лѣтъ, и на нее не имѣли вліянія ни люди, ни колебанія общественной и политической жизни, которыми такъ богато было вообще время Александра. Онъ былъ, какъ мы видѣли, по его собственному признанію, очень многимъ обязанъ Лагарпу. Дѣйствительно, все то, что возбуждало въ современникахъ страстную любовь къ Александру, всѣ либеральныя гуманныя стремленія его, широкая любовь къ человѣчеству, рыцарская честность характера, однимъ словомъ—вся свѣтлая сторона натуры Александра создавалась подъ воспитательнымъ вліяніемъ Лагарпа. Видѣли это очень хорошо современники; они замѣтили, что всѣми своими конституціонными стремленіями императоръ Александръ былъ обязанъ урокамъ Лагарпа. Извѣстный французскій писатель реакціоннаго закала и сардинскій посланникъ при нашемъ дворѣ въ началѣ царствованія Александра, гр. Жозефъ де Местръ, высказываетъ это прямо, хотя и не безъ примѣси желчи. „Императоръ философъ, говоритъ онъ, и, если смѣю такъ выразиться, слишкомъ философъ. Лагарпъ произвелъ на его юное сердце неизгладимое впечатлѣніе и изъ этого вышло нѣчто совершенно непонятное для тѣхъ, кто не изучалъ этого явленія на мѣстѣ. Все, что окружаетъ императора, все, что пользуется его довѣріемъ, также расположено къ новымъ идеямъ“ ²⁾. По окончаніи воспитанія въ 1795 году Лагарпъ еще разъ воротился въ Россію, когда Александръ сдѣлался уже императоромъ; они не разъ видались другъ съ другомъ въ Европѣ, во время частыхъ путешествій Александра; пе-

¹⁾ Ibid. 23. Elle (ma charge) me devient de jour en jour plus insupportable par tout ce que je vois faire au tour de moi. C'est incomprehensible ce qui se passe: tout le monde pille, on ne rencontre presque pas d' honête homme; c'est affreux“.

²⁾ Р. Арх. 1871 г., 68. Письма изъ Петербурга въ Италію графа Жозефа де Местра.

реписка ихъ продолжалась безъ перерыва. Лагарпъ принималъ непосредственное участіе въ разработкѣ вопросовъ по главнѣйшимъ отраслямъ государственнаго управленія и даже въ дѣлахъ внѣшней политики. При его посредствѣ Александръ сближался съ замѣчательными людьми изъ умственной и политической сферы Европы и Америки. Лагарпъ пересылалъ и представлялъ своему воспитаннику разные и многочисленные проекты и планы реформъ и преобразованій въ государственной жизни Россіи, такъ что первая, хорошая пора царствованія Александра, когда онъ и его ближайшіе совѣтники заняты были преобразованіями, прошла не безъ значительной доли участія во всемъ этомъ со стороны Лагарпа. Невольно такимъ образомъ имя этого швейцарца соединяется съ историческою жизнію нашего отечества въ началѣ XIX столѣтія, и изслѣдователю этой жизни не бесполезно познакомиться съ личностью этого не совсѣмъ обыкновеннаго человѣка и съ тѣмъ родомъ вліянія, которое онъ воспитаніемъ имѣлъ на императора Александра.

Лагарпъ родился въ 1754 году въ городкѣ Ролле на берегу Женевского озера и принадлежалъ къ дворянской фамиліи Ваатландскаго кантона. Это не помѣшало ему, по словамъ его автобіографіи, съ дѣтства питать ненависть ко всѣмъ, кто считаетъ себя въ правѣ быть несправедливымъ. Его рожденіе въ свободной странѣ Европы, его воспитаніе, идеи вѣка и историческія событія, особенно французская революція, сдѣлали Лагарпа республиканцемъ, напоминавшимъ своими свойствами гражданъ древней Греціи или Рима, хотя онъ и попалъ въ воспитатели самодержавнаго государя. Первоначальное ученіе его происходило въ училищѣ родного города, до 15-лѣтняго возраста, и здѣсь уже чтеніе „Древней исторіи“ Роллена развило въ немъ восторженное уваженіе къ людямъ древности и республикамъ, которое не покидало его всю жизнь. Такой образъ мыслей еще болѣе утвердился въ немъ пребываніемъ въ Гальденштейнской семинаріи. Семинарія была устроена по образцу римской республики, со всею ея внѣшнею обстановкою. Глубокое знакомство съ классическимъ міромъ еще болѣе укрѣпило въ немъ его склонности. Въ Тюбингенѣ пріобрѣлъ онъ степень доктора правъ и жилъ нѣкоторое время въ Лозаннѣ и Бернѣ, занимаясь адвокатурою. Не находя, по словамъ его, свободы на своей родинѣ, Лагарпъ собрался ѣхать въ Сѣверную Америку, гдѣ тогда велась борьба за независимость, какъ вдругъ судьба привела его въ страну, по своимъ свойствамъ совершенно противоположную Америкѣ.

ЛЕКЦІЯ III.

Прибытіе Лагарпа въ Россію.— Дальнѣйшая судьба его.— Уроки Лагарпа.— Вліяніе ихъ на Александра.— Воспоминанія Адама Чарторыскаго.— Столкновеніе Александра съ жизнью.

Лагарпъ попалъ въ Россію совершенно случайно. Вѣроятно, о странѣ этой, гдѣ его дѣятельность оставила такіе глубокіе слѣды въ умѣ молодого государя, онъ не имѣлъ прежде никакого понятія. Лагарпъ собирался, какъ мы сказали, въ Америку, недовольный положеніемъ дѣлъ на своей родинѣ. Въ 1782 году, въ качествѣ ученаго, онъ провожалъ въ путешествіи по Италіи одного изъ русскихъ вельможъ, брата извѣстной княгини Дашковой, графа Сем. Роман. Воронцова, какъ въ Римѣ получилъ чрезъ Гримма приглашеніе Екатерины пріѣхать въ Россію, чтобы быть наставникомъ великихъ князей Александра и Константина, изъ которыхъ старшему было только пять лѣтъ. На другой годъ онъ былъ уже въ Петербургѣ, гдѣ оставался около двѣнадцати лѣтъ.

Лагарпъ неожиданно очутился въ средѣ русской придворной жизни, которая такъ противорѣчила его республиканскимъ убѣжденіямъ и вовсе не отличалась чистотою и нравственностію, особенно въ послѣдніе годы царствованія Екатерины. Строго и честно понимая свою обязанность, Лагарпъ старался спасти своего питомца отъ растлѣвающаго вліянія придворной жизни. Дѣйствительно, въ этомъ отношеніи Лагарпъ успѣлъ внушить Александрѣ глубокую ненависть ко двору, которая высказывается въ интимныхъ письмахъ его къ наставнику и которая не покидала его всю жизнь. Но такъ какъ людей приближенныхъ, совѣтниковъ, помощниковъ въ работѣ государственной, Александрѣ по необходимости приходилось искать около себя, въ той же ненавидимой имъ придворной сферѣ, то здѣсь же заключается источникъ его постоянного недовѣрія къ людямъ. Понятно, какъ трудно было Лагарпу со своими взглядами и убѣжденіями, развитыми до фанатизма, ужиться при русскомъ дворѣ. Со всѣхъ сторонъ окружали его неудачи и противорѣчія, но онъ стойко держался, стараясь спасти вѣренное ему дѣло, важность котораго онъ глубоко понималъ. Екатерина сначала благоволила къ Лагарпу и была довольна его воспитательною дѣятельностію, но когда началась французская революція, такъ сильно напугавшая старые дворы Европы и Екатерину, когда провозглашенные ею принципы стали поселять глубокой разладъ между людьми и поколѣніями, когда невольно при-

ходилось Лагарпу ежедневно спорить о принципахъ съ окружающими его и входить съ своими учениками въ разговоры о великихъ событіяхъ времени, положеніе Лагарпа измѣнилось. Ученики его, несмотря на все противодѣйствіе окружающей среды, увлеченные личностію своего учителя, раздѣляли его убѣжденія.

Это не могло нравиться Екатеринѣ, а враги Лагарпа, нажитые имъ при дворѣ изъ-за убѣжденій, старались чернить его въ ея глазахъ; какъ якобинца. Волненія революціи коснулись и его родины, Швейцаріи; онъ захотѣлъ издать служить своему кантону и отъ имени своихъ согражданъ написалъ просьбу къ Бернскому правительству, требуя собранія депутатовъ для уничтоженія существующихъ злоупотребленій. Эта просьба и другія сочиненія Лагарпа, памфлеты имъ написанные, вызвали республиканское движеніе въ Ваатландѣ, недовольство зависимостью отъ аристократовъ Берна и волненія, которыя со стороны Берна были подавлены силою. Лагарпъ былъ объявленъ главнымъ виновникомъ этихъ волненій, и аристократы бернскіе написали на него доносъ въ Петербургъ. Сначала Екатерина повидимому не придавала значенія этому; она удовлетворилась объясненіями Лагарпа и потребовала отъ него, чтобъ онъ не мѣшался въ дѣла швейцарскія, пока находится въ русской службѣ; но новыя доносы на него, новый разговоръ съ императрицею, гдѣ Лагарпъ высказалъ прямо и откровенно свои республиканскія убѣжденія, привели къ прекращенію его дѣятельности, какъ наставника. Занятія послѣ женитьбы Александра не продолжались уже безостановочно, и въ началѣ 1795 года Лагарпъ принужденъ былъ оставить Россію съ весьма незначительнымъ пенсіономъ; Павелъ, не любившій всѣхъ республиканцевъ, лишилъ его этого пенсіона и запретилъ сыну переписываться съ нимъ. Дальнѣйшая жизнь Лагарпа сначала вся посвящена была дѣламъ Швейцаріи, въ которыхъ онъ принималъ непосредственное участіе; былъ недолгое время директоромъ Гельветической республики, но потомъ оставилъ совершенно политическое поприще и жилъ въ своей фермѣ Плесси-Пике, въ окрестностяхъ Парижа, гдѣ въ 1814 году посѣтилъ его императоръ Александръ. Здѣсь Лагарпъ просилъ его о помощи родному кантону, и въ самомъ дѣлѣ на Вѣнскомъ конгрессѣ Александръ удовлетворилъ желаніямъ Лагарпа. Послѣ этого конгресса Лагарпъ поселился въ Лозаннѣ, гдѣ и умеръ въ 1834 году, не прерывая сношеній съ царскою фамиліею, особенно при жизни Александра.

Такова была личность человѣка, имѣвшаго глубокое вліяніе на императора Александра, а съ нимъ вмѣстѣ и на судьбу всей Россіи, на которую государь долго смотрѣлъ глазами Лагарпа. Конечно, дѣло воспитанія было насильственно прервано, но все же оно оставило

глубокій слѣдъ въ умѣ Александра, и вліяніе возобновилось, когда онъ вступилъ на престолъ и уже свободно снова могъ войти въ сношенія съ страстно любимымъ учителемъ своимъ. Эта любовь внушалась строгостью Лагарпа въ отношеніи къ своему дѣлу, чистотою нравственныхъ убѣжденій и ихъ устойчивостью. Эта любовь къ наставнику и это вліяніе его на учениковъ поддерживались и тѣмъ родомъ ученія, тѣмъ его направленіемъ и объемомъ, которые выбралъ Лагарпъ. Воспитаніе это, полное высокихъ идеальныхъ стремленій, подымало сердце юноши, соотвѣтствовало тѣмъ мечтамъ, которыя живутъ во всякомъ чистомъ молодомъ сердцѣ, и наполняло его душу возвышенными мечтами о свободѣ, равенствѣ и блаженствѣ чelовѣчества. Такимъ идеальнымъ воспитаніемъ былъ полонъ XVIII вѣкъ, весь направленный къ измѣненію прежнихъ общественныхъ порядковъ по мѣркѣ отвлеченной, но благородной идеи. Мы имѣемъ достаточно данныхъ для сужденія объ объемѣ и направленіи уроковъ Лагарпа ¹⁾ и знаемъ, что это воспитаніе соотвѣтствовало общимъ руководительнымъ идеямъ вѣка въ этомъ отношеніи. Главный предметъ уроковъ Лагарпа, согласно духу времени, была исторія. Она преподавалась очень обширно, и преподаваніе состояло по большей части въ чтеніи самихъ сочиненій, древнихъ или новыхъ, но на языкѣ французскомъ. Исторія должна была дать главные уроки будущему царю. Лагарпъ былъ убѣжденъ, что „общественный дѣятель долженъ искать въ исторіи не безплодные рассказы о битвахъ, а нѣчто другое; онъ, по его собственнымъ словамъ, старался ознакомить великихъ князей съ знаменательными историческими событіями, и въ особенности съ тѣми, выходящими изъ ряда людьми, добродѣтели или пороки которыхъ, достойныя дѣла или ошибки должны главнымъ образомъ служить наставленіемъ для людей, призванныхъ играть роль на театрѣ свѣта“ ²⁾. „Исторія есть школа государственнаго чelовѣка“ повторяетъ Лагарпъ въ другомъ мѣстѣ ³⁾ и вообще исторія въ его преподаваніи является полнымъ курсомъ нравственной философіи; изъ нея почерпалъ Лагарпъ всѣ свои нравственные уроки великимъ князьямъ. Мы сказали, что на обязанность свою онъ смотрѣлъ очень строго; впереди его была благородная цѣль — не столько воспитаніе самодержца надъ тридцатью милліонами людей, сколько чelовѣка вообще. Этою цѣлью онъ оправдываетъ свою строгость съ учениками; онъ не льститъ ихъ недостаткамъ

¹⁾ Отчеты его Салтыкову. Русск. Стар. 1870 г.; Богдановичъ. „Учебныя книги и тетради А. П.“ Сборн. р. ист. общ., т. I., 369—384.

²⁾ Русск. Стар. 1870. I., 43.

³⁾ Ibid. 130.

и порокамъ, какъ сдѣлали бы на его мѣстѣ многіе придворные воспитатели, но настойчиво и упорно преслѣдуетъ ихъ и старается исправить. Ему не нравится привычка мѣшать игры съ серьезными занятіями, и вообще онъ расходится съ подобными взглядами Екатерины на воспитаніе. Строгіе воспитательные идеалы въ древнихъ греческихъ республикахъ больше всего нравятся Лагарпу, и вообще восхваленіе свободы и республиканскихъ учреждений, съ полною откровенностью и искренностью со стороны учителя, составляли сущность воспитанія Лагарпа. Увлекаясь, подобно всѣмъ лучшимъ современникамъ, древнею Греціею и Римомъ, читая съ учениками своими очень часто жизнеописанія Плутарха и другихъ историковъ древняго міра, знакомя ихъ даже съ произведеніями греческихъ поэтовъ, конечно, въ переводахъ, Лагарпъ перечиталъ съ ними почти всѣхъ извѣстныхъ въ XVIII-вѣкѣ историковъ. вмѣстѣ съ ними онъ жалѣетъ о паденіи древняго міра и видитъ въ исторіи среднихъ вѣковъ только „жалкіе раздоры монаховъ“, которые смѣнили суевѣріемъ науки и искусства древняго міра.¹⁾ Лагарпъ излагалъ великимъ князьямъ и тотъ вопросъ, который занималъ современниковъ, „о происхожденіи обществъ“, вѣроятно подъ вліяніемъ *Contrat social* Руссо, но изложеніе этого вопроса было прервано; онъ знакомилъ Александра съ сочиненіями Адама Смита, заставлялъ его читать газеты, и такимъ образомъ и современность не уходила отъ вниманія его питомца. Любовь къ политической экономіи и пониманіе ея пользы для государства были, безъ сомнѣнія, внушены Лагарпомъ Александру. Въ 1800 году, когда Александръ былъ наслѣдникомъ престола, онъ заказывалъ Мартынову, извѣстному потомъ переводчику греческихъ классиковъ, переводы нѣкоторыхъ англійскихъ сочиненій по политической экономіи, которые и были, отчасти напечатаны въ журналахъ первыхъ годовъ его царствованія.

Изъ этого идеальнаго воспитанія Александръ вынесъ въ жизнь множество понятій, которыя были въ устахъ и въ сердцахъ лучшихъ людей XVIII столѣтія и развивались всею освобождающею литературою времени. Онъ мечталъ о благѣ человѣчества, о свободѣ, ненавидѣлъ деспотизмъ и рабство, жаждалъ благородной самоотверженной дѣятельности и проч. Жозефъ де Местръ замѣчаетъ, что „Александръ, будучи уже императоромъ, въ глубинѣ души уважаетъ республиканскій образъ правленія и по всей вѣроятности считаетъ его болѣе законнымъ, чѣмъ тотъ, къ которому онъ призванъ рожденіемъ“²⁾. Это философское воспитаніе сдѣлало Александра благороднымъ, чи-

¹⁾ Ibid. 129.

²⁾ Р. Арх. 1871 г., 110. Письма Жоз. де Местра.

стымъ мечтателемъ; идеальная любовь къ свободѣ была развита въ немъ чрезвычайно; онъ былъ полонъ энтузіазма и самыхъ благородныхъ стремленій. Эти чистыя мечты юноши составляли основаніе души и характера Александра; несмотря на постоянныя колебанія свои и измѣничивость, несмотря на двусмысленность характера своего, происходящаго отъ глубокаго недовѣрія вообще къ людямъ, обманувшимъ его идеальныя ожиданія, несмотря на позднѣйшія проявленія деспотизма, самаго глухого и грубаго, онъ никогда открыто не измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ, вынесеннымъ имъ изъ воспитанія, и, если рѣшался въ послѣдствіи на крутыя и дикія мѣры, то вѣроятно съ болью въ сердцѣ, увлекаемый совѣтами и требованіями тѣхъ консерваторовъ, которыми такъ изобильно было его царствованіе. Либеральныя мечты составляли святыню его сердца; онѣ были дороги ему, какъ старику счастливые дни его молодости и молодыя воспоминанія. Но все это было и оставалось только мечтами; у Александра не было силы воли и характера, чтобъ настойчиво реализовать и проводить въ жизнь свои стремленія. Воспитаніе, полученное имъ у Лагарпа, было слишкомъ идеально и отвлеченно; въ немъ незамѣтно было никакого положительнаго знакомства съ страной, обществомъ и народомъ, которое одно только можетъ дать человѣку настоящую, а не отвлеченную любовь къ нимъ, любовь, могущую превратиться въ сознательное дѣло добра. Онъ не зналъ страны, править судьбами которой былъ призванъ, и едва ли могъ любить ее. По крайней мѣрѣ, когда къ концу царствованія въ немъ сильно развились инстинкты самовласти, для умныхъ наблюдателей было ясно, что Александръ не уважалъ своего народа, что судьбы Европы были дороже ему бѣдной родины, и въ то время, когда онъ, превратившись, по выраженію поэта, въ „кочующаго деспота“, занимался на разныхъ конгрессахъ двадцатыхъ годовъ жалкими вопросами европейской реакціи, Россія страдала и корчилась въ грубыхъ и грязныхъ лапахъ Аракчеева,—Александръ допускалъ эти страданія и смотрѣлъ на нихъ хладнокровно.

Внутреннее настроеніе духа Александра, его мечты и стремленія тотчасъ послѣ уроковъ Лагарпа, въ послѣдній годъ царствованія Екатерины, прекрасно рисуются въ воспоминаніяхъ объ этомъ времени князя Адама Чарторыскаго, переведенныхъ на русскій языкъ ¹⁾. Извѣстный польскій патріотъ князь Адамъ, который былъ семью годами старше Александра, человѣкъ съ широкимъ современнымъ образованіемъ и свободнаго направленія, уже въ молодыхъ лѣтахъ сра-

¹⁾ Р. Арх. 1871., 697. Разсказъ князя Адама Чарторыскаго о сближеніи его съ имп. Ал. Павл.

жался пртивъ Россіи, а въ 1795 году, по распоряженію Екатерины, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ меньшимъ братомъ, и оба они состояли при великихъ князьяхъ Александрѣ и Константинѣ. Очень рано между Александромъ и старшимъ изъ Чарторыскихъ завязалась самая искренняя дружба; эта дружба длилась много лѣтъ. Адамъ принималъ живое и дѣятельное участіе въ первыхъ преобразованіяхъ государства, задуманныхъ Александромъ, долго былъ его министромъ иностранныхъ дѣлъ, и, безъ сомнѣнія, особенная любовь къ Польшѣ, попытки возстановить ее и дать ей либеральныя учрежденія, все это благоволеніе къ Польшѣ, такъ сильно возмущавшее русскихъ патріотовъ, развились въ сердцѣ Александра подъ вліяніемъ друга его молодости. Адамъ Чарторыскій пережилъ Александра 40 годами; воспоминанія его молодости и его переписка съ Александромъ изданы были вскорѣ послѣ смерти Адама, и у насъ нѣтъ никакихъ основаній, чтобъ заподозрить ихъ искренность и истину.

Въ воспоминаніяхъ Чарторыскаго о его весеннихъ прогулкахъ по аллеямъ Таврическаго сада, передъ нами возникаетъ образъ царственного юноши, полного самыхъ благородныхъ стремленій и идеальныхъ мечтаній. „Въ словахъ и поведеніи этого царственного юноши, говоритъ Адамъ, было столько искренности, чистоты, столько рѣшительности, повидимому несокрушимой, столько самозабвенія и великодушія, что онъ показался мнѣ существомъ избраннымъ свыше, ниспосланнымъ Провидѣніемъ для блага человѣчества и моей родины“ ¹⁾. Такая идеальная фигура тѣмъ болѣе должна была поразить Чарторыскаго, что до знакомства своего съ Александромъ онъ не встрѣчалъ ничего подобнаго, особенно при деспотическомъ дворѣ Екатерины, гдѣ, разумѣется, тогдашнія либеральныя идеи предавались проклятію, гдѣ все дышало раболѣпствомъ и ненавистью къ новому. Александръ откровенно и съ увлеченіемъ высказывалъ свои тогдашнія либеральныя убѣжденія. Онъ говорилъ, что „ненавидитъ деспотизмъ повсюду, во всѣхъ его проявленіяхъ, что любить свободу, на которую имѣютъ право всѣ люди“ ²⁾. Онъ высказывалъ свое живое участіе къ французской революціи, за событіями которой слѣдилъ со вниманіемъ, и, осуждая ея ужасныя крайности, желалъ республикѣ успѣховъ и радовался имъ. Высказывая эти мнѣнія, Александръ съ глубокимъ уваженіемъ вспоминалъ Лагарпа и говорилъ, какъ много онъ обязанъ ему въ своемъ развитіи. Въ своихъ мечтахъ объ общемъ благѣ человѣчества онъ забывалъ свое положеніе. Такъ „онъ утверждалъ, что наследственность престола есть установленіе несправед-

¹⁾ Р. Арх. 1871, 702.

²⁾ Ibid. 700.

ливое и нелѣпое, что верховную власть долженъ даровать не случай рожденія, а приговоръ всей націи¹⁾, которая сумѣла бы избрать достойнѣйшаго для управленія ею. Александръ боялся будущаго своего назначенія; онъ чувствовалъ всю тяжесть его и повиdimому не признавалъ, сколько бы могъ онъ сдѣлать добра странѣ своей, при самодержавной власти, въ соединеніи съ рѣшительностью и твердою волею—качествами, которыхъ у него, къ несчастію его и Россіи, не было. Мнѣнія и убѣжденія Александра, по словамъ Чарторыскаго, напоминали собою школьника 1789 года, на зарѣ революціи, который желалъ бы вездѣ видѣть республику и считалъ эту форму правленія самою справедливою и согласною съ правами и желаніями человѣчества. Онъ любилъ земледѣльцевъ, простые нравы ихъ, но онъ не зналъ русскихъ крестьянъ и смотрѣлъ на нихъ глазами поэтической идилліи XVIII вѣка. Онъ мечталъ о сельскихъ трудахъ, вдали отъ двора и отъ свѣта, но въ странѣ цвѣтущей, на хорошенькой фермѣ, вѣчто въ родѣ идеализированной швейцарской жизни въ буколикахъ Гесснера и Броннера. Естественно, что при русскомъ дворѣ того времени онъ оставался одинъ съ своими юношескими мечтами; онъ берегъ ихъ, какъ святыню, и боялся холода насмѣшки. Единственнымъ повѣреннымъ его была молодая жена, по необходимости дружбы и изліяній, столь понятная въ молодости, облегчающая душу, необходимость дѣлиться мечтами, соединила его съ Чарторыскимъ, и онъ беззавѣтно и отъ всего сердца повѣрялъ ему свои молодые грезы. Павелъ при вступленіи на престолъ разорвалъ эту дружбу; пославъ Чарторыскаго повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Сардинію, и вокругъ Александра образовалась нравственная пустыня.

Таковъ былъ Александръ передъ самымъ вступленіемъ своимъ на русскій престолъ, такимъ воспиталъ и приготовилъ его Лагарпъ. Вліяніе идеальнаго наставника находило себѣ сильное противодѣйствіе въ правахъ цѣлаго общества, во всемъ положеніи Россіи. *Principes liberales*, въ которые онъ вѣровалъ, мало находили сочувствія кругомъ его, и едва ли онъ былъ приготовленъ къ тому, чтобы проводить ихъ въ жизнь съ логическою послѣдовательностью. Онъ тайлъ ихъ про себя и еще болѣе долженъ былъ скрывать ихъ, когда началось суровое царствованіе Павла... Извѣстно, какимъ холодомъ пахнуло на дворъ и петербургское общество при воцареніи Павла; когда онъ сталъ заводить вездѣ свои порядки. Время царствованія Павла имѣло сильное вліяніе на Александра, на образованіе его характера и увлекло его далеко въ сторону отъ республиканскихъ меч-

¹⁾ Ibid. 707.

таній. Въ первый разъ сошелся онъ теперь лицомъ къ лицу съ реальною жизнью и долженъ былъ забыть о всякой самостоятельности. Изъ сферы идеальныхъ мечтаній о благѣ человечества онъ долженъ былъ спуститься въ мелочныя подробности фронта и вахтъ-парада, за нарушение которыхъ Павелъ преслѣдовалъ жестоко. Военное губернаторство отнимало все время у Александра. Часто Александръ долженъ былъ выдерживать тяжелую внутреннюю борьбу, не разъ приходилось ему измѣнять человѣколюбивымъ принципамъ своего воспитанія, характеръ его портился. И онъ и братъ его были въ постоянномъ страхѣ капризовъ Павла. Въ качествѣ командировъ полковъ они ежедневно подвергались за малѣйшія ошибки на парадахъ и ученіяхъ выговорамъ, которые они вымещали на офицерахъ и солдатахъ ¹⁾. Кромѣ того, Александръ былъ инспекторомъ всей пѣхоты. Въ такой школѣ онъ получилъ вкусъ къ военнымъ упражненіямъ и воображалъ себя великимъ полководцемъ, экзерцируя гвардію. Жизнь вставала передъ нимъ въ уродливомъ видѣ, и, вступая на престолъ, онъ имѣлъ право назвать свою страну несчастною. Тѣми реформами, какія были задуманы при воцареніи, онъ желалъ доставить ей счастье.

ЛЕКЦІЯ IV.

Двойственность характера Александра.—Борьба принциповъ на западѣ.—Отраженіе этой борьбы въ Россіи.—Направленіе нашего общественнаго движенія.—Приближенные Александра.

Намъ знакомо теперь то внутреннее развитіе, которое образовало характеръ Александра и должно было приготовить къ реформамъ, необходимымъ въ ту пору къ преобразованію тогдашняго „безобразнаго зданія государственнаго“—по выраженію самѣхъ приближенныхъ къ Александру лицъ. Былъ ли по силамъ ему предстоящій трудъ, приготовленъ ли былъ самъ императоръ для упорнаго и настойчиваго преслѣдованія великой цѣли—реформы, намъ уже легко составить себѣ понятіе по внутренней исторіи его первой молодости. При самѣхъ широкихъ мечтахъ объ общемъ благѣ,—онъ не способенъ на трудъ и тяготится имъ. У него нѣтъ ни знанія жизни дѣйствительной, ни энергіи; самые либеральные планы его и намѣренія чрезвычайно смутны; это то, что въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка носило общее неопредѣленное названіе *principes*. Съ другой стороны—проти-

¹⁾ Р. Арх. 1869 г., 1927. Изъ записокъ Н. А. Саблукова.

воположныя привычки воспитанія, обстановка двора, преданія, вѣковое раболѣпство окружающихъ, крутость Павла, все говорило о деспотизмѣ, все напоминало Александру, что власть его не ограничена; онъ самъ повторялъ это, когда встрѣчалъ противодѣйствіе своей волѣ, — и либеральныя мечты мгновенно улетучивались. Вотъ отчего вторая половина Александрова царствованія такъ не похожа на первую; но начала, задатки позднѣйшей реакціи положены были рано.

Эти постоянныя колебанія Александра то въ одну, то въ другую сторону, эта двойственность его характера и убѣжденій имѣли источникомъ своимъ и общее политическое состояніе времени, ту борьбу идей, которая происходила кругомъ и въ сферѣ жизни государственной и въ сферѣ мысли въ Европѣ, и которая должна была отразиться и въ нашемъ обществѣ. Великій политическій переворотъ конца прошедшаго вѣка, разрушившій историческую жизнь старой Франціи и вызвавшій къ жизни такъ много началъ и основаній, на которыхъ должна была строиться новая общественная жизнь, оставилъ глубокій слѣдъ въ умахъ и долженъ былъ породить въ нихъ упорную борьбу, которая и теперь еще не прекратилась. Враждовали поколѣнія и убѣжденія, старое съ новымъ. Все молодое въ обществѣ, все дѣятельное въ немъ стояло за новыя революціонныя идеи; ихъ содержаніе должно быть примѣнено къ народной жизни. Съ другой стороны—новому движенію впередъ противодѣйствовали старыя партіи, партіи застоя и консерватизма. Онѣ стояли за старую жизнь, за старыя начала, старыя привилегіи, или подорванныя или разрушенныя; онѣ хотѣли возвратитъ назадъ исторію. Не слѣдуетъ думать, чтобъ консервативная партія имѣла источникомъ своимъ только личныя выгоды, въ чемъ ее обыкновенно обвиняютъ прогрессисты. Въ ней могли быть и дѣйствительно были люди высокой честности; разница та только, что они иначе, хотя и искренно, понимали исторію. Борьбою этихъ двухъ взглядовъ была полна тогда Европа, и она естественно должна была отразиться у насъ, такъ какъ мы шли за Европой и болѣе или менѣе участвовали въ ея духовной жизни. Эта борьба у насъ замѣтна была однако болѣе всего въ правительственныхъ сферахъ, въ тѣхъ людяхъ, которые ближе стояли къ власти и имѣли непосредственное вліяніе на дѣла. Что касается до общества, до литературы у насъ, то здѣсь великая борьба принциповъ была едва замѣтна. Общество не имѣло тогда, да и долго потомъ, никакой политической жизни, никакого мнѣнія и убѣжденія. Реформамъ, задуманнымъ и приводимымъ въ исполненіе въ началѣ царствованія Александра, оно не могло оказать никакой нравственной поддержки. Правительство съ своими планами преобразованій стояло совершенно одиноко, потому что и литература, это выраженіе обще-

ства, не имѣла голоса. И общество, и литература лишены были просвѣщенія, разумнаго развитія; умственное бездѣйствіе царило повсюду, и къ реформамъ новаго царствованія всѣ относились безсознательнымъ образомъ. Онѣ возбуждали или пустой, раболѣпный восторгъ, или, когда реформы затрогивали тѣ или другіе личныя интересы и выгоды, наивный дѣтскій ропотъ, въ которомъ не могло быть ничего сознательнаго и политическаго. Правительство составляло все въ государствѣ; оно должно было отвѣчать за все. Первые годы царствованія Александра оживили общественную мысль; возбужденный въ обществѣ интересъ къ дѣламъ внутренняго устройства, пока войны съ Наполеономъ не уничтожили его, далъ оживленіе, какъ мы увидимъ, и литературѣ, въ особенности періодической, болѣе близкой къ непосредственной жизни общества; появилось даже множество рукописныхъ проектовъ по дѣламъ внутренняго устройства страны. Но это оживленіе общества и мысли, къ сожалѣнію, было у насъ и случайно, и недолговѣчно; оно не шло правильнымъ, стройнымъ путемъ, а походило скорѣе на неустановившееся броженіе, которое легко могло быть задавлено гнетомъ реакціи, что и случилось подъ конецъ царствованія Александра. Но тѣмъ не менѣе все оно, со всѣми своими колебаніями и противорѣчіями замѣчательно и по людямъ и по идеямъ, которыя возникли тогда. Въ это двадцатипятилѣтіе совершилось болѣе прочное, болѣе близкое сближеніе съ Европою, передача ея идей, и духовныхъ и политическихъ, то-есть еще болѣе укрѣпился тотъ историческій путь, по которому суждено намъ идти. Главное направленіе въ общественномъ движеніи было политическое; оно было вызвано французской революціей, всеобщимъ стремленіемъ къ реформамъ и постояннымъ дѣятельнымъ участіемъ нашимъ въ дѣлахъ Европы, вслѣдъ за успѣхами нашего оружія въ продолжительной борьбѣ съ Наполеономъ. Наша общественная мысль крѣпла, число образованныхъ людей у насъ увеличивалось; ихъ мысль была занята вопросами политическими; она интересовалась внутренними дѣлами, ихъ устройствомъ. Правда, это возбужденіе общественной мысли, и высшее образованіе, и либеральное направленіе, и честныя гражданскія убѣжденія въ царствованіе Александра мы встрѣчаемъ только въ рядахъ привилегированнаго, дворянскаго сословія, и, страннымъ образомъ, преимущественно въ сферѣ военной, потому что для нея прежде всего открылась Европа, но и это былъ уже значительный успѣхъ въ обществѣ, сравнительно съ прежнимъ.

Въ первые, преобразовательные годы своего царствованія Александръ былъ окруженъ двумя поколѣніями людей, между которыми раздѣлены были власть и вліяніе на дѣла и между которыми господствовали вражда и взаимное недовѣріе. Съ одной стороны стояли дѣльцы Ека-

терининскаго времени, старше, опытные, люди привычки и рутины, не возмущавшіеся недостатками и злоупотребленіями, въ которыхъ они привыкли и среди которыхъ они выросли. Съ другой стороны, болѣе чѣмъ люди стараго поколѣнія, въ императору приближались новые люди, выросшіе и воспитанные въ томъ же широкомъ, либеральномъ кругу идей, въ которомъ воспитывался и онъ. Въ складѣ ума ихъ и въ объемѣ ихъ стремленій выразилось то же гуманитарное, общечеловѣческое содержаніе; та же проповѣдь свободы и развитія, которая господствовала въ литературѣ XVIII вѣка, только въ ней присоединились теперь начала болѣе практическія, выработанныя жизнію и въ особенности французской революціей. Понятно, что сердце Александра лежало на сторонѣ этихъ болѣе молодыхъ и свѣжихъ людей. Съ ними соединяли его дружба и одинаковость убѣжденій; ихъ совѣтамъ, ихъ участію въ дѣлахъ онъ обязанъ былъ блескомъ, окружавшимъ первые годы его царствованія, надеждами общества, любовью народа.

Первые указы и мѣры имѣли цѣлью поправить зло, произведенное царствованіемъ Павла. Александръ, казалось, такъ бодро шелъ впередъ; вмѣстѣ съ самодержавіемъ, открывалась ему широкая возможность дѣлать такъ много добра, онъ помнилъ недавній примѣръ всѣхъ неудобствъ произвола, а потому въ основу своихъ дѣйствій и распоряженій старался положить начало законности; то уваженіе къ закону, стоящему выше власти, которое онъ вынесъ изъ наставленій Лагарпа. Не прошло еще трехъ мѣсяцевъ послѣ воцаренія, какъ появился указъ объ устройствѣ „Коммисіи для составленія законовъ“, подъ предѣлательствомъ одного изъ фаворитовъ Екатерины, графа Завадовскаго; началось переустройство Сената, потерявшаго въ государствѣ всю власть и значеніе, а вскорѣ потомъ послѣдовало и образованіе министерствъ, которыя также вели къ одной цѣли, къ ограниченію произвола въ управленіи.

Знакомясь постепенно съ частями управленія, изучая его со всѣхъ сторонъ, Александръ самъ, при доброй волѣ, легко могъ видѣть и недостатки, и злоупотребленія: Государство и управленіе представлялись въ невообразимомъ хаосѣ, по выраженію одного изъ первыхъ дѣятелей въ это царствованіе, графа А. Воронцова¹⁾. Онъ же высказываетъ замѣчательное убѣжденіе, что „Россія, къ сожалѣнію, никогда прямо устроена не была, хотя еще съ царствованія Петра Великаго о семъ весьма помышляемо было“²⁾. Правосудія въ ней не

¹⁾ Чт. въ Общ. Ист. и древн. Рос. 1859 г. I, 96. Примѣч. гр. А. Р. Воронцова на нѣкот. статьи, касающіяся до Россіи.

²⁾ Ibid. 91.

было никакого; несмотря на указы Екатерины, въ ней существовала даже пытка, уничтоженная снова въ первый годъ царствованія Александра.... Нужно было смягчить самодержавіе вообще, дать ему законную по возможности форму, распространить въ обществѣ страхъ передъ закономъ, а не передъ произволомъ, нужно было облегчить положеніе крѣпостного народа, необходимо было развязать робкую мысль, чтобъ она приносила пользу жизни, необходимо было создать науку, просвѣщеніе, общественное воспитаніе, которыхъ или вовсе не было, или которыя существовали по старой, сгнившей рутинѣ; однимъ словомъ, предстояла всеобщая ломка, радикальная перестройка „безобразнаго зданія государственнаго“. Тутъ едва ли можетъ быть рѣчь о правильномъ, постепенномъ ходѣ развитія. Помощниками въ великомъ дѣлѣ преобразования всей страны и всего ея управленія являются нѣсколько личностей, составляющихъ кружокъ близкихъ къ императору людей, связанныхъ съ нимъ по духу общими убѣжденіями, одинаковымъ воспитаніемъ, кружокъ, прозванный имъ въ шутку, но совершенно справедливо, „комитетомъ общественнаго спасенія“, потому что дѣло его заключалось въ спасеніи страны. Въ рукахъ ихъ сначала была дѣйствительная власть, хотя сами они стояли какъ бы на заднемъ планѣ. Въ этомъ кружкѣ обсуждались планы преобразованій и новые освободительные указы Александра. Люди эти выдвинулись впередъ не случайно, а по талантамъ, знаніямъ, убѣжденіямъ и по личной волѣ государя, а потому только въ немъ одномъ они и могли находить поддержку, несмотря на то, что сами по рожденію принадлежали къ высшимъ слоямъ общества. Приближенностью къ Александру, одиночествомъ своего положенія, стремленіемъ къ реформамъ и къ уничтоженію закоренѣлаго зла, они возбудили къ себѣ сильную вражду консервативнаго большинства, вражду, которая, выражаясь въ запискахъ ихъ современниковъ, пережила даже давно и ихъ, и всѣ слѣды ихъ дѣятельности, какъ это видно изъ книги Богдановича о царствованіи Александра. Богдановичъ не умѣлъ отдать имъ надлежащей справедливости и повторилъ общеизвѣстныя обвиненія, дышавшія враждою современниковъ.

Всѣ лучшіе люди наши въ царствованіе Александра прошли общую французскую школу, потому что она имѣла широкое воспитательное значеніе, и одна только могла сдѣлать ихъ настоящими людьми. Всѣ они болѣе или менѣе воспитывались въ заграничныхъ университетахъ—путь, указанный еще Екатериною въ началѣ ея правленія. Въ ихъ-то средѣ, при участіи самого Александра, возникали планы конституціоннаго устройства государства, которое должно было положить конецъ всякому произволу. Конституціонныя стремленія Александра извѣстны; они не покидали его всю жизнь... и лучшая

либеральная и образованная часть общества долго ждала их осуществления отъ Александра, отъ времени котораго дошло до насъ даже нѣсколько проектовъ полныхъ конституцій.

Самыми близкими къ Александру лицами были: Новосильцевъ, Строгановъ, Кочубей и Чарторыйскій. Умнѣе и дѣльнѣе прочихъ былъ Н. Н. Новосильцевъ, принимавшій самое главное участіе въ реформѣ просвѣщенія въ то время. Ему было уже сорокъ лѣтъ (род. въ 1762 г.), а потому никакъ нельзя назвать его юношею и рьянымъ юношей, жаждавшимъ только переменъ. „Онъ головою выше своихъ товарищей, говоритъ о Новосильцевѣ Жозефъ де Местръ. Онъ знаетъ Францію наизусть, и сверхъ всего этого, онъ хватилъ не малую дозу нѣмедкаго яда“¹⁾... Новосильцевъ, сынъ побочной сестры графа А. С. Строганова, извѣстнаго знатока и покровителя искусствъ и президента Академіи художествъ, получилъ блестящее воспитаніе въ домѣ своего дяди и отличался чрезвычайно тонкимъ и обширнымъ умомъ. При Екатеринѣ онъ довольно долго служилъ въ военной службѣ и даже участвовалъ въ кампаніяхъ, но при воцареніи Павла, тотчасъ же вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Англію, гдѣ и прожилъ все время его царствованія. Все свое пребываніе въ Лондонѣ онъ посвятилъ собственному своему образованію и наукѣ, и несмотря на лѣта свои, учился наравнѣ со студентами. Отсюда, когда онъ пріѣхалъ въ Россію по приглашенію Александра, знавшаго его прежде въ домѣ Строганова, онъ воротился совершеннымъ англоманомъ, съ глубокимъ уваженіемъ къ либеральному устройству Англіи, которое онъ ставилъ въ образецъ для всякой страны. Кромѣ того въ Англіи онъ сошелся съ представителями науки, литературы, съ нѣкоторыми общественными дѣятелями и удивлялъ англичанъ своимъ умомъ и свѣдѣніями. Онъ отличался глубоко либеральнымъ направленіемъ, которому въ послѣдствіи измѣнилъ въ концѣ царствованія Александра и при Николаѣ I, когда достигъ самаго высокаго званія въ имперіи: предсѣдателя государственнаго совѣта и комитета министровъ. Новосильцевъ умеръ въ 1838 году. Въ началѣ царствованія Александра на него возложено было множество дѣлъ и должностей, и надобно удивляться его неутомимой, обширной дѣятельности по самымъ разнообразнымъ предметамъ, изъ которыхъ народное просвѣщеніе было главнымъ. Новосильцевъ былъ чрезвычайно близокъ къ Александру, жилъ въ Зимнемъ дворцѣ и имѣлъ всегда къ нему свободный доступъ.

Графъ П. А. Строгановъ, двоюродный братъ Новосильцева. Его воспитателемъ въ домѣ отца былъ французъ Роммъ, одна изъ передовыхъ личностей Горы во французскомъ конвентѣ, погибшій какъ

¹⁾ Р. Арх. 1871 г., 109. Письма Ж. де М.

приверженецъ Робеспьера. Въ началѣ революціи Строгановъ былъ въ Парижѣ и, вѣроятно при посредствѣ прежняго наставника своего, участвовалъ въ засѣданіяхъ клуба якобинцевъ и былъ знакомъ со многими изъ извѣстныхъ республиканцевъ. Это дошло до свѣдѣнія Екатерины, не понравилось ей, и она вызвала Строганова изъ Парижа. Онъ былъ поклонникомъ Мирабо и, ничѣмъ не стѣняясь, высказывалъ свободный, республиканскій образъ мыслей. И онъ вѣрилъ въ конституцію и надѣялся, что она осуществится въ началѣ царствованія Александра. Въ послѣдствіи онъ ненавидѣлъ Наполеона, какъ врага свободы. Съ Александромъ онъ и жена его были соединены самою тѣсною дружескою связью, но въ преобразовательной работѣ надъ государствомъ Строгановъ выдается менѣе другихъ. Онъ служилъ болѣе посредникомъ.

Графъ, потомъ князь, Викторъ Павловичъ Кочубей, по матери былъ роднымъ племянникомъ знаменитаго Екатерининскаго канцлера—графа Безбородка, въ домѣ котораго онъ воспитывался, а потомъ три года учился въ Женевѣ. Дядя приготовлялъ его къ дипломатическому поприщу и отправилъ учиться политикѣ къ нашему посланнику въ Лондонѣ—графу Сем. Ром. Воронцову. Жизнь его здѣсь принесла ему дѣйствительную пользу, такъ что будучи 24-хъ лѣтъ отъ роду, назначенный чрезвычайнымъ посланникомъ въ Турцію, Кочубей при дворѣ султана могъ съ честью поддержать достоинство Россіи и императрицы. При Павлѣ, до смерти своего дяди, Кочубей получилъ въ короткое время высшія отличія, но благоволеніе Павла длилось обыкновенно недолго: онъ былъ уволенъ отъ службы и долженъ былъ уѣхать въ деревню. Александръ, давно знавшій Кочубея и дружески къ нему расположенный, тотчасъ по вступленіи на престолъ вызвалъ его въ Петербургъ и сдѣлалъ въ 1802 году министромъ внутреннихъ дѣлъ. Подъ его покровительствомъ въ первый разъ выдвинулся впередъ Сперанскій, котораго достоинства и способности онъ успѣлъ оцѣнить.

Князь Адамъ Чарторыйскій, объ отношеніяхъ котораго къ Александру мы уже говорили, былъ, можетъ быть, самымъ ближайшимъ и довѣреннымъ другомъ его. И онъ, подобно другимъ совѣтникамъ, получилъ блестящее современное образованіе, которое еще больше укрѣпилось долговременнымъ пребываніемъ его въ Англіи, гдѣ онъ изучалъ ея политическія учрежденія. Александръ призвалъ его тотчасъ по вступленіи на престолъ; князь Чарторыйскій принималъ участіе въ задуманныхъ въ первые годы преобразованіяхъ Россіи, но насколько искренно было это участіе,—судить теперь трудно. Чарторыйскій былъ полякъ; судьба его родины была конечно для него дороже, чѣмъ судьба страны ему чуждой и враждебной; какъ всякій

полякъ, любящій свою родину, онъ мечталъ о прошедшемъ, о возстановленіи погибшаго прежняго, что весьма понятно было тогда, въ первые годы XIX столѣтія, въ годы политическихъ переворотовъ. Въ Александрѣ онъ могъ видѣть и орудіе для осуществленія своихъ политическихъ и патріотическихъ надеждъ. Война 12-го года и занятіе Наполеономъ Польши, когда полякамъ казалось такъ близко осуществленіе ихъ надеждъ, раздѣлили Александра съ Чарторыскимъ, хотя онъ и продолжалъ состоять на русской службѣ, пока не эмигрировалъ во Францію, послѣ революціи 30-го года.

Таковы были личности, окружавшія Александра съ начала его вступленія на престолъ, хотя то, что называется тайнымъ комитетомъ, просуществовало очень не долго—до конца 1803 или 1804 года. Всѣ эти люди раздѣляли взгляды и понятія Александра. Они составляли меньшинство общества и были лучшими, мыслящими представителями его. Въ ихъ планахъ, въ ихъ намѣреніяхъ не было ничего чуждаго, насильственно навязываемаго странѣ. Далѣко не были они радикальны. А между тѣмъ эти лица и ихъ преобразовательныя стремленія возбуждали къ себѣ сильную вражду въ представителяхъ поколѣнія Екатерининскихъ сановниковъ и въ массѣ общества, которой дорогъ ея покой, и которая всегда готова внимать консервативнымъ воплямъ. Эта вражда отражается и въ запискахъ современниковъ и въ литературѣ. Ихъ обвиняли въ незнаніи Россіи, въ неопытности, въ крутости задуманныхъ ими перемѣнъ и преобразованій, во вліяніи ихъ на государя, который будто бы безусловно подчинился имъ и во всемъ ихъ слушался, и т. п. Всѣ эти обвиненія большею частью ложны; весь этотъ комитетъ можно обвинить развѣ въ томъ, что онъ просуществовалъ недолго и мало сдѣлалъ для Россіи, не смотря на всѣ благія намѣренія лицъ, его составлявшихъ, но это уже зависѣло не отъ него, а отъ личной воли самого Александра, который соединилъ вокругъ себя людей одного съ нимъ направленія и распустилъ ихъ, когда пересталъ въ нихъ нуждаться и пошелъ по другой дорогѣ.

ЛЕКЦІЯ V.

Роль императора Александра I въ «комитетѣ».—Планъ организаціи народнаго образованія.—Учрежденіе Министерства Народнаго Просвѣщенія и Главнаго Правленія Училищъ.—Первый по времени министр Народнаго Просвѣщенія графъ П. В. Завадовскій и его соотрудники.

Слѣды дѣятельности лицъ, упомянутыхъ въ предыдущей лекціи, можно найти въ протоколахъ засѣданій комитета, писанныхъ на французскомъ языкѣ и сохранившихся въ бумагахъ одного изъ чле-

новъ—графа П. А. Строганова ¹⁾. Разсматривая эти отрывки, мы видимъ, что въ засѣданіяхъ, или дружескихъ бесѣдахъ при императорѣ, вовсе не проявляется того незнанія Россіи, въ которомъ обыкновенно обвиняютъ друзей Александра того времени. Изъ нихъ видно также, что несмотря на свой умъ, на свое развитіе, на близость и дружбу къ государю, ни одинъ изъ этихъ людей и всѣ они вмѣстѣ не имѣли значительнаго вліянія на Александра. Онъ давалъ всему начало и ставилъ вопросы; его самодержавная воля господствовала. Воля эта въ самомъ дѣлѣ направлена была къ конституціонному устройству Россіи, но прежде конституціи должна была произойти реформа администраціи во всѣхъ ея частяхъ. Съ этою цѣлью замышлено было и отчасти приведено въ исполненіе переустройство Сената, что въ особенности привело въ негодованіе Державина и другихъ старыхъ сенаторовъ. Въ преобразованіи Сената послѣдніе видѣли „ограниченіе самодержавной воли монарха“, а въ этомъ и заключалось собственное желаніе Александра, ненавидѣвшаго тогда произволъ. Шли въ комитетъ, и довольно часто, рѣчи о вопросѣ, за дѣлавшемъ частные интересы самаго вліятельнаго тогда въ государствѣ сословія, единственнаго сословія, имѣвшаго въ немъ власть и голосъ, вопросѣ о крѣпостномъ владѣніи, составлявшемъ прерогативу дворянства. Но и Александръ и друзья его были слишкомъ робки и нерѣшительны; зная благородство послѣднихъ, мы не думаемъ обвинять ихъ въ своекорыстіи, но они боялись вообще переворота, боялись дворянскаго сопротивленія. Этотъ крестьянскій вопросъ кажется и породилъ въ обществѣ тѣ мрачныя толки и неудовольствіе, которые въ искаженномъ и преувеличенномъ видѣ стали доводить до свѣдѣнія Александра другіе его приближенные. Александръ дѣйствовалъ въ комитетѣ самостоятельно; характеръ его отличался упорствомъ, этимъ признакомъ слабости, но послѣдняя и была конечно причиною, почему толки, носившіеся въ обществѣ, должны были въ свою очередь повліять на него. Главный недостатокъ людей, окружавшихъ его въ первые годы царствованія, состоялъ въ томъ, что всѣ они, несмотря на свой умъ, блестящее образованіе и благія намѣренія, ихъ одушевлявшія, лишены были строго послѣдовательнаго, логическаго развитія; у нихъ не было общаго плана реформы государственнаго зданія, какъ выраженія одной теоретической идеи, строго проведенной по всѣмъ частямъ преобразованія. Этого плана добивался Александръ и, когда онъ встрѣтилъ человека съ такимъ планомъ въ головѣ, съ умомъ логическимъ, выработаннымъ въ настоящей

¹⁾ В. Евр. 1866 г. № 1, 155—194 и Богдановичъ, Исторія царств. Александра I. Т. I, прилож. 88—91.

школѣ, онъ замѣнилъ имъ однимъ прежнихъ совѣтниковъ своихъ, друзей своей молодости, и съ нимъ однимъ, подѣ шумъ европейской войны съ Наполеономъ, въ которой и онъ и Россія принимали участіе, разрабатывалъ планы дальнѣйшихъ преобразованій и будущей конституціи. Лицо это былъ извѣстный Сперанскій, единственный сотрудникъ во второмъ періодѣ преобразовательной дѣятельности Александра до 1812 года, когда отечественная война и потомъ европейскія событія, въ которыхъ мы участвовали, прекратили совершенно эту дѣятельность.

Но это первое время и тѣ первыя вліянія, подѣ которыми Александръ вступилъ на престолъ, обратили его вниманіе къ вопросамъ внутренняго устройства, раскрыли передъ нимъ многія стороны жизни страны, до тѣхъ поръ ему неизвѣстныя, и должны были невольно и естественно возбудить движеніе мысли въ обществѣ, спавшемъ непробуднымъ сномъ. Конечно, оживленіе это было слишкомъ непрочно и случайно; только немногіе сочувствовали и новымъ идеямъ, и новому движенію, масса же общества попрежнему находилась въ бездѣйствіи; но и то уже должно было расшевеливать ее, что движеніе въ жизни исходило отъ правительства, въ которое она столько вѣковъ привыкла вѣровать. Притомъ молодое положеніе въ обществѣ воспитывалось подѣ вліяніемъ этого новаго движенія идей и вносило ихъ въ жизнь; такимъ образомъ совершалось прогрессивное движеніе.

Прогрессивное движеніе русской жизни болѣе всего обязано этому времени Александрова царствованія, потому что въ теченіе его была задумана и приведена въ исполненіе самая полезная, самая долговѣчная и вліятельная мѣра. Это была реформа нашего образованія въ томъ почти общемъ видѣ, въ какомъ существуетъ у насъ оно и теперь, то-есть въ системѣ университетовъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ. Реформа эта, составляющая главную заслугу царствованія Александра, по всей справедливости есть трудъ членовъ его интимнаго комитета, которые понимали такимъ образомъ, въ чемъ заключался главный недостатокъ русской жизни, и что мѣшало ей дальнѣйшему развитію.

Вопросъ о народномъ образованіи поднятъ былъ въ интимномъ комитетѣ Александра въ концѣ 1801 года, когда приготавлилось первое устройство министерствъ, замѣнившихъ собою прежнюю коллегіальную форму. Инициативою въ этомъ дѣлѣ послужила записка, полученная отъ Лагарпа, который предлагалъ для дѣла образованія въ странѣ учредить особый комитетъ подѣ председательствомъ министра. Сотрудники государя доказывали, что у насъ дѣло образованія представляетъ необычайную смѣсь и пестроту, а потому не-

обходимо привести его въ одну систему и организовать по одной идеѣ. Гр. Строгановъ предлагалъ взять въ примѣръ Францію, съ ея системою заведеній для общаго образованія, за которымъ уже слѣдуетъ специальное. Александръ говорилъ, что не все удобно вводить у насъ изъ того, что хорошо за границею, что у насъ существуютъ уже старыя учрежденія, и что къ нимъ надобно присоединять новыя. Тогда положено было образоватъ особую комиссію для этого дѣла. Оно было до того ново для самихъ членовъ комитета, что между ними вышелъ даже смѣшной споръ о томъ, какъ назвать будущее министерство, которое будетъ завѣдывать учеными и учебными учреждениями: министерствомъ ли общественнаго образованія или *воспитанія*? Послѣ долгихъ споровъ остановились на названіи *просвѣщеніе*.

Министерство народнаго просвѣщенія, попеченіямъ котораго ввѣрены были наука и образованіе всей страны, возникло, вмѣстѣ съ прочими министерствами, въ 1802 году. Оно должно было замѣнить собою учрежденную еще при Екатеринѣ въ 1782 году комиссію объ училищахъ, состоявшую съ самаго начала подъ предсѣдательствомъ графа П. В. Завадовскаго. Учрежденіе новаго министерства не упраздняло однако этой комиссіи; она явилась какъ бы органомъ самого министерства, личный составъ ея былъ усиленъ людьми частью изъ интимнаго комитета государя, частью другими, представителями науки и образованія, искренно любившими ихъ. Эти люди работали весьма дѣятельно надъ различными частями своей задачи. Комиссія эта, подъ предсѣдательствомъ министра, должна была прежде всего разработать общій планъ устройства учебной части по всей имперіи. Планъ этотъ былъ готовъ очень скоро и утвержденъ 24 января 1803 года, подъ названіемъ предварительныхъ правилъ народнаго просвѣщенія ¹⁾. Въ этомъ планѣ опредѣлена была вся система ученія, т.-е. роды училищъ, отъ приходскаго училища до университета, ихъ взаимная зависимость и отношеніе ихъ другъ къ другу, ихъ общее устройство и управленіе. Въ нихъ впервые говорилось объ университетахъ, какъ главныхъ разсадникахъ просвѣщенія. Кромѣ существовавшихъ, въ Москвѣ, Вильнѣ и Дерптѣ, должны были быть открыты еще три: въ Петербургѣ, Казани и Харьковѣ; предназначались кромѣ того для университетовъ города: Кіевъ, Тобольскъ, Устюгъ-Великій и другіе, по мѣрѣ способъ. Тогда же учреждались и учебныя округа, и прежняя комиссія училищъ переименовывалась въ „главное правленіе училищъ“, которое, будучи устроено въ коллегіальномъ порядкѣ, подъ предсѣ-

¹⁾. Сб. постановл. по Мин. Нар. Просв. I, 13—21.

дательствомъ министра, дѣлалось совѣщательнымъ и распорядительнымъ его органомъ по дѣлу народнаго просвѣщенія. Люди, бывшіе членами его, были назначены по личному выбору Александра, который захотѣлъ соединить въ немъ и старыхъ Екатерининскихъ дѣятелей и людей новаго поколѣнія, близкихъ къ нему.

Таковъ былъ широкій планъ народнаго просвѣщенія, задуманный и приведенный въ исполненіе близкими къ Александру людьми. Никто въ обществѣ, конечно, кромѣ самаго малаго числа людей, лично заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ, не интересовался имъ; между посторонними умными людьми скорѣе замѣтно было къ нему какое-то недовѣріе. „Университетскія школы о сю пору всѣ въ упадкѣ, пишетъ къ пріятелю своему Македонцу извѣстный Евгений, впоследствии митрополитъ, а тогда префектъ Александро-Невской Академіи. Теперь готовятъ новый университету штатъ и жалованье умножаютъ вдвое. Что-то будетъ!... Но отъ русскихъ профессоровъ, каковы тамъ теперешніе, нельзя лишняго надѣяться“ ¹⁾. „Правила предварительныя о просвѣщеніи хороши, продолжаетъ онъ же, но исполненіе еще далеко. Вспомните, что еще въ 1788 году былъ также указъ о учрежденіи университетовъ, но и о сю пору они не учреждены. Бездѣлицы недостаетъ—людей, могущихъ учить, да денегъ, могущихъ ободрить людей“ ²⁾.

Первымъ по времени министромъ народнаго просвѣщенія былъ у насъ графъ Петръ Васильевичъ Завадовскій (1738—1812). Официальные біографы его: Мартыновъ, директоръ департамента народнаго просвѣщенія при немъ ³⁾, Янъ Снядецкій, ректоръ Виленскаго университета ⁴⁾, затѣмъ Сухомлиновъ ⁵⁾ и официальный историкъ царствованія Александра, генералъ Богдановичъ, слишкомъ много приписываютъ этому лицу въ дѣлѣ народнаго образованія и долго останавливаются на немъ. Завадовскій въ ту пору былъ уже старъ и послѣ долгой и исполненной разныхъ тревоженій жизни, едва ли былъ способенъ къ дѣятельности, требовавшей свѣжихъ силъ. Судьба его, какъ многихъ людей Екатерининскаго времени, замѣчательна. Завадовскій былъ сыномъ казака или священника въ Малороссіи, именно въ Черниговской губерніи. Дѣдъ его, подкоморій Ширай, отдалъ его учиться въ іезуитское училище въ Оршу, откуда онъ

¹⁾ Р. Арх. 1870, 812. Выдержки изъ писемъ Евгения къ Васил. Игн. Македонцу.

²⁾ Ibid. 821.

³⁾ Сынъ Отеч. 1831 г. № 19, 238-257.

⁴⁾ Dziela, 1837., t. III.

⁵⁾ Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе имп. Ал. I. Исслѣдованія и статьи, т. I.

поступилъ въ Кіевскую духовную академію. Завадовскій получилъ такимъ образомъ богословское образованіе того времени, а въ іезуитскомъ училищѣ и въ академіи онъ хорошо познакомился съ языкомъ латинскимъ, почему и слылъ при дворѣ Екатерины за человѣка ученаго. Гельбигъ рассказываетъ, что отецъ привезъ его въ Петербургъ на службу и оставилъ жить въ домѣ земляка своего, графа Разумовскаго, гдѣ онъ и знаменитый впослѣдствіи Безбородко, который былъ моложе его десятью годами, жили, какъ бѣдные люди, чѣмъ-то въ родѣ служителей. Разумовскій помѣстилъ ихъ обоихъ къ фельдмаршалу графу Румянцеву, подъ начальствомъ котораго Завадовскій сначала состоялъ въ военной службѣ, а потомъ былъ вмѣстѣ съ Безбородкомъ однимъ изъ главныхъ дѣльцовъ въ канцеляріи фельдмаршала. Когда Екатерина просила Румянцева рекомендовать ей кого-нибудь въ кабинетъ-секретари, Румянцевъ прислалъ ей Завадовскаго и товарища его, Кузьмина. Одно изъ важныхъ достоинствъ Завадовскаго для того времени состояло въ томъ, что онъ былъ очень красивъ собою и Екатерина замѣтила это. Румянцевъ рекомендовалъ его въ 1775 году, а уже въ концѣ этого года онъ сдѣлался официально ея любимцемъ, хотя она и скрывала эти отношенія отъ Потемкина. Впрочемъ „фаворъ“, какъ говорили тогда, Завадовскаго не продолжался и двухъ лѣтъ, хотя онъ успѣлъ сдѣлаться графомъ, получить болѣе 100 т. крестьянъ и великолѣпное имѣніе въ Черниговской губерніи, прозванное имъ Екатеринодаромъ, съ домомъ-дворцомъ, выстроеннымъ собственно для него на казенныя деньги. Пользуясь своею силою и значеніемъ при дворѣ, Завадовскій увеличивалъ свои имѣнія и насиліемъ: онъ присваивалъ себѣ монастырскія земли и отнималъ земли у сосѣдей. Когда при Екатеринѣ смѣнилъ его новый фаворитъ Зоричъ, Завадовскій былъ единственнымъ изъ всѣхъ ея фаворитовъ, который продолжалъ ѣздить ко двору и не потерялъ значенія. Онъ былъ главнымъ директоромъ государственнаго банка. Какъ человѣкъ, слышій ученымъ, онъ долженъ былъ изготовлять указы и манифесты, и дѣловой слогъ его вообще хвалили. Въ качествѣ ученаго же, ему предоставлено было предсѣдательство въ Комиссіи народныхъ училищъ. Павелъ сначала благоволилъ къ Завадовскому и сдѣлалъ его даже опекуномъ графа Бобринскаго, несмотря на то, что послѣдній былъ женатъ и самъ имѣлъ дѣтей, но потомъ сослалъ его въ деревню, подъ строгій надзоръ полиціи. Александръ возвратилъ ему всѣ прежнія его должности и сдѣлалъ его министромъ, но вовсе не по признаннымъ заслугамъ его, а въ угожденіе старикамъ Екатерининскимъ. Вотъ любопытный отзывъ самого Александра о Завадовскомъ въ письмѣ къ Лагарпу, который былъ недоволенъ этимъ назначеніемъ: „Сожалѣнія ваши о на-

значеніи Завадовскаго министромъ Народнаго Просвѣщенія весьма бы уменьшились, еслибъ вамъ была извѣстна организація его министерства. Это совѣтъ, состоящій изъ Муравьева, Клингера, Чарторыскаго, Новосильцева и другихъ, который всѣмъ управляетъ; нѣтъ ни одной бумаги, которая не была бы ими обработана, нѣтъ человѣка, не назначеннаго ими. Частыя сношенія мои, въ особенности съ двумя послѣдними (т.-е. съ Чарторыскимъ и Новосильцевымъ), мѣшаютъ министру ставить какія-либо преграды тому добру, которое мы стараемся дѣлать. Вообще, мы сдѣлали его снисходительнымъ до нельзя, настоящею овцою; наконецъ онъ ничтоженъ и посаженъ въ министры только для того, чтобы не кричалъ, что отстраненъ" ¹⁾. Изъ этого видно, какое дѣятельное личное участіе принималъ Александръ въ дѣлѣ и успѣхахъ молодого нашего просвѣщенія.

Вторымъ лицомъ въ этомъ министерствѣ былъ воспитатель Александра уже упомянутый нами М. Н. Муравьевъ. Онъ сдѣланъ былъ и попечителемъ Московскаго университета и товарищемъ министра. Несмотря на особую любовь свою къ классической филологіи, онъ не былъ однако исключительнымъ и, получивъ широкое образованіе, одинаково любилъ науки. Его кратковременная дѣятельность, какъ попечителя Московскаго университета (1803 — 1807), весьма замѣчательна въ исторіи этого университета. Подъ его наблюденіемъ университетъ былъ преобразованъ согласно новому уставу, и въ этомъ преобразованіи Муравьевъ самъ принималъ живое и дѣятельное участіе. Главный существенный недостатокъ преобразованнаго и вновь учрежденныхъ университетовъ состоялъ въ отсутствіи необходимаго числа профессоровъ для того, чтобы университетъ представлялъ собою дѣйствительно полноту наукъ и соответствовалъ тому понятію о высшемъ образовательномъ заведеніи, которое сложилось въ исторической жизни Европы. Муравьевъ вызвалъ въ Московскій университетъ во время своего управленія нѣсколько замѣчательныхъ профессоровъ изъ-за границы; этому помогли личныя сношенія Муравьева съ европейскими учеными. Его имя сдѣлалось извѣстно въ Европѣ. Эти вызванные изъ-за границы ученые должны были обра-

¹⁾ Сborn. Русск. Ист. Общ. V, 59. Vos regrets sur la nomination de Zavadovsky à la place de Ministre de l'Instruction publique, seraient diminués, si vous étiez au fait de l'organisation de son Ministère. Il est nul. C'est un conseil composé de Mouravief, Klinguer, Czartoryski, Novosiltzoff etc. qui regit tout, il n'y a pas un papier qui ne soit travaillé par eux, pas un homme qui ne soit placé par eux. La fréquence de mes rapports avec les deux derniers surtout, empêche le ministre d'apposer le moindre obstacle au bien que nous tachons de faire. Au reste, nous l'avons rendu coulant au possible, un vrai mouton, enfin il est nul et n'est dans le ministère que pour ne pas crier s'il en fût exclu.

зовать новое поколѣніе молодыхъ русскихъ профессоровъ, о чемъ такъ сильно заботился Муравьевъ. По его мысли отправлено было нѣсколько лучшихъ молодыхъ людей изъ Московскаго университета для приготовленія къ профессорскому званію; въ судьбѣ ихъ Муравьевъ принималъ дѣятельное участіе; онъ близокъ былъ съ ними, переписывался съ ними, помогалъ ихъ работамъ и путешествіямъ ¹⁾. Особо оживленіе университету придали ученія общества, основаніе которыхъ даже вызывалось новымъ уставомъ. По мысли Муравьева и при его дѣятельномъ участіи учреждено было извѣстное „Общество исторіи и древностей Россійскихъ“, труды и изданія котораго принесли такую громадную пользу разработкѣ отечественной исторіи.

Изъ остальныхъ членовъ Главнаго Правленія Училищъ въ первое время учрежденія министерства мы укажемъ, во-первыхъ, на личныхъ друзей Александра: Строганова, Новосильцева, Чарторыскаго, которымъ самъ государь предназначалъ дѣятельную роль въ новомъ министерствѣ. Изъ нихъ Новосильцевъ былъ попечителемъ С.-Петербургскаго округа, а Чарторыскій—Виленскаго. Въ первое время послѣдній оказывалъ большое содѣйствіе трудами своими Главному Правленію Училищъ. Ему собственно принадлежитъ планъ устройства учебныхъ заведеній во всей Имперіи, которымъ руководствовались члены. Какъ попечитель Виленскаго университета и округа, Чарторыскій, въ качествѣ польскаго патріота, задался идеею колонизаціи края, сдѣлался проводникомъ чисто польскихъ патріотическихъ началъ и стремленій. На этомъ поприщѣ, въ концѣ царствованія Александра, ему пришлось столкнуться съ прежнимъ другомъ своимъ Новосильцевымъ, которому поручено было разрушить или, по крайней мѣрѣ, ослабить задушевное дѣло Чарторыскаго въ Виленскомъ университетѣ.

Совсѣмъ другую польскую личность въ Главномъ Правленіи Училищъ представляетъ первый попечитель Харьковскаго университета, графъ Северинъ-Потоцкій. Заслуги его по водворенію просвѣщенія въ край, которымъ онъ призванъ былъ управлять въ учебномъ отношеніи, были чрезвычайно велики и должны быть съ благодарностью помнянуты въ исторіи просвѣщенія нашего отечества. Чуждый исключительно польскихъ тенденцій, въ чемъ нельзя не обвинить Чарторыскаго, Потоцкій считалъ распространеніе наукъ и образованія своимъ истиннымъ призваніемъ, дѣломъ души своей и убѣжденій. Онъ самъ былъ чрезвычайно образованный человекъ и съ искреннимъ участіемъ относился къ каждой наукѣ и поощрялъ ее; что воз-

¹⁾ Письма профессоровъ къ Муравьеву. Чтенія въ Общ. ист. и древн. Росс. 1861, кн. III, 22—72.

буждало и оживляло дѣятельность въ молодомъ университетѣ. Въ особенности онъ усердно заботился объ образованіи и приобрѣтеніи для него преподавателей, среди которыхъ встрѣчались и русскія имена; что было тогда большою рѣдкостью. Его рѣчи на торжественныхъ актахъ университета, въ которыхъ онъ такъ много говорилъ о наукѣ и ея значеніи, ставили университетъ въ близкое отношеніе къ обществу, которое приучалось цѣнить и уважать его. Этому способствовало положеніе Потоцкаго въ обществѣ, гдѣ онъ являлся лицомъ вліятельнымъ по своему происхожденію, богатству, уму и блестящему образованію. „Свободный отъ всякаго рода предразсудковъ, чуждаясь сословной исключительности, онъ чуждъ былъ и религіознаго фанатизма“, говоритъ о немъ г. Сухомлиновъ. „Вельможа и католикъ, онъ посѣщалъ хаты сельскихъ учителей и былъ усерднымъ ходатаемъ о лицахъ православнаго духовенства, сколько-нибудь послужившихъ дѣлу народнаго образованія. Если бы идеалы были возможны въ дѣйствительной жизни, Потоцкаго слѣдовало бы назвать идеаломъ попечителя, какъ понималось это званіе первымъ уставомъ русскихъ университетовъ. Попеченіе Потоцкаго объ университетѣ выразилось именно въ тѣхъ формахъ, которыя одѣ, не стѣсняя и не подавляя университета, содѣйствуютъ его движенію и процвѣтанію. Не вмѣшиваясь во всѣ нити администраціи, не нарушая автономіи, безъ которой университетская жизнь то же, что тѣло безъ души, Потоцкій былъ достойнымъ вождемъ университета, открывалъ ему способы къ развитію ученой дѣятельности и былъ дѣйствительнымъ представителемъ его“¹⁾.

Прочіе члены Главнаго Правленія Училищъ были болѣе или менѣе извѣстны тогда въ наукѣ и литературѣ. Таковы, напр., попечитель Дерптскаго университета, генераль-маіоръ Клинггеръ (1753—1831), извѣстный нѣмецкій писатель по части романовъ и комедій. Онъ былъ чтецомъ при Павлѣ, когда тотъ былъ наслѣдникомъ престола. Первымъ попечителемъ Казанскаго университета былъ Румовскій, указанный и выбранный, какъ человѣкъ съ талантомъ, изъ студентовъ Невской Академіи еще Ломоносовымъ, который замѣтилъ въ немъ любовь къ наукѣ и взялъ его въ Академію Наукъ. Учился онъ математикѣ у Эйлера въ Берлинѣ и потомъ былъ въ Академіи Наукъ профессоромъ астрономіи. Онъ извѣстенъ учеными астрономическими путешествіями въ восточную Сибирь, разными мемуарами, трудами по россійской словесности и переводомъ Тацита.

Изъ старыхъ дѣятелей по просвѣщенію членомъ Гл. Пр. Училищъ былъ Яковичъ де Мирево, ученый австрійскій сербъ, вызванный въ Россію Бецкимъ; онъ приобрѣлъ видное мѣсто въ исторіи

¹⁾ Сухомлиновъ. Исслѣдованія и статьи, т. I, стр. 25.

просвѣщенія устройствомъ у насъ при Екатеринѣ народныхъ училищъ. Правителемъ дѣлъ департамента и тоже членомъ Главнаго Правленія Училищъ былъ И. И. Мартыновъ, родомъ малороссъ, получившій свое образованіе въ Невской Академіи. Мартыновъ извѣстенъ какъ переводчикъ греческихъ классиковъ, но онъ зналъ и другіе языки, былъ знакомъ съ естественными науками, переводилъ по этой отрасли знаній, составлялъ словари и учебники, издавалъ два журнала, въ которыхъ высказывалось полное сочувствіе къ реформамъ Александра, и былъ вообще всесторонне-образованный человекъ. Какъ дѣлопроизводитель, Мартыновъ сочинялъ всѣ уставы министерства и былъ близокъ къ Завадовскому.

Были два члена изъ Академіи Наукъ: одинъ русскій ученый—Озерецковскій, путешествовавшій съ гр. Бобринскимъ за границей и учившійся въ Страсбургѣ и Лейденѣ, гдѣ онъ получилъ степень доктора медицины, и нѣмецъ Фусъ, ученикъ Эйлера и Бернулли—представитель чистой математики въ Академіи Наукъ и потомъ долго ея непремѣнный секретарь.

Вотъ тѣ личности, которымъ было ввѣрено дѣло просвѣщенія и науки въ первые годы царствованія Александра. Имена ихъ должны быть помнаны въ исторіи нашего образованія по результатамъ ихъ дѣятельности.

ЛЕКЦІЯ VI.

Заботы Главнаго Правленія Училищъ о развитіи просвѣщенія въ Россіи. — Уставы Университетовъ 1804 г.—Студенты и русскіе профессора въ Университетахъ Московскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ.

Членамъ Главнаго Правленія Училищъ, которымъ ввѣрено было Александромъ дѣло образованія и просвѣщенія страны, предстояла усиленная дѣятельность. Программа этой дѣятельности высказана въ упомянутыхъ мною предварительныхъ правилахъ народнаго просвѣщенія. Они должны были преобразовать старыя или открыть новыя университеты, завести множество среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, вовсе не существовавшихъ во многихъ городахъ, двинуть, однимъ словомъ, впередъ все просвѣщеніе народа и вложить въ него новыя начала, которыя соответствовали бы требованіямъ жизни и духу времени. Это первое время существованія министерства, время управленія имъ Завадовскаго, вообще отличается организаторскою дѣятельностію. Конечно, самымъ важнымъ и главнымъ предметомъ вниманія новаго министерства должны были сдѣлаться и дѣйстви-

тельно были университеты. Они должны были быть центрами просвѣщенія въ глухихъ мѣстностяхъ, гдѣ предполагалось ихъ учрежденіе; они должны были служить разсадниками просвѣщенія; отъ нихъ зависѣла цѣлая масса подчиненныхъ училищъ, и они же ставились въ очень близкое отношеніе къ обществу, въ жизнь котораго, кромѣ знанія, вносили новыя формы и обычаи, незнакомыя прежде.

Наши университеты, вліяніе которыхъ на воспитаніе общества не подлежитъ, конечно, никакому сомнѣнію, не были продуктами саморазвивающейся общественной жизни, потребности науки и стремленія къ ней. Ни въ какомъ случаѣ не могли они походить на тѣ средневѣковыя памятники—университеты, на судьбахъ, устройствѣ и нравахъ которыхъ такъ ярко отражается многовѣковая жизнь общества. Наши университеты—продукты новаго развитія и не общественной, а государственной потребности, а потому правительству обязаны они своимъ возникновеніемъ и существованіемъ. Со временъ Петра онѣ хлопотало о разсадникахъ образованныхъ и годныхъ людей для развивающейся государственной жизни. Но передъ началомъ XIX вѣка у насъ существовалъ только одинъ Московскій университетъ, основанный въ половинѣ XVIII вѣка по мысли и при участіи въ составленіи его устава Ломоносова, по образцу, хотя и въ слабomъ видѣ, средневѣковыхъ германскихъ университетовъ, хорошо знакомыхъ Ломоносову. Екатерининская комиссія училищъ, въ которой главную роль игралъ Бецкій, проектировала было съ своей стороны нѣсколько новыхъ университетовъ въ Россіи; Потемкинъ тоже задумывалъ основать университетъ на югѣ Россіи; но все это осталось безъ осуществленія. Въ послѣдніе гоцы жизни Екатерина стала подозрительно смотрѣть на науку и просвѣщеніе; она пугалась мысли, да, кромѣ того, частыя и продолжительныя войны и безпрестанныя смѣны любимцевъ стоили государству и націи очень много денегъ, такъ что нельзя было думать о новыхъ и дорогихъ реформахъ.

Движеніе мысли въ наукѣ и литературѣ, широкое и свободное въ XVIII вѣкѣ, за которымъ послѣдовали такъ быстро политическіе перевороты, общее преслѣдованіе подъ вліяніемъ идей XVIII вѣка и, наконецъ, совершенное изгнаніе изъ всѣхъ государствъ Іезуитовъ, имѣвшихъ до тѣхъ поръ въ рукахъ своихъ дѣло общественнаго воспитанія,—обратили особенное вниманіе, и мыслителей и государственныхъ людей на дѣло народнаго образованія. Оно стало считаться теперь государственнымъ дѣломъ; прежнія средневѣковыя формы его и условія не удовлетворяли новымъ идеямъ и новой жизни съ ея потребностями. Написано было нѣсколько плановъ общаго устройства народнаго просвѣщенія въ государствѣ, въ которыхъ всѣ учебныя заведенія являлись школами, приготовляющими другъ для друга,

тѣсно связанными между собою, и всѣ служили государству. Всѣ желали, чтобъ образованіе въ странѣ носило однообразный и національный характеръ. Таковъ былъ планъ знаменитаго французскаго министра при Людовикѣ XV—Тюрго (1775); тѣмъ же характеромъ проникнуть и планъ, представленный Кондорсе въ 1792 году французскому законодательному собранію. Этотъ послѣдній планъ былъ знакомъ членамъ нашего Главнаго Правленія Училищъ и принять былъ въ соображеніе, но ошибочно было бы думать, что съ нашей стороны было только подражаніе. Общая система учебныхъ заведеній и общая зависимость ихъ другъ отъ друга была общею идеею времени. Всѣ училища находились подъ вѣдѣніемъ университетовъ; послѣдніе готовили преподавателей во всѣ мѣста, отъ университета зависѣвшія, ревизовали ихъ чрезъ своихъ членовъ и т. п.

Составленіе университетскихъ уставовъ требовало много труда и обдуманности. Члены Главнаго Правленія Училищъ не могли въ этомъ дѣлѣ положиться только на свои свѣдѣнія и опытность; они хотѣли, пополнить ихъ со всѣхъ сторонъ. Они были знакомы вообще съ литературою этого вопроса и обращались за совѣтами къ специалистамъ этого дѣла, къ нѣмецкимъ ученымъ и профессорамъ. Ихъ мнѣнія, высказанныя и прежде въ литературѣ, подвергались тщательному обсужденію. Въ числѣ этихъ заграничныхъ ученыхъ въ особенности замѣчательны и по вліянію своихъ сочиненій, посвященныхъ преимущественно исторіи образованія и реформъ нѣмецкихъ университетовъ, и по непосредственнымъ сношеніямъ съ составителями нашихъ университетскихъ уставовъ, геттингенскій профессоръ Мейнерсъ. Въ университетскомъ вопросѣ Мейнерсъ отличался свободнымъ, свѣтлымъ взглядомъ и, если его взгляды и мнѣнія имѣли какое-нибудь вліяніе на составителей нашихъ уставовъ, то, конечно, первоначальное устройство нашихъ молодыхъ университетовъ обязано Мейнерсу многими хорошими сторонами своими, напр., свободою преподаванія, которая такъ грубо потомъ была нарушена во вторую половину царствованія Александра I. Выборное начало, которое потомъ часто, къ сожалѣнію, примѣнялось не къ чести и не къ пользѣ университета, было порицаемо Мейнерсомъ, а такое положеніе попечителей, при которомъ они не могли бы нарушать своимъ вмѣшательствомъ автономіи университетской жизни, и свободныя отношенія корпораціи студентовъ, рекомендовались имъ. Мысли Мейнерса были очень здравы и очень важны, но ими не пользовались безусловно, а подвергали ихъ строгой и осмотрительной критикѣ; все то, что было несогласно съ условіями нашей жизни—не было принято.

На глазахъ у составителей уставовъ былъ и прежній опытъ въ русской жизни, прежнія рѣшенія этого вопроса. Такъ при Екатеринѣ

еще былъ очень отчетливо разработанъ планъ будущихъ русскихъ университетовъ. Передъ ними былъ уже существующій, оправданный исторіей образецъ—университетъ Московскій; предполагаемымъ университетамъ въ XVIII вѣкѣ желали придать народный характеръ преподаваніемъ на языкѣ отечественномъ и замѣщеніемъ каедръ русскими профессорами, но главная основа преподаванія должна была заключаться въ изученіи классическаго міра. Къ чести этого стараго Екатерининскаго плана слѣдуетъ упомянуть, что и онъ признавалъ свободу преподаванія необходимымъ условіемъ университетской жизни и не дѣлалъ препятствій для вступленія въ университетъ ни въ возрастѣ, ни въ сословіи. Это должно было быть открытое, всѣмъ доступное заведеніе.

Такимъ образомъ новые уставы университетовъ разрабатывались членами Правленія Училищъ не на основаніи одной реформаторской горячки, а болѣе разумнымъ образомъ: передъ ними были и современныя европейскіе труды по университетскому вопросу и опыты прежнихъ лѣтъ въ самой Россіи. Самое большое участіе въ написаніи уставовъ университетскихъ принимали академики—Фусъ и Озерцовскій, а связь университета съ подчиненными ему учебными заведеніями, отъ гимназій до сельскаго училища, и устройство всѣхъ ихъ разработаны были Екатерининскимъ педагогомъ Янковичемъ де Мирево. Уставы трехъ собственно русскихъ университетовъ: Московскаго, Харьковскаго и Казанскаго были утверждены 5 ноября 1804 года.

Намъ нѣтъ надобности входить въ подробное разсмотрѣніе этихъ уставовъ, которые положили начало у насъ высшему образованію, не существовавшему прежде, кромѣ университета Московскаго. Намъ достаточно указать въ нихъ ту разницу, которая отличала ихъ отъ уставовъ настоящаго времени, и тѣ мѣры, которыя заключались въ нихъ, чтобъ вызвать въ обществѣ любовь къ наукѣ и стремленіе къ высшему образованію. Въ университетѣ были тѣ же четыре факультета, что и теперь, но въ нихъ не было ни подраздѣленій, ни полнаго состава каедръ, вызваннаго научнымъ развитіемъ послѣдующаго времени. Тогдашній университетъ имѣлъ, повидимому, больше правъ: совѣтъ былъ высшею инстанціею по дѣламъ учебнымъ и судебнымъ, касательно подчиненныхъ ему лицъ и мѣстъ; на его рѣшенія можно было жаловаться только въ Сенатъ. Уставъ, такимъ образомъ, съ идеальной точки зрѣнія первыхъ годовъ царствованія Александра, предполагалъ въ лицахъ, призываемыхъ къ преподаванію высшихъ наукъ, полное безпристрастіе и большія нравственныя достоинства. Этому совѣту университета предоставлено было право цензуры надъ всѣми выходящими въ его округѣ сочиненіями; въ

членахъ его предполагалось и достаточно знаній, и достаточно уваженія къ мысли, чтобъ быть цензорами въ томъ смыслѣ, какъ послѣдніе тогда понимались. Главною цѣлью уставовъ, по отношенію къ профессорамъ, было вызвать къ жизни науку, поселить къ ней уваженіе. Имъ предоставлена была полная свобода преподаванія. Собраніямъ университетскаго совѣта уставъ старался придать ученый или научный характеръ. Онъ требовалъ, напр., чтобъ каждый мѣсяцъ устраивалось такое собраніе, въ которомъ профессора и почетные члены разсуждали бы о сочиненіяхъ, новыхъ открытіяхъ, опытахъ, наблюденіяхъ и изслѣдованіяхъ, по предложенію ректора или кого-либо изъ членовъ. Обязанность профессоровъ заключалась въ томъ, чтобы читать лекціи лучшимъ и понятнѣйшимъ образомъ; они должны были пополнять ежегодно свои курсы тѣми открытіями, которыя дѣлались въ европейской наукѣ. Заботясь, такимъ образомъ, о расширеніи научной дѣятельности профессоровъ, о томъ, чтобъ вызвать въ нихъ самихъ любовь къ своему призванію, уставъ противорѣчилъ самому себѣ, давая университету еще обязанность управленія подвѣдомственными ему заведеніями, предоставляя ему опредѣленіе учителей и пр., наконецъ цензуру. Все это не научное содержаніе профессорскихъ обязанностей должно было отвлекать ихъ отъ прямого ихъ призванія, развивать въ нихъ стремленія, чуждыя наукѣ. Мейнерсъ, въ своихъ идеяхъ о реформѣ нѣмецкихъ университетовъ, не допускалъ за совѣтомъ даже права избранія своихъ членовъ посредствомъ баллотировки, основываясь на томъ, что большинство членовъ совѣта остается равнодушно къ выборамъ, а меньшинство не всегда дѣйствуетъ безпристрастно, руководясь личными расчётами и намѣренно удаляя опаснаго соперника. Уставъ 1804 года поступилъ иначе: и право избранія, и широкую долю самоуправленія онъ предоставилъ нашимъ университетскимъ совѣтамъ, относясь къ нимъ съ уваженіемъ и не раздѣляя мыслей нѣмецкаго профессора, которому ближе было знакомо дѣло по собственному опыту.

Студенты, которымъ предоставлено было носить мундиръ и шпагу, составляли, по уставу 1804 года, корпорацію, вполне зависимую отъ суда университета, и подчинялись только правиламъ, изданнымъ имъ; отъ всякаго вмѣшательства въ ихъ дѣла и отношенія, напр. городской полиціи, ревниво оберегало ихъ свое начальство. Связь ихъ съ профессорами требовалась даже уставомъ, который устанавливалъ бесѣды между профессорами и студентами, бесѣды научныя, гдѣ профессора обязаны были исправлять сужденія студентовъ и самый образъ ихъ выраженія и приучать ихъ основательно и свободно изъяснять свои мысли.

Уставъ требовалъ, чтобъ университетъ сближался съ обществомъ

и развивалъ бы такую учено-литературную дѣятельность, въ которой могло бы принимать участіе и общество. Съ этою цѣлью университетъ, могъ открывать при себѣ ученыя общества, задавать темы для сочиненій и награждать ихъ преміями. Согласно характеру и направленію того времени, при всѣхъ университетахъ вскорѣ открылись литературныя общества, существовавшія долго.

Что касается до наукъ, предполагаемыхъ къ преподаванію въ университетахъ по уставу 1804 года, то въ этомъ отношеніи члены Главнаго правленія училищъ шли за современностью, какъ она существовала въ европейскихъ университетахъ, но были сдѣланы уступки и требованія тогдшняго общества, не понимавшаго значенія науки въ жизни и съ неудовольствіемъ смотрѣвшаго на лишніе годы университетскаго курса, какъ на безполезную помѣху къ скорѣйшему открытію для молодаго человѣка служебной карьеры. „Вы все дожидаетесь открытія Харьковскаго университета, пишетъ въ 1804 году Евгеній къ другу своему Македонцу, но и открытые едва дышатъ о сѣ пору. Ни учить, ни учиться некому. Посудите, у насъ въ модѣ записывать дѣтей на службу съ 15 лѣтъ; а университетскій курсъ самъ по себѣ требуетъ лѣтъ десяти прохожденія (т.-е. съ гимназіей). Кто же будетъ дожидаться конца его? Науки мысленныя у насъ еще не въ модѣ. Да и обо всѣхъ почти наукахъ твердятъ Иппократово слово: *Ars longa, vita brevis, occasio momentosa, experientia periculosa*. Родимся же мы на свѣтъ не умствовать, а дѣйствовать“¹⁾). Дворянство русское, съ тѣхъ поръ какъ Петръ Великій призвалъ его къ дѣятельной службѣ государству, всегда предпочитало службу военную, а такъ какъ болѣшинство молодыхъ людей, поступавшихъ въ русскіе университеты того времени, принадлежало къ этому сословію, то и предполагено было открытіе каедры военныхъ наукъ. Это было тѣмъ болѣе естественно, что дворянство, напр., Харьковской губерніи прямо заявило, что оно жертвовало значительныя суммы на университетъ. Харьковскій въ той увѣренности, что въ немъ будутъ преподаваться военныя науки, необходимыя для дворянина. Съ другой стороны, предполагено было и открытіе въ университетахъ богословскаго факультета, по примѣру университетовъ европейскихъ, но предположеніе это, какъ и слѣдовало ожидать, нашло противодѣйствіе въ Св. Синодѣ, который сохранилъ богословіе для своихъ духовныхъ заведеній.

Приведеніе въ дѣйствіе новыхъ университетскихъ уставовъ возложено было на попечителей; имъ предстояла очень трудная и многосложная задача въ борьбѣ съ неприготовленнымъ и невѣжественнымъ обществомъ. Особенно трудно было въ этомъ отношеніи положеніе

¹⁾ Р. Арх. 1870, 838.

попечителей въ Харьковѣ и Казани, тогда какъ попечителю московскому Муравьеву было сравнительно легче въ Москвѣ, гдѣ уже полвѣка существовалъ университетъ. Кругомъ ихъ была общественная среда, которая смутно сознавала и даже вовсе не сознавала потребности университетскаго образованія. „Не чувствуя благотворнаго вліянія наукъ или имѣя о нихъ самое темное понятіе, пишетъ министру попечитель Харьковского университета, графъ Северинъ Потоцкій, не радѣли они (т.-е. харьковскіе дворяне) о воспитаніи дѣтей своихъ, будучи лишены всѣхъ нужныхъ въ тому средствъ; они лучше соглашались записать ихъ въ службу, оставя навсегда необразованными, нежели продолжать науки и усовершенствовать ихъ знанія: они не могутъ рѣшиться дозволить дѣтямъ своимъ выше четырнадцатилѣтняго возраста посѣщать гимназіи, которыя впрочемъ не приведены еще въ желаемое состояніе. Поэтому, если бы университетъ сохранилъ въ строгомъ смыслѣ всѣ правила, которыми долженъ руководствоваться въ приѣмѣ студентовъ, то онъ не имѣлъ бы нынѣ ни одного студента, и цѣлому поколѣнію пришлось бы заградить путь къ образованію. Убѣждаясь такими причинами, я нахожусь вынужденнымъ учредить при университетѣ приготовительный курсъ, въ которомъ молодые люди пріобрѣтутъ достаточныя свѣдѣнія къ слушанію высшихъ наукъ“. Это и было приведено въ исполненіе. Въ Казани, для того, чтобы въ университетъ могли поступить съ открытіемъ его студенты, сочли нужнымъ воспитывать въ гимназіи на казенный счетъ сорокъ воспитанниковъ, съ обязательствомъ съ ихъ стороны сдѣлаться студентами. Какъ мало были приготовлены эти, вновь поступившіе въ Казанскій университетъ въ 1805 году студенты, можно видѣть изъ извѣстныхъ „Воспоминаній“ Аксакова.

Если такъ трудно было наполнить молодые университеты студентами, то еще труднѣе было замѣстить кафедры и найти для нихъ достойныхъ преподавателей. На первыхъ порахъ, до образованія университетскихъ совѣтовъ, это затруднительное дѣло было возложено Главнымъ Правленіемъ Училищъ на попечителей. Всѣ три попечителя русскихъ университетовъ: и Муравьевъ, и Потоцкій и Румовскій, были дѣятельны въ этомъ отношеніи и доставили новымъ университетамъ нѣсколько замѣчательныхъ и полезныхъ профессоровъ, получившихъ извѣстность въ наукѣ. Конечно, выборъ былъ не всегда удаченъ, встрѣчались ошибки, но на первыхъ порахъ онѣ были неизбежны. Стоитъ только вспомнить это время, когда только что зарождалась въ Россіи университетская жизнь, чтобы понять, что единственными людьми знанія, способными занять профессорское мѣсто въ университетѣ, могли быть или лица, приготовленные къ тому Московскимъ университетомъ, или независимы отъ него отдѣльныя

личности, сколько-нибудь извѣстныя въ наукѣ и литературѣ. Но университетъ Московскій и самъ нуждался въ преподавателяхъ, а науки и просвѣтительной литературы вовсе не было. Духовныя академіи наши приготовляли только схоластиковъ для спеціальныхъ своихъ цѣлей. Поэтому, естественно, на первыхъ порахъ пришлось обратиться за профессорами къ богатому наукой міру европейскому, и сначала перевѣсъ иностранныхъ профессоровъ преобладалъ, но потомъ отношеніе измѣнялось въ пользу русскаго элемента. Всѣхъ счастливѣе въ этомъ отношеніи былъ университетъ Московскій, гдѣ дѣятельность Муравьева и богатые средства самого университета скоро доставили возможность образовывать новое поколѣніе русскихъ ученыхъ. „Иначе нельзя завести своихъ профессоровъ, пишетъ Муравьевъ въ своихъ „Запискахъ“, какъ посылая ихъ въ чужіе края, чтобъ они выучились тамъ своимъ правамъ, трудолюбію и обязанностямъ“ ¹⁾. Тогда образовались извѣстные профессора: Чеботаревъ, Двигубскій, Мудровъ и др., и при непосредственномъ участіи самого Муравьева—извѣстный критикъ, эстетикъ и замѣчательный поэтический талантъ — профессоръ російской словесности — Мерзляковъ, имѣвшій значительное вліяніе на литературу, группировавшуюся около университета.

Въ Харьковскомъ университетѣ мы встрѣчаемъ съ перваго года его открытія нѣсколько русскихъ именъ, профессорская дѣятельность которыхъ осталась не безъ вліянія на дальнѣйшую судьбу этого университета. Таковы были: Рижскій, профессоръ російской словесности, и Осиповскій, профессоръ чистой математики. Рижскій, первый ректоръ Харьковского университета, человекъ весьма солиднаго и разносторонняго образованія и обширныхъ знаній, авторъ „Реторики“, „Введенія въ кругъ словесности“ и др. сочиненій, которыя были приняты какъ руководства при преподаваніи словесности и въ другихъ университетахъ, до профессорства былъ выбранъ Російской Академіей въ свои члены, что и указало на него Потоцкому, пригласившему Рижскаго въ Харьковъ. Осиповскій получилъ свое образованіе первоначально во владимірской семинаріи, а потомъ въ петербургской учительской гимназіи, переименованной въ 1786 году въ Педагогическій институтъ, гдѣ онъ впоследствии сдѣлался самъ профессоромъ. Съ этой должности, по приглашенію Потоцкаго, Осиповскій отправился въ Харьковъ. Здѣсь служилъ онъ болѣе двадцати лѣтъ, напечаталъ нѣсколько сочиненій, уважаемыхъ въ наукѣ, и образовалъ нѣсколько поколѣній студентовъ математическаго факультета; въ числѣ ихъ былъ извѣстный математикъ Остроградскій.

¹⁾ Шевыревъ. Ист. Моск. Унив. 344—345.

Третьимъ замѣчательнымъ лицомъ Харьковскаго университета былъ профессоръ русской исторіи, извѣстный авторъ „Опыта повѣствованія о древностяхъ російскихъ“, книги, которая и теперь имѣетъ значеніе въ литературѣ,—Гавріилъ Успенскій. Первоначальное образованіе получилъ онъ въ сѣвской семинаріи, а потомъ, подобно Осиповскому, учился въ петербургской учительской гимназіи, откуда, по окончаніи курса, получилъ мѣсто учителя главнаго народнаго училища (гимназіи) въ Воронежѣ. Отсюда приглашенъ онъ былъ въ Харьковскій университетъ, гдѣ читалъ много самыхъ разнообразныхъ предметовъ, пользуясь общимъ уваженіемъ и дружбою извѣстныхъ ученыхъ и писателей.

Не такъ былъ счастливъ, въ началѣ своего существованія, Казанскій университетъ въ выборѣ русскихъ профессоровъ. Здѣсь не было ни одного имени, которое бы осталось въ наукѣ. Сколько нибудь выдающеяся личностью былъ первый профессоръ русской исторіи, Илья Яковкинъ. Первоначальное образованіе получилъ онъ въ вятской семинаріи, а потомъ учился въ учительской гимназіи въ Петербургѣ, въ которой самъ былъ учителемъ. Яковкинъ извѣстенъ составленіемъ и переводомъ нѣсколькихъ учебниковъ и по французскому языку, и по русской исторіи и географіи. Въ 1799 году онъ переселился въ Казань, въ качествѣ директора гимназіи, а отсюда въ университетъ, соединенный долгое время съ гимназіей и представлявшій какъ бы высшіе классы ея. Здѣсь, какъ администраторъ, онъ былъ лицо самовластное и не всегда дѣйствовалъ съ чистыми побужденіями. Было нѣсколько преподавателей—воспитанниковъ Московскаго университета, но всѣ они не выдавались ничѣмъ.

Русскіе профессора могли быть приготовлены не вдругъ. По новому уставу, студенты, удостоенные степени кандидата, оставались при университетѣ для выдержанія экзамена на степень магистра и потомъ, для дальнѣйшаго образованія, отправлялись въ Москву, Петербургъ, Дерптъ и за границу.

ЛЕКЦІЯ VII.

Недостатокъ въ профессорахъ.—Профессора иностранцы и ихъ просвѣтительное вліяніе.—Значеніе нѣмецкой философіи въ то время.—Отношеніе русскихъ университетовъ начала XIX в. къ обществу и народному образованію.—Характеристика профессорской среды.

Главный недостатокъ только-что основанныхъ университетовъ заключался въ неимѣніи людей для пополненія каедръ. Причина этого недостатка лежала въ слабости, вообще, нашего научнаго обра-

зованія, въ неимѣннѣ школъ для высшихъ наукъ и въ томъ, что общество, не сознавая потребности въ наукѣ, относилось къ ней равнодушно, а иногда съ боязнью и подозрительно. Необходимость заставила поэтому обратиться къ единственному источнику науки и поручить кафедры въ университетахъ, незамѣщенные русскими преподавателями,—приглашеннымъ иностранцамъ. Недостатка въ европейскихъ ученыхъ для наукъ общаго содержанія не могло быть; мотивовъ для переселенія ихъ въ Россію было много: и то высокое значеніе, которое придавало наукѣ и знанію новое русское правительство, и матеріальныя выгоды, которыми оно окружало людей науки. Непрочное политическое состояніе Германіи, начинавшей тогда тяжелую и продолжительную борьбу съ Наполеономъ, побуждало еще болѣе нѣмецкихъ ученыхъ выселяться изъ отечества. Конечно, въ массѣ европейскихъ ученыхъ, появившихся на кафедрахъ нашихъ только-что основанныхъ или преобразованныхъ университетовъ, были и бесполезныя личности, привлеченныя въ Россію не любовью къ наукѣ, а хорошимъ жалованьемъ; но были и высоко одаренныя личности, съ безкорыстною любовью къ наукѣ и съ даромъ преподаванія, который, даже несмотря на незнаніе или плохое знаніе ими русскаго языка, увлекалъ русскихъ студентовъ въ ту или другую научную область. Они оставили по себѣ много хорошихъ воспоминаній въ университетахъ; нѣкоторые изъ нихъ давали даже надолго направленіе научной дѣятельности университета, и тѣ факультеты, въ которыхъ они дѣйствовали или оставили учениковъ,—на продолжительное время остались лучшими, сравнительно съ другими. Эти люди часто въ глуши тогдашней провинціальной жизни составляли для русскаго юноши идеальный типъ человѣка дѣйствительной науки, какого они не встрѣчали между русскими. Отъ нихъ узнавали они впервые о великихъ движеніяхъ европейской мысли и о знаменитыхъ представителяхъ его. Такъ, философскія системы Канта и Фихте, преслѣдуемыя потомъ съ такимъ ожесточеніемъ во времена реакціи, не разъ излагались съ кафедръ тогдашнихъ русскихъ университетовъ и служили къ воспитанію молодой русской мысли. Изъ этихъ лучшихъ иностранныхъ ученыхъ, приглашенныхъ въ Россію въ то время, достойны упоминанія въ исторіи нашего образованія, по своему вліянію на развитіе у насъ науки и по собственной дѣятельности,—въ Московскомъ университетѣ: Буле, авторъ исторіи философіи и извѣстный издатель Аристотеля, Грельманъ, изслѣдователь загадочной исторіи цыганъ, Шлецеръ-сынъ—историкъ и статистикъ, Маттеи—филологъ, первый познакомившій Европу съ греческими рукописями Синодальной бібліотеки, Фишеръ фонъ Вальдгеймъ—естествоиспытатель и др. Въ Харьковскомъ университетѣ: Шадъ, послѣдователь

Фихте и ненавистникъ клерикальнаго направленія, Роммель, профессоръ древнихъ литературъ, оставившій любопытныя воспоминанія объ этомъ первомъ времени Харьковскаго университета, и др. Въ Казани, вслѣдствіе собственной научной дѣятельности попечителя Румовскаго и его связей за границею, явились на кафедрѣ знаменитые европейскіе математики: Бартельсъ изъ Брауншвейга и Литтровъ, профессоръ астрономіи, изъ Кракова. Они создали здѣсь математическій факультетъ и оставили замѣчательныхъ учениковъ, которые въ свою очередь слѣдвали наставниками послѣдующихъ поколѣній математиковъ. Въ Казанскомъ же университетѣ дѣйствовалъ долгое время докторъ медицины, профессоръ естественной исторіи и ботаники—Фуксъ, извѣстный въ Казани какъ врачъ и авторъ равныхъ мѣстныхъ этнографическихъ сочиненій. Первое начало дѣятельности знаменитаго оріенталиста Френа происходило въ Казанскомъ университетѣ; онъ оставилъ здѣсь учениковъ и положилъ, такимъ образомъ, начало факультету восточныхъ языковъ.

Если между русскими профессорами первыхъ годовъ нашихъ университетовъ преобладало направленіе чисто литературное, исключительное занятіе російской словесностью,—явленіе, происходившее вслѣдствіе долгаго преданія и всего того риторическаго характера, который имѣла наша литература въ XVIII вѣкѣ, чуждавшаяся жизненныхъ вопросовъ,—то, вслѣдствіе подобныхъ же историческихъ причинъ, дѣятельность заграничныхъ нашихъ ученыхъ, особенно профессоровъ — нѣмцевъ, приглашенныхъ въ наши университеты, была направлена къ философіи. Это было вполне естественно. Главнѣйшее господствующее направленіе въ нѣмецкой наукѣ того времени было философское. Начала философіи проникали всѣ области знанія, всѣ науки, которыя являлись частію одного цѣлаго, звеномъ въ одной духовной цѣпи знанія. Въ началѣ XIX вѣка въ Германіи возникали одна за другою великія философскія системы, поражающія своимъ логическимъ построеніемъ и идеальнымъ синтезомъ всего существующаго, вдвинутаго въ стройныя рамы системы. Ни одна наука не ушла отъ вліянія философіи и не только въ Германіи, но и въ другихъ странахъ Европы; увлеченіе философіей было всеобщее, и заграничные профессора въ нашихъ университетахъ, какую бы науку ни излагали, они съ кафедры, непременно были послѣдователями той или другой системы. Великія имена Канта, Фихте, Шеллинга дѣлались извѣстными русскому юношѣ; даже таинственный, не всѣмъ понятный языкъ тогдашней философіи, мистическій туманъ, закрывавшій ея формулы, за которымъ предчувствовалось что-то свѣтлое, всеобъемлющее и всеразрѣшающее, влекли его къ себѣ, тѣмъ болѣе, что жизнь не представляла ему никакихъ дѣйствительныхъ, реальныхъ интере-

совъ, могшихъ заинтересовать его. Нѣтъ сомнѣнія, что философское направленіе первой поры нашихъ университетовъ имѣло глубокое нравственное вліяніе на тогдашнихъ студентовъ.

Философія, въ первые годы существованія нашихъ университетовъ, преподавалась въ нихъ въ очень обширномъ видѣ. Ее любили и профессора и студенты. Ея идеи проникали почти всѣ науки, входившія въ составъ преподаванія; о реализмѣ, о чистомъ опытѣ не могло быть и рѣчи; философія съ своимъ синтезомъ вторгалась и въ науку о природѣ и даже въ медицину. Въ большинствѣ тогдашнихъ университетскихъ рѣчей каждый преподаватель считалъ своимъ долгомъ говорить о философіи, наукѣ наукъ. Одни изъ нихъ являлись поклонниками Канта, другіе—Фихте, третьи—Шеллинга. Впослѣдствіи вся эта философія обречена была на изгнаніе изъ нашихъ университетовъ, какъ продуктъ „лжеименнаго разума“, по тогдашнему выраженію; но на первыхъ порахъ она сдѣлала много добра для развитія молодыхъ поколѣній студентовъ.

Говорить много о научной дѣятельности профессоровъ того времени было бы большимъ преувеличеніемъ. Въ ту пору начала нашей университетской жизни печатная въ наукѣ дѣятельность нашихъ профессоровъ едва была замѣтна. Положеніе профессоровъ было совсѣмъ другое, чѣмъ теперь. Имъ приходилось очень часто защищать свою науку, посреди окружавшаго ихъ невѣжественнаго общества, говорить о ея пользѣ и значеніи для жизни, твердить ея азы, а потому вся ихъ учено-литературная дѣятельность ограничивается или составленіемъ учебниковъ по своему предмету, или чтеніемъ актовыхъ рѣчей. Въ послѣднихъ, обращенныхъ къ обществу, и выражается общій характеръ науки того времени, о которомъ мы говорили.

Съ тѣмъ же взглядомъ на науку и съ тою же цѣлью познакомиться съ нею общество, нѣкоторые изъ тогдашнихъ профессоровъ основывали въ провинціальныхъ городахъ періодическія изданія и заводили литературныя собранія. Дѣйствіе этой періодической печати, особенно въ провинціи, было совершенно ничтожно, но въ литературныхъ кружкахъ при университетахъ, изъ которыхъ нѣкоторые имѣли свои печатные, хотя и слабые, органы, поддерживалась связь профессоровъ съ молодымъ поколѣніемъ, и оно заохочивалось къ литературнымъ трудамъ въ духѣ того времени. Въ этихъ литературныхъ кружкахъ замѣчались лучшія изъ молодыхъ силъ, и тѣ, которые обнаруживали въ себѣ любовь къ наукѣ, охотно оставались при университетѣ для приготовленія къ профессорству. Число кандидатовъ, магистровъ и докторовъ, т.-е. развитіе университетской науки, увеличивалось съ каждымъ годомъ. Тамъ, гдѣ были лучшіе профес-

сора, оказывалось и больше успѣховъ со стороны студентовъ. Такъ, значительные успѣхи первыхъ студентовъ Казанскаго университета въ наукахъ математическихъ,—успѣхи, о которыхъ съ изумленіемъ вспоминаетъ Бартельсъ въ своихъ запискахъ, происходили отъ достоинства преподаванія его и Литтрова.

Въ этомъ общемъ видѣ представляется намъ собственно научная дѣятельность нашихъ университетовъ, составъ ихъ силъ, ихъ вліяніе на общество и на учащееся въ нихъ молодое поколѣніе. Но университеты того времени имѣли и другую цѣль: они служили центрами, къ которымъ примыкали всѣ училища округа, связанныя съ университетомъ и учебными и административными отношеніями; создавая это положеніе для университетовъ, власть руководствовалась уваженіемъ къ просвѣщенію и тою справедливою мыслию, что въ провинціи, въ мѣстностяхъ глухихъ вообще, только одни университетскіе преподаватели могли быть настоящими судьями въ дѣлѣ просвѣщенія. Безъ университетовъ, которые одни только могли дать хорошихъ преподавателей подчиненныхъ ему заведеній, прочное существованіе послѣднихъ было немыслимо. Едва ли поэтому будутъ справедливы нападенія Карамзина и другихъ, раздѣлявшихъ его образъ мыслей, на правительство Александра за то, что созданіе національнаго образованія оно начало сверху, съ высшихъ органовъ его и не позаботилось о просвѣщеніи народа. Вотъ, напр., какой упрекъ дѣлаетъ Гервинусъ: „Выстроена была блестящая верхушка университетовъ и академій, а необходимый фундаментъ—народныя и элементарныя школы—едва только были начаты; онѣ значились только на бумагѣ“¹⁾. Упрекъ этотъ справедливъ безотносительно, но не въ связи съ только-что основанными университетами, безъ вліянія которыхъ долго бы еще дремала въ обществѣ мысль о необходимости просвѣщенія въ народѣ. Правительство Александра, дѣйствительно, ничего не сдѣлало для просвѣщенія народныхъ массъ даже и тогда, когда русскій народъ въ 1812 году принесть такія великія жертвы отечеству. Это явленіе происходило оттого, что не пришло еще время сознать всю необходимость мысли о просвѣщеніи народа, что само общество не доразвилось до нея, а правительство чувствовало себя безсильнымъ бороться и со зломъ крѣпостного права, и съ произволомъ своихъ собственныхъ административныхъ органовъ, главныхъ охранителей народнаго невѣжества. Власть, принадлежавшая правительству императора Николая, какъ извѣстно, отличалась гораздо большею энергіею, но и она не сдѣлала ничего для образованія народа. Только тогда,

¹⁾ Gerwinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig. 1856. В. II, 704.

когда пало крѣпостное состояніе, дѣло народнаго образованія нѣсколько двинулось впередъ.

Вотъ почему усилія первыхъ нашихъ университетовъ, поставленныхъ при Александрѣ во главѣ народнаго просвѣщенія, не могли имѣть ни силы, ни настойчивости тамъ, гдѣ имъ приходилось имѣть дѣло съ первоначальнымъ образованіемъ народа. Эти усилія разбивались о слишкомъ крѣпкія преграды. Университетамъ приходилось дѣйствовать въ средѣ крайне неблагоприятной для научныхъ занятій, невѣжественной и даже враждебной наукѣ. Тѣмъ не менѣе первымъ нашимъ университетамъ общество должно быть обязано тѣмъ, что они внесли въ него и уваженіе къ труду уметственному, и много здравыхъ понятій о воспитаніи. Нельзя утверждать, что они стояли въ обществѣ совершеннымъ особнякомъ, не возбуждая нисколько его сочувствія. Обществу, по крайней мѣрѣ высшему, было хорошо извѣстно то значеніе, какое Александръ придавалъ наукѣ и просвѣщенію вообще, положивъ ихъ въ основаніе всѣхъ предполагаемыхъ имъ реформъ, а потому оно, въ лицѣ своихъ представителей, не могло не отзываться сочувственно на все то, что заводится было въ государствѣ для просвѣщенія. Ни одно время въ нашей исторіи не отличается такимъ множествомъ пожертвованій на образованіе, какъ это время. Въ особенности много шуму надѣлало пожертвованіе богача Демидова и деньгами, и имѣніемъ, и библіотекою, и кабинетами, всего на сумму до милліона рублей,—пожертвованіе, сдѣланное имъ въ пользу университета Московскаго и другихъ, предположенныхъ въ открытію, и для основанія высшаго училища, получившаго названіе Демидовскаго Лицея. Демидовъ писалъ къ Завадовскому, что къ пожертвованію его возбудили „Предварительныя Правила Народнаго Просвѣщенія“, изданныя въ 1803 году. Другое подобное пожертвованіе сдѣлано было дворянствомъ Харьковскимъ въ пользу своего университета, въ количествѣ 400 т. р. Было множество мелкихъ пожертвованій, сдѣланныхъ лицами высшаго сословія въ пользу университетовъ и школъ, имъ подчиненныхъ по разнымъ губерніямъ: Потоцкимъ, Безбородкомъ, Голицынымъ, Дашковою и др. Сумма этихъ пожертвованій была весьма значительна. Не забудемъ, что ко времени же императора Александра относятся и богатые пожертвованія, сдѣланныя графомъ Н. П. Румянцевымъ, на счетъ котораго были предприняты изданія, обогатившія тогда науку русской исторіи.

Внутренняя жизнь и распорядокъ нашихъ университетовъ въ Александровское время представляетъ много оригинальныхъ чертъ, и онѣ были отчасти подмѣнены нашею мемуарною литературою, несмотря на ея бѣдность, отчасти сохранились во множествѣ дѣлъ университетскихъ архивовъ, важныхъ для историка просвѣщенія. Поло-

женіе университета было и независимо и почетно въ обществѣ; отъ него вполне зависѣло сохранить это положеніе.

Но, какъ это часто бывало и въ послѣдующіе, болѣе зрѣлыя годы университетской жизни, корпорація профессоровъ представляла изъ себя неутѣшительное зрѣлище борьбы партій. Она мѣшала спокойному занятію наукой, и, къ сожалѣнію, въ борьбѣ этой наука и забывалась и оскорблялась. Главною причиною борьбы тогдашнихъ университетскихъ партій была племенная вражда, отголоски которой сохранились до сороковыхъ и до пятидесятихъ годовъ, а тогда, когда нѣмцевъ и, вообще, иностранцевъ въ университетахъ было болѣе, чѣмъ русскихъ, эта вражда была естественно сильнѣе. Иностранцы составляли тогда совершенно отдѣльную колонію, не похожую на все, ихъ окружавшее, и по языку, и по обычаямъ, и по развитію. Съ ними завязывалась борьба партій русскихъ, и часто споры и ссоры оставляли ходъ университетскихъ дѣлъ. Между иностранцами, конечно, много было превосходныхъ людей, принесшихъ пользу странѣ, ихъ призвавшей; нѣкоторыя имена ихъ нами упомянуты; но были и такіе, которые оставляли свое отечество только изъ матеріальныхъ выгодъ и думали только о нихъ однихъ. Многіе изъ нихъ безстыдно грабили казну въ свою пользу. Конечно, нельзя сказать и о русскихъ профессорахъ, чтобы они отличались полнымъ безкорыстіемъ; воспоминанія современниковъ и архивныя дѣла могутъ раскрыть довольно отвратительной грязи; стоитъ только вспомнить о богатыхъ студентахъ-нахлѣбникахъ у профессоровъ, преимущественно изъ юридическаго факультета, о разныхъ экзаменахъ на ученныя степени, о писаніи кандидатскихъ диссертаций и т. п., для убѣжденія, что много было печальныхъ сторонъ въ частностяхъ благотворной для жизни Россіи реформы народнаго просвѣщенія. Къ этому надобно присоединить извѣстный указъ 6 августа 1809 года; изданный по проекту Сперанскаго съ благою цѣлью поднять уровень образованія и знаній въ средѣ чиновничьяго міра. По этому указу никто не могъ быть произведенъ въ чинъ коллежскаго ассесора или статскаго совѣтника, не выдержавъ въ университетѣ, если въ немъ не учился, особаго экзамена на эти чины. Указъ этотъ вызвалъ въ тогдашнемъ обществѣ много и смѣшныхъ и печальныхъ явленій. Нашлись профессора, которые не стыдились брать взятки съ экзаменуемыхъ чиновниковъ, часто покрытыхъ сѣдинами. Этотъ неожиданный источникъ университетскихъ доходовъ поселилъ еще больше вражды между существовавшими уже партіями; тутъ люди, призванные къ дѣлу науки, грызлись изъ за кости. Русскіе профессора того времени отличались рабодѣльными свойствами: чиновочитаніемъ, крючкотворствомъ, инсинуаціями всякаго рода противъ чести товарища и т. п. Нѣмцы, разумѣется, не

отставали, и передъ обществомъ провинціальнымъ, въ которомъ тогда не было ни жизни, ни развлеченій, завязывалась, на потѣху его, непристойная вражда. Нравы самого этого общества часто ставили его въ оригинальныя отношенія къ университету, теперь немыслимыя.

Нравы университетской молодежи того времени, при ея незначительномъ числѣ и при корпоративномъ духѣ, неизбѣжно связанномъ съ мундиромъ и шпагой, выдѣлялись тогда рѣзче на фонѣ общественной жизни, хотя неминуемо должны были носить на себѣ отпечатокъ ея содержанія. Эта молодежь, по своимъ духовнымъ стремленіямъ, стояла тогда въ извѣстной мѣрѣ выше общества. Современники сохранили прекрасныя воспоминанія о своей жизни въ прежнихъ университетахъ и съ восторгомъ говорятъ о томъ, какъ много добрыхъ началъ вынесли они изъ нея въ жизнь дѣйствительную. Бѣдности было тогда меньше въ университетахъ; учились или люди достаточные, или бѣдняки на полномъ университетскомъ хозяйствѣ, которое вполне обеспечивало матеріальную жизнь студента, а потому и не встрѣчалось тогда той жадной погони за деньгами, которая, къ стыду общества, дѣлаетъ изъ молодого человѣка промышленника.

Въ то время, подъ общимъ вѣяніемъ идей, возбужденныхъ въ началѣ царствованія Александра, и его собственныхъ гуманныхъ стремленій, сама власть относилась гораздо снисходительнѣе къ университетской молодежи, чтобъ удержать ее въ предѣлахъ долга и обязанностей. Она прибѣгала къ нравственному вліянію, къ убѣжденіямъ, къ совѣтамъ, старалась возбудить и поддержать въ молодыхъ людяхъ чувство чести, и студенты перваго времени были лучше и чище, чѣмъ тогда, когда, подъ вліяніемъ реакціи, стали вводиться въ университеты репрессивныя мѣры Магницкихъ, Руничей и др.

Въ такомъ видѣ представляется намъ главная реформа первой, лучшей поры царствованія Александра, имѣвшая непосредственное вліяніе на возбужденіе мысли и литературной дѣятельности въ обществѣ. Правительство не ограничилось этимъ; оно обратило заботы свои и на другія образовательныя учрежденія: Россійскую Академію, Вольное Экономическое общество, Медико-Хирургическую Академію, Академію Художествъ, Академію Наукъ и пр. Ихъ уставы были расширены, штаты увеличены; они призывались къ новой жизни. Императоръ покровительствовалъ открытію ученыхъ и литературныхъ обществъ, покровительствовалъ вообще наукѣ и литературѣ, щедро раздавая ученымъ и писателямъ ордена, награды, пенсіи. Его цѣль была вызвать образованіе, создать науку, двинуть мысль, чтобъ она помогала общественному развитію, а для этого надобно было освободить ее отъ разныхъ произвольныхъ и стѣснительныхъ мѣръ, суще-

ствовавшихъ въ то время. Вопросъ о цензурѣ и о гарантіяхъ литературной мысли возникалъ самъ собою.

ЛЕКЦІЯ VIII.

Цензура и ея значеніе въ русской литературѣ. — Пушкинъ о цензорѣ Александровскаго времени. — Цензура при Екатеринѣ II и отзывъ о ней Радищева.

Говорить о русской литературѣ, не упоминая о неизбѣжныхъ условіяхъ, въ которыя она поставлена, значило бы высказывать очень невѣрные сужденія. Между разными жизненными явленіями, въ зависимости отъ которыхъ она находится, есть одно, перенесенное изъ Европы. Я говорю о цензурѣ. Кому неизвѣстна та внутренняя связь, какая существуетъ между литературными явленіями и цензурою? Кто не слышалъ о временахъ безмысленнаго преслѣдованія мысли, когда цензура дѣлалась жестокимъ орудіемъ полного презрѣнія къ странѣ и народу, неуваженія ея мысли и внутренней жизни? Были эпохи и въ русской духовной жизни, когда литература чуть дышала подъ гнетомъ и преслѣдованіями цензоровъ, когда существованіе ея было едва замѣтно, когда въ ней убивалась всякая, даже невинная мысль; преслѣдовалось, напр., стихотвореніе самаго благонамѣреннаго поэта потому только, что слишкомъ осторожному цензору вдругъ вздумалось видѣть въ немъ намеки на что-то, ни для кого неясное. Бывали и такія эпохи, когда тяжелая рука цензора дѣлалась легче, обращалась нѣжнѣе съ литературными произведеніями, и мысль становилась бодрѣе, и слово произносилось громчѣ, звучнѣе. Направленіе цензуры, ея строгость и снисходительность зависѣли вполнѣ отъ направленія, господствовавшаго въ правительствѣ; цензура—это его послушное орудіе, слѣпая исполнительница его воли. Исторія нашей литературы не можетъ представлять вполнѣ свободнаго и самостоятельнаго развитія, ея голосъ часто былъ полузадавленъ, и жизнь мысли спутывалась и переплеталась съ анекдотами о цензурѣ. Общественное развитіе Россіи привело впоследствии правительство къ убѣжденію во вредѣ предварительной цензуры; оно замѣнило ее въ нѣкоторыхъ случаяхъ такъ называемою карательной, гдѣ преступленіе печати не предупреждается, а наказывается судомъ, гдѣ литературѣ предоставлено право самозащиты. Безъ сомнѣнія, власть руководствовалась въ этомъ случаѣ уваженіемъ къ литературѣ и къ тому положенію, которое она заняла теперь въ обществѣ, способствуя его развитію и помогая самому правительству въ его начинаніяхъ. Власть хотѣла освободить мысль и литературу отъ произвола. Произволъ этотъ былъ

безграниченъ. Вотъ какъ Пушкинъ характеризуетъ его въ одномъ изъ своихъ энергическихъ обращеній къ цензору:

„А ты, глупецъ и трусъ! Что дѣлаешь ты съ нами?
Гдѣ должно бѣ умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая насъ, мараешь и дерешь,
И чернымъ бѣлое по прихоти зовешь,
Сатиру—пасквилемъ, поэзію—развратомъ,
Гласъ правды—мятежомъ, Куницына—Маратомъ.
Рѣшилъ, а тамъ поди, хоть на тебя проси.
Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебѣ, не видимъ книгъ доседѣ?
И, если говорить задумаютъ о дѣлѣ,
То, славу русскую и здравый умъ любя.
Самъ Государь велитъ печатать безъ тебя...
...О, варваръ! Кто изъ насъ, владѣлецъ русской лиры,
Не проклиналъ твоей губительной сѣкиры?
Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между музъ;
Ни чувства пылкія, ни блескъ ума, ни вкусъ,
Ни слогъ пѣвца „Пировъ“¹⁾, столь чистый, благородный,
Ничто не трогаетъ души твоей холодной.
На все кидаетъ ты косою, невѣрный взглядъ,
Подозрѣвая всѣхъ, во всемъ ты видишь ядъ“.

Самое положеніе цензора было оригинально:

„Все правда,—скажешь ты, не стану спорить съ вами,
Но можно ль цензору по совѣсти судить?
Я долженъ то того, то этого щадить,
Конечно, вамъ смѣшно, а я нерѣдко плачу.
Читаю, да крещусь, мараю на удачу;
На все есть мода, вкусъ. Бывало, напримѣръ,
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ;
А нынче и Миллотъ²⁾ попался въ наши сѣти.
Я бѣдный человѣкъ; къ тому жъ жена и дѣти“...³⁾.

Зависимое положеніе литературы естественно должно было оказывать вредное вліяніе на ея духъ и содержаніе. Могла ли она имѣть какое либо значеніе, могъ ли голосъ ея быть властнымъ и громкимъ, когда случалось, что авторъ, отдавъ свою рукопись въ журналъ, потомъ не узнавалъ въ печати собственной статьи своей? Литература была робка и зависима.

Невыгодное положеніе нашей литературы, сравнительно съ богатыми и вліятельными литературами Европы, по отношенію къ цен-

¹⁾ Баратынскаго.

²⁾ Всеобщая исторія аббата Миллота, 14 т., Спб. 1820.

³⁾ Соч. А. Пушкина. Первое посланіе къ цензору.

зурѣ, состояло въ томъ, что въ странахъ западныхъ и мысль, и слово, и свобода совѣсти, т.-е. свобода религіозная, успѣли развиваться прежде, чѣмъ утвердилась центральная правительственная власть. Всѣ эти явленія духовной жизни націи окрѣпили въ независимости отъ нея, и ей уже трудно было бороться съ національнымъ достояніемъ, дорого стоившимъ народу. У насъ литература явилась въ обществѣ только тогда, когда приняла въ ней участіе сама власть; ее встрѣтили снисходительно, но власть, имѣя передъ глазами опытъ европейскихъ правительствъ, которыя ожесточенно боролись съ мыслию въ XVIII вѣкѣ, подозрѣвала и у насъ подобныя же уклоненія печати. и съ этой цѣлью установила очень рано цензуру, забывая, что содержаніе нашей общественной жизни вообще было слабо, что литература ограничивалась интересами чисто художественными, не касаясь вовсе сколько-нибудь современныхъ вопросовъ.

Слово у насъ всегда было ограничено. Даже съ Петра В. старались сначала предупредить разномысліе религіозное, потомъ эта система ограниченія печати распространилась мало по малу и на сферы жизни гражданской. Екатерина, воспитанная въ идеяхъ свободной философіи вѣка, въ первые годы вступленія своего на престолъ старалась смотрѣть съ уваженіемъ на мысль и слово, въ тѣхъ узкихъ рамкахъ, въ какихъ они могли существовать тогда въ Россіи. Доказательствомъ этого тогдашняго взгляда ея могутъ служить нѣкоторыя мѣста „Наказа“ и кратковременное развитіе журнальной сатирической литературы. Но самовластная Екатерина умѣла сдерживать всякое поползновеніе на большую свободу выраженія, и не прибѣгая къ организованной цензурѣ. Такъ, она допустила „вольныя типографіи“, какъ допускаютъ фабрики и рукодѣлія, на общихъ основаніяхъ, и этотъ совершенно естественный фактъ приводилъ въ восторгъ современниковъ. Надзоръ за ними и за печатаемыми въ нихъ книгами былъ ввѣренъ общей полиціи, а въ столицахъ — управамъ благочинія. Но вольныя типографіи скоро возбудили къ себѣ подозрѣніе Екатерины издательскою дѣятельностью Новикова, у котораго книги были отняты, а самъ онъ заключенъ въ крѣпость. Надѣлавшее столько шума появленіе книги Радищева, напечатанной, съ нарушеніемъ тогдашнихъ цензурныхъ правилъ, въ собственной типографіи автора, и успѣхи французской революціи увеличили еще болѣе подозрительность Екатерины; вольныя типографіи были закрыты, строгость внутренней цензуры была усилена, а въ различныхъ пограничныхъ пунктахъ учреждены были цензурныя управленія для разсмотрѣнія иностранныхъ книгъ, ввозимыхъ въ Россію, чего прежде не было. Причиною этого, кромѣ страха революціи, было и то обстоятельство, что свободная французская печать того времени слишкомъ

безцеремонно обращалась съ личностью самой Екатерины и не щадила ея частной жизни. Какъ отзывались на обществѣ эти стѣсненія, намъ не извѣстно; но, по свидѣтельству Шторха, строгое преслѣдованіе ввозимыхъ въ Россію иностранныхъ книгъ не достигало своей цѣли. „Строгость преслѣдованія, говоритъ онъ, именно была причиною, почему стоило рисковать ввозомъ самыхъ пикантныхъ сочиненій изъ подверженныхъ запрещенію; къ намъ привозились именно тѣ сочиненія, по поводу которыхъ состоялось запрещеніе. Нѣсколько книгопродавцевъ, между которыми были эмигранты, занимались этою выгодною торговлею съ чрезвычайною смѣлостью. Ихъ магазины почти всѣмъ были извѣстны, но однако не нашлось ни одного доносчика“. До насъ дошелъ энергическій голосъ изъ конца царствованія Екатерины противъ всякаго цензурнаго стѣсненія мысли и слова. Онъ принадлежитъ Радищеву. Его рѣзкія нападенія на цензуру находятся въ „Путешествіи изъ Петербурга въ Москву“. Радищевъ понимаетъ, что дозволеніе, данное Екатериною, заводитъ вольныя типографіи—значить немного, при существованіи цензуры. „Теперь свобода имѣть всякому орудія печатанія; но то, что печатать можно, состоитъ подъ опекою. Цензура сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, которые ходятъ на помочахъ, отъ чего у нихъ бываютъ нерѣдко кривыя ноги. Гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долженъ ходить на помочахъ и совершенной на возрастѣ будетъ калѣка. Таковы бываютъ вездѣ слѣдствія обыкновенной цензуры, и чѣмъ она строже, тѣмъ слѣдствія ея пагубнѣе“ ¹⁾ Радищевъ возстаетъ противъ тогдашней цензуры, вѣренной управѣ благочинія. „Одинъ несмысленный урядникъ благочинія, говоритъ онъ, можетъ сдѣлать величайшій просвѣщенію вредъ и на многія лѣта остановить шествіе разума, запрета полезное изобрѣтеніе, новую мысль и лишивъ всѣхъ чрезъ то великаго“. „Мундирный цензоръ, по его выраженію, есть самый жестокий врагъ просвѣщенію“. Радищевъ исходитъ изъ понятій, высказанныхъ „Наказомъ“ Екатерины: „Слова не суть дѣянія, размышленія жъ не преступленія“, и требуетъ полной свободы для печатнаго слова во всемъ, доказывая вредъ цензуры. По его убѣжденію она, своими запрещеніями, защищаетъ не Бога, не нравственность, не личность, но незаконную власть, но робкое правительство, для котораго страшна всякая вольность мыслей. Общій выводъ его заключается въ слѣдующемъ:

¹⁾ О поврежденіи нравовъ въ Россіи, князя М. Щербатова, и Путешествіе А. Радищева. Съ предисловіемъ Искандера. Лондонъ. 1858. стр. 247—49.

„Цензура печатаемаго принадлежитъ обществу; оно даетъ сочинителю вѣнецъ или употребить листы на обертки; равно какъ одобреніе театральному сочиненію даетъ публика, а не директоръ театра. Наистрожайшая полиція не можетъ такъ запретить дурныхъ мыслей, какъ негодующая публика“. „Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всѣмъ невозбранно, то естественно, что все придуманное и изобрѣтенное будетъ извѣстно; великое будетъ велико и истина не затмится. Правители народовъ не дерзнуть удалиться отъ стези правды и убоится: ибо пути ихъ злости и ухищренія обнажатся. Вострепещетъ судія, подписывая несправедливый приговоръ, и раздеретъ его. Устыдится имѣющій власть управлять ею только на удовлетвореніе своихъ прихотей. Тайный грабежъ назовется грабежомъ, прикрытое убійство убійствомъ. Убоится всѣ злые строгаго взора истины. Спокойствіе будетъ дѣйствительно, ибо не будетъ въ немъ заквасу. Нынѣ поверхность только гладка, но иль на днѣ лежащій мутится и тмѣть прозрачность воды“¹⁾. Въ заключеніе Радищевъ представляетъ съ этой же свободной точки зрѣнія краткую исторію цензуры въ древности и въ европейскихъ государствахъ.

Эти мысли Радищева далеко опередили и время и общество, къ которому принадлежалъ Радищевъ.

Императоръ Павелъ въ теченіе кратковременнаго своего царствованія отличался еще большею ненавистью къ французской революціи, чѣмъ Екатерина. Во Франціи, въ ея литературѣ, видѣли источникъ зла, тотъ ядъ, который разливается по умамъ. Въ одномъ изъ указовъ Павла прямо говорится (П. С. З. XXV, № 18524), что правительство французское „старается распространить посредствомъ сочиненій свои безбожныя правила; они заключаются въ сочиненіяхъ и газетахъ. Газетчики, съ своей стороны, отступаютъ отъ прямой цѣли должности своей и ищутъ подражать имъ и къ сожалѣнію власти нѣкоторыя взираютъ на сіе съ спокойнымъ духомъ“. Павелъ видѣлъ, что запрещеніе тѣхъ или другихъ сочиненій не вело ни къ чему, и именно попадали въ Россію сочиненія запрещенныя, а потому и рѣшился запретить указомъ ввозъ въ Россію всего печатнаго, даже нотъ¹⁾. Первымъ изъ дѣйствій Александра, по вступленіи на престолъ, было возстановить прежній порядокъ вещей въ этомъ отно-

¹⁾ Ibid. стр. 25.

¹⁾ „Такъ какъ чрезъ ввозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ вѣры гражданскаго закона и благонравія, то отнынѣ, впредь до указа, повелѣваемъ запретить впускъ изъ-за границъ всякаго рода книгъ на какомъ бы языкѣ оныя ни были, безъ изъятія, въ государство наше, равномѣрно и музыку“ (Полн. Собр. Зак. т. XXVI № 19387).

шенія. Внутренняя цензура сочиненій при Павлѣ отличалась самымъ крайнимъ произволомъ; въ ея дѣйствіяхъ не было ничего опредѣленнаго и разумнаго, гнетъ лежалъ на умахъ и литературѣ того времени, которая безмолвствовала. Карамзинъ, издававшій въ 1798 году свой невинный „Пантеонъ иностранной словесности“, въ которомъ онъ помѣщалъ переводныя статьи изъ нѣкоторыхъ французскихъ писателей, горько жаловался въ письмахъ своихъ къ И. И. Дмитріеву на притѣсненіе тогдашней цензуры. „Я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосфена, пишетъ онъ, которыя могли бы украсить „Пантеонъ“; но цензоры говорятъ, что Демосфенъ былъ республиканецъ, и что такихъ авторовъ переводить не должно, и Цицерона также и Саллюстія также... grand Dieu! Что же выдетъ изъ моего Пантеона?..

Если бы экономическія обстоятельства не заставляли меня имѣть дѣло съ типографіей, то я, положивъ руку на алтарь Музъ и заплакавъ горько, поклялся бы не служить имъ болѣе ни сочиненіями, ни переводами ¹⁾... Цензура, какъ черный медвѣдь стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлицамъ придираются. Я, кажется, и самъ могу знать, что позволено и что не должно позволять; досадно, когда въ безгрѣшномъ находятъ грѣшное ²⁾).

Въ новыхъ изданіяхъ прежняго цензоры вымарывали и поправляли въ запуски другъ передъ другомъ. Такъ, въ Ригѣ, напр., былъ запрещенъ къ напечатанію нѣмецкій переводъ „Писемъ Русскаго путешественника“ Карамзина ³⁾. Державинъ въ своихъ „Запискахъ“ также жалуется на строгости цензуры при Павлѣ. За нѣсколько стиховъ въ одѣ на „Рожденіе Михаила Павловича“ въ обществѣ разнеслась молва, что его сошлютъ, и друзья его отвернулись отъ него... Московская цензура въ одѣ „Изображеніе Фелицы“ не пропустила два стиха: „Самодержавства скиптръ желѣзный Моей щедротой позлащу“ и едва согласилась оставить для нихъ пустое мѣсто ⁴⁾. Императоръ Павелъ, въ оригинальной заботѣ о русскомъ языкѣ, издалъ даже Высочайшее повелѣніе, въ которомъ одни русскія слова замѣнялись другими и запрещалось употребленіе нѣкоторыхъ. Такъ, между прочимъ, слово *общество* не велѣно было вовсе писать и печатать, а слова: *граждане* и *отечество* замѣнялись словами жители или обыватели и государство. Цензоры обязаны были строго смотрѣть за этимъ ⁵⁾. Преслѣдованіе тѣхъ или другихъ книгъ происходило случайно и не было ни на чемъ основано. Такъ, въ 1799 году по Вы-

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву СПб. 1866, с. 97.

²⁾ Ibid. 90.

³⁾ Ibid. с. 115.

⁴⁾ Державинъ. Соч. VI ст. 747—749.

⁵⁾ Русс. Стар. 1871, ст. 531—532.

сочайшему повелѣнію С.-Петербургскимъ Военнымъ Губернаторомъ Паленомъ были отобраны изъ книжныхъ лавокъ и истреблены 1211 экз. „Ябеды“ комедіи Капниста. Съ восшествіемъ на престолъ Александра должны были восторжествовать по отношенію къ печатному слову и къ мысли иныя болѣе гуманныя начала. Возстановленъ былъ на первыхъ порахъ цензурный порядокъ, существовавшій при Екатеринѣ. Но опредѣлить точнѣе отношеніе печатнаго слова къ государству и необходима ли вообще или нѣтъ—цензура, Александръ предоставилъ тому же учрежденію, которое составило планъ просвѣщенія цѣлой страны — Главному Правленію Училищъ. Либеральные члены его смотрѣли на цензуру, какъ на печальную необходимость; видѣли въ ней стѣсненіе мысли и вообще дѣятельности разума. Вліяніе свободныхъ идей XVIII вѣка и общій восторгъ, произведенный въ обществѣ воцареніемъ Александра и его первыми освободительными указами, господствовалъ и въ Главномъ Правленіи Училищъ. Можно было думать и надѣяться, что слову дана будетъ безусловная свобода, особенно когда Новосильцевъ по поводу устава о книгопечатаніи предлагалъ ввести къ намъ датское законоположеніе. Извѣстно, что датскій король Христіанъ VII (1766—1808), подъ вліяніемъ знаменитаго министра своего, потомъ казненнаго графа Струензе, воспитанника свободныхъ стремленій и духа философіи XVIII вѣка, далъ полную свободу печатному слову въ своемъ государствѣ. Манифестъ его по этому поводу говорилъ: „Находя въ высшей степени вреднымъ для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ заблужденій и предрасудковъ запрещеніе гражданамъ, одушевленнымъ любовью къ отечеству и къ общему благу, свободно высказывать свои убѣжденія и обличать злоупотребленія и предрасудки, мы рѣшили дать неограниченную свободу книгопечатанію и окончательно уничтожить всякаго рода цензуру¹⁾. Но этотъ манифестъ былъ только временнымъ увлеченіемъ и имѣлъ силу недолго. Съ паденіемъ Струензе начались преслѣдованія мысли и писателей. Новый манифестъ, изданный въ 1799 году, хотя и говорилъ о свободѣ книгопечатанія, но указывалъ также и на пагубныя слѣдствія ея и устанавливалъ для нея разныя препятствія и ограниченія въ положительномъ законѣ, который назначалъ различныя кары и наказанія, и притомъ весьма строгія, за злоупотребленія печатнымъ словомъ. Слѣдовательно датскій законъ былъ законъ о цензурѣ карательной, т.-е. преслѣдовалъ преступленіе печати судомъ, и члены Правленія Училищъ, которымъ Новосильцевъ представилъ переводъ датскаго закона, просили его же написать, примѣняясь къ нему, и русское законо-

¹⁾ Сухомлиновъ, Изслѣд. статьи, т. I, с. 405.

положеніе, что и было сдѣлано Новосильцевымъ; но свободное книгопечатаніе не распространялось однако на книги духовнаго содержанія, наблюденіе за которыми попрежнему было предоставлено Св. Синоду. Разсматривая этотъ проектъ, члены Главнаго Правленія Училищъ пришли къ убѣжденію, что устройство у насъ цензурныхъ комитетовъ скорѣе поведетъ къ цѣли, чѣмъ законоположеніе, подобное датскому. Они думали, что преслѣдованіе судомъ не вполне предохраняетъ общество отъ вреда, наносимаго книгою, что полная свобода печати, въ соединеніи съ строгой отвѣтственностью по суду, убьетъ русскую литературу въ самомъ зародышѣ, и многія личности совѣмъ не рискнутъ выйти на литературную арену подъ такими тяжелыми, грозящими условіями и что, наконецъ, весьма затруднителенъ судебный приговоръ надъ книгою за неимѣніемъ компетентныхъ для того судей. Учрежденіе цензурныхъ комитетовъ представляло гораздо больше удобствъ въ этомъ отношеніи; но чтобъ оградить сочиненіе и спасти мысль отъ произвольныхъ толкованій мнительнаго или робкаго цензора, должны быть составлены подробныя наставленія и правила для цензоровъ, ограждающія мысль. Въ такомъ видѣ цензура предупредительная почти не будетъ отличаться отъ датскаго закона о свободномъ книгопечатаніи. Проектъ такихъ постановленій о цензурѣ былъ составленъ, по порученію Гл. Пр. Училищъ, академиками Озерецковскимъ и Фусомъ, и изъ него образовался цензурный уставъ 1804 года, просуществовавшій до 1826 года. Это былъ самый мягкій изъ всѣхъ нашихъ цензурныхъ уставовъ; по крайней мѣрѣ онъ былъ составленъ съ цѣлю дать большій просторъ мысли и печатному слову, былъ выраженіемъ лучшей поры царствованія Александра. Цензурный комитетъ, по этому уставу, тогда только могъ преслѣдовать автора; когда въ его сочиненіи отвергалось положительно бытіе Божіе, когда авторъ возставалъ противъ вѣры и законовъ отечества, оскорблялъ верховную власть и высказывалъ мысли, совершенно противныя духу общественнаго порядка и спокойствія (§ 19). Уваженіе устава къ свободѣ научнаго изслѣдованія выразилось въ слѣдующихъ словахъ (§ 22): „Скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, челоувѣчества, гражданскаго состоянія, законодательства, государственнаго управленія или какой бы то ни было отрасли правительства, не только не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но пользуется совершенною свободою печати, возвышающею успѣхи просвѣщенія“. Уставъ требовалъ отъ цензора совершеннаго безпристрастія и снисхожденія даже въ тѣхъ случаяхъ цензурныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ сочиненія, которыя могли бы показаться сомнительными: „Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ“, говоритъ § 21, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное

выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать". Гуманнѣе этого, конечно, трудно было что либо придумать въ то время.

Уставомъ 1804 года остались довольны всѣ; послѣ недавнихъ строгостей цензуры, его мягкое отношеніе къ печатному слову и уваженіе мысли обрадовали писателей. Уставъ этотъ обѣщалъ быстрое развитіе и успѣхи литературы, и дѣйствительно, въ первые годы жизни цензурнаго устава 1804 г. между литературою и цензурою вовсе не видно разлада: онѣ помогаютъ какъ бы другъ другу. Конечно, были тогда въ обществѣ люди, которые шли гораздо дальше умѣренныхъ постановленій устава и становились на точку зрѣнія Радищева. Таковъ былъ неизвѣстный авторъ „Записки“, представленной въ Гл. Пр. Училищъ ¹⁾, требовавшей освобожденія печатнаго слова отъ всякаго рода цензуры. Авторъ доказываетъ здѣсь ничтожность русской литературы, безсиліе, слабость въ ней мысли; даже въ переводахъ философскихъ сочиненій, говоритъ отъ, рука русскаго цензора умѣла убить ихъ духъ. Съ большой энергіей и силою убѣжденія доказываетъ авторъ благія и прочныя слѣдствія свободы печати, доказываетъ, что вредъ отъ нея и случаенъ и скоропреходящъ, что строгость цензуры истребляетъ въ сердцѣ искренность, любовь къ истинѣ, задерживаетъ ходъ просвѣщенія, а что, напротивъ того, свобода мыслить и писать есть одно изъ самыхъ сильныхъ средствъ къ возвышенію народнаго духа и пр. Записка эта не имѣла вліянія и составители устава были гораздо умѣреннѣе и не шли такъ далеко. Но и ихъ дѣло удовлетворяло потребностямъ времени и желаніямъ большинства.

ЛЕКЦІЯ IX.

Проектъ Бакаревича. С.-Петербургскій журналъ. Начало литературной дѣятельности Карамзина.

На первыхъ порахъ цензурный уставъ 1804 года, а скорѣе всего общій духъ времени и потребности общества вызвали появленіе *періодической литературы*.

Понятно, что правительство Александра не должно было чуждаться періодической печати, а стараться вызвать ее и развитъ. У насъ есть несомнѣнныя доказательства, что оно, а главнымъ образомъ молодые администраторы и въ ихъ числѣ первый министр внутрен-

¹⁾ Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи просв. с. 18—21.

нихъ дѣлъ, Кочубей, сильно желали обсужденія дѣйствій власти, какъ это дѣлается во всѣхъ странахъ съ болѣе свободною печатью. Они были убѣждены, что правительство должно вести свои дѣла открыто, не скрывая отъ публики своихъ дѣйствій, и желали, чтобы въ странѣ развивалось и окрѣпло общественное мнѣніе, безъ котораго немыслима правильная государственная жизнь. Это доказывается тѣми официальными періодическими журналами, которые стали появляться вслѣдъ за утвержденіемъ цензурнаго устава, опредѣлившаго болѣе правильнымъ и рациональнымъ образомъ отношенія печати. Самый этотъ уставъ цензурный былъ написанъ съ цѣлію вызвать общественное мнѣніе и дать свободу мысли. Тогдашнее правительство Александра желало поддержки и сочувствія людей мыслящихъ, которые могли бы объяснить обществу путемъ печати значеніе новыхъ мѣръ, предпринятыхъ для обновленія Россіи.

Что мыслящіе люди понимали это новое значеніе печатнаго слова, видно изъ проекта бывшаго адъюнта Московскаго университета *Баккаревича*, составившаго еще до утвержденія цензурнаго устава, планъ обширнаго періодическаго изданія, которое онъ думалъ назвать „правительственнымъ журналомъ“. Планъ Баккаревича былъ очень широкъ и никогда впослѣдствіи не былъ исполненъ въ такой широтѣ. По этому плану въ предполагаемый журналъ должна была войти въ полной гласности вся внѣшняя и внутренняя жизнь государства. Въ составъ его входили всѣ государственные акты и бумаги, всѣ новые законы и уставы, отчеты министровъ и реляціи полководцевъ, примѣчательнѣйшія письма къ государю или знаменитымъ государственнымъ особамъ, голоса и мнѣнія сенаторовъ по важнымъ дѣламъ, примѣчательнѣйшія тяжбы и уголовные процессы и проч.

Предполагалось далѣе помѣщать въ журналѣ краткія біографіи великихъ россійскихъ патріотовъ и героевъ, прославившихъ или спасшихъ отечество; затѣмъ всѣ новые, одобренные проекты, всѣ новыя полезныя открытія всякаго рода, всѣ разсужденія, имѣющія отношенія къ общественной пользѣ, всякія патріотическія мысли, всякія характеристическія черты россійскаго народа, примѣры добродѣтели и проч. „Словомъ, говоритъ составитель этого проекта, это будетъ хранилище всѣхъ домашнихъ, такъ сказать, важнѣйшихъ государственныхъ происшествій“. Проектъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ и дающій намъ понятіе о томъ, какъ понимали мыслящіе люди новую жизнь Россіи и чего ждали отъ нея. Сочинитель проекта смотрѣлъ на предполагаемое изданіе нѣсколько съ научной точки зрѣнія; онъ полагалъ, что его изданіе будетъ чѣмъ-то въ родѣ архива или сборника матеріаловъ для будущихъ русскихъ историковъ. „Ро-

дится, писалъ онъ, россійскій Тацитъ, россійскій Робертсонъ и пайдетъ въ семь обширномъ хранилищѣ богатый запасъ драгоценныхъ матеріаловъ“. Журналъ такой поэтому долженъ былъ имѣть важное значеніе, и редактору его Баккаревичъ полагалъ представить званіе „исторіографа россійской имперіи“. Матеріалы въ журналъ должны доставляться отъ министровъ и главноуправляющихъ разными частями государственнаго управленія.

Замѣчательный проектъ этотъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Баккаревичъ представилъ его черезъ Новосильцева министру народнаго просвѣщенія, которому и должно было быть подчинено все изданіе. Но Завадовскій, человѣкъ, какъ мы знаемъ, мало заинтересованный въ новой государственной жизни, современникъ Екатерины, по лѣтамъ и по связямъ своимъ принадлежащій къ приверженцамъ старины, не одобрилъ изданія и въ докладѣ своемъ государю представлялъ, что едвали можно частному человѣку предоставить право печатать государственные акты и законы, такъ какъ онъ легко можетъ издать ихъ невѣрно и съ ошибками, и что слишкомъ трудно найти людей, довольно способныхъ и просвѣщенныхъ, чтобъ быть редакторомъ такого важнаго и обширнаго изданія и, наконецъ, что еслибъ даже и нашлись подобные люди, то они потребовали бы слишкомъ большого содержанія, почему и самое изданіе едвали бы окупилось ¹⁾. Эти причины, приводимыя Завадовскимъ противъ проекта, очевидно, весьма слабы. По всей вѣроятности была другая причина, гораздо болѣе сильная и уважительная и для государя и для представителей администраціи: это непривычка къ гласности, боязнь ея со стороны тѣхъ лицъ, которыя въ качествѣ начальства были прямо заинтересованы въ этомъ дѣлѣ. Правительство Александра, какъ мы знаемъ, состояло изъ двухъ противоположныхъ и даже враждебныхъ партій, самъ онъ склонялся то въ ту, то въ другую сторону; ни у него, ни у людей, его окружавшихъ, не было опредѣленной системы дѣйствій, единодушія и твердыхъ убѣжденій. Желали, можетъ быть, искренно, гласности, но не имѣли твердости духа рѣшиться на нее. Только одинъ изъ друзей государя, графъ Кочубей, какъ только былъ утвержденъ цензурный уставъ, отчасти осуществилъ широкій планъ Баккаревича въ замѣчательномъ изданіи, выходившемъ съ 1804 года при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ подъ названіемъ „С.-Петербургскій Журналъ“ (23 ч. 1804—1807 г.).

Что въ обществѣ русскомъ первыхъ годовъ царствованія Александра пробудилось желаніе знакомиться съ вопросами внутренней и внѣшней политики государства, явилась потребность судить о разныхъ

¹⁾ Истор. свѣд. о ценз. въ Россіи, с. 12.

явленіяхъ государственной жизни и интересоваться не одними чисто литературными и эстетическими вопросами въ печати, доказывается замѣчательнымъ успѣхомъ „Вѣстника Европы“, журнала, издававшегося Карамзинымъ въ 1802 и 1803 годахъ, еще при старыхъ цензурныхъ условіяхъ, до появленія новаго цензурнаго устава. Карамзинъ угадалъ въ этомъ журналѣ вкусъ и направленіе публики и потому имѣлъ чрезвычайный по времени успѣхъ, придававшій еще больше извѣстности имени и блеска славѣ этого уже прославленнаго московскаго писателя.

Карамзинъ въ русскоѣ литературѣ того времени пользовался уже значительною извѣстностью; въ Москвѣ онъ составлялъ уже центръ литературный, вокругъ котораго группировались и друзья его молодости, бывшіе поклонниками его таланта и убѣжденій, и болѣе молодые его современники, подражавшіе ему и въ слогъ и въ направленіи и мало по малу успѣвшіе уже образовать вокругъ него школу. Карамзину было уже 36 лѣтъ въ годъ изданія имъ „Вѣстника Европы“; его убѣжденія уже сложились, взгляды установились, и если и замѣтно потомъ незначительное измѣненіе въ нихъ, то измѣненіе это по всей вѣроятности, только кажущееся, мнимое: Карамзинъ былъ слишкомъ осторожный человѣкъ, воспитанъ былъ въ томъ обществѣ, которое боится прямого и откровеннаго выраженія мысли и убѣжденія, и скорѣе скрываетъ ихъ подъ мягкими и красивыми формами выраженія, чѣмъ высказываетъ ихъ. И въ качествѣ публициста Карамзинъ является именно такимъ: онъ мягко и осторожно касается предметов обсуждения, но чѣмъ вкрадчивѣе его рѣчь, тѣмъ она сильнѣе дѣйствуетъ и тѣмъ больше находитъ себѣ сторонниковъ. Вліяніе, если не сочиненій, то имени и общественнаго положенія Карамзина, тѣхъ государственныхъ, тѣхъ нравственныхъ, тѣхъ общественныхъ идеаловъ, которые онъ указывалъ и развивалъ въ своихъ сочиненіяхъ, было такъ велико и продолжительно, что вражда противоположныхъ убѣжденій, сталкивавшихся около этого имени, и возвеличиваемаго и ненавидимаго, дошла почти до нашихъ дней. Все это служитъ доказательствомъ значительнаго литературнаго таланта въ Карамзинѣ, а потому мы считаемъ необходимымъ вспомнить прошедшее этого человѣка, хотя въ общемъ краткомъ очеркѣ, пока мы не познакомимся съ нимъ болѣе подробно въ его литературныхъ отношеніяхъ къ новому времени, къ обновленной русской жизни.

Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы значительнымъ литературнымъ талантомъ, который обнаружился въ немъ въ ранней молодости, и онъ выступилъ писателемъ въ ту пору своей жизни, когда образованіе его не кончилось, когда онъ не вынесъ изъ него никакихъ твердыхъ началъ и убѣжденій, и сталъ развиваться уже потомъ,

подъ вліяніемъ жизненныхъ впечатлѣній. Способность развитія, способность пониманія многого и значительное общее образованіе вынесъ онъ изъ первоначальной школы своей въ университетскомъ пансіонѣ профессора Шадена и въ масонскомъ обществѣ Новикова и друзей его. Свѣдѣнія, вынесенныя Карамзинымъ изъ пансіона, не были ни глубоки, ни обширны, а стремленія, господствовавшія въ Новиковскомъ обществѣ, были слишкомъ туманны и неопредѣленны, чтобы остановить на себѣ его вниманіе болѣе продолжительное время. Карамзинъ былъ безспорно умный человѣкъ; онъ не могъ не понимать, что въ исторіи человѣческаго духа начиналась новая эпоха, чуждая мистицизму и тѣмъ алхимическимъ таинствамъ и формуламъ, которыми пробавлялись честные, но слабые люди, въ родѣ Новикова и друзей его. Тѣмъ не менѣе вліяніе на Карамзина увлеченій „Дружескаго общества“ сказалось въ немъ въ томъ тоскливомъ, чуждомъ всякой дѣйствительности, мистическомъ отношеніи къ жизни и природѣ, которое составило сущность его литературнаго направленія и извѣстно подъ именемъ сентиментальности. Еще больше, чѣмъ общее европейское литературное направленіе, еще больше, чѣмъ собственный фонъ характера, сказалось въ этомъ направленіи вліяніе Дружескаго общества. Дружескому же обществу Карамзинъ былъ обязанъ своимъ литературнымъ образованіемъ и, главнымъ образомъ, знакомствомъ съ нѣмецкою литературою, что было большою рѣдкостью тогда въ русскомъ обществѣ. Онъ былъ знакомъ также съ явленіями французской и англійской литературы, конечно, безъ связи, безъ системы, съ тѣми писателями, которые считались тогда модными и о которыхъ говорили въ обществѣ Новикова. Едва ли Карамзинъ былъ знакомъ съ тѣми, которыхъ оно не долюбивало. Рано получилъ Карамзинъ и, наклонность къ поэзіи, но кому извѣстно, что такое была поэзія въ XVIII вѣкѣ и въ чемъ заключалось ея содержаніе, тотъ пойметъ, что и въ Карамзинѣ она была чѣмъ-то внѣшнимъ и не выражала ни внутренняго состоянія души его, ни его отношеній къ дѣйствительности. Въ его убѣжденіяхъ не могло быть ни твердости, ни стойкости. Его сомнѣніе никогда не доходило до сильнаго и убѣдительнаго скептицизма; его либерализмъ останавливался на полъ-дорогѣ и носилъ дилетантскій характеръ. Надъ всѣмъ этимъ неопредѣленнымъ внутреннимъ міромъ души его былъ разлитъ меланхолическій сентиментальный туманъ и эту сентиментальность онъ искалъ вездѣ въ знакомыхъ ему литературахъ. Положимъ, что многое въ этомъ содержаніи Карамзинскихъ взглядовъ и направленія можетъ быть объяснено внѣшнимъ вліяніемъ, но ни у кого это содержаніе, чуждое дѣйствительности, не выражается такъ полно и съ такимъ талантомъ, какъ у Карамзина. Было однакожъ въ немъ и нѣчто твердое и устой-

чивое, что составляло подкладку его убѣжденій и мыслей, когда онъ обращался къ дѣйствительности и начиналъ говорить о ея явленіяхъ. Этими твердыми началами Карамзинъ обязанъ былъ своему дворянскому, помѣщичьему происхожденію. Въ ту пору русское дворянство и не предчувствовало будущей исторіи своей; любимое и лелѣемое Екатериной, которую оно возвело на престолъ, оно представляло изъ себя, какъ выражаются на языкѣ оффиціальномъ, оплотъ трону, было дѣйствительнымъ сословіемъ, съ извѣстными правами и привиллегіями, на которыя только оно одно имѣло въ государствѣ право. Дворянство сознавало ихъ и стояло за нихъ. Въ средѣ его образовалась особая, цѣльная система консервативныхъ идей, которая тоже была его привиллегіей. Карамзинъ, какъ публицистъ, выражалъ эти идеи, и мы увидимъ потомъ, съ какимъ глубокимъ негодованіемъ возставалъ онъ противъ реформъ Сперанскаго, которыя были, разумѣется, гораздо прогрессивнѣе и дальновиднѣе его дворянскихъ идеаловъ. Сперанскій былъ для него и поповичъ и выскочка, какъ многіе болѣе грубые представители сословія и называли его. Русское дворянство, какъ сословіе, существовало не долго; никакихъ политическихъ правъ оно не имѣло, и единственная привиллегія его, владѣніе крѣпостными, пала въ недавнее время. Но въ эпоху развитія Карамзина оно имѣло свой образъ мыслей, свои убѣжденія и они выразились въ тѣхъ статьяхъ, которыя онъ посвящалъ вопросамъ современной русской жизни и дѣйствительности. Съ этой общей литературной подготовкой и съ этими убѣжденіями молодой Карамзинъ отправился за границу, чтобы окончить свое образованіе, какъ говорили въ то время. Определенныхъ цѣлей, кромѣ литературныхъ знакомствъ и наслажденія красотами природы и искусства, у него не было. Послѣ двухгодового путешествія, Карамзинъ воротился въ Москву и вскорѣ сталъ издавать „Московский журналъ“, гдѣ помѣщалъ во все время изданія свои знаменитыя „Письма русскаго путешественника“ и повѣсти, которыя тотчасъ же доставили ему литературную извѣстность, значительную популярность, поклонниковъ и подражателей. Въ этотъ періодъ литературной дѣятельности своей, Карамзинъ оказалъ тѣ услуги формальному развитію русской литературы, а отчасти и внутреннему ея содержанію, за которыя онъ пользуется почетнымъ мѣстомъ въ исторіи нашей литературы. Его „Бѣдная Лиза“ съ чувствительнымъ содержаніемъ въ первый разъ раскрыла предъ современнымъ обществомъ внутреннюю жизнь сердца и начала собою сентиментальное направленіе. Изъ міра ходульных страстей и громкихъ трагическихъ тирадъ, которыми наполнялась поэзія наша въ XVIII вѣкѣ, она спустилась къ нѣсколько болѣе простому и болѣе понятному содержанію. Къ сожалѣнію, и здѣсь Карамзинъ отдалъ дань времени и сохранилъ

свою исключительность. Онъ старается изобразить нѣжныя чувства, любовь къ природѣ, простой бытъ, но все это совершенно не то, что люди находятъ въ дѣйствительности. Это Аркадія, идиллія, созданная болѣзненнымъ воображеніемъ, и съ этой аристократической точки зрѣнія Карамзинъ смотритъ на все. Спуститься до истинныхъ чувствъ и нуждъ простого народа было бы дико для Карамзина и его современниковъ.

Таково было внутреннее, общее содержаніе произведеній Карамзина въ это время. Мнѣ нечего говорить о внѣшней заслугѣ Карамзина въ литературѣ: о томъ, что онъ сдѣлалъ для русскаго языка, для слога, для литературной формы—извѣстно всѣмъ, и никакія нападенія Шишкова и другихъ старовѣровъ не подорвали этой заслуги. Самымъ важнымъ сочиненіемъ Карамзина изъ этого времени были его „Письма русскаго путешественника“, важнымъ потому, что въ немъ раскрывается его взглядъ на западный міръ и раскрывается самъ онъ весь, со всѣми своими убѣжденіями и взглядами. Изъ него мы видимъ, какъ незначительны вообще и мелки были восторги, наблюденія и симпатіи Карамзина, какъ неопредѣленны его стремленія, проникнутыя меланхоліей и сентиментальностью. Его философскія и литературныя убѣжденія неясны и туманны, въ нихъ нѣтъ ничего положительнаго и реальнаго, съ одинаковымъ равнодушіемъ или съ одинаковымъ уваженіемъ и любопытствомъ онъ заводитъ знакомства съ людьми самыхъ противоположныхъ убѣждений. Для Карамзина равно дороги: и Кантъ, творецъ критической философіи, и Лафатеръ, фантазеръ-мистикъ, чуть не духовидецъ.

Въ „Письмахъ“ Карамзина мы найдемъ и его политическія убѣжденія или скорѣе взгляды, но и они также смутны и неопредѣленны, какъ и все остальное. Въ Руссо, этомъ дикомъ пророкѣ страдающихъ массъ, онъ видѣлъ только цвѣты чувствительности; въ Парижѣ, гдѣ онъ былъ въ 1790 году, во время самага разгара революціонныхъ страстей, онъ не видалъ этой новой политической жизни и, если и замѣтилъ движеніе, которое нельзя было не замѣтить, такъ какъ имъ была полна вся Франція, то симпатіи его на сторонѣ прежней неограниченной монархіи и пораженной народнымъ движеніемъ аристократіи; имъ онъ только сочувствуетъ, объ нихъ онъ проливаетъ слезы. Революція для него—бунтъ, который надобно подавить, и возстановить прежнее. И впослѣдствіи, когда торжество революціи сдѣлалось несомнѣннымъ, когда въ Парижѣ водворилось революціонное правительство, Карамзинъ въ разныхъ статьяхъ высказываетъ сентиментальную скорбь о разрушенномъ; всѣ его сожалѣнія относятся къ прошедшему, въ настоящемъ онъ видитъ только одно печальное разрушеніе. Всѣ его политическія консервативныя

убѣжденія уже созрѣли въ это время. Въ „Письмахъ“ онъ уже высказываетъ то, что высказывалъ и въ предисловіи къ своей „Исторіи“ и въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ. Возьмемъ, напр., слѣдующую тираду: „Всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ, и въ самомъ *несовершеннѣйшемъ* надобно удивляться чудесной гармоніи, благоустройству, порядку... Когда люди увѣрятъ, что для собственнаго ихъ счастья *добродѣтель* необходима, тогда настанетъ вѣкъ златой, и во *всякомъ* правленіи человѣкъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни. Всякія же насильственныя потрясенія гибельны... Предадимъ себя во власть Провидѣнію: Оно, конечно, имѣетъ свой планъ; въ Его рукъ сердца государей и—довольно. Легкіе умы думаютъ, что все легко; *мудрые* знаютъ опасность *всякой* переменъ и живутъ тихо. Французская монархія производила великихъ государей, великихъ министровъ, великихъ людей въ разныхъ родахъ: подъ ея мирною сѣнью возростали науки и искусства; жизнь общественная украшалась цвѣтами пріятностей, бѣдный находилъ себѣ хлѣбъ, богатый наслаждался своимъ избыткомъ... Но дерзкіе подымали сѣкиру на священное древо“... И этотъ приторно-сладкій, сентиментальный, отвлеченный консерватизмъ Карамзина соединяется у него страннымъ образомъ съ столь же сентиментальными мечтами о благѣ человѣчества, о развитіи правъ человѣческихъ, о свободѣ, обо всемъ томъ, чему учила философія XVIII вѣка и что не дается людямъ безъ борьбы и страданій. Карамзинъ говоритъ, что онъ любитъ человѣчество, что онъ въ душѣ республиканецъ, что онъ ненавидитъ неравенство, безправіе, произволъ и пр., и вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендуетъ людямъ умѣренность и аккуратность, покорность судьбѣ и квіетизмъ. „Паситесь, мирные народы, блага развитія спадутъ на васъ безъ борьбы, какъ манна съ неба“. Не ясно ли, что великія слова у Карамзина о человѣчествѣ были фразами, которыя ему ничего не стоили и навѣяны были общимъ духомъ времени; домашняя же закваска ума держала его въ предѣлахъ добродѣтельной покорности.

По отношенію къ русской жизни и русской исторіи, сравнительно съ будущимъ его пониманіемъ ихъ, Карамзинъ въ эпоху своихъ „Писемъ“, увлеченный Европою, является космополитомъ и на реформу Петра смотритъ совсѣмъ не съ той точки зрѣнія, какая развивается имъ въ „Запискѣ“ и за которую позднѣйшіе славянофилы причисляютъ его къ сонму своихъ предшественниковъ. Онъ въ восторгѣ отъ дѣла Петра В., сдѣлавшаго насъ европейцами; для него личность преобразователя является лучезарнымъ богомъ свѣта, освѣщающимъ вокругъ себя глубокую тьму. Карамзинъ — поклонникъ реформы Петра; онъ убѣжденъ, что путь просвѣщенія одинъ у всѣхъ

народовъ; онъ жестоко смѣется надъ тѣми, которые сожалѣютъ о русской старинѣ до преобразованія; онъ не видитъ въ ней ничего хорошаго и какъ бы мимоходомъ, но съ увлеченіемъ, бросаетъ свои знаменитыя слова: „Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло стать людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, для выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ“. И потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, Карамзинъ не бросаетъ еще этой точки зрѣнія на реформу Петра. Онъ собирается писать похвальное слово преобразователю, въ которомъ хочетъ „доказать, что Петръ самымъ лучшимъ образомъ просвѣщалъ Россію, что измѣненіе народнаго характера, о которомъ твердятъ намъ его критики, есть ничто въ сравненіи съ источникомъ многихъ новыхъ благъ, открытымъ для насъ Петровою рукою“. Этотъ взглядъ на реформу не былъ, однако, такимъ убѣжденіемъ Карамзина, которому бы онъ не измѣнялъ; напротивъ, кажется, что именно онъ и былъ случаенъ. Едва только воротился онъ изъ-за границы, какъ въ одной изъ повѣстей „Московского журнала“, онъ уже высказываетъ сожалѣніе о прошедшемъ и жалобы на нашъ европеизмъ, а въ „Запискѣ“ онъ унижаетъ все дѣло Петра В. Измѣнивъ прежнимъ своимъ взглядамъ на реформу, Карамзинъ долженъ былъ уже послѣдовательно сдѣлаться консерваторомъ, ибо въ европейскомъ развитіи для насъ онъ видѣлъ вредъ и несчастье; онъ думалъ о какихъ-то устойчивыхъ началахъ въ древней Руси, искалъ въ нихъ противоположности западному развитію и смотрѣлъ уже не впередъ, а назадъ. Теперь уже онъ противопоставляетъ народное общечеловѣческому, т.-е. не хочетъ возвышаться до послѣдняго. Изъ этого видно, какъ нетверды были политическія убѣжденія Карамзина. Императора Александра, тотчасъ по вступленіи его на престолъ, Карамзинъ привѣтствовалъ одой, въ которой болѣе всего останавливался на общаніи Александра подражать Екатеринѣ. Та же мысль заставила его, современника и поклонника дѣйствій и царствованія Екатерины, написать ей „Похвальное слово“, въ которомъ онъ старался такъ представить событія и дѣйствія этого царствованія, чтобы они служили какъ бы образцомъ для новаго государя. Тутъ проводилъ онъ свои собственные взгляды и указывалъ на тѣ стороны Екатерининскихъ дѣлъ, къ которымъ питалъ сочувствіе. Гуманныя начала, высказываемыя, однако, съ должною умѣренностью, соответствовали въ этомъ сочиненіи Карамзина духу новаго времени. Больше всего онъ говоритъ о необходимости просвѣщенія въ народѣ. Карамзинъ прославляетъ Екатерину за ея *народныя училища*, онъ считаетъ ихъ „полезнѣе всѣхъ академій въ мірѣ“, потому что они дѣйствуютъ на первые элементы народа. Этотъ взглядъ онъ развилъ потомъ до

нападенія на Александровскіе университеты. Вообще „Похвальное слово“ представляло для Александра какъ бы программу царствованія, но на него не было обращено вниманія, и Карамзинъ сталъ издавать „Вѣстникъ Европы“ уже съ прямымъ и непосредственнымъ отношеніемъ къ настоящему.

ЛЕКЦІЯ X.

Вѣстникъ Европы.

Карамзинъ возобновилъ въ началѣ царствованія Александра свою самостоятельную литературную дѣятельность. При Павлѣ онъ издавалъ только незначительные сборники и занимался исключительно переводами, да и то съ сильными жалобами на цензуру. Новому императору онъ посвятилъ двѣ оды, одну на восшествіе на престолъ, другую на коронацію (не забудемъ, что и вступленіе Павла на престолъ онъ также привѣтствовалъ стихами). Въ одахъ Александру, зная образъ мыслей и направленіе государя, Карамзинъ старается высказать либеральныя мысли, говоритъ о святости закона, объ ужасѣ рабства, о свободѣ и пр. На эти оды мы не имѣемъ права смотрѣть иначе, какъ на всѣ подобнаго рода произведенія. Карамзинъ старался угадать мысли и желанія Александра и написать нѣсколько звучныхъ стиховъ подъ тонъ ихъ. За это получилъ онъ обычный подарокъ. Но стихи были стихами, фразами, и нисколько не убѣжденіями Карамзина.

Обѣщаніе Александра въ манифестѣ царствовать „по начинаніямъ премудрой бабки своей“, было, повидимому, поводомъ для Карамзина написать свой панегирикъ Екатеринѣ. Какая цѣль была у него при сочиненіи этого похвальнаго слова и зачѣмъ онъ выбралъ жалкую литературную форму, которая не рекомендуетъ его историческаго такта и историческаго пониманія? Какъ извѣстно, эта форма, согласно старинной реторикѣ, не допускаетъ критическаго, свободнаго отношенія къ предмету, и потому царствованіе Екатерины представлено въ однообразномъ розовомъ свѣтѣ, въ пышныхъ фразахъ, увлекательныхъ для современниковъ. И развѣ это была правда, и развѣ самъ Карамзинъ, какъ человекъ умный, полагалъ, что онъ говорилъ правду? Не говоря уже о томъ, что Карамзинъ, лично за себя, могъ жаловаться на Екатерину и дѣйствительно жаловался за стѣсненіе мысли въ своихъ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ, не говоря о томъ, что преслѣдованіе близкихъ ему масоновъ должно было горько отозваться въ его сердцѣ, всѣми называемомъ чувствительнымъ, неужели же онъ,

и въ это время сознававшій уже свое историческое призваніе; не могъ не видѣть тѣхъ бѣдствій, какія лежали на народѣ въ царствованіе Екатерины, не смотря на виѣшній блескъ и громкія, прославленные поэтами дѣла? Не могло же недавнее царствованіе Павла, со всею его ненавистью къ дѣламъ и учрежденіямъ Екатерины, затмить въ глазахъ Карамзина столь недавнее прошлое, пережитое имъ самимъ? Полагать надобно, что Карамзинъ, ухватившись за фразу манифеста, думалъ, что онъ попалъ въ тонъ молодого государя, изобразивъ предъ нимъ его бабку въ самомъ привлекательномъ видѣ. Но Карамзину, безъ сомнѣнія, были неизвѣстны личные взгляды и убѣжденія Александра о временахъ Екатерины, давно уже созрѣвшіе въ немъ, когда его, еще юношу, приводилъ въ негодованіе развратъ Екатерининскаго двора и безстыдный грабежъ ея вельможъ и фаворитовъ. Мы знаемъ жалобы Александра, высказанныя въ послѣдній годъ царствованія Екатерины, въ письмахъ къ Лагарпу и къ графу Кочубею, жалобы, доходившія въ немъ до глубокаго отчаянія, подвліяніемъ котораго онъ серьезно думалъ отказаться отъ русскаго престола. Александръ въ панегирикѣ Карамзина не могъ видѣть ничего другого, кромѣ лести, и хотя онъ наградилъ подаркомъ автора, когда сочиненіе было поднесено ему чрезъ Тропинскаго, но на Карамзина не обратилъ особаго вниманія.

Новое время съ большею относительно свободою слова, дававшее просторъ мысли, съ преобразованіями, уже совершившимися, и съ планами на новыя, привычка, наконецъ, къ литературнымъ предпріятіямъ, которыя давали Карамзину средства къ жизни, вызвали его въ 1802 году на поприще журналиста. Время, въ самомъ дѣлѣ, благопріятствовало тогда этого рода литературной дѣятельности и журналистъ съ убѣжденіемъ, съ знаніемъ внутренняго состоянія Россіи, могъ бы сказать очень многое русскому обществу, могъ бы научить его очень многому, какъ это и бывало у насъ въ тѣ времена, когда измѣнялся характеръ правительственной власти, и это измѣненіе давало толчекъ общественной мысли. „Вѣстникъ Европы“, издававшійся Карамзинымъ два года, имѣлъ успѣхъ въ обществѣ, какъ имѣло успѣхъ все писанное Карамзинымъ, но онъ далеко не былъ тѣмъ, чѣмъ бы могъ быть журналъ въ то время. Карамзинъ является въ этомъ журналѣ тѣмъ же, чѣмъ онъ былъ прежде. Новое время съ своими потребностями нисколько не обновило его убѣжденій и его направленія. Публикѣ онъ подноситъ прежнія консервативныя убѣжденія, выраженные мягкимъ и вѣраднымъ тономъ, или восхваленія новыхъ мѣръ новаго правительства, написанныя слогомъ панегирика, безъ всякаго сколько-нибудь критическаго отношенія къ нимъ. Цѣль своего изданія самъ Карамзинъ опредѣляетъ тѣмъ, что онъ

хотѣлъ „не учить, а единственно занимать русскую публику пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ“ (объявленіе на 1803 годъ).

Сравнительно съ прежнимъ изданіемъ Карамзина „Московскимъ журналомъ“, „Вѣстникъ Европы“ имѣлъ болѣе широкую программу. Тамъ вовсе не было политическаго отдѣла и не заходила рѣчь о политическихъ событіяхъ, можетъ быть потому, что изданіе происходило въ самый разгаръ революціи и говорить о такихъ политическихъ событіяхъ при Екатеринѣ было не совсѣмъ удобно. Изъ современной политической жизни времени Карамзинъ старался говорить только о важнѣйшихъ событіяхъ, высказывая о нихъ собственные сужденія и давая иногда общія обзорѣнія; такимъ образомъ Карамзинъ является въ качествѣ публициста, хотя онъ и рѣдко былъ самостоятельнымъ судьей въ политикѣ, заимствуя свои свѣдѣнія и переводя цѣлыя статьи изъ современнаго нѣмецкаго политическаго журнала Архенгольца „Минерва“. Для такого журналиста, каковъ былъ Карамзинъ, время какъ бы благопріятствовало журнальной работѣ; тогда легко можно было дѣлать общія обзорѣнія и сводить итоги событіямъ. Въ Европѣ господствовалъ полный миръ, Франціею правилъ первый консулъ, который старался возстановить многое, разрушенное революціею, въ особенности католичество и внѣшнюю обстановку монархической власти; онъ уже готовился быть императоромъ. Карамзинъ доволенъ современнымъ положеніемъ Европы: оно удовлетворяетъ его охранительнымъ принципамъ и нелюбви къ политическимъ потрясеніямъ. Онъ доволенъ консуломъ; онъ восхваляетъ его за то, что онъ „умертвилъ чудовище революціи“, хотя и не особенно благоволитъ къ нему, конечно, за то, что Наполеонъ самъ все-таки былъ создателемъ этой революціи, а не легитимнымъ монархомъ. Къ этой легитимной монархіи лежатъ всѣ симпатіи Карамзина, отсюда понятно, что онъ не долюбиваетъ ни Англіи, ни Америки, ни Швейцаріи, когда рѣчь коснется о событіяхъ въ этихъ странахъ.

Весь кодексъ его политическихъ взглядовъ высказывается въ слѣдующей тирадѣ, находящейся въ статьѣ „Пріятные виды, надежды и желанія нашего времени“, которая есть не что иное, какъ повтореніе прежняго: „Революція объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ, даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти;... что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать законы нравственному и политическому міру, должны остаться въ

книгах;... что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не можетъ быть замѣнена никакою силою ума; что одно *время* и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенства гражданскихъ обществъ“. По убѣжденію Карамзина, французская революція, вмѣсто того, чтобъ ниспровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ. Съ половины XVIII вѣка всѣ лучшіе умы желали измѣненія общественнаго устройства, всѣ, недовольные зломъ настоящаго, мечтали объ измѣненіяхъ; всѣ ждали бури, и когда „грянулъ громъ во Франціи, говоритъ Карамзинъ, мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой, благодарить небо за цѣлость крова нашего *и быть разсудительнымъ*“. Чѣмъ же кончилась эта эпоха волненій и политическихъ переворотовъ, по словамъ Карамзина? Убѣжденіемъ, что status quo лучше всего и что всякая переменна вредна: „Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новизнѣ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ“. Такимъ образомъ, по словамъ Карамзина, революція была тяжелою эпидеміею, не принесшею никакой пользы человечеству. Между тѣмъ, говоря о современности, Карамзинъ замѣчаетъ, что правительства чувствуютъ важность союза между собою и народомъ, значеніе общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Откуда жъ это новое направленіе въ правительствахъ, неизвѣстное прежде? Конечно, этимъ новымъ отношеніямъ научилъ правителей жестокій опытъ революціи, и Карамзинъ не замѣчаетъ, что тутъ противорѣчитъ самъ себѣ. И здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, не видно, чего собственно хочетъ Карамзинъ, такъ неясно, хотя и красиво онъ выражается. Видно, однако, что говоря объ общественномъ мнѣніи и о союзѣ государей и народовъ, Карамзинъ останавливается на этомъ предметѣ неохотно, мимоходомъ и спѣшитъ перейти къ рѣзкому осужденію общественныхъ движеній.

Въ журналѣ Карамзина, конечно, должно было много говорить о современномъ положеніи Россіи. Правительство Александра, съ своими планами преобразованій, уже высказалось; Карамзинъ могъ понимать, чего хотятъ новые люди, и что въ самомъ дѣлѣ нужно было Россіи въ то время. Цензура не могла мѣшать ему много, какъ въ Павлово время. Что же Карамзинъ высказалъ, въ какой степени помогъ онъ обновляющейся русской жизни и объяснилъ ея явленіе обществу? Прежде всего насъ поражаетъ безсодержательность фразы Карамзина. Никакого другого тона не найдемъ мы у него, кромѣ панегирическаго. „Взоръ русскаго патріота, собравъ пріятныя черты въ нынѣшнемъ состояніи Европы, съ удовольствіемъ обращается на

любезное отечество. Какой надежды не можемъ раздѣлять съ другими европейскими народами мы, осыпанные блескомъ славы и благово-реніями челоуѣколюбиваго монарха? Говоря о событіяхъ внутренней жизни Россіи и о нѣкоторыхъ мѣрахъ правительства, Карамзинъ постоянно употребляетъ слова и выраженія похвальнаго слова, на все смотритъ въ розовомъ свѣтѣ, старается вовсе забыть явленія, которыя могли бы разрушить или, по крайней мѣрѣ, потрясти доволь-ную вѣру и сладенькій квіетизмъ. Нѣтъ и помину о сколько-нибудь критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Лестъ и лестъ, возвы-шеніе самохвальства въ націи, отъ которой онъ требуетъ полной покорности—вотъ содержаніе фразъ Карамзина. Всѣ намѣренія и планы преобразованія Александра, по его мнѣнію, заключаются въ томъ, что, во всѣхъ своихъ намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ, русскій царь положилъ себѣ за правило, что добродѣтель и просвѣщеніе должны быть основой государственнаго благоденствія. Можетъ ли что нибудь быть туманнѣе пониманія журналистомъ программы того времени? Много бы дѣльнаго могъ высказать въ то время умный челоуѣкъ, какимъ безспорно былъ Карамзинъ. Что же онъ сдѣлалъ? Вотъ, напр., совершается реформа или скорѣе созданіе просвѣщенія для всей Россіи—и Карамзинъ уже видитъ впередъ всѣ послѣдствія новаго указа Александра: „Свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; благородныя, истинно-челоуѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ, разсудокъ утверждаетъ права свои и духъ Россіянъ возвышается“¹⁾. Указъ о просвѣщеніи Карам-зинъ называетъ началомъ новой эпохи въ исторіи нашего *нравствен-наго* образованія, великимъ *актомъ государственной филантропіи*, пото-му что просвѣщеніе есть единственное, вѣриѣйшее средство для успѣха великодушныхъ намѣреній монарха: онъ „желаетъ просвѣтить рос-сіянъ, чтобы они могли пользоваться его челоуѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣй-ствія“. Указъ о просвѣщеніи онъ называетъ безсмертнымъ, онъ „есть сильнѣйшее доказательство небесной благодати монарха“, и, не входя въ разборъ его, Карамзинъ требуетъ отъ подданныхъ только испол-ненія. Доволенъ онъ въ особенности предположеніями объ устройствѣ сельскихъ школъ, которыя, однако, не осуществились, и то только съ точки зрѣнія нравственной, для развитія морали между крестьянами. Проектъ упоминалъ объ особомъ „нравственномъ катихизисѣ для крестьянъ“, и Карамзинъ, сочувствуя этому, говоритъ, что онъ самъ сочинилъ книжку, въ которой объяснены „должности поселянина, необходимыя для его счастья“. Едва ли не главная должность была

¹⁾ 1802 г. № 11.

тутъ повиновеніе властямъ и помѣщику, если судить по тому статьи Карамзина „Письмо сельскаго жителя“¹⁾, гдѣ онъ жалуется на лѣнь, пьянство русскаго крестьянина, на то, что онъ не сумѣетъ воспользоваться свободой, если получить такую. Безъ сомнѣнія Карамзинъ зналъ о личномъ взглядѣ императора Александра на крѣпостное состояніе, слышалъ о готовящихся по этому вопросу измѣненіяхъ и, конечно, не могъ имъ сочувствовать. Выражать прямо и откровенно свои убѣжденія, противоположныя тѣмъ, которыя господствовали тогда въ правительственныхъ сферахъ, было не совсѣмъ удобно, и Карамзинъ выражался въ этомъ случаѣ чрезвычайно осторожно и уклончиво. Онъ рассказываетъ будто бы свой собственный опытъ о дарованіи имъ крестьянамъ свободы, которою они не умѣли воспользоваться. Едва ли это такъ было, насколько намъ извѣстна біографія Карамзина, тѣмъ болѣе, что свобода, о которой онъ говоритъ въ статьѣ, была весьма ограниченная, и выводить изъ этого фиктивного разсказа, какъ дѣлаетъ г. Галаховъ, утвержденіе, что Карамзинъ „прежде стоялъ за свободу крестьянъ, потомъ нашелъ ее преждевременною, приносящею больше вреда, чѣмъ пользы“²⁾, вполнѣ несправедливо. Мы говорили уже о дворянской основѣ политическихъ и экономическихъ убѣжденій Карамзина, съ которой онъ не сходилъ. Онъ былъ бы невѣренъ самому себѣ, если бы сталъ утверждать что либо другое. Къ счастью въ 1802 году онъ выражался прямо: „Главное право русскаго дворянина — быть помѣщикомъ, главная должность его — быть добрымъ помѣщикомъ, кто исполняетъ ее, тотъ служить отечеству, какъ вѣрный сынъ, тотъ служить монарху, какъ вѣрный подданный: ибо Александръ желаетъ счастья земледѣльцевъ“. Дальше этого идеала *добраго помѣщика* Карамзинъ не шелъ. Конечно, не могъ онъ не знать, что были и есть не *добрые* помѣщики, но онъ говорилъ, что злоупотребленія господской власти истребляются просвѣщеніемъ, — „самая же эта власть помѣщика, по нашимъ законамъ, не есть тиранская и неограниченная“, забывая при этомъ, что сама администрація губерній дѣлала ее такою. „Россійскій дворянинъ, продолжаетъ Карамзинъ, даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и натуры! Вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлѣ: вотъ его права!“ Такимъ образомъ, въ этомъ вопросѣ о крѣпостномъ правѣ, прикрываясь эластичностью фразы и любовью къ человѣчеству и нравственности, Карамзинъ не желалъ

¹⁾ Ibid. 1803, № 17.

²⁾ Галаховъ. Ист. р. слов. Т. II, 57. М. 1894 г.

никакихъ перемѣнъ; въ послѣдствіи, когда представился случай и когда Александръ не могъ уже, въ силу обстоятельствъ, думать о дѣйствительномъ освобожденіи крестьянъ, Карамзинъ сталъ высказываться гораздо опредѣленнѣе.

Такимъ образомъ въ своемъ журналѣ Карамзинъ не шелъ дальше лести и восхваленія тѣхъ немногихъ мѣръ правительства, которыя были обнародованы тогда. Мы привели уже его восторженный отзывъ о реформѣ просвѣщенія. Карамзинъ какъ бы увѣряетъ, что все уже сдѣлано, что ничего лучшаго и ожидать не слѣдуетъ. Московскій университетъ находился въ это время подъ управленіемъ попечителя М. Н. Муравьева, который любилъ и покровительствовалъ Карамзину, а потомъ, по близости своей съ государемъ, доставилъ ему званіе исторіографа. Карамзинъ, чтобъ сдѣлать ему удовольствіе, напечаталъ въ 1803 году въ своемъ журналѣ статью о публичныхъ лекціяхъ въ этомъ университетѣ и такъ расхвалилъ его, что сталъ утверждать: „Мы не исполнимъ долга патріотовъ и даже поступимъ неблагоразумно, если будемъ еще отправлять молодыхъ людей въ чужія земли учиться тому, что преподается въ нашихъ университетахъ“. И въ другихъ немногихъ случаяхъ, гдѣ Карамзинъ касается въ своемъ журналѣ реформъ новаго царствованія, онъ не разсуждаетъ, а только хвалитъ, не покидая тона панегирика. Такъ поступилъ онъ при указѣ о правахъ и должностяхъ сената, при манифестѣ объ учрежденіи министерствъ, которыми были вообще недовольны люди его партіи. Все хорошо, все прекрасно; всѣ новые министры умнѣйшіе люди въ свѣтѣ и первѣйшіе патріоты. „Кто не увѣренъ въ патріотической ревности сихъ достойныхъ мужей, говоритъ Карамзинъ, возвеличенныхъ именемъ министровъ Россіи, державы, которая никогда не была столь близка къ исключительному первенству въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нынѣ?.. Не одна Франція должна вѣчно хвалиться Сюллиями и Кольбертами, не одна Данія должна прославлять своихъ Бернсторфовъ... Уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость государства, одна мирная совѣсть могли быть наградою добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни: умы созрѣли въ счастливый вѣкъ Екатерины II; теперь лестно и славно заслужить вмѣстѣ съ милостію государя и любовь просвѣщенныхъ Россіяны!...“

Свободный ли это тонъ свободного гражданина-публициста? Въ теченіе двухлѣтняго изданія „Вѣстника Европы“ Карамзинъ не покидаетъ этого хвалительнаго тона и конечно онъ надоѣлъ бы своимъ читателямъ, еслибъ въ журналѣ не было другихъ статей, болѣе для нихъ интересныхъ. Безъ сомнѣнія, „Вѣстникъ“ имѣлъ относительный успѣхъ и пришелся по вкусу тогдашнихъ читателей не этими восхваленіями, напоминавшими приторныя оды прошлаго вѣка. Цѣль

журнала онъ высказывалъ въ предисловіи въ очень неясныхъ фразахъ: „сколь благородно, сколь утѣшительно помогать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ Россійскій, развивать идеи, указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей!“ Это цѣль не журнала, а скорѣе личный взглядъ Карамзина на свое авторство. Изъ-за этихъ-то фразъ, изъ-за эластичности выраженія мнѣній, Карамзина нельзя прямо обвинить въ ретроградности и отсталости. Тутъ есть все: и любовь къ наукѣ, и уваженіе къ правамъ личности, и признаніе „общаго мнѣнія“ и новыхъ лучшихъ идей, и желаніе примирить непримиримое, напр., гуманность и крѣпостное право, такъ что Карамзинъ можетъ быть причисляемъ даже и къ прогрессистамъ. Но собственно говоря, онъ представлялъ середину; онъ не хотѣлъ казаться приверженцемъ крайней политической реакціи и боялся углубляться въ новыя прогрессивныя идеи, боялся доводить ихъ логически до послѣднихъ выводовъ. Массѣ журналъ былъ по плечу: онъ правился своимъ разнообразіемъ. Карамзинъ хотѣлъ сообщать въ немъ новости текущей литературы и политической жизни, а новости любятъ всѣ. Критики, которая сдѣлалась потомъ главной принадлежностью русскихъ журналовъ, въ „Вѣстникѣ“ было мало, и Карамзинъ вообще не очень любилъ ее; зато стихотвореній было довольно, и въ „Вѣстникѣ“ приобрѣлъ себѣ первую извѣстность Жуковский.

Собственно, по отношенію къ Карамзину, „Вѣстникъ Европы“ важенъ тѣмъ, что многія статьи его, здѣсь напечатанныя, показываютъ его обращеніе къ предмету, который надолго потомъ займетъ всю его дѣятельность, именно къ русской исторіи. „Должно приучать Россіянъ къ уваженію своего собственнаго“, говоритъ онъ, и пишетъ нѣсколько статей, посвященныхъ разработкѣ разныхъ вопросовъ отечественной исторіи, доказывающихъ, что онъ сильно отдался этому предмету. Даже въ повѣсти, въ этой формѣ, которая доставила ему литературную извѣстность, Карамзинъ переносится въ прошлое Россіи и старается представить свои государственные и политическіе идеалы. Въ этомъ отношеніи очень любопытна историческая повѣсть „Марea Посадница или покореніе Новгорода“, помѣщенная въ „Вѣстникѣ Европы“. Въ ней вовсе нѣтъ сентиментальной любви, составлявшей сущность тогдашнихъ повѣстей; это скорѣе историческій отрывокъ, въ которомъ Карамзинъ какъ бы желалъ представить образчикъ своихъ воззрѣній на русскую исторію, хотя и не могъ освободиться отъ сентиментальнаго или скорѣе риторическаго тона, свойственнаго ему во всемъ. Карамзинъ хотѣлъ представить въ поэтическомъ свѣтѣ древнюю вольную жизнь Новгорода и послѣднюю

борьбу его за независимость. Но новгородцы были республиканцы; неловко было Карамзину сдѣлаться сторонникомъ и защитникомъ ихъ, и онъ весь на сторонѣ государственныхъ цѣлей Іоанна III. Онъ и въ исторіи его любимый государь, „однакожъ сопротивление новгородцевъ не есть бунтъ какихъ-нибудь якобинцевъ, говорить Карамзинъ; они сражались за древніе свои уставы и права, данные имъ отчасти самими великими князьями, напр., Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: *имъ должно было предвидѣть*, что сопротивление обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной жертвы“. Вотъ и все сочувствіе Карамзина къ древнему Новгороду. Надъ борьбою за свободу новгородцевъ звучитъ ироническая рѣчь князя Холмскаго, въ которой заключаются всѣ политическія убѣжденія Карамзина. Она начинается слѣдующими знаменитыми словами: „Народы дикіе любятъ независимость, народы мудрые любятъ порядокъ, а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“... Не вольность, часто гибельная, но благоустройство, правосудіе и безопасность суть три столпа гражданскаго счастья“... *...и онъ утверждалъ, что независимость — это не свобода, а только право выбора между двумя формами владычества: монархическою и республиканскою.*

Такова была программа будущей исторіи его, въ которой торжествовало начало государственное. Съ нею легко было ему просить себѣ мѣсто исторіографа. Первая мысль объ этомъ, какъ кажется, была внушена Карамзину другомъ его, И. И. Дмитріевымъ. Карамзинъ написалъ письмо къ Муравьеву, прося его ходатайства и доклада государю о его „ревностномъ желаніи написать исторію не варварскую и не постыдную для его царствованія“. Желаніе Карамзина исполнилось очень скоро, и въ послѣдней книгѣ „Вѣстника Европы“ за 1803 г., въ которой онъ прощался съ публикой, былъ напечатанъ указъ о наименованіи его исторіографомъ и о пожалованіи ему пенсіона въ 2000 р. Съ этихъ поръ Карамзинъ уединился для продолжительнаго труда надъ исторіей, но въ трудное время русской исторической жизни, онъ выступилъ предъ Александромъ съ своею чрезвычайно важною „Запискою“.

ЛЕКЦІЯ XI.

Пнинъ.—„Петербургскій Журналъ“.—„Вольное Общество любителей словесности, наукъ и художествъ“.—„Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи“.

Строгій судъ о дѣятельности Карамзина, какъ журналиста, возможенъ и необходимъ по тому значенію, которое вообще имѣетъ литературная дѣятельность Карамзина, по вліянію, которое онъ имѣлъ

не только на своихъ современниковъ-писателей, но даже на правительственныя сферы въ концѣ царствованія Александра и гораздо позднѣе, и въ особенности потому, что этотъ очень умный и съ большимъ литературнымъ талантомъ чѣловѣкъ, привѣтствуя, какъ мы видѣли, восторженно, даже съ примѣсю лести, нѣкоторыя преобразовательныя мѣры Александра, восхваляя ихъ, потомъ, когда обстоятельства измѣнились, обрушился всею силою своего негодованія на то, что прежде хвалилъ, и, прикрываясь патріотическимъ чувствомъ, сталъ осуждать всякую реформу, всякое желаніе измѣненія. Содержаніе и направленіе его „Вѣстника Европы“ достаточно намъ извѣстны; но судить однако объ этомъ журналѣ съ точки зрѣнія нашего времени было бы очень несправедливо. Журналъ имѣлъ успѣхъ въ современной публикѣ; онъ читался съ большимъ удовольствіемъ, и самъ Карамзинъ говоритъ, что онъ приносилъ ему доходу до 6000 руб.—цифра весьма значительная по тому времени. Было бы странно требовать отъ Карамзина такихъ журнальныхъ достоинствъ, какія возможны только въ настоящее время, но не забудемъ, что онъ первый началъ журнальную дѣятельность въ царствованіе Александра; въ послѣдніе годы Екатерины и при Павлѣ она почти не существовала, и ни одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ не говорилъ о современности и особенно о политикѣ.

Успѣхъ журнальной литературы, имѣющей непосредственное отношеніе къ обществу, находился у насъ въ постоянной зависимости отъ цензуры. Мы говорили уже о цензурномъ уставѣ 1804 года, дававшемъ значительный просторъ мысли и печати. Сначала цензурные комитеты, подъ вліяніемъ общаго духа, господствовавшаго въ правительственныхъ сферахъ, дѣйствовали въ либеральномъ направленіи и весьма снисходительно. Но едва цензурный уставъ появился на свѣтъ, какъ былъ уже окруженъ разными условіями и ограниченіями. Положимъ, что общее настроеніе правительства, отъ котораго такъ много зависитъ характеръ предварительной цензуры, благопріятствовало сначала успѣхамъ литературы, помогало ей, защищало ее. Такъ, напр., еще до введенія въ дѣйствіе устава, случилась слѣдующая цензурная исторія. Въ 1803 году въ Москвѣ генералъ-губернаторъ Салтыковъ велѣлъ захватить въ книжныхъ лавкахъ и опечатать всѣ экземпляры сатирическаго сочиненія, переведеннаго съ французскаго, подъ названіемъ „Кумъ Матвѣй“, книги, дозволенной къ печати московскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а книгопродавцевъ, у которыхъ она продавалась,—арестовать. Книгопродавцы принесли жалобу въ Петербургъ, и императоръ Александръ велѣлъ ихъ освободить, а книгу пустить въ продажу. Но на печать весьма немногіе могли смотрѣть съ полнымъ уваженіемъ: желаніе полной свободы ей, какъ мы видѣли,

было высказываемо очень немногими и самыми передовыми личностями, большинство же общества вовсе не привыкло видѣть въ ней самостоятельную независимую силу; оно просто боялось ея. А потому и возникли для цензурнаго устава разныя условія и ограниченія. Такъ, не все можно было говорить о такъ называемыхъ „государственныхъ предметахъ“. Политическія событія времени, отношенія Россіи къ иностраннымъ государствамъ, конституціонныя начала и въ особенности крѣпостное право—были такими предметами, о которыхъ или почти вовсе нельзя было разсуждать въ печати, или можно было разсуждать чрезвычайно осторожно, съ точки зрѣнія правительственной власти. Во всемъ противоположномъ этой точкѣ зрѣнія видѣли „буйство печати“. Такъ приостановлена была дѣятельность одного изъ замѣчательныхъ писателей того времени, рано умершаго Пнина.

Литературный дѣятель этотъ никогда не появлялся на страницахъ официальной исторіи русской литературы и только въ самое недавнее время, когда мало-по-малу стали выходить на Божій свѣтъ нѣкоторыя дѣла изъ инквизиціонныхъ архивовъ прежнихъ цензурныхъ комитетовъ, имя Пнина сдѣлалось извѣстно, несмотря на его кратковременную литературную дѣятельность. Онъ составлялъ совершенную противоположность Карамзину и по характеру, и по направленію своего таланта. Если Карамзинъ любилъ безсодержательную фразу, то Пнинъ старался говорить только о дѣлѣ; если у Карамзина мы замѣчаемъ нѣсколько своекорыстныхъ убѣжденій, напр., въ крестьянскомъ вопросѣ, конечно, прикрытыя красивыми словами о гуманности и о морали, то у Пнина мы найдемъ прямое и честное отношеніе къ этому вопросу и притомъ съ знаніемъ главной, т.-е. экономической стороны его. Пнинъ былъ воспитанъ на идеяхъ чело-вѣколюбивой философіи XVIII вѣка; онъ былъ преданъ этимъ идеямъ совершенно искренно и старался проводить ихъ не только въ литературу, но и въ жизнь. Содержаніе его сочиненій, какъ небольшихъ литературныхъ статей, такъ и переводовъ, даже стиховъ,—все было посвящено вопросамъ государственнымъ, т.-е. тому, что болѣе всего занимало современниковъ; во всѣхъ его произведеніяхъ заключались намеки и на тогдашнее положеніе Россіи.

О жизни и отношеніяхъ Пнина мы почти не имѣемъ свѣдѣній, кромѣ самыхъ скудныхъ указаній. Намъ извѣстно, что онъ былъ побочнымъ сыномъ князя Петра Ив. Репнина, откуда и усѣченная фамилія его. Родился онъ въ 1773 году, воспитывался сначала въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, а потомъ въ инженерномъ училищѣ, служилъ въ военной службѣ нѣсколько времени, командовалъ даже пловучею батареею въ послѣднюю шведскую войну и затѣмъ, при образованіи министерствъ, поступилъ экспе-

диторомъ въ Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, куда былъ приглашенъ на службу; какъ кажется, И. И. Мартыновымъ, имѣвшимъ съ нимъ литературное знакомство. Здѣсь служилъ онъ не болѣе четырехъ лѣтъ, вышелъ по болѣзни въ отставку и умеръ 17 сентября 1805 г. отъ чахотки.

Литературная дѣятельность Пнина продолжалась не долго, но вся она имѣла одинъ общій характеръ, касаясь предметовъ государственнаго устройства и политической экономіи. Конечно, оригинальнаго въ этихъ сочиненіяхъ было очень мало, все дѣло ограничивалось по большей части переводами извлеченій изъ извѣстныхъ писателей по этому предмету въ XVIII вѣкѣ, но всюду проявляется желаніе примѣнить эти общія европейскія идеи публицистовъ, господствовавшія тогда въ литературѣ, въ русской жизни. „Не ограничиваясь метафизикой общественнаго устройства, говоритъ г. Сухомлиновъ, нѣкоторые писатели старались выйти на болѣе реальный путь, и мысли, вычитанныя изъ Монтескье, Беккариа, Кондорсе и другихъ, пытались примѣнить, хотя и въ самыхъ общихъ чертахъ, къ требованіямъ русской дѣйствительности“¹⁾.

Первое литературное предпріятіе Пнина былъ „Петербургскій журналъ“, издававшійся имъ еще при Павлѣ, въ 1798 году. Въ немъ, конечно, было довольно и стиховъ, и всякой такъ называемой тогда журнальной смѣси, но по большей части печатались статьи политическаго и экономическаго содержанія—переводныя. Тутъ были переводы отрывковъ изъ *Esprit des lois*—Монтескье, извлеченіе изъ книги извѣстнаго итальянскаго экономиста, друга и сотрудника Беккариа, графа Верри: объ умноженіи и уменьшеніи государственнаго богатства, главныя побужденія торговли и первоначальныя основанія цѣнъ, о купеческихъ и художническихъ обществахъ; подробное изложеніе политической экономіи Жака Стюарта и пр. Кто, кромѣ Пнина, былъ переводчикомъ—намъ неизвѣстно.

Съ воцареніемъ Александра, съ первыми планами государственныхъ преобразованій, съ толками о конституціи, которою молодой государь намѣревался подарить Россію, литературная дѣятельность Пнина по извѣстному политическому направленію получила какъ бы оправданіе, его желанія, повидимому, осуществлялись; это придавало еще болѣе энергіи его дѣятельности, и онъ сталъ писать больше.

Въ самый первый годъ царствованія Александра, подъ вліяніемъ восторженнаго настроенія времени, въ Петербургѣ сошлось нѣсколько молодыхъ людей, близкихъ между собою дружескими связями и общимъ

¹⁾ Сухомлиновъ. Исслѣдованія и статьи по русск. лит. и просв., т. I, стр. 430.

направленіемъ, которые сначала частно, а потомъ съ разрѣшенія правительства, при посредствѣ Новосильцева, образовали „Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ“. Изъ членовъ этого общества немногіе впрочемъ приобрѣли себѣ потомъ извѣстность въ литературѣ, и самое общество просуществовало недолго; большинство членовъ было занято службою, и многіе поэтому и не жили въ Петербургѣ. Но общество заявило о своемъ существованіи и нѣкоторыми изданіями. Въ 1802 и 1803 годахъ оно издало два тома сборника „Свитокъ Музъ“, а въ 1804 году 1-ю часть своего „періодическаго изданія“. Въ этихъ изданіяхъ, кромѣ множества неизбѣжныхъ въ духѣ времени стиховъ, гдѣ главными вкладчиками были знаменитый въ послѣдствіи филологъ А. Х. Востоковъ, писавшій тогда множество стиховъ съ самыми разнообразными размѣрами и казанскій поэтъ, умершій въ томъ же 1804 году,—Каменевъ, авторъ первой въ романтическомъ родѣ, съ видѣніями, съ волшебствами и провалами баллады „Громваль“ ¹⁾, помѣщались и статьи политическаго и экономическаго содержанія, частію переводныя, частію оригинальныя. Переводчикомъ былъ Языковъ, а оригинальныя статьи писалъ В. Погодаевъ. Статьи послѣдняго, хотя и незначительныя по объему, очень разнообразны и, кромѣ предметовъ управленія и политики, посвящены русской литературѣ и вопросамъ о языкѣ. Въ изданіяхъ общества участвовали, и сыновья Радищева, служившаго въ это время въ Петербургѣ. Радищевъ, возвращенный изъ ссылки въ Илимскъ Павломъ тотчасъ по вступленіи его на престолъ, жилъ однако все время царствованія его безвыѣздно въ своихъ деревняхъ, но въ первый же мѣсяцъ своего вояженія Александръ дозволилъ ему возвратиться въ столицу, возвратилъ ему чинъ и крестъ и помѣстилъ его на службу въ комиссію о составленіи законовъ, образованную тогда подъ предсѣдательствомъ Заводовскаго. Изъ этого примѣра отношеній императора Александра къ одному изъ самыхъ отъявленныхъ и крайнихъ радикаловъ того времени, видно уже, куда клонились его симпатіи. Радищева, прямо изъ ссылки, засадили за составленіе законовъ и именно уложенія гражданскаго; составленіе уголовнаго кодекса было поручено также ему, и для этой цѣли онъ собирался въ Англію, чтобы изучить тамъ уголовный порядокъ. Ни годы, ни ссылка не измѣнили убѣжденій Радищева, онъ оставался вѣренъ тому, что вынесъ изъ знакомства съ французской мыслию XVIII вѣка и что такъ отчаянно смѣло высказалъ въ своей книгѣ. Къ нему собирались молодые люди, раздѣлявшіе образъ его мыслей, и въ томъ числѣ Пнинъ, глубоко уважавшій Радищева. Не стѣсняясь ничѣмъ, свободно высказывалъ Радищевъ, даже передъ начальствомъ,

¹⁾ Період. изд., стр. 110—127.

всѣмъ извѣстныя взгляды свои и убѣжденія. Но графъ Завадовскій смотрѣлъ иными глазами на Радищева, чѣмъ государь и его молодые друзья. Въ одномъ изъ своихъ проектовъ Радищевъ высказалъ такія радикальныя мысли, что Завадовскій попрекнулъ его прежними заблужденіями, за которыя онъ такъ дорого заплатился. Угроза, говоря, такъ сильно подѣйствовала на несчастнаго Радищева, что онъ задумался о возможности новой ссылки, сталъ говорить о ней безпрестанно съ своими дѣтьми, впалъ въ душевную болѣзнь и въ припадкѣ меланхоліи рѣшился на самоубійство.

Вольное общество любителей словесности и наукъ, въ которомъ Пнинъ былъ тогда предсѣдателемъ, посвятило памяти Радищева прозаическую статью, написанную однимъ изъ членовъ, Борномъ, и стихи Пнина, въ которыхъ этотъ поклонникъ Радищева говоритъ о немъ съ глубокимъ уваженіемъ, доказывающимъ, что онъ былъ знакомъ съ его сочиненіями и мнѣніями, и что такимъ образомъ у насъ шла непрерывно традиція литературныхъ идей:

„То сердце, что добромъ дышало,
Постигъ ничтожества законъ;
Уста, что истину вѣщали,
Увы на вѣки замолчали,
И пламенникъ ума погасъ;
Кто къ счастью велъ путемъ свободы,
На вѣкъ, на вѣкъ оставилъ насъ,
Оставилъ и прешелъ къ покою...
Благословимъ его мы прахъ!
Кто столько жертвовалъ собою
Не для своихъ, но общихъ благъ,
Кто былъ отечеству сынъ вѣрный,
Былъ гражданинъ, отецъ примѣрный,
И смѣло правду говорилъ,
Кто ни предъ кѣмъ не изгибался,
До гроба лестію гнушался,
Я чаю—тотъ довольно жилъ ¹⁾).

Изъ этого сочувствія къ Радищеву видно уже то направленіе, котораго держался въ литературѣ Пнинъ. Самыя оды Пнина,—а онъ писалъ оды въ угодность господствующему преданію,—похожи скорѣе на трактаты, въ которыхъ развивается какая-нибудь мысль и при томъ мысль живая, не отвлеченная, и проникнутая тою философіей, которой Пнинъ оставался вѣренъ. Тутъ нѣтъ ничего похожего на реторику прошлаго вѣка. Такова, напр., ода его „Человѣкъ“ ²⁾.

¹⁾ Свитоль Музъ, 1803 г. ч. 2, стр. 116—144.

²⁾ Брусиловъ, Журналъ Росс. Слов. 1805 г. ч. I, стр. 38—45.

Она замѣчательна и по глубинѣ мысли, и по силѣ выраженія. Кажется, что въ ней Пнинъ, въ противоположность Державину, написавшему свою прославленную оду о Богѣ, въ которой развиваетъ понятіе свое о его всемогуществѣ, желалъ представить идею о всемогуществѣ человѣка, опирающагося только на свои силы, на свой собственный духъ. „Какой умъ слабый, униженный, тебѣ дать имя червя смѣль?“—спрашиваетъ поэтъ и отвѣчаетъ, что человѣка могъ назвать червемъ только рабъ несчастный, заключенный, который не имѣлъ чувствъ. Описавъ разнообразную творческую дѣятельность человѣка, названнаго имъ Зиждителемъ, Пнинъ спрашиваетъ: откуда въ человѣкѣ его творческая сила:

„Скажи мнѣ наконецъ: какою
Ты силой свыше вдохновень,
Что все съ премудростью такою
Творить ты въ мірѣ научень?“

Къ сожалѣнію, отвѣтъ человѣка зачеркнуть тогдашнимъ цензоромъ, но изъ заключительныхъ стиховъ этой оды видна тайная мысль поэта, что человѣкъ самъ причина всѣхъ дѣлъ своихъ, что трудомъ и опытностью онъ приобрѣлъ самъ собою мудрость.

Такова и другая его философская ода, еще болѣе замѣчательная по силѣ выраженія „На Правосудіе“, съ эпиграфомъ изъ Гольбаха: „правосудіе есть основаніе всѣхъ общественныхъ добродѣтелей“ ¹⁾. Въ ней также Пнинъ высказывалъ самыя дорогія свои убѣжденія, напр., въ слѣдующей строфѣ:

„Гдѣ ты—тамъ вопль не раздается
Несчастныхъ, брошенныхъ сиротъ;
Всѣмъ нужна помощь подается,
Не раболѣпствуетъ народъ.
Тамъ земледѣлецъ не страшится,
Чтобы насильствомъ могъ лишиться
Имъ въ потѣ собранныхъ плодовъ.
Любуется, смотря на ниву,
Въ ней видя жизнь свою счастливую,
Благословляетъ твой покровъ“...
Гдѣ ты, тамъ теній просвѣщенія,
Лучами мудрости своей,
Открывъ зловредны заблужденія,
Ведетъ на путь прямой людей.
Науки храмы тамъ имѣютъ,
Художества, искусства зрѣютъ,
Торговля богатитъ народъ,
Тамъ духъ зиждительной свободы,

¹⁾ Ibid. ч. III, стр. 67—73.

Проникнувъ тайнства природы,
Сторичный собираетъ плодъ.

И затѣмъ рисуетъ обратную картину:

Гдѣ нѣтъ тебя—тамъ всѣ несчастны,
Отъ земледѣльца до царя;
Законы дремлютъ и безгласны,
Тамъ всякъ живетъ лишь для себя.
Нѣтъ ни родства, союза, вѣры;
Тамъ видны лишь злодѣйствъ примѣры;
Шипятъ пороки и язвятъ;
Тамъ выгоды нѣтъ быть добрымъ, честнымъ,
Быть другомъ искреннимъ, неслестнымъ,
Тамъ чашу смерти пьетъ Сократъ...

Пнинъ былъ самыхъ свободныхъ убѣжденій насчетъ цензуры: онъ самъ пострадалъ отъ нея. Въ небольшомъ разговорѣ между цензоромъ и сочинителемъ, напечатанномъ уже по смерти его, онъ доказываетъ бесполезность и вредъ цензуры. Авторъ приноситъ къ цензору свое сочиненіе, подъ названіемъ „Истина“; цензоръ отказывается пропустить ее, говоря, что „не всякая истина должна быть напечатана“. — „Почему же? спрашиваетъ сочинитель. Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія значитъ препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ лишать его способовъ сдѣлаться ему счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо, истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну, значитъ отнять изъ цѣпи звено и ее разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобъ ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобъ его понимали“ ¹⁾). Цензоръ, на всѣ доводы сочинителя, защищающаго свою книгу, выставляетъ себя, какъ власть: „Я говорю съ вами, какъ цензоръ съ сочинителемъ“—съ гордостью отвѣчаетъ онъ ему. „А я говорю съ вами, какъ гражданинъ съ гражданиномъ“ — замѣчаетъ ему сочинитель. „Какая дерзость!“—последнее слово цензора.

Эта замѣчательная по духу и направленію статейка Пнина, вѣроятно, основывалась на его собственномъ горькомъ опытѣ. Въ 1804 г. онъ издалъ книгу, подъ названіемъ „Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи“. Книга эта, при второмъ ея изданіи, возбудила преслѣдованіе тогдашняго петербургскаго цензурнаго комитета.

Широкая реформа образованія, задуманная правительствомъ и высказанная въ „предварительныхъ правилахъ народнаго просвѣще-

¹⁾ Ibid. ч. III, стр. 166.

ніа", изданныхъ главнымъ правленіемъ училищъ, естественно должна была вызвать сужденія писателей, интересовавшихся этимъ дѣломъ, тѣмъ болѣе, что реформа касалась такъ близко всей національной жизни. Мы видѣли, что Карамзинъ, въ качествѣ журналиста, ограничился только похвальнымъ отзывомъ объ этомъ предметѣ, сказавъ нѣсколько красивыхъ фразъ, и не пошелъ въ глубину предмета. Не такъ сдѣлалъ Пнинъ; подѣ влияніемъ философскихъ идей XVIII вѣка, которымъ онъ обязанъ былъ всѣмъ своимъ развитіемъ, подѣ влияніемъ болѣе близкаго знакомства своего съ русскою жизнію и ея условіями, онъ взглянулъ на вопросъ просвѣщенія съ соціальной точки зрѣнія. Онъ разсматривалъ подробно, въ чемъ должно состоять просвѣщеніе, что болѣе всего вызываетъ его и помогаетъ ему, и въ одинаковой ли степени должно оно быть распространяемо между всѣми слоями русскаго общества. Эпиграфомъ своего сочиненія онъ поставилъ слова Шантала: *l'instruction doit être modifiée selon la nature du gouvernement qui régit le peuple*, и еще слова: „Блаженны тѣ государи и тѣ страны, гдѣ гражданинъ, имѣя свободу мыслить, можетъ безбоязненно сообщать истины, заключающія въ себѣ благо общественное“. Эти два положенія составляютъ содержаніе всего сочиненія Пнина и развиваются въ немъ подробно.

Просвѣщеніе народа, по словамъ Пнина, находится въ тѣсной связи съ политическимъ устройствомъ страны, съ образомъ правленія и управленія; нельзя успѣхи образованности измѣрять числомъ ученыхъ и писателей, ибо не въ нихъ заключается просвѣщеніе, а въ равновѣсіи общественныхъ силъ, въ непреложномъ исполненіи долга, лежащаго на каждомъ членѣ государственнаго организма. Такимъ образомъ, авторъ требуетъ нравственнаго содержанія отъ образованія страны и не довольствуется только однимъ наружнымъ видомъ, существованіемъ только извѣстнаго рода заведеній по учебной части, а желаетъ, чтобъ влияніе ихъ распространялось на жизнь. Переходя къ сословіямъ, изъ которыхъ состоитъ русское общество, Пнинъ говоритъ, что различіе сословій и различіе потребностей каждаго изъ сословій происходитъ первоначально отъ неравенства человѣческихъ силъ. Сословія эти, законныя и неизбѣжныя въ обществѣ, состоятъ изъ четырехъ: земледѣльческаго, мѣщанскаго, дворянскаго и духовнаго. Пнинъ для каждаго изъ нихъ предлагаетъ планъ умственнаго и нравственнаго образованія. Это раздѣленіе образованія, гдѣ каждое сословіе имѣетъ свой опредѣленный кругъ образовательныхъ предметовъ, какъ бы навсегда ему предназначенныхъ, и гдѣ сословіе дворянское пользуется, разумѣется, самымъ широкимъ образовательнымъ кругомъ, стояло ниже либеральной программы правительства, которое вовсе не допускало разграниченія образованія по сословіямъ и всѣмъ

и каждому равно позволяло пользоваться его благами. Какъ вошло это кастическое дѣленіе въ свѣтлую вообще мысль Пнина — не беремъ объяснить; развѣ только тѣмъ, что самое дѣло всесловнаго образованія было молодо у насъ.

Законы въ государствѣ, несмотря на все свое многообразіе, по мнѣнію Пнина, должны стремиться къ одной главной цѣли—охраненію правъ собственности и личной безопасности гражданина. О собственности авторъ говоритъ съ глубокимъ уваженіемъ: „Собственность—священное право, душа общежитія, источникъ законовъ! Гдѣ ты уважаена, гдѣ ты неприкосновенна, тамъ только спокоенъ и благополученъ гражданинъ. Но ты бѣжишь отъ звука цѣпей, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствѣ, ни въ безначаліи: ты обитаешь только въ царствѣ законовъ“. Эта мысль о собственности, на которой основываются законы, повела Пнина далѣе къ разсмотрѣнію нравственнаго состоянія русскихъ сословій. Очень неодобрительно отзываясь онъ о купцахъ и о гражданскихъ чиновникахъ, доказывая, какъ нужно и тому и другому сословію настоящее образованіе, не щадитъ и системы управленія вообще. Но дольше всего онъ останавливается на состояніи или сословіи земледѣльческомъ, какъ лишенномъ собственности. Это сословіе, по словамъ Пнина, находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцевъ, поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Законодательство теперь необходимо должно озаботиться огражденіемъ правъ собственности земледѣльцевъ; безъ этого оно совершенно будетъ лишено возможности образованія. Вы видите, какъ далеко, въ противоположность Карамзину, смотрѣлъ болѣе молодой авторъ „Опыта о просвѣщеніи“. Онъ понималъ, что безъ освобожденія отъ крѣпостнаго состоянія нечего и думать о просвѣщеніи собственно народа, и будущее оправдало его мысли.

ЛЕКЦІЯ XII.

Цензурное дѣло Пнина.—Смерть Пнина.—С.-Петербургскій журналъ.—Мартыновъ—Сѣверный Вѣстникъ.

Книга Пнина „Опытъ о просвѣщеніи относительно Россіи“, содержаніе которой было передано нами, появилась въ 1804 году, еще до утвержденія цензурнаго устава. Она разошлась очень быстро, и въ томъ же году понадобилось другое изданіе, почему она и представлена была сочинителемъ съ разными дополненіями, сдѣланными, по объясненію самого Пнина цензурѣ, по волѣ Монарха. Но цензура не пропустила второго изданія книги именно за то, что онъ выста-

вилъ въ очень черномъ цвѣтѣ положеніе у насъ крѣпостныхъ. „Авторъ съ жаромъ и энтузіазмомъ жалуется, говоритъ цензурный комитетъ, на злосчастное состояніе русскихъ крестьянъ, коихъ собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнѣнію его, находятся въ рукахъ какого-нибудь капризнаго паши... Хотя бы то и справедливо было, что русскіе крестьяне не имѣютъ ни собственности, ни гражданской свободы, однако зло сіе есть зло, вѣками укоренившееся, и требуетъ осторожнаго и повременнаго исправленія. Мудрые наши Монархи усмотрѣли давно его, но зная, что сильный переломъ всегда разрушаетъ машину правленія, не хотѣли вдругъ искоренить сіе зло, дабы не навлечь чрезъ то еще бѣднѣшаго бѣдствія. Правительство дѣйствуетъ въ семъ случаѣ подобно искусному врачу: мѣры его кротки и медленны, но тѣмъ не менѣе безопасны и спасительны. Если бы сочинитель нашелъ или думалъ найти какое-нибудь новое средство, дабы достигнуть скорѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безопаснѣе къ предполагаемой имъ цѣли, то-есть къ истребленію рабства въ Россіи, то приличнѣе было бы предложить оное проектомъ правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти въ сердцахъ такого класса людей, каковы наши крестьяне, это значить въ самомъ дѣлѣ собирать надъ Россіею черную, губительную тучу“. Это была обыкновенная манера цензурныхъ комитетовъ, продолжавшаяся очень долго, если только они желали, какъ въ этомъ случаѣ, вступать въ объясненіе съ авторомъ. На первыхъ порахъ цензура должна была входить въ эти объясненія, тѣмъ болѣе, что Пнинъ былъ извѣстенъ самому государю, который принималъ участіе въ его сочиненіи. Пнинъ оправдывалъ и защищалъ свой образъ мыслей: „Всякій писатель, пишущій о предметахъ государственныхъ, говорилъ онъ, никогда не долженъ терять изъ виду будущее. Ибо цѣлый народъ никогда не умираетъ, ибо государство, какимъ бы ни было подвержено сильнымъ потрясеніямъ, перемѣняетъ только видъ свой, но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязанъ истинѣ, имъ предусматриваемыя, представлять такъ, какъ онъ находитъ ихъ“... По его утвержденію онъ не высказалъ въ своей книгѣ ничего противозаконнаго: „Все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, всѣ истины, къ сему предмету относящіяся, почерпнулъ я изъ премудраго наказа Великія Екатерины. Она внушила мнѣ оныя. Она возбудила во мнѣ тотъ жаръ и энтузіазмъ, который цензоръ ставитъ мнѣ въ преступленіе“. Несмотря на оправданія, книга не была дозволена.

Извѣстность и мѣсто въ исторіи русской литературы доставила Пнину его книга, причемъ его таланты, образованіе, убѣжденія и трудолюбіе обѣщали замѣчательнаго писателя. Пнинъ былъ и лично

извѣстенъ императору Александру и, по словамъ его некролога, „былъ осыпанъ благодѣяніями монарха“. Онъ былъ въ цвѣтѣ силъ и лѣтъ и полонъ разныхъ литературныхъ предпріятій. Кромѣ „Опыта о просвѣщеніи“ Пнинъ оставилъ еще неизданное разсужденіе: „Вопль невинности, отвергаемой закономъ“ и незадолго до смерти писалъ сочиненіе „О возбужденіи патріотизма“ и драму „Велизарій“. Въ 1806 г. онъ имѣлъ намѣреніе издавать журналъ „Народный Вѣстникъ“, программа котораго была уже имъ составлена; сочинитель некролога увѣренъ, что этотъ предполагаемый журналъ „далеко бы оставилъ за собою всѣ журналы, у насъ бывшіе“. Но сильная простуда, обратившаяся въ скоротечную чахотку, быстро унесла его въ могилу, въ сентябрѣ 1805 года.

Пнинъ пользовался глубокимъ уваженіемъ и любовію литературныхъ друзей и вообще людей, близко его знавшихъ. Его любили какъ за литературный талантъ, такъ и за нравственные свойства его характера и убѣжденія. Современники-писатели въ обществѣ литературномъ почтили его память торжественнымъ собраніемъ, на которомъ читали въ честь его и похвальное слово и стихи. По подписеѣ на общія деньги рѣшено было поставить Пнину надгробный памятникъ. Выставляли въ особенности челоуѣколюбіе Пнина, который, несмотря на свое небогатое состояніе, никогда не отказывалъ въ помощи несчастнымъ, къ нему обращавшимся, и деньгами и совѣтами. Это выражено въ стихахъ 18-лѣтняго Батюшкова, на смерть его:

„Несчастливымъ не одно онъ золото дарилъ,
Пнинъ былъ согражданамъ полезенъ,
Перомъ отъ злой судьбы невинность защищалъ“¹⁾

Скорбь друзей его была непритворна. Что касается до взгляда ихъ на литературныя заслуги Пнина, то и тутъ они правильно смотрѣли на его направленіе: „Пнинъ былъ рожденъ поэтомъ истины, говоритъ другъ его Брусиловъ. Дира его не гремѣла похвалъ лести — онъ хвалилъ иногда; но самая похвала его имѣла на себѣ печать истины. Осыпая похвалами, онъ умѣлъ давать уроки строгой добродѣтели“²⁾.

Для насъ важно литературное направленіе Пнина и характеръ, къ сожалѣнію, весьма немногихъ его литературныхъ произведеній въ томъ отношеніи, что на нихъ и на всемъ его стремленіи отразились идеи современности и пробужденіе жизни Россіи. Была же, слѣдова-

¹⁾ Соврем. 1856 г. № 6, 168—169.

²⁾ Журн. Рос. Словесн. ч. 3, стр. 61.

тельно, возможность писателю того времени идти по иной, а не Карамзинской только дорогѣ; была возможность, сочувствуя искренно начатымъ и задуманнымъ преобразованиямъ при Александрѣ, вести впередъ общество, развивая его правильнымъ образомъ и указывая настоящій путь прогресса. Къ сожалѣнію, прогрессивныя идеи времени въ періодической литературѣ, послѣ ранней смерти Пнина, не нашли себѣ сколько-нибудь талантливаго истолкователя, писателя съ литературнымъ именемъ и вліяніемъ. Петербургскіе журналы первыхъ годовъ царствованія Александра, въ которыхъ замѣтнѣе это прогрессивное направленіе, не были богаты литературными талантами, и зато тѣмъ сильнѣе господствовало и нравственное и литературное вліяніе на общество Карамзина.

Не надобно однакожъ придавать большаго значенія этому прогрессивному направленію петербургскихъ журналовъ того времени.... И желанія и надежды ихъ были очень скромны, никакъ не выходили изъ рамокъ цензуры и не шли дальше того, что общало и вызывало само правительство. Отъ него одного они ждали всякаго развитія и улучшенія жизни: уничтоженія или, по крайней мѣрѣ, ослабленія цензуры, освобожденія или, по крайней мѣрѣ, улучшенія быта крѣпостныхъ крестьянъ, лучшаго устройства безгласнаго, окруженнаго тайною суда и по крайней мѣрѣ печатанія рѣшеній по важнымъ тяжбыннымъ дѣламъ, что во Франціи дѣлалось гораздо прежде революціи, и наконецъ, — весьма понятное желаніе — лучшаго, болѣе разумнаго и мягкаго устройства административной власти, которая отличалась крайнимъ произволомъ. Всего этого желало и само правительство Александра, а потому искать въ тогдашней періодической печати какихъ-нибудь оппозиціонныхъ элементовъ или того, что называется теперь „разнузданностію“ мысли, было бы очень несправедливо. Либерализмъ журналовъ былъ мягкій и сдержанный, при всякой мысли, казавшейся самимъ издателямъ смѣлою, они старались оговориться и объяснить, чего собственно они хотятъ. Но, къ сожалѣнію, и тогда были въ обществѣ люди, была партія, которая и въ этомъ робкомъ развитіи мысли видѣла или подозрѣвала опасность и хотѣла его остановить.

Правительство само желало гласности. Это доказывается тѣмъ, что послѣ образованія министерствъ и по введеніи цензурнаго устава, два министерства начали свои повременныя изданія, въ которыхъ хотѣли дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ обществу. Съ 1803 года министерство народнаго просвѣщенія начало свой журналъ, подъ названіемъ „Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія“, редакторомъ котораго былъ первоначально академикъ Озерецковскій. Журналъ этотъ сообщалъ всѣ сколько-нибудь замѣчательные факты изъ исторіи тогдашнихъ университетовъ

и другихъ учебныхъ и воспитательныхъ заведеній, подмѣчалъ и отношеніе къ нимъ общества, такъ что служить хорошимъ сборникомъ матеріаловъ для исторіи нашего просвѣщенія въ царствованіе Александра.

Гораздо однако былъ замѣчательнѣе органъ министерства внутреннихъ дѣлъ, обязанный безъ сомнѣнія своимъ существованіемъ мысли самого министра—Кочубея, друга государя. Это былъ „С.-Петербургскій журналъ“, выходившій ежемѣсячно и просуществовавшій въ первоначальномъ видѣ своемъ съ 1804 по конецъ 1809 года. Ежемѣсячное появленіе книжекъ журнала объясняется, по словамъ издателей, необходимостью давать публикѣ отчетъ, что сдѣлано въ теченіе мѣсяца. Въ журналѣ было два отдѣла. Первый былъ собственно officialный, но гораздо шире того, что разумѣлось подъ этимъ именемъ потомъ. Онъ посвященъ былъ „разнымъ учрежденіямъ по министерству внутреннихъ дѣлъ“, и все, что дѣлалось въ этой области, начиная съ Высочайшихъ указовъ и другихъ дѣйствій и мѣръ правительства, до мелкихъ пожертвованій разныхъ лицъ по губерніямъ,—печаталось въ этомъ отдѣлѣ. Публика знакомилась здѣсь подробно съ теченіемъ дѣлъ. Второй отдѣлъ журнала составленъ былъ „изъ разныхъ сочиненій и переводовъ, вообще къ предметамъ управленія принадлежащихъ“. Здѣсь, въ теченіе шести лѣтъ, обращено было вниманіе на весьма многіе предметы государственнаго управленія вообще, преимущественно однако на тѣ, которые входятъ въ область министерства внутреннихъ дѣлъ. Большею частію были это переводы извѣстныхъ писателей, авторитетовъ въ государственномъ управленіи. Статьи, имѣвшія отношеніе собственно къ Россіи, историческаго и географическаго содержанія, писанныя русскими, появлялись мало и то не въ первый годъ существованія журнала. Статьи переводныя были большею частію отрывки, но онѣ очень важны по содержанію и по желанію издателей примѣнить основанія ихъ къ русской государственной жизни. Въ самой первой книгѣ журнала помѣщены „Мысли, почерпнутыя изъ политическихъ разсужденій Бакона“, съ краткою его біографіею. Издатели говорятъ съ уваженіемъ о творцѣ новой философіи и антагонистѣ схоластиковъ. Они согласны, что „политическія мнѣнія со времени его весьма много измѣнились“, но находятъ, что „читателямъ не непріятно будетъ возобновить въ памяти сего славнаго человѣка, болѣе именемъ, нежели твореніями своими вообще нынѣ извѣстнаго“. Особеннымъ уваженіемъ со стороны издателей пользовались сочиненія извѣстнаго англійскаго политическаго писателя *Бентама*, который при Екатеринѣ былъ въ Россіи. Въ 1802 году его сочиненія вышли во французскомъ переводѣ Дюмона и отсюда брали переводы свои на русскій языкъ издатели „С.-Петербургскаго журнала“ и другіе поклонники Бен-

тама въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ¹⁾. Дюмонъ, въ началѣ царствованія Александра, самъ былъ въ Петербургѣ и оставилъ любопытныя замѣтки о дѣлахъ и о лицахъ того времени. Изъ Бентама издатели журнала министерства внутреннихъ дѣлъ перевели мысли „О пользѣ обнародованія отчетовъ“ (1804 г. № 1), „О распространеніи познанія законовъ“, „О пользѣ просвѣщенія“, „О свободѣ книгопечатанія“, на которую однако помѣщено возраженіе, вооружающееся противъ безусловной свободы печати (№ 2), „О необходимости утверждать законы на причинахъ“ (№ 6), „О безопасности (№ 11)“, „Паноптика или новый образъ устройства тюремныхъ зданій“, въ переводѣ Мартынова (1806 г. №№ 7—11). Издателей интересовали сужденія европейскихъ мыслителей по такимъ вопросамъ государственнаго устройства, которые требовали тогда у насъ рѣшенія, напр., объ общественной благотворительности, о госпиталяхъ, о тюрьмахъ, о полиціи, о привилегіяхъ, торговлѣ, вопросы финансовыя и экономическія и т. п. Обо всемъ этомъ сообщались мысли замѣчательныхъ современныхъ европейскихъ писателей. Вопросъ объ устройствѣ государства занималъ даже исторически; изложены были теоріи древнихъ философовъ объ этомъ предметѣ и даже Платонова республика. Было нѣсколько отрывковъ чисто историческаго содержанія.

Въ 1807 году, во время войны съ французами, напечатано было „разсужденіе одного англичанина о вліяніи французской революціи на мысли и поведеніе его соотечественниковъ“ (№№ 2 и 3), гдѣ дѣлается сильное нападеніе на революцію съ точки зрѣнія нравственности; и издатели прибавляютъ отъ себя, что эти нападенія можно отнести и не къ одной Англіи, а и къ другимъ государствамъ. Издатели вызывали любителей принять участіе въ ихъ журналѣ и присылать статьи, но такихъ нашлось очень немного. Можно указать развѣ на письмо, касавшееся одного изъ крупныхъ злоупотребленій того времени, именно *продажи людей въ рекруты*, въ чемъ участвовали главнымъ образомъ помѣщики (1804 г. № 7). Таково общее содержаніе журнала. Статьи его затрогивали важные вопросы внутренней политики и внутреннего устройства государства.

Цѣль издателей—познакомить общество съ лучшими европейскими мнѣніями и взглядами на эти вопросы, и если, конечно, статьи эти мало распространялись въ обществѣ того времени, не привыкшемъ ни думать, ни знать о своихъ нуждахъ, то, по крайней мѣрѣ, ихъ обязаны были читать лица officialнаго міра — чиновники. Нельзя не замѣтить въ этомъ журналѣ желанія, принадлежавшаго самому правительству, содѣйствовать общественному образованію

¹⁾ *Пытинъ*, „Русскія отношенія Бентама“. Вѣстн. Евр. 1869 г. Февраль, стр. 783—820.

и развитію общественнаго мнѣнія. Журналъ этотъ былъ замѣченъ и Жозефомъ де Местромъ. Онъ удивляется и обширности программы его и гласности. Говоря о первомъ отчетѣ Кочубея императору, этотъ писатель называетъ его документомъ, единственнымъ въ своемъ родѣ. „Все въ немъ раскрыто: и хорошее и дурное, даже не большія частныя возмущенія, вызванныя неудовольствіемъ; все въ немъ выставлено на чистоту“¹⁾. На изданіе журнала было ассигновано 6000 рублей.

Изъ журналовъ, которые стали появляться съ 1804 года въ Петербургѣ и въ которыхъ сохранялось прогрессивное направленіе, больше другихъ заслуживаетъ вниманія „Сѣверный Вѣстникъ“, издававшийся въ 1804 и 1805 годахъ *Мартыновымъ*. Этотъ писатель, извѣстный впослѣдствіи, какъ переводчикъ греческихъ классическихъ авторовъ, родился въ 1771 году въ Полтавской губерніи и, происходя изъ духовнаго сословія, получилъ образованіе въ Полтавской семинаріи, гдѣ въ особенности такъ хорошо изучилъ древне-греческій языкъ, что по окончаніи курса сдѣлался тутъ же преподавателемъ его. Въ 1788 году, вмѣстѣ съ товарищами своими, сдѣлавшимися потомъ извѣстными въ литературѣ, Иличевскимъ и Котляревскимъ (переводчикомъ на изнанку на малороссійское нарѣчіе *Энеиды*), Мартыновъ отправился въ С.-Петербургскую Александро-Невскую семинарію для приготовленія къ учительскому званію. Въ числѣ товарищей Мартынова, одновременно прибывшихъ изъ губернскихъ семинарій для той же цѣли по указу Екатерины въ Петербургъ, былъ и Сперанскій. Съ этого времени завязалась между ними дружба, и Сперанскій, быстро выдвинувшійся впередъ своими необычайными талантами, много способствовалъ потомъ и служебной карьерѣ своего пріятеля. Мартыновъ отличался сильною любознательностію и, занимаясь въ Александро-Невской семинаріи, находилъ время ходить пѣшкомъ почти чрезъ цѣлый Петербургъ въ Академію Наукъ—слушать тамъ лекціи по естественнымъ наукамъ, которыя были любимымъ занятіемъ его, наравнѣ съ греческими классиками, до самой смерти его. Въ 1792 году, въ одно время съ Сперанскимъ, Мартыновъ сдѣлался въ семинаріи преподавателемъ греческаго языка и тогда же пустился въ литературу, начавъ печатать стихи свои въ журналѣ Крылова и Клушина „С.-Петербургскій Меркурій“, а подъ конецъ 1793 года даже завѣдывалъ этимъ журналомъ. Съ большимъ трудомъ въ 1795 году удалось Мартынову выйти изъ духовнаго вѣдомства и поступить въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Въ 1796 году онъ издаетъ уже свой собственный журналъ „Муза“, а на слѣдующій

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г. № 6, стр. 67.

годъ поступаетъ учителемъ въ разныя женскія учебныя заведенія, находившіяся подъ покровительствомъ императрицы. Тогда же знанія языковъ, разнообразныя свѣдѣнія и дарованія сдѣлали Мартынова извѣстнымъ Александру, еще наследнику престола. Онъ и молодые друзья его рѣшили издать на русскомъ языкѣ нѣсколько извѣстныхъ сочиненій по политической экономіи; переводъ порученъ былъ Мартынову. Имъ переведено было, согласно его собственнымъ запискамъ, три части сочиненія англійскаго экономиста Стюарта, впрочемъ съ французскаго: *Récherches sur l'économie politique*, шесть частей сочиненія Кондорсе—*Bibliothèque de l'homme publique* и сочиненіе Верри: *Economie politique*. Всѣ эти переводы были напечатаны потому только въ отрывкахъ.

Царствованіе Александра подвинуло Мартынова впередъ по служебной карьерѣ. При образованіи министерствъ Муравьевъ и Сперанскій рекомендовали его графу Завадовскому, и въ 1803 году Мартыновъ былъ назначенъ директоромъ департамента народнаго просвѣщенія и въ этомъ званіи очень много сдѣлалъ для организациі новаго министерства, особенно послѣ того, какъ сдѣлался правителемъ дѣлъ главнаго правленія училищъ. Но Мартыновъ не покидалъ однако науки, и въ С.-Петербургскомъ педагогическомъ институтѣ, открытомъ тогда вмѣсто университета, читалъ лекціи эстетики, на которыя, до самаго конца курса, собиралось много слушателей¹⁾.

Изданіе журналовъ „Сѣверный Вѣстникъ“ въ 1804 и 1805 гг. и потомъ „Лицей“—въ 1806 году могло быть предпринято Мартыновымъ только съ денежною помощію отъ правительства; иначе едва ли бы онъ былъ въ состояніи издавать; по широтѣ программы, по таланту исполненія, они далеко уступаютъ журналу Карамзина. Отдѣла политическаго здѣсь вовсе не было, критика была слаба, какъ и во всѣхъ журналахъ того времени; ея главное достоинство заключалось въ томъ, что она стояла за новый слогъ противъ нападеній Шишкова. Главное содержаніе журналовъ Мартынова, какъ и слѣдовало ожидать отъ директора департамента народнаго просвѣщенія, было просвѣщеніе и вообще наука. Здѣсь не только развивались общія понятія о просвѣщеніи, которое еще надобно было защищать отъ нападеній тогдашнихъ обскурантовъ, но сообщались свѣдѣнія о всѣхъ новыхъ явленіяхъ въ области науки и просвѣщенія, печатались извѣстія о засѣданіяхъ разныхъ академій и ученыхъ обществъ, какъ нашихъ, такъ и заграничныхъ. Беллетристическій отдѣлъ состоялъ преимущественно изъ стиховъ. Если не было въ журналѣ политики, то взглядъ Мартынова выражался въ этомъ отно-

¹⁾ Колбасинъ, *Современникъ* 1856 г., № 3 и 4.

шеніи въ переводахъ изъ Тацита, Гиббона, Монтескье, Гольбаха и другихъ, и въ уваженіи къ государственному устройству Англіи, гдѣ авторъ доходитъ даже до аристократическихъ тенденцій. Такъ, въ статьѣ „Опытъ о Великобританіи“¹⁾, неизвѣстный авторъ ея приходитъ въ восторгъ отъ англійской аристократіи, которая создала патріотизмъ, непреодолимую любовь къ своей родинѣ британца. Патріотизмъ британца имѣетъ однако особенныя основанія. „Британецъ привязанъ къ своему государю, говоритъ авторъ, потому, что онъ участвуетъ съ нимъ въ постановленіи законовъ, столь ему полезныхъ, и потому что исполнительная власть сей главы его отечества, приводящая все въ стройное движеніе, есть власть для каждаго подданнаго любезная, творящая единое благо“... „Британецъ любитъ своихъ перовъ или преимущественныхъ главъ дворянскихъ семействъ, потому что они раздѣляютъ съ нимъ трудъ въ народныхъ постановленіяхъ, потому что существуетъ *одинъ законъ* для всѣхъ состояній“ и пр.

Любовь къ родинѣ англичанъ есть источникъ того блестящаго положенія, въ которомъ находится Англія. Съ восторгомъ говоритъ авторъ о *конституціи* англійской, объ этихъ „священныхъ, твердыхъ постановленіяхъ для народо-управленія и производства правосудія“. Обращаясь къ Россіи, авторъ говоритъ о ея будущемъ величіи, но прибавляетъ, что она „никогда не достигнетъ до него существенно *безъ временныхъ измѣненій въ порядкѣ* народо-управленія, въ преимуществахъ и правахъ, и безъ живительнаго патріотизма *преимуществующаго* (т.-е. аристократическаго) состоянія народа“. Это далеко не *status quo* Карамзина. Описавъ физическое и политическое могущество Россіи, неизвѣстный авторъ спрашиваетъ, отчего бы и въ ней патріотизмъ не принесъ такой же пользы, какъ въ Англіи? Къ сожалѣнію, онъ не видитъ на своей родинѣ патріотизма и съ горькимъ упрекомъ обращается къ сынамъ Россіи: „Россіяне чужды народнаго честолюбія и славы; они, въ низкое угожденіе мимоходящимъ пришлецамъ, слагаютъ обезображенные стихи на полуиностранномъ языкѣ и небрегутъ оградить себя отъ той укоризны, которая начертается на самихъ могилахъ ихъ негодованіемъ истинныхъ сыновъ Россіи; небрегутъ оградить себя отъ такой укоризны, которая произведетъ живую скорбь въ сердцахъ дѣтей ихъ. Теперь служатъ они предметами скрытой насмѣшки Галловъ, а со временемъ будутъ они предметы гнѣва и презрѣнія самыхъ чадъ своихъ“. Какъ поправить это зло? Перемены должны быть сдѣланы радикальныя: „Правленію надлежитъ принимать не робкія, но дальновидныя и великодушныя мѣры“. Авторъ требуетъ у насъ созданія ари-

¹⁾ Сѣв. Вѣстн. 1805 г. № 2, стр. 150—156 и № 3, стр. 247—260.

стократіи, въ родѣ англійской, требуетъ „положить преграды пагубному размноженію для государства дворянъ“. Затѣмъ „законы должны быть для всѣхъ состояній равныя и непоколебимыя“. О крѣпостномъ состояніи говорится только темнымъ намекомъ: „рогатый скотъ, овцы, лошади и прочія, находясь въ чѣмъ либо исключительномъ владѣніи“... Но вредъ крѣпостнаго состоянія высказанъ журналомъ въ живомъ примѣрѣ. Кто-то сообщилъ объ игрѣ московскихъ актеровъ. Между ними была замѣчательная актриса Баранчеева, но она была крѣпостная... „Можетъ ли Баранчеева, при хорошихъ способностяхъ, быть хорошею актрисою?“—спрашиваетъ авторъ—„пусть другой разсудитъ, а не я. Заключи Рубенса, Гаррика, Дидо въ крѣпость,—они не были бы славою своего отечества“¹⁾. Кѣмъ былъ написанъ панегирикъ Англіи и рекомендовалось аристократическое устройство государства, однако на свободномъ, конституціонномъ развитіи, — мы не знаемъ. Поклонникомъ англійской конституціи былъ у насъ въ то время Новосильцевъ; уваженіе къ англійской формѣ проглядываетъ и въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; многіе были не прочь отъ нея.

Главная и первая задача „Сѣвернаго Вѣстника“ было желаніе усовершенствовать воспитаніе и утвердить на прочныхъ основаніяхъ только что начавшееся въ государствѣ просвѣщеніе, у котораго естественно было въ то время много враговъ. Наука и разумъ имѣли тогда много дѣйствительныхъ враговъ, особенно между тѣми, которые связывали французскую революцію съ широкимъ и свободнымъ развитіемъ мысли въ XVIII вѣкѣ. „Привыкли мы уже слышать нареканіе, говорить издатель журнала, что просвѣщеніе въ наши дни произвело на Западѣ страшныя неустройства. Не оно, а невниманіе къ нему“. Сколько разъ приходилось повторять эту избитую мысль, но тогда она была еще новостью.

ЛЕКЦІЯ XIII.

Журналы: „Лицей“, „Журналъ Россійской Словесности“, „Журналъ для пользы и удовольствія“.—Макаровъ и его журналъ.

Журналъ Мартынова „Сѣверный Вѣстникъ“ долженъ былъ защищать образованіе противъ тѣхъ враговъ, которыхъ у него было такъ много въ обществѣ, долженъ былъ и объяснять его значеніе и свойства. Журналъ этотъ хотѣлъ воспитанія, основаннаго на твердыхъ

¹⁾ Сѣв. Вѣстн. 1804 г., ч. I, стр. 387.

правилахъ. И онъ, подобно Пнину, предполагалъ извѣстныя границы образованія, сообразно сословіямъ въ государствѣ: „Чѣмъ обширнѣе кругъ дѣйствій какого состоянія, либо лица, тѣмъ болѣе и обширнѣе надлежитъ быть ихъ познаніямъ; чѣмъ ограниченнѣе сей кругъ, тѣмъ менѣе могутъ приносить пользы такія познанія, которыхъ имъ ни на что употребить не можно“ ¹⁾. Любопытна полемика Мартынова противъ тѣхъ внутреннихъ враговъ нашего просвѣщенія, которые, допуская науку и образованіе по необходимости, хотѣли однако ослабить вредныя дѣйствія ихъ такимъ родомъ ученія, формальнымъ, однообразнымъ, который не допускалъ бы въ человѣкѣ ни малѣйшаго признака саморазвитія и свободной мысли, пришедшей извнѣ. Авторъ такого проекта ²⁾ требовалъ, чтобъ въ школы введена была единообразная и неизмѣнная метода, чтобъ учащіеся въ духовномъ отношеніи, т.-е. въ свѣдѣніяхъ и мысляхъ своихъ, представляли изъ себя нѣчто похожее на эскадронъ или полкъ, гдѣ каждый солдатъ пригнанъ къ другому. Тогда, какъ въ военномъ дѣлѣ, можно будетъ взыскивать только съ учителей, а не съ учениковъ, и надзоръ за первыми гораздо важнѣе. Какъ дикъ былъ взглядъ этого составителя проекта, видно изъ слѣдующей замѣтки его: „Отъ чего въ аглинскомъ парламентѣ большая часть узаконеній всегда почти бывають оспариваемы? Отъ чего между судьями объ одномъ дѣлѣ и по однимъ законамъ бывають разныя мнѣнія? Отъ чего между учеными объ одной наукѣ разныя утвержденія, причиняющія не одни споры, но великія и вредныя ссоры?... Главная сему причина недостатокъ единообразнаго ученія отъ разномысленныхъ учителей“... ³⁾. Вотъ противъ чего приходилось спорить, какія простыя истины доказывать тому, кто бралъ на себя защиту просвѣщенія.

Другая мысль, которая довольно часто встрѣчается на страницахъ „Сѣвернаго Вѣстника“, есть мысль о необходимости лучшихъ законовъ. И здѣсь журналъ не опережалъ правительства, а только шелъ за нимъ, развивалъ его намѣренія. „Общества человѣческія, говорилъ журналъ, подобно тѣламъ естественнымъ, подвержены перемѣнамъ, слѣдовательно, одни и тѣ же законы не могутъ приличествовать имъ въ разныхъ обстоятельствахъ“. Это не естественные законы, которые всегда и вездѣ остаются непреложными и неизмѣняемыми. Законы должны совершенствоваться, и журналъ требуетъ у насъ лучшихъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ и особенно суда. „Благо гражданскихъ обществъ, благо государствъ основывается на мудромъ

¹⁾ 1804 г. ч. I, стр. 4.

²⁾ 1804 г., ч. I, стр. 39 сл.

³⁾ Ibid. 48.

законодательствѣ; безъ онаго никакой народъ, никакое государство не можетъ быть благополучнымъ" ¹⁾). Журналъ стоялъ отчасти и за свободу печати и подавалъ такимъ образомъ голосъ, въ одномъ изъ самыхъ спорныхъ вопросовъ современности, за прогрессъ. Въ немъ было напечатано „мнѣніе шведскаго короля Густава III о вольности книгопечатанія" ²⁾). Мнѣніе это вполне благоприятно свободѣ печати и доказываетъ благородный образъ мыслей короля, который принадлежалъ къ коронованнымъ лицамъ XVIII вѣка, раздѣлявшимъ убѣжденія тогдашней философіи и желавшимъ проводить ихъ въ жизнь государственную. Густавъ III особенно указываетъ на то, что публика должна знать все производство дѣлъ въ судахъ и всѣ приговоры, и переводчикъ въ этомъ мѣстѣ отъ себя дѣлаетъ примѣчаніе о необходимости обнародованія судебныхъ приговоровъ въ полномъ ихъ видѣ. Указъ 8 сентября 1802 года о краткомъ объявленіи въ вѣдомостяхъ о рѣшенныхъ дѣлахъ—не удовлетворяетъ его. Онъ желаетъ журнала съ полными приговорами, въ видѣ „Памятника Россійскаго правосудія". „По истинѣ, какой бы можно было ожидать пользы, говоритъ онъ, если бы публикѣ извѣстны были всякіе приговоры, а особливо по дѣламъ уголовнымъ! Судья, подписывающій рѣшеніе судьбы равнаго, а часто высшаго его степенемъ согражданина, подвергнувшаго себя суду, съ трепетомъ и съ чистою совѣстію принимался бы за перо, зная, что дѣло его, вмѣсто того, чтобы быть въ забвеніи въ архивѣ, извѣстно будетъ свѣту и потомству".

Второй журналъ Мартынова „Лицей", издававшійся имъ въ 1806 году, тоже съ пособіемъ отъ правительства, гораздо менѣе замѣчателенъ; чѣмъ прежній, несмотря на то, что въ немъ появлялись политическія извѣстія. Эти послѣднія чрезвычайно кратки и скудны; видно, что политика было непривычное дѣло для издателя и онъ не помѣстилъ даже ни одного политическаго обозрѣнія.

Несправедливо было бы предъявлять журналу того времени большія требованія и ожидать того, чего онъ не былъ въ состояніи дать. Въ этихъ журналахъ читателя настоящаго времени, ищущаго въ нихъ мысли и направленія прошлаго, поражаетъ вообще и бѣдность общественной мысли, и бѣдность реальнаго, чисто русскаго содержанія, и недостатокъ образованія, и скудость таланта. Все это разумѣется соответствовало характеру государственной жизни, недостатку самостоятельности въ обществѣ и ничтожности интересовъ въ немъ. Такъ же слабъ, какъ „Сѣверный Вѣстникъ", въ которомъ статьи съ обществен-

¹⁾ Ibid. 1, 194.

²⁾ 1804 г., ч. 3, стр. 201—206.

ными вопросами попадались весьма рѣдко и случайно, былъ уже упомянутый мною „Журналъ Россійской словесности“, выходившій въ 1805 году, подъ редакцію Брусилова, и наполнявшійся большею частію статьями самого редактора. Кто былъ этотъ Брусиловъ, неизвѣстно: о немъ кромѣ того, что онъ былъ друженъ съ Пнинымъ и былъ членомъ литературнаго общества, мы ничего не знаемъ. Видно, что въ литературѣ онъ былъ человѣкъ случайный, и имя его потомъ исчезаетъ совершенно безъ слѣда. Журналу придавало нѣкоторую жизнь участие въ немъ Пнина, но статьи, въ немъ помѣщенные, не имѣютъ общаго характера и направленія. Если что было въ немъ живаго и имѣвшаго близкое и современное отношеніе къ обществу, такъ это было нападеніе на французское воспитаніе высшаго класса общества у насъ. Такого содержанія „Письмо деревенскаго жителя о воспитаніи“ ¹⁾. „Нельзя безъ прискорбія видѣть, говоритъ авторъ, что воспитаніе нашего юношества совершенно въ рукахъ иностранцевъ, что оно ввѣряется у насъ бродягамъ, людямъ распутнымъ, зараженнымъ якобинскими правилами, вредными не только благоустроенному правительству, но и самому человѣчеству; часто, очень часто наставники сіи неимѣютъ понятія о чести и добродѣтели!“ Отсюда недостатокъ въ воспитанникахъ этихъ людей патріотизма, о которомъ тогда многобыло вообще говорено, тѣмъ болѣе, что уже начиналась наша борьба съ Наполеономъ: „Чему удивляться, что они всѣмъ своимъ пренебрегаютъ, когда, такъ сказать, съ молокомъ еще вперена въ нихъ мысль, что Россія есть земля варварская, обиталище суевѣрія и невѣжества?“ Отсюда и эта безумная расточительность, это незнаніе цѣны денегъ, которымъ отличалось дворянство того времени, наслаждавшееся жизнію на деньги, добытыя кровавымъ трудомъ крѣпостныхъ. „Если бы помышляли они о томъ, съ какою трудностію добываются крестьянами тысячи, проматываемыя ими, если бы видѣли они, какъ бѣдные поселяне отдають иногда послѣднее рубаше для доставленія барину денегъ, нужныхъ ему, можетъ быть, на какія-нибудь моды“, и проч. Сочувствіе къ крестьянамъ протлѣдываетъ и въ другихъ статьяхъ журнала, но очень неопредѣленно. Зато ясно высказывается сочувствіе къ свободному направленію тогдашняго правительства. Такова басня, кажется, одна изъ первыхъ басенъ плодovitаго потомъ баснописца и издателя журнала А. Е. Измайлова: „Истина во дворцѣ“. Однажды въ чертогъ къ царю забралась нагая истина и всѣ обрушились на нее съ негодованіемъ, призвали стражу и выгнали бѣдную истину изъ дворца. Въ другой разъ истина поступила гораздо благоразумнѣе: она пришла во дворецъ въ одеждѣ *вымысла* и царь плѣнился ею и послушался ея рѣчей.

¹⁾ I, стр. 9—28.

„Счастлива та страна, въ которой кроткій Царь
Правдиво говорить себѣ не запрещаетъ!
Счастливѣй мы стократъ; нашъ ангелъ Государь
Не только истину въ чертогъ себѣ пускаетъ,
Но даже ищетъ самъ ее“ ¹⁾.

Все это отличалось большою невинностью, но все же въ петербургскихъ журналахъ того времени, напр., даже въ такомъ пустомъ и ничтожномъ, какъ, издававшійся на 1805 годъ Варенцовымъ „Журналъ для пользы и удовольствія“ можно было найти статьи политическаго содержанія. Такъ, въ немъ помѣщенъ переводъ изъ Рейналя о конституціонномъ правленіи въ Англіи ²⁾.

Такова была въ началѣ царствованія Александра русская журналистика. Первый толчекъ ей данъ былъ Карамзинымъ и, конечно, духомъ новаго времени и реформами, замышляемыми правительствомъ. Съ ея стороны мы замѣчаемъ стремленіе понять это новое направленіе и разглядѣть, что нужно странѣ. Но это было только безплодное стремленіе, хотя и похвальное въ сущности. Журналистикѣ не доставало очень многого, а главное, самостоятельной мысли и жизни въ обществѣ, безъ чего она невозможна. Все же въ петербургскихъ журналахъ замѣчалось больше современности и движенія впередъ, чѣмъ въ московскихъ. Последніе, изъ всего содержанія дѣятельности Карамзина, развивали болѣе всего *сентиментальность*. Къ числу первыхъ и болѣе другихъ даровитыхъ поклонниковъ и подражателей литературной дѣятельности Карамзина надобно отнести Петра Ивановича Макарова, который и писателемъ явился, кажется, только изъ подражанія прославленному литератору своего времени, а потому совершенно случайно. По крайней мѣрѣ, онъ нисколько не былъ приготовленъ къ авторской дѣятельности ³⁾. Современники оставили о немъ отрывочныя замѣтки, какъ о человѣкѣ замѣчательномъ и отличавшемся многими странностями, но въ чемъ состояли онѣ, неизвѣстно. Краткое свѣдѣніе о его жизни было написано М. А. Дмитриевымъ, черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его смерти, и не даетъ о немъ никакихъ особенныхъ свѣдѣній. Макаровъ родился въ одинъ годъ съ Карамзинымъ и, подобно ему, принадлежалъ къ дворянскому сословію. Отецъ его былъ богатый казанскій помѣщикъ и исправлялъ должность губернскаго предводителя дворянства во время Пугачевского бунта. Какъ, чему и гдѣ учился молодой Макаровъ, — намъ неизвѣ-

¹⁾ I, стр. 51.

²⁾ I, стр. 183—211.

³⁾ Геннадіи. „Макаровъ и его журналъ Московскій Меркурій“, *Соврем.* 1854 г., т. XLVII, № 10, Отд. III, 65—94.

стно, хотя биографъ и говоритъ объ этомъ въ слѣдующихъ словахъ: „прилежность и, можно сказать, страсть къ ученію, сдѣлали его извѣстнымъ еще въ дѣтскихъ лѣтахъ“¹⁾. Военная служба, въ которую онъ долженъ былъ вступить по исконному дворянскому обычаю, была, какъ извѣстно, очень облегчена во время Екатерины. Макаровъ еще въ дѣтствѣ былъ записанъ въ артиллерію и состоялъ или числился въ тѣхъ ротахъ, которыя постоянно находились въ Казани. Служба проходила удобно и спокойно. Дослужившись до чина поручика, Макаровъ долженъ былъ отправиться въ Петербургъ. Кажется, что около этого времени умеръ отецъ его, и Макаровъ, оставшись на свободѣ, повелъ въ столицѣ веселую жизнь и въ кругу кутящей военной молодежи того времени, прожилъ почти все свое состояніе. У него осталась одна небольшая деревенька; все остальное было продано на уплату долговъ. Макаровъ вышелъ въ отставку, но на одномъ мѣстѣ не остался. Въ 1795 году онъ предпринимаетъ путешествіе въ Англію. Какая цѣль была этого странствованія и почему онъ выбралъ именно эту страну, ни языка, ни обычаевъ которой онъ не зналъ,—мы ничего не знаемъ. Вѣроятно, однако, что „Письма русскаго путешественника“ имѣли большую долю вліянія на воображеніе молодого Макарова, и онъ представлялъ себя сентиментальнымъ путешественникомъ, любимымъ типомъ времени.

Памятникомъ этого путешествія Макарова въ Англію остались письма его къ друзьямъ о Лондонѣ, подъ названіемъ „Россіянинъ въ Лондонѣ“, помѣщенные частію въ „Московскомъ Меркуріѣ“, частію въ „Вѣстникѣ Европы“ 1804 года, издателемъ котораго онъ сдѣлался послѣ Карамзина, впрочемъ на очень короткое время. Письма эти написаны, очевидно, въ подражаніе Карамзину, хотя Макаровъ подражалъ болѣе слогу послѣдняго. О характерѣ этого путешествія самъ Макаровъ говоритъ, что онъ предпринялъ его „безъ рекомендательныхъ писемъ, безъ товарища, не зная англійскаго языка, и безъ денегъ“²⁾. Очутившись, такимъ образомъ, въ огромномъ незнакомомъ городѣ, путешественникъ обратился за помощію къ священнику русскаго посольства. Тотъ, дѣйствительно, помогъ ему и устроилъ его жизнь въ Лондонѣ. Макаровъ принялся изучать Лондонъ; городъ ему понравился. Онъ остался имъ вполне доволенъ. „Начиная отъ земледѣльческихъ инструментовъ, говоритъ онъ, до самыхъ дорогихъ чашъ, отъ собаки, барана и быка до верховой лошади, отъ сапоговъ, которые носитъ слуга, до металла, блистающаго на предестной груди молодой леди, отъ стола или стула бѣднаго мѣщанина до велико-

¹⁾ Сочиненія и переводы Макарова. М. 1817. Предисловіе.

²⁾ Моск. Мерк. I, стр. 28.

лѣпныхъ уборовъ богача —здѣсь все хорошо“¹⁾. Изъ этихъ словъ Макарова видно, что онъ обращалъ вниманіе только на внѣшнюю сторону лондонской жизни. Впрочемъ, онъ дѣлаетъ замѣтку, что жизнь въ Лондонѣ дешевле московской и петербургской, и старается доказать это исчисленіемъ своихъ расходовъ. Правится ему также и то, что въ Англію можно пріѣхать безъ всякаго паспорта, что, по его словамъ, правительство принимаетъ тамъ всякаго иностранца какъ *юстя, какъ добраго чловѣка*; не дѣлаетъ ему никакихъ допросовъ, не оскорбляетъ его никакимъ подозрѣніемъ. Главный предметъ, который больше прочаго занималъ Макарова въ Лондонѣ, были женщины, и притомъ такія, съ которыми ему легче было познакомиться, это именно тѣ, которыхъ онъ попросту называетъ *дѣвками*, и которыя, по ихъ техническому выраженію въ Лондонѣ, *обязываются на вечеръ*“. Макаровъ довольно подробно и съ увлеченіемъ описываетъ ихъ. Надобно замѣтить, что эта сторона жизни европейскихъ столицъ составляла вообще главный предметъ наблюденій нашихъ богатыхъ заграничныхъ путешественниковъ, а въ Карамзинѣ и его школѣ, несмотря на всю ея сентиментальность и меланхолію, чувственная сторона была довольно сильно развита. Самъ Карамзинъ даже въ „Вѣстникѣ Европы“ началъ было писать романъ или повѣсть, подъ названіемъ „Герой нашего времени“, на которой слишкомъ замѣтно вліяніе знаменитаго романа Лувэ „Фобласъ“, а послѣдователи Карамзина довели это содержаніе до крайностей и уродства. У Макарова была значительно развита эта сторона карамзинскаго направленія въ его „Меркуріѣ“. Онъ замѣчаетъ, напр., слабое развитіе у насъ литературы и ищетъ причины этого явленія: „Въ числѣ обстоятельствъ, которыя доннынѣ препятствовали успѣхамъ нашей литературы, говоритъ онъ, вопліѣ справедливо можно кажется полагать еще и то, что у насъ молодой чловѣкъ весьма рано перестаетъ учиться, и по вступленіи въ свѣтъ не имѣетъ уже никакой побудительной причины обогащать ума своего: общества, которыя онъ посѣщаетъ, не требуютъ отъ него знаній; видъ пользы отдаленной слабо дѣйствуетъ на его сердце, оно наслаждается только удовольствіями настоящаго времени“²⁾. Разсматривая успѣхи и развитіе французской литературы въ XVIII вѣкѣ, Макаровъ все это развитіе приписываетъ вліянію образованныхъ женщинъ и тѣмъ литературнымъ салонамъ знаменитыхъ дамъ, въ которыхъ сосредоточивалось движеніе мысли. Онъ желаетъ того же и нашему обществу: „Если бы наши дамы выдумали подражать сему примѣру, то нѣтъ сомнѣнія, что онѣ заставили бы

¹⁾ Соч. и Пер. изд. 2, т. II, ч. III, стр. 37.

²⁾ Ibid. т. I, ч. I, стр. 59.

всякого учиться". „Тогда, говорить онъ, можетъ быть, на землю воротились тѣ золотые вѣки, когда одинъ взглядъ, одинъ поцѣлуй руки награждалъ десятилѣтніе подвиги героев!!" Съ этой сентиментальной точки зрѣнія Макаровъ желаетъ и образованія нашимъ женщинамъ, желаетъ, чтобъ онѣ посѣщали и музеи и лицеи, слушали лекціи профессоровъ. Онъ жалѣетъ, что у насъ, изъ всѣхъ французскихъ модъ, не перенимаютъ именно эту. Макаровъ совершенно согласенъ, чтобъ женщина училась столько же, сколько и мужчина; онъ утверждаетъ даже, что ея способности превосходнѣе нашихъ и требуютъ только развитія. Исторически разбираетъ онъ участіе женщинъ въ ходѣ общаго образованія и мечтаетъ о томъ времени, когда въ Россіи, въ восторгѣ благодарности, можно будетъ сказать: „женщины просвѣтили Россію!"¹⁾ Поэтому и журналъ свой Макаровъ преимущественно назначаетъ для дамъ; съ этою цѣлію онъ особенно заботится о модныхъ картинкахъ и о полнотѣ описанія современныхъ модъ: „Вамъ, любезныя читательницы, желаемъ предпочтительно угождать: *ваше* только одобреніе назовемъ *вѣнцемъ* и *счастьемъ* своимъ"... „О васъ, прекрасныя, станемъ думать безпрестанно"²⁾. Это не были слова дѣйствительнаго уваженія къ женщинѣ и признанія ея правъ; это была нѣжная карамзинская манера, весьма близко граничащая съ грубой чувственностію, встрѣчающейся въ жизни. Изъ одной замѣтки лондонскихъ писемъ Макарова видно, что онъ былъ и въ Швейцаріи. Біографъ его говоритъ, что у него не было никакихъ средствъ выбраться изъ Англіи и что пришлось прибѣгнуть къ займу, но по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ гдѣ-то досталъ денегъ и честно расплатился съ добрымъ англичаниномъ, давшимъ деньги мало ему знакомому.

Воротившись изъ своего безцѣльнаго путешествія за границу, которое, однако, тогда придавало гораздо болѣе значенія и ученой репутаціи человѣку, чѣмъ теперь, Макаровъ поселился въ Москвѣ и сталъ жить литературою, не имѣя, повидимому, другихъ средствъ. Онъ перевелъ (съ 1796—1800 г.) съ французскаго модный тогда романъ „Графъ де Сентъ-Меранъ или новыя заблужденія сердца и ума"— 8 ч., а въ 1802 году „Атеноровы путешествія по Греціи и Азіи", Лантье—вымышленныя, какихъ тогда, со времени знаменитой книги Бартеlemi, издавалось много. Здѣсь описывался древній міръ. Въ слѣдующемъ году, увлеченный примѣромъ Карамзина, Макаровъ издавалъ свой журналъ „Московский Меркурій", наполняя его, по условіямъ того времени, собственными своими трудами и переводами,

¹⁾ Ibid. стр. 72.

²⁾ I, 70—71.

которые потомъ изданы отдѣльно въ небольшихъ 4-хъ частяхъ. (М. 1805 и 1817 г.). На слѣдующій годъ онъ издавалъ, какъ кажется, послѣ Карамзина, „Вѣстникъ Европы“, а въ концѣ этого года съ какимъ-то изъ пріятелей своихъ, неизвѣстно съ какою цѣлю, поѣхалъ въ Польшу, и на дорогѣ, въ его деревнѣ, умеръ. Вотъ и вся біографія этого человѣка, въ характерѣ и въ обстоятельствахъ жизни котораго современники находили очень много странностей, не объясняя, однако, въ чемъ онѣ состояли. Біографъ его Дмитріевъ говоритъ о немъ общими фразами: онъ былъ добръ, чувствителенъ, пріятенъ въ обществѣ и любимъ всѣми, никогда не жаловался на свою бѣдность и чрезвычайно усердно заботился о своемъ слогѣ, поправляя нѣсколько разъ написанное. Въ этомъ слогѣ видно усердное подражаніе Карамзину. У Макарова та же мѣрность и плавность, тѣ же дактилическія окончанія, та же округленность періодовъ, но уже въ немъ, какъ въ подражателѣ, видна отчасти неестественность этого слога.

Журналъ Макарова пусть содержаніемъ. Политика, современность, вопросы внутреннего устройства государства не существуютъ для него; его занимаетъ только изящное и желаніе угодить милымъ читательницамъ. Стиховъ немного. Повѣсти и мелкія статейки разнаго содержанія, всѣ большею частію переведены съ французскаго и насквозь проникнуты сентиментальностію, любимую обществомъ.

Макаровъ между современниками и въ курсахъ русской словесности оставилъ послѣ себя репутацію литературнаго критика. Современники не долюбливали критики Макарова: „Не спорно, говорить его некрологъ ¹⁾, что критика его была ѣдка, не всегда справедлива и болѣе сатира, нежели критика; но и она, вѣроятно, послужила въ осторожность многимъ изъ нашихъ молодыхъ писателей. Онъ проигралъ симъ родомъ занятія, ибо нажилъ себѣ непріятелей; за то сдѣлался полезнымъ тѣмъ, кого судилъ“. Критика Макарова была очень незлобна. У него не было никакихъ теоретическихъ началъ, подъ которыя онъ подводилъ бы разбираемое сочиненіе; онъ не опредѣлялъ ни внутренняго, ни художественнаго его значенія, не искалъ въ немъ ни главной мысли, ни цѣли, а обращалъ только вниманіе на внѣшнее выраженіе, на слогъ и слова. Но и этого тогда уже было много и всякій сочинитель или переводчикъ считалъ себя задѣтымъ за живое самымъ пустымъ замѣчаніемъ. Между тѣмъ Макаровъ, подобно Бѣлинскому, который не разъ высказывалъ ту же самую мысль, писалъ свои рецензіи, по его словамъ, „не для авторовъ и переводчиковъ, а единственно въ пользу тѣхъ любителей

¹⁾ Сѣв. В. 1804 г., ч. IV, стр. 333.

чтенія, которые для выбора книгъ не имѣютъ другаго руководства, кромѣ газетныхъ объявленій". Это было полезное дѣло для публики, но тогдашніе писатели смотрѣли иначе. Они были недовольны вообще критикою Макарова. „Сѣверный Вѣстникъ“¹⁾ напечаталъ даже у себя разсмотрѣніе всѣхъ рецензій Макарова въ его „Московскомъ Меркуріѣ“, гдѣ доказывалось, что критика пишется единственно для авторовъ и переводчиковъ, дабы нѣкоторыхъ изъ нихъ усовершенствовать въ сочиненіяхъ и переводахъ и высказывалось убѣжденіе, что, было бы гораздо больше пользы, если бы „почтенные творцы *Россіады*, *Сорены*, нашъ Горацій, воспѣвшій *Бога*, *Фемму*, приняли на себя трудъ, въ свободные часы отъ безсмертныхъ дѣлъ своихъ, замѣчать, выправлять нѣкоторыя творенія юныхъ авторовъ, подающихъ о себѣ большую надежду. Кто, кто изъ таковыхъ писателей не вмѣнилъ бы себѣ въ законъ слѣдовать толь безпристрастнымъ, родительскимъ; можно сказать, совѣтамъ“. Такъ смотрѣли тогда на критику.

Критика составляетъ, однако, самую живую сторону Макаровскаго журнала. Карамзинъ не любилъ ея, она была ему не по характеру, и онъ могъ писать только въ похвальному тонѣ. Макаровъ, напротивъ того, ввелъ критику въ моду; ни одинъ журналъ не обходился уже потомъ безъ нея. Несмотря на всю свою поверхностность литературныя сужденія издателя „Меркурія“ были полны здраваго смысла и стояли гораздо выше рецензій многихъ современныхъ журналовъ. Въ извѣстной борьбѣ между поклонниками Шишкова и Карамзина, Макаровъ стоялъ, разумѣется, на сторонѣ послѣдняго. Онъ, какъ увидимъ, первый открылъ полемикѣ.

Уваженіе къ прекрасному полу, съ примѣсью эротизма, въ школѣ Карамзина довели до самыхъ крайнихъ предѣловъ, до смѣшнаго, два лица: М. Н. Макаровъ и князь Шаликовъ. Послѣдній, въ особенности прославившійся своимъ утрированнымъ сентиментализмомъ, издатель газетъ и журналовъ, сдѣлался мишенью множества эпиграммъ и своею дѣятельностію возбуждалъ искренній смѣхъ не одного поколѣнія. Макаровъ, умершій только въ 1847 году и въ послѣдніе годы много писавшій „по русской старинѣ и народности, былъ въ началѣ своей литературной дѣятельности, искреннимъ подражателемъ Карамзинской чувствительности. Въ 1804 году онъ издавалъ „Журналъ для милыхъ“, содержаніе котораго уже понятно по заглавію. Если у Шаликова „нѣжная чувствительность сопряжена была еще съ моралью“, то въ журналѣ Макарова сентиментальность доведена была до грубаго сладострастія и до изображеній разврата; прикрытыхъ, однако,

¹⁾ III, стр. 294—314.

нѣжнымъ слогомъ Карамзина. Въ особенности, по этимъ качествамъ, бросались въ глаза „Побѣда надъ нимфами“ (№ 2) и повѣсть „Аннушка“ (№ 3). Издатель поставилъ себѣ эпиграфомъ слова: „прелести нашихъ милыхъ читательницъ защитятъ отъ злыхъ насмѣшекъ критики“, но даже и современная робкая критика возмутилась ¹⁾.

Вотъ куда вело Карамзинское направленіе.

ЛЕКЦІЯ XIV.

Бесплодность сентиментальнаго направленія.—Князь Шаликовъ.—В. В. Измайловъ.—Его педагогическія идеи.—Журналъ «Патріотъ».

Бесплодность литературнаго направленія и внутренняго содержанія дѣятельности Карамзина лучше всего раскрывается въ его литературныхъ друзьяхъ и подражателяхъ, которые сущность Карамзинскаго отношенія къ жизни и дѣйствительности довели до крайней приторности. Чувствительность этого писателя, имѣвшая еще значеніе въ первое время своего появленія, какъ контрастъ предшествовавшимъ, если можно такъ выразиться, героическимъ явленіямъ подражательной литературы нашей въ XVIII вѣкѣ, упала теперь до пошлости, до мелкихъ изліяній сердца, никому не нужныхъ и ни для кого, кромѣ друзей писателя, непонятныхъ. Литература получила какое-то домашнее содержаніе, вмѣсто служенія жизни и обществу она занималась дрязгами, возможными только въ домашнемъ быту. Что-то патріархальное проглядываетъ въ этихъ, къ счастью, теперь невозможныхъ отношеніяхъ литературы, которая писалась какъ бы сама для себя и находила свое ничтожное содержаніе въ замкнутомъ тѣсномъ кружкѣ литераторовъ, гдѣ одинъ хвалилъ или бранилъ другого, писалъ мадригалы или сатиры. Въ этомъ положеніи литературы, которая занималась только словами и формами, возможны были такіе типическіе представители, какъ петербургскій пиита графъ Д. И. Хвостовъ и московскій Карамзинистъ—князь Шаликовъ. Оба они писали очень много и жили очень долго, такъ что личности ихъ укоренились въ литературныхъ преданіяхъ, окруженные эпиграммами и множествомъ рассказовъ самаго забавнаго свойства. Упомянуть объ этомъ типѣ, созданномъ пустотою общественной жизни, крайнею бѣдностію мысли и недостаткомъ внутренняго развитія и образованія между самими писателями, стоитъ, конечно, въ исторіи нашей литературы, но говорить объ ихъ отношеніяхъ и ихъ дѣятельности—значило бы вдаваться въ такіа анекдотическія подробности, которыя

¹⁾ Сбв. В. 1804 г., ч. 3, стр. 259—261.

не могут имѣть значенія на страницахъ этой исторіи. Князь Шаликовъ, напр., умеръ только въ 1852 году, будучи 84 лѣтъ отъ роду. Въ этотъ длинный періодъ жизни, при его многочисленныхъ отношеніяхъ въ московскомъ обществѣ и литературныхъ кружкахъ Москвы, о немъ составилось множество самыхъ разнообразныхъ и по большей части, конечно, забавныхъ разсказовъ, въ которыхъ главнымъ содержаніемъ была чувствительность, доведенная до вялости. Карамзинъ, говоря о литературныхъ свойствахъ Шаликова и защищая его, говорилъ, что въ немъ есть *что-то тепленькое*, и это, кажется, самая лучшая характеристика его съ тогдашней точки зрѣнія. Между тѣмъ, разбирая произведенія Шаликова, мы не найдемъ ни въ прозѣ, ни въ стихахъ его ничего такого, что было бы очень дурно, или стояло ниже Карамзина. Талантъ послѣдняго создалъ всѣ произведенія Шаликова, и смѣшное въ немъ заключается собственно въ томъ, что онъ оставался вѣренъ очень долго одному и тому же направленію, которое надобно именно своею продолжительностью. Кругомъ его измѣнялись люди, идеи, жизнь, а онъ все твердилъ одну и ту же ребяческую ноту. Чтобъ познакомиться съ взглядомъ Шаликова на журнальную дѣятельность, достаточно привести его объявленіе о журналѣ.

„Изъ уваженія къ почтеннѣйшимъ россійскимъ дамамъ въ слѣдующемъ 1806 году будетъ издаваться ежемѣсячное изданіе подъ названіемъ „Дамскій Журналъ“. Въ немъ помѣщены будутъ піесы разныхъ родовъ въ стихахъ и прозѣ. Главнымъ предметомъ будетъ: *нѣжная чувствительность, сопряженная съ моралью*. Иногда помѣщаются будутъ статьи о модахъ, переводимыя изъ иностранныхъ журналовъ. *Критика и политика* исключаются. Издатель поставитъ себѣ за особливую честь, если будетъ удостоенъ отъ *почтенныхъ россійскихъ поэтовъ* присылкою ихъ произведеній“.

Нигдѣ нагляднѣе не выражается подражаніе Карамзину у Шаликова, какъ въ его „Путешествіи въ Малороссію“ въ формѣ писемъ. Это былъ сколокъ съ „Писемъ“ Карамзина, гдѣ главную роль играли чувствительность и меланхолія. Слабую сторону этого путешествія умѣли замѣтить и современники, и Макаровъ въ своемъ „Меркуріѣ“ высказалъ о немъ очень вѣрныя, не лишенныя здраваго смысла замѣчанія. „Читая книгу, говоритъ онъ, весьма часто плѣняешься фразою, реторическою фигурою, какимъ то пріятнымъ, нѣжнымъ колоритомъ слога, какою-то чувствительностію... *розоваго цвѣта!*... а прочтя до конца, мало удержишь въ памяти! Нѣтъ главнаго предмета, на которомъ бы весь *интересъ* былъ основанъ; нѣтъ *цм.* Это не что иное, какъ собраніе отрывковъ, какіе человѣкъ съ талантомъ могъ написать, не выѣзжая изъ Москвы... Издатель сказалъ: „въ семъ путешествіи нѣтъ ни статистическихъ ни географическихъ

описаній“, а мы прибавимъ еще: *ни историческихъ ни философическихъ*. „Авторъ не описываетъ даже ни нравовъ, ни образа жизни въ томъ краю, по которому онъ проѣхалъ, и предлагаетъ читателямъ... только *впечатлѣнія* свои!“... ¹⁾ Путешествіе происходитъ какъ бы въ воздушномъ пространствѣ; всякая особенность личностей и мѣстъ — исчезаетъ, а если авторъ и вздумаетъ случайно говорить о Малороссіи, то у него выходитъ картина безъ всякой тѣни, и Малороссія является чѣмъ-то въ родѣ идиллической Аркадіи. Забавнѣе всего въ этомъ путешествіи Шаликова откровенность его и подробности, передаваемыя имъ о себѣ читателямъ, возможныя только для самаго тѣснаго кружка друзей. Но ужъ это было условіемъ тогдашнихъ литературныхъ отношеній. Патріархальность ихъ доходила до смѣшныхъ размѣровъ. Въ 1804 году три поэта того времени: П. И. Голенищевъ-Кутузовъ, извѣстный врагъ Карамзина, писавшій на него доносы и обвинявшій его въ яacobинствѣ и революціонномъ образѣ мыслей, бывшій тогда попечителемъ московскаго университета, бездарный переводчикъ Пиндара, Сафо, Гезіода и Теокрита и бездарный стихотворецъ, потомъ извѣстный, графъ Д. И. Хвостовъ, и третій графъ, С. Салтыковъ, согласились издавать журналъ только для помѣщенія своихъ собственныхъ произведеній и уговорили извѣстнаго тогдашняго издателя въ Москвѣ, Бекетова, печатать на его счетъ этотъ журналъ. Онъ издавался три года, безъ всякой выгоды для издателя. М. А. Дмитріевъ рассказываетъ, что всѣ три стихотворца собирались вмѣстѣ читать свои произведенія и рѣшать—достойны ли они помѣщенія въ журналѣ. При этомъ случалось, что двое всегда хвалили третьяго очень усердно, чтобъ и себѣ заслужить то же ²⁾. Журналъ поэтому наполнялся, главнымъ образомъ, плохими стихами; въ немъ не было ничего современнаго и даже въ чемъ состояло его направленіе—нельзя отгадать.

Самымъ умнымъ послѣдователемъ Карамзина и его направленія былъ Московскій литераторъ Владиміръ Васильевичъ Измайловъ. Онъ пережилъ это направленіе и идеалы карамзинской эпохи, но до самой смерти своей не потерялъ уваженія ни въ литераторахъ, ни въ людяхъ, знавшихъ его. Измайловъ родился въ Москвѣ въ 1773 году и все свое образованіе получилъ въ домѣ родительскомъ. Но образованіе его было значительно. Онъ зналъ языки: французскій, нѣмецкій, англійскій и латинскій съ ихъ литературами, что видно изъ выписокъ, встрѣчающихся въ его сочиненіяхъ. Изъ наукъ особенно любилъ онъ ботанику и въ 1810 году перевелъ „письма о ботаникѣ“

¹⁾ Моск. Мерк., II, стр. 120—121.

²⁾ „Мелочи изъ запаса моей памяти“, 2-ое изд., стр. 83.

Ж. Ж. Руссо ¹⁾, присоединивъ къ нимъ разныя дополненія изъ Турнефора и другихъ извѣстныхъ тогда ботаниковъ. Слѣды этой любви къ ботаникѣ замѣтны и въ томъ уваженіи, съ какимъ Измайловъ посѣтилъ во время своего путешествія въ южную Россію въ Николаевѣ жившаго тамъ бывшаго профессора ботаники въ Московскомъ университетѣ Афонина, ученика Линнея. Этотъ извѣстный профессоръ, по слабости здоровья, вышелъ въ отставку, чтобъ поселиться въ южномъ климатѣ, а Потемкинъ, его товарищъ по университету, тогда всемогущій, подарилъ ему около Николаева небольшое количество казенной земли, на которой и жилъ Афонинъ съ 1770 по 1810 г., занимаясь своей любимой наукой, вмѣстѣ съ другимъ знаменитымъ, естествоиспытателемъ Палласомъ, переселившимся тоже въ Крымъ. Измайловъ посѣтилъ ихъ обоихъ и съ восторгомъ говорить о нихъ ²⁾. Своимъ значительнымъ по тому времени образованіемъ Измайловъ былъ безъ сомнѣнія обязанъ богатымъ средствамъ своего отца. Онъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, чѣмъ онъ, однако, не хвастался ³⁾. Отецъ его, по свидѣтельству сына, владѣлъ нѣсколькими тысячами душъ крестьянъ и, не получивъ большого образованія, отличался, однако, добрыми качествами души ⁴⁾. Учителемъ его былъ извѣстный литераторъ прошлаго вѣка Подшиваловъ (1765 — 1813), въ одномъ изъ журналовъ котораго „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ (1794 — 1798) были помѣщены первые литературные опыты Измайлова.

По обычаю, Измайловъ служилъ въ гвардіи, куда, вѣроятно, былъ записанъ еще въ дѣтствѣ, но служилъ не долго, только до перваго чина, и вышелъ въ отставку премьеръ-майоромъ. Тогда онъ поселился въ Москвѣ и жилъ большею частію въ своей подмосковной деревнѣ. Его образованіе и любовь къ умственному труду скоро сблизили его съ литературными представителями Москвы, Карамзинымъ и Дмитриевымъ, и онъ попалъ въ ихъ кружокъ. Карамзинъ въ своемъ стихотворномъ альманахѣ „Аониды“ (1796—1799) напечаталъ нѣсколько поэтическихъ опытовъ В. Измайлова, отличающихся подражаніемъ французскимъ поэтамъ того времени и преисполненными нѣжной карамзинской чувствительности. Въ 1799 году Измайловъ отправился путешествовать по южной Россіи. Это путешествіе рекомендуетъ его любознательность. Онъ посѣтилъ Малороссію, Кіевъ, Полтаву, Ново-

¹⁾ „Руссовы письма о ботаникѣ, съ дополненіемъ его ботаническаго словаря, съ объясненіемъ трехъ лучшихъ методовъ Турнефорта, Линнея и Жусье, и съ ботаническими часами, изобрѣтенными безсмертнымъ Линнеемъ. М. 1810.

²⁾ „Путешествіе въ полуденную Россію“. М. 1805, ч. II, 29—32, 117—129.

³⁾ Ib. II, 134.

⁴⁾ „Патріотъ“, 1804 г., т. II, 15.

россійскія области, Крымскій полуостровъ, объѣхалъ весь южный берегъ Крыма, землю Черноморскихъ казаковъ, тогдашнюю Кавказскую линію и чрезъ Астрахань, Сарепту и Царицынъ вернулся въ Москву. Путешествіе это по достоинству стоитъ гораздо выше путешествія Шаликова, хотя и въ немъ сказалось подражаніе Карамзину: въ чувствительности описаній природы, въ патетическихъ обращеніяхъ къ ней, въ меланхолиі, въ нѣжныхъ восторгахъ при описаніи и видѣ женщины, кто бы она ни была, и въ желаніи изображать романическія встрѣчи и приключенія, о которыхъ слышалъ путешественникъ по дорогѣ. Всѣ эти слабыя стороны произведенія Измайлова и неуѣренное употребленіе французскихъ словъ были значительно ослаблены во второмъ изданіи „Путешествія“, вышедшемъ въ 1805 году, но и въ немъ очень замѣтны слѣды Карамзина. Для Измайлова чувства и впечатлѣнія были дороже всего видѣннаго и объ нихъ онъ главнымъ образомъ заботился. Уйти отъ карамзинскаго вліянія для него было невозможно: онъ былъ слишкомъ слабъ для того талантомъ. Но книга его читалась съ удовольствіемъ современниками и составила ему литературное имя. Измайловъ былъ вообще бѣденъ талантомъ; въ этомъ случаѣ не помогло ему и знакомство съ европейскими литературами. Съ предшествовавшими явленіями русской литературы онъ почти вовсе не былъ знакомъ, и Карамзинъ въ 1800 году говорилъ объ Измайловѣ, что онъ по-русски не читалъ ничего, кромѣ „Моихъ Бездѣлокъ“.

Со времени изданія „Путешествія“, которое ввело Измайлова въ литературный кругъ, онъ сдѣлался очень усерднымъ писателемъ, началъ участвовать въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзина, перевелъ знаменитый романъ Шатобріана „Атала или любовь двухъ дивихъ въ пустынѣ“, „Картину Европы“ — Сегюра и потомъ напечаталъ нѣсколько другихъ переводовъ. Въ 1804 году, тоже по примѣру Карамзина, Измайловъ является журналистомъ, но журналъ его былъ посвященъ одной исключительной цѣли, именно педагогической. Надобно замѣтить, что изъ всѣхъ литературныхъ вліаній на Измайлова сильнѣе другихъ было вліаніе Ж. Ж. Руссо, хотя, конечно, Измайловъ былъ далекъ отъ соціальныхъ теорій этого мыслителя и любилъ въ немъ то, что любилъ и Карамзинъ, т.-е. его чувствительность и сочувствіе къ природѣ. М. А. Дмитріевъ въ своихъ „Мелочахъ“ ¹⁾ говоритъ, что Измайловъ хотѣлъ осуществить во всей своей жизни Эмиля Руссо и что хотя это не дѣлало его страннымъ въ обществѣ при его хорошемъ воспитаніи и образованности, но имѣло вредное вліаніе на его благосостояніе и счастье. И. И. Дмитріевъ, въ

¹⁾ Мелочи изъ запаса моей памяти. 2-е изд. стр. 101.

письмѣ своемъ въ Петербургѣ, увѣдомляя о смерти Измайлова, называетъ его вообще безсчастливымъ ¹⁾. Изъ этихъ неясныхъ указаній, при скудости біографическихъ свѣдѣній объ Измайловѣ, нѣтъ возможности составить какое нибудь опредѣленное представленіе о личности этого человѣка. Но вліяніе Руссо на идеи Измайлова о воспитаніи, проводимыя имъ въ печати, онъ самъ признаетъ, выражаясь съ глубокимъ уваженіемъ о женевскомъ философѣ: онъ „одинъ опередилъ своихъ современниковъ въ открытіи истинъ, относящихся къ тайнѣ воспитанія, первый задалъ высокую мысль творить въ гражданѣ человѣка, способнаго ко всѣмъ состояніямъ общества, ко всѣмъ превратностямъ жизни и судьбы“ ²⁾. Измайловъ говорилъ, что онъ обязанъ былъ Руссо „первой обработкой вкуса, слога и ума“. Онъ началъ даже переводить его „Новую Элоизу“, но не кончилъ. Идеи „Эмиля“ естественно должны были сказаться въ журналѣ Измайлова, посвященномъ воспитанію. Эти идеи господствовали тогда, и на нихъ основалъ свои педагогическія убѣжденія знаменитый Песталоцци, съ сочиненіями котораго былъ знакомъ Измайловъ и переводилъ изъ нихъ отрывки въ своемъ журналѣ. Эти идеи женевского мыслителя сказались и въ томъ взглядѣ Измайлова на воспитаніе, взглядѣ, довольно смѣломъ для того времени, что воспитаніе даетъ почувствовать истинное равенство людей. Но Измайловъ въ борьбѣ современныхъ мнѣній о воспитаніи, порожденной естественно отношеніями мыслящихъ людей къ французской революціи, въ которой очень многіе видѣли источникъ и корень зла, хотѣлъ однако держаться благо-разумнейшей середины: „никогда польза умственного образованія, говоритъ онъ въ введеніи къ своему журналу, не могла быть такъ чувствительна какъ нынѣ, когда свѣжи еще въ памяти бѣдствія полупросвѣщенія. Невѣдѣніе истинныхъ благъ было источникомъ злыхъ революціонныхъ.... Можно сказать, что Франція страдала безпримѣрнымъ образомъ отъ недостатка философій. Сей великій примѣръ, вопреки врагамъ восемнадцати вѣка, оправдываетъ писателей-философовъ, которые хотѣли просвѣтить умы для великихъ должностей, прежде нежели даровать имъ великія права“.... Посреди колебаній современныхъ въ мнѣніяхъ о воспитаніи, Измайловъ объясняетъ, чего онъ будетъ держаться: „не будемъ, говоритъ онъ, приставать ни къ ученикамъ энциклопедической школы, которая отвергаетъ христіанскія истины, ни къ послѣдователямъ Дюбре-Жанлисовой секты, которая не признаетъ философскихъ, но слѣдовать за знаменами тѣхъ истинныхъ мудрецовъ, которые умѣютъ чувствовать важность древнихъ учрежде-

¹⁾ Сочиненія И. И. Дмитріева. Спб. 1893, с. 300.

²⁾ Ист. Хрест. Галахова. Спб. 1864, II, 139.

ній, освященныхъ вѣками, не позволяютъ себѣ ускорять хода происшествій и не похищаютъ правъ у времени“¹⁾). Изъ этого видно, какихъ умѣренныхъ убѣжденій былъ Измайловъ. Журналъ его „Патріотъ“ издавался только въ теченіе одного года. Объемъ его былъ незначителенъ, какъ и всѣхъ журналовъ того времени. Каждый небольшой номеръ его дѣлился на три части: первая назначалась собственно для чтенія родителей и воспитателей, вторая для дѣтей, третья для молодежи болѣе взрослой. „Учить забавляя“, было одно изъ правилъ издателя-педагога. Таковы, напр., „Уроки грамматики въ дѣйстви“, въ родѣ образовательнаго лото, гдѣ дѣти узнаютъ части рѣчи посредствомъ жетоновъ, которые они должны ставить на рисунки. Помѣщались въ журналѣ переводы изъ Руссо и другихъ французскихъ писателей, которые имѣютъ отношеніе къ педагогикѣ. Были, разумѣется, стихи и даже библіографіи нѣкоторыхъ книгъ, вновь вышедшихъ, какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ. Оригинальныхъ статей было весьма мало, кромѣ нѣкоторыхъ, написанныхъ самимъ издателемъ. Любопытна одна статья его „О русскомъ старинномъ воспитаніи“²⁾), гдѣ онъ смотритъ на воспитаніе болѣе, впрочемъ, со стороны физической и старается доказать, что старинные русскіе люди гораздо тверже здоровьемъ, выносливѣе и потому обладаютъ и болѣе крѣпкимъ духомъ и большими нравственными достоинствами. Различіе двухъ поколѣній людей и совершенную противоположность нравовъ въ томъ и другомъ, нигдѣ въ Европѣ нельзя наблюдать такъ близко какъ у насъ. Это различіе происходитъ отъ разности въ воспитаніи. Въ старой Руси Измайловъ видитъ воспитаніе только спартанское, гдѣ развивалась одна физическая сторона челоуѣка. У старинныхъ русскихъ людей, какъ въ Спартѣ, были богатырскія игры: свайка, бабки, мячъ, качели, борьба, бѣгъ въ запуски и, наконецъ, кулачный бой (Измайловъ не употребляетъ еще слова *гимнастика*). Старинные люди „не отягчали головы своей никакими трудами, кромѣ сельскаго хозяйства, которое текло всегда однимъ порядкомъ, по общей практикѣ, безъ заботъ новыхъ теорій“. Въ противоположность твердому типу людей старины, Измайловъ изображаетъ слабый и изнѣженный типъ новаго времени и склоняется, конечно, къ системѣ стариннаго воспитанія. Но онъ боится, чтобъ его не заподозрили въ невѣжество, въ томъ, что онъ врагъ современнаго просвѣщенія, боится чтобъ ему не сдѣлали упрека, что онъ снова хочетъ „погрузить русскихъ въ тотъ дикой хаосъ, изъ котораго съ такимъ трудомъ извлекла его сила творческаго гения“.

¹⁾ Ibidem.

²⁾ „Патріотъ“ т. II, 3—19.

Нѣтъ, онъ далекъ отъ этой мысли и убѣжденъ, что „преимущества вѣка нашего неоспоримы“, но мы приобрѣли недовольно еще просвѣщенія, „чтобы не подражать чуждымъ порокамъ“. Кровавый призракъ французской революціи встаетъ и передъ Измайловымъ; онъ, подобно Карамзину, видитъ въ этомъ переломѣ источникъ всѣхъ бѣдствій настоящаго времени и желаетъ противоdѣйствовать его вліянію: „умѣрять воспаленіе умовъ и утвердить начала воспитанія“. Онъ не желаетъ порвать разомъ всѣ связи съ прошедшимъ. Задача его заключается въ слѣдующемъ: „заимствовать отъ предковъ все, что было хорошаго въ ихъ простотѣ, добронравіи и физическомъ воспитаніи, какъ мы заимствовали отъ европейскихъ народовъ науки, искусства и вѣжливость; принять добродѣтели другихъ вѣковъ, не отказываясь отъ преимуществъ нашего—можетъ ли оскорбить справедливую гордость Русскихъ? Вотъ чего недостаетъ намъ, какъ и другимъ народамъ, среди блеска просвѣщенія“.... Это только общія мысли, только однѣ черты, для полной картины необходимо и время и талантъ, но онѣ должны быть положены въ основаніе *практическаго опыта воспитанія*. Дѣйствительно, для Измайлова, какъ и для всякаго педагога по призванію, по страсти и убѣженію, было чрезвычайно важно осуществить свои мысли на практикѣ. На другой же годъ послѣ изданія „Патріота“ Измайловъ завелъ въ своей подмосковной деревнѣ пансіонъ, въ воспитанникахъ котораго, подъ своимъ собственнымъ руководствомъ, онъ хотѣлъ осуществить идеалъ Руссо. Этому дѣлу онъ отдался всею душою, потому что любилъ его искренно. Для насъ сохранилось любопытное свидѣтельство одного изъ карамзинистовъ о томъ, какъ онъ видѣлъ Измайлова посреди его воспитательной дѣятельности въ его сельскомъ уединеніи: „Онъ былъ окруженъ своими питомцами, которыхъ любить болѣе нежели отцы и матери, которыхъ образуетъ, какъ Руссо, какъ Песталоцій, которымъ посвящаетъ жизнь свою въ такихъ лѣтахъ, когда жизнь требуетъ всѣхъ удовольствій личности.... Я находилъ удивительное сходство между симъ любимцемъ музъ и Ж. Ж. Руссо: тѣже чувства, тѣже вкусы, тотъ же образъ жизни и мыслей; подобно Женевскому философу, онъ любитъ страстно ботанику, занимается ею всякій день, описываетъ цвѣты, дѣлаетъ травники, имѣетъ своего Эмиля—одного изъ питомцевъ, который неразлученъ съ нимъ и котораго учитъ столярному ремеслу“¹⁾. Императоръ Александръ, за эти воспитательные труды Измайлова и въ особенности за то, что онъ первый изъ дворянъ завелъ у себя пансіонъ и посвятилъ себя усердно дѣлу воспитанія, пожаловалъ ему орденъ св. Владиміра 4 ст. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ никакихъ

¹⁾ Аглая, 1808 г. № XI, с. 25—29.

свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ Измайловскаго пансіона и даже объ устройствѣ его и о преподаваніи въ немъ. Въ этой сельской жизни онъ, рядомъ съ воспитаніемъ, посвящалъ свое время занятіямъ науками естественными, которыхъ педагогическое дѣйствіе онъ понималъ и доказывалъ въ своемъ журналѣ „Патріотъ“. Въ 1814 году Измайловъ оставляетъ свое сельское уединеніе, дѣлается редакторомъ „Вѣстника Европы“ и снова вступаетъ въ прежній литературный кругъ послѣдователей Карамзина. Но и потомъ, въ своихъ гораздо позднѣйшихъ литературныхъ трудахъ, Измайловъ не разъ обращался къ своему любимому предмету, воспитанію, и писалъ о немъ.

Была въ журналѣ Измайлова и литературная критика. Замѣчательна особенно одна статья, въ которой дѣлается нападеніе на современную и имѣвшую значительный успѣхъ драму Ильина „Великодушіе или рекрутскій наборъ“. За годъ до этого, въ 1803 году, имя Ильина, переводчика и передѣлывателя французскихъ комедій, сдѣлалось извѣстнымъ благодаря драмѣ „Лиза или торжество благодарности“. Это были первые опыты драмы изъ жизни народа, продолженіе тѣхъ опытовъ, которые дѣлали въ этомъ родѣ Екатерина и нѣкоторые писатели XVIII вѣка, разумѣется, съ примѣсью новой карамзинской чувствительности. На эту драму напалъ Измайловъ съ очень странной точки зрѣнія. «Главный порокъ Ильина былъ донинѣ тотъ, говоритъ онъ, что онъ выводилъ на сцену тѣхъ людей, которыхъ состояніе есть послѣднее въ обществѣ, которыхъ мысли, чувства и самый языкъ весьма ограничены, и которыхъ дѣла не могутъ служить намъ ни наставленіемъ, ни примѣромъ“. Критикъ непремѣнно хочетъ, согласно съ теоріей, чтобъ драма была правоучительна, а какое же правоученіе можно извлечь изъ жизни крестьянъ и ихъ разговоровъ; потому онъ и совѣтуетъ автору „почерпать образцы изъ того круга общежитія, гдѣ есть болѣе занимательныхъ фізіономій, болѣе разнообразныхъ страстей, болѣе предметовъ, достойныхъ кисти живописца“ ¹⁾. Совершенно справедливо критикъ не одобряетъ желаніе Ильина украсить простой языкъ крестьянъ, или, по его выраженію, „смягчить грубый разговоръ наборомъ словъ, пріятныхъ нѣжному слуху“, желаніе, между прочимъ, заставить крестьянъ разсуждать съ признательностію о благодѣяніяхъ просвѣщенія, введеннаго въ Россію Петромъ Великимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ему не нравятся „одни грубыя выраженія грубыхъ понятій, которыя талантъ автора могъ бы прикрыть цвѣтами“, но чего нельзя было сдѣлать по условіямъ самой драмы, не нравится „подлый языкъ бурмистровъ и подъячихъ“, выведенныхъ на сцену, и пр. Однимъ словомъ, онъ вообще противъ дра-

¹⁾ Патріотъ т. II, 239.

матическихъ представленийъ изъ народнаго быта; онъ думаетъ, что подражаніе простонароднымъ выраженіямъ будетъ имѣть вредное вліяніе на слогъ и языкъ автора. Замѣчательно, что за Ильина вступился, впрочемъ, только въ частномъ письмѣ къ И. И. Дмитріеву, старикъ Державинъ. Онъ видитъ въ Ильинѣ „человѣка молодого, весьма съ хорошими дарованіями“ и его оскорбляетъ диктаторскій тонъ Измайлова.¹⁾

ЛЕКЦІЯ XV.

Споръ о старомъ и новомъ слогѣ. — Принципіальное значеніе этого спора. —

П. И. Голенищевъ-Кутузовъ. — Его доносъ на Карамзина. — Шишковъ.

Литературное движеніе, начавшееся у насъ со времени вступленія на престолъ императора Александра и выражавшееся преимущественно въ нѣкоторыхъ журналахъ, было довольно слабо и незначительно. Оно очень мало отражало современную жизнь и безпрепятствныя колебанія правительственныхъ сферъ и самого Александра то въ ту то въ другую сторону, а также очень мало понимало и русскія потребности того времени. Литература тогда имѣла весьма мало значенія; общество не привыкло обращаться къ ней за свѣдѣніями, указаніями, мнѣніями въ данномъ вопросѣ или въ данномъ случаѣ, касающемся внутренней стороны государственной жизни. Правительство едва ли уважало ее, хотя новая либеральная партія его, близкая къ государю, желала вызвать ея развитіе. Но и это жалкое, незначительное движеніе литературы того времени было не по душѣ партіи отсталыхъ людей, остававшейся покуда за штатомъ отъ временъ Екатерины. Старики этого времени, украшенные сѣдинами, звѣздами, чинами и старинною важностью Екатерининскаго двора, столбы отечества, какъ ихъ называли тогда, подозрительно смотрѣли на новую государственную жизнь Россіи и реформы, начатыя при Александрѣ; вражда ихъ къ новому была непримирима. Конечно, нѣкоторые изъ нихъ въ своей ненависти къ новымъ явленіямъ жизни дѣйствовали совершенно искренно, съ твердымъ убѣжденіемъ, что новое негодится, потому что оно новое; и старое хорошо только потому, что оно старое, но другіе не любили новаго, потому что при

¹⁾ По поводу критики „Патріота“ было прислано въ „Сѣв. Вѣстн.“ (1804 г. ч. III, крит. с. 27—39), письмо неизвѣстнаго, который, защищая Ильина, заявляетъ, что если онъ написалъ новую драму, то новое правило съ него и начнется и нѣтъ нужды ссылаться на писателей отъ Аристофана до Плавта и отъ Мольера до Коцебу. „И я, добавляетъ критикъ, всѣмъ писателямъ отъ Аристофана до Плавта и отъ Мольера до Коцебу желаю вѣчной памяти“.

немъ потребовались въ правительствѣ новые люди, которые и оттерли стариковъ. И тѣ и другія основанія проглядываютъ въ запискахъ нѣкоторыхъ дѣльцовъ Екатерины, Державина, Шишкова, которые, конечно, и лично были недовольны императоромъ за то, что онъ предпочелъ ихъ испытанной опытности, ихъ долговременному обращенію съ государственными дѣлами—молодые и рыаные головы новыхъ людей, которые не задумывались бы надъ преобразованіями. Съ точки зрѣнія людей этихъ заподозривалось и осуждалось все новое движеніе; самъ Карамзинъ, который въ своемъ журналѣ привѣтствовалъ, повидимому, съ искреннимъ чувствомъ, нѣкоторыя мѣры и реформы новаго царствованія, казался имъ чуть не врагомъ отечества.

Вести печатный споръ въ литературѣ объ этихъ принципахъ, раздѣлявшихъ два поколѣнія людей въ обществѣ, было невозможно и по ничтожности самой литературы и по ея зависимому положенію въ государствѣ. Но мысль и потребность этой борьбы существовала, такъ или иначе она должна была высказаться и дѣйствительно высказалась подъ формою спора о языкѣ, о словахъ. Этотъ печатный споръ, гдѣ на одной сторонѣ стоялъ одинъ Шишковъ, а на другой—все болѣе или менѣе талантливые поклонники Карамзина, тянулся очень долгое время и въ журнальной литературѣ и въ отдѣльных сочиненіяхъ, принимая самыя разнообразныя формы, допускаемая полемикою. Въ этой борьбѣ, которая для насъ, пережившихъ другое литературное развитіе, кажется столь смѣшною иногда, замѣшаны были все писатели того времени; въ ней приняло даже участіе и общество, невольно привлеченное полемическимъ задоромъ противниковъ; по крайней мѣрѣ, со временъ этой борьбы въ обществѣ появились такъ называемые пуристы языка, которые преслѣдовали насмѣшками всякое слово, заимствованное изъ чужого языка или составленное по образцу чужому. Споръ этотъ придалъ оживленіе литературѣ и журналамъ. Что споръ этотъ былъ чуждъ наукѣ и въ основѣ своей заключалъ нѣчто другое, видно изъ того, что и самъ возбудитель его, и его противники полемизировали о предметѣ, имъ незнакомомъ съ научной точки зрѣнія.

Поднялъ споръ, какъ извѣстно, старикъ Александръ Семеновичъ *Шишковъ*, въ самую блестящую эпоху литературной дѣятельности Карамзина, когда имя его было на устахъ у каждаго, сколько-нибудь интересовавшагося литературой, когда онъ стоялъ въ апогеѣ своей славы и таланта и былъ окруженъ значительнымъ числомъ друзей, поклонниковъ и подражателей. Карамзинъ, какъ и всякій литературный дѣятель съ именемъ и талантомъ, начинавшій новое направленіе въ литературѣ, возбудилъ къ себѣ естественно съ самаго начала своей извѣстности, нелюбовь между представителями прежняго на-

правления. Между ними Шатровъ, А. С. Хвостовъ, кн. Д. И. Горчаковъ, Кутузовъ и нѣкоторые другіе и печатно и рукописно выражали свое неодобреніе образу мыслей Карамзина. Въ особенности этою враждою къ нему отличался П. И. Голенищевъ-Кутузовъ, сдѣлавшійся въ 1793 году кураторомъ Московскаго университета. Для него, какъ и для другихъ его единомышленниковъ, болѣе молодой Карамзинъ, съ своими болѣе свѣжими мыслями, казался исчадіемъ французской философіи XVIII вѣка, представителемъ въ литературѣ безнравственности, матеріализма и безбожія; не долго думая, онъ называлъ Карамзина—якобинцемъ. Въ одѣ, написанной на него Кутузовымъ¹⁾ излагалась цѣлая система безнравственной философіи, будто бы извлеченной изъ сочиненій Карамзина. Екатерина смотрѣла подозрительно на него по поводу связей его съ маринистами, а при Павлѣ, въ это царствованіе доносовъ и преслѣдованій, положеніе Карамзина сдѣлалось гораздо затруднительнѣе. Одновременно съ печатною одою, тотъ же, безъ сомнѣнія, Голенищевъ-Кутузовъ, съ тѣми же обвиненіями, послалъ на него доносъ къ Императору и только заступничество графа Растопчина, близкаго къ послѣднему, спасло Карамзина отъ гибели²⁾. Его выставляли человекомъ вреднымъ, опаснымъ правительству. Даже потомъ, при Александрѣ, возобновлялись эти тайные доносы на Карамзина. Тотъ же Кутузовъ, въ 1810 году, когда врагъ его работалъ въ уединеніи надъ русской исторіей и получилъ орденъ Владиміра 3 ст., писалъ къ тогдашнему министру народнаго просвѣщенія, графу Разумовскому, что сочиненія Карамзина „исполнены вольнодумческаго и якобинскаго яда“, что въ нихъ Карамзинъ „явно проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе“, что не хвалить, а сжечь ихъ слѣдовало бы, что авторъ ихъ „цѣлитъ не менѣе какъ въ Сіесы или первые консулы“ и пр.³⁾. Доносы эти не имѣли значенія; тѣ, кому они посылались, были гораздо умнѣе и дальновиднѣе донощиковъ, и Кутузовъ только въ извѣстномъ стихотвореніи Воейкова „Домъ сумасшедшихъ“ заслужилъ себѣ сатирическое изображеніе: „Вотъ Кутузовъ: онъ зубами бюстъ грызетъ Карамзина. Пѣна съ устъ течетъ клубами, кровью грудь обогрена. И напрасно мраморъ гложетъ, только время портитъ въ томъ; онъ вредить ему не можетъ, ни зубами, ни перомъ“. Трудно объяснить себѣ эту ненависть донощика: лично Карамзинъ ничѣмъ не досадилъ Кутузову, да и вообще у него личныхъ враговъ не было. Безъ сомнѣнія, эта злоба была не литературнаго свойства; источникъ ея надобно искать въ той ослѣпляющей

¹⁾ „Иппокрена“, 1799 г., ч. IV, с. 17—31.

²⁾ Бантышъ-Каменскій, Словарь достопамятныхъ людей русской земли, 1847 г., II, с. 133.

³⁾ М. Погодинъ. Н. М. Карамзинъ. II, с. 62—64.

разумъ враждѣ поколѣній, которою, къ несчастію, отличается наше общество, при своей невѣжественности не привывшее уважать чужое мнѣніе и въ ослѣпленіи не разбирающее средствъ для борьбы. Источникомъ этой вражды къ Карамзину было. безсмысліе старой партіи отсталыхъ людей, доводившее ее до безнравственныхъ и низкихъ поступковъ.

Не таковъ былъ пресловутый врагъ карамзинскаго слога — Шишковъ. Его почтенное имя не соединено съ грязью доноса, и въ жизни своей онъ дѣйствовалъ прямо, откровенно и, главнымъ образомъ, искренно. Искренность его поступковъ, искренность его мнѣній, какъ бы ни были они наивны и мало основательны, не подлежатъ сомнѣнію. Но Шишковъ принадлежалъ къ отсталой партіи, къ старикамъ, въ началѣ царствованія Александра; онъ былъ оттертъ отъ участія въ дѣлахъ другими людьми съ болѣе свѣжими силами и убѣжденіями, и это накопило горечь въ его честолюбивомъ сердцѣ, а эта горечь заставляетъ подозрительно смотрѣть на его безпристрастіе. Во второй половинѣ царствованія Александра, во время реакціи, онъ является участникомъ ея темныхъ дѣлъ и потомъ, во времена еще болѣе мрачныя, послѣ 1825 года, онъ стоитъ въ главѣ просвѣщенія цѣлой страны. Шишковъ въ глубинѣ сердца полагалъ, что онъ стоитъ за правду, за просвѣщеніе, за добро, но у него не доставало ни ума, ни образованія понять, что онъ шелъ по ложной дорогѣ и ошибался. Зная честность характера Шишкова, его откровенную прямоту, люди свободнаго мнѣнія возлагали на него свои надежды и — ошибались. Отъ того дѣятельность Шишкова вызывала самыя противоположныя сужденія. Съ одной стороны онъ является честнымъ патріотомъ, въ свѣтѣ двухъ извѣстныхъ Пушкинскихъ стиховъ: „Сей старецъ дорогъ намъ; онъ блещетъ средь народа священной памятью двѣнадцатаго года!“ Съ другой стороны, въ безчисленныхъ изображеніяхъ карамзинистовъ, онъ выступаетъ передъ нами въ смѣшномъ нарядѣ педанта-славянофила, какаго-то безсмысленнаго русскаго донъ-Кихота, воюющаго съ мельницами, или въ гораздо болѣе мрачномъ видѣ гасильника просвѣщенія, инквизитора, преслѣдующаго всякую мысль и ненавидящаго свободу убѣжденій. Въ сущности, это былъ человѣкъ прямой и честный, но обидчивый, не безъ литературнаго дарованія и нѣкоторыхъ познаній, съ значительною примѣсью честолюбія и желанія власти. Шишковъ готовился быть морякомъ, командовать фрегатомъ или кораблемъ и попалъ въ ученые по русской и сравнительной филологіи!

Подобныя отношенія Шишкова къ современной ему литературѣ были причиною того, что онъ, несмотря на то, что былъ адмираломъ и министромъ народнаго просвѣщенія, не удостоился въ нашей

литературѣ даже сколько-нибудь сносной біографіи ¹⁾ и только вышедшія въ 1870 году за границею два тома его „Записокъ“ позволяютъ сдѣлать о немъ, его характерѣ и отношеніяхъ теперь болѣе вѣрное представленіе. Къ сожалѣнію, „Записки“ эти ограничиваются только служебными отношеніями Шишкова, дѣловою стороною жизни, тѣмъ, что онъ видѣлъ и замѣчалъ тогда, когда близко стоялъ у источника дѣлъ; литературныя отношенія его почти не упоминаются въ нихъ. Притомъ вся первая половина его жизни, его жизнь дома, пребываніе въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ онъ воспитывался, его образованіе литературное и научное, морскія и довольно отдаленныя путешествія Шишкова, все это или исчезло навсегда или еще не издано. Шишковъ родился въ 1753 году и происходилъ изъ очень незнатнаго и небогатаго дворянскаго рода. По окончаніи воспитанія въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, Шишковъ поступилъ во флотъ; отправлялся въ разныя морскія экспедиціи, былъ въ Архипелагѣ, Средиземномъ и Черномъ моряхъ и въ странахъ, къ нимъ прилежащихъ. Живя въ Петербургѣ по зимамъ онъ сталъ заниматься литературою, переводилъ разныя театральныя пьесы съ французскаго и нѣмецкаго во вкусъ того времени. Имя Шишкова сдѣлалось извѣстнымъ при дворѣ только въ 1780 году, когда онъ по поводу открытія С.-Петербургскаго намѣстничества, написалъ для торжественнаго представленія на придворномъ театрѣ драму въ 1 дѣйствіи „Невольничество“. Она основана была на дѣйствительномъ событіи и принадлежала къ числу пьесъ, прославляющихъ благодѣяніе императрицы. Какой то русскій солдатъ, взятый въ плѣнъ турками и попавшій въ неволю въ Алжиръ, написалъ оттуда письмо къ Екатеринѣ съ просьбою о выкупѣ его изъ неволи. Императрица послала столько денегъ, что на нихъ выкупился не только этотъ солдатъ, но и многіе другіе плѣнные. Вотъ все содержаніе пьесы, неважной въ литературномъ отношеніи, но она имѣла, разумѣется, успѣхъ между придворною знатію. Второе представленіе ея происходило уже въ частномъ театрѣ и сборъ назначенъ былъ на выкупъ сидѣвшихъ въ тюрьмѣ должниковъ. На представленіи этомъ былъ и наслѣдникъ престола Павелъ Петровичъ, оставшійся крайне недовольнымъ на автора за то, что въ пьесѣ, гдѣ прославляется его мать, о немъ не упомянуто ни слова, и не скоро забылъ это. Послѣ этого литературнаго опыта Шишковъ занялся исключительно морскимъ дѣломъ. Онъ составилъ „Морской-трехязычный словарь“ (1795 г.), опытъ, который мало-по-

¹⁾ Въ 1880 г. вышла біогр. Шишкова, написанная В. Стоюнинымъ. Ист. соч. Стоюнина. Ч. I. Александръ Семен. Шишковъ. См. также: „Адмиралъ Шишковъ и канцлеръ гр. Румянцевъ“. Начальные годы русскаго славяновѣдѣнія. А. Кочубинскаго. Од. 1887—8.

малу втянулъ его въ филологическія занятія, перевелъ „Морское искусство“ Ромма, составлялъ историческіе списки кораблей русскихъ и т. п. Одинъ изъ этихъ трудовъ, поднесенный Наслѣднику, какъ генераль-адмиралу, сблизилъ Шишкова съ нимъ, такъ что, вскорѣ послѣ того какъ Павелъ сдѣлался Императоромъ, онъ назначилъ Шишкова состоять при себѣ для распоряженій по флоту. Въ этой должности онъ сопровождалъ Павла въ морскомъ путешествіи изъ Кронштадта въ Ревель, довольно забавномъ, какъ многое, происходившее въ царствованіе этого Императора. Характеристика этого царствованія и разные случаи изъ тогдашней исторіи представлены весьма вѣрно въ „Запискахъ“ Шишкова. По порученію Павла, въ это время ѣздилъ Шишковъ для найма рекрутъ-матросовъ въ Германію и до самой смерти его состоялъ при немъ въ качествѣ докладчика по флоту. Эта близость къ государю ничего, впрочемъ, не принесла для Шишкова; надобно удивляться только, какимъ образомъ онъ могъ удержаться при ежедневныхъ сумасбродствахъ того времени. Шишковъ, къ чести его, не умѣлъ воспользоваться своєю близостью къ государю, чтобы нажитья, подобно другимъ. Онъ былъ и вице-адмираломъ и генераль-адъютантомъ, но вовсе не имѣлъ тѣхъ свойствъ, которыя необходимы для придворныхъ успѣховъ. Чуждый лести, онъ не могъ выиграть при дворѣ Павла, царствованіе котораго изображено въ его „Запискахъ“ далеко не въ привлекательномъ видѣ. Систематически враждебное отношеніе Павла къ царствованію его матери возмущало Шишкова, и онъ, кажется, больше по упрямству своего характера; полюбилъ времена Екатерины, но не тѣ, первые свѣтлые дни ея, когда подъ лучами европейской философіи XVIII вѣка, писался ея гуманный „Наказъ“ (преданія этой поры давно исчезли), а послѣдніе годы ея. Что видѣлъ въ нихъ хорошаго Шишковъ—мы не знаемъ; никакими личными успѣхами и личными сожалѣніями, подобно другимъ старикамъ при Александрѣ, онъ не былъ связанъ съ временемъ Екатерины, но въ новое царствованіе онъ вступилъ какимъ то брюзгою, недовольнымъ всѣмъ, что происходило вокругъ него, съ тоскою о прошломъ.

Какимъ внутреннимъ процессомъ мысли развились и созрѣли въ Шишковѣ старообрядческія убѣжденія и недовольство настоящимъ—для насъ вполнѣ неизвѣстно, но посреди либеральныхъ стремленій первыхъ годовъ царствованія Александра, посреди новыхъ людей, думавшихъ только о преобразованіяхъ и о ломкѣ стараго, онъ стоялъ одинокій, угрюмый и всѣмъ недовольный. Шишковъ повѣрилъ на слово обѣщанію манифеста царствовать по образцу Екатерины и упрекалъ старыхъ екатерининскихъ вельможъ, которые при вступленіи на престолъ Александра снова получили вѣсь и силу, — за-

чѣмъ они не поддерживали молодого царя въ этомъ благомъ намѣреніи и тѣмъ не удержали его отъ пагубныхъ нововведеній. „Можетъ быть, не взирая на трехлѣтнюю, при неопытной молодости, привычку къ симъ новизнамъ (Павловымъ), и сбылось бы сіе ожиданіе, еслибъ окружающіе юнаго царя, пожилые люди и старики составили единодушную окрестъ его стражу, не отлучаясь отъ него, а особливо при самомъ началѣ, ни на одну минуту; еслибъ, сравнивая два послѣднія царствованія, твердили ему, какъ первое изъ нихъ долго-временно процвѣтало и величіемъ, и славою, и благоденствіемъ; и какъ напротивъ второе, оставившее съ ненавистью пути великой Екатерины, устремившееся съ любовію по путямъ предшествовавшаго ей царствованія Петра третьяго, продолжалось столь же кратковременно, еще болѣе мятежно, и кончилось, равно какъ и то, такимъ же преступленіемъ ужаснымъ, но до такой степени для всѣхъ вождедѣйнымъ, что виновники онаго не могли быть ни осуждаемы, ни обвиняемы...“ Но, что же дѣлала эта старая екатерининская аристократія и почему не удержала она въ рукахъ своихъ руль власти? Въ ихъ поведеніи сказались вся ихъ пустота и ребячество, все ихъ презрѣніе къ дѣлу.

„Обуянные радостью переменъ и безопасностью своею, говоритъ Шишковъ, пустились они въ многочисленные пиршества, на которыхъ за пышными столами, съ шумомъ и крикомъ распивали шампанскія и венгерскія вина, били рюмки и стаканы, читали стихи, прославляли при всѣхъ служителяхъ гласно и громко низверженіе тиранства и восстановленіе спокойствія. Шумныя празднества сіи устроили дворъ и дали время оставленному царю сблизиться съ подобными себѣ молодыми людьми, заступившими мѣсто веселящихся и празднующихъ“¹⁾. Таковы были эти люди послѣдней половины царствованія Екатерины. Шишковъ сознается, что Александръ только окруженный молодыми наперсниками своими почувствовалъ свою самодержавную силу и явился настоящимъ повелителемъ, но онъ не благоволилъ въ своихъ „Запискахъ“ къ этимъ новымъ наперсникамъ, когда, по словамъ его, пришлось „умоленуть и уступить новому образу мыслей, новымъ понятіямъ, возникшимъ изъ хаоса чудовищной французской революціи. Молодые наперсники Александровы, напыщенные самолюбіемъ, не имѣя ни опытности, ни познаній, стали всѣ прежнія въ Россіи постановленія, законы и обряды порицать, называть устарѣлыми, невѣжественными. Имена вольности и равенства, пріемлемыя въ превратномъ и уродливомъ смыслѣ, начали твер-

¹⁾ Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлинъ. 1870. I, 82—84.

даться предъ молодымъ царемъ, имѣвшимъ по несчастію наставникомъ своимъ француза Лагарпа, внушавшаго ему таковыя же понятія“²⁾). Сначала Шишковъ продолжалъ быть докладчикомъ при государѣ: онъ ѣздилъ съ нимъ на коронацію въ Москву и съ глубокимъ неудовольствіемъ встрѣтилъ учрежденіе министерствъ. Возвышеніе Чичагова, младшаго по службѣ и по лѣтамъ, сильно огорчило его, а безпрестанные съ нимъ споры дошли до свѣдѣнія государя и представляли передъ нимъ Шишкова въ видѣ сварливаго брюзги и ненавистника всего новаго; его холодно приняли во дворцѣ, не пустили въ эрмитажный театръ, и обиженный Шишковъ совершенно удалился отъ двора. Онъ состоялъ на службѣ въ адмиралтействѣ, но это не отнимало у него времени, и онъ свободно могъ предаться литературнымъ занятіямъ. Еще въ 1796 году онъ сдѣлался членомъ Россійской Академіи, которая занималась тогда составленіемъ Словаря, въ которомъ и Шишковъ принималъ участіе; тогда же привыкъ онъ къ своему любимому корнесловію, навлекшему на него такъ много и остроумныхъ и глупыхъ насмѣшекъ. Къ филологіи и вообще къ церковно-славянскому языку притянуло Шишкова еще болѣе занятіе надъ знаменитою находною гр. Мусина-Пушкина „Слово о полку Игоревѣ“, которое было издано въ 1800 году.

Общество литераторовъ, посреди котораго жилъ Шишковъ и съ которыми усердно игралъ въ карты, было все стараго закала. Онъ самъ называетъ самыми близкими къ себѣ писателями Державина, Муравьева и А. С. Хвостова. Последний, двоюродный братъ пѣнты графа, былъ при Екатеринѣ въ 1791 году посланникомъ нашимъ въ Константинополь (1753—1820). Въ молодости онъ много переводилъ съ французскаго и печаталъ, но въ литературѣ русскоѣ извѣстенъ только своимъ остроуміемъ, эпиграммами на кузена и нѣсколькими непечатными стихами. Это было литературное общество Шишкова; они чередовались вечерами и изъ нихъ потомъ составила „Бесѣда любителей русскаго слова“. И Шишковъ и друзья его, какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ, были, разумѣется, поклонниками старины. Новыя литературныя имена были для нихъ и непонятны и непріятны. Все въ этомъ движеніи, какъ ни слабо кажется оно на наши глаза, было для нихъ и вредно и пагубно; подъ невинными нововведеніями современнаго языка, неизбежными при развитіи жизни общественной и образованности, старовѣры эти, въ ослѣпленіи своего патріотизма, видѣли чуть не измѣну отечеству. Для Шишкова все еще звучали наслажденіемъ „лиры“ Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина; изъ новыхъ поэтовъ онъ цѣнилъ и уважалъ

²⁾ Ibid. 84—85.

только тѣхъ, которые подражали имъ: Боброва, Голенищева-Кутузова, кн. Ширинскаго-Шихматова и пр. Все новое онъ презиралъ. При живости и увлекательности своего характера, имѣя привычку къ труду литературному, занимаясь уже довольно долго языкомъ, Шишковъ не могъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ того, что происходило вокругъ него, и выступилъ въ литературѣ поборникомъ любимой имъ старины. Но, увлекаясь, Шишковъ съ вопросомъ о чистотѣ языка смѣшалъ много посторонняго. Мы не думаемъ, чтобы онъ сознательно только спряталъ подъ наружный видъ филологическихъ разсужденій свою полемику противъ новыхъ нравственныхъ и политическихъ началъ, появившихся въ жизни послѣ французской революціи, которую онъ ненавидѣлъ. Напротивъ, мы убѣждены, что тутъ не было со стороны Шишкова личины и притворства, вопросъ языка былъ для него крайне дорогъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ искренно, наивно, пожалуй глупо убѣжденъ, что всѣ новыя слова, вошедшія въ языкъ, въ литературныхъ трудахъ Карамзина и его школы — суть признакъ нравственнаго паденія русскаго общества. Онъ самъ говоритъ объ этомъ въ своихъ „Домашнихъ Запискахъ“: „Молчаніе Академіи (Россійской) подало поводъ молодымъ неопытнымъ писателямъ возмечтать себя установителями и законодателями *новаго языка*, котораго изящество и красота, по мнѣнію ихъ, должны состоять въ томъ, чтобы *отвергая все издревле употребительныя слова и выраженія*, наполнять новыя писанія свои словами и оборотами, почерпнутыми или изъ слова въ слово взятыми съ иностранныхъ языковъ, а болѣе всего съ французскаго. Богатство и плавность употребляемаго нынѣ нарѣчія вздумали они *основать на истребленіи славянскаго языка*, не разсуждая о томъ, что таковое безразсудное мнѣніе похоже на то, какъ бы кто для сдѣланія потока многоводнымъ, восхотѣлъ заграждать источники онаго... Слѣды языка и духа чудовищной французской революціи, доселѣ намъ неизвѣстные, мало-по-малу, но прибавляя отчасу скорость и успѣхи свои, начали появляться и въ нашихъ книгахъ. *Презрѣніе къ вѣрѣ стало оказываться въ презрѣніи къ языку славянскому*. Здравое понятіе о словесности и краснорѣчіи превратилось въ легкомысленное и ложное; сила души, высота мыслей, приличіе словъ, чистота нравственности, основательность и зрѣлость разсудка, — все сіе приносилось въ жертву какой-то *легкости слога*, не требующей ни ума, ни знаній...”¹⁾ Вотъ изъ какихъ мыслей возникло знаменитое „Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ“ (Спб., 1803 г.), въ которомъ онъ рѣзко выступилъ противъ Карамзина и его школы. На эту книгу Шишковъ смотрѣлъ,

¹⁾ Ibid., II, 4—5.

какъ на свой долгъ, въ качествѣ русскаго человѣка и патріота. Появленіе этого разсужденія не могло остаться безъ отпора со стороны тѣхъ, на кого сдѣлано было нападеніе; Шишковъ, въ свою очередь, пылко и сердито защищалъ свои убѣжденія, и вотъ передъ нами происходитъ продолжительная, многолѣтняя литературная борьба двухъ русскихъ поколѣній. Она замѣнила собою борьбу за принципы общественные, политическіе и нравственные. Но и здѣсь все же была жизнь, хотя и ничтожная. Посмотримъ, на что нападалъ Шишковъ, и что отстаивали его противники...

ЛЕКЦІЯ XVI.

Взгляды Шишкова на русскій языкъ. — Полемика противъ Шишкова. — П. И. Макаровъ. — Каченовскій.

Извѣстно, въ чемъ состоитъ заслуга Карамзина по отношенію къ слогу и виѣшной сторонѣ выраженія: онъ первый приблизилъ письменную рѣчь къ разговорной, первый сталъ писать, какъ говорить, и старался изгнать изъ своего слога все славянизмы, которые употреблялись въ рѣчи для приданія ей силы и особеннаго значенія со временъ Ломоносова. Языкъ послѣдняго казался уже Карамзину не соответствующимъ потребностямъ новаго времени; онъ называлъ его дикимъ, варварскимъ, невозможнымъ для употребленія въ обществѣ; для общества необходима въ слогѣ *пріятность*, то, что французы называютъ *élégance*, говорилъ Карамзинъ, и образцомъ этой пріятности слога для Карамзина, конечно, должна была сдѣлаться французская литература, уже въ то время доведенная до высшей степени ясности, точности и красоты выраженія. Карамзинъ, какъ мы знаемъ, не былъ воспитанъ въ строгой классической школѣ, всемъ своимъ образованіемъ онъ обязанъ только языкамъ и литературамъ французской и нѣмецкой, и больше первой, чѣмъ второй; что было совершенно естественно, при всеобщей распространенности французскаго языка въ достаточныхъ русскихъ семействахъ. Карамзинъ привыкъ къ нему съ дѣтства; его разговоръ пересыпался французскими словами; въ его слогѣ попадались галлицизмы, слова и обороты, переведенные съ французскаго, составленные по французскимъ образцамъ. Но Карамзинъ былъ умный писатель, въ своихъ заимствованіяхъ онъ былъ очень умѣренъ и боялся оскорбить геній языка; за то у его подражателей, при недостаткѣ ума и таланта, не могло быть такой сдержанности: французскія слова и выраженія сдѣлались модными; у людей безъ вкуса мода всегда доходитъ до нелѣпости, и

русскій слогъ запестрѣлъ самыми дикими нововведеніями и заимствованіями. Вотъ что собственно не понравилось Шишкову.

„Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ“ возникло, по словамъ его, изъ ежедневныхъ записокъ и замѣтокъ, всего того, что попадалось ему въ новыхъ русскихъ книгахъ, въ которыхъ теперь господствуетъ „странный и чуждый понятію и слуху нашему слогъ“. Въ этихъ новыхъ сочиненіяхъ, мы, забывъ древній славянскій языкъ, корень и начало нашего русскаго, „начали вновь созидать его на скудномъ основаніи французскаго языка“. Карамзинъ, раздѣляя русскій слогъ на эпохи со временъ Кантемира, говоритъ о послѣдней, современной, четвертой эпохѣ, въ которой, по словамъ его, „образуется пріятность слога, называемая французами *élégance*“. „Нелѣпцу нынѣшняго слога называетъ онъ пріятностью! — восклицаетъ Шишковъ, рекомендуя перевести слово *élégance* по-русски — *чепухомъ*. Откуда же происходитъ въ насъ, доискивается Шишковъ, эта ненависть къ своему и любовь къ чужому, почитаемыя нынѣ достоинствомъ, это желаніе бросить коренной, древній и богатый языкъ и „основать новый на правилахъ чуждаго, не свойственнаго намъ и бѣднаго языка французскаго?“. Источникъ этого зла заключается въ образѣ воспитанія, по убѣжденію Шихкова. Нападенія на наше воспитаніе или, скорѣе, офранцузиванье — не новость въ нашей литературѣ; они знакомы намъ еще съ прошлаго вѣка; по мнѣнію Шихкова, даже мысли наши изображаются по правиламъ и понятіямъ чуждаго намъ народа: „Вмѣсто занятія отъ французовъ единыхъ токмо полезныхъ наукъ и художествъ стали перенимать мелочные ихъ обычаи, наружные виды, тѣлесныя украшенія и часъ отъ часу болѣе дѣлаться совершенными ихъ обезьянами. Все то, что собственное наше, стало становиться въ глазахъ нашихъ худо и презрѣнно. Они учатъ насъ всему: какъ одѣваться, какъ ходить, какъ стоять, какъ пѣть, какъ говорить, какъ кланяться, и даже какъ сморкаться и кашлять. Мы безъ знанія языка ихъ почитаемъ себя невѣждами и дураками“. „Французы научили насъ удивляться всему тому, что они дѣлаютъ, презирать благочестивые нравы предковъ нашихъ и насмѣхаться надъ всѣми ихъ мнѣніями и дѣлами. Однимъ словомъ, они запрягли насъ въ колесницу, сѣли на оную торжественно и управляютъ нами, — а мы ихъ возимъ съ гордостію, и тѣ у насъ въ посмѣяніи, которые не спѣшатъ отличать себя честію возить ихъ!“ Вотъ основныя взгляды Шихкова, которые скрыты подъ разсужденіями его о языкѣ. Но интересъ языка былъ особенно дорогъ Шихкову: его изыщество въ церковно-славянскихъ образцахъ и старыхъ нашихъ писателей и его порча въ произведеніяхъ новой словесности составляетъ главное содержаніе книги Шихкова. Онъ недоволенъ во-первыхъ тѣмъ, что

въ русскій языкъ вводятся безъ перевода иностранныя слова и безобразятъ его, напр. моральный, эстетическій, эпоха, сцена, гармонія, акція, энтузіазмъ, катастрофа и пр., а во-вторыхъ тѣмъ, что русскія слова передѣлываютъ на иностранный ладъ; напр. вмѣсто будущее время пишутъ — *будущность*; въ-третьихъ, наконецъ, — французскія слова и цѣлыя рѣчи переводятъ изъ слова въ слово на русскій языкъ, „самопроизвольно принимаютъ ихъ въ томъ же смыслѣ изъ французской литературы въ русскій словесность, какъ будто изъ ихъ службы офицеровъ тѣми же чинами въ нашу службу“, напр. *influence* *вліяніе на*, тогда какъ глаголѣ *вливать* требуетъ предлога *въ* ¹⁾. Также переведены слова: переворотъ, развитіе, утонченный, сосредоточить, трогательно, занимательно и пр. ²⁾. „По мнѣнію нынѣшнихъ писателей, говоритъ Шишковъ, великое было бы невѣжество, нашедъ въ сочиняемыхъ ими книгахъ слово *переворотъ*, не догадаться, что оное значитъ *revolution* или по крайней мѣрѣ *revolte*“, а между тѣмъ бѣда для нихъ, кто въ писаніяхъ своихъ употребляетъ слова: *бранино*, *требище*, *рянскіи*, *зодчество*, *доблестъ*, *прозябать* и т. п. ³⁾. И онъ старается доказать, что языки не похожи другъ на друга по составу своему, заключающемуся въ корняхъ и что подобные переводы одного слова изъ языка въ другой не передаютъ всей силы значенія слова. Но Шишковъ былъ филологомъ самоучкою, до своихъ положеній онъ доходилъ здравымъ смысломъ, а не наукою, а потому доказательства, имъ приводимыя, кружки, имъ рисованные, подвергались легко критикѣ.

Всего печальнѣе для Шишкова, при этомъ наплывѣ въ русскій языкъ новыхъ словъ, было забвеніе старыхъ: „Между тѣмъ, какъ мы занимаемся симъ юродливымъ переводомъ и выдумкою словъ и рѣчей нисколько намъ несвойственныхъ, многія коренныя и весьма знаменательныя русскія слова пришли совсѣмъ въ забвеніе; другія, не взирая на богатство смысла своего, сдѣлались для непривыкшихъ къ нимъ ушей странны и дики; третьи перемѣнили совсѣмъ знаменованіе свое и употребляются не въ тѣхъ смыслахъ, въ какихъ сначала употреблялись. И такъ, съ одной стороны въ языкъ нашъ вводятся нелѣпыя новости, а съ другой истребляются и забываются издревле принятыя и многими вѣками утвержденныя понятія: такимъ то образомъ процвѣтаетъ словесность наша и образуется пріятность слога, называемая французами *élégance*“.

Основаніемъ для русскаго слога долженъ служить славянскій

¹⁾ Собр. соч. и перев. адм. Шишкова, ч. II, Спб. 1824, с. 24—25.

²⁾ Ibid., с. 26.

³⁾ Ibid., с. 28.

языкъ; безъ него онъ не можетъ быть ни силенъ, ни важенъ. Пренебрегать имъ безсмысленно, безразсудно думать, что онъ вовсе не нуженъ для красоты новѣйшаго слога и что гораздо нужнѣе его французскій языкъ и какой еще? „не славныхъ по истинѣ и отличныхъ писателей ихъ, но худыхъ сплетателей нынѣшнихъ глупыхъ и нелѣпыхъ умышленій, клеветъ, небылицъ и романовъ. Не ихъ читать, не имъ послѣдовать, не изъ нихъ должно намъ почерпнуть красоту слога; но изъ собственныхъ твореній своихъ, изъ книгъ славянскихъ ¹⁾. Примѣръ такой красоты слога, основанной на перковно-славянскихъ выраженіяхъ, Шишковъ представляетъ въ подробномъ разборѣ Ломоносовскаго переложенія, изъ Іова и говоритъ, что „славенскій языкъ есть корень и основа російскаго языка, онъ сообщаетъ ему богатство, разумъ, силу, красоту. И такъ въ немъ упражняться и изъ него почерпать должно искусство краснорѣчія, а не изъ Боннетовъ, Вольтеровъ, Юнговъ, Томсоновъ и другихъ иностранныхъ сочинителей, о которыхъ писатели наши на каждой страницѣ твердятъ, и учась у нихъ русскому, на бредъ похожему языку, съ гордостью увѣряютъ, что *нынѣ образуется токмо пріятность нашего слога*“ ²⁾. Мысль, которую развивали Карамзинъ и его послѣдователи, что у насъ для современнаго автора нѣтъ хорошихъ образцовъ, вытекаетъ „отъ малаго разумѣнія языка своего“ — по словамъ Шишкова. „Мы считаемъ себя бѣдными, потому что не знаемъ своего богатства“ ³⁾.

Въ доказательство общихъ положеній своего „разсужденія“ Шишковъ представляетъ двѣ выписки, изъ которыхъ въ одной онъ даетъ образцы нововведеній, оскорбляющихъ, по его мнѣнію, геній языка, выбранные имъ изъ современной литературы, при чемъ Шишковъ для того, чтобъ не подумали, что онъ ведетъ личную полемику или имѣетъ „намѣреніе кому либо лично досаждать“, не указываетъ заглавій ни книгъ, ни авторовъ, гдѣ встрѣчаются попадавшіеся ему нелѣпости ⁴⁾, а вторая выписка, похожая на словарь, сдѣлана имъ изъ книгъ церковныхъ, съ тою цѣлію, чтобъ показать въ нихъ образцы красоты слога и настоящаго краснорѣчія. Здѣсь въ первый разъ Шишковъ дѣлаетъ опытъ замѣны нѣкоторыхъ иностранныхъ словъ, уже вошедшихъ въ употребленіе или чисто русскими, равнозначительными по содержанію, или составленными по славянскимъ корнямъ. Число такихъ словъ Шишковъ увеличивалъ постепенно, и особенная страсть къ нимъ возбуждала насмѣшки.

¹⁾ Ibid., с. 66.

²⁾ Ibid., с. 81.

³⁾ Ibid., с. 106.

⁴⁾ Ibid., с. 139.

Намъ нѣтъ надобности входить въ дальнѣйшія подробности этого сочиненія Шишкова, которымъ начался извѣстный и продолжительный споръ о преимуществахъ стараго и новаго слога. Мы уже замѣтили, что споръ этотъ не имѣетъ никакого значенія для науки славянской филологіи; съ нею не были знакомы спорящія стороны и не о ней шла рѣчь въ ихъ полемикѣ. Карамзинъ, остававшійся въ сторонѣ отъ этого спора, но конечно слѣдившій за его измѣненіями, понималъ очень хорошо научную ничтожность этого спора: „Кажется, писалъ онъ къ И. И. Дмитріеву ¹⁾, что наши петербургскіе авторы, и старые и молодые, спорятъ о языкахъ славянскомъ и русскомъ безъ яснаго понятія о ихъ различіи“. Но споръ имѣлъ другое значеніе; въ немъ проявлялась борьба стараго съ новымъ; въ этомъ отношеніи онъ очень любопытенъ и имѣетъ свое мѣсто въ исторіи нашего просвѣщенія и движенія нашей мысли. Нельзя не сказать, что Шишковъ былъ во многомъ правъ, возставая противъ множества пестрившихъ нашу тогдашнюю рѣчь галлицизмовъ и французскихъ словъ, изъ которыхъ многія появились совершенно безъ всякой нужды, хотя въ замѣну ихъ Шишковъ съ своей стороны представлялъ такіа составленныя имъ русскія слова, которыя были, пожалуй, гораздо хуже изгоняемыхъ имъ. Питая особенную ненависть ко всякому новому или изъ чужого языка заимствованному слову, Шишковъ утверждалъ, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ уже невозможно обойтись безъ новаго слова для совершенно новаго понятія, гораздо лучше составить свое слово, сообразно однако съ духомъ языка, или отыскать какое-нибудь старинное слово, близкое по значенію своему къ иностранному и употреблять его.

Какъ смѣшны и нелѣпы иногда были эти замѣны въ сочиненіяхъ Шишкова, — объ этомъ и говорить нечего, хотя источникомъ ихъ была любовь къ языку и любовь искренняя. Конечно Шишковъ имѣлъ полное право хлопотать о чистотѣ русскаго языка, возставать на неумѣренный наплывъ въ немъ неологизмовъ, словъ и оборотовъ, пришедшихъ къ намъ вмѣстѣ съ модами изъ Парижа, осмѣивать наше обезьянство, но онъ не додумался, что это обезьянство существовало у насъ не какъ мода, не какъ повѣтріе, а скорѣе какъ историческая необходимость, что оно было слѣдствіемъ великой Петровской реформы. Въ этихъ заимствованіяхъ словъ и новыхъ понятій сказалась бѣдность нашей мысли и нашей литературы, которыя встрѣтились съ западнымъ богатствомъ той и другой; новый міръ идей, безъ котораго не могло продолжаться наше развитіе, такъ или иначе долженъ былъ выразиться; иностранный элементъ былъ неизбеженъ;

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву. Спб. 1866 г., с. 159.

но Шишковъ, справедливо нападая на него, не вдумался въ тотъ законъ въ исторіи всякаго языка, по которому слова и выраженія создаются и остаются въ немъ, какъ результаты продолжительной борьбы за существованіе; привычка и употребленіе даютъ имъ право на жизнь, и никто не введетъ насильно ни одного слова; отсюда, изъ этого незнанія исторіи языковъ, у Шишкова смѣшеніе языка русскаго съ славянскимъ и особенное пристрастіе къ послѣднему, на который онъ смотрѣлъ, какъ на источникъ перваго.

Разсужденіе Шишкова не столько по своимъ нападеніямъ на новый слогъ, сколько по скрытой въ немъ враждѣ ко всему новому, должно было возбудить противъ себя отпоръ и быть началомъ длиннаго спора. По словамъ Шишкова, онъ поднесъ свою книгу чрезъ министра народнаго просвѣщенія Государю и былъ осчастливленъ за нее знакомъ монаршаго благоволенія. „Многія духовныя и свѣтскія особы, *службою, лѣтами и нравами почтенныя*, похвалили мое усердіе ¹⁾. Впрочемъ Державинъ, принадлежавшій также къ этимъ особамъ и сдѣлавшійся потомъ сторонникомъ Шишкова не по убѣжденію въ преимуществахъ стараго слога, а по одинаковому образу мыслей, рассказываетъ въ письмѣ своемъ къ И. И. Дмитріеву ²⁾ о своемъ замѣчаніи Шишкову, что его разсужденія слишкомъ пристрастны и что тотъ отошелъ отъ него съ неудовольствіемъ. Настоящую полемику противъ Шишкова изъ лагеря карамзинистовъ первый началъ издатель „Московского Меркурія“—П. И. Макаровъ.

Полемика этого карамзиниста была такая, какую могъ написать человѣкъ съ умомъ и здравымъ смысломъ, но не филологъ. Макаровъ не замѣтилъ многихъ странностей и промаховъ Шишкова, но онъ понялъ основную мысль Шишкова, скрытую подъ разсужденіями о слогѣ: „Неужели сочинитель, спрашиваетъ критикъ, для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ и къ *обычаямъ* и къ *понятіямъ* стариннымъ?“ ³⁾. Противъ этой мысли возстаеъ Макаровъ и заключаетъ съ убѣжденіемъ: „Не хотимъ возвратиться къ обычаямъ праотческимъ, ибо находимъ, что вопреки напраснымъ жалобамъ строгихъ людей, нравы становятся ежедневно лучше!“ ⁴⁾ Шишковъ, по древнимъ церковно-славянскимъ переводамъ греческихъ проповѣдниковъ, дѣлаеъ заключеніе, что народъ славянскій и въ древности былъ *ученъ* и глубокомысленъ... „Гдѣ остатки сей учености? спрашиваетъ Макаровъ: о какихъ наукахъ физическихъ

¹⁾ Соч., ч. III, с. 261.

²⁾ Соч. Державина, изд. Акад. наукъ, т. VIII, с. 862.

³⁾ Соч. П. Макарова, 1817 г. ч. 2, с. 29.

⁴⁾ Ibid., с. 44.

или математическихъ писали наши предки?¹⁾ Отъ этого древняго времени осталось у насъ множество словъ, которыми однакожь мы не умѣемъ изъяснить всего, что думаемъ, и Макаровъ доказываетъ, что мы далеко отстали отъ другихъ народовъ Европы и что „до самаго царствованія Петра Великаго духъ упрямства и суевѣрія противился у насъ всякой полезной новости“²⁾. Обращаясь собственно къ вопросу о языкѣ и слогѣ, Макаровъ смотритъ дальше, чѣмъ Шишковъ. Онъ понимаетъ, что языкъ долженъ имѣть свою исторію, что онъ развивается и не можетъ остановиться въ одномъ положеніи: „Языкъ слѣдуетъ всегда за науками, за художествами, за просвѣщеніемъ, за нравами и обычаями—говоритъ онъ. Придетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога вянуть подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ“³⁾. Можно ли думать послѣ этого о возвращеніи нашего слога къ Ломоносовскому, какъ хочетъ Шишковъ? Просвѣщеніе идетъ впередъ. „Нѣтъ вещи, нѣтъ и слова, нѣтъ понятія, нѣтъ и *выраженія*, посредствомъ котораго можно бы то понятіе сообщить другому человѣку. Послѣ Ломоносова мы узнали тысячи новыхъ вещей, чужестранные обычаи родили въ умѣ нашемъ тысячи новыхъ понятій; вкусъ очистился; читатели не хотятъ, не терпятъ выраженій, противныхъ слуху; болѣе двухъ третей русскаго словаря остается безъ употребленія: что дѣлать? Искать новыхъ средствъ изъясняться. Удержать языкъ въ одномъ состояніи невозможно: такого чуда не бывало отъ начала свѣта“⁴⁾. Признавая необходимость существованія въ русскомъ языкѣ иностранныхъ словъ, доказывая эту необходимость нѣкоторыми словами, вошедшими вообще въ употребленіе, Макаровъ вовсе однакожь не желаетъ пестрить языкъ безъ крайней необходимости, требуетъ для наукъ и художествъ такихъ словъ, въ которыхъ заключался бы смыслъ ясный и опредѣленный: переводъ ихъ, какъ у Шишкова, можетъ только испортить эти названія. Макаровъ совершенно противъ той смѣси языка славянскаго и русскаго, какую желалъ Шишковъ, думая придать этимъ величіе и силу слогу; онъ возстаетъ и противъ необходимости особаго письменнаго или книжнаго языка, въ противоположность разговорному. Нынѣшніе писатели, говоритъ онъ, стараются образовать языкъ *средній*, одинаковый для книгъ и для общества, „чтобы писать, какъ говорятъ и говорить, какъ пишутъ“. На что этотъ книжный языкъ? „Фоксъ и Мирабо говорили отъ лица и предъ лицомъ народа, или передъ его повѣренными такимъ языкомъ, которымъ всякій, если

¹⁾ Ibid., с. 17.

²⁾ Ibid., с. 19.

³⁾ Ibid., с. 23.

⁴⁾ Ibid., с. 21—22.

умѣть, можетъ говорить въ обществѣ, а языкомъ Ломоносова мы не можемъ и не *должны* говорить, хотя бы умѣли“... ¹⁾ У Шишкова, въ его увлеченіи, были очень странныя понятія объ образцахъ слога, которые онъ рекомендовалъ русскимъ писателямъ, вмѣсто чтенія иностранныхъ книгъ. Такъ, напр., выписавъ изъ Четиминей Димитрія Ростовскаго цѣлое житіе трехъ святыхъ дѣвъ: Минодоры, Митродоры и Нимфодоры ²⁾, онъ спрашиваетъ: откудажь мысль сія, что мы не имѣемъ хорошихъ образцовъ для наставленія себя въ искусствѣ слова? ³⁾ Макаровъ справедливо, хотя и иронически замѣтилъ, что вѣроятно это ошибка...

Критикъ Шишкова долженъ былъ заступиться за своего учителя Карамзина: „Всего непріятнѣе, говоритъ онъ, видѣть фразы г. Карамзина, перемѣшанныя въ сей книгѣ съ фразами ученическими, и писателя, которому наша словесность такъ много обязана, поставленнаго на равнѣ съ другими. По счастью, всеобщее и отличное къ нему уваженіе, котораго онъ ежедневно получаетъ новыя доказательства, не зависитъ отъ мнѣнія одного человѣка. Г. Карамзинъ сдѣлалъ эпоху въ исторіи русскаго языка“...

Другая критика, появившаяся вслѣдъ за Макаровскою, помѣщена въ журналѣ Мартынова „Сѣверный Вѣстникъ“ (1804 г. ч. I, 17—29). Она принадлежала Каченовскому, бывшему потомъ долгое время профессоромъ Московскаго университета и издателемъ „Вѣстника Европы“ Имя этого столь извѣстнаго потомъ профессора, критика и издателя, тогда еще никому не было извѣстно. Каченовскій только начиналъ свою дѣятельность, помѣщая мелкія статьи свои въ сантиментальномъ родѣ въ тогдашнихъ московскихъ журналахъ. Родомъ онъ былъ грекъ, по фамиліи Качони изъ Харьковскаго и учился тамъ въ коллегіумѣ, гдѣ познакомился со многими европейскими языками. Судьба этого профессора довольно странна. Онъ служилъ сначала въ гражданской и военной службѣ и только сдѣлавшись въ 1801 году библіотекаремъ и правителемъ дѣлъ у попечителя Московскаго университета, графа А. К. Разумовскаго, получилъ возможность примѣнять и употребить въ пользу свои разнообразныя свѣдѣнія. Въ 1806 году онъ сдѣлался профессоромъ.

Критика разсужденія Шишкова написана въ формѣ письма отъ неизвѣстнаго. Она не такъ подробна, какъ у Макарова, но Каченовскій, возставая противъ употребленія славянскаго языка, рекомендуемаго за образецъ Шишковымъ, стоитъ на той же точкѣ зрѣнія,

¹⁾ Ibid., с. 39.

²⁾ Шишковъ. Соч., ч. II, с. 88—106.

³⁾ Ibid., с. 106.

что и Макаровъ, т.-е. защищаетъ новый слогъ и необходимыя заимствованія изъ языковъ иностранныхъ для новыхъ понятій. Критика Каченовскаго не лишена нѣкоторой насмѣшливости. Шишковъ, доказывая преимущества слога и умѣнья владѣть имъ у старыхъ нашихъ писателей, приводитъ, между прочимъ, въ примѣръ осторожности и наблюденія ясности въ рѣчахъ, слѣдующій отрывокъ изъ подражанія Ломоносова Анакреону:

Онъ (Купидонъ) чуть лишь ободрился,
Каковъ-то, молвилъ, лукъ;
Въ дождѣ *чай* повредился,
И съ словомъ стрѣлилъ вдругъ“...

Шишковъ говоритъ: „Потребно сильной въ языкѣ имѣть навыкъ, дабы чувствовать самонаибѣе обстоятельство, могущее ослабить силу слога, или сдѣлать его двусмысленнымъ и недовольно яснымъ. Въ просторѣчии обыкновенно вмѣсто *чаять* должно, говорятъ сокращенно: *чай*. Ломоносовъ тотчасъ почувствовалъ, что выдетъ изъсего *двумысліе* глагола *чай* съ именемъ *чай*, т.-е. китайской травы, которую мы *по утрамъ* пьемъ; и для того, сокращая глаголь *чаять*, поставилъ *чай*“. Такихъ наивныхъ замѣчаній у старика Шишкова было довольно; ими онъ давалъ противъ себя оружіе въ руки враговъ и насмѣшниковъ. Каченовскій не безъ ироніи на это замѣтилъ: „Доказательство, не скажу слабое, а смѣшное! И не умѣющій читать пойметъ тотчасъ по смыслу пѣсни, что тутъ не означается напитокъ; а знающій исторію знаетъ также, что во время Анакреона *чаю* не только еще не пивали, но онъ былъ и неизвѣстенъ; слѣдственно, въ дождѣ ему повредиться никакъ нельзя было. Больше думать можно, что Ломоносовъ занялъ сіе слово отъ простолюдиновъ, которые въ его время, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, употребляли оное“. Этотъ обращенъ полемики достаточенъ для того, чтобы дать понятіе о томъ, какъ Шишковъ и его критикъ смотрѣли на науку филологіи.

Но Шишковъ вовсе не былъ такой человѣкъ, чтобъ промолчать на критики, на него направленные. У него были искреннія, горячія убѣжденія, защищать которыя онъ считалъ своею святою обязанностію. „Патріотическая ревность или, скажемъ по русски, ревность къ отечеству, побудила меня издать книгу мою“, говоритъ онъ „Какъ? спрашиваетъ онъ: Меркурій думаетъ, что истину, основанную на чувствахъ любви къ отечеству, не въ слухъ говорить, но токмо въ кабинетѣ своемъ бормотать должно! Почему это? Неужь ли опасаясь гнѣва писателей московскихъ журналовъ?“¹⁾ Между нимъ и его

¹⁾ Соч., ч. II, с. 465.

противниками не было ничего общаго; бездна раздѣляла ихъ убѣжденія, и это радикальное несогласіе Шишковъ выразилъ въ эпиграфѣ, взятomъ имъ изъ Ж. Ж. Руссо и поставленномъ на новой книгѣ его „Прибавленіе къ сочиненію, называемому „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ“: „Pourquoi faut il que je vous écrive?.. Quelle langue commune pouvons nous parler?“ Въ этой книгѣ заключается подробный отвѣтъ на критики Каченовскаго и Макарова, называемыя имъ *злонамѣренныя брани*. Здѣсь защищаетъ онъ свои прежнія убѣжденія, не прибавляя ничего новаго къ нимъ, только развѣ усиливая свои доказательства и не уступая ни одного шага своимъ противникамъ, которыхъ онъ третируетъ съ большимъ презрѣніемъ.

ЛЕКЦІИ XVII и XVIII.

Отвѣтъ Шишкова на критики.—И. И. Дмитріевъ.—Его литературная дѣятельность.

Критику Каченовскаго Шишковъ перепечатываетъ всю и на каждое замѣчаніе его старается дать отвѣтъ. Всѣ отвѣты эти заключаются въ подтвержденіи положеній его, что русскій и славянскій языкъ—одно и то же, что всѣ новыя слова, заимствованныя съ языка французскаго, можно замѣнить своими, составленными изъ собственныхъ корней, и пр. Защищается Шишковъ и отъ утвержденій своихъ противниковъ, что онъ хочетъ обути всѣхъ въ онучи и зипуны и не велитъ читать ни своихъ, ни иностранныхъ книгъ ¹⁾.

Отвѣтъ Шишкова Макарову гораздо обстоятельнѣе. Этотъ критикъ задѣлъ его за живое и только главное обвиненіе Макарова понудило Шишкова отвѣчать ему; онъ говоритъ, что не отвѣчалъ бы критику, еслибъ онъ нападалъ только на его сужденіе о словесности и на его слогъ, но Макаровъ высказалъ мысль, что авторъ разсужденія о слогѣ, „для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка хочетъ возвратитъ насъ и къ обычаямъ и къ понятіямъ стариннымъ“. Это было обвиненіе въ нелюбви къ просвѣщенію, падавшее обыкновенно и потомъ, черезъ много лѣтъ, на славянофиловъ. И они также, подобно Шишкову, отрекшались отъ этихъ обвиненій (въ сущности они были врагами невѣжества), но забывали, что ихъ слѣпая привязанность къ старинѣ логически ведетъ къ тому. „Какъ! восклицаетъ Шишковъ: кто совѣтуетъ перенимать у другихъ народовъ одно токмо полезное и доброе, а не легкомысленное и бесполезное; кто желаетъ, чтобъ въ отечествѣ его было меньше Простаковыхъ

¹⁾ Соч., ч. II, с. 361.

и Вральмановъ; кто говорить, что надобно любить свою землю больше, нежели чужую: тотъ по вашему презираетъ науки и хочетъ просвѣщеніе обратить въ невѣжество?"¹⁾ Защита старины и родины, опозоренной, по его мнѣнію, французскимъ вліяніемъ, идетъ у него съ болѣшимъ одушевленіемъ; всякій видитъ, что это человѣкъ искренно убѣжденный. „Почему обычаи и понятія предковъ нашихъ кажутся вамъ достойными такого презрѣнія, что вы не можете и подумать о нихъ безъ крайняго отвращенія?“—спрашиваетъ онъ своихъ критиковъ..... „Мы видимъ въ предкахъ нашихъ примѣры многихъ добродѣтей: они любили отечество свое, тверды были въ вѣрѣ, почитали царей и законы: свидѣлствуютъ въ томъ Гермогены, Филареты, Пожарскіе, Трубецкіе, Палицины, Минины, Долгорукіе и множество другихъ. Храбрость, твердость духа, терпѣливое повиновеніе законной власти, любовь къ ближнему, родственная связь, безборыстіе, вѣрность, гостепріимство и инныя многія достоинства ихъ украшали...“²⁾ Понятія о просвѣщеніи у критиковъ и у Шишкова различны. „Просвѣщеніе не въ томъ состоитъ, говорить онъ, чтобъ напудренный сынъ смѣлся надъ отцемъ своимъ ненапудреннымъ. Мы не для того обрили бороды, чтобы презирать тѣхъ, которые ходили прежде или ходятъ еще и нынѣ съ бородами, не для того надѣли короткое нѣмецкое платье, дабы гнушаться тѣми, у которыхъ долгіе зипуны. Мы выучились танцовать миноветы, но за что же насмѣхаться намъ надъ сельскою пляскою бодрыхъ и веселыхъ юношей, питающихъ насъ своими трудами? Они такъ точно пляшутъ, какъ бывало плясывали наши дѣды и бабки. Должны ли мы, выучась пѣть итальянскія аріи, возненавидѣть подблюдныя пѣсни? Должны ли о святой недѣлѣ изломать всѣ лубки для того только, что въ Парижѣ не катаютъ яйцами? Просвѣщеніе велитъ избѣгать пороковъ, какъ старинныхъ, такъ и новыхъ; но просвѣщеніе не велитъ, ѣдучи въ каретѣ, гнушаться телѣгою. Напротивъ, оно, соглашаясь съ естествомъ, рождаетъ въ душахъ нашихъ чувство любви даже и къ безсловеснымъ вещамъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ родились предки наши и мы сами“³⁾... Эти упреки въ ненависти къ народу, обращенные Шишковымъ къ своимъ критикамъ, направлены были вовсе не туда, куда слѣдовало. Наша литература была невиновата въ презрѣніи къ народу; другое дѣло общество, увлеченное бессмысленнымъ подражаніемъ французскому; но что же было общаго между всѣмъ этимъ и тѣми французскими словами и выраженіями, которыя вторгались въ

¹⁾ Ibid., с. 458.

²⁾ Ibid. с. 458—9.

³⁾ Ibid. с., 459—60.

новыя произведенія? Въ жару полемики Шишковъ не хотѣлъ или не могъ различать предметы.

Въ отвѣтъ Макарову находится и прямое нападеніе на Карамзина. Макаровъ, защищая его, говорилъ, что Карамзинъ составилъ въ нашей словесности эпоху и что имя его славно не только у насъ, но и за границею: „Меркурій напрасно меня винить, говоритъ Шишковъ, будто я стараюсь затмить славу писателя, котораго онъ именуетъ. Я ничьей славы затмевать не хочу, а желаю общаго добра, какое происходитъ можетъ отъ любленія природнаго языка своего ¹⁾. (Я радъ вмѣстѣ съ Меркуріемъ восклицать, что „Бѣдная Лиза“ написана хорошимъ и пріятнымъ слогомъ, но желалъ бы, чтобъ пріятность слога въ таковыхъ сказочкахъ сопряжена была съ пользою правоученія, и чтобъ худыя правила не назывались въ нихъ благовоспитанностью. „Наталья боярская дочь“ (не знаю, чьего она сочиненія, да и на что мнѣ знать это?) есть также легкимъ слогомъ написанная сказочка, но я бы вырвалъ ее изъ рукъ дочери моей, еслибъ она читать ее стала; ибо весьма вѣрю сему, что „тлѣть обычаи благи бесѣды злы“ ²⁾. Онъ говоритъ впрочемъ, что нигдѣ не упоминалъ даже имени Карамзина и что если въ примѣрахъ, имъ приведенныхъ, и могли попасться нѣкоторыя фразы этого писателя, то онъ увѣренъ, что читатели не поставятъ этого ему въ преступленіе, какъ будто онъ оскорбилъ нѣчто священное и недостойнъ уже, чтобъ земля его носила“ ³⁾... Шишковъ умѣлъ найти и слабыя стороны критики своего противника. Такъ говоря о томъ, что языкъ нигдѣ не можетъ остановиться въ одномъ положеніи и безпрестанно мѣняется, Макаровъ пишетъ: „Потомки Перикловъ, Фокіоновъ и Демосееновъ (т. е. современные греки) должны какъ чужестранцы учиться тому языку, которымъ предки ихъ гремѣли на каедрѣ афинской“.... „Хорошій примѣръ для послѣдованія, замѣчаетъ на это Шишковъ. Господинъ Меркурій желаетъ насъ видѣть похожими на потомковъ Демосееновыхъ, у которыхъ нѣтъ уже ни языка, ни наукъ. Для того, что ихъ языкъ, уклоняясь отъ Гомерова языка, пришелъ въ упадокъ, такъ и нашему, уклоняясь отъ славенскаго, надобно придти въ упадокъ!“ ⁴⁾.

¹⁾ Ibid., с. 452.

²⁾ Слова, поставленные въ скобкахъ, были въ отдѣльномъ изданіи приложенія. Въ собраніи сочиненій Шипкова ихъ нѣтъ. Вмѣсто нихъ находимъ: „...и отнюдь не думаю, чтобъ человекъ справедливый и благомыслящій могъ въ примѣчаніяхъ моихъ находить какую-нибудь личность или пристрастіе. Мнѣніе мое не есть законъ; но и намѣреніе мое не есть злословіе“.

³⁾ Ibid., с. 450.

⁴⁾ Ibid., с. 431—2.

Такъ началась эта полемика между старымъ и новымъ, принимавшая, какъ мы увидимъ впоследствии, самыя разнообразныя формы, приобретающая новыхъ дѣятелей и получившая новое ожесточеніе вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ и въ особенности войны нашей съ французами, войны несчастной, а потому возбудившей въ обществѣ сильную ненависть къ французамъ. Покуда Шишковъ былъ одинъ; онъ одинъ имѣлъ смѣлость поднять свой голосъ въ защиту старины, на осмѣяніе новыхъ словъ въ русскомъ языкѣ, а съ ними вмѣстѣ и новыхъ понятій, искренно имъ ненавидимыхъ. Эти понятія были въ связи съ французскимъ переворотомъ XVIII вѣка; Шишковъ видѣлъ ихъ въ нашей жизни, въ обществѣ, литературѣ. Онъ говорить это прямо: „Мы оставались еще, до временъ Ломоносова и современниковъ его, при прежнихъ нашихъ духовныхъ пѣсняхъ, при священныхъ книгахъ, при размышленіяхъ о величествѣ Божіемъ, при умствованіяхъ о христіанскихъ должностяхъ и, о вѣрѣ, научающей человѣка кроткому и мирному житію, а не тѣмъ развратнымъ правамъ, которыми новѣйшіе философы обучили родъ человѣческій, и которыхъ пагубные плоды, послѣ такого проліянія крови, и нынѣ еще во Франціи гнѣзятся“¹⁾. Одинъ онъ высказывалъ печатно тогда эти мысли и никакъ конечно не ожидалъ, что у него будетъ скоро много сторонниковъ и что самъ Карамзинъ, глава школы или, по выраженію Шишкова, „нѣкоторой особливой *шайки* писателей, вооружившихся противъ славянскаго языка“, будетъ на его сторонѣ и станетъ высказывать прямо государю еще болѣе запугивающія мысли. Теперь онъ былъ одинъ въ литературѣ; его сторонники, его друзья старики, дѣлившіе его мысли и убѣжденія въ дружескихъ бесѣдахъ съ нимъ и на очередныхъ вечерахъ литературныхъ въ Петербургѣ, не поддерживали его въ печати. Все молодое, свѣжее стояло на сторонѣ, разумѣется, его противниковъ. Аксаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, рассказываетъ, какъ студенты Казанскаго университета были недовольны лекціями профессора русской словесности Городчанинова, поклонника старинныхъ писателей и жестокаго врага Карамзина и его нововведеній въ слогъ, какъ онъ одинъ, въ которомъ съ дѣтства была дворянская закуска славянофильства, также не любилъ Карамзина, не умѣя дать себѣ отчета въ причинахъ этой нелюбви, какъ онъ одинъ только читалъ съ восторгомъ разсужденіе Шишкова, но зато встрѣчалъ упорное противодѣйствіе во всѣхъ своихъ товарищахъ²⁾. Конечно, нѣкоторые журналы того времени, найдя извѣстную долю правды въ замѣткахъ

¹⁾ Ibid., с. 423.

²⁾ Сем. Хрон. и Восп. 1856 г., 457—460.

Шишкова, стали противодѣйствовать варваризмамъ; въ этомъ отношеніи нельзя отрицать вліяніе Шишкова. Болѣе всего впрочемъ его убѣжденія раздѣляла Россійская Академія; на нее онъ хотѣлъ дѣйствовать. Онъ, Державинъ и Хвостовъ, настояли въ Академіи на изданіи книги, которая бы особенно была посвящена языку и словесности ¹⁾ для назиданія молодымъ писателямъ и для истребленія въ русскомъ языкѣ словъ иностранныхъ, которыя Шишковъ хотѣлъ замѣнить вновь составленными изъ славянскихъ корней. Это былъ славянскій словарь, составленный самимъ Шишковымъ; напечатана была только первая его часть, а остальные остались въ рукописи, потому что духовные члены Академіи не согласились на печать по цензурнымъ соображеніямъ.

Въ то время какъ Шишковъ началъ эту полемику съ новымъ слогомъ, съ тѣмъ, что казалось ему въ новомъ направленіи нашей литературы пагубнымъ и вреднымъ, противъ него возстали люди болѣе молодого поколѣнія, воспитанники Карамзина, дѣти его слога и направленія. Но въ ту пору жили еще нѣкоторые писатели временъ Екатерины, окруженные славою и поклоненіемъ, какъ учителя, какъ авторитеты для молодыхъ талантовъ. Изъ такихъ признанныхъ, старыхъ авторитетовъ большимъ вліяніемъ пользовались два поэта. Одинъ старикъ Державинъ въ Петербургѣ, пережившій и свою славу и свой талантъ, но писавшій въ ту пору очень много, чуть ли даже не гораздо больше, чѣмъ въ первые, свѣтлые дни своей извѣстности и славы. Другой—И. И. Дмитріевъ—въ Москвѣ,—другъ Карамзинской юности, первый наставникъ его въ литературномъ дѣлѣ, человекъ чрезвычайно остроумный, поэтъ-самоучка, но по уму стоявшій выше всѣхъ современныхъ ему писателей стиховъ и успѣвшій самъ себя образовать и поднять до уровня современности. Дмитріевъ жилъ очень долго; въ теченіе своей жизни онъ пережилъ очень многое: онъ былъ свидѣтелемъ первой славы Державина, пріобрѣтенной имъ одою къ Фелицѣ; по его совѣту, прислушиваясь къ его тонкому вкусу, Державинъ исправлялъ нѣкоторые стихи свои и замѣнялъ дикія слова и выраженія, которыми такъ богаты его стихи, другими, болѣе простыми и понятными. Дмитріевъ первый познакомилъ Карамзина съ авторствомъ и первый открылъ въ немъ талантъ; всю жизнь оставался онъ друженъ съ нимъ и въ свою очередь сдѣлался его ученикомъ и послѣдователемъ—въ поэзіи. Дмитріевъ встрѣтилъ привѣтомъ первые опыты Жуковского и былъ свидѣтелемъ лучшихъ его произведеній. Онъ пережилъ всю поэтическую и литературную жизнь Пушкина; онъ видѣлъ на сценѣ первую знаменитую комедію Гоголя.... Въдѣ это

¹⁾ Шишковъ. Записки. II, с. 5.

цѣлые періоды литературной жизни русскаго общества, въ которые и оно и Россія столько пережили; это цѣлая длинная исторія. Событія и люди проходили въ теченіе болѣе полувѣка сознательной и зрѣлой жизни передъ глазами этого умнаго, наблюдательнаго, старика, интересовавшагося очень многимъ до послѣднихъ дней своей жизни. А какія событія, и какіе люди! Подобно Державину, Дмитріевъ, начавъ свою службу въ полковой казармѣ, сдѣлался министромъ; на этомъ высокомъ правительственномъ посту горизонтъ его зрѣнія былъ гораздо шире, и ничѣмъ не стѣснялся. Изъ всѣхъ русскихъ литераторовъ, старыхъ и новыхъ, Дмитріевъ болѣе прочихъ походилъ на европейскаго писателя по своей обширной и дѣятельной перепискѣ, прекратившейся кажется только за нѣсколько часовъ до его смерти. Все, что только въ литературѣ и обществѣ было замѣчательнаго по уму и таланту, всѣ люди, выходящіе изъ ряда, вели переписку съ Дмитріевымъ и онъ дѣятельно поддерживалъ ее. Множество писемъ къ нему Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Блудова, Тургеневыхъ, Пушкина, Кн. Вяземскаго, А. Измайлова и др. позволяютъ намъ войти въ тотъ духовный, внутренній міръ, которымъ жилъ этотъ замѣчательный старикъ, познакомиться съ интересами, которые занимали его въ теченіе полувѣка. Наконецъ Дмитріевъ оставилъ свои собственныя записки, свои наблюденія надъ жизнью и людьми, подъ названіемъ „Взглядъ на мою жизнь“. О нихъ печаталось много извѣстій; отрывки ихъ появлялись въ журналахъ давно уже, а въ цѣломъ видѣ „Записки“ долго не выходили вслѣдствіе цензурныхъ соображеній. Наконецъ онѣ вышли въ свѣтъ безъ предварительной цензуры и дѣйствительно безъ пропусковъ. Мысль и слово писателя передъ нами въ неискаженномъ видѣ и мы можемъ видѣть душу его въ самой глубинѣ его. Что же за человѣкъ былъ этотъ поэтъ Дмитріевъ? Что его интересовало? Что было ему дорого? Въ какомъ отношеніи стоялъ онъ къ жизни и обществу? Познакомившись съ одною такою типическою личностію въ нашей литературѣ, мы поймемъ въ чемъ состояло тогда и ея собственное содержаніе, чѣмъ она наполнялась.

Дмитріевъ былъ шестью годами старше Карамзина, своего земляка по Симбирской губерніи. Онъ происходилъ также изъ дворянскаго рода этой мѣстности и первоначальное образованіе получилъ въ казанскомъ пансіонѣ какого-то француза Манжена; сдѣлавшагося потомъ домашнимъ учителемъ извѣстнаго намъ Макарова. Затѣмъ ученіе продолжалось уже въ Симбирскѣ, въ пансіонѣ отставнаго поручика Кабрита, котораго Дмитріевъ очень хвалитъ. Но тамъ и здѣсь ученіе продолжалось не долго; оно прекратилось на одиннадцатомъ году, и Дмитріевъ едва узналъ кое-что изъ ариметики да научился

читать по-французски и по-нѣмецки, не понимая разумѣется прочитаннаго. Отецъ увезъ сына въ деревню и, такъ какъ онъ самъ не былъ далекъ въ наукахъ, то и заставлялъ его повторять по книгѣ то, что было выучено въ пансіонахъ. Зато Дмитріевъ усердно читалъ французскіе романы въ переводахъ и заинтересованный однимъ изъ героевъ ихъ—Маркизомъ Г., изъ описанія походовъ котораго были переведены только первыя части по-русски, дочиталъ остальные съ помощію лексикона по-французски и выучился такимъ образомъ понимать этотъ языкъ. Мать познакомила его съ стихами Сумарокова, а отецъ—Ломоносова, и въ мальчикѣ очень рано пробудилось поэтическое чувство. Остальное образованіе dokonчено было уже въ Симбирскѣ разговорами отцовскихъ пріятелей помѣщиковъ, собиравшихся на партію виста и толковавшихъ то о хозяйствѣ, то о политическихъ, по большей части, придворныхъ дѣлахъ, то о турецкой войнѣ, свѣдѣнія о которой почерпались изъ московскихъ газетъ. Вотъ кругъ образованія тогдашняго провинціального юноши; дальше шли немногіе.

Но эти „тихіе вечера“ посреди мирныхъ пенатовъ Симбирска, какъ выражается Дмитріевъ, прекратились вдругъ отъ грозы пугачевщины. Всякій скакалъ тогда туда, гдѣ было безопаснѣе, и семейство Дмитріевыхъ уѣхало въ Москву. Денегъ у отца не было, а потому и нельзя было думать о дальнѣйшемъ ученіи сыновей (у Дмитріева былъ еще старшій братъ, Александръ, также вступившій потомъ на литературное поприще). Пришлось читать только русскія книги и, конечно, не научнаго содержанія. Но и это скоро кончилось. Уже въ 1772 году оба брата были записаны солдатами въ гвардейскій Семеновскій полкъ и числились только въ отпуску дома до совершеннолѣтія, но въ 1774 году отецъ привезъ ихъ на службу въ Петербургъ, и четырнадцатилѣтній Дмитріевъ сталъ жить въ солдатской казармѣ и ходить въ полковую школу, гдѣ дѣло образованія ограничивалось слишкомъ немногимъ, необходимымъ для солдатъ. Пришлось ходить на караулы и на ученія. Вскорѣ Екатерина отправилась въ Москву торжествовать миръ съ Турціею; для праздника необходима была гвардія, и Дмитріевъ, пришедшій съ Семеновскимъ полкомъ, увидался въ Москвѣ съ родными и былъ свидѣтелемъ страшной казни Пугачева и Перфильева, которую и описалъ подробно. Какое впечатлѣніе произвело это зрѣлище на душу четырнадцатилѣтняго мальчика, изъ его описанія не видно. Онъ хладнокровно замѣчаетъ страшныя подробности, какъ будто любитъ ими и только. Впрочемъ въ ту пору люди зрѣли гораздо раньше и физически и нравственно, нервы ихъ были крѣпче, а чувства и жестче и грубѣе.

Откуда же, спросять, у этихъ людей прошлаго вѣка „посреди строевъ и карауловъ“ появлялось поэтическое чувство, заставлявшее

ихъ писать стихи, подбирать приемы, хлопотать о размѣрѣ? Какіе интересы будили чувство поэзіи? Умный Дмитріевъ, впрочемъ, сознается самъ, что ему совѣстно назвать свои опыты — опытами въ поэзіи; это были скорѣе опыты въ рифмованіи. Для поэзіи необходимо чувство, живое отношеніе къ дѣйствительности, а гдѣ ихъ было взять семнадцатилѣтнему солдату или фурьеру, лишенному почти всякаго образованія и живущему въ казармѣ? „Не выдавъ еще ни одной книги о правилахъ стихосложенія, говоритъ Дмитріевъ, не имѣвъ и понятія о метрахъ, о разнородныхъ приемахъ, о ихъ сочетаніи, я выводилъ строки и оканчивалъ ихъ приемами, это были стихи мои“¹⁾. Семнадцати лѣтъ онъ сталъ уже печатать свои стихи, сталъ изучать различныя піитики и правила поэзіи, сталъ подражать мелкимъ французскимъ поэтамъ и въ особенности Дорату, одному изъ корифеевъ легкой поэзіи, сдѣлавшемуся любимцемъ Дмитріева. Вотъ, слѣдовательно, откуда бралось содержаніе для тогдашней нашей поэзіи; для него, не нужно было ни поэтическаго чувства, ни живого отношенія къ дѣйствительности, а только механика стиха. Но не одними стихами занимался Дмитріевъ. Онъ переводилъ разныя мелкія прозаическія статьи съ французскаго для тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ; напечаталъ отдѣльно: „Жизнь графа Н. И. Панина“ (1787). За всѣ эти труды книгопродавцы платили ему книгами... Знакомство съ Карамзинымъ, его родственникомъ, близкія сношенія съ нимъ, когда онъ воротился изъ своего путешествія, и особенно знакомство съ умнымъ и образованнымъ гвардейскимъ офицеромъ одного съ нимъ полка — Козлятевымъ, у котораго была большая французская бібліотека, расширили умственный горизонтъ Дмитріева. Онъ сталъ много читать и вполнѣ познакомился съ обширною французскою литературою. Знакомство съ Державинымъ во время его славы ввело Дмитріева въ кругъ тогдашнихъ петербургскихъ писателей; скоро онъ сдѣлался совѣтникомъ Державина по части разныхъ стиховъ и выраженій.

Настоящимъ вдохновителемъ поэзіи Дмитріева былъ, однако, Карамзинъ; его извѣстность и слава начинаются съ тѣхъ стиховъ, которые помѣщены были имъ въ „Московскомъ Журналѣ“ Карамзина, въ его сборникахъ, Аглаѣ, Аонидахъ, и въ книжкѣ, изданной Дмитріевымъ въ подражаніе Карамзину „И мои бездѣлки“. Вліяніе Карамзина, чувствительность, которою отличалось его направленіе, отличаетъ и первыя извѣстныя стихотворенія Дмитріева. Вотъ почему онъ, старшій шестью годами Карамзина, долженъ быть причисленъ къ его школѣ. Лучшія произведенія Дмитріева относятся

¹⁾ Взглядъ на мою жизнь. М. 1866, с. 32.

въ послѣднему десятилѣтію прошлаго вѣка, т.-е. и къ лучшей порѣ дѣятельности Карамзина, когда создавалось его направленіе. Съ этихъ порѣ Дмитріевъ сдѣлался авторитетомъ въ поэзіи. Его двѣ пѣсни: „Стонетъ сизый голубочекъ“ и „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ“ — сдѣлались очень скоро модными и пѣлись очень долго. Но у Дмитріева, рядомъ съ этой вялой сентиментальностью шло и сатирическое направленіе, которое въ особенности проявляется въ двухъ первыхъ его сказкахъ: „Модная жена“ (1792) и „Причудница“ (1795). Послѣдняя есть подражаніе Вольтеру. Отличительный характеръ этихъ сказокъ заключается въ ловкости версификатора и удивительной для того времени легкости стиха, такъ что въ этомъ отношеніи у Дмитріева не могло быть соперниковъ. По его собственному признанію, главная его забота была направлена на внѣшнюю сторону стиха, на его плавность и богатство рими. „Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, говорить онъ, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ, скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы“. О чувствѣ и говорить нечего: всѣ стихотворенія Дмитріева, гдѣ онъ старается высказать свои сердечныя ощущенія, относящіяся къ различнымъ Прелестамъ, Филлидамъ, Хлоямъ—вялы и очевидно придуманы. Въ своей автобіографіи Дмитріевъ даже и не намекнулъ о какомъ-либо сердечномъ движеніи и всю жизнь свою былъ не женатъ. Отличительною чертою его характера былъ эгоизмъ; преобладала въ немъ также и значительная доля эпикуреизма, но не того грубаго, матеріальнаго эпикуреизма, который проявляется въ натурахъ неразвитыхъ и чувственныхъ, а эпикуреизма духовнаго — удѣла тѣхъ высоко развитыхъ умственно натуръ, которыхъ много представляло у насъ общество въ различныя эпохи своего существованія. Натуры эти, лишенныя возможности принимать дѣятельное участіе въ дѣлахъ страны, недовольныя дѣйствительностію, не похожею на ихъ идеалы, съ отчаяніемъ въ душѣ уходили въ міръ духовныхъ наслажденій или въ жизнь и стремленія чужихъ народовъ. Такихъ артистическихъ натуръ, продуктовъ нашего болѣзненнаго развитія, было много у насъ, особенно въ 30-ые и 40-ые годы. Къ ихъ числу принадлежалъ отчасти и Дмитріевъ, хотя чиновничество и служебная дѣятельность играли не малую роль въ его жизни. 1) „Сказки Дмитрія Ивановича Карамзина“.

Самымъ лучшимъ поэтическимъ и плодотворнымъ годомъ для Дмитріева былъ 1794 годъ, когда онъ, будучи уже капитанъ-поручикомъ гвардіи, посѣтилъ свою родину—Сызрань, плавалъ по Волгѣ для свиданія съ разными родными и жилъ и дышалъ воздухомъ

родныхъ полей своихъ. Какъ ни искусственна вообще поэзія Дмитріева,—въ этомъ смыслѣ она похожа на всякую другую поэзію XVIII вѣка,—но подъ впечатлѣніями образовъ широкой природы, родной и близкой сердцу поэта, она невольно получаетъ оживленіе. Въ своихъ „Запискахъ“ Дмитріевъ поддается искреннему чувству, вспоминая свои прогулки въ Сызрани, по берегамъ Волги или ея заливовъ. „Здѣсь-то, въ роскошную пору весны, говорилъ онъ, въ тонкомъ сумракѣ тихаго вечера, мелькнули предо мною безмолвные призраки Ермака и двухъ шамановъ“¹⁾. Отъ Сызрани Дмитріевъ проѣхалъ внизъ по Волгѣ до самой Астрахани (до Сарепты на парусномъ суднѣ). Удовольствія этого пути Дмитріевъ вспоминалъ и въ глубокой старости. Въ прозѣ его „Записокъ“ даже воспоминанія эти кажутся лучше, чѣмъ въ его одѣ „къ Волгѣ“, написанной тогда же, гдѣ онъ не кстати вызываетъ тѣни историческихъ событій, къ которымъ относится гиперболически-холодно. Такого рода воскрешеніе прошлаго является и въ знаменитой одѣ Дмитріева „Ермакъ“, написанной тогда же. Вѣроятно, Волга напомнила ему героя-завоевателя Сибири, но какъ ни нравилась эта ода современникамъ и послѣдующему поколѣнію, которое знало ее наизусть и приводило безпрестанно въ реторикахъ стихи изъ нея въ образецъ живописности слога,—для насъ—это холодное, придуманное созданіе, выраженіе того внѣшняго патріотизма, которымъ наполнялось царствованіе Екатерины. Тогда же имя Дмитріева сдѣлалось извѣстно и императрицѣ. Въ Сызрань дошелъ слухъ объ извѣстномъ штурмѣ и взятіи Варшавы Суворовымъ, прежде даже, чѣмъ это всѣми ожидаемое событіе совершилось, и Дмитріевъ тотчасъ написалъ свой „Гласъ патріота на покореніе Варшавы“ и послалъ его въ Петербургъ Державину для напечатанія... Тотъ напечаталъ и поднесъ оду эту Екатеринѣ и придворнымъ въ тотъ самый день, когда было получено дѣйствительно извѣстіе о взятіи Варшавы. Это удивило всѣхъ. Но какъ ни остроумно смѣялся самъ Дмитріевъ надъ одами, его собственныя произведенія въ этомъ родѣ ничѣмъ, кромѣ развѣ точности и лучшей отдѣлки стиха и выраженія, не отличаются отъ подобныхъ произведеній современниковъ. Холодный расчетъ въ нихъ виденъ на каждомъ шагу, и ни въ одной нѣтъ искренности, этого главнаго условія поэзіи. Какъ былъ чуждъ Дмитріевъ истинной поэзіи, видно изъ его передѣлки извѣстнаго стихотворенія Гёте: „Die Grenzen der Menschheit“, названной нашимъ перелагателемъ „Размышленіе по случаю грома“ (1795). Широкий эллинскій пантеизмъ нѣмецкаго поэта совершенно исчезаетъ въ этомъ переложеніи, напоминающемъ собою Ломоносова и его „Подражаніе Іову“.

¹⁾ Взглядъ на мою жизнь, с. 71.

Мы упоминали уже о сказкахъ Дмитріева, въ которыхъ онъ, по словамъ современныхъ раболѣбствующихъ передъ нимъ критиковъ, является „неподражаемымъ“. Еще Полевой, уже по смерти Дмитріева, называлъ его сказки превосходными. Для насъ онѣ ничего не говорятъ. Это передѣлки, подражанія французскимъ произведеніямъ этого рода поэзіи салоновъ, которою такъ богата была французская литература прошлаго вѣка. Легкіе нравы, легкая насмѣшка надъ свѣтскою жизнію—вотъ всѣ ихъ достоинства, которыя увеличиваются еще отъ вылощенного, обдуманнаго, безъ сомнѣнія, много разъ переправляемаго Дмитріевымъ стиха, который поражалъ современниковъ. Чрезвычайно рѣдко попадаютъ въ этихъ красивыхъ и легкихъ сказочкахъ черты изъ русской жизни. Приведемъ одно только изображеніе сосѣда Дмитріева по деревнѣ въ Сызранскомъ уѣздѣ—ротмистра Ивашева, который нарисованъ очень вѣрно, какъ свидѣтельствуемъ племянникъ поэта ¹⁾.

„О, если бы возсталъ изъ гроба ты сейчасъ,
Драгунскій витязь мой, о, ротмистръ Брамербасъ,
Ты, бывшій столько лѣтъ въ малороссійскомъ краѣ,
Игралищемъ злыхъ вѣдьмъ!.. Я помню какъ во снѣ,
Что ты рассказывалъ еще ребенку мнѣ:
Какъ вѣдьма нѣкая въ сараѣ,
Оборотя тебя въ драгунскаго коня,
Гуляла на хребтѣ твоёмъ до полуночи,
Доколя ты уже не выбился изъ мочи!
Какимъ ты ужасомъ разилъ тогда меня!
Съ какою, бывало, ты рассказывалъ размахой,
Въ колетѣ вохраномъ и въ длинныхъ сапогахъ,
За круглымъ столикомъ, дрожащимъ съ чайной чашкой!
Какой огонь тогда пылалъ въ твоихъ глазахъ!
Какъ волосы твои, сѣдые съ желтиною,
Въ природной простотѣ взвивали по плечамъ!
Съ какимъ безмолвіемъ ты былъ внимаемъ мною!
Въ подобномъ твоему я страхъ былъ и самъ!
Стоялъ, какъ вкопанный, тебя глазами мѣрилъ,
И что ужъ ты не конь... еще тому не вѣрилъ“.

Въ такомъ же родѣ написана довольно живая картинка изъ стариннаго русскаго быта „Карриатура“, грустно-смѣшная идиллія въ русскомъ вкусѣ, героемъ которой является другой сосѣдъ Дмитріева, ротмистръ Шешминскаго полка. Но эти образы и картины ложились подъ перо поэта случайно; онъ не думалъ о нихъ, не заботился; для него дороже было подражаніе.

Что Дмитріевъ понималъ всю ложь того *одобсія*, которымъ страдали наши поэты лирическіе со временъ Ломоносова и которое про-

¹⁾ Мелочи изъ запаса моей памяти, с. 125—6.

шло только съ развитіемъ въ обществѣ образованности, съ уничтоженіемъ меценатства, раболовства поэтовъ, съ приобретеніемъ литературою большаго къ себѣ уваженія, — доказываетъ знаменитая сатира его „Чужой толкъ“ (1795); внушенная мыслью англійскаго поэта прошлаго вѣка, Попа, въ его „Посланіи къ доктору Арбутноту“, которое Дмитріевъ также перевелъ съ французскаго въ 1793 году. Въ сочиненіяхъ Дмитріева находится очень много эпиграммъ и вообще разныхъ выходокъ противъ современныхъ слатателей стиховъ, которыми въ его время сильно изобиловалъ россійскій Парнасъ. Подъ вымышленными или огреченными именами можно узнать Хвостова, Боброва, Николева, Бухарскаго и другихъ жалкихъ пѣтчиковъ прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Сатира „Чужой толкъ“ (это названіе дано Дмитріевымъ потому, что сужденія сатиры высказываются не отъ лица поэта, а отъ лица Аристарха, критика), есть общее выраженіе неудовольствія на торжественную, подкупную лирику и изображеніе тѣхъ условій, при которыхъ она могла тогда существовать. Сатирикъ жалуется, что мы давно уже пишемъ оды, но что поэты наши не дѣлаются отъ того славными, что ни одинъ изъ нихъ не можетъ сравниться съ Гораціемъ. А какъ, кажется, не получить славы: древніе поэты писали небольшія оды „листочекъ, много два“, — мы же во сто разъ прилежнѣе и терпѣливѣе. Древніе писали рѣзвясь, долго не думая и не заботясь...

„Вѣдь нашъ начнетъ писать, то всѣ забавы прочь!
Надъ парюю стиховъ просиживаетъ ночь,
Потѣетъ, думаетъ, чертитъ и жжетъ бумагу;
А иногда беретъ такую онъ отвагу,
Что цѣлый годъ сидитъ надъ одою одной!
И подлинно, ужъ весь приложитъ разумъ свой!
Ужъ прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полный, яная въ двѣсти строфъ!
Судите-жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стишковъ“.

Всѣ правила пѣтическія соблюдены въ этихъ одахъ, а между тѣмъ нѣтъ охоты читать:

„Возьму ли, на примѣръ, я оды на побѣды,
Какъ покорили Крымъ, какъ въ морѣ гибли Шведы:
Всѣ тутъ подробности сраженія нахожу,
Гдѣ было, какъ, когда — короче я скажу:
Въ стихамъ реляція! прекрасно!.. а зѣваю!“

Начнешь читать другія оды, напр., на какой-нибудь праздникъ, и то же впечатлѣніе:

„Такъ громко, высоко!.. а нѣтъ, не веселитъ,
И сердца, такъ сказать, ничуть не шевелитъ!“

Какія причины того, что поэзія одъ не нравится? Во-первыхъ: всѣ описцы поэты не по призванью:

„Большая часть изъ нихъ—лейбъ гвардіи капраль,
Ассессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ, въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ,—народъ все нужный, должностной,
Такъ, часто я видалъ, что истинно иной
Въ два, три дни рѣму лишь прибрать едва успѣтъ,
Затѣмъ, что въ хлопотахъ досуга не имѣтъ“...

Во-вторыхъ, у древнихъ была одна цѣль, а у насъ—другая. Го-
рацій желалъ славы въ потомствѣ, а въ Римѣ простого вѣнка...

„А нашихъ многихъ цѣль—награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другога,
Кромѣ придворнаго подъ часъ мѣсяцеслова,
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ
Печатный всякій листъ быть кажется святымъ“.

Подъ конецъ Дмитріевъ очень остроумно и очень зло смѣется надъ придуманными выраженіями тѣхъ или другихъ одъ. Насмѣшка поэта, конечно, очень тонкая, но не надобно забывать, что насмѣшка эта относилась только къ одному внѣшнему выраженію; самой сущности дѣла Дмитріевъ не затронулъ; его мысль не доросла еще до убѣ-
жденія, что поэзія должна выражать дѣйствительность и что самая сущность похвальной оды есть уже нарушение ея достоинства. Да и всегда Дмитріеву дороже было литературное выраженіе, внѣшняя сторона. Онъ прожилъ очень долго; передъ его глазами нѣсколько разъ измѣнилась жизнь общества, а слѣдовательно и литература, а Дмитріевъ все думалъ, что дѣло только шло объ измѣненіи литера-
турнаго вкуса...

Особенную славу и извѣстность Дмитріеву приобрѣли его басни и аналоги. Обыкновенно онъ считается, наряду съ Хемницеромъ и Крыловымъ, однимъ изъ лучшихъ нашихъ баснописцевъ. Прежде критика, при общей распространенности въ нашей литературѣ этого жалкаго рода поэтическихъ произведеній, очень подробно останавли-
валась на сравнительномъ изученіи басенъ трехъ нашихъ баснопис-
цевъ и на опредѣленіи ихъ относительнаго достоинства. Критика давно присвоила Дмитріеву названіе русскаго Лафонтена. И басни, какъ и всѣ прочія его произведенія, отличаются законченностью вы-
раженія, отдѣлкою стиха, легкостью, умомъ и насмѣшливостью; все въ нихъ гладко; нигдѣ нѣтъ зацѣпины. Галаховъ соглашается, при
оцѣнѣ басенъ Дмитріева, съ мнѣніемъ Мерзлякова ¹⁾: „Дмитріевъ

¹⁾ Галаховъ. Исторія русской словесности. М. 1894. Т. II, стр. 187.

отворилъ баснямъ двери въ просвѣщенные, образованныя общества, отличавшіяся вкусомъ и языкомъ“. Но какъ жалко то общество, гдѣ интересуются баснею, гдѣ прислушиваются къ ея закрытой, бѣдной морали. Дѣйствительно, въ этомъ обществѣ не было интереса ни къ чему живому; въ немъ только и можно было приобрести себѣ славу баснями. Замѣтимъ, что всѣ басни Дмитріева—переводныя съ французскаго; даже въ передѣлкахъ своихъ онъ не допустилъ, подобно Крылову, ни одной черты русской...

Мы передали такимъ образомъ въ общихъ чертахъ всю литературную дѣятельность Дмитріева, имя котораго стоитъ обыкновенно рядомъ съ Карамзинымъ и которому приписывается то же реформаторское значеніе въ нашей поэзіи, какое Карамзину въ прозѣ. Но у Карамзина были своего рода убѣжденія, было извѣстное отношеніе къ жизни, къ вопросамъ общественнымъ, которое онъ высказывалъ въ разныхъ случаяхъ. У Дмитріева мы не найдемъ ничего подобнаго: его отношенія къ современнымъ событіямъ высказываются только въ формѣ похвальной оды, попрежнему. Онъ весь занятъ отдѣлкою стиха.

Въ годъ смерти Екатерины Дмитріевъ достигъ тогдашней цѣли своихъ желаній, дослужился до чина капитана, и поѣхалъ въ годовой отпускъ, съ твердымъ намѣреніемъ выйти въ отставку въ извѣстномъ чинѣ бригадира, какъ дѣлали тогда всѣ. При воцареніи Павла онъ исполнилъ свое намѣреніе и думалъ уже о мирной жизни въ отставкѣ, какъ неожиданный доносъ на него въ измѣнѣ сдѣлалъ имя его извѣстнымъ Павлу. Доносъ былъ конечно ложенъ, и Дмитріевъ рассказываетъ подробно въ своихъ „Запискахъ“ всю передрагу по этому случаю ¹⁾. Это обстоятельство доставило Дмитріеву, при участіи, впрочемъ, полюбившаго его наслѣдника престола Александра Павловича, званіе оберъ-прокурора въ сенатѣ, товарища министра удѣловъ, тогда только что учрежденнаго министерства, и чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Все это произошло въ очень короткое время, и честолюбіе Дмитріева было удовлетворено болѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. „Отсюда начинается ученичество мое въ наукѣ законовѣдѣнія и знакомство съ происками, эгоизмомъ, надменностью и раболовствомъ двумъ господствующимъ въ наше время страстямъ: любостыжанію и честолюбію“ ²⁾. Не долго однако Дмитріевъ жилъ въ этой сферѣ; онъ говоритъ о неприятностяхъ, которыя долженъ былъ выносить по службѣ, и не прошло двухъ лѣтъ, какъ онъ былъ уволенъ въ отставку въ концѣ 1799 года съ пенсіономъ и съ чиномъ тайнаго

¹⁾ Взглядъ на мою жизнь, стр. 125—132.

²⁾ Ibid., стр. 134.

совѣтника. Онъ уѣхалъ въ любимую имъ Москву, къ Карамзину и другимъ друзьямъ.

Наблюденій надъ чрезвычайно любопытными обстоятельствами того времени, надъ людьми и надъ переменами Дмитріевъ не оставилъ никакихъ. Онъ говоритъ только о себѣ самомъ. О Павлѣ осторожный Дмитріевъ не произноситъ никакого приговора: „Пусть судить его потомство, говоритъ онъ; отъ меня же признательность и сердечный вздохъ надъ его прахомъ!“ ¹⁾. Идеаломъ Дмитріева была тихая жизнь посреди друзей, жизнь, преданная умственнымъ интересамъ. „Читать, чтò нравится и видѣть тѣхъ, что милы“, пишетъ онъ Жуковскому ²⁾. Онъ тотчасъ же въ Москвѣ купилъ домъ съ садомъ, который доставлялъ ему любимое занятіе до самой смерти, и возобновилъ свои литературныя связи и знакомства съ Карамзинымъ, Тургеневымъ, Херасковымъ и др.

Свои чувства восторга, при началѣ этой столь желанной для него жизни, какъ кажется, не притворныя, онъ выразилъ въ прочувствованномъ посланіи „Къ друзьямъ моимъ“. Свобода, дружба, покой и умственныя наслажденія, — вотъ къ чему хочетъ теперь стремиться Дмитріевъ. Тогда онъ началъ писать свои басни, помѣщая ихъ въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзина. Онъ былъ такъ друженъ съ нимъ, что вмѣстѣ съ переходомъ Карамзина въ исторіи, прекратилъ и свои литературныя труды. 1805 годомъ заканчивается его дѣятельность; дальше писалъ онъ однѣ мелочи и то рѣдко. „Часто приходило мнѣ на мысль, признается самъ Дмитріевъ, что я и совсѣмъ не поэтъ, а пишу только по какому-то случайному направленію, по одному навыку къ механизму ³⁾ и это была дѣйствительная правда. Но Дмитріевъ все же, какъ поэтъ, счелъ своею обязанностью привѣтствовать одою коронацію новаго царя. Для него, какъ и для Карамзина, очень дорого было общаніе подражать Екатеринѣ:

„При ней корабль нашъ чрезъ пучины
Отважно къ счастію летѣлъ;
При ней Россіянинъ, сынъ славы,
Вселенной подавалъ уставы,
И жребіемъ ея владѣлъ“.

Такимъ образомъ и Дмитріевъ, подобно Карамзину и другимъ современникамъ Екатерининскаго царствованія, смотрѣлъ не впередъ, а назадъ; движеніе новаго времени, планы и реформы, задумываемыя и приводимыя тогда въ исполненіе, не вызывали ни сочувствія его,

¹⁾ Ibid., стр. 157.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1701.

³⁾ Взглядъ, стр. 92.

ни содѣйствія. Живя въ отставкѣ, въ томъ изящномъ уединеніи, которое онъ устроилъ себѣ въ Москвѣ, Дмитріевъ едва ли даже въ близкомъ кругу друзей высказывалъ свои мысли о положеніи тогдашнихъ дѣлъ. Онъ былъ слишкомъ остороженъ для того; притомъ всѣ интересы его сосредоточивались на стихахъ. Помощи той литературы, которая только что начиналась, вызываемая новою государственною жизнью, отъ этого писателя нечего было ждать. Свое сужденіе о времени Александра онъ выразилъ съ тою неопредѣленною уклончивостью, которая всю жизнь отличала его осторожную натуру: „Новыя министерства находились подъ вліяніемъ двухъ партій, изъ коихъ въ одной господствовали служивцы вѣка Екатерины, опытные, осторожные, привыкшіе къ старому ходу, нарушеніе коего казалось имъ возстаніемъ противъ святыни. Другая, которой главою былъ графъ Кочубей, состояла изъ молодыхъ людей образованнаго ума, получившихъ *слегка* понятіе о теоріяхъ новѣйшихъ публицистовъ и напитанныхъ духомъ преобразованій и улучшеній.

„Такое соединеніе двухъ возрастовъ могло бы послужить въ пользу правительства. Дѣятельная предприимчивость молодости, соединенная съ образованіемъ нашего времени, изобрѣла бы способы къ усовершенію и оживляла бы опытную старость, а сія, на обмѣнѣ, умѣряла бы лишнюю пылкость ея и избирала бы изъ предлагаемыхъ средствъ надежнѣйшія и болѣе сообразныя съ мѣстными выгодами и положеніемъ государства. Но, къ сожалѣнію, и самыя благородныя души не освобождаются отъ эгоизма, порождающаго зависть и честолюбіе“¹⁾. Весьма трудно изъ этого неопредѣленнаго отзыва Дмитріева вывести заключеніе, которой сторонѣ онъ сочувствовалъ, — вѣроятно не молодымъ.

Тѣмъ не менѣе Александръ, знавшій лично Дмитріева, снова вызвалъ его къ служебной дѣятельности. Правда, это было уже въ ту пору, когда пылъ преобразованій потухъ и начавшаяся борьба съ Наполеономъ направила заботы правительства въ другую сторону. Въ началѣ 1806 года Дмитріевъ сдѣланъ былъ сенаторомъ, но остался въ Москвѣ. Въ 1807 году ему предлагали мѣсто попечителя Московскаго университета послѣ Муравьева, но онъ отказался. Какъ сенаторъ, Дмитріевъ исполнялъ разныя обязанности, ѣздилъ для ревизій въ нѣкоторыя губерніи и въ началѣ 1810 года назначенъ былъ министромъ юстиціи; это былъ другой поэтъ Екатерининскаго времени въ этомъ званіи.

Министерство Дмитріева продолжалось около четырехъ лѣтъ; въ своихъ „Запискахъ“ онъ оставилъ довольно подробное изложеніе

¹⁾ Ibid., стр. 180—181.

своей дѣятельности въ этомъ званіи, которымъ, повидимому, тяготился. Официальное положеніе удалило его отъ друзей; какъ человѣкъ строго честный и холодный, онъ не хотѣлъ имъ жертвовать для прежнихъ связей. Молодой Жуковскій жаловался друзьямъ своимъ на его эгоизмъ: „Онъ не имѣетъ того расположенія въ душѣ, чтобы воспользоваться силою для добра тѣхъ, которыхъ онъ ласкалъ и называлъ *своими* во время оно“ ¹⁾). Получивъ отставку въ 1814 году, Дмитріевъ спѣшилъ отправиться въ свою любимую, теперь обгорѣлую и разоренную Москву. Первымъ дѣломъ его было устроить пріютъ для старости; прежній домъ его сдѣлался также жертвою общаго пожара. Онъ началъ строить новый. Для него опять началась прежняя московская жизнь, „но я уже не могъ обѣщать себѣ, говорить онъ, тѣхъ пріятныхъ наслажденій, посреди коихъ текли счастливые дни мои въ продолженіе первой моей отставки“ ²⁾). Многихъ близкихъ уже не было; Карамзинъ совсѣмъ уѣхалъ въ Петербургъ. Но ему оставалось еще много наслажденій того изящнаго одинокаго эгоизма, въ которомъ онъ всегда былъ склоненъ. Онъ любилъ свой домъ и его устройство, книги, эстампы, садъ, цвѣты. Не разъ ѣздилъ онъ на родину и въ Петербургъ. Съ отсутствующими друзьями и со всѣми сколько-нибудь замѣчательными личностями онъ поддерживалъ дѣятельную и любопытную переписку, которая даетъ прекрасные матеріалы для характеристики вкусовъ, направленія и образа мыслей литературнаго круга Дмитріева и друзей его. Самая замѣчательная въ этомъ отношеніи была переписка съ Карамзинымъ. Осторожный историкъ многое откровенно передавалъ старинному и искреннему другу. Прочіе писатели склонялись предъ его общественнымъ положеніемъ и всѣми признаннымъ авторитетомъ въ поэзіи. Болѣе дѣятельные изъ нихъ въ общественномъ смыслѣ, арзамасцы Блудовъ, Тургеневъ, кн. Вяземскій исполняли его порученія, хлопотали въ Петербургѣ за его друзей и знакомыхъ, доставляли ему французскія книги, запрещенныя и незапрещенныя, эстампы, бюсты и т. п., сообщали ему о дѣлахъ политическихъ, о перемѣнахъ и сплетняхъ при дворѣ, о безуміи цензуры, анекдотическую исторію современной литературы, гдѣ на первомъ мѣстѣ стояли насмѣшливыя сообщенія о поэтѣ графѣ Хвостовѣ. Дмитріевъ интересовался очень многимъ въ умственномъ и общественномъ мірѣ, но самъ смотрѣлъ на все свысока, хладнокровно и равнодушно. Другіе льстили ему почти въ каждомъ письмѣ. Жуковскій называетъ его своимъ учителемъ въ поэзіи; Батюшковъ благодаритъ его за наставленія; Пушкинъ спѣшитъ отправить къ

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 799.

²⁾ Взглядъ, стр. 239.

нему каждое новое свое произведение при учетивомъ писъмѣ; Гоголь даетъ ему титулъ „патріарха поэзіи“. Въ чемъ же заключалась тайна этого вліянія Дмитріева на молодыхъ литераторовъ, тайна того уваженія, которымъ они постоянно окружали этого старика Екатерининскаго времени? Кажется, что смыслъ этого явленія, которое не повторялось потомъ въ нашей литературной жизни, надобно искать въ преданіяхъ стараго времени, въ томъ меценатствѣ, которое развилось у насъ еще въ прошломъ вѣкѣ. Но кромѣ высокаго общественнаго положенія, занимаемаго Дмитріевымъ, къ нему влекъ его молодыхъ современниковъ его тонкій, развитый умъ и въ особенности преданія, рассказы о старомъ времени. Замѣтить надобно, что Дмитріева окружало преимущественно то поколѣніе писателей, которое принадлежало къ одному съ нимъ кругу, которое было связано съ нимъ семейными, общественными воспоминаніями. Здѣсь въ особенности связующимъ звеномъ былъ Карамзинъ. Въ этомъ кружкѣ господствовало особенное благоговѣніе къ его другу, представителю Екатерининской старины. За шесть лѣтъ до смерти своей, Дмитріевъ привѣтствовалъ нѣсколькими стихами Жуковскаго, приславшаго ему свое стихотвореніе на штурмъ и взятіе Варшавы Паскевичемъ, гдѣ вспоминалъ о томъ, что и онъ когда-то воспѣвалъ такое же событіе при Суворовѣ, но что теперь прошла его пора.

„Нѣтъ, не прошла, пѣвецъ нашъ вѣчно-юный,

отвѣчалъ ему Жуковскій:

Твоя пора: твой геній бодръ и свѣжъ;
Ты пробудилъ давно молчавшія струны.
И звуки насъ плѣнили тѣ жъ.
Нѣтъ, никогда ничтожный прахъ забвенья
Твоимъ струнамъ коснуться не дерзнетъ:
Невидимо ихъ геній вдохновенья,
Всегда крылатый, стережетъ.
Державина струнамъ родныя, пѣли!
Онъ дѣла тѣхъ чудныхъ прошлыхъ лѣтъ,
Когда вездѣ мы битвами гремѣли,
И битвамъ тѣмъ дивился свѣтъ“.

Съ нашей точки зрѣнія это была лесть Дмитріеву. И какое жалкое представленіе о содержаніи поэзіи: битвы и битвы! Но Жуковскій былъ искрененъ, писалъ отъ сердца.

„Мой вечеръ тихъ и ясенъ“, съ самодовольствомъ говорилъ о себѣ Дмитріевъ. Но самодовольство это было эпикурейское. Онъ составилъ себѣ такую умственную обстановку, которою былъ вполне доволенъ. „Высокій ростомъ, худощавый, нѣсколько косой, говоритъ о немъ знавшій его Полевой, въ небольшомъ парикѣ, онъ ходилъ

тихо, говорилъ медленно, протяжно, умѣлъ говорить по своему умно, остро, но не краснорѣчиво, любилъ рассказывать, но не умѣлъ поддерживать разговора въ обществѣ. Всегда хладнокровный, всегда насторожѣ за своимъ умомъ, онъ являлся ласковымъ и снисходительнымъ по тонкому расчету, когда видѣлъ, что уступкою больше выиграетъ. До самой кончины любилъ онъ общество и являлся вездѣ. Англійскій клубъ въ Москвѣ былъ постояннымъ мѣстомъ его ежедневныхъ посѣщеній. Къ нему, въ уединенный домъ его, гдѣ жилъ онъ одинокимъ, часто собирались литераторы, люди его уважавшіе, наиболѣе по вечерамъ, и Дмитріевъ любилъ ихъ вечернія, уединенныя бесѣды, гдѣ главную роль играли его рассказы¹⁾. Замѣтить надобно, что въ кругу этомъ не было писателей такъ называемаго *плебейскаго* происхожденія. Дмитріевъ и друзья его не любили ихъ, а потому оставались чужды новому движенію литературныхъ идей, которое вызвано было реакціею въ послѣдніе годы царствованія Александра и потомъ послѣ 1825 года. „Либералисты“, какъ называлъ Карамзинъ передовыхъ людей того времени, были чужды кругу Дмитріева; онъ не любилъ ихъ. Ясно, что Дмитріевъ и не понималъ и не могъ сочувствовать новому общественному движенію. Его талантъ не умѣлъ служить общественному дѣлу; онъ отличался чисто внѣшними свойствами и далѣе отдѣлки стиха не шелъ. Только онъ былъ настолько уменъ, что, не сочувствуя новому, не желалъ ему противодѣйствовать и ставилъ выше всего свой изящный покой.

ЛЕКЦІЯ XIX.

Державинъ. Его отношенія къ царствованію Александра.

Другой поэтъ Екатерининскаго времени, спеціальнѣйшій пѣвецъ императрицы, ея любимецъ и военной славы нашего XVIII вѣка, — Державинъ, въ литературѣ окруженный почетомъ и всеобщимъ поклоненіемъ, еще менѣе, чѣмъ Дмитріевъ, могъ благосклонно смотрѣть на явленія новаго времени и на тѣ попытки правительства, которыми оно думало внести въ русскую жизнь и лучшее устройство ея, и уваженіе къ закону. Привыкнувъ къ старымъ порядкамъ и къ геніальному произволу своей любимой государыни, Державинъ, конечно, не могъ любить новыя формы и новыя отношенія, въ которыя не укладывалась его своенравная, неуклюжая натура. При томъ, давно уже поэзія не была для него дѣломъ души и сердечнаго чувства. Рядомъ съ дѣйствительнымъ выраженіемъ послѣдняго, напр., на

¹⁾ Полевой. Очерки Русск. Лит., 1839, т. II, стр. 458.

смерть Суворова, на смерть В. Зубова, шли у него холодныя риторическія оды, въ которыхъ прославлялось любимое дѣтище императора Павла—малѣйскій орденъ и многое другое, чему онъ никакъ не могъ искренно сочувствовать. Въ царствованіе Павла, Державинъ, давно уже ставившій честолюбіе выше поэзіи, для котораго и она сама служила только средствомъ, былъ сенаторомъ, но слава его честности, непоколебимости и правдивости доставила ему множество частныхъ дѣлъ, гдѣ онъ являлся третейскимъ судьей. Однако въ царствѣ произвола, гдѣ законъ склоняется въ пользу того или другаго сильнаго лица, жить надобно умѣючи, и Державинъ въ своихъ „Запискахъ“ прямо говоритъ, что ему приходилось балансиловать то въ ту, то въ другую сторону или сказываться больнымъ, чтобъ не сказать своего настоящаго мнѣнія¹⁾. Объ этомъ времени онъ высказывается такимъ образомъ: „Въ правленіи, гдѣ обладаютъ любимцы, со всею честностію и правотою души и при всемъ желаніи послѣдовать законамъ, не всегда можно устоять въ правдѣ, или по крайней мѣрѣ поднять на себя невинно людей сильныхъ, что нерѣдко съ Державинимъ и случалось“²⁾. Павелъ впрочемъ благоволилъ къ нему и, незадолго до своей смерти, разсердившись за что-то на тогдашняго государственнаго казначея — Васильева, человека честнаго и вполне знакомаго съ своимъ дѣломъ, назначилъ на его мѣсто Державина. Новый императоръ, тотчасъ по вступленіи своемъ на престолъ, возвратилъ Васильева къ прежнимъ его обязанностямъ, и Державинъ остался только сенаторомъ.

Повидимому, зная безпокойный, неуживчивый характеръ Державина и его образъ мыслей, далеко не соотвѣтствовавшій новому времени, Александръ и его совѣтники не любили поэта. Враговъ у него вообще было довольно. Какъ государственный казначей, Державинъ былъ членомъ государственнаго совѣта; теперь онъ не имѣлъ права являться въ его засѣданія, и это оскорбляло его самолюбіе, раздражало его. Не малую долю въ его отзывавъ о новомъ правленіи и новыхъ правителяхъ играло это чувство оскорбленнаго самолюбія: Державинъ былъ лично недоволенъ. Новые члены совѣта, по его словамъ, довели отечество до гибели въ 1812 году, и Державинъ говоритъ, что онъ этимъ „утѣшился и смѣялся тому“³⁾. Такъ наивно высказалось въ немъ самолюбивое чувство.

Мы говорили уже какою одою, надѣлавшею шума и возбудившею множество толковъ въ обществѣ, привѣтствовалъ Державинъ воца-

1) Соч. Изд. Ак. Н. т. VI, с. 733—9.

2) Ibid., с. 741.

3) Ibid., с. 758.

реніе Александра. Его коронованіе было также воспѣто имъ. Вообще первый годъ этого царствованія сильно возбудилъ лиру Державина... Александръ нѣсколько разъ является въ его одахъ то олицетвореніемъ кротости, то въ образѣ солнца. Державинъ увлекался тогда образами классическаго міра и разъ изобразилъ даже Александра и его молодую супругу гуляющими по Невской набережной подъ видомъ Аполлона и Дафны. Но и старыя, привычныя формы оды къ Фелицѣ употреблялъ Державинъ, чтобы прославить молодого царя. Такова его ода „къ царевичу Хлору“¹⁾, которая есть не что иное, какъ подражаніе прославившей его одѣ къ Фелицѣ; здѣсь, также въ шутливомъ тонѣ, Державинъ говоритъ лесть и воспѣваетъ нравственныя достоинства Александра. Но старыя шутки казались теперь устарѣлыми, а лесть слишкомъ приторною. Въ началѣ царствованія Александра еще не умѣли къ нему примѣниться, лесть не нашла еще для себя настоящей, пригодной къ обстрательствамъ формы; но прошло немного лѣтъ, и Аракчеевъ, съ своимъ девизомъ: „преданъ безъ лести“; умѣлъ найти настоящее для нея выраженіе. Личное чувство участвовало во всѣхъ взглядахъ и сужденіяхъ Державина. Первый случай, когда онъ столкнулся въ мнѣніяхъ съ новымъ правительствомъ, былъ вопросъ о реформѣ или о новой организаціи Сената, не соотвѣтствующаго уже теперь времени. Реформа эта была указана новыми молодыми совѣтниками Александра; желаніе преобразованій не правилось Державину; онъ говоритъ, что эти реформы „произвели, какъ въ послѣдствіи увидимъ, много шуму и замѣшательствъ въ общихъ дѣлахъ Имперіи, которыхъ привести въ прежній порядокъ едва ли безъ сильнаго переворота возможно будетъ“²⁾. Онъ самъ написалъ организацію Сената, въ которой разумѣется старался еще усилить прежнее значеніе этого учрежденія. Но молодые совѣтники государя смотрѣли иначе на это дѣло, и планъ Державина былъ неодобренъ государемъ. Это еще болѣе увлекло старика въ оппозицію. Но, зная честность Державина и желая употребить ее въ дѣло, Александръ поручилъ ему въ концѣ 1801 года, какъ сенатору, слѣдствіе надъ важными злоупотребленіями калужскаго губернатора Лопухина. Слѣдствіе это, какъ и всякое прежнее административное участіе въ дѣлахъ Державина, возбудило на него жалобы и создало новыхъ недовольныхъ, новыхъ враговъ. На него донесли, что онъ при допросахъ въ Калугѣ употреблялъ пытку. Конечно, это была неправда, но пылкость и строптивость нрава Державина давали поводъ къ подобнымъ обвиненіямъ. Александръ принялъ его по возвращеніи изъ

¹⁾ Ibid., II, с. 405.

²⁾ Ibid., IV, с. 161.

Калуги сурово, но скоро убѣдился въ клеветѣ, исходившей отъ обвиненнаго губернатора. Это видно изъ того, что въ сентябрѣ 1802 года, при образованіи въ первый разъ министерствъ, Державинъ былъ назначенъ министромъ юстиціи. Такимъ образомъ, честолюбіе его было вполне удовлетворено; онъ сдѣлался членомъ высшаго управленія страной, но вмѣстѣ и товарищемъ людей, которымъ былъ совершенно чуждъ и по воспитанію, и по убѣжденіямъ, и по взгляду на дѣла государственныя. Вѣроятно, назначеніе Державина было уступкою старой партіи, какъ и назначеніе Завадовскаго. Онъ былъ противъ даже самаго учрежденія министерствъ. Новыхъ совѣтниковъ государя, тѣхъ людей, которые тогда вмѣстѣ съ нимъ задумывали и приводили въ исполненіе реформы, Державинъ называлъ „людьми, ни государства, ни дѣлъ гражданскихъ основательно не знающими“ ¹⁾. Какъ, будучи совершенно противъ учрежденія министерствъ, Державинъ все-таки принялъ на себя должность министра юстиціи, — это надобно объяснять его честолюбіемъ, условіями самодержавнаго государства и нравами того времени. Но при самомъ началѣ своего министерства, Державинъ былъ глубоко недоволенъ всѣмъ тѣмъ, что вокругъ него дѣлалось. Онъ замѣчаетъ, что путаница увеличивается въ государствѣ съ каждымъ днемъ, что законы приходятъ въ неуваженіе, что правительство ослабѣваетъ, что надъ всѣмъ возвышается прихотливая воля министра, что съ министровъ „спала всякая обузданность, а потому и забота. Стали дѣлать, что кому захотѣлось“ ²⁾ и „всѣ дѣла потянули ко вреду государства, а не къ пользѣ“. Ясно, что Державинъ всталъ въ рѣшительную оппозицію къ новымъ учрежденіямъ и къ новому порядку вещей и долженъ былъ не поладить со всѣми своими товарищами—министрами. Онъ самъ говоритъ, что всѣ они пошли противъ него, „стараясь его разными навітами очернить въ мысляхъ Императора“. „Словомъ, рассказываетъ онъ о себѣ, по таковымъ съ одной стороны министровъ безпорядкамъ, а съ другой, то есть Державина, безпрестаннымъ возраженіямъ и непріятнымъ государю докладамъ, и сталъ онъ скоро приходить часъ отъ часу у Императора въ остуду, а у министровъ во вражду“ ³⁾. Одно дѣло въ Сенатѣ увеличило еще болѣе это недовольное положеніе Державина весною 1803 года. Въ концѣ предшествовавшаго года военный министръ Вязмитиновъ представилъ въ Сенатъ Высочайшій указъ, которымъ подтверждались прежніе указы Петра III и Екатерины II, чтобы дворянъ, не получившихъ въ воен-

¹⁾ Ibid., VI, с. 777.

²⁾ Ibid., VI, с. 780.

³⁾ Ibid., с. 785.

ной службѣ офицерскаго чина, не увольнять въ отставку ранѣе 12-ти лѣтъ. Указъ этотъ, по замѣчанію Державина, состоялся потому, что многіе изъ дворянъ, а особенно поляки, не хотятъ служить долго и, едва только поступивъ въ военную службу, тотчасъ выходятъ въ отставку. Указъ былъ принятъ Сенатомъ и уже отосланъ въ Военную Коллегію ¹⁾ для исполненія, какъ вдругъ сенаторъ, попечитель Харьковскаго учебнаго округа, графъ С. Потоцкій, подалъ противъ него мнѣніе. Державинъ, какъ оберъ-прокуроръ Сената, нашелъ мнѣніе Потоцкаго незаконнымъ, потому что срокъ прошелъ для него, и кромѣ того наполненнымъ „непристойными выраженіями“ противъ государя, „который какъ бы въ какомъ народномъ правленіи сравненъ со всѣми гражданами“. Онъ не велѣлъ записывать мнѣніе Потоцкаго и доложилъ о немъ особо государю. Но „государь, какъ видно, зналъ о семъ мнѣніи, говоритъ Державинъ, и едва ли не съ позволенія его оно написано, ибо тогда всѣ окружающіе его были набиты конституціоннымъ французскимъ и польскимъ духомъ“ ²⁾. По волѣ государя мнѣніе Потоцкаго было разсмотрѣно въ Сенатѣ. На сторонѣ Державина оказалось только двое сенаторовъ; всѣ остальные держались мнѣнія Потоцкаго. Державинъ пришелъ въ ужасъ и даже захворалъ отъ мысли, „что Россійскій сенатъ не только позволилъ унижать себя пришельцу и врагу отечества (Потоцкому), но еще, защищая его, идетъ противъ своего государя и тѣмъ самымъ владетъ начальное основаніе несчастію государства, допуская засѣвать сѣмя мятежей или революціи, подобной французской. По этому поводу было еще нѣсколько засѣданій сената; Державинъ всѣми законными средствами противился утвержденію мнѣнія Потоцкаго. Въ одно изъ самыхъ бурныхъ засѣданій Сената, Державинъ, „чтобы придать важность дѣлу, коимъ такъ сказаться боролось монархическое правленіе съ аристократическимъ“, окружилъ себя атрибутами генераль-прокурорской власти, которыя были еще въ употребленіи при Петрѣ В. Онъ поставилъ на свой столъ песочные часы и молотокъ, который держалъ въ рукахъ Петръ В. Во время самаго сильнаго шума Державинъ ударилъ имъ по столу, и всѣмъ „показалось, говоритъ онъ, что Петръ В. всталъ изъ гроба“ ³⁾. На него жаловались государю, что онъ превысилъ свою власть. Александръ оправдалъ его, но мнѣніе Потоцкаго восторжествовало. Замѣчательно, что эти споры въ Сенатѣ проникли и въ общество того

¹⁾ Въ военномъ министерствѣ, такъ же, какъ въ морскомъ и иностранныхъ дѣлѣ, еще существовалъ въ это время коллегіальный порядокъ управленія.

²⁾ Ibid., с. 787.

³⁾ Ibid., стр. 794.

времени, т.-е. общество дворянское, и тотъ образъ мыслей, который оно заявило, показываетъ, на сколько оно было образовано и какъ понимало вопросы государственные. Общество поняло, что Потоцкій защищаетъ права дворянъ, и его мнѣніе возбудило особенный восторгъ въ Москвѣ, этомъ гнѣздѣ стараго, лѣниваго и разгульнаго дворянства, гнѣздѣ всѣхъ, стоявшихъ въ оппозиціи съ правительствомъ и реформами. Державинъ рассказываетъ, что въ многочисленныхъ собраніяхъ въ Москвѣ многіе мнѣніе Потоцкаго клали себѣ на голову и пили за его здоровье, почитая его покровителемъ русскаго дворянства и защитникомъ отъ угнетенія, что „подлѣйшія души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодѣевъ, выставить на перекресткахъ, замаравъ ихъ дермомъ для поруганія, не проникая въ то, что попущеніемъ молодого дворянства въ праздность, нѣгу и своеволие безъ службы, подкапывались враги отечества подъ главную защиту государства“ ¹⁾. Какой-то неизвѣстный поэтъ написалъ даже оду графу Потоцкому, въ которой выставляетъ его величайшимъ гражданиномъ въ мірѣ, другомъ истины и поборникомъ дворянскихъ правъ ²⁾. Она не была напечатана, но разошлась во многихъ спискахъ и хранилась въ дворянскихъ семействахъ.

Съ этихъ поръ Державинъ сталъ примѣчать къ себѣ со стороны государя холодность и неуваженіе. Это было понятно особенно потому, что онъ не стѣснялся въ своихъ рѣчахъ и осуждалъ все новое, тогда задумываемое. Такъ, напр., устройство министерства внутреннихъ дѣлъ, составленное Кочубеемъ и Сперанскимъ, онъ называлъ „несообразицею съ настоящимъ дѣломъ“. Сперанскаго, челоуѣка честнаго, какъ это доказало послѣдующее, Державинъ обвинялъ въ корыстолюбіи ³⁾. Но въ особенности разъединилъ Державина съ государемъ крестьянскій вопросъ. Мы уже говорили, что Александръ, при вступленіи на престолъ, мечталъ объ освобожденіи крѣпостныхъ, тяжелое положеніе которыхъ было ему извѣстно, конечно, болѣе изъ филантропическаго чувства, чѣмъ сообразно съ цѣлями государственными. Это „была любимая мысль Государя, внушенная при воспитаніи его нѣкоторымъ его учителемъ Лагарпомъ“—говоритъ Державинъ, ярый противникъ освобожденія. Въ стихотвореніи „Голубка“, написанномъ въ 1801 г. ⁴⁾, онъ вмѣстѣ съ тонкою лестью Александру высказываетъ любимую мысль защитниковъ крѣпостнаго состоянія, что дарованная воля будетъ хуже рабства.

¹⁾ Ibid., с. 790.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г., с. 1380—1383.

³⁾ Ibid., VI, с. 805.

⁴⁾ Ibid., II, с. 391.

Какъ извѣстно, правительство остановилось предъ матеріальными затрудненіями практическаго рѣшенія этого вопроса. Только указъ о „вольныхъ хлѣбопашцахъ“ остался въ законодательствѣ памятникомъ челоуѣколюбивой мечты Александра. Проектъ этого указа составленъ былъ графомъ Н. П. Румянцевымъ, который на основаніи его и превратилъ своихъ крестьянъ въ вольныхъ землепашцевъ. Державинъ говоритъ, что Румянцевъ сдѣлалъ это, „чтобы подольститься къ государю, стаскинувшись напередъ, смѣю сказать, съ якобинскою шайкою — Чарторижскимъ, Новосильцевымъ и прочими“ ¹⁾. По поводу этого указа, который нравился Александру, Державинъ имѣлъ съ нимъ горячее объясненіе, въ которомъ, разумѣется, оспаривалъ основанія этого указа и доказывалъ вредъ его для государства. Но „какъ государь учителемъ своимъ, французомъ Лагарпомъ, упоенъ былъ, говоритъ Державинъ, и прочими его окружавшими ласкателями, сею мыслію, по ихъ мнѣнію, великодушною и благородною, чтобъ освободить отъ рабства народъ, то остался непоколебимымъ въ своемъ предразсудкѣ“ ²⁾. Указъ состоялся, и Александръ сдѣлался еще холоднѣе къ Державину. Въ началѣ октября 1803 года онъ не принялъ его съ обычнымъ докладомъ и, когда чрезъ нѣсколько дней Державинъ добился свиданія и объясненія съ государемъ, онъ ему сказалъ: „ты очень ревностно служишь“ ³⁾; и Державинъ вышелъ въ отставку съ полнымъ пенсіономъ. Такъ кончилась служебная дѣятельность стараго поэта, начатая еще при Екатеринѣ. Ни съ однимъ изъ трехъ государей однакожь, при которыхъ пришлось служить Державину и быть съ ними въ близкихъ отношеніяхъ, не умѣлъ онъ поладить; всѣ они оставались недовольны имъ. Въ разное время, съ разныхъ точекъ, смотрѣли на эту служебную дѣятельность Державина. Въ двадцатыхъ годахъ, когда эта дѣятельность была извѣстна только по преданію и изъ „объясненій“ къ его стихотвореніямъ, продиктованныхъ самимъ поэтомъ племянницѣ своей Львовой, для передовыхъ людей того поколѣнія, напр., для Рылѣева, въ его думѣ „Державинъ“, поэтъ являлся идеаломъ гражданскаго мужества, гражданской чести, борцемъ за истину, за поправленія права закона. Въ 1859 году, когда въ первый разъ появились въ „Русской Бесѣдѣ“ записки Державина, взглядъ на него былъ уже другой. При господствѣ въ тогдашней литературѣ обличительнаго направленія, записки Державина „по своей безрасчетной откровенности, говоритъ новый издатель ихъ, Гротъ ⁴⁾, подали про-

¹⁾ Ibid., VI, стр. 812.

²⁾ Ibid., стр. 817.

³⁾ Ibid., стр. 821.

⁴⁾ Соч. Держ. II, с. 410.

тивъ автора оружіе критикамъ, которые не затруднились къ дѣятелю другой эпохи примѣнить новыя, хотя еще не совсѣмъ ясно сознанныя, идеалы гражданской доблести и либерализма“. Какъ извѣстно, въ тогдашнемъ увлеченіи Державину жестоко досталось. Какъ государственный и просто какъ честный человѣкъ, онъ былъ совершенно развѣнчанъ. Для насъ, при болѣе спокойномъ разсужденіи, не можетъ быть такихъ увлеченій. Державинъ былъ, конечно, честный человѣкъ, но его пылкій, чрезвычайно своенравный и строптивый характеръ приносилъ вредъ и дѣлу и ему самому. Государственнымъ человѣкомъ онъ не могъ быть, потому что для этого у него не было ни широты идей, ни образованія; онъ не могъ смотрѣть впередъ; все хорошее для него было позади, въ прошедшемъ, и идти за временемъ, понимать его новыя потребности и сочувствовать имъ Державинъ былъ не въ состояніи. Время его лучшей поэтической дѣятельности прошло безвозвратно; обществу, жизни русской, онъ никакой уже пользы не могъ принести своимъ ослабѣвшимъ талантомъ, особенно при нескрываемой имъ ненависти къ новымъ людямъ и къ новой жизни. Его плодovitое стихотворство отъ отставки до смерти было только его личною забавою.

Въ письмахъ своихъ къ старому другу и родственнику, Капнисту, Державинъ высказываетъ свою радость, что освободился отъ тяготившаго его бремени дѣлъ и что теперь можетъ съ полною свободою отдаться любимому занятію своему — поэзіи. Намъ позволительно однако не вполне вѣрить искренности его словъ. Въ душѣ его осталась горечь отъ неудовлетвореннаго честолюбія, увеличиваемая еще болѣе глубокимъ недовольствомъ новыми людьми, имѣвшими власть, и тѣми преобразованіями, которыя совершались тогда въ государствѣ, больше впрочемъ людьми, чѣмъ преобразованіями, а это и доказываетъ присутствіе въ недовольствѣ Державина личнаго чувства. Такъ въ баснѣ „Жмурки“, написанной въ 1805 году¹⁾, онъ желалъ представить Александра и его триумвиратъ; въ баснѣ „Выборъ министра“²⁾ подъ видомъ паука является Сперанскій, а подъ муравьемъ — Новосильцевъ.

Однимъ словомъ, Державинъ, какъ и Дмитріевъ, не могъ сочувствовать ничему новому, но онъ не могъ и противодѣйствовать во первыхъ потому, что онъ не понималъ этого новаго, а потомъ еще и потому, что онъ „бѣдное свое ризмачество“ — по выраженію Ломоносова — ставилъ выше всего въ жизни. Правда, въ остальные годы своей жизни, отъ отставки и до смерти, Державинъ писалъ очень много, но съ каждымъ годомъ талантъ его и воображеніе слабѣли.

¹⁾ Соч. Держ., III, стр. 354.

²⁾ Ibid., стр. 359.

Это уже была жалкая тѣнь прежняго, и очень часто стихи его вызвали улыбку сожалѣнія, если не насмѣшку,—ясное доказательство того, что поэтический гений не старѣется только тогда, когда онъ получаетъ содержаніе изъ новой жизни, его окружающей, и обновляется ея стремленіями. Державину мѣшало въ этомъ случаѣ недостаткомъ образованія; его духовные интересы были до крайности узки и мелки, всѣ они состояли въ жалкой погонѣ за приемами. Что писалъ Державинъ въ послѣдніе годы своей жизни? Прямо отъ управленія министерствомъ юстиціи Державинъ садится за сочиненіе своихъ „Анакреонтическихъ пѣсень“ (1804 г.); не зная древнихъ языковъ и знакомясь съ древними поэтами или по французскимъ переводамъ или по русскимъ подстрочнымъ, которые дѣлали для него друзья его, Державинъ переводить или скорѣе подражаетъ Анакреону, представляя картинки весьма скоромнаго свойства, неприличныя старику, подражаетъ Горацію, Пиндару, но сущность древней поэзіи и ея изящные образы совершенно исчезаютъ въ этихъ передѣлкахъ. На борьбу съ Наполеономъ и по случаю патріотическаго настроенія русскаго общества въ это тяжелое для Россіи время Державинъ написалъ много стиховъ, но за исключеніемъ очень немногихъ одъ, остальные не производили никакого впечатлѣнія на тогдашнее общество: нашлись новые звуки, народились новые поэты, которые сумѣли то же патріотическое содержаніе выразить въ иныхъ, болѣе современныхъ образахъ. Религіозныя стихотворенія Державинъ писалъ въ это время въ большомъ количествѣ, но всѣ они въ высшей степени холодны и безжизненны; это реторика, вялая, скучная, только съ приемами.

Въ отставкѣ Державинъ получилъ особенную страсть къ драматической поэзіи, которая не покидала его до послѣднихъ дней жизни. Нѣсколько трагедій, конченныхъ и неоконченныхъ, нѣсколько комедій и оперъ, по большей части оригинальныхъ, составили цѣлый толстый четвертый томъ академическаго изданія. Многія изъ нихъ были напечатаны только въ этомъ изданіи, но Державинъ при жизни читалъ ихъ своимъ пріятелямъ, заставлялъ ихъ читать себѣ и повидимому оставался доволенъ новымъ родомъ поэзіи, съ которымъ познакомился только подъ старость. Современная критика изъ уваженія къ старой славѣ Державина или молчала, или отзывалась о его драматической прихоти весьма снисходительно, но прежніе друзья его, напр., Дмитріевъ, качали головой и смѣялись надъ послѣдними произведеніями Державина. „Вы удивитесь и вѣрно скажете про себя, писалъ онъ въ Москву къ Дмитріеву, что я подъ старость рехнулся съ ума, пустившись по неизвѣстной мнѣ понынѣ дорогѣ въ храмъ Мельпомены; но что дѣлать отъ бездѣлья? Оды уже наскучили;

и такъ я хотѣлъ испытать русскую пословицу: смѣлымъ Богъ владеетъ! Пусть господа ваши критики цѣнятъ, какъ хотятъ, но дѣло уже сдѣлано“ ¹⁾. Говорятъ, впрочемъ, что современные лавры Озерова, такъ легко имъ прибрѣтенные тогда, не давали покоя Державину и вызвали его на драматическое поприще. Это была манія старца. Война съ Наполеономъ вызвала Державина и на практическое участіе въ дѣлахъ того времени. Въ 1806 и 1807 годахъ онъ представлялъ двѣ записки о томъ, какъ укротить, по его словамъ, наглость французовъ. На нихъ не обратили вниманія. „Меня общали призвать и выслушать мой планъ, пишетъ онъ Попову, но послѣ пренебрегли и презрѣли, какъ стихотворческую горячую голову; но теперь, къ несчастію, все, что я говорилъ, сбывается“ ²⁾. Въ 1812 году онъ также писалъ о мѣрахъ къ оборонѣ, но правительству было тогда не до него. О „Бесѣдѣ любителей русскаго слова“, литературномъ обществѣ старыхъ писателей, въ образованіи котораго принимали самое дѣятельное участіе Державинъ и Шишковъ, мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ.

Фигура Державина въ послѣдніе годы его жизни, его интересы и дѣятельность очень живо являются въ современныхъ воспоминаніяхъ Жихарева, Аксакова и В. Панаева. Это были молодые писатели, только что вступавшіе на литературное поприще, никому еще неизвѣстные, а потому видѣвшіе въ Державинѣ и знаменитаго „барда“ временъ Екатерины и недавняго министра. Они склонялись предъ нимъ съ глубокимъ раболѣпствомъ, какъ было прилично молодымъ людямъ того времени. Панаевъ передаетъ, съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ онъ въ первый разъ увидѣлъ маститаго старца и бросился цѣловать его руку. Жихаревъ и Аксаковъ славились тогда, какъ чтецы или декламаторы. Державинъ заставлялъ ихъ безпрестанно читать въ слухъ свои произведенія. Общество, собиравшееся къ нему, состояло все изъ чиновныхъ старцевъ, болѣе или менѣе его сверстниковъ, членовъ Бесѣды. Всѣ интересы этого общества вертѣлись около стиховъ и вдобавокъ плохихъ. Къ Карамзину, къ московскому литературному кругу отношеніе было враждебное.

Державинъ доживалъ, такимъ образомъ, свой вѣкъ, какъ обломокъ старины, чуждый новой жизни и занятый совершенно бесполезною и не имѣющею смысла дѣятельностію. Между тѣмъ политическія обстоятельства времени должны были измѣнить положеніе дѣлъ въ Россіи, характеръ общественнаго движенія и вызвать новыя литературныя явленія и новыя имена.

¹⁾ Ibid., VI, с. 197.

²⁾ Ibid., VI, с. 234.

ЛЕКЦІЯ XX.

Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ.—Первая война съ Наполеономъ.—Аустерлицкое пораженіе.—Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ.

Только пять лѣтъ продолжалось стремленіе Александра къ реформамъ и преобразованіямъ и желаніе переустроить свое царство на новыхъ лучшихъ началахъ. Какъ ни слабы были эти желанія, какъ ни незначительны были результаты задумываемыхъ реформъ, вслѣдствіе неразвитости и апатіи общества, все же эти первые пять лѣтъ царствованія Александра были временемъ такихъ прочныхъ преобразованій, какъ, напр., устройство на широкихъ началахъ народнаго просвѣщенія и такого оживленія и возбужденія умовъ, замѣтнаго даже и въ бѣдной литературѣ того времени, которыя оставили глубокіе слѣды въ жизни общественной и не вдругъ могли исчезнуть въ сознаніи. Люди, которые принимали дѣятельное участіе въ духовной жизни и въ общественномъ оживленіи этихъ пяти лѣтъ, всегда съ глубокимъ чувствомъ вспоминали ихъ, какъ свѣтлую пору молодости; но даже и тѣ, которымъ были не по душѣ начала, появившіяся тогда въ государственной и общественной жизни, какъ, напр., Вигель, называютъ это время блаженнымъ и свѣтлымъ. Неожиданно для многихъ, конечно, не дальновидныхъ, но совершенно естественно, по исторической необходимости, и вниманіе правительства и движеніе общественнаго мнѣнія, выразившагося въ литературѣ, направились въ другую сторону; реформы и благія начинанія были сначала отложены на время, а потомъ и позабыты. Настала пора внѣшнихъ войнъ нашихъ съ Наполеоновскою Франціею, продолжавшихся десять лѣтъ и имѣвшихъ важное значеніе въ исторіи нашего внутренняго развитія. Продолжительное напряженіе всѣхъ силъ страны, то позоръ пораженія, то слава побѣдъ, все это кипучее время внѣшней дѣятельности, когда очень часто будущее страны зависѣло отъ прихотливыхъ случайностей сраженія,—все это сильно возбуждало и тревожило общественное мнѣніе, которое воспитывалось и крѣпилось въ этихъ волненіяхъ. Указать на эти колебанія общественнаго мнѣнія, на его отношеніе къ великимъ тяжелымъ событіямъ, необходимо, ибо безъ этого мы не поймемъ ни смысла литературныхъ явленій, какъ выраженій этого общественнаго мнѣнія, ни ихъ направленія, ни силы и значенія ихъ въ отношеніи общей жизни Россіи.

Французское вліяніе, французскія формы жизни и мысли, моды и литература Франціи господствовали въ нашемъ обществѣ съ по-

ловины прошлаго вѣка, чему въ особенности безспорно благопріятствовало то, что воспитаніе высшаго и средняго дворянства все находилось въ рукахъ французскихъ наставниковъ. Но мы имѣли дѣло съ старой Франціей, съ Франціей легитимной монархіи Бурбоновъ, бѣлаго знамени, лилій, аббатовъ, изящныхъ трагиковъ, свободныхъ мыслителей XVIII вѣка, которые нигдѣ не высказывали, какъ думаютъ они примѣнить на практикѣ, къ жизни человѣчества, свои широкія гуманныя идеи, и веселыхъ насмѣшливыхъ поэтовъ, воспитавшихъ легкіе нравы и легкую любовь. Отъ знакомства съ новыми идеями и формами, возникшими на развалинахъ старой Франціи послѣ революціоннаго переворота, въ которомъ погибло все прошедшее этой страны, насъ оберегали правительственныя распоряженія Екатерины и Павла, понимавшихъ очень хорошо всю радикальную противоположность новой Франціи съ коренными условіями ихъ власти. Это ревнивое оберегательство правительства не всегда достигало цѣли и не могло продолжаться долго; нельзя запереть идею и не давать ей ходу, ея природа слишкомъ неуловима и рано или поздно она вырвется наружу. При Александрѣ, какъ мы видѣли, это положеніе вещей измѣнилось. Онъ былъ, конечно, случайно, воспитанъ иначе. Еслибъ Екатерина могла предвидѣть результаты его воспитанія, то, конечно, повела бы его иначе, но дѣло въ томъ, что никогда люди не были такъ мало предусмотрительны, и никто въ Европѣ не предчувствовалъ тогда такой близости грозы и такихъ ужасающихъ формъ переворота. Александръ сдѣлался сыномъ вѣка противъ его воли, но все, что было въ немъ хорошаго, всѣ его искреннія желанія блага странѣ, всѣ его стремленія и надежды, все это своею жизнію обязано было началамъ французскаго переворота, разумѣется, безъ его обстановки. Онъ, дѣйствительно, походилъ на школьника 1789 года, съ идеалами братства, равенства и свободы въ сердцѣ. Молодые совѣтники его, передовые люди по своему образованію, были воспитаны и жили въ томъ же кругѣ идей, какъ и онъ; результаты, добытые переворотомъ Франціи, были для нихъ дороги, они хотѣли положить ихъ въ основаніе задумываемыхъ ими вмѣстѣ съ императоромъ преобразованій страны своей. Но людей, которые бы раздѣляли ихъ убѣжденія, и въ обществѣ и въ литературѣ было чрезвычайно мало. Послѣдняя была, какъ мы видѣли, въ высшей степени бѣдна, а общество жило поклоненіемъ формамъ старой Франціи и не понимало совершившагося въ ней переворота, пока тяжелыми потерями не убѣдилось въ томъ, что передъ нимъ другая Франція, враждебная старой.

Когда Карамзинъ въ своемъ „Вѣстникѣ Европы“ привѣтствовалъ перваго консула, поразившаго „гидру“ революціи, начинавшаго воз-

становлять католичество и нѣкоторыя старыя формы, и онъ и большинство современниковъ не думали, что въ рукахъ этого консула будущее Европы, что онъ измѣнитъ ея исторію своими безпощадными войнами. Очень многіе мечтали видѣть въ немъ новаго генерала Монка, но никакъ не Кромвеля. Но вотъ на развалинахъ старой Европы постепенно воздвигается зданіе громадной воинственной державы. Европа превращается въ лагерь, точно во время Аттилы. Во власти перваго консула вся Италія, Голландія; онъ управляетъ по произволу сосѣднею съ нами Германіей, въ которой такъ много было родственныхъ связей у нашего двора; честолюбивые виды Бонапарте ширятся, все склоняется передъ его волей, и одна только далекая, сѣверная страна еще избѣгаетъ его вліянія. Ея положеніе бѣситъ перваго консула и недовольство его Россіей высказывается грубыми выходками противъ пословъ ея, которые, впрочемъ, и сами не понимали своего положенія и новой Франціи и ея властителя. Крикъ негодованія поднялся въ Европѣ, когда Бонапарте велѣлъ разстрѣлять во рву Венсенскаго замка одного изъ Бурбоновъ, герцога Ангіеннскаго. Тогда только убѣдились, что изъ перваго консула не выйдетъ Монка, а въ отвѣтъ на проельтія всей Европы, онъ объявляетъ себя императоромъ, и съ тѣхъ поръ *se soldat couronné*, до самаго паденія своего, дѣлается предметомъ ненависти правительства и людей стараго режима, но вмѣстѣ съ тѣмъ и народной партіи. Народное чувство вездѣ видѣло въ немъ врага свободы и независимости, оно окружило его глубокою ненавистью и ею умѣли пользоваться правительства.

Рядомъ съ уроками Лагарпа и филантропическими идеалами, созданными духомъ времени, въ душѣ Александра всегда присутствовало убѣжденіе, что онъ государь самодержавный, что воля его не ограничена ничѣмъ и кромѣ того онъ государь легитимный, Божій помазанникъ. Эти идеи, конечно, развиваются тамъ преимущественно, гдѣ ихъ питаютъ матеріальныя сила и могущество, и нигдѣ онѣ не были такъ сильны, какъ при нашемъ дворѣ. Александръ былъ воспитанъ ими; его мать, вдовствующая императрица Марія Ѳеодоровна, всегда имѣвшая на сына сильное вліяніе, доводила эти идеи до крайности; все старое поколѣніе придворныхъ, эти „орлы Екатерины“, были того же образа мыслей, который еще болѣе укрѣплялся въ высшемъ петербургскомъ свѣтѣ присутствіемъ множества знатныхъ французскихъ эмигрантовъ и ихъ плачевными разсказами о вынесенныхъ ими страданіяхъ, объ ужасахъ революціи, о бѣдствіяхъ и гибели королевской фамиліи, о развратѣ и неистовствахъ Бонапарта. Люди эти, по старому и вѣрному о нихъ выраженію, ничего не забыли и ничему не научились. Ихъ слушали въ нашемъ обществѣ,

дѣлили ихъ любовь къ прошлому и ненависть къ новому порядку вещей во Франціи.

Изъ дипломатическихъ соображеній, увлекшихъ насъ въ тяжелую войну съ Франціей, кажется, самымъ сильнымъ было неудовольствіе нашего двора на тотъ произволъ, съ которымъ Наполеонъ распоряжался мелкими нѣмецкими владѣніями, безпрестанно перетасовывая ихъ, отнимая у одного и давая другому, иногда просто лишая престоловъ ихъ владѣтелей, а всѣ они были близкими и дальними родственниками нашего двора. Участъ ихъ озабочивала Александра. И вотъ онъ становится въ главѣ новой коалиціи противъ Франціи, вызывая и образуя вездѣ въ Европѣ союзы и увѣряя дворы ея, что „самымъ опаснымъ оружіемъ французовъ было распространенное ими убѣжденіе, будто бы они ратуютъ за свободу и благосостояніе народовъ“¹⁾. Въ этомъ убѣжденіи, дѣйствительно, состояла главная причина успѣха Наполеоновскихъ войнъ. Дѣло шло въ этой войнѣ со стороны нашего императора ни больше ни меньше, какъ объ изгнаніи хищника престола законныхъ государей Франціи и о возстановленіи Бурбоновъ. Нужно было остановить могущество Наполеона, пока еще возможна была борьба съ нимъ. Это настроеніе господствовало впрочемъ не при одномъ русскомъ дворѣ, и Австрія и Пруссія желали того же въ лицѣ своихъ дворовъ, но ихъ силы были слабѣе и у нихъ недоставало Александрова рыцарства.

Всякая война, въ которой напрягаются силы страны, могущественно возбуждаетъ умъ народа и общественное мнѣніе: вѣдь тутъ страна жертвуетъ лучшимъ своимъ достояніемъ, и самое существованіе ея ставится на карту. Самыя удачныя, полезныя по результатамъ своимъ войны, бывають тѣ, которые ведутся сознательно, которыхъ цѣль и средства понятны и извѣстны народу. Солдатамъ Наполеоновскихъ армій, съ которыми пришлось имѣть дѣло нашему народу, бюллетени ихъ императора и приказы постоянно твердили, что они сражаются за великое дѣло, что они призваны для того, чтобъ разнести по свѣту свободныя идеи французской революціи, чтобъ освободить и просвѣтить міръ. А у насъ, до отечественной войны, существовало ли какое нибудь общественное мнѣніе, отнѣсилась ли сколько-нибудь сознательно страна къ напряженію своихъ силъ, знала ли она сколько-нибудь намѣренія и политическіе виды правительства и понимала ли она за что ведется война? На вопросы эти болѣе всего надобно отвѣчать отрицательно. Гдѣ нѣтъ политической жизни, гдѣ представители народа не принимаютъ въ ней никакого участія, тамъ не можетъ быть и знанія своего положенія,

¹⁾ Богдановичъ. Исторія царств. имп. Александра I, т. I, с. 351.

тамъ не можетъ быть и того сознательнаго патріотизма, который производить чудеса, а является патріотизмъ пассивный, патріотизмъ жертвъ и терпѣнія. Публичности дѣйствій правительства не было вовсе; гласности, въ томъ даже смыслѣ, какъ она существуетъ теперь, тогда вовсе не существовало; газеты были самаго жалкаго свойства; въ нихъ помѣщались скудныя, отрывочныя извѣстія, не давашія никакого понятія объ истинѣ, онѣ не слѣдили за событіями послѣдовательно, не объясняли причинъ ихъ и хода. Страна узнавала о потрясающихъ событіяхъ только то, что считало нужнымъ сообщить странѣ правительство. Въ этомъ обстоятельствѣ сказывалось и недовѣріе правительства къ своему народу и боязнь. При отъѣздѣ въ первую Наполеоновскую кампанію, Александръ счелъ необходимымъ учредить въ столицѣ какую-то *высшую полицію*, которая должна была наблюдать за состояніемъ умовъ и преслѣдовать всякіе толки, неумѣстные въ тѣхъ обстоятельствахъ ¹⁾). Тогда же была учреждена и внутренняя стража по губерніямъ ²⁾). Всякіе политическіе толки о событіяхъ строго преслѣдовались; приходилось говорить о нихъ на ухо и то только въ интимномъ кругу. Жихаревъ передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ московскій главнокомандующій Беклешовъ призвалъ къ себѣ въ пріемный день нѣсколько молодыхъ дворянъ, политическій разговоръ которыхъ былъ подслушанъ, и, въ присутствіи всѣхъ, грозилъ имъ розгами ³⁾). Тоже самое было и въ Петербургѣ; и тамъ особенный комитетъ общественнаго спокойствія хлопоталъ объ обузданіи политической болтовни, появлявшейся всегда необходимо тамъ, гдѣ нѣтъ правильного выраженія общественнаго мнѣнія. О провинціальныхъ городахъ и говорить нечего; тамъ всякая жизнь спала сномъ непробуднымъ, въ блаженномъ невѣдѣніи всего, что только подымалось хоть на вершокъ надъ мелкими интересами грубой и инстинктивной жизни. И вотъ полки и батальоны русскаго народа шли безмолвно и медленно куда-то далеко, въ неизвѣстную тогда Европу, на кровавыя поля сраженій, откуда немногіе возвратились домой, а большая часть погибла съ полнымъ невѣдѣніемъ, за что. А между тѣмъ поборы, наборы и милиція тяжело дожились на народѣ; бумажныя деньги падали, и все дорожало. Толки и общественное мнѣніе могли выражаться только въ высшихъ совѣтахъ государства и въ высшемъ обществѣ столицъ.

Отправляясь осенью 1805 года вслѣдъ за войскомъ, перешед-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., с. 754.

²⁾ Ibid., с. 762.

³⁾ Записки Жихарева, с. 115.

шимъ границу, Александръ уже не могъ думать о начатыхъ имъ преобразованіяхъ въ государствѣ: впереди его была война съ Наполеономъ, окруженнымъ славою непобѣдимаго полководца, а онъ не зналъ, кому поручить главное начальство русской арміи и рѣшился стать самъ въ главѣ ея. Народъ съ молитвами и благословеніями провожалъ его по петербургскимъ улицамъ, когда онъ отправился въ армію и онъ въ рескриптѣ своемъ къ генералъ-губернатору Вязмитинову высказывалъ свое наслажденіе „честью быть начальникомъ столь почтенной и отличной націи“¹⁾.

Въ Москвѣ, при началѣ войны, въ обществѣ господствовала удивительная довѣренность къ Александру, и начиналась ненависть къ Наполеону, увеличившаяся въ сильнѣйшей степени послѣ нашихъ поражений. Москва называла Александра „ангелъ во плоти“; всѣ сословія ея были увлечены общемою къ нему любовію. Въ московскомъ англійскомъ клубѣ, гдѣ было главное средоточіе общественнаго мнѣнія этой столицы, всѣ были увѣрены въ побѣдѣ, всѣ полагались на Суворовскаго любимца Кутузова, всѣ хорохорились и храбрились, презирая *сухопарыхъ французишекъ* и ихъ геніальнаго вождя, который являлся въ представленіяхъ доморощенныхъ клубныхъ политиковъ чѣмъ-то въ родѣ мелкаго мазурика. „Подавай мнѣ этого мошенника Буонапартія, я его на веревкѣ въ клубъ приведу!“ кричалъ толстый помѣщикъ, отставной прапорщикъ Перхуровъ, и надобно замѣтить, что все общественное мнѣніе Россіи въ то время выражалось такими бессмысленными криками²⁾. Это было понятно, потому что оно опиралось на громкую славу Екатерининскихъ войнъ и героевъ. Въ этомъ клубѣ господствовалъ только интересъ къ извѣстіямъ войны; въ этомъ отношеніи онъ походилъ, по выраженію современника, на воскресный базаръ, особенно въ тѣ дни, когда приходило извѣстіе изъ арміи. Всеобщее безпокойство увеличилось передъ главнымъ сраженіемъ всей кампаніи, но увѣренность въ побѣдѣ не покидала никого, поражение было немыслимо.

Та же самая самонадѣянность и презрѣніе къ врагу господствовали и въ войскѣ, главнымъ образомъ въ свитѣ государя, гдѣ господствовало настроеніе мыслей французскихъ эмигрантовъ, воображавшихъ, что они наканунѣ возстановленія Бурбоновъ, своихъ правъ и своихъ имѣній. Эта самоувѣренность поражала даже французовъ, посланныхъ въ нашъ лагерь Наполеономъ для переговоровъ о мирѣ. Требованія наши были до крайности неумѣренны. И вотъ послѣдовало неслыханное поражение русской арміи на поляхъ Аустерлица,

¹⁾ Богдановичъ, II, с. 50.

²⁾ Записки Жихарева, с. 87.

разрушившее разомъ всю прежнюю самонадѣянность. Стыдъ и позоръ послѣдовали за неумѣренною гордостію и самоувѣренностію. Союзники разомъ оставили насъ, и чтобъ отплатить за позоръ пораженія и осуществить цѣль Александра—уничтоженіе могущества Наполеона, намъ приходилось уже однимъ вести, по его выраженію, une guerre de fantaisie. Де-Местръ рассказываетъ въ своихъ письмахъ, что тотчасъ послѣ Аустерлицкаго сраженія кто-то изъ придворныхъ свиты Александра сказалъ ему: „Кто знаетъ, что въ это время дѣлается въ Петербургѣ?“ и государь тотчасъ же, съ поля сраженія поскакалъ въ свою столицу ¹⁾. Съ этихъ поръ не общія преобразованія государства стали занимать его мысли и досугъ, а устройство арміи. Парады и смотры сдѣлались любимыми его занятіями. „Императоръ лично эзерцируетъ свою гвардію, говоритъ тотъ же де-Местръ, изобрѣли новый барабанъ, производящій страшную трескотню; всѣ смѣются, и въ особенности офицеры, и это великое зло“ ²⁾. Онъ заботится теперь преимущественно о военномъ воспитаніи.

Но опасенія императора и его близкихъ совѣтниковъ при возвращеніи въ Петербургъ послѣ Аустерлицкаго пораженія были напрасны. Народъ и общество не знали настоящей правды, и смутные рассказы объ Аустерлицѣ долго передавались только шепотомъ. Государь и его свита были встрѣчены въ столицѣ съ обычнымъ восторгомъ. „Ихъ величали, какъ героевъ, совершившихъ чудеса храбрости и самоотверженія“ ³⁾. Не смотря на это, ударъ, нанесенный нашей народной гордостіи пораженіемъ подъ Аустерлицомъ, былъ жестокъ и глубоко проникъ въ сердца многихъ. Для русскихъ, избалованныхъ непрерывнымъ рядомъ побѣдъ въ теченіе полувѣка, это пораженіе было тѣмъ чувствительнѣе. Но раздумье и печаль о потерѣ продолжались недолго; было на кого возложить заботы и успокоиться: „Государь знаетъ лучше насъ, что для чего дѣлается, и если насъ потрепали, то видно, что такъ и надобно“, говорило тогда большинство ⁴⁾. Лица были пасмурны недолго и скоро прояснились; пошли рассказы объ отдѣльных подвигахъ русскихъ воиновъ, куражъ вернулся снова, попрежнему стали третировать побѣдителя Наполеоникой и Бонапартишкой: „сами не свои и чортъ намъ не братъ“, по выраженію современника. Въ англійскомъ клубѣ выпито было громадное количество бутылокъ шампанскаго. Въ Москву пріѣхалъ единственный герой этой кампаніи—Багратіонъ, за которымъ осталась кое-какая

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 107.

²⁾ Ibid., с. 88.

³⁾ Богдановичъ II, с. 106.

⁴⁾ Записки Жихарева, с. 111.

слава успѣха. Ему устраивали торжественныя оваціи, давали обѣды со стихами, но безъ спичей, пѣли въ честь его гимны. Это была нѣкотораго рода оппозиція; Багратионъ командовалъ только арьергардомъ и игралъ второстепенную роль, но Москва въ прежніе годы любила быть въ оппозиціи.

Такъ начались эти войны съ Наполеономъ, кончившіяся его нашествіемъ въ Россію и, наконецъ, его паденіемъ. Пораженіе при Аустерлицѣ, если не по голосу всего народа, то по мнѣнію правительства, должно было быть отмщено, и Россія стала готовиться къ войнѣ, т.-е. увеличивать войско. Невольно воинственное увлеченіе стало проходить и въ общество, гдѣ теперь ненависть къ Наполеону начала раздувать и возникавшая тогда политическая литература. Этой послѣдней еще не было времени у насъ сформироваться отъ непониманія событій и отъ равнодушнаго отношенія къ нимъ, а потому все, что являлось у насъ противъ французовъ въ первые годы войны съ ними, было переводимо съ нѣмецкаго. Униженіе Германіи чувствовалось въ ней очень многими. Наполеоновскій гнетъ дежалъ на ней невыносимо, и ея государи видѣли въ русскихъ естественныхъ своихъ союзниковъ. Пруссія первая захотѣла сбросить съ себя этотъ гнетъ; Александръ былъ въ искренней дружбѣ съ прусскимъ королевскимъ домомъ и обѣщалъ дѣятельную помощь. Но прежде нежели русскія войска могли подоспѣть на помощь пруссакамъ, королевство это въ одинъ день 2-го (14) октября 1806 года въ двухъ сраженіяхъ, при Іенѣ и Ауэрштедтѣ, пало совершенно. Погромъ былъ страшный, неслыханный; военная слава Фридриха В. исчезла въ нѣсколько дней, и королю прусскому остался жалкій клочокъ земли въ восточномъ углу его государства.

Мы рвались отмстить теперь за Іену. Паденіе Пруссіи ставило насъ лицомъ къ лицу съ Наполеономъ, и приходилось думать не о наступленіи, а объ оборонѣ. Войнѣ придаютъ характеръ народный. Манифестомъ 30 ноября 1806 года собиралось огромное количество земскаго войска или ополченія; Синодъ издалъ воззваніе къ народу, гдѣ говорилось объ оборонѣ отечества. Приближались великія событія, но значеніе и смыслъ ихъ понимали очень немногіе; общественнаго мнѣнія не существовало, все облечено было глубокою тайной, и понятно поэтому, что, по замѣчанію современниковъ, русскіе люди, призванные управлять событіями, оказывались стоящими гораздо ниже уровня современныхъ великихъ и страшныхъ обстоятельствъ. Недостатокъ людей, способныхъ на дѣло, чувствовался во всѣхъ сферахъ государственной дѣятельности. Александръ не зналъ даже кому ввѣрить начальство надъ русской арміей и сдѣлалъ самый неудачный выборъ, назначивъ главнокомандующимъ стараго орла Ека-

терининскихъ войскъ, на котораго указывало мнѣніе двора. Но у крыльевъ орла давно вылиняли перья. Выписанный изъ деревни графъ Каменскій оказался больнымъ и слѣпымъ старикомъ, который не могъ даже ѣздить верхомъ. Дворъ и Петербургъ проводили его съ восторженными надеждами въ армію, но Каменскій, испугавшись отвѣтственности, на немъ лежащей, сознавая ничтожность своихъ силъ, сдалъ самовольно начальство старшему по себѣ и бросилъ армію. Бороться съ первымъ военнымъ геніемъ времени всякому приходилось не подъ силу. Новый главнокомандующій Беннингсенъ былъ также старъ и болѣзненъ; онъ отличался слабостью и безхарактерностью; подчиненные ему генералы повиновались ему неохотно; безначаліе грозило нарушить всякую дисциплину въ арміи, и безъ того уже подорванную. Плохо одѣтые, плохо обутые, солдаты по цѣлымъ днямъ оставались безъ пищи, а лошади безъ фуража. Ихъ грабили интенданты,—имъ приходилось грабить страну, которую они пришли защищать отъ насилія Наполеона. Войско видимо слабѣло, и понятно, что ожидать успѣха было нельзя. Правда, нерѣшительныя сраженія мы выставляли за побѣды, но истина невольно раскрывалась въ бѣдственномъ положеніи арміи, которой одной, безъ союзниковъ, приходилось бороться съ Наполеономъ и его славными маршалами. Къ вождю ея не было никакого довѣрія, и Александръ счелъ необходимымъ отправиться самому къ войску. Такъ наступилъ 1807 годъ. Армія была утомлена переходами, сраженіями, безпрестанными стычками; еще болѣе, чѣмъ въ сраженіяхъ, солдаты гибли отъ ранъ и болѣзней въ лазарѣтахъ, которые образованные иностранцы называли тогда „ужасомъ чело-вѣчества“. Жестокое пораженіе насъ при Фридландѣ 2-го (14) іюня должно было покончить эту бѣдственную для насъ войну, причина которой лежала въ рыцарскомъ чувствѣ Александра, а не въ необходимости. Это пораженіе и въ арміи, и въ государѣ, и въ большинствѣ лицъ, его окружавшихъ, развило убѣжденіе въ необходимости мира, и обращавшійся гордо и презрительно съ Наполеономъ императоръ Александръ долженъ былъ склониться предъ побѣдителемъ и просить о мирѣ. Онъ не замедлилъ, и Тильзитскій трактатъ положилъ конецъ войнѣ, унижилъ Россію, но возбудилъ ея общественное мнѣніе.

ЛЕКЦІЯ XXI.

Впечатлѣніе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторьскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патріотическая литература. — «Геній времени». — О. В. Растопчинъ. Его дѣтство. Служба.

Неудачная война съ Наполеономъ и вслѣдъ за нею невыгодный Тильзитскій миръ произвели на русское общество того времени впечатлѣніе самое тяжелое. До сихъ поръ мы вели только счастливыя войны, шли отъ побѣды къ побѣдѣ; до сихъ поръ мы сами предписывали условія мира побѣжденнымъ; теперь въ свою очередь надобно было подчиниться. Сила обстоятельствъ привела насъ въ 1807 году къ этому невыгодному миру. Дѣйствующая армія была ослаблена тяжелыми сраженіями съ Наполеономъ и болѣзнями, еще болѣе упадкомъ дисциплины и казнокрадствомъ, отъ котораго наживался самъ фельд-маршалъ Беннингсенъ, богатѣвшій на счетъ грабимыхъ солдатъ¹⁾. Вслѣдствіе поражений нашихъ Польша готовилась къ возстанію, а у насъ не было вовсе резервовъ, чтобъ продолжать войну, ибо на ополченія необученныхъ крестьянъ не надѣялся никто. Однимъ словомъ, миръ былъ заключенъ нами по необходимости; безъ него было бы хуже, а между тѣмъ онъ тяжело ложился на совѣсть всѣхъ въ немъ участвовавшихъ и самого Александра, который послѣ своего всемірно-историческаго свиданія съ Наполеономъ медлилъ въ Тильзитѣ, какъ бы подъ тяжестью стыда, несмотря на представленія всѣхъ приближенныхъ, торопившихъ его воротиться въ Имперію²⁾. Никому неизвѣстно, о чемъ шла рѣчь между двумя императорами, въ рукахъ которыхъ были тогда судьбы міра, но Александръ не могъ не подчиниться гениальному уму Наполеона, и это подчиненіе вело только къ униженію Россіи, къ ея ослабленію; Наполеонъ льстилъ Александру, но думалъ только о своихъ выгодахъ и о своемъ честолюбіи.

Какъ внѣшняя, такъ и внутренняя политика Александра должна была измѣниться теперь, послѣ Тильзитскаго мира. Наступило другое время, съ другимъ содержаніемъ, другими цѣлями и намѣреніями, и, наконецъ, другими людьми. Прежніе друзья молодости Александра должны были уступить свои мѣста другимъ. На ближайшаго друга Александра—Чарторьскаго, какъ на поляка, а слѣдовательно естественнаго врага Россіи, обрушилось негодованіе общества; все то, что было близко къ государю и имѣло какое-нибудь вліяніе на его рѣшенія, подвергалось тогда въ обществѣ самымъ разнообразнымъ

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., с. 182.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., с. 50.

обвиненіямъ. Современники говорятъ о тайной радости Чарторыскаго при нашихъ пораженіяхъ ¹⁾; на него всё смотрѣли, какъ на измѣнника. Изъ писемъ Чарторыскаго видно, какъ Александръ, и по нерѣшительности своего характера и по недостатку дѣльныхъ людей между тѣми, которые окружали его, долго колебался въ необходимости отдалить отъ управленія министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Чарторыскаго. „Мнѣ нужно уважать тѣхъ, съ кѣмъ я работаю“, писалъ онъ къ послѣднему ²⁾, и только уступая требованію общества, онъ удалилъ отъ себя Чарторыскаго, увѣряя его, что его личныя чувства къ нему не измѣнились. Дѣйствительно, хотя Чарторыскаго и смѣнилъ Будбергъ, онъ все-таки оставался близокъ къ Александру до самой отечественной войны и былъ главнымъ совѣтникомъ его въ дѣлахъ дипломатическихъ. Другіе прежніе совѣтники удалились тоже постепенно. Новосильцевъ, какъ мы знаемъ, былъ жаркимъ поклонникомъ Англіи, ея государственныхъ формъ; когда дѣло шло о союзѣ противъ Наполеона, Новосильцевъ былъ посланъ въ Лондонъ и своими свиданіями съ Питтомъ и Фоксомъ устроилъ этотъ союзъ. Новосильцевъ говорилъ самъ, что лично ненавидитъ Наполеона ³⁾, и послѣ Тильзитскаго мира убѣждалъ государя уволить его въ отставку. Хотя Александръ не согласился, но Новосильцевъ постепенно удалялся отъ двора, постепенно терялъ свое вліяніе и, часто громко и безцеремонно браня Наполеона и порицая новое направленіе нашей политики, принужденъ былъ, наконецъ, уѣхать за границу, вызвавъ противъ себя гнѣвъ Александра. Министръ внутреннихъ дѣлъ Кочубей, также недовольный измѣнившимся ходомъ дѣлъ, принужденъ былъ уступить свое мѣсто князю Куракину и уѣхать въ безсрочный отпускъ. Графъ Строгановъ еще прежде перешелъ въ военную службу и храбро сражался въ кампанію 1807 года. Такъ одинъ за другимъ сошли со сцены тѣ близкіе люди къ императору Александру, которые вначалѣ его царствованія составляли знаменитый „комитетъ общественнаго спасенія“, думали спасти Россію или, по крайней мѣрѣ, поднять и возвысить ее своими реформами и преобразованіями, возбудивъ этими послѣдними гнѣвъ и ненависть къ себѣ людей Екатерининскаго поколѣнія. Ихъ удаленіе отъ дѣлъ свидѣтельствуетъ о чистотѣ ихъ убѣжденій, о томъ, что они не хотѣли поступиться ими въ угодность новому направленію политики правительства. Но объясняютъ ихъ удаленіе и иначе. „Причину удаленія товарищей юности Александра, говоритъ Богда-

¹⁾ Записки Ф. Ф. Вигеля. М. 1891, ч. II; с. 206.

²⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 748.

³⁾ Богдановичъ II, с. 310.

новить¹⁾, слѣдуетъ приписать не столько измѣненію его виѣшней политики, сколько нравственному перевороту, происшедшему въ немъ самомъ послѣ Тильзитскаго свиданія. Многократныя продолжительныя бесѣды съ тѣмъ, кого современники наперерывъ провозглашали величайшимъ изъ смертныхъ, должны были способствовать развитію самостоятельности Александра и *показать ему въ настоящемъ видѣ* благородныхъ, но мало опытныхъ и не всегда достаточно дальновидныхъ совѣтниковъ, которыхъ прежде считалъ онъ умами превосходными“. Объясненіе не совсѣмъ вѣрное, по нашему мнѣнію. И прежде Александръ былъ самостоятеленъ и выказывалъ передъ совѣтниками свою самодержавную власть; никогда, какъ мы видѣли, онъ не имѣли на него большого вліянія; но они были честные люди; ихъ желанія блага государства теперь не могли быть приведены въ исполненіе; на ихъ планы реформъ, которые оскорбляли консерваторовъ и затрогивали ихъ частныя интересы, поднялся теперь крикъ со всѣхъ сторонъ. Неудачу военную приписывали разновременнымъ реформамъ. Самъ Александръ, подъ вліяніемъ этихъ неудачъ и еще болѣе подъ вліяніемъ унижительнаго мира, совершенно измѣнился въ своемъ характерѣ. Его подозрительность и недовѣріе ко всему его окружающему заставили его обратиться къ такимъ печальнымъ личностямъ, каковъ былъ Аракчеевъ, бросавшій много лѣтъ тѣнь на царствованіе его. Изъ разсказовъ и сообщеній современниковъ видно, что въ это время возникла въ обществѣ нелюбовь къ государю; онъ не могъ не сознавать этого, и отъ того увеличивались его внутреннія страданія и недовѣріе къ близкимъ, къ странѣ, къ народу. И вотъ онъ возвышаетъ около себя челоуѣка, на котораго потомъ обрушилось столько справедливыхъ проклятій. „Полагаю, что онъ захотѣлъ поставить съ собою рядомъ пугало пострашнѣе, говоритъ де-Местръ, по причинѣ внутренняго броженія, здѣсь господствующаго“. Обѣ императрицы, всѣ люди, близкіе къ императору, ненавидѣли Аракчеева. „Онъ все давить; передъ нимъ исчезли, какъ туманъ, самыя замѣтныя вліянія“²⁾. Очень вѣрно сравниваетъ Аракчеева и Вигель съ бульдогомъ, который, не смѣя никогда ласкаться къ господину, всегда готовъ напасть и загрызть тѣхъ, кои бы воспротивились его волѣ³⁾. Въ тѣхъ военныхъ заботахъ и безпрестанныхъ войнахъ, которыя теперь наполнили восемь лѣтъ царствованія, такой челоуѣкъ былъ необходимъ Александру, тѣмъ болѣе, что онъ былъ глубоко убѣжденъ въ его достоинствахъ, какъ военнаго организатора, и мало-по-малу

¹⁾ Ibid., с. 311.

²⁾ Русск. Арх. 1871 г., с. 120.

³⁾ Записки, ч. III, с. 14.

Аракчеевъ сдѣлался всѣмъ; за деспотизмомъ и ужасами Аракчеева прятался самъ Александръ, но народная ненависть обрушивалась не на него, а на его министра. Другое лицо, возвысившееся въ слѣдующія пять лѣтъ и столь же близкое къ государю, какъ Аракчеевъ, былъ Сперанскій. И у него была глубокая личная преданность государю; но раздѣляя прежде воззрѣнія и убѣжденія павшихъ теперь совѣтниковъ Александра, ему ничего не стоило измѣнить ихъ, сообразуясь съ измѣнившимися обстоятельствами. Онъ остался и возвысился, работая надъ преобразованиемъ внутренняго устройства Имперіи.

Таковъ былъ порядокъ вещей, возникшій изъ нашей неудачной войны съ Наполеономъ и изъ унижительнаго мира. Униженіе было забыто русскимъ обществомъ только послѣ окончательной побѣды надъ Наполеономъ и послѣ его паденія. „Тильзитъ! При словѣ семъ обидномъ уже не поблѣднѣетъ Россія“—воскликала молодой Пушкинъ въ одѣ своей на смерть Наполеона въ 1821 году. Но въ то время, когда правительство стало у насъ во многомъ подражать французскимъ порядкамъ, когда армію одѣли по французскимъ образцамъ, у солдатъ срѣзали косы, а на офицеровъ надѣли французскіе эполеты, когда цензура запрещала всякія выходки противъ Наполеона, запрещены были даже намеки о дурныхъ свойствахъ его характера, когда послѣ тильзитскаго мира нельзя было печатать даже о военныхъ неудачахъ французскаго императора, у насъ возникла патріотическая литература съ глубокою ненавистью къ французамъ и ко всему французскому. Эта литература встала, такимъ образомъ, по своему содержанію, въ оппозицію.

Стали появляться нападки на французовъ и на французское вліяніе, преимущественно въ воспитаніи нашего дворянства, высшаго и средняго. Наши неудачи стали приписывать паденію національнаго чувства отъ воспитанія. Мы укажемъ на цѣлый рядъ литературныхъ явленій въ этомъ духѣ и въ этомъ направленіи. Чѣмъ ближе становилась послѣдняя и упорная борьба наша съ Наполеономъ, тѣмъ направленіе это пріобрѣтало болѣе силы и наконецъ стало имѣть вліяніе на государя. Этому вліянію принесены были въ жертву и люди и системы. Не найдемъ мы въ этой патріотической литературѣ сильныхъ талантовъ и большого ума, развитія и политическаго знанія, но она имѣла все же возбуждающее дѣйствіе, хотя и походила иногда на тѣ безсмысленные крики клубныхъ ораторовъ нашихъ, о которыхъ было уже говорено. Политическаго знанія, политическаго такта здѣсь ожидать нельзя: дѣло шло о чувствѣ. Политическаго знанія событій почерпнуть было не откуда. Газеты и журналы наши давали читателямъ безсвязныя отрывочныя свѣдѣнія;

свободы въ разсужденіяхъ, вслѣдствіе цензурныхъ отношеній, не было никакой. Единственною сколько нибудь порядочною газетою былъ „Геній время“, издававшійся два года, съ 1807 по 1809 г., Делаacro и Гречемъ, выступившимъ въ первый разъ тогда на издательское поприще. Политическое обозрѣніе этого журнала, въ которомъ высказывается какъ бы его программа, очень замѣчательно и какъ бы проникнуто сочувствіемъ къ реформамъ, о которыхъ скоро не будетъ слышно рѣчи. Авторъ сравниваетъ Россію и Францію дореволюціоннаго періода. Россія не томится тѣмъ зломъ, которое происходитъ отъ *застарѣлости*, тѣмъ именно зломъ, которое произвело революцію. Авторъ доказываетъ, что королевскій домъ Бурбоновъ палъ отъ того, что упорно держался своихъ застарѣлыхъ убѣжденій, что не могъ согласить своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ обновляющимися требованіями общества. Между тѣмъ это отношеніе къ духу времени и стараніе сообразовать его съ властію—необходимо; не надобно доходить до застарѣлости, т. е. быть упорнымъ въ старинѣ. Взглядъ, конечно, правильный, и, еслибъ онъ постоянно развивался въ газетѣ, примѣнительно къ Россіи, она имѣла бы большое значеніе. Но программа осталась только программой и дальнѣйшаго развитія не получила, а взглядъ на политическія событія Европы стѣснялся цензурою. Газета различно смотрѣла на Наполеона и наши къ нему отношенія до тильзитскаго мира и послѣ него, когда наша печать должна была соблюдать самое глубокое уваженіе къ особѣ Наполеона и стала льстить ему ¹⁾. Журналисты, если имъ случалось промахнуться въ этомъ отношеніи, получали самыя строгія замѣчанія отъ цензурнаго комитета. Министръ народнаго просвѣщенія былъ убѣжденъ, какъ онъ пишетъ, что сочинители не могутъ близко видѣть „матерій политическихъ“, и „увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ“. Вотъ какъ быстро упало уваженіе къ печатному слову, о которомъ такъ много говорилось въ началѣ царствованія! Наконецъ министерство предписало всѣмъ учебнымъ округамъ, чтобы „цензоры не пропускали никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія“ ²⁾. Едва ли, при такомъ положеніи печати можно было получить какое-либо понятіе о событіяхъ времени.

Собственная политическая мысль не пробуждалась. Приходилось довольствоваться тѣмъ, что произведено чужимъ умомъ, и у насъ

¹⁾ Пятковский, Изъ исторіи нашего лит. и общ. развитія, изд. 2, ч. II, стр. 138—139.

²⁾ Сухомлиновъ. Исслѣдованія и статьи, т. I, стр. 428.

явилось очень много переводныхъ, большею частію съ нѣмецкаго, книгъ и брошюръ политическаго содержанія, направленныхъ противъ французовъ и ихъ воинственнаго властителя. Содержаніе ихъ состояло въ нападеніи на личность Наполеона, на его завоеванія, неуваженіе къ правамъ народнымъ и пр., и въ защитѣ Россіи, которую Наполеоновскіе публицисты старались выставить страню грубою и невѣжественною. Весьма вѣроятно, что многія изъ этихъ произведеній издавались съ вѣдома и при помощи правительства, но послѣ тильзитскаго мира оно уже не принимало никакого участія въ этой литературѣ. *Р. С. П.*

Первый съ своими рѣзкими и смѣлыми выходками и обвиненіями противъ французовъ выступилъ графъ Ѳ. В. Растопчинъ, имя котораго получило такую громкую извѣстность въ 1812 году. Его произведенія, дышавшія современностію, имѣющія самое живое и близкое къ ней отношеніе, имѣли въ свое время сильное вліяніе на русское общество и много способствовали къ его возбужденію въ отечественную войну, а его политическія мнѣнія, весьма консервативнаго свойства, оказали вліяніе на государя, тѣмъ болѣе, что онъ старался доводить свои мнѣнія до государя не только литературнымъ путѣмъ, но и другими средствами. Въ эпоху 1812 года онъ играетъ одну изъ первыхъ ролей въ государствѣ и имя его извѣстно каждому русскому. По типу его сочиненій, живыхъ, бойкихъ, написанныхъ прекраснымъ, одушевленнымъ и простымъ языкомъ, сложился тотъ доморощенный патріотизмъ, которымъ отличались люди 12-го года и долго потомъ храбрившіеся консерваторы и ненавистники всякой чужеземщины.

Графъ Растопчинъ происходилъ изъ старой татарской фамиліи, выѣхавшей въ XVI столѣтіи изъ Крыма и служившей московскимъ царямъ, но никогда не занимавшей значительныхъ мѣстъ и важнаго положенія. Біографъ его, Бантышъ-Каменскій, производитъ родъ его отъ Чингизъ-Хана, и по этому поводу распространяется даже о жизни послѣдняго. Но самъ Растопчинъ, отличавшійся остроуміемъ и шутливостію, смотрѣлъ на свое происхожденіе гораздо проще. „Скажи мнѣ, отчего ты не князь“?—спросилъ его однажды въ болшемъ обществѣ очень любившій его императоръ Павелъ. Немного подумавши, Растопчинъ спросилъ Павла, можетъ ли онъ высказать настоящую причину, и получивши утвердительный отвѣтъ, сказалъ: „Предокъ мой, выѣхавши въ Россію, прибылъ сюда зимой“.—„Какое же отношеніе имѣетъ время года къ достоинству, которое ему было пожаловано“?—спросилъ императоръ. „Когда татарскій вельможа, отвѣчалъ Растопчинъ, въ первый разъ являлся ко двору, ему предлагали на выборъ или *шубу* или *княжеское достоинство*. Предокъ мой

пріѣхалъ въ жестокую зиму и отдалъ предпочтеніе шубѣ“. Это заставило смѣяться Павла ¹⁾. Отецъ Растопчина былъ майоръ въ отставкѣ, жилъ въ своихъ деревняхъ въ подмосковныхъ губерніяхъ, имѣлъ довольно значительное состояніе и былъ простой и благодушный человѣкъ. Сынъ его родился въ Москвѣ 12 марта 1763 года и до 15-ти лѣтъ жилъ при отцѣ въ деревнѣ, воспитываемый разными иностранными гувернерами; это дало Растопчину возможность усвоить вполнѣ нѣсколько иностранныхъ языковъ. Несмотря на иностранцевъ гувернеровъ, въ Растопчинѣ сохранилось много чисто народныхъ чертъ характера и горячей любви ко всему родному. Это служить доказательствомъ, что не всегда французское воспитаніе извращало у насъ людей; чтобъ избѣжать вреда его нужны были умъ и постороннее вліяніе. Перваго у Растопчина было довольно, а о второмъ онъ самъ говоритъ про себя, что „имѣлъ десятка съ три заморскихъ учителей; но, помня поученія священника Петра и слова мамы Герасимовнѣ, остался русскимъ“. Такая простая исторія повторялась очень часто. Этихъ мамъ или нянь Растопчинъ очень уважалъ. „Хотя мамы эти, хаживавшія за дѣтьми, говоритъ онъ (въ повѣсти „Охъ, французы!“), и были простыя барскія барыни, безъ просвѣщенія, въ набойчатыхъ или ситцевыхъ кофтахъ, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ, но онѣ отнюдь у дѣтей ни умовъ ни сердецъ не портили; хотя и пугали ихъ волками, мертвецами, смертью курносой, но не говаривали, что отецъ дуракъ, мать зла, что все послѣ дѣтямъ достанется. И чѣмъ жены англійскаго конюха, швейцарскаго пастуха и нѣмцаго солдата должны быть лучше, умнѣй и добронравнѣй женъ нашихъ приказчиковъ, дворецкихъ и конюшихъ?“

Въ 1775 году Растопчинъ сдѣланъ былъ пажемъ при дворѣ Екатерины, а потомъ служилъ въ преображенскомъ полку. Императрица рано обратила на него вниманіе и замѣтила его умъ и въ особенности даръ выставлять на показъ смѣшное. За это приглашали Растопчина въ самое отборное общество двора, гдѣ любили его остроуміе. Здѣсь, вмѣстѣ съ другими, игралъ онъ въ литературную игру и очень рано могъ образовать свой слогъ, простой и естественный, чуждый всякихъ риторическихъ украшеній.

Въ 1784 году, когда Растопчину было только двадцать одинъ годъ, онъ оставилъ службу и уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ нѣсколько лѣтъ. Мы не знаемъ цѣли его путешествія и тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ прожилъ все это время, даже неизвѣстно съ точностію время, проведенное имъ за границею. Памятникомъ его перваго путе-

¹⁾ Тихонравовъ. Сочиненія, т. III, ч. I, примѣч. стр. 54.

шествія въ молодости осталось его описаніе путешествія по Пруссіи ¹⁾, написанное имъ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ мѣстъ его, гораздо позднѣе, какъ воспоминаніе о прошломъ. Самыи языкъ доказываетъ это: въ концѣ XVIII вѣка у насъ такъ не могли писать. Замѣчателенъ языкъ этотъ въ томъ отношеніи, что хотя сочиненіе писано очевидно въ первыхъ годахъ XIX вѣка, на немъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ вліянія Карамзина: доказательство, что Растопчинъ писалъ не ex professo, не какъ литераторъ, а какъ умный только человѣкъ, не думая о формѣ выраженія. (Первоначальныя замѣтки писаны были по-французски, что видно изъ его сочиненія: „Journal écrit à Berlin, les années 1786 и 1787“) ²⁾. Изъ путешествія по Пруссіи, гдѣ Растопчинъ рассказываетъ свою дорогу до Берлина и потомъ описываетъ эту столицу, видно, что онъ ѣхалъ, какъ знатный молодой человѣкъ того времени, и имѣлъ возможность сближаться съ самымъ высшимъ кругомъ общества. Умъ, веселость и наблюдательность являются на каждой страницѣ; Растопчинъ отлично изучилъ нѣмцевъ и смѣется надъ ними очень зло и остро. Въ особенности забавны его жалобы на медленность ѣзды на почтовыхъ и грубость почтмейстеровъ и жадность ихъ къ деньгамъ. Никакой затаенной мысли нѣтъ въ его описаніи; это просто замѣтки для себя. „Въ Берлинѣ (описаніемъ котораго собственно и ограничиваются записки Растопчина) я былъ три раза, говоритъ онъ, жилъ долго, знаю его какъ Москву и Петербургъ, но предпочту ему и Выборгскую сторону и Рогожскую“ ³⁾. Такого рода предпочтеніе родныхъ мѣстъ очень часто является въ описаніи Растопчина. Замѣтки его вообще очень разнообразны; въ нихъ входятъ и наблюденія надъ военнымъ строемъ Пруссіи, что особенно должно было интересовать Растопчина послѣ семилѣтней войны, и характеристика знатнаго общества, и театръ, и Академія Наукъ, въ засѣданіи которой въ честь Фридриха Великаго онъ присутствовалъ, и нравственность народная, и образъ жизни, не похожій на русскій, и разные современные случаи, выходящіе изъ обыкновеннаго ряда. Даже замѣчанія его о художественныхъ произведеніяхъ показываютъ въ Растопчинѣ не восторженнаго дилеттанта, какимъ былъ Карамзинъ въ Дрезденской галлерей, а очень тонкаго цѣнителя, умѣющаго превосходно описать содержаніе и смыслъ художественнаго произведенія. Таково его описаніе картины Тербурга: „Осужденіе на смерть графа Горна“ ⁴⁾. Онъ былъ въ

¹⁾ Москвитянинъ, 1849 г., № 1, 10, 13 и 15.

²⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 855.

³⁾ Москвитянинъ, № 1, стр. 80.

⁴⁾ Ibid., № 13, стр. 6—7.

Санъ-Суси въ самый день смерти Фридриха Великаго (1786) и видѣлъ тѣло великаго короля тотчасъ по кончинѣ еще въ креслахъ и подъ синимъ плащомъ, который поднималъ для него стоящій на часахъ гусаръ. Описаніе мертваго короля дышитъ истиной и чувствомъ ¹⁾. О Фридрихѣ часто говоритъ онъ съ глубокимъ уваженіемъ и сравниваетъ его не разъ съ нашимъ Петромъ Великимъ, на котораго смотритъ какъ на „преобразователя великаго и славнаго своего отечества“ ²⁾. Изъ извѣстныхъ людей того времени Растопчинъ встрѣчался въ Берлинѣ съ Мирабо, который былъ посланъ туда Лудовикомъ XVI или скорѣе министромъ Калонномъ, но изображеніе Мирабо, кажется, написано Растопчиннымъ позднѣе и на него, безъ сомнѣнія, имѣла вліяніе позднѣйшая роль знаменитаго оратора въ Національномъ Собраніи Франціи ³⁾. Въ Берлинѣ Растопчинъ сблизился съ нашимъ посланникомъ, графомъ С. П. Румянцевымъ (сыномъ Задунайскаго), что помогло потомъ его служебной карьерѣ.

Воротившись изъ за границы, Растопчинъ очень желалъ служить волонтеромъ во вторую нашу войну съ турками, но ему не удалось, по какой причинѣ, неизвѣстно ⁴⁾. Безбородко, тогдашній канцлеръ Имперіи, отправлявшійся на театръ военныхъ дѣйствій, взялъ съ собою Растопчина, какъ дипломатическаго чиновника при заключеніи мира. Съ этихъ поръ Растопчинъ сталъ служить по дипломатической части. По возвращеніи изъ Турціи онъ былъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ, и бывая дежурнымъ въ этомъ званіи при наслѣдникѣ престола Павлѣ Петровичѣ, въ Павловскѣ и Гатчинѣ, онъ очень полюбился ему, что и было причиною его необычайно-быстраго возвышенія при вступленіи на престолъ Павла.

ЛЕКЦІЯ XXII.

Растопчинъ при Павлѣ.—Отставка Растопчина.—Занятія сельскимъ хозяйствомъ.—
Брошюра «Плугъ и соха».—«Мысли вслухъ».

День смерти Екатерины и восшествія на престолъ Павла, дружески расположеннаго къ Растопчину, былъ днемъ его возвышенія и началомъ его быстрыхъ успѣховъ по службѣ, что было вовсе не обыкновенно въ то время и при условіяхъ характера Павла. Объ этомъ днѣ, столь замѣчательномъ въ исторіи русской, когда разомъ

¹⁾ Ibid., стр. 9—10.

²⁾ Ibid., № 10, стр. 86.

³⁾ Ibid., № 15, стр. 122.

⁴⁾ Впрочемъ, по замѣткамъ М. Н. Лонгинова, Растопчинъ былъ при осадѣ и штурмѣ Очакова (Русск. Арх. 1868 г., стр. 852).

перемѣнились и люди и правительственная система, Растопчинъ оставилъ любопытную записку: „Послѣдній день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствованія императора Павла“¹⁾. Она, какъ и всякое другое сочиненіе Растопчина, свидѣтельствуетъ о его необыкновенномъ умѣ, наблюдательности, честномъ и благородномъ характерѣ, и, будучи написана по горячимъ слѣдамъ событій, живо переноситъ насъ въ среду ихъ и мѣтко очерчиваетъ и лица и тогдашнія отношенія (она помѣчена 15 ноября 1796 г.). Растопчинъ, скоро узнавшій объ ударѣ, поразившемъ Екатерину, былъ посланъ Александромъ Павловичемъ къ отцу въ Гатчину съ извѣстіемъ о томъ, встрѣтилъ новаго императора въ Софіи уже скачущаго въ Петербургъ, провожалъ его во дворецъ и былъ свидѣтелемъ, такимъ образомъ, первыхъ изліяній Павла, первыхъ его ощущеній и первыхъ дѣйствій. Павелъ тотчасъ же при другихъ показалъ свои дружескія, близкія отношенія къ Растопчину, сказавъ о немъ: „Вотъ человекъ, отъ котораго у меня нѣтъ ничего скрытнаго“, и всѣ видѣли уже въ немъ будущаго временщика, старались заранѣе подольститься къ нему и угодить. Смятеніе и нравственное безобразіе двора въ эту пору изображены въ запискѣ чрезвычайно вѣрно. Растопчинъ во многихъ мѣстахъ не можетъ сдержать своего негодованія и говоритъ о „живомъ омерзѣніи“, которое онъ чувствуетъ. Онъ видѣлъ посреди спальни на полу, на кожаномъ матрацѣ, съ едва замѣтными признаками жизни, умирающую Екатерину, которой прислуживала попрежнему преданная ей ея любимица Марья Савишна Перекусихина; другіе придворные были заняты единственно собой, „а сія минута была для нихъ всѣхъ тѣмъ, что Страшный судъ для грѣшника“ — говоритъ Растопчинъ. Онъ замѣтилъ отчаяніе послѣдняго фаворита Екатерины — Зубова; въ лицѣ и во всѣхъ его движеніяхъ изображалась увѣренность въ паденіи и ничтожествѣ. Онъ рыдалъ и сидѣлъ въ углу; „толпа придворныхъ удалялась отъ него, какъ отъ зараженнаго, — говоритъ Растопчинъ, — и онъ, терзаемый жаждою и жаромъ, не могъ выпросить себѣ стакана воды (Растопчинъ самъ подаль ему стаканъ); та комната, въ коей давили другъ друга, чтобъ стать къ нему ближе, обратилась для него въ необитаемую степь“. Въ такомъ же положеніи находился и знаменитый графъ Орловъ-Чесменскій. Когда Растопчинъ ѣхалъ къ нему съ Архаровымъ, вскорѣ потомъ назначеннымъ Петербургскимъ губернаторомъ, чтобы по приказу Павла привести его къ присягѣ, этотъ Архаровъ, всѣмъ обязанный Орлову, видя въ Растопчинѣ новаго временщика, „не цереставалъ говорить мерзости на счетъ графа Орлова“. Изъ этихъ отзывовъ и

¹⁾ Чтенія Моск. Общ. Ист. и Др. 1864 г., кн. 2, Смѣсь, стр. 171—184.

замѣтокъ Растопчина легко видѣть его честный и благородный характеръ, чуждый интригъ придворной жизни, которую онъ никогда не любилъ.

Повидимому, Растопчинъ не искалъ почестей самъ. По его разсказу, императоръ Павелъ въ день своего восшествія позвалъ его въ кабинетъ и велѣлъ ему откровенно сказать—чѣмъ онъ желаетъ быть при немъ. „Имѣя всегда въ виду истребленіе неправосудія, я, не останавливаясь нисколько, отвѣчалъ: „секретаремъ для принятія просьбъ“. Но Павелъ противъ желанія Растопчина, которому не хотѣлось служить въ военной службѣ, назначилъ его генералъ-адъютантомъ, чтобъ управлять военной коллегіей. Ему оставалось только молча согласиться. Чины, звѣзды и крѣпостные крестьяне посыпались на новаго любимца, хотя вся его служба состояла въ объявленіи высочайшихъ приказовъ. Въ 1798 году на него однако обрушилась немилость Павла; онъ былъ отставленъ отъ службы, но опала продолжалась не долго, и Растопчинъ, снова поступилъ на службу въ томъ же году и такъ быстро шелъ въ ней, что къ концу слѣдующаго года былъ сдѣланъ графомъ, получилъ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и назначенъ первоприсутствующимъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, т.-е. по нынѣшнему министромъ иностранныхъ дѣлъ; при этомъ остались за Растопчинимъ всѣ прежнія его должности. Какъ министръ, во время войны нашей съ Франціей при Суворовѣ, онъ получилъ множество иностранныхъ орденовъ, а Павелъ подарилъ ему 3000 душъ крестьянъ и 33000 дес. земли.

Такимъ образомъ Растопчинъ, вѣроятно, неожиданно для самого себя и только по прихотливой милости императора Павла сдѣлался министромъ иностранныхъ дѣлъ. Управление Растопчинимъ этою важною частью государственной жизни было слишкомъ непродолжительно, чтобъ можно было составить о немъ правильное понятіе и вѣрно судить дѣятельность Растопчина. Что было сдѣлано Растопчинимъ въ русской политикѣ того времени, какъ онъ управлялъ ею,—можно найти въ книгѣ Терещенки ¹⁾ и въ біографіи его Б.-Каменскаго; насколько дѣйствовалъ онъ самостоятельно—намъ неизвѣстно. Къ намъ дошелъ, впрочемъ, одинъ документъ внѣшней политики, составленный Растопчинимъ въ концѣ 1800 года: „Картина Европы въ началѣ XIX столѣтія и отношеніе къ ней Россіи“ ²⁾, въ которомъ Растопчинъ возвращается къ прежнимъ Екатерининскимъ идеямъ въ нашей внѣшней политикѣ относительно юга Европы и Турціи. Съ планомъ

¹⁾ „Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ иностранными дѣлами въ Россіи. Спб. 1837 г., ч. II, стр. 205 слѣд.“

²⁾ Пам. Нов. Русск. Исторіи. Сборникъ Каширева. Спб. 1871 г., т. I, стр. 102—111.

его совершенно согласился Павелъ и дѣйствительно, незадолго до его смерти политика наша вдругъ измѣнилась: послѣдовалъ разрывъ съ Англіей и сближеніе съ Франціей. Планъ Растопчина состоялъ въ раздѣлѣ турецкой территоріи между Россіей, Австріей, Пруссіей и Турціей, на которую онъ смотрѣлъ какъ на безнадежнаго больного. Исполненіе этого плана Растопчинъ принимаетъ на себя, хочетъ все обдѣлать въ тайнѣ и при помощи хитрости и вовсе не проявляетъ обширнаго государственнаго ума и соображеній. Какъ извѣстно, смерть Павла помѣшала исполненію этого плана.

Управляя иностранными дѣлами Россіи, Растопчинъ долженъ былъ вести переписку съ Суворовымъ, находившимся тогда съ войскомъ въ Италіи. Переписка эта свидѣтельствуетъ о близости ихъ. Растопчинъ еще прежде въ Турціи зналъ и любилъ Суворова. Въ оригинальныхъ умахъ обоихъ было очень много общаго и знаменитыя выходки Суворова очень нравились Растопчину. Коротенькія воспоминанія его о своихъ личныхъ сношеніяхъ съ знаменитымъ полководцемъ, который „вездѣ побѣждалъ и одинъ умеръ, непобѣжденнымъ“ ¹⁾, даютъ, несмотря на свою краткость, очень вѣрное представленіе о знаменитомъ героѣ. Для Растопчина, это былъ герой-богатырь съ чисто-русскимъ характеромъ. Въ письмахъ къ нему ²⁾ высказываетъ онъ живое участіе къ его затруднительному положенію въ Италіи, гдѣ побѣдамъ его мѣшали интриги того же Вѣнскаго двора, на защиту и спасеніе котораго онъ пришелъ съ русскимъ войскомъ. Посреди непріятностей своего положенія, Суворовъ думалъ бросить все и выйти въ отставку, и Растопчинъ употребляетъ въ письмѣ всѣ усилія убѣжденія, чтобъ отговорить его отъ этого шага. Суворовъ для Растопчина—герой его сердца; его слава, его подвиги близки ему и въ высшей степени дороги.

Растопчинъ не дослужилъ до конца царствованія Павла. Въ концѣ февраля 1801 г. Растопчинъ и Аракчеевъ, два самыя преданныя лица и самыя близкія къ Павлу, были имъ внезапно удалены и на мѣсто Растопчина назначенъ С.-Петербургскій военный губернаторъ графъ Паленъ, одинъ изъ участниковъ переворота ³⁾. Интригѣ, которой необходимо было удалить отъ Павла человека ему преданнаго, конечно было легко, при вспыльчивомъ характерѣ императора, убѣдить его въ томъ или другомъ, но въ чемъ состояли обвиненія противъ Растопчина—мы не знаемъ. Онъ уѣхалъ въ свою деревню, извѣстное очень село Вороново, и до самаго того времени, когда императоръ

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1808 г. № 3, стр. 241—249.

²⁾ Соч. изд. Смирдина стр. 147—160; Гр. О. В. Растопчинъ и литература въ 1812 г. Сочиненія Н. С. Тихонравова, М. 1898, т. III, ч. I.

³⁾ Русск. Арх. 1863 г., стр. 808.

Александръ назначилъ его въ 1812 году, передъ нашествіемъ Наполеона, главнокомандующимъ въ Москвѣ, Растопчинъ жилъ то въ деревнѣ, то въ Москвѣ по зимамъ, какъ богатый помѣщикъ. Впрочемъ, онъ бывалъ и въ Петербургѣ, гдѣ у него было много связей, но не служилъ. Въ Москвѣ его оригинальная личность, блестящее образованіе, богатство и остроуміе дѣлали его любимымъ гостемъ общества. Его разсказовъ и разговоровъ заслушивались. „Что это за увлекательный образъ изъясненія: анекдотъ за анекдотомъ, одной чертой такъ и обрисуетъ всего человѣка, и между тѣмъ о своей личности ни слова“ — разсказываетъ современникъ ¹⁾. Съ самаго начала войнъ съ Наполеономъ, въ его разговорахъ безпрестанно слышалась ненависть къ французамъ и патріотическое чувство. „Графъ Растопчинъ, даже и въ отставку, говоритъ тотъ же современникъ, не пропускаетъ ни одного случая, чтобы словомъ или дѣломъ содѣйствовать славы отечества“ ²⁾. Съ этихъ поръ усвоилось ему названіе патріота. Растопчинъ былъ родственникомъ по женѣ (Протасовой) — Карамзину и очень часто проводилъ время въ его обществѣ, заговариваясь до утра. Въ эпоху возбужденія патріотическаго чувства и, слѣдовательно, недовольства прежнею политическою системою правительства, недовольства, въ особенности усилившагося передъ 12 годомъ, Растопчинъ и Карамзинъ были совершенно одинаковыхъ убѣжденій и дѣйствовали, какъ мы увидимъ впоследствии, заодно.

Занятія и жизнь Растопчина, со времени его отставки, рисуются въ его письмахъ къ другу, извѣстному кавказскому герою Циціанову, убитому на Кавказѣ ³⁾. Главнымъ занятіемъ Растопчина, когда онъ жилъ въ деревнѣ, что и случалось часто, потому что въ Москву пріѣзжалъ онъ на короткое время, были конскій заводъ и сельское хозяйство, особенно хлѣбопашество. Какъ и всѣмъ, онъ и этимъ занимался со страстію: „У меня въ полѣ, на дворѣ и въ домѣ дѣла множество, и какъ человѣкъ живётъ въ суетахъ, то и я отдаю сей долгъ природѣ“ ⁴⁾. Эта дѣятельность тѣмъ понятнѣе, что Растопчинъ, выйдя въ отставку, несмотря на свой чинъ и на то, что имѣлъ уже самый высшій орденъ имперіи, былъ еще молодъ: ему было всего 37 лѣтъ и при энергическомъ характерѣ, его мучила жажда дѣятельности. Между нашими богатыми сельскими хозяевами, несмотря на крѣпостной трудъ, на которомъ основывалось все хозяйство, господствовало въ это время увлеченіе англійскою системою обработки пахотныхъ полей.

¹⁾ Записки С. П. Жихарева, М. 1890, стр. 24.

²⁾ Ibid., стр. 152.

³⁾ Тихонравовъ, указанная выше статья, стр. 322—329, 336—350, 360—366.

⁴⁾ Ibid., стр. 324.

И Растопчинъ, по примѣру другихъ, выписалъ изъ Англіи фермера, завелъ плугъ, пробовалъ разныя системы удобренія и пр. Самымъ жаркимъ приверженцемъ и распространителемъ у насъ системы англійскаго хозяйства въ то время былъ богатый калужскій помѣщикъ Дм. Мар. Полторацкій; онъ славился какъ агрономъ, и о его хозяйствѣ писали тогда въ журналахъ. Растопчинъ былъ знакомъ съ нимъ, переписывался и посылалъ къ нему своихъ крестьянъ учиться новому способу сельскаго хозяйства, на англійскій ладъ. Но Растопчинъ, кажется, очень скоро разгадалъ непримѣнимость англійской системы къ русской почвѣ. Полторацкій, какъ англоманъ, ввелъ въ свое хозяйство плугъ, замѣнивъ имъ прежнюю соху. Его примѣру послѣдовали другіе; между приверженцами сохи и плуга началась жаркая полемика, которая выступила и въ печать. Растопчинъ находилъ, что система англійскаго хозяйства, съ ея сѣвооборотомъ и искусственнымъ удобреніемъ, можетъ быть съ успѣхомъ примѣнена у насъ тогда, когда народонаселеніе увеличится втрое, а до тѣхъ поръ гораздо лучше держаться старой предковской системы. Онъ смотрѣлъ въ этомъ случаѣ, какъ простой русскій чело-вѣкъ и съ удовольствіемъ приводитъ отзывъ своего мужика Проньки о выписанныхъ англійскихъ работникахъ: „имъ противъ насъ не вынести; у нихъ кишка-то пожиже“.

По поводу этихъ сельско-хозяйственныхъ споровъ о преимуще-ствахъ плуга и сохи, Растопчинъ въ первый разъ выступилъ въ печати на литературное поприще съ брошюрою „Плугъ и соха“, изданною степнымъ дворяниномъ (М. 1806 г.) Въ ней высказываетъ онъ тоже консервативное направленіе, которое отличало его и въ вопро-сахъ политическихъ. Это видно даже изъ его эпитафы: „Отцы наши не глупѣй насъ были“. Другой эпитафъ, въ стихахъ, рисуетъ самую личность автора:

„Поболѣ другого я по свѣту шатался,
Ученіемъ, людьми, вещами занимался,
И оттого, что въ Россіи долго жилъ,
Узналъ всю цѣну ей и больше полюбилъ.
Какъ сынъ, я преданъ ей и сердцемъ и душой,
Служилъ въ войнѣ, дѣлахъ, теперь служу съ сохой.
Я пользы общества всегда былъ вѣрный другъ,
Хочу увѣрить въ томъ и возстаю на плугъ“.

Кромѣ разсужденій о непримѣнимости у насъ плуга, Растопчинъ и вообще возстаетъ въ этой брошюрѣ на русскую страсть къ ново-введеніямъ и заимствованіямъ, безъ положительнаго знанія о томъ, годится или нѣтъ для насъ заимствованное: „То, что содѣлалось въ другихъ земляхъ вѣками и отъ нужды, говоритъ онъ, мы хотимъ

посреди изобилія завести у себя въ годъ. Единственно по склонности къ новостямъ и въ подражаніе чужестраннымъ, по множеству перемѣнъ въ одеждѣ, въ строеніи, воспитаніи, даже и въ образѣ мыслей“. Но онъ не желаетъ однако явиться передъ обществомъ отъявленнымъ и неразумительнымъ противникомъ всего чужого, даже хорошаго. „Хотя я русскій и сердцемъ и душою, и предпочитаю отечество всѣмъ землямъ безъ изъятія; не изъ числа однакожъ тѣхъ, которые отъ упрямства, предразсудковъ и самолюбія пренебрегаютъ вообще все иностранное и доказательства отражаютъ словами: *пустое, вздоръ, негодится*“.

Между тѣмъ у Растопчина подростали дѣти; онъ сталъ заботиться о ихъ воспитаніи и, несмотря на свой патріотизмъ и высказываемое имъ русское чувство, собирался ѣхать за границу, подобно всѣмъ богатымъ русскимъ людямъ того времени, съ намѣреніемъ тамъ воспитывать дѣтей. Онъ мечталъ о тепломъ климатѣ, о спокойной жизни, посреди другихъ людей и интересовъ.

Общество, въ которомъ онъ жилъ въ Москвѣ, по всей вѣроятности, ему не нравилось. „Я всегда возвращаюсь изъ Москвы въ огорченіи отъ видѣннаго и слышаннаго, писалъ онъ къ Циціанову: развратъ достигъ до тѣхъ людей, кои почитались степенными“. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь тогдашняго московскаго общества, какъ это видно изъ современныхъ записокъ, походила на какую-то продолжительную безумную оргію, въ которой не было ни мысли, ни духовныхъ и нравственныхъ интересовъ. Пьянство въ огромныхъ размѣрахъ и развратъ, скаковые лошади, азартная игра, въ одну ночь уносящая состоянія, медвѣжьи травли, пѣтушьи и гусиные бои—вотъ въ чемъ проводили время богатые и знатные представители московскаго общества, люди, игравшіе въ оппозицію съ властью. Растопчинъ чаще всего бывалъ у Карамзина и у Дашковой. Знаменитая княгиня очень полюбила Растопчина и всѣмъ твердила, что она въ своей жизни нашла лишь трехъ человѣкъ, кои дѣлаютъ честь людямъ: Фридриха В., Дидерота и Растопчина. Понятно, какъ хотѣлось Растопчину уѣхать за границу, но начавшаяся война съ Наполеономъ помѣшала его сборамъ и заставила его принять участіе въ общемъ возбужденіи Россіи.

Война эта была для него не новость. Знакомый съ современной исторіей Европы, слѣдя за событіями, Растопчинъ давно уже вѣрно смотрѣлъ на возроставшее могущество Наполеона, сдѣлавшагося наслѣдникомъ революціи. Еще въ 1800 году Растопчинъ замѣтилъ, какъ Франція „черезъ непонятныя происшествія, произведенныя варварствомъ, сумасшествіемъ и геройствомъ, приведя не только себя, но и двѣ трети Европы въ совершенный хаосъ...., оканчиваетъ нынѣ

преданіемъ себя въ самовластіе иноземца Бонапарте“¹⁾. Онъ понималъ, что съ Бонапарте во главѣ правленія, французы ничего не выиграли отъ своей революціи: „Мнѣ то смѣшно, что люди не признаются никогда въ ихъ сумасшествіи, и стоило ли жизни близъ двухъ милліоновъ людей, потрясенія всѣхъ властей и произведенія непонятныхъ варварствъ и безбожія то, чтобы сдѣлать изъ пѣхотнаго капитана императора и короля?“ — пишетъ онъ къ Циціанову²⁾. Ему не нравилась наступающая война и союзъ съ Англіей, которой своекорыстіе онъ хорошо понималъ; онъ не желалъ, чтобы мы „набивались на драку“. Какъ и прежде, съ своей политической точки зрѣнія, онъ скорѣе былъ за союзъ съ Франціей и возвращался къ старой мысли своей о раздѣлѣ Турціи, съ тѣмъ, чтобы дружбу Франціи купить уступкою ей Египта“³⁾. Но война началась, и бѣдствія ея вызвали Растопчина на публичное выраженіе своихъ мыслей, враждебныхъ французамъ и ихъ господствовавшему вліянію. Эта нелюбовь къ французамъ, которую Растопчинъ объяснялъ самъ тогдашнею войною съ ними, увеличивалась еще отъ мелкихъ непріятностей, которыя онъ долженъ былъ выносить дома отъ французскихъ гувернеровъ, нанимаемыхъ имъ для дѣтей. Несмотря на свою любовь ко всему русскому, Растопчинъ не могъ отказаться отъ общепринятаго обычая — воспитывать дѣтей по-французски. Неудачный выборъ воспитателей раздражалъ Растопчина, и онъ подробно описываетъ свои непріятности по этому поводу въ письмахъ къ Циціанову: „Не знаю, жалуется онъ ему, Сергуша (сынъ), когда меня не будетъ на свѣтѣ, будетъ-ли знать цѣну всѣхъ моихъ пожертвованій для его воспитанія и что *терпѣть должно отъ этихъ иноземцевъ*“⁴⁾. Въ самомъ дѣлѣ нельзя было не раздражаться Растопчину, когда одинъ изъ его гувернеровъ вздумалъ обращать питомца своего въ католичество; другой былъ до крайности грубъ и заносчивъ; третій завелъ преглупую романическую исторію въ домѣ, такъ что пришлось разставаться со всѣми тремя въ короткое время. „Голова идетъ кругомъ, жалуется онъ; Богъ знаетъ, гдѣ сыскать человѣка. Какое несчастіе, что Петръ Первый насъ обрилъ, а Шуваловъ заставилъ говорить этимъ нечестивымъ французскимъ языкомъ“⁵⁾. Отъ этихъ домашнихъ непріятностей больше скоплялась желчь его противъ французовъ, вылившаяся въ печати.

Первое произведеніе Растопчина въ ряду прочихъ этого рода произведеній, изобилующихъ выходками противъ французовъ, по-

¹⁾ Сборникъ Каширева, „Картина Европы“, стр. 103.

²⁾ Тихонравовъ, указан. статья, стр. 342.

³⁾ *Ib.*, стр. 363.

⁴⁾ *Ib.*, стр. 365.

⁵⁾ *Ib.*, стр. 366.

явилось не задолго до тильзитскаго мира. То были „Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ, Россійскаго дворянина Силы Андреевича Богатырева“. (Спб. 1807 г. 4^о). Этотъ небольшой памфлетъ ходилъ въ рукописи и, соотвѣтствуя настроенію общества, переписывался вездѣ. Одинъ экземпляръ его дошелъ до Петербурга, и А. С. Шишковъ, обрадовавшись, вѣроятно, тому, что нашелъ въ неизвѣстномъ для него авторѣ энергическаго поборника его идей о вредномъ вліяніи французскаго воспитанія, напечаталъ „Мысли“ Растопчина, безъ его вѣдома, въ С. Петербургѣ. Но онъ кое-что измѣнилъ въ первоначальномъ текстѣ, сгладилъ нѣкоторые, показавшіяся ему жесткими выраженія, ослабилъ выраженіе ненависти къ иностранцамъ и прибавилъ похвалу Бенингсену, о которой не думалъ Растопчинъ. Авторъ счелъ поэтому нужнымъ въ томъ же году издать свои „Мысли“ въ Москвѣ, съ приложеніемъ „письма Силы Андреевича Богатырева къ одному пріятелю въ Москвѣ“, гдѣ онъ жалуется публикѣ на исправленія, сдѣланныя петербургскимъ издателемъ.

Что такое этотъ первый и знаменитый памфлетъ Растопчина, принятый съ восторгомъ тогдашнимъ русскимъ обществомъ и доставившій автору громкую извѣстность? Передъ нами выходитъ любимый герой Растопчина, идеаль, по его мнѣнію, настоящаго русскаго чело-вѣка, съ древними доблестями, непохожій на людей современнаго поколѣнія. Это „Ефремовскій дворянинъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, отставной подполковникъ, израненный на войнахъ, три выбора предводитель дворянскій и кавалеръ Георгіевскій и Владимірскій“. Онъ „отправился изъ села Зажитова, по случаю милиціи въ Тулу для закупки ружей, и узнавъ о побѣдѣ подъ Прейсишъ-Эйлау, проѣхалъ въ Москву для развѣдыванія о двухъ сыновьяхъ, братѣ и племянникѣ, кои служатъ на войнѣ. Отпѣвъ молебенъ за здравіе государя и отстоявъ набожно обѣдню въ Успенскомъ Соборѣ, по выходѣ, въ прекрасный день сѣлъ на Красномъ крыльцѣ для отдохновенія, и преисполненъ бывъ великими происшествіями, славою Россіи и своими замѣчаніями, положи локти на колѣна, поддерживая сѣдую голову руками, сталъ думать въ слухъ“. Такимъ образомъ въ этомъ идеаль Растопчина соединяются тѣ доблести, которыя онъ желалъ бы видѣть въ настоящемъ русскомъ чело-вѣкѣ: дворянство, военная храбрость, преданность государю, набожность и патріотизмъ.

Въ чемъ же главное содержаніе мыслей Богатырева, нашедшихъ такой сильный отголосокъ въ русскомъ обществѣ 1807 года? Эти мысли уже извѣстны намъ; онѣ направлены противъ иностраннаго, преимущественно французскаго вліянія, но никогда онѣ прежде не выражались такимъ простымъ, чисто русскимъ и энергическимъ языкомъ: „Господи, помилуй! — такъ начинается свою думу Богатыревъ:

да будетъ ли этому конецъ? долго ли намъ быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за умъ, сотворить молитву, и плюнувъ, сказать Французу: сгинь ты, дьявольское навожденіе! ступай въ адъ, или во свояси, все равно, только не будь на Руси“. Главныя нападенія направлены на французскихъ воспитателей, которыхъ берутъ у насъ „на перехватъ“ и которые своимъ вліяніемъ уничтожаютъ въ человѣкѣ всякое русское чувство. „Тотъ и уменъ и хорошъ, котораго французъ за своего брата приметъ. Какъ же имъ любить свою землю, когда они и русскій языкъ плохо знаютъ? Какъ имъ стоять за вѣру, царя и отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русскихъ считаютъ за медвѣдей?“ Воспитанники французовъ для Рас-топчина—дураки и дуры; онъ смѣется надъ ихъ понятіями, нарядами и развращенному поколѣнію идеалъ для подражанія представляетъ въ предкахъ. Имъ и слава и царство небесное! „Чего лучше быть русскимъ, не стыдно нигдѣ показаться, ходи носъ въ верьхъ, есть что поразсказать, а слушать иной хоть не радъ, да готовъ“. И Богатыревъ выставляетъ величіе Россіи, перечисляетъ ея славныхъ людей: воиновъ, спасителей отечества, духовныхъ, министровъ, писателей... Вся ненависть Богатырева, впрочемъ главнымъ образомъ направлена на послѣднюю французскую исторію и на новаго властителя Франціи, съ которымъ мы вели войну. Съ нравственнымъ характеромъ ихъ онъ не можетъ примириться: „въ французской всякой головѣ вѣтряная мельница, гошпиталь и сумасшедшій домъ. На дѣлахъ они плутишки, а на войнѣ разбойники; два лишь правила у нихъ есть: *все хорошо, лишь бы удалось. Что можно взять, то должно прибрать*“. Революція представлена очень просто: „Вить что проклятые надѣлали въ эти двадцать лѣтъ! все истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, потомъ спорить, браниться, драться; ничего на мѣстѣ не оставили, законъ попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, царя казнили, да какого царя! — отца. Головы рубили, какъ капусту; всѣ повелѣвали, то тотъ, то другой злодѣй. Думали, что это будетъ равенство и свобода, а никто не смѣлъ рта разинуть, носу показать и судъ былъ хуже Шемякина. Только и было два опредѣленія: либо въ петлю, либо подъ ножъ“. Также оригинально передается и возвышеніе Наполеона: „Погналъ Сенатъ въ зашей, забралъ все въ руки, запрягъ и военныхъ и свѣтскихъ и духовныхъ и сталъ погонять по всѣмъ по тремъ“. Разсказавъ по своему завоеванія Бонапарта, Богатыревъ прибавляетъ: „А все мало! весь міръ захотѣлъ покорить, что за Александръ Македонскій? Мужичишка въ рекруты не годится, ни кожи, ни рожи, ни видѣнья, разъ ударить, такъ слѣдъ простынетъ и духъ вонъ; а онъ таки лѣзетъ впередъ на Русскихъ. Ну, милости просимъ!“

ЛЕКЦІЯ XXIII.

Вліяніє Растопчина на літературу. Повість «Охъ, французы». — Комедія «Вѣсти или убитой живой». — Отношеніє Растопчина къ Сперанскому.

Рѣзкія до чрезвычайности выходки Растопчина въ его „Мысляхъ въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ противъ французовъ и ихъ власти, теля объясняются тогдашнею войною съ ними, ихъ успѣхами и поэтому весьма понятнымъ чувствомъ ненависти, возбужденнымъ въ умахъ. Имя Наполеона тогда уже имѣло обаяніе для многихъ; Растопчинъ, безъ сомнѣнія, понималъ его не такъ, какъ выставилъ въ своей брошюрѣ. Происхожденіе и цѣль памфлета объясняетъ самъ Растопчинъ гораздо позже, въ сочиненіи, написанномъ имъ какъ бы въ защиту свою отъ нападеній европейскихъ публицистовъ, такимъ образомъ: „Небольшое сочиненіе, изданное мною въ 1807 году, имѣло своимъ назначеніемъ предупредить жителей городовъ противъ французовъ, жившихъ въ Россіи, которые старались пріучить умы къ мысли пасть передъ арміями Наполеона“ ¹⁾. Трудно сказать, на сколько справедливо замѣчаніе Растопчина и дѣйствительно ли французы у насъ могли имѣть вліяніе на умы, но памфлетъ ждалъ дѣйствовать на массу. Онъ и понравился массѣ, которая быстро раскупила его до 7000 экз., конечно, не масса народа; а большинство грамотнаго общества, въ которомъ и безъ того уже бродила ненависть къ французамъ, возбужденная войною, и ея неуспѣхомъ, отъ котораго падалъ духъ. „Мысли“ Растопчина скоро нашли подражателей въ литературѣ; онѣ какъ бы задавали тонъ, которому вторили другіе. Такъ, напр., двѣ комедіи Крылова изъ этого времени: „Модная Лавка“ и „Урокъ дочкамъ“ вполне раздѣляютъ мысли Богатырева и направлены противъ французовъ и ихъ вліянія, модъ и легкихъ нравовъ. Левшинъ, очень плодовитый авторъ множества сочиненій по сельскому хозяйству, въ томъ же 1807 году издалъ сочиненіе: „Посланіе Русскаго къ французолубцамъ“ — съ тѣмъ же самымъ направленіемъ и содержаніемъ. Отъ этой литературы, порожденной взволнованнымъ чувствомъ, вдругъ возникшею ненавистью къ французамъ, вслѣдствіе войны съ ними, нельзя было ждать обдуманности и безпристрастія; увлеченіе было очень естественно. Такъ, плохая комедія „Высылка французовъ“ ²⁾ (1807 г.) въ своемъ увлеченіи дошла даже до нападеній на просвѣщеніе. Для насъ важно, что начало этого литературнаго направленія, самобытнаго и рѣзкаго,

¹⁾ La vérité sur l'incendie de Moscou. Сов., изд. Смирдина, стр. 274.

²⁾ Авторъ неизвѣстенъ.

было положено Растопчинимъ. Но въ немъ было одно достоинство, котораго не было у его подражателей—оригинальное пониманіе лицъ и событій и живое отношеніе къ нимъ; это выражалось и въ его блестящемъ свободномъ и чисто русскомъ языкѣ, которымъ никто, кромѣ Растопчина, не владѣлъ тогда въ такой степени. Самое сильное возбужденіе своимъ талантомъ и направленіемъ Растопчинъ произвелъ на С. Н. Глинку, который съ начала слѣдующаго 1805 г. сталъ въ Москвѣ издавать свой патріотическій журналъ „Русскій Вѣстникъ“, посвященный исключительно Россіи и ея интересамъ. О немъ и его журналѣ мы скоро скажемъ, а теперь замѣтимъ, что Глинка тотчасъ сдѣлался поклонникомъ Растопчина, и тотъ помѣщалъ въ его журналѣ нѣкоторыя статьи въ томъ же родѣ. По разсказу самого Глинки, Растопчинъ, прочитавъ его объявленіе о журналѣ, въ которомъ опредѣленно высказывалось его будущее направленіе, и встрѣтившись съ издателемъ въ одномъ знакомомъ домѣ, высказалъ свое сочувствіе и обѣщалъ сотрудничество, но просилъ Глинку удерживать запальчивое перо его¹⁾.

Въ своемъ первомъ письмѣ къ издателю „Русскаго Вѣстника“, адресованномъ изъ села Зипунова, подъ псевдонимомъ *Устина Вѣнникова*²⁾, высказываетъ Растопчинъ полное сочувствіе къ предпріятію Глинки и удивляется смѣлости его духа:

„Вы имѣете въ виду единственно пользу общую, пишетъ онъ, и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея исцѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ, но забыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть колоть глаза и приводить въ изступленіе“. Вѣнниковъ думаетъ, что всѣ нападенія издателя „Русскаго Вѣстника“ не будутъ имѣть успѣха: „Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ и впадшихъ въ чужихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ“, и совѣтуетъ насмѣшку и карикатуру, которая лучше подѣйствуетъ на умы: „Представьте, напр., парикмахера, стригущаго русскаго, съ надписью: *подстриженный съверный Самсонъ*, или обезьяну, которая учитъ медвѣдя танцевать, съ надписью: *сержусь, но поклонюсь*, или бѣса, раздѣвающаго русскаго, съ надписью: *облечится и просвѣтитсѣ*“.

Растопчинъ писалъ съ увлеченіемъ, со страстью; мысль о родинѣ въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ она находилась тогда, наполняла всю его душу и выливалась подъ перо вполне задушевно. Это видно изъ его частнаго письма къ Глинкѣ, въ которомъ онъ приглашалъ его къ себѣ въ Вороново, чтобъ сообщить анекдотъ о

¹⁾ Тихонравовъ, указанная статья, стр. 370.

²⁾ Русск. Вѣстн., ч. I, стр. 68—72.

Суворовъ, котораго онъ называетъ „чудакомъ героемъ“. Его образу, вызванному изъ памяти, приписываетъ Растопчинъ возбужденіе своей литературной дѣятельности: „онъ какъ будто и изъ могилы своей выдѣлываетъ душу, разумѣется, душу русскую и вселяетъ въ нее гордость: „Пора духу русскому пріосаниться. Шопотъ—дѣло сплетницъ“. Такъ объясняетъ самъ Растопчинъ начало своей литературной дѣятельности. Главное содержаніе ея есть патріотическое чувство: „Что земля русская намъ не мачиха, объ этомъ готовъ спорить до тѣхъ поръ, пока не лягу въ мать сырую землю. Чего нѣтъ въ нашей родной колыбели? Было бы только у насъ *горячее къ ней сердце*, да обнимала бы ее покрѣпче душа русская; а то постоятъ она за себя“¹⁾).

Отсюда, изъ этого горячаго чувства къ родинѣ, которое заставило Богатырева говорить свои мысли вслухъ, явилось въ самомъ Растопчинѣ желаніе создать въ литературѣ типъ настоящаго русскаго человѣка, не зараженнаго французскимъ духомъ и воспитаннаго прямо по-русски. Желаніе это онъ старался осуществить въ своей замѣчательной повѣсти „Охъ Французы!“, которая была написана имъ безъ сомнѣнія въ періодъ времени до 1812 года, но напечатана чрезъ шестнадцать лѣтъ послѣ его смерти²⁾ и не вошла въ собраніе его сочиненій, сдѣланное Смирдинымъ (Спб. 1853 г.). Повѣсть эта, названная имъ „наборкою изъ былей“, чрезвычайно оригинальна. Мы говорили, что Растопчинъ не былъ литераторомъ по призванію, а потому понятно, что его повѣсть не похожа ни на одно произведеніе такого рода. Ея живой, бойкій языкъ, оригинальный въ высшей степени, умъ и наблюдательность надъ жизнью, которые блещутъ на каждой страницѣ, живыя лица, выхваченныя изъ тогдашняго общества, — все это имѣло бы большое вліяніе на литературу и вѣрно породило бы въ ней подражателей, еслибъ повѣсть была напечатана въ то время, когда была написана. Но явившись въ ту пору, когда настроеніе общества, породившее ее, давно исчезло, когда совершенно измѣнилось литературное направленіе, она не могла уже имѣть вліянія, и на нее обратили вниманіе только тѣ, которымъ исторически была извѣстна дѣятельность Растопчина. Намъ кажется, что повѣсть „Охъ Французы!“ заключаетъ въ себѣ и автобіографическія данныя, что въ лицѣ главнаго ея героя Богатырева или Кремнева, изображенъ отецъ Растопчина; или, по крайней мѣрѣ, главные лица повѣсти — снимки съ тѣхъ лицъ, которыя авторъ видѣлъ близко въ жизни и обществѣ и наблюдалъ ихъ.

¹⁾ Тихонравовъ, указан. статья, стр. 373.

²⁾ От. Зап. 1842 г., № 10.

Главная цѣль, однако, Растопчина въ повѣсти была поучительная—выставить вредъ французскаго воспитанія и осмѣять его. Онъ самъ называетъ себя лѣкаремъ, снимающимъ катаракты. Посвящается повѣсть лицамъ разнаго возраста, „разумѣется благороднымъ, по той причинѣ, что сіе почтенное сословіе есть подпора престола, защита отечества, и должно предпочтительно быть предохранено. Купцы же и крестьяне хотя подвержены всѣмъ извѣстнымъ болѣзнямъ, кромѣ нервовъ и меланхоліи, но еще отъ иноземства кой-какъ отбиваются, и сія летучая зараза къ нимъ не пристаётъ. Они и до сихъ поръ французовъ называютъ нѣмцами, вино ихъ — церковнымъ“. Выходки противъ французовъ разбросаны по всей повѣсти, но оставившись на главномъ героѣ, Луѣ Андреевичѣ Кремневѣ, на его семьѣ, на лицахъ, его окружающихъ, авторъ какъ бы позабылъ свою дидактическую цѣль, которую имѣлъ въ виду, и написалъ чрезвычайно живую, удачную и очень мѣткую картину изъ прежняго дворянскаго быта въ деревнѣ и Москвѣ конца XVIII и начала XIX вѣка. Конечно, герой его нѣсколько идеаленъ, но очень мало; зато всѣ другія лица дѣйствительны и взяты изъ жизни. Содержаніе очень просто: это собственно исторія любви, сватовства и потомъ женитьбы героя на бѣдной родственницѣ старой дѣвы, княжны Мишурской, проживающей въ Москвѣ посреди грязной, а подчасъ и забавной, живо схваченной обстановки крѣпостного быта. Юморомъ и наблюдательностью проникнута вся повѣсть съ начала до конца; очень можетъ быть, что лица ея—были портреты, но съ какою веселостью они написаны!

Къ тому же 1807 году, къ самому разгару войны относится комедія Растопчина: „Вѣсти или убитой живой“¹⁾. Это не комедія, а анекдотъ изъ того времени: московскіе сплетники и сплетницы распускаютъ вѣсть о томъ, что женихъ дочери Богатырева, находившійся въ дѣйствующей арміи офицеръ, убитъ въ сраженіи, и привозятъ эти вѣсти въ домъ старика, вызывая, конечно, и горе, и слезы. Но женихъ является здоровъ и невредимъ, да еще съ отличіемъ; сплетники пристыжены. Очевидно, подобныхъ случаевъ было тогда довольно, и московскіе вѣстовщики и другія лица комедіи взяты изъ жизни, но они каррикатурны. Анекдотъ слишкомъ былъ обыкновененъ; характеровъ не было, и комедія, поставленная на сцену, не имѣла успѣха. Глинка представляетъ и другую причину неупѣха комедіи Растопчина; она, по его словамъ, заключалась въ томъ, что въ ней выведены были лица, знакомыя Растопчину и всей Москвѣ. Они обидѣлись и отмстили автору шиканьемъ и свистомъ на пред-

¹⁾ Сочиненія Растопчина, изд. Смирдина, стр. 25—134.

ставленіи. Растопчинъ счелъ нужнымъ вступиться за себя и издалъ тогда же въ Москвѣ маленькую брошюру: „Письмо Вѣникова къ Богатыреву и отвѣтъ Богатырева Вѣникову“¹⁾. Изъ нея видно, что паденіе комедіи произошло отъ неудовольствія партіи приверженцевъ чужеземщины. „Ты не сердись, пишетъ Вѣниковъ къ своему другу, ты и на театрѣ тоже говорилъ, что на Красномъ Крыльцѣ, и я иногда воображалъ, что ты въ моихъ глазахъ. Досталось и модамъ, и мадамамъ, и сплетнямъ, и зараженнымъ заморскими проказами. Но объ Россіи ты говорилъ, какъ законный ея сынъ и нѣжный любовникъ... а потому ложная и кресельная публика не совсѣмъ благосклонно тебя приняла и заключила, что въ тебѣ много соли и что ты пересолилъ“. Вѣниковъ проситъ: „перестань проповѣдывать истину, ты ею дразнишь людей и надорвешься надъ порокомъ“... Въ отвѣтъ своемъ Богатыревъ или Растопчинъ говоритъ о своемъ характерѣ и высказываетъ презрѣніе къ публикѣ, возставшей на него: „Меня на вѣку ужъ много разъ сквозь строй языками гоняли, а загонять не могутъ. Живъ по милости Божіей. Да я жъ не хочу быть въ числѣ тѣхъ людей, коихъ всѣ любятъ. Они или ничто, или все, а я по своей натурѣ иныхъ почитаю, иныхъ уважаю, другихъ презираю, и ничего не скрываю... Языкъ мой — врагъ мой; увижу дурное — кричу: разбой!“

Растопчинъ, говорятъ, написалъ еще нѣсколько комедій, дѣйствующими лицами въ которыхъ онъ выставялъ своихъ знакомыхъ или людей, хорошо знакомыхъ Москвѣ, но, прочитавъ эти комедіи въ близкомъ кругу, истребилъ ихъ. Эти первыя патріотическія сочиненія Растопчина сдѣлали имя его извѣстнымъ между всѣми, которые болѣе или менѣе раздѣляли его убѣжденія. Скоро имя Растопчина стало становиться рядомъ съ именемъ Карамзина въ московскомъ обществѣ, которое слышало не разъ, какъ тотъ и другой высказывали свои убѣжденія, въ которыхъ были согласны между собою. Направленіе сочиненій Растопчина, доставившихъ ему громкую извѣстность, не было новостью; это былъ голосъ Москвы и ея особаго, мѣстнаго патріотизма, въ которомъ высказывались оппозиціонныя стремленія этого города, консерватизмъ московскихъ старовѣровъ и нелюбовь къ тѣмъ реформамъ, которыми было ознаменовано начало царствованія Александра. По мѣрѣ того, какъ союзъ нашъ съ Наполеономъ послѣ тильзитскаго мира близился къ разрыву, предвѣщавшему послѣднюю жестокую борьбу, и по мѣрѣ того, какъ развивались въ это же время государственныя преобразованія Сперанскаго, число недовольныхъ возрастало ежедневно. Во главѣ ихъ стояли Карамзинъ и Растопчинъ.

¹⁾ Соч., стр. 135—144.

Личный характеръ, прежнее воспитаніе, привычка къ самовластью при Павлѣ, положеніе въ свѣтѣ удалившагося отъ дѣлъ вельможи и большое богатство, основанное на крѣпостномъ трудѣ, — все это должно было поставить Растопчина въ ряды оппозиціи, въ ряды старой партіи. Въ характерѣ и въ дѣйствіяхъ Растопчина, какъ замѣчали современники, была грубая смѣсь утонченного лоска парижанина съ дикими выходками чисто русскаго произвола и грубыми замашками московскаго барства, — смѣсь, характеризующая всѣхъ почти лучшихъ людей Екатерининской эпохи. Но нельзя, конечно, утверждать, что Растопчинъ, въ своихъ патріотическихъ сочиненіяхъ, только хлопоталъ прослыть кореннымъ русскимъ человекомъ и патріотомъ: въ немъ говорило настоящее, искреннее чувство, но только чувство. Очень можетъ быть, что подъ словами патріотическихъ думъ Богатырева, направленными противъ чужеземщины и французскаго вліянія, словами, понятными въ разгаръ войны, скрывались и консервативныя убѣжденія и взгляды Растопчина, но они такъ были скрыты, что ихъ трудно было разглядѣть. Что онъ былъ противъ преобразованій—видно изъ его удаленія отъ двора и отъ новаго императора до самаго того времени, когда критическія обстоятельства заставили сдѣлать его московскимъ главнокомандующимъ; какъ прошли эти обстоятельства, Растопчинъ снова долженъ былъ удалиться въ отставку. Извѣстныя всѣмъ консервативныя убѣжденія графа Растопчина заставили приписывать ему „Возраженія“ на книгу графа Стройновскаго „Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами“, русскій переводъ которой появился въ 1800 году. Такихъ возраженій изъ очень многочисленной рукописной литературы по этому предмету, сильно занимавшему умы помѣщиковъ и государственныхъ людей въ первую половину царствованія Александра, съ именемъ Растопчина напечатано у насъ два ¹⁾, изъ которыхъ первое нападаетъ только на общую мысль освобожденія, а второе входитъ въ подробности дѣла. Издатель не объяснилъ, почему онъ эти сочиненія считаетъ принадлежащими Растопчину. Россія, по мнѣнію автора, при освобожденіи крестьянъ грозитъ погибель, что-то въ родѣ французской революціи—государство не въ состояніи будетъ собрать подати, когда крестьяне разбредутся. Кромѣ редактора „Чтеній“ возраженіе на книгу Стройновскаго приписываетъ Растопчину и Тихонравовъ ²⁾ потому, вѣроятно, что въ нѣкоторыхъ мысляхъ „Возраженій“ и въ брошюрѣ „Плугъ и соха“ есть сходство. Надобно думать, что изъ

¹⁾ Чтенія въ Общ. ист. и др. рос., 1859 г., кн. III, отд. V, стр. 37 — 42; 1860 г. кн. II, отд. V, стр. 203—217.

²⁾ Указанная статья, стр. 309.

вѣстный всѣмъ консервативный образъ мыслей Растопчина въ ту тяжелую пору между несчастною войною и грозившимъ нашествіемъ, когда всякая либеральная мысль и каждая реформа казались внушенными французскимъ вліяніемъ и чуть не измѣною, заставилъ соединить „Возраженія“ съ именемъ Растопчина. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ, подобно Карамзину, былъ противъ освобожденія крестьянъ, и мы не отрицаемъ принадлежности „Возраженій“ ему. Но сынъ Растопчина положительно отрицаетъ ее и смотритъ на это, какъ на выдумку¹⁾; доказательства его однако не убѣдительны вполне. Аванасьевъ, которому принадлежитъ редакція „Возраженій“ въ „Чтеніяхъ“, увѣряетъ, что, по всѣмъ преданіямъ образованнаго русскаго общества, они дѣйствительно принадлежать ему²⁾, что во всѣхъ спискахъ ихъ стоитъ его имя. То же подтверждаетъ и Сушковъ, на основаніи одного мѣста самихъ возраженій, гдѣ Растопчинъ говоритъ о своихъ сосѣдяхъ по имѣнію³⁾, извѣстному Воронову.

Итакъ Растопчинъ былъ противникомъ всякой мысли объ освобожденіи. Говоря въ своихъ „Мысляхъ“ о французскомъ вліяніи на молодое поколѣніе, Растопчинъ или Богатыревъ говоритъ, что у него всему дано свое названіе, гдѣ извращаются коренныя русскія понятія, а именно: Богъ помочь — Bon jour, отецъ — monsieur, старуха — тапан, холопъ — mon ami, Москва — Ridicule, Россія — Fidonc⁴⁾. Въ ту тяжелую пору Россіи всѣ эти Растопчины, Кремневы, Богатыревы и другіе консервативные столбы отечества не могли быть ничѣмъ инымъ, какъ защитниками рабства. Но на Растопчина пало въ тѣ же годы болѣе тяжелое обвиненіе: это участіе его въ паденіи Сперанскаго въ началѣ 1812 года. До сихъ поръ этотъ печальный случай изъ новой русской исторіи, гдѣ самодержавный государь принесъ въ жертву слѣпому, раздраженному мнѣнію консервативнаго большинства русскаго общества своего любимца, человѣка искренно ему преданнаго, исполнявшаго только его волю и оказавшаго дѣйствительныя услуги государству, — представляется темнымъ и необъясненнымъ, потому что раскрытіе его есть психологическая загадка, разрѣшеніе которой было бы возможно, еслибъ для насъ была двусмысленная натура самого Александра. До самаго послѣдняго времени, писавшіе о Сперанскомъ высказываютъ разныя, часто противорѣчащія догадки и предположенія. Мнѣніе объ участіи Растопчина въ этомъ темномъ дѣлѣ давно сложилось. По своему богатству и своему вліянію въ обществѣ, по уму и положенію, Растопчинъ

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1860 г., XXVI, Соврем. Лѣтопись, стр. 37.

²⁾ Чтенія, 1860 г., кн. II, отд. V, стр. 193.

³⁾ Чтенія, 1861 г., кн. IV, отд. V, стр. 181—182.

⁴⁾ Соч., стр. 9—10.

представлялъ выдающуюся фигуру въ это смутное время. О немъ говорили всѣ; на него и на Карамзина указывали, какъ на вождей, консерваторы. Его ненависть къ Сперанскому и къ реформамъ была извѣстна, и въ это время послѣдовало сближеніе съ нимъ Александра, который, посѣтивъ въ 1809 году Москву, „говорилъ съ Растопчинимъ и былъ восхищенъ силою и живостью его рѣчи“ ¹⁾. Въ Твери жила любимая сестра Александра — Екатерина Павловна, ненавидѣвшая революцію, французовъ, Наполеона, женщина консервативныхъ и легитимныхъ убѣжденій, большая поклонница Карамзина, сблизившая его съ царственнымъ братомъ. Мужъ ея, принцъ Георгъ Ольденбургскій, былъ генералъ-губернаторомъ въ Твери, и ея маленькій дворъ здѣсь сдѣлался центромъ соединенія людей, враждебныхъ реформамъ и Сперанскому. Здѣсь Карамзинъ читалъ Александру свою знаменитую „Записку“; здѣсь любили слушать пылкія рѣчи пріѣзжавшаго изъ Москвы Растопчина, уже получившаго довѣріе Александра. Растопчинъ доставлялъ Екатеринѣ Павловнѣ разные рукописныя свои сочиненія, и письма его къ ней ²⁾ доказываютъ ихъ близость. Передъ нею выигрывалъ онъ своею преданностью къ Павлу. Въ это время мнѣнія Растопчина имѣли большой вѣсъ. „Онъ излагалъ въ откровенныхъ письмахъ къ государю, говоритъ біографъ его Бантышъ-Каменскій ³⁾, свои опасенія, средства, какія употреблялъ Наполеонъ, чтобы вредить Россіи, положить себѣ дорогу къ сердцу ея, поколебать и разрушить основаніе, на которомъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, утверждено государство сильное, страшное врагамъ вѣрою и любовію. Можетъ быть Растопчинъ далеко распространялъ свое усердіе и, какъ человѣкъ, ошибался; но онъ говорилъ не за себя одного, за древнюю столицу, которая избрала его представителемъ, уполномочила ходатайствовать у престола, въ пользу и защиту отечества (письмо къ государю графа Растопчина, отъ 17 марта 1812 года)“. Это послѣднее письмо ⁴⁾ и есть именно то, гдѣ Сперанскій и человѣкъ десять близкихъ къ нему людей обвиняются въ прямой измѣнѣ отечеству, въ сношеніяхъ съ Наполеономъ и въ полученіи отъ него подарковъ. Растопчинъ будто бы говоритъ здѣсь, какъ избранникъ „первѣйшаго сословія“, говорить, что „время заняться исправленіемъ монархіи и критическаго ея положенія“. Въ заключеніе онъ прибѣгаетъ къ угрозамъ: „Письмо сіе есть послѣднее и если останется не дѣйствительнымъ, тогда сыны отечества необходимою себѣ поставятъ двинуться въ сто-

¹⁾ Богдановичъ, Исторія царствованія имп. Александра I, т. III, стр. 202.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г. стр. 759—762.

³⁾ Словарь достопамятныхъ людей русской земли, т. III, стр. 124.

⁴⁾ Русск. Ист. Сборн. Лонд. 1859 г. I, стр. 42—45.

лицу и настоятельно требовать какъ отертыя сего злодѣйства, такъ и переменъ правленія ¹⁾). Сперанскій, какъ извѣстно, оправдывался противъ этихъ обвиненій и ему не трудно было оправдаться, такъ какъ обвиненія придумала слѣпая ненависть. Письмо объ измѣнѣ Сперанскаго должно быть причислено къ тѣмъ подметнымъ, т.-е. анонимнымъ письмамъ, которыя расходились тогда во множествѣ списковъ по Петербургу и Москвѣ; въ нихъ отражалось возбужденное, встревоженное мнѣніе, но мнѣніе общества темнаго, грубаго, невѣжественнаго, лишеннаго всякаго политическаго пониманія обстоятельствъ. По словамъ Бантышъ-Каменскаго, Растопчинъ писалъ нѣсколько писемъ къ государю, всѣ они, какъ и содержаніе ихъ—неизвѣстны и только одно, упомянутое нами, приписывается ему. Сынъ Растопчина, конечно, опровергаетъ принадлежность письма отцу, но его доводы, и въ этомъ случаѣ, не совсѣмъ убѣдительны. Біографъ Сперанскаго, баронъ Корфъ, кажется, положительно доказалъ, что письмо это не было писано Растопчинымъ. Вопросъ о принадлежности письма этому послѣднему, по мнѣнію барона Корфа, и существовать не можетъ. „Растопчинъ при извѣстной заносчивости и строптивости характера, былъ, однако, человѣкъ чрезвычайно умный, чрезвычайно образованный и искусно владѣвшій перомъ, а письмо съ мнимою его подписью, несмотря на нѣкоторое, правда, подражаніе его тону и слогу, представляетъ, по всему своему содержанію, верхъ грубаго невѣжества, нелѣпости, незнанія политическихъ обстоятельствъ и безграмотства“ — говоритъ баронъ Корфъ. По его словамъ, письмо это „родилось въ самыхъ низшихъ слояхъ чиновничества, въ томъ сословіи, надъ которымъ разразился указъ 1809 года объ экзаменахъ. Это подтвердилось отчасти и изслѣдованіемъ“ ²⁾). Въ оставленныхъ Растопчинымъ запискахъ на языкѣ французскомъ ³⁾ онъ говоритъ, что ссылка Сперанскаго была для него новостью, причину ея онъ приписываетъ другимъ лицамъ и измѣну Сперанскаго называетъ клеветою. Но записки эти были писаны гораздо позднѣе, подъ конецъ жизни, а въ ту пору Растопчинъ, по всему видимому, раздѣлялъ народное убѣжденіе объ измѣнѣ Сперанскаго. Это видно изъ письма его къ Александру, уже настоящаго, отъ 23 августа 1812 года, гдѣ онъ говоритъ о вредѣ пребыванія Сперанскаго въ Нижнемъ, называя его *se misérable Speransky*, пишетъ, что онъ чрезъ Злобина и Столыпина старается дѣйствовать въ губерніяхъ Пензенской и Саратовской и что нужно страхомъ ослабить ихъ ревность.

¹⁾ Орывокъ изъ этого письма помѣщенъ также въ Русск. Арх. 1892 г., № 8, стр. 405.

²⁾ Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 9—10.

³⁾ *Mémoires du comte Rostoptchine, écrits en dix minutes. Paris. 1839.*

Это былъ, конечно, вздоръ, но вслѣдствіе извѣстія, сообщеннаго Растопчинымъ, Сперанскій былъ удаленъ дальше, именно въ Пермь ¹⁾).

Такова была жизнь и литературная дѣятельность Растопчина до 1812 года, когда онъ въ самый разгаръ отечественной войны явится снова передъ нами съ своими прославленными афишами, освѣщенный зловѣщимъ блескомъ зарева московскаго пожара. Тогда въ полномъ свѣтѣ явятся передъ нами и темныя, и свѣтлыя стороны этого характера, замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ. Его первыя патріотическія попытки, съ рѣзкими выходками противъ французовъ, могли появиться только до тильзитскаго мира; послѣ него онъ замолчалъ, но война 12 года снова пробудила его и заставила обратиться къ народу. Для насъ важно, что Растопчинъ первый заговорилъ въ этомъ патріотическомъ тонѣ, первый положилъ начало этого рода литературѣ. Подражателей у него нашлось довольно. Впереди ихъ долженъ быть упомянуть Глинка.

ЛЕКЦІЯ XXIV.

С. Н. Глинка.—Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба.—Первыя произведенія Глинки.—Перемѣна въ убѣжденіяхъ Глинки.—Программа «Русскаго Вѣстника».

Послѣ Растопчина, этого знатнаго барина, воспитаннаго французами и французскою литературою, но явившагося во время неудачныхъ первыхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ какъ бы основателемъ патріотическаго направленія въ русской литературѣ, выступившаго съ простою русскою рѣчью, проникнутою глубокою ненавистью къ французамъ и ихъ вліянію, это патріотическое направленіе, вызванное изъ жизни отношеніями времени, стало на нѣсколько лѣтъ господствующимъ. Имъ проникались самыя разнообразныя произведенія литературы, оно доставило извѣстность, правда, недолговѣчную, нѣсколькимъ литературнымъ именамъ, которыя безъ этой патріотической струи, прямо попадающей въ сердце возбужденнаго общества, остались бы совершенно безвѣстными. Направленіе это имѣло жизнь, находило сочувствіе, потому что стояло въ близкомъ отношеніи къ времени, но, съ другой стороны, эта близость къ времени доводила до преувеличеній и до увлеченій, которыя дѣйствовали вреднымъ образомъ на мысль общества, возбуждая его къ самохвальству и самодовольству, мѣшающимъ здравому и хладнокровному сужденію и возбуждающимъ въ обществѣ презрѣніе къ

¹⁾ Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 67.

тому неизбежному единственному пути, по которому пошло наше просвѣщеніе со временъ Петра В. Народность, которая вызывалась теперь патріотическою литературой, очень часто прикрывала своимъ знаменемъ глубокое невѣжество, бессмысленную любовь къ старинѣ и преданію и ненависть ко всякому улучшенію жизни. Не надобно забывать, что при жалкомъ состояніи нашей періодической печати и при цензурныхъ отношеніяхъ всякая литературная борьба съ этимъ направленіемъ была почти невозможна; дѣло ограничивалось только легкими, случайными замѣтками, да рукописными эпиграммами, ходившими въ кругу писателей и людей, интересовавшихся литературой. Историческія обстоятельства, къ счастью, не допустили укорениться въ нашей литературѣ этому патріотическому направленію, грозившему, повидимому, приостановить наше развитіе. Счастливая борьба съ Наполеономъ, европейскіе походы, въ теченіе которыхъ такъ много замѣчательныхъ личностей познакомились съ Европою, самая великость переживаемыхъ событій и прежнія, хорошія вліянія первыхъ лѣтъ царствованія Александра, все это будило мысль и не позволяло ей отупѣть и опешлѣть посреди криковъ патріотическаго самодовольства.

Громкую извѣстность въ этотъ періодъ патріотическихъ увлеченій получило имя С. Н. Глинки, издававшего въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ журналъ „Русскій Вѣстникъ“, который появился непосредственно вслѣдъ за памфлетами Раѣстопчина, вызвавшими какъ бы къ жизни и это направленіе, и этотъ журналъ. Глинка жилъ очень долго и всю жизнь свою писалъ и печаталъ множество сочиненій, проникнутыхъ, впрочемъ, однимъ направленіемъ, которое онъ рѣшительно высказалъ въ своемъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ первый разъ. Этому направленію онъ оставался вѣренъ всю жизнь и высказывалъ его съ пыломъ страсти, очень часто доходившимъ до смѣшнаго. Но при всей своей увлекательности, натура Глинки была честная; свои убѣжденія онъ цѣнилъ дорого, ставилъ ихъ выше всѣхъ матеріальныхъ выгодъ, о которыхъ почти всегда забывалъ. Какъ въ его характерѣ, такъ и въ его жизни и литературной дѣятельности было что-то до крайности безпорядочное, что и составляетъ причину, почему имя его, несмотря на чрезвычайную плодовитость его въ литературномъ отношеніи, не имѣетъ почти мѣста въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вся его дѣятельность высказалась вполне въ первые годы изданія имъ „Русскаго Вѣстника“, потомъ онъ только повторялся. Эта крайняя безпорядочность мысли Глинки, зависѣвшая отъ ея пылкости, отразилась и въ „Запискахъ“ о его жизни, составленныхъ имъ въ позднюю пору жизни и представляющихъ воспоминанія. Память измѣняла ему не столько отъ лѣтъ, сколько отъ пыл-

кости; часто смѣшивалъ онъ событія и лица, а потому пользоваться его записками нужно съ большою осторожностью, хотя онѣ даютъ прекрасный матеріалъ для знакомства съ личностію самого Глинки.

С. Глинка, родомъ изъ дворянъ помѣщиковъ Смоленской губерніи родился въ деревнѣ Духовщинскаго уѣзда въ 1775 году. Помѣщичій бытъ, съ дѣтства окружавшій его въ семействѣ, представленъ Глинкою въ воспоминаніяхъ совершенно идеально. Помѣщичья семья Глинки представляетъ собою патріархальныя достоинства: „Алчная роскошь, говоритъ онъ, не отдѣляла еще тогда рѣзкими чертами помѣщиковъ отъ почтенныхъ питателей рода человѣческаго“ (по выраженію Княжнина), т. е. отъ крестьянъ¹⁾. Жизнь деревенская кажется ему раздольемъ, и обратная сторона медали вполне ускользаетъ отъ его вниманія. Историческія воспоминанія совпадаютъ для Глинки съ царствованіемъ Екатерины, на которое онъ смотритъ, какъ на эпоху славы и счастья Россіи. Все, что имѣло отношеніе къ этому времени,—дорого для Глинки. Недалеко отъ ихъ села была родина Потемкина; онъ самъ часто ѣзжалъ мимо въ Петербургъ окруженный баснословно роскошною обстановкою, и Глинка считаетъ своимъ долгомъ защитить знаменитаго временщика отъ нареканій въ расхищеніи казеннаго достоянія. На первоначальное развитіе Глинки имѣлъ вліяніе, хотя и непродолжительное, дядя—масонъ, но домашнее воспитаніе скоро должно было окончиться. Въ 1781 году Екатерина, возвращаясь изъ Бѣлоруссіи въ Петербургъ, ѣхала на Смоленскъ мимо родины Потемкина и недалеко отъ деревни Глинокъ. Вся семья устроила ей на перемѣнѣ лошадей деревенское угощеніе, которымъ распоряжался отецъ Глинки, бывшій капитанъ-исправникомъ. Императрица осталась очень довольна, обласкала дѣтей исправника и велѣла записать трехъ въ кадетскій корпусъ. Эта встрѣча Екатерины, вѣроятно по семейнымъ рассказамъ, осталась самымъ дорогимъ воспоминаніемъ Глинки. Его дѣтство прошло такимъ образомъ въ деревнѣ посреди патріотическихъ восторговъ отъ царствованія Екатерины и довольства помѣщичьею жизнью, на которую онъ смотритъ, какъ на благословенную идиллію, хотя и записываетъ о какомъ-то общемъ возстаніи крѣпостныхъ крестьянъ въ ихъ окрестностяхъ и замѣчаетъ только, что „какая-то невидимая сила волновала села и деревни“²⁾.

Черезъ годъ послѣ проѣзда Екатерины, Глинку и брата его повезли въ Петербургъ, въ кадетскій корпусъ, въ тотъ извѣстный

¹⁾ Записки С. Н. Глинки. Спб. 1895, стр. 2—3.

²⁾ Ibid., стр. 29.

шляхетный сухопутный корпусъ, гдѣ въ продолженіе почти всего прошлаго вѣка воспитывались для военной службы и свѣтской жизни дѣти лучшихъ дворянскихъ фамилій государства. Воспитаніе, совершенно на французскій ладъ и на языкъ французскомъ, находилось подъ главнымъ вліяніемъ извѣстнаго Бецкаго. Дѣти, по вступленіи въ корпусъ, тотчасъ попадали въ руки надзирательницъ французовъ, и подъ ихъ вліяніемъ скоро забывались и родной языкъ и воспоминаніе о прежней жизни. Въ высшемъ возрастѣ также и начальники и гувернеры всѣ были французы. Понятно, что участіе къ этой странѣ развилось очень рано въ Глинкѣ, отъ одного изъ своихъ наставниковъ онъ узналъ о приближающемся переворотѣ во Франціи и скоро сталъ жадно слѣдить за политическими событіями.

Однимъ изъ лучшихъ воспоминаній корпусной жизни Глинки было время управленія корпусомъ графа Ангальта, о которомъ онъ говоритъ съ глубокимъ уваженіемъ. Это былъ идеальный воспитатель въ духѣ гуманной философіи XVIII вѣка, внушавшій къ себѣ страстную любовь и воспитанниковъ и воспитателей. Ангальтъ самъ былъ увлеченъ образами классической древности; идеалы людей существовали для него только въ исторіи Греціи и Рима; это было общее направленіе того времени. Всѣ учителя Глинки, за исключеніемъ трагика Княжнина, были французы, даже русскую исторію преподавали извѣстные французы Леклеркъ и Левекъ. Французскій языкъ господствовалъ даже между самими кадетами, они безпрестанно декламировали наэтомъ языкѣ и разыгрывали французскія театральныя пьесы. Будущій пылкій патріотъ, Глинка увѣрялъ всѣхъ въ корпусѣ, что онъ родился во Франціи, а не въ Россіи... Тогда же, при врожденной пылкости характера, въ Глинкѣ сильно развилось воображеніе, онъ сталъ писать стихи, много сочинялъ и зачитывался французскими книгами. Если вѣрить его воспоминаніямъ, то кадеты его времени жили современной жизнію и слѣдили за тогдашними великими событіями по французскимъ журналамъ и газетамъ, чего никогда потомъ не бывало не только въ корпусахъ, но даже и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Графъ Ангальтъ завелъ въ корпусной залѣ столъ со всѣми современными заграничными извѣстіями, такъ что Глинка, не выходя изъ корпуса, познакомился съ политикою и со всѣми главными лицами политической исторіи того времени. Передъ этою жизнію жалкими казались Глинкѣ тогдашнія періодическія русскія изданія, которыя тутъ же рядомъ лежали на столѣ: „Зритель“ Крылова, „Меркурій“ Клушина, „Московскій журналъ“ Карамзина. Въ нихъ, говоритъ Глинка, „особенно вооружались противъ казенной ябеды и заразы роскоши и моды, источавшихъ бытъ сельской, а о

политической борьбѣ европейской въ нихъ не было и помину; она какъ будто не существовала для Россіи“¹⁾).

Изъ русскихъ учителей больше всѣхъ остался въ памяти Глинки Княжнинъ. Ему посвятилъ онъ нѣсколько страницъ своихъ воспоминаній. „Никто изъ нашихъ писателей не уважалъ трудовъ земледѣльцевъ болѣе Княжнина“—замѣтилъ онъ объ немъ между прочимъ²⁾. Другимъ учителемъ словесности былъ извѣстный актеръ и писатель—Плавильщиковъ. Умственная жизнь корпуса, благодаря Ангалту, была вообще замѣчательна въ то время, судя по воспоминаніямъ Глинки. По его разсказу, между кадетами была даже борьба мнѣній: были двѣ партіи—матеріалистовъ и спиритуалистовъ. Но преобладающимъ увлеченіемъ была страсть къ французскому театру. Однимъ словомъ, кадеты получали широкое въ духѣ вѣка образованіе, при чемъ военная сторона составляла въ немъ вовсе не главное. Все это гуманное направленіе измѣнилось вдругъ, когда по смерти графа Ангалта начальникомъ корпуса назначенъ былъ М. И. Кутузовъ, извѣстный фельдмаршалъ въ 1812 году. Это было въ послѣдніе годы царствованія Екатерины: ей не нравилось свободное направленіе корпуса; она и въ немъ боялась революціонныхъ идей, и Кутузовъ былъ призванъ водворить строгій военный порядокъ въ распущенномъ, по мнѣнію властей, заведеніи. Но это было уже въ послѣдній годъ пребыванія Глинки въ корпусѣ. Онъ вышелъ изъ него въ 1795 году въ чинѣ поручика, но въ душѣ совершеннымъ французомъ, съ большими симпатіями къ французской революціи, событія которой онъ зналъ очень хорошо. Онъ сильно интересовался современной политикой и любилъ заговаривать о ней въ гостинныхъ большого свѣта, куда попалъ по выходѣ изъ корпуса. Но его сразу остановилъ покровитель его, извѣстный Екатерининскій вельможа Л. А. Нарышкинъ, словами, въ которыхъ выражался общій взглядъ Екатерининскихъ сановниковъ на современныя событія: „до политики не касайся—это не твое дѣло, наша политика въ кабинетѣ Екатерины. Она за насъ думаетъ и заботится. А наше дѣло пировать да веселиться“³⁾.

Изъ корпуса, съ головою, полною великихъ европейскихъ событій того времени, Глинка отправился съ братомъ на родину къ отцу въ отпускъ, послѣ котораго возвратился на службу въ Москву, гдѣ стоялъ его полкъ. Въ это время онъ былъ еще французомъ. „Во второй разъ, для меня Москвы не было въ Москвѣ, говоритъ онъ въ „Запискахъ“. Русское было далеко отъ моихъ мыслей, а въ настоящемъ затерялся я въ шумѣ большого свѣта, также далеко отъ древней

¹⁾ Ibid., стр. 76.

²⁾ Ibid., стр. 88.

³⁾ Ibid., стр. 126.

Москвы и отъ старобытной Россіи¹⁾. Глинка попалъ въ адъютанты къ князю Ю. В. Долгорукому, что познакомило его съ высшимъ московскимъ свѣтомъ. Служба была легкая, и все занятіе Глинки заключалось, кажется, въ усердномъ посѣщеніи театра, который онъ страстно любилъ.

Тогда же Глинка познакомился съ литературнымъ міромъ Москвы и его представителями: Шатовымъ, Николевымъ—стариками и болѣе молодыми: И. И. Дмитриевымъ, Карамзинымъ, В. Л. Пушкинымъ. Глинка самъ пустился было тогда въ поэзію и написалъ оду о *сue-прии*, въ которой высказались тѣ идеи вѣротерпимости и христіанскаго милосердія, которыя составляли общую проповѣдь философіи XVIII вѣка, но цензоръ, профессоръ Чеботаревъ, не пропустилъ ее въ печать.

Глинка жилъ въ водоворотѣ большого московскаго свѣта. Это общество тогда отличалось широкимъ, но дикимъ барскимъ разгуломъ; Москва пировала день и ночь, и Глинку оскорбляло, что никто въ этомъ обществѣ не думалъ о будущемъ, не интересовался великими событіями современной исторіи. Въ домѣ князя Долгорукова, московскаго главнокомандующаго, никогда не велось разговора о политикѣ, и о Наполеонѣ стали говорить тогда уже, когда онъ сдѣлался первымъ консуломъ. А между тѣмъ Глинка весь былъ занятъ этими событіями. „Въ 1796 году не наступило еще, говоритъ онъ, перерожденіе души моей въ жизнь *отечественную*, въ жизнь *русскую*“²⁾.

Тогда же, въ послѣдній годъ жизни Екатерины, Глинка выступилъ было съ полкомъ своимъ въ походъ. Екатерина стала собирать войска, чтобы двинуть ихъ подъ предводительствомъ Суворова противъ ненавидимой ею французской республики, но полкъ Глинки дошелъ только до Ржева тверской губерніи; воцареніе Павла пріостановило эти воинственные планы. Глинка воротился въ Москву на прежнюю службу къ Долгорукому, т. е. на жизнь въ свѣтскихъ и литературныхъ кружкахъ Москвы. Глинка много говоритъ о своихъ близкихъ отношеніяхъ и дружбѣ къ знаменитому богачу и остроумцу Ѳ. Г. Карину. Одинъ случай изъ ихъ отношеній рисуетъ честный и независимый характеръ Глинки. Состоянія у него не было никакого, и Каринъ подарилъ ему однажды дарственную запись на калужскую деревню въ шестьдесятъ душъ. Глинка изорвалъ запись и сказалъ: „Не возьму; я никогда не буду имѣть человека какъ собственность, и притомъ не понимаю сельскаго быта“³⁾. Это безкорыстіе и презрѣніе матеріальныхъ выгодъ отличали Глинку въ теченіе всей жизни.

¹⁾ Ibid., стр. 146.

²⁾ Ibid., стр. 167.

³⁾ Ibid., стр. 177.

Въ царствованіе Павла Глинка снова выступилъ было въ походъ въ тѣхъ войскахъ, которыя назначены были идти на помощь къ Суворову, но походъ въ Италію не состоялся: война кончилась. Въ 1800 году онъ вышелъ въ отставку капитаномъ, средствъ для жизни у него не было никакихъ, и онъ рассчитывалъ на литературу. Первое произведеніе его, доставившее ему средства, была героическая драма „Наталья боярская дочь“, игранная тогда же и съ успѣхомъ на московской сценѣ. Ея содержаніе, взятое изъ временъ царя Алексѣя Михайловича, показываетъ уже стремленіе Глинки къ русской старинѣ. За нею слѣдовало еще нѣсколько подобныхъ, незамѣчательныхъ, однако, по литературнымъ достоинствамъ произведеній. Музыку для нихъ сочинялъ Кашинъ, крѣпостной человѣкъ Бибикова, освобожденію котораго помогалъ Глинка. Около того времени умерли отецъ и мать Глинки; небольшое оставшееся ему наслѣдство онъ отдалъ единственной сестрѣ своей и сталъ жить по словамъ его „съ довѣренностію и безусловной надеждой на Провидѣніе“ ¹⁾).

Но пылкій характеръ Глинки безпрестанно вводилъ его въ новыя увлеченія: всѣ деньги, какія были у него, онъ проигралъ въ карты и принужденъ былъ отправиться въ Малороссію къ какому-то богатому помѣщику Х. въ качествѣ домашняго учителя, никогда не будучи имъ и никогда не приготавливаясь къ этому званію. Впрочемъ, онъ рассказываетъ объ успѣхѣхъ своихъ уроковъ, состоявшихъ въ томъ, что онъ читалъ съ своими учениками великихъ писателей. Три года продолжалось это учительство, но отъ него ничего не осталось у Глинки. Снова, по возвращеніи въ Москву, ему пришлось работать для театра и на выработанныя деньги онъ часто ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ жилъ предметъ его платонической страсти. Въ 1803 году онъ переложилъ въ стихи съ французскаго прозаическаго перевода „Юнгвы Ноши“. Въ 1806 году явилась его трагедія „Сумбека или покореніе царства Казанскаго“, въ слѣдующемъ—другая трагедія—„Михаилъ князь Черниговскій“. Около того же времени совершился переворотъ въ душѣ Глинки; онъ оставилъ свои европейскія увлеченія и явился вдругъ самымъ пылкимъ патриотомъ. Еще недавно любимымъ героемъ Глинки былъ Наполеонъ, напоминавшій ему героевъ Греціи и Рима; еще недавно любимой мечтою его было служить подъ его знаменами. Теперь ему пришлось забыть всѣ вліянія своего обще-европейскаго образованія и сдѣлаться *истымъ* русскимъ, какъ называли его современники.

Переворотъ этотъ, какъ и въ Растопчинѣ, совершился подъ вліяніемъ политическихъ событій, въ которыхъ находилась тогда Россія. Послѣ Аустерлицкаго пораженія приходилось напрягать силы, воз-

¹⁾ Ibid., стр. 187.

буждать народный духъ. Въ концѣ 1806 года въ народъ пущено было воззваніе о составленіи милиціи и къ числу возбужденныхъ принадлежалъ и Глинка.

„Въ то время отечество для меня было новою мечтой, говорить онъ, и воображеніе мое горѣло, какъ чувство юноши, согрѣтое первымъ пламенемъ любви“¹⁾. Въ запискахъ своихъ Глинка пишетъ, что еще въ 1806 году, въ письмѣ какому-то пріятелю, онъ увѣрялъ, что Наполеонъ будетъ въ Москвѣ, и тогда уже поохладѣлъ его восторгъ отъ этого имени. Изъ Петербурга, гдѣ онъ хлопоталъ объ успѣхѣхъ своихъ литературныхъ произведеній и нѣкоторыя изъ нихъ, чрезъ разныхъ покровителей, подносилъ Государю, Глинка поѣхалъ на родину. „Что влекло меня на родину, гдѣ у меня не было ничего, кромѣ сердечныхъ воспоминаній, спрашиваетъ онъ. Въ душѣ родилась новая мысль и не у меня одного. Всѣхъ и каждого вызывала она къ защитѣ отечества и къ оборонѣ гробовъ праотческихъ“²⁾. Глинка записался въ милицію. Въ 1807 году онъ собиралъ старыхъ отставныхъ солдатъ, вновь призванныхъ на службу, дѣятельно хлопоталъ объ устройствѣ милиціоннаго войска и о снабженіи его, входилъ даже въ личныя отношенія къ фельдмаршалу Каменскому, но неудачныя сраженія повели къ тильзитскому міру, и Глинка, не оказавъ никакихъ подвиговъ на войнѣ, долженъ былъ воротиться въ Москву къ литературнымъ трудамъ.

Но это тревожное время, при пылкости характера Глинка, совершенно измѣнило его прежніе взгляды, симпатіи и убѣжденія. Онъ полюбилъ русскія свойства, которыхъ вовсе не зналъ до того времени. „Въ необычайный годъ, среди русскаго народа, ознакомился я съ душою нашихъ воиновъ. Служа въ полку, я зналъ доброе сердце солдатъ нашихъ. Что же почувствовалъ я, видя порывъ души богатырей русскихъ? Они подарили меня сокровищемъ обновленія мысли. Мнѣ стыдно стало, что доселѣ, кружась въ какомъ-то невидимомъ мірѣ, не зналъ я ни души, ни кореннаго образа мыслей русскаго народа. Въ шумѣ большаго свѣта, на балахъ и вечерахъ этого не было. Но время, могучею силой, вывело духъ русскій передъ лицомъ нашего отечества и передъ лицомъ Европы. Онъ повелъ меня, какъ далѣе увидимъ, къ новой жизни. И этотъ первый урокъ повелъ меня постепенно къ изданію „Русскаго Вѣстника“. Глинка разсказываетъ, что тогда же въ первый разъ, на тридцатомъ году жизни, у Сычевскаго городничаго онъ узналъ о существованіи лѣтописи Нестора,—въ такомъ невѣдѣніи родного воспитывались тогда русскіе писатели³⁾.

¹⁾ Ibid., стр. 195.

²⁾ Ibid., стр. 211.

³⁾ Ibid., стр. 216—217.

Въ такомъ настроеніи духа воротился Глинка въ Москву къ превраннѣмъ литературнымъ занятіямъ. Нечего и говорить, что на Москвѣ онъ сталъ смотрѣть теперь глазами восторженнаго патріота, все въ ней представлялось ему въ обновленномъ видѣ: „На каждой улицѣ, на каждомъ перекресткѣ представлялся мнѣ новый міръ, вызываемый воображеніемъ изъ прошедшаго. Словомъ, Москва явилась мнѣ въ своемъ подлинномъ видѣ, то-есть завѣтною, живою лѣтописью земли русской. Я спѣшилъ ознакомиться съ каждымъ ея памятникомъ, и каждый день для меня былъ новымъ открытіемъ, новымъ пріобрѣтеніемъ. Въ этомъ расположеніи духа задумалъ я издавать „Русскій Вѣстникъ“¹⁾.

Цѣлью задуманнаго журнала, по словамъ Глинки, было возбужденіе народнаго духа и приготовленіе русскихъ къ новой и неизбѣжной борьбѣ. Онъ былъ увѣренъ, что эта борьба впереди, что тильзитскій міръ есть только перемиріе. Глинкѣ хотѣлось говорить съ публикою, дѣлиться съ нею своими новыми патріотическими мыслями. Не безъ вліянія на содержаніе и тонъ статей Глинки была предшествовавшая литературная дѣятельность Растопчина, онъ самъ это сознаетъ: „Справедливость требуетъ сказать, что графъ первый еще въ 1807 году своими „Мыслями въ слухъ на красномъ крыльцѣ“ вступилъ, такъ сказать въ родственное сношеніе съ мыслями всѣхъ людей русскихъ. Его листокъ облетѣлъ и чертоги и хижины, и какъ будто былъ передовою вѣстью великаго 1812 года“²⁾.

Но на изданіе предполагаемаго журнала нужны были деньги, а ихъ никогда не было у Глинки. Его выручилъ извѣстный московскій издатель и содержатель типографіи, двоюродный братъ И. И. Дмитриева—Пл. П. Бекетовъ, который вызвался напечатать на свой счетъ первыя двѣ книжки журнала и, если онъ не пойдетъ,—принять расходы на себя. Обрадованный этимъ предложеніемъ, Глинка тотчасъ же напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе о своемъ будущемъ журналѣ, гдѣ высказывалъ цѣль его и направленіе. Это объявленіе произвело, по словамъ его, и недоумѣніе и удивленіе въ обществѣ. Рѣчи и убѣжденія Глинки были чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ. Глинка становился въ противоположность съ господствующимъ мнѣніемъ, говорилъ о томъ, что было забыто—о русскомъ духѣ и направленіи, о русской старинѣ, о необходимости своеобразнаго развитія, о вредѣ подражанія Европѣ. Тонъ, господствовавшій до него въ русской журналистикѣ, былъ совершенно иного свойства, а потому понятно, что рѣчи Глинки приводили невольно въ удивленіе.

¹⁾ Ibid., стр. 219—220.

²⁾ Ibid., стр. 222—3.

Издатель обѣщался предлагать читателямъ только то, что „непосредственно относится къ Русскимъ“, что „можетъ улаживать сердца русскія“. Въ первый разъ, первый Глинка вздумалъ говорить о русской старинѣ, о древней русской исторіи, отодвинутой новымъ развитіемъ: „Въ сихъ листахъ, говорилъ онъ, найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаетъ душу, и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше. Настоящее объясняется прошедшимъ, будущее—настоящимъ“. Это прошедшее, отъ котораго мыслящіе люди того времени думали навсегда отдѣлаться, для издателя „Русскаго Вѣстника“ становится снова очень дорогимъ, источникомъ развитія: „Примѣръ добродѣтелей и нравовъ праотческихъ заключается въ древнихъ преданіяхъ; въ нихъ означено то *особое воспитаніе*, о которомъ говорятъ извѣстнѣйшіе наши писатели“.

Правда, Глинка не прямо возстаетъ на новое развитіе Россіи; онъ видитъ въ немъ довольно истинно полезнаго и требуетъ, помимо, только, чтобъ прибрѣтенное было соединено съ своимъ собственнымъ, чтобъ мы были „богаты не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ“, но онъ возстаетъ противъ реформъ, вооружается противъ мысли XVIII вѣка, требовавшей преобразованій.

Такова была программа патріотическаго журнала Глинки.

ЛЕКЦІЯ XXV.

Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова.—Отношеніе публики и правительства къ «Русскому Вѣстнику».—Содержаніе журнала.—Отношеніе къ нему журналистики.—Эпиграммы на Глинку.

Тотъ писатель, которому ближе всего было направленіе зарождавшагося журнала Глинки, именно Растопчинъ, выказалъ полное ему сочувствіе, предложилъ себя въ сотрудники, но называлъ предпріятіе Глинки отважнымъ, въ виду, конечно, современныхъ политическихъ обстоятельствъ и мира съ Франціей Наполеона, вслѣдствіе чего трудно было нападать на недавняго и будущаго врага. Растопчинъ, какъ мы уже видѣли, дѣйствительно помѣстилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ нѣсколько небольшихъ статейъ подъ псевдонимомъ Устина Вѣникова въ духѣ его мыслей и въ томъ направленіи, въ какомъ Глинка хотѣлъ издавать свой журналъ. Самъ издатель писалъ иныя свои статьи подъ вліяніемъ разсказовъ Растопчина. Послѣдній часто приглашалъ въ себѣ Глинку, и тотъ разставался съ Растопчинымъ увлеченный его словами и мыслями. Другимъ знаменитымъ сотрудникомъ Глинки, на первыхъ порахъ его журнала, была

извѣстная княгиня Дашкова, проводившая, послѣ ссылки въ деревню при Павлѣ, свою старость въ Москвѣ, въ воспоминаніяхъ о своемъ значеніи при Екатеринѣ и вообще о блестящемъ прошломъ, которое было ей дороже настоящаго. Княгиня вызвалась писать статьи для Глинки, но по своенравію своему требовала, чтобъ въ этихъ статьяхъ онъ никогда не перемѣнялъ ничего. Двѣ или три статьи ея были политическаго содержанія; будучи давнишней поклонницей Англіи, гдѣ она воспитывала и сыновей своихъ, княгиня не могла не отзываться съ сочувствіемъ объ этой любимой странѣ своей, а она была враждебна намъ, вслѣдствіе тильзитскаго мира. Одна статья ея въ этомъ родѣ не была пропущена цензоромъ; княгиня жестоко разсердилась и съ тѣхъ поръ болѣе не давала своихъ статей Глинкѣ. Вскорѣ потомъ издатель разошелся и съ Растопчинымъ, который при началѣ журнала, обѣщая свое сотрудничество въ немъ, просилъ Глинку сдерживать его запальчивость. Обиженный московской публикой на представленіи его комедіи „Вѣсти или убитой живой“, графъ Растопчинъ прислалъ Глинкѣ нѣсколько писемъ противъ этой публки; Глинка не напечаталъ ихъ, ссылаясь на рѣзкій тонъ, и Растопчинъ ничего уже болѣе не посылалъ въ „Вѣстникъ“. Но они сошлись снова въ 1812 году.

„Русскій Вѣстникъ“ имѣлъ успѣхъ не столько по таланту издателя, который отличался только своею рьяностію и пылостію, сколько по направленію статей своихъ, соответствующихъ духу общества, недовольнаго потерями въ послѣдней войнѣ и унижительнымъ для насъ тильзитскимъ миромъ. Впрочемъ, судить объ успѣхѣ журнала съ современной точки зрѣнія нельзя. Глинка рассказываетъ, что даже въ самую сильную эпоху возбужденія народнаго духа, въ 1812 году, разошлось „Вѣстника“ не болѣе ста экземпляровъ, а потому можно судить, какъ незначительно было то общество, въ которомъ могло существовать какое-нибудь мнѣніе. Вся прочая масса была безгласна, и надобно замѣтить, что успѣхъ журнала главнымъ образомъ обуславливался Москвою; въ Петербургѣ едва ли были довольны имъ — и правительство, желавшее сдержать свое обѣщаніе передъ Наполеономъ, и небольшое число издателей тогдашнихъ журналовъ, приучавшихъ все-таки общество, какъ мы видѣли, къ просвѣщенію, открытому для русскихъ дѣломъ реформы Петра В. Глинка рассказываетъ, что журналъ его имѣлъ большой успѣхъ въ Москвѣ, что всѣ знакомые говорили ему *спасибо* за „Вѣстникъ“, что студенты московскаго университета спѣшили ловить книжки журнала при выходѣ ихъ; главные, впрочемъ, читатели журнала были члены англійскаго клуба и знатные вельможи, которымъ, конечно, болѣе всего пріятна была въ „Вѣстникѣ“ консервативная привязанность къ старинѣ. Впрочемъ,

безъ сомнѣнія, журналъ имѣлъ вліяніе, если даже посоль Наполеона считалъ нужнымъ принести нашему правительству жалобу на направленіе Глинки. Поводомъ къ жалобѣ послужила одна изъ статей издателя въ 1808 году, гдѣ говорилось о тильзитскомъ мирѣ, высказывалась неизбѣжность новой войны между Франціей и Россіей и убѣжденіе, что „будутъ приняты всѣ надлежащія мѣры къ отраженію властолюбиваго завоевателя“. Любопытенъ отвѣтъ Александра Коленкуру, что онъ не зналъ даже о существованіи этого журнала. Въ угоду французскому послу, цензору Мерзлякову сдѣланъ былъ выговоръ, а Глинка, имѣвшій мѣсто съ казеннымъ жалованьемъ при московскомъ театрѣ, былъ уволенъ отъ этой службы. Тогда же сдѣлано было распоряженіе по цензурѣ о недозволеніи печатать статей политическаго содержанія. Изъ этого видно, что сила „Русскаго Вѣстника“ состояла вовсе не въ политическихъ статьяхъ; область политики была возбранена цензурою, да въ ту пору съ политикою были знакомы и занимались ею только люди, официально къ тому призванные. Бѣдный русскій журналистъ былъ вообще далекъ отъ политическаго міра, потому что самая страна не жила политическою жизнью; интересы его были вообще очень ничтожны и жалки, какъ и во всей нашей литературѣ того времени.

Сила „Русскаго Вѣстника“ заключалась въ патріотическомъ чувствѣ и въ возбужденіи его въ читающей публикѣ. Чувство это родилось подъ вліяніемъ современныхъ событій; источникъ его заключался скорѣе въ сердцѣ и увлеченіи, чѣмъ въ сознаніи, чѣмъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Возбужденное неудачными и тяжелыми внѣшними войнами нашими, это чувство видѣло вокругъ себя въ обществѣ сильное увлеченіе иностраннымъ и въ особенности французскимъ, — увлеченіе, бывшее неизбѣжнымъ слѣдствіемъ нашей внутренней исторіи со временъ Петра. Пылкому издателю „Русскаго Вѣстника“ это увлеченіе стало казаться измѣною роднымъ началамъ, и онъ всѣми силами старался ему противодействовать. Понятно, что только въ русской, преимущественно древней, до-петровской исторіи, Глинка находилъ и указывалъ свои идеалы; все новое было для него подражаніемъ, заимствованіемъ и потому осуждалось. Въ увлеченіи своемъ онъ нападалъ на новое просвѣщеніе и ставилъ его гораздо ниже древняго. Всѣ статьи „Русскаго Вѣстника“ были полны этимъ содержаніемъ, выражали это направленіе и посвящены были исключительно Россіи; говорить о чемъ-либо иностранномъ — казалось неуваженіемъ къ родинѣ. Общая тема — о любви къ отечеству — повторяется въ журналѣ непрерывно. Герои этой любви и русской доблести, извѣстныя лица, преимущественно древней Руси, и о нихъ издатель говоритъ очень часто и при всякомъ случаѣ. Это: Мининъ,

Авраамъ Палицинъ, Князь Пожарскій, бояринъ Артамонъ Матвѣевъ, кн. Александръ Невскій, кн. Яковъ Долгорукій, древнія московскія царицы, московскіе бояре и проч. Главная мысль издателя, что Россія до Петра В. не была странюю варварскою, доказывается всѣми способами: и выписками изъ разныхъ писателей нашихъ, говорившихъ объ этомъ предметѣ ¹⁾, и цѣлыми статьями, посвященными спеціальной разработкѣ вопроса о томъ, напр.: „О просвѣщеніи Русскихъ до временъ Петра Великаго“ ²⁾ или „О свойствахъ Россіянъ и замѣчанія о измѣненіи кореннаго свойства народовъ“ ³⁾ и проч. Мысль о поднятіи умственнаго и нравственнаго значенія древней Руси была господствующею мыслию журнала Глинки: „Съ удовольствіемъ читаль я въ разныхъ мѣстахъ вашего журнала, пишетъ къ издателю одинъ изъ случайныхъ его сотрудниковъ, опроверженія выставленнаго Вольтеромъ и иностранцами слѣпо принятаго мнѣнія, будто наши предки были погружены въ невѣжество и варварство.—Эта неосновательная мысль давно меня огорчаетъ, ибо многія дѣянія отечественной нашей исторіи доказываютъ, что древнее наше правительство было не только просвѣщенное и человеколюбивое, но и образованнѣе многихъ европейскихъ, признаваемыхъ таковыми“ ⁴⁾. Разумѣется, все это древнее русское просвѣщеніе представляется въ свѣтѣ благочестія и истиннаго христіанства: „Возрастая въ страхѣ Божіемъ и простотѣ нравовъ, говоритъ издатель, предки наши заимствовали всѣ понятія свои *отъ наставленія отцовскаго* и изъ духовныхъ книгъ. Они не спорили о какомъ-то первобытномъ природномъ состояніи, о безпредѣльномъ усовершенствованіи ума человѣческаго, но старались исполнять обязанности человѣка, гражданина и христіанина“ ⁵⁾. Глинка доказываетъ, что во времена Рюрика ни одна страна европейская не была просвѣщеннѣе Россіи *въ нравственномъ и политическомъ образованіи* ⁶⁾, и что вообще до Алексѣя Михайловича и до Петра Великаго Россія „едва ли уступала какой странѣ. въ гражданскихъ учрежденіяхъ, въ законодательствѣ, въ чистотѣ нравовъ, въ жизни семейственной, и во всемъ томъ, чѣмъ благоденствуетъ народъ, чтущій обычаи праотеческіе, отечество, царя и Бога“ ⁷⁾.

Въ этомъ увлеченіи русскою до-Петровскою стариною, о которой Глинка, къ чести его, заговорилъ первый, хотя и безъ знанія поло-

¹⁾ Русск. Вѣстн. 1808 г., ч. I, стр. 43—52.

²⁾ Ч. III, стр. 17—48.

³⁾ Ч. III, стр. 49—64.

⁴⁾ Ч. II, стр. 343.

⁵⁾ Ч. III, стр. 17.

⁶⁾ Ib., стр. 41.

⁷⁾ Ib., стр. 42.

жительнаго, и основываясь только на одномъ чувствѣ, естественно должны были встрѣчаться и въ самомъ дѣлѣ встрѣчались иногда даже очень забавныя преувеличенія. Мы знаемъ изъ біографіи Глинки, что онъ былъ воспитанъ современно, на идеяхъ французской мысли XVIII вѣка, что онъ скорѣе былъ французъ, а не русскій. Не могъ онъ забыть этого образованія; оно было дорого ему и, страннымъ образомъ, его идеи, его содержаніе онъ искалъ, въ древней Руси. Тутъ былъ очевидный недостатокъ логики и сообразительности, сопровождавшій всегда Глинку въ его патріотическихъ статьяхъ. Отъ того у него бояринъ Матвѣевъ умствовалъ о душѣ точно такъ же, какъ Ловкѣ и Кондильякѣ¹⁾, а предки наши мыслили о человѣкѣ, душѣ и чести подобно древнимъ Сократамъ и Маркамъ Авреліямъ; учрежденіе Ярославомъ I въ 1131 году училищъ соотвѣтствуетъ цѣли Александра I, изъясненной въ 1803 году²⁾. Зотовъ, наставникъ и учитель Петра перваго, руководствовалъ своего питомца способами ученія Кондильяка и Песталоцци, хотя въ то время ихъ и не было на свѣтѣ: потому же и „добродѣтели Марка Аврелія сіяли въ лицѣ нашихъ вѣнценосцевъ“³⁾. Однимъ словомъ, воспоминанія общаго европейскаго образованія, полученнаго Глинкою въ корпусѣ, постоянно жили въ его головѣ; они были дороги ему, и знакомые ему по образованію и ученію образы и идеи онъ желалъ или мечталъ найти въ незнакомой ему до того родной жизни.

Русь рисовалась въ умѣ издателя „Русскаго Вѣстника“ не въ своемъ настоящемъ, а совершенно идеальномъ, созданномъ воображеніемъ, образѣ. Лучшимъ примѣромъ этого отношенія можетъ служить разборъ Глинки „Древнихъ Россійскихъ стихотвореній“, тогда только что въ первый разъ изданныхъ Якубовичемъ. Онъ сравниваетъ ихъ съ поэмами Оссіана и древними французскими балладами⁴⁾. Въ нихъ, по его словамъ, „изображены всѣ добродѣтели, которыя хранятъ и поддерживаютъ общества и области. Сіи добродѣтели суть: человеколюбіе, правота, защищеніе слабого и невиннаго отъ хищной и сильной руки, гостепріимство, богобоязненность, нѣжность, состраданіе къ злополучію и усердіе къ отечеству“. Въ „Древнихъ Русскихъ стихотвореніяхъ“ Глинка ищетъ нравы и „пратеческія добродѣтели“. Былина о Соловѣѣ Будимировичѣ представляетъ доказательство, что въ старину понимали ремесла и искусства⁵⁾; былина о женитьбѣ князя Владиміра даетъ поводъ разсуждать о свя-

¹⁾ Ч. III, стр. 19.

²⁾ Ib., стр. 23.

³⁾ Ib., стр. 33.

⁴⁾ Ч. I, стр. 374.

⁵⁾ Ibid., стр. 377—380.

тости гостепріимства и о пагубномъ слѣдствіи страстей ¹⁾; Ермакъ— о мужествѣ и великодушіи русскихъ ²⁾; Глинка сравниваетъ Ермака съ Сципіономъ Африканскимъ. Вотъ, по словамъ Глинки, краткое начертаніе добродѣтелей временъ богатырскихъ: ненарушимость даннаго слова, смѣлость и неустрашимость духа, богобоязненность, скромность, простота нравовъ, усердіе къ службѣ государевой и проч. Глинка былъ какъ бы влюбленъ въ древнюю Русь и, не имѣя, разумѣется, никакихъ о ней положительныхъ знаній, онъ сознательно желалъ видѣть въ ней только хорошее. „Странно, говоритъ онъ, что у насъ всякой почти старается отыскать что-нибудь худое въ своемъ отечествѣ; лучшее же остается безъ примѣчанія, или умышленно представляется въ видѣ невыгодномъ“ ³⁾). Глинка впадалъ въ другую крайность: онъ умышленно все изображалъ въ розовомъ свѣтѣ и очень часто доходилъ до смѣшного. Таково, напр., его разсужденіе о „Кормчей книгѣ“, которую онъ называетъ „хранилищемъ божественныхъ и нравственныхъ преданій“; въ ней, по утвержденію его, „заключается все то, на чемъ зиждется истинное благо каждаго человѣка особенно и цѣлыхъ обществъ“ ⁴⁾). Естественно, что при такомъ взглядѣ, Глинка долженъ былъ высоко ставить авторитетъ автора „Разсужденія о древнемъ и новомъ слоgѣ“ и повторять часто его мысли.

Журналъ съ такимъ содержаніемъ и направленіемъ, посвященными исключительно только русскому и древности русской, долженъ былъ естественно смотрѣть враждебными глазами на все иностранное и даже на просвѣщеніе европейское, которому самъ Глинка былъ такъ много обязанъ. Вызывая образы старины, журналъ долженъ былъ найти сочувствіе во всѣхъ тѣхъ, которымъ была дорога эта старина и ненавистно все новое: „Старики русскіе васъ благодарятъ, да и раскольники русскіе хвалятъ: будетъ время, когда и они поблагодарятъ“—пишетъ къ издателю одинъ поклонникъ старины изъ Казани ⁵⁾), выставлющій на показъ глубокую ненависть къ *дѣтямъ*, которыя съ своимъ французскимъ воспитаніемъ сдѣлались будто бы умнѣе отцевъ. Такого же содержанія и письмо *Старовтрова* къ издателю ⁶⁾). Старинный идеалъ воспитанія сдѣлался дорогъ Глинкѣ; время увлеченія общимъ образованіемъ, европейскими началами— прошло, и Аракчеевъ, котораго Глинка называетъ „знаменитымъ

¹⁾ Ч. I, стр. 380—389.

²⁾ Ч. II, стр. 206—214.

³⁾ Ibid., стр. 250.

⁴⁾ Ч. III, стр. 189—200.

⁵⁾ Ч. II, стр. 186.

⁶⁾ Ч. III, стр. 201 сл.

Россіяниномъ“, приглашенный подписаться на „Русскій Вѣстникъ“, могъ уже открыто и съ сознательною гордостью выставять себя всѣмъ на образецъ: „А я, какъ бѣдный дворянинъ, пишетъ онъ къ Глинкѣ, воспитанъ былъ совершенно по русски: учился грамотѣ по Часослову, а не по рисованнымъ картамъ. Потомъ выученъ будучи читать Псалтырь за упокой по своимъ родителямъ, посланъ на службу государя и препорученъ въ С.-Петербургѣ чудотворной Казанской иконѣ, съ такимъ родительскимъ приказаніемъ, дабы я всѣ мои дѣла начиналъ съ ея соизволенія, чему слѣдую и по сіе время“¹⁾). Вотъ, что было теперь дорого Глинкѣ, дороже того общаго, съ широкимъ содержаніемъ образованія европейскаго, которое давалъ ему въ молодости корпусъ при Ангальтѣ.

Намъ нѣтъ надобности продолжать далѣе изложеніе идей Глинки въ его журналѣ, нашедшемъ сочувствіе и отголосокъ въ обществѣ. Достаточно познакомиться съ однимъ первымъ годомъ „Русскаго Вѣстника“, чтобъ знать и дальнѣйшее его содержаніе. Ничего особеннаго дѣльнаго не могъ высказать издатель ни въ первый, ни въ послѣдующіе годы своего журнала: для этого нужно было имѣть знанія и таланта болѣе, чѣмъ сколько было у него. „Русскій Вѣстникъ“ былъ порожденіемъ патріотическаго чувства Глинки, вспыхнувшего для самого его неожиданно и вдругъ; какъ выраженіе одного чувства, онъ долженъ быть по своему содержанію однообразенъ и утомителенъ. Въ самомъ дѣлѣ: стихи, помѣщенные въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вполнѣ соотвѣтствуютъ общему его содержанію и направленію: это или выраженіе патріотическихъ чувствъ издателя, или воспѣваніе древнихъ русскихъ доблестей или современныхъ военныхъ подвиговъ. Повѣсти „Вѣстника“ — понятно чужды вполнѣ современной жизни и берутъ свое содержаніе, по рецепту Шишкова, — изъ Четыхъ Миней или изъ древней русской исторіи, и тогда въ нихъ сказывается господствующая въ литературѣ Карамзинская сентиментальность. Разумѣется больше всего журналъ говорилъ о коренныхъ свойствахъ русскаго характера, восхваляя ихъ, и разсуждалъ на темы, въ которыхъ выражалось современное патріотическое направленіе: о благоговѣніи къ русскимъ царямъ, о вѣрности русскихъ дворянъ отечеству и престолу, о благодѣтельныхъ помѣщикахъ и т. п. Народа, т.-е. простого крестьянина, съ его жизнію, страданіями и лишеніями, въ журналѣ все-таки незамѣтно, несмотря на то, что Глинка и говорилъ о немъ; слова его были только фразы; чувство, выражавшееся въ „Вѣстникѣ“, было узко сословный патріотизмъ, глубоко консервативный и ненавидящій все новое, а вмѣстѣ

¹⁾ Ч. II, стр. 245.

съ нимъ, понятно, и просвѣщеніе, возможное для насъ только на европейскихъ началахъ. Это упорное ретроградное направленіе и призывъ къ возвращенію исчезнувшей старины, эта пылкая проповѣдь русскихъ началъ, неясныхъ, неопредѣленныхъ, туманныхъ для самого Глинки, конечно, не сознававшего вполнѣ къ чему онъ призывалъ общество, должны были, несмотря на всю ничтожность нашего тогдашняго литературнаго развитія, вызвать отпоръ въ тѣхъ людяхъ, которымъ сколько нибудь дорого было просвѣщеніе и новое русское развитіе, начавшееся въ Россіи съ воцареніемъ Александра. Какъ ни далеки были тогда другъ отъ друга журналы, одинокіе и разрозненные, выражавшіе не мысль общественную, а личные вкусы своихъ издателей,—все же мы можемъ въ нихъ встрѣтить полемику, хотя и скромную, противъ направленія и проповѣди Глинки. Такъ „Московский Вѣстникъ“, еженедѣльный журналъ, издававшійся въ 1809 году карамзинистомъ Макаровымъ, возсталъ вообще противъ криковъ современныхъ патріотовъ и въ особенности журнала Глинки: „Большая часть сихъ самопроизвольныхъ заступниковъ отечественнаго, говоритъ издатель, нашли всю пользу свою или находятъ ее въ томъ, чтобъ бранить иностранное, проклипать чужихъ учителей или ученыхъ, довольствоваться единственно своимъ, хотя бы и худымъ и невѣжественнымъ; но отнюдь не перенимать ничего хорошаго и необходимаго со стороны чуждой... Лучшая система добродѣтели ихъ основывается на томъ, чтобъ учиться отъ какого-нибудь Ульяна Березкина и Вѣникова (псевдонимы Растопчина въ „Вѣстникѣ“), не спрашивая того, какъ они учены и чему учены“... Для Макарова крикуны эти—фальшивые патріоты. Онъ указываетъ имъ на примѣръ настоящаго патріота, Петра В., „который ѣздилъ нарочно по бѣлому свѣту для того, чтобъ все узнавать, все испытывать, всему научиться“... Онъ увлекся-было криками Березкиныхъ и Вѣниковыхъ и самъ сдѣлался-было патріотомъ въ ихъ родѣ, но „нѣкоторые изъ пріятелей моихъ доказали фальшь моего патріотизма, открыли мнѣ многое хорошее въ чужомъ, и я согласился, что намъ не мѣшаетъ и еще перенимать и еще научиться доброму и хорошему отъ иностранцевъ“¹⁾. Около этой мысли только и вертѣлось опроверженіе; политической стороны тенденцій Глинки возражать не касался.

Другой современный журналъ „Цвѣтникъ“, издававшійся Бенитцкимъ и А. Е. Измайловымъ, ограничился простою насмѣшкою надъ направленіемъ Глинки. Неизвѣстный авторъ этой насмѣшки рассказываетъ, что онъ видѣлъ во снѣ болото и въ немъ множество

¹⁾ Моск. Вѣстн., 1809 г., стр. 277.

завязшихъ людей, которыхъ вытаскиваютъ, другіе. Одинъ изъ вытащенныхъ, бывшій даже суше другихъ, снова „стремглавъ бросился въ болото, увязъ въ грязь, такъ что виденъ былъ лишь воротникъ его *зеленаго* кафтана (обвертка „Русскаго Вѣстника“) и закричалъ: „Что вы, друзья, нашли хорошаго на солнцѣ? Оно только что палить васъ; возвратитесь опять въ болото; здѣсь прохладно и спокойно! то-то раздолье! Всѣ смотрѣли на чудака, но никто за нимъ не слѣдовалъ... Увязшій кричалъ безъ умолку, а что—того право я не могъ разобрать“ ¹⁾). Эта насмѣшливая выходка показываетъ, что въ петербургской журналистикѣ были люди, которые понимали смѣшную сторону увлеченій Глинки и видѣли недолговѣчность его направленія, не придавая ему большаго значенія. Подъ патріотическими выходками Глинки легко могло скрываться самодовольное невѣжество. Это было выражено въ той французской эпиграммѣ, конецъ которой приводитъ самъ Глинка въ своихъ запискахъ ²⁾):

A présent sur un ton rempli de suffisance,
A ses concitoyens il prêche l'ignorance“...

Молодые, болѣе образованные литераторы того времени, при томъ, вовсе не серьезномъ взглядѣ вообще на нашу литературу, господствовавшемъ въ кружкахъ, не желали вести полемику съ Глинкой и не придавали его дѣятельности важнаго значенія. Умный Дашковъ прямо говоритъ о бѣдности мыслей у Глинки ³⁾. Батюшковъ въ своемъ сатирическомъ „Видѣніи на берегахъ Леты“ чрезвычайно вѣрно схватилъ личность издателя „Русскаго Вѣстника“ и его любовь къ фразамъ. Передъ адскимъ судьей Миносомъ, одна за другой являются тѣни русскихъ писателей, каждая въ немногихъ, но довольно забавныхъ стихахъ высказывая содержаніе своей дѣятельности. За княземъ Шаликовымъ является Глинка:

„Уфъ! я усталъ; подайте стулъ!—

говоритъ онъ,—

Позвольте мнѣ, я очень славенъ!
Безсмертенъ я, пока забавенъ!“
Ктожь ты? „Я *русскій и поэтъ*.
Я самъ бѣгу, лечу за славой;
Мнѣ врагъ—чужой разсудокъ здравый,
Для русскихъ правъ—мой толкъ кривой,
И въ томъ клянусь моей душой!“
Да кто же ты? — Жанъ Жакъ я русскій,
Расинъ и Локъ и Юнгъ я русскій!

¹⁾ Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 358—359.

²⁾ Стр. 247.

³⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 495.

Три драмы русских сочинилъ,
Для русских—нѣтъ ужъ болѣ силъ!
Писалъ для русских драмы слезны,
Труды мои всѣ бесполезны:
Вина тому развратъ умовъ!"
Сказать, въ рѣку, и былъ таковъ!"¹⁾

Больше всего и остроумнѣе досталось Глинкѣ отъ Воейкова, который сначала даже самъ участвовалъ въ его „Вѣстникѣ“. Въ „Парнасскомъ Адресъ-Календарѣ“ Воейкова Глинка „снабжаетъ отхожій кабинетъ патріотической русской музы мягкою бумагою“²⁾, но лучше всего изображенъ онъ въ „Домѣ Сумасшедшихъ“:

„Нумеръ третій: на лежанкѣ
Истинъ Глинка воссѣдять,
Передъ нимъ духъ русскій въ склянкѣ
Не откупоренъ стоитъ.
Книга Кормчая отверста
И уста отворены.
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.
О, Расинъ! Откуда слава?
Я тебя, дружокъ, поймалъ:
Изъ руссiйскаго Стоглава
Ты Гофолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ сліянье,
Выраженія красота
Въ Андромахѣ — подражанье
Погребенію кота!“

Такъ тѣшились наши писатели того времени другъ надъ другомъ, и мы нарочно привели часть эпиграммъ, сыпавшихся на Глинку и его направленіе, чтобъ показать характеръ тогдашней полемики.

Самъ Глинка считалъ себя „сторожемъ духа народнаго“. Это, конечно, преувеличено, но его „Русскій Вѣстникъ“ все-таки имѣетъ историческое значеніе въ русской литературѣ, и статьи его, одно-стороннія, но страстно преданныя одному направленію, имѣли смыслъ, приготовляя духъ народный къ тяжкимъ испытаніямъ 1812 года. Весь трудъ изданія журнала, послѣ перваго года, лежалъ на одномъ Глинкѣ. Онъ самъ говорить, что у него не было сотрудниковъ. Эта преданность Глинки единой, всего его поглотившей мысли была источникомъ его чрезвычайной популярности въ московскомъ простонародьи въ 1812 году; онъ велъ толпы народа на встрѣчу государя въ его пріѣздъ въ Москву, весной этого года. Московскіе студенты

¹⁾ Соч. Спб. 1887 г., т. I, кн. 2, стр. 81.

²⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 763.

любили Глинку, благодарили его за возбужденіе въ нихъ патріотизма. Но этимъ патріотическимъ 12 годомъ и кончилась историческая роль Глинки въ литературѣ. Все, что печаталъ онъ съ тѣхъ поръ, все это не имѣло значенія, писалось только для денегъ, для пріобрѣтенія средствъ. „Русскій Вѣстникъ“ не возбуждалъ прежняго восторга; онъ падалъ; число подписчиковъ уменьшалось: „Вызовы Минина, Пожарскаго и другихъ старожилловъ лѣтописей, говоритъ онъ самъ съ грустію, утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣженія словесности“¹⁾, но Глинка былъ уже не способенъ на это, онъ остался при старомъ, и вся послѣдующая долгая жизнь его представляетъ только борьбу съ бѣдностію, тяжелую работу перомъ изъ-за куска хлѣба.

ЛЕКЦІЯ XXVI.

Новыя нападки Шишкова на современную литературу.—Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа.—Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова.—
Отвѣтъ Шишкова.

Между тѣмъ, подъ вліяніемъ патріотическаго настроенія общества и зародившейся патріотической литературы снова появился въ печати и Шишковъ съ новыми статьями своими, наполненными однако старымъ содержаніемъ. Усиленный тѣми голосами, которые теперь, казалось, раздавались въ литературѣ въ его защиту, подкрѣпляли или раздѣляли его мнѣніе, онъ думалъ, что настало удобное время снова напасть на своихъ враговъ, т.-е. на писателей, употреблявшихъ въ своихъ сочиненіяхъ новый слогъ и подражавшихъ Карамзину. Другого, внѣшняго повода къ печатному высказыванію его мыслей—не было. Онъ видѣлъ, что его убѣжденія, искренно имъ исповѣдуемые, теперь получили перевѣсъ; онъ самъ говоритъ, что его первое извѣстное „разсужденіе“ расположило къ себѣ многихъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ „службою, лѣтами и нравами почтенныхъ“, что даже иностранцы отозвались о ней съ почтеніемъ и „только въ господяхъ журналистахъ нашихъ“ онъ не былъ такъ счастливъ. Но вся сила ихъ критики и доказательствъ, по словамъ Шишкова, заключается въ словахъ: „онъ одинъ, а насъ много“. Онъ не боится однако этого множества; за личныя оскорбленія Шишковъ не считаетъ нужнымъ вступаться... „Но когда вижу распространеніе мнѣній, способствующихъ къ упадку языка нашего и словесности, тогда ничто не удержитъ меня доказывать нелѣпость и лживость сихъ умство-

¹⁾ Записки, стр. 309.

ваній, которыя смѣшны и странны при свѣтѣ разума, но весьма вредны и заразительны при нравѣ усиливающихся заблужденій“... Эти заблужденія, заключающіяся въ *новомъ слогѣ*, Шишковъ ставитъ въ связь съ французской революціей и въ новыхъ словахъ, употребляемыхъ карамзинскою школою, онъ видитъ или желаетъ видѣть глубоко ненавидимыя имъ понятія: „когда чудовищная французская революція, поправъ все, что основано было на правилахъ вѣры, чести и разума, произвела у нихъ новый языкъ; далеко отличный отъ языка Фенелоновъ и Расиновъ, тогда и наша словесность, по образу ихъ новой и нѣмецкой, искаженной французскими названіями словесности, стала дѣлаться непохожею на русскій языкъ“¹⁾. Вотъ гдѣ источникъ ожесточенныхъ нападеній Шишкова на новую русскую словесность. Онъ стоитъ за старый авторитетъ; ему не нравится, что молодые писатели позволяютъ себѣ имѣть мнѣніе. „Вскорѣ появились у насъ не два или три, но цѣлыя полки сочинителей, которые, ничего не написавъ, ничего не прочитавъ, вдругъ возмечтали о себѣ, что они Лонгины, Квинтилианы, Лагарпы, и стали обо всемъ судить и рѣдить по своему; стали проповѣдывать, что языкъ нашъ грубъ, бѣденъ, неустановленъ, удаленъ отъ просторѣчія; что надобно всѣ старыя слава бросить, ввести съ иностранныхъ языковъ новыя названія, новыя выраженія, разрушить свойство прежняго слога, перемѣнить словосочиненіе его и однимъ словомъ писать не по русски“²⁾. Вотъ на что собственно нападаетъ Шишковъ; старая цѣль постоянно у него передъ глазами: это языкъ, испорченный подражаніемъ французскому, а подражаніе начинается у насъ, по словамъ Шишкова, съ Петра. Зло глубоко пустило корень и бороться съ нимъ онъ считаетъ своею обязанностью. Съ этою цѣлію Шишковъ въ 1808 году перевелъ изъ Лагарпа: а) сравненіе французскаго языка съ древними и в) о краснорѣчій и напечаталъ ихъ тогда же, снабдивъ ихъ разными примѣчаніями, въ которыхъ высказывалъ прежнее: старую борьбу свою съ новымъ слогомъ. Можетъ быть самый Лагарпъ, этотъ знаменитый критикъ и историкъ литературы XVIII вѣка, нравился ему своею ненавистью къ французской революціи. Извѣстно, что сначала Лагарпъ раздѣлялъ всѣ ея мнѣнія, оправдывалъ всѣ ея дѣйствія, но послѣ паденія Робеспьера, которому онъ льстилъ при жизни, круто измѣнилъ свои убѣжденія и сталъ ожесточенно нападать на все, чему прежде поклонялся.

Шишковъ воспользовался мыслями Лагарпа о богатствѣ латинскаго языка сравнительно съ бѣдностію французскаго, чтобъ повто-

¹⁾ Соч. и перев., т. III, стр. 259—263.

²⁾ *Иб.*, стр. 259—260.

рять свои старыя утвержденія о богатствѣ славянскаго языка, т.-е. языка перевода книгъ священнаго писанія. Этотъ древній языкъ долженъ быть постояннымъ источникомъ новаго, какъ источникъ родной, а не чуждый. Нашъ же современный языкъ удалился отъ этого источника, и наши сочиненія начинаютъ быть похожими на переводы. Это отъ того, что забыть древній славянскій языкъ, отличающійся богатствомъ и зрѣлостію понятій. На него онъ смотритъ какъ на что-то священное; по его словамъ, онъ представляется „плодомъ долговременнаго умствованія“¹⁾. Шишковъ предполагаетъ даже, что до перевода на славянскій языкъ на немъ существовали сочиненія, теперь утраченныя; иначе нельзя объяснить его силу и богатство.

Въ предисловіи своемъ ко второй Лагарповой статьѣ Шишковъ развиваетъ любимую тему объ иностранныхъ словахъ, введенныхъ и вводимыхъ насильственно новыми писателями въ русскій языкъ и не соотвѣтствующихъ его генію. Приводя разные примѣры этихъ иностранныхъ словъ, Шишковъ въ особенности останавливается на тѣхъ, совершенно техническихъ выраженіяхъ, которыя давно уже употребляются въ наукѣ реторики, будучи заимствованы изъ языка греческаго. Почтенный ревнитель чистоты русскаго языка утверждаетъ, что и ихъ слѣдуетъ отбросить и замѣнить соотвѣтствующими русскими выраженіями. Съ этою цѣлію, чтобы показать примѣръ, въ переводѣ своемъ второй Лагарповой статьи онъ не употребляетъ ни одного иностраннаго слова и всѣ извѣстныя техническія выраженія переводитъ по русски. Исполненіе такой задачи не обходится разумѣется безъ натяжекъ, иногда довольно забавныхъ, которыя и были тотчасъ замѣчены критикою. Враговъ своихъ Шишковъ даже затронулъ впередъ выходкою, которая не имѣла ничего общаго съ предметомъ спора и старалась выставить защитниковъ новаго слова въ видѣ не очень нравственнаго. Представитель ихъ у Шишкова, по словамъ его, „не читавъ ничего, кромѣ переводимыхъ по два тома романовъ въ недѣлю и не бывавъ сроду ни у заутрени, ни у обѣдни, не хочетъ вѣрить, что *благодатный*, *неискусобрачная*, *тлетворный*, *злокозненный*, *багрянородный* — суть русскія слова, и утверждаетъ это тѣмъ, что онъ ни въ *Лизѣ* ни въ *Анютѣ* ихъ не читалъ“²⁾. Разумѣется, больше всего возстаетъ Шишковъ противъ французскаго воспитанія нашего общества, противъ всеобщаго употребленія въ нашемъ обществѣ французскаго языка, языка нашихъ враговъ. Политическія отношенія времени придавали особенную

¹⁾ Ib., стр. 249.

²⁾ Ibid., стр. 316.

силу этимъ нападеніямъ. Съ грустію замѣчалъ Шишковъ, что „осьмилѣтнее дитя читаетъ у насъ, какъ самъ Лекенъ, стихи Вольтеровы, и не умѣетъ, не только наизусть, ниже по книгѣ прочитать *блаженъ мужъ* или *отче нашъ*“¹⁾; или: „наша женщина съ русскою въ рукахъ книгою, или съ письмомъ по русски написаннымъ, хотя бы то было въ старину ея дѣдушки, опасается быть выключенною изъ избраннаго общества и попасть въ толпу тѣхъ непросвѣщенныхъ людей, которые думаютъ, будто въ своей землѣ надобно умѣть говорить по своему“²⁾.

Въ этомъ нападеніи Шишкова на слогъ новыхъ писателей, какъ и въ прежнемъ его „разсужденіи“ заключались и вѣрные замѣчанія и преувеличенія. Послѣднихъ, разумѣется, было больше, ибо критикъ невольно увлекался пристрастіемъ къ основной своей мысли. Какъ и прежде, такъ и теперь нападенія Шишкова не остались безъ опроверженія. Новымъ критикомъ явилось лицо совершенно до того неизвѣстное въ литературѣ, случайно выступившее въ ней и потомъ скоро промѣнявшее ее на государственную службу, гдѣ приобрѣло себѣ высокое значеніе и имя. Это былъ отличавшійся умомъ, широкимъ образованіемъ и твердостью своихъ убѣжденій Д. В. Дашковъ, принадлежавшій въ числу немногихъ замѣчательныхъ государственныхъ людей въ царствованіе Николая, когда онъ былъ министромъ юстиціи.

Дашковъ происходилъ изъ богатаго дворянскаго рода и получилъ образованіе свое въ концѣ прошлаго вѣка въ благородномъ Московскомъ пансіонѣ при университетѣ; онъ былъ младшимъ товарищемъ Жуковскаго, которому даже былъ порученъ своими родителями. Служба его по окончаніи курса въ пансіонѣ, гдѣ воспитанники слушали университетскія лекціи, началась въ Московскомъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; однимъ изъ товарищей его по Архиву былъ Блудовъ; съ нимъ Дашковъ подружился надолго и вмѣстѣ потомъ, почти одновременно и неразлучно, они сдѣлали свою служебную карьеру и оба стали министрами при Николаѣ.

Близкія отношенія Дашкова къ Жуковскому познакомили его, съ другой стороны, съ литературнымъ кругомъ: Дашковъ былъ друженъ съ Батюшковымъ, Тургеневыми, княземъ Вяземскимъ и поклонялся талантамъ Карамзина и Дмитріева. Литературные вопросы и интересы были дороги ему довольно долгое время, хотя онъ измѣнялъ имъ ради службы или, скорѣе, служебной карьеры. Въ молодости, какъ это видно изъ немногихъ писемъ его къ пансіонскому товарищу Грам-

¹⁾ Ibid., стр. 330.

²⁾ Ibid., стр. 333.

матину, Дашковъ очень уважалъ Вольтера; онъ былъ вообще отлично знакомъ съ французской литературой. XVIII вѣка, зналъ и англійскій языкъ и цѣнилъ Шекспира ¹⁾. Переселившись изъ Москвы въ Петербургъ на службу, гдѣ ему въ особенности покровительствова-
валъ И. И. Дмитріевъ, Дашковъ довольно долго не покидалъ еще ни своихъ литературныхъ друзей, ни своихъ литературныхъ симпатій; въ литературѣ его влекло образованіе и тотъ кругъ пріятельскій, въ которомъ онъ жилъ. Дашковъ случайно участвовалъ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ, живо интересовался современною литературною борьбою невиннаго, но остроумнаго „Арзамасскаго общества“, членами котораго были всѣ друзья его, съ „Бесѣдою“, гдѣ главными дѣйствующими лицами были Шишковъ и Державинъ, писалъ самъ эпиграммы и въ прозѣ и въ стихахъ на Шаховскаго, Шишкова, Хвостова и другихъ. Но всѣ эти литературные вкусы и стремленія оставались Дашковымъ постепенно, по мѣрѣ успѣховъ его служебной карьеры и его возвышенія. Такая измѣна литературному дѣлу случалась тогда очень часто и была вполнѣ естественною. Въ самомъ дѣлѣ, какую привлекательность могла представлять въ то время наша литература, нѣмая, безгласная, не имѣющая никакого вліянія на общество, почти презираемая или только терпимая властію, нищая въ лоскуткахъ, оборванныхъ безсмысленною цензурою— для человѣка съ талантами, съ образованіемъ, съ честолюбіемъ. Литературная дѣятельность не могла привлекать подобныхъ людей. На этомъ поприщѣ подвизались тогда люди полуобразованные, которымъ особенно дороги были ихъ жалкіе интересы, чуждые жизни и дѣйствительности. Это было даже замѣчено современными журналистами. „Наблюдая образованіе нашихъ писателей, говоритъ одинъ изъ нихъ, всякъ долженъ удивляться, что у насъ ихъ такъ много и довольно хорошихъ. Большая часть изъ нихъ, какъ портной Тришка, учились самоучкою. Рѣдкіе получили ученое воспитаніе. Выучившись читать и писать по русски (иногда и тому весьма плохо), затвердивъ наизусть нѣсколько французскихъ стишковъ, зная, что во Франціи писали трагедіи Расинъ и Корнель, а комедіи Мольеръ, наши молодые люди почитаютъ себя совершенными и начинаютъ переводить, сочинять, печатать, издавать“...²⁾. Онъ же указываетъ на тотъ фактъ, что лучшіе люди удаляются отъ литературной дѣятельности, хотя и выставляетъ тому другую причину: „Не довольно внимательная къ истиннымъ достоинствамъ публика наша (то есть многочисленнѣйшая часть) причиною, что многіе люди съ талантомъ

¹⁾ Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 257—263.

²⁾ Цвѣтникъ 1810 г., ч. VI, стр. 349.

и познаніями вскорѣ начинаютъ скучать упражненіями въ словесности и посвящаютъ свои дарованія государственной службѣ. Многіе изъ нынѣшнихъ полезныхъ чиновниковъ государства (изъ которыхъ большая часть училась въ Московскомъ и нѣкоторые въ иностранныхъ университетахъ) въ молодости своей успѣшно занимались словесностью.

Хладнокровіе публики, не умѣющей цѣнить ихъ талантовъ, заставляло ихъ бросить ученые занятія. Еслибъ я смѣлъ, то назвалъ бы такихъ людей двадцать и больше, занимающихъ нынѣ почетныя мѣста въ государствѣ. Вообще рѣдкій писатель трудится у насъ болѣе пяти лѣтъ сряду. Одобреніе и награда публики столь слабы, а досады и неудовольствія, сопряженные съ состояніемъ писателя, такъ велики, что должно имѣть самую страстную любовь къ словесности, чтобъ заниматься ею долго¹⁾.

Къ числу этихъ отставшихъ отъ литературы образованныхъ и талантливыхъ людей принадлежалъ и Дашковъ. Его увлекло служебное честолюбіе, и по мѣрѣ своихъ успѣховъ, онъ забывалъ старыхъ друзей и товарищей по воспитанію и службѣ. Такъ Милоновъ, довольно замѣчательный сатирикъ, товарищъ ему по московскому пансіону, жалуется очень горько на его надменность²⁾. Въ 1817 году Дашковъ получилъ мѣсто совѣтника при посольствѣ въ Константинополѣ, гдѣ пробылъ около пяти лѣтъ и съ тѣхъ поръ не принималъ уже никакого участія въ литературномъ движеніи. Но въ эпоху появленія „Двухъ статей изъ Лагарпа“, переведенныхъ Шишковымъ, литература сильно занимала умъ Дашкова. Споръ Шишкова съ Карамзинистами и нападенія его на новый слогъ придали ей нѣкоторое оживленіе; тутъ была борьба мнѣній, столкновеніе стараго съ новымъ, и Дашковъ явился на сторонѣ послѣдняго и потому, что уважалъ талантъ Карамзина и придавалъ его реформѣ слога большое значеніе, и потому, что въ нападеніяхъ Шишкова было много несправедливаго. Дашковъ, конечно, не былъ филологомъ, но въ его критикѣ³⁾ очень много здраваго смысла и правды. Она отличается и достоинствомъ и безпристрастіемъ. Онъ совершенно согласенъ съ Шишковымъ относительно излишняго введенія въ языкъ нашъ несвойственныхъ ему словъ и оборотовъ, но замѣчаетъ, что требованія Шишкова въ этомъ отношеніи слишкомъ парадоксальны, слишкомъ широки, хотя и повторяютъ то же самое, что высказано

¹⁾ Ib. VI, стр. 349—351.

²⁾ Библ. Зап. 1895 г., т. II, стр. 301—2.

³⁾ Цвѣтн. 1810 г., ч. VII.

было уже имъ въ его прежнемъ разсужденіи. Дашковъ справедливо замѣчаетъ преувеличеніе Шишкова въ томъ, что онъ совершенно смѣшиваетъ, соединяетъ въ одно два языка: славянскій и русскій въ *славяно-русскій*, хотя самъ совершенно ложно увѣряетъ, что русскій языкъ отдѣлился отъ славянскаго *введеніемъ множества татарскихъ словъ и выражений*, совсѣмъ прежде неизвѣстныхъ. Соглашается Дашковъ съ Шишковымъ и въ томъ, что употребленіе славянскаго языка необходимо для возвышеннаго слога (это была дань господствующей теоріи), но употребленіе славянскихъ словъ и для этой цѣли требуетъ большой осторожности. Богатство языка, въ противность утвержденію защитника стараго слога, Дашковъ видитъ не въ его древнемъ и неизмѣняемомъ видѣ, а въ обогащеніи его новыми понятіями, а слѣдовательно и словами, только бы слова эти были хороши и точно выражали понятіе. Самъ защитникъ старыхъ словъ употребляетъ иногда выраженія, заимствованныя вовсе не изъ славянскаго языка, и употребляетъ съ большимъ успѣхомъ¹⁾.

„Хотѣтъ все вдругъ переимѣнить, хотѣтъ переводить всякое слово безъ разбора, есть также погрѣшность: ибо вмѣсто извѣстнаго и значительнаго иностраннаго слова, вездѣ употребляемаго, мнѣ вбиваютъ въ голову другое *славенорусское*, или лучше сказать—славено-варварское, совсѣмъ того смысла не выражающее“²⁾. Дашковъ указываетъ нѣсколько такихъ переведенныхъ Шишковымъ словъ, которыя не сохраняютъ смысла подлинника, напр. *лицедѣй*—актеръ, *краснословъ*—ораторъ, *вещесловіе*—матерія, *произношеніе*—просодія, художественныя, вмѣсто техническія названія и пр. Необходимо поэтому согласиться, что есть такія слова иностранныя, безъ которыхъ мы не можемъ обойтись, потому что не имѣемъ соотвѣтственныхъ имъ русскихъ выраженій. Чѣмъ замѣнить, напр., слова *критикъ*, *парадоксъ*, *синонимъ* и т. п.? Шишкову очень нравилась, и совершенно справедливо, способность русскаго языка къ составленію сложныхъ словъ; это доказываетъ богатство и особую упругость языка; но примѣры, имъ приводимые, были не совсѣмъ удачны, напр. онъ хвалилъ взятое имъ изъ священныхъ пѣсней прилагательное къ дереву—*благостнолиственное*, при чемъ забывалъ, что это буквальный переводъ съ языка греческаго, который скорѣе допускаетъ подобныя сложные слова, чѣмъ русскій. Дашковъ въ насмѣшку приводитъ составленные по этому образцу сложные слова изъ одного современнаго рукописнаго перевода „Освобожденнаго Іерусалима“: *длинноустозакоптълая*

¹⁾ Ibid., стр. 277.

²⁾ Ibid., стр. 296.

брада, *христогробопоклоняемая* страна—и доказываетъ этими примѣрами, какъ надобно быть осторожнымъ при составленіи новыхъ словъ.

У самого Шишкова критикъ находитъ тяжесть и неправильность слога и приводитъ довольно большое число примѣровъ, гдѣ онъ самъ, переводя изъ Лагарпа, не могъ удержаться отъ галлицизмовъ, отъ словъ, составленныхъ совсѣмъ не по-русски. Примѣры эти приведены были очень ловко и должны были задѣть за живое защитника чистоты русскаго слога, произвольно нарушившаго ее. Очень умно отвѣтилъ Дашковъ и на косвенный упрекъ въ неуваженіи къ религиознымъ обрядамъ, сдѣланный Шишковымъ всѣмъ Карамзинистамъ: „Показывать ошибки и опровергать ложныя умствованія писателей позволено всякому, говорить онъ; но не должно касаться до чести и мнѣній о вѣрѣ какого бы то ни было человѣка, даже и не называя его. Затѣмъ къ обыкновеннымъ сужденіямъ о словесности примѣшивать постороннія укоризны о неисполненіи обрядовъ, предписанныхъ церковью? Г. переводчикъ, конечно, самъ не захочетъ, чтобы мы, подражая ученымъ протекшихъ вѣковъ, при малѣйшемъ спорѣ называли другъ друга безбожниками и богохульниками¹⁾).

Такимъ образомъ становится довольно яснымъ, что подъ споромъ о словахъ скрывался споръ о понятіяхъ и убѣжденіяхъ, но высказывать послѣднія свободно и открыто и защищать ихъ было невозможно въ ту пору. Какъ бы то ни было, и писатели и журналисты раздѣлились въ то время на два лагеря: къ Шишкову, къ старикамъ литературнаго преданія, къ заслуженнымъ генераламъ литературы, у которыхъ образовался вскорѣ центръ соединенія въ „Бесѣдѣ любителей Россійскаго слова“, пристало все, что въ литературѣ было бездарнаго или приниженнаго и искательнаго, въ надеждѣ выиграть искуствомъ и лестью у знатныхъ стариковъ. Другая сторона, гдѣ находились люди съ дѣйствительными знаніями и талантами, образовала противоположный центръ въ такъ называемомъ „Арзамасскомъ обществѣ“. Но люди эти смотрѣли на литературу, какъ на забаву между дѣлъ, какъ на отдыхъ послѣ болѣе трудныхъ и болѣе уважаемыхъ занятій; вся ихъ дѣятельность ограничивалась насмѣшкой и пародіей на внѣшнюю обстановку литературныхъ занятій „Бесѣды“ и въ особенности на слогъ ея членовъ. Здѣсь, именно въ трудахъ „Бесѣды“, нашелъ себѣ пріютъ тотъ слогъ, который рекомендовалъ съ такимъ усердіемъ Шишковъ. Здѣсь находили полное одобреніе напыщенные, насыщенные славяно-церковными выраженіями вирши Боброва, кн. Ширинскаго-Шихматова, переводы Захарова и подобныя произведенія еще болѣе бездарныхъ писателей, въ родѣ доносчика Гера-

¹⁾ Ibid., стр. 430—431.

кова. Все это, разумѣется, давало обширный матеріалъ для насмѣшекъ, но дѣло и ограничивалось только ими.

Упорный Шишковъ не могъ и теперь не отвѣтить своему новому критику, какъ отвѣчалъ онъ прежнимъ. Онъ твердо стоялъ на своемъ и считалъ своимъ долгомъ защищать высказанныя имъ разубѣжденія. Этотъ отвѣтъ вошелъ въ его новое „Разсужденіе о краснорѣчии священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила Россійскаго языка, и какими средствами онъ еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно“. Разсужденіе это было имъ читано въ годовомъ собраніи Россійской Академіи въ декабрѣ 1810 года, а потомъ, печатая его въ слѣдующемъ году, онъ присоединилъ къ нему „присовокупленіе“, въ которомъ и заключенъ отвѣтъ его критику. Разсужденіе это было писано на двѣ темы, заданныя Академіей, т.-е. по всей вѣроятности, самимъ Шишковымъ; темы эти онъ соединилъ въ одно, а самое разсужденіе представляетъ слѣдующія три части: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчии священныхъ писаній и с) какими средствами словесность наша обогащаться можетъ, и какими приходитъ въ упадокъ.

Нѣтъ никакой надобности входить въ подробное изложеніе этого новаго произведенія Шихкова; настоящимъ филологомъ онъ не былъ и отличался только платоническою любовью къ славянскому языку. По его собственнымъ словамъ, этотъ языкъ былъ для него „нѣкая чудная загадка, понынѣ еще темная и не разрѣшенная“. Онъ говорилъ о языкѣ или наивныя или безсодержательныя фразы; на языкъ славянскій смотрѣлъ, какъ на первоначальный. Подражаніе звукамъ природы, впечатлѣнія предметовъ на органы слуха и зрѣнія—вотъ источники словъ. Поэтому Шишковъ говорилъ напр.: „ежели умъ примѣчалъ въ какой либо видимой вещи круглость, то для составленія имени ея выбиралъ и буквы такой же образъ имѣющія: око“. Онъ останавливается на богатствѣ въ русскомъ языкѣ такихъ многозначущихъ словъ, неимѣющихся ни въ нѣмецкомъ, ни въ французскомъ языкахъ. Богатство это особенно проявилось въ древнемъ славянскомъ переводѣ книгъ Священнаго Писанія, а потому-то въ нихъ и заключаются образцы истиннаго краснорѣчія. Чтобъ показать эти образцы, Шишковъ представляетъ довольно много выписокъ изъ книгъ священнаго писанія; въ словахъ этого древняго перевода заключены корни всѣхъ русскихъ словъ, а потому „для украшенія нынѣшняго нашего нарѣчія остается только черпать изъ оного“. Такъ и поступали всѣ поклонники Шихкова, раздѣлявшіе его взглядъ на *новый* слогъ. Оба языка, и славянскій и русскій—одно и то же; толки, распространенные во многихъ нынѣшнихъ книгахъ о разно-

сти этихъ двухъ языковъ, не даютъ процвѣтать нашей словесности. А потому всѣ усилія новаго разсужденія Шишкова направлены къ тому, чтобъ доказать единство обоихъ языковъ и опровергнуть ихъ мнимое различіе, утверждаемое его противниками. Русскій языкъ, отдѣльно отъ словенскаго—мечта, загадка, по словамъ Шишкова; но славянскій языкъ стоитъ выше русскаго; это высокій, книжный, ученый языкъ, образецъ для краснорѣчія. Не понимаютъ этого и не хотятъ понять люди, испорченные французскимъ воспитаніемъ, „нѣсколько журналистовъ, неизвѣстныхъ ни именами своими, ни трудами, нѣсколько молодыхъ людей, научившихся превратно видѣть вещи“. Противъ этихъ-то людей, къ числу которыхъ принадлежитъ, разумѣется, и новый критикъ Шишкова, направлено его „присовокупленіе“. Здѣсь Шишковъ прямо приводитъ слова его авторитета Лагарпа, который доказываетъ вредъ, нанесенный Франціи журналами, появившимися въ ней со временъ революціи. То же видитъ Шишковъ и у насъ. Во многихъ статьяхъ нашихъ журналовъ, по словамъ его, не щадится ни нравственность, ни разумокъ. Хлопочать о раздѣленіи русскаго языка отъ славянскаго для того, „чтобъ умъ и сердце каждаго отвлечь отъ нравоучительныхъ духовныхъ книгъ, отвратить отъ словъ, отъ языка, отъ разума оныхъ, и привязать къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ помраченію ума и уловленію невинности“. „Какое намѣреніе, спрашиваетъ Шишковъ, полагать можно въ стараніи удалить нынѣшній языкъ нашъ отъ языка древняго, какъ не то, чтобъ языкъ вѣры, ставъ невразумителенъ, не могъ никогда обуздывать языка страстей?“ Вотъ, до какихъ преувеличеній, до какихъ инсинуацій доходилъ Шишковъ въ своемъ рвеніи къ словенскому языку, обвиняя современную литературу и нашу невинную журналистику въ безбожномъ революціонномъ направленіи..

ЛЕКЦІЯ XXVII.

Книга Дашкова «О легчайшемъ способѣ возражать на критики».—«Разговоры о словесности» Шишкова.—Критика Каченовскаго на первый разговоръ.—«Бесѣда».

Новое сочиненіе Шишкова по языку или новый отвѣтъ его критикамъ, какъ мы видѣли, не прибавлялъ ничего къ высказаному уже имъ нѣсколько разъ, не усиливалъ его доказательствъ, но выражалъ только его раздраженіе, въ пылу котораго онъ забывалъ приличія литературной критики и удалялся отъ дѣла, нападая на воображаемые имъ нравственные недостатки своихъ противниковъ. Причина этихъ нападеній заключалась въ томъ, что у Шишкова вовсе не было

знаній, необходимыхъ для того предмета, который онъ взялся доказывать и защищать. Болѣе серьезнымъ образомъ доказать незнаніе Шишкова старался тотъ же Дашковъ въ своей небольшой книжкѣ, которая должна была служить отвѣтомъ Шишкову на его новыя нападенія. Эта книжка вышла въ 1811 году подъ заглавіемъ: „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“ и могла бы считаться лучшимъ полемическимъ русскимъ сочиненіемъ того времени, еслибъ предметъ ея не былъ такъ далекъ отъ современности и общественности. Во всякомъ случаѣ она свидѣтельствуетъ о познаніяхъ, умѣ и авторскомъ талантѣ Дашкова. Можно пожалѣть, что онъ промѣнялъ поприще писателя на государственную службу.

Отвѣтъ Дашкова направленъ собственно противъ „Присовокупленія“ Шишкова, въ которомъ онъ нападалъ вовсе не литературнымъ образомъ на своихъ противниковъ. „Отвѣчать бранью на учтивую, благонамѣренную критику, значить признать себя торжественно не въ состояніи отвѣчать на оную доказательствами, говоритъ Дашковъ, но къ сужденіямъ о языкѣ примѣшивать нравственность и вѣру, въ неукротимой запальчивости называть противниковъ своихъ *имѣющими поврежденное сердце* и укорять ихъ въ мнимомъ намѣреніи ослабить благотворную власть вѣры, забывать права общественныя и должное уваженіе къ лицу всякаго гражданина—есть разительный примѣръ, сколь сильно дѣйствуетъ оскорбленное самолюбіе и желаніе властвовать въ республикѣ словесности“... „Человѣкъ, упражняющійся въ словесности, оставляетъ почтенное сіе занятіе, вступаетъ въ поприще ругательства, присвоиваетъ себѣ право обвинять своихъ согражданъ, и все сіе, дабы отмстить за то, что ему дерзнули противорѣчить, что смѣли показать его ошибки!“..... Дашковъ доказываетъ, что Шишковъ собственно объ ошибкахъ, указанныхъ ему критикою „Цвѣтника“, старается вовсе не говорить. Это и есть *легчайшій способъ возражать на критики!* „Къ сему не нужны ни ученость, ни знаніе языка, ни даже здравая логика!“¹⁾ Онъ ставитъ рѣзкую противоположность между стариками, съ младенчества пріучившими себя къ нескладному сборищу славенскихъ выраженій, и юношами, воспитанными въ правилахъ здраваго вкуса. Конечно, при характерѣ критики Шишкова, спорить съ нимъ трудно: „Онъ почитаетъ всякое оружіе противъ соперниковъ своихъ законнымъ, по произволенію перемѣняетъ значеніе словъ и смыслъ рѣчи, и употребляетъ насмѣшку тамъ, гдѣ самъ ошибается“²⁾, но Дашковъ очень умно и съ знаніемъ дѣла разбиваетъ всѣ слабые доводы Шишкова въ пользу

¹⁾ Ibid., стр. 14.

²⁾ Ibid., стр. 30.

его мнѣнія о тождествѣ славянскаго и русскаго языковъ; онъ старается выставить его дѣйствительно незнающимъ того предмета, о которомъ такъ давно и съ такою горячностію Шишковъ толкуетъ публикѣ. Дашковъ присоединяетъ его къ числу „мнимыхъ нашихъ Квинтиліановъ, которые, ничему не учившись въ молодости и привыкнувъ писать на удачу, обо всемъ судятъ, все знаютъ, переводятъ съ французскаго и другихъ языковъ, не понимая оныхъ, и никакъ не хотятъ признаться въ своемъ невѣжествѣ“¹⁾). Положенія и утвержденія Шишкова онъ называетъ *видѣніями*. Въ самомъ дѣлѣ не видѣніе ли утвержденіе Шишкова, что древній славянинъ для составленія имени круглой вещи выбиралъ и буквы круглыя, напр. *око*. „Прекрасно! замѣчаетъ въ этомъ случаѣ Дашковъ: поэтому буква *о* есть несомнѣнный признакъ *круглости* во всѣхъ словахъ, гдѣ только она находится: отчего же нѣтъ ея въ названіяхъ *круга* и *шара*, фигуръ самыхъ круглѣйшихъ? Неужели Славенинъ, умѣвшій столь искусно разсуждать при составленіи языка своего, забылъ при названіи сихъ образцовъ круглости любимую свою систему?“²⁾). Такъ молодой и талантливый писатель разрушалъ авторитетъ Шишкова, разбивая его положенія и доказывая его незнаніе. Но Шишковъ не сдавался; въ его писательствѣ было удивительное упорство, онъ все твердилъ одно и то же. Онъ какъ будто не слушалъ ни возраженій, ни справедливыхъ критикъ, на него направленныхъ, и очень часто снова повторялъ свои парадоксальныя утвержденія. Въ томъ же 1811 году, когда появилась книжка Дашкова, Шишковъ напечаталъ новое сочиненіе „Разговоры о словесности между двумя лицами *Азъ* и *Буки*“. Разговоровъ этихъ два: одинъ о русскомъ правописаніи, другой о русскомъ стихотвореніи. Въ первомъ, согласно общему убѣжденію Шишкова, доказывается, что достаточныя и твердыя правила для русскаго правописанія заключаются въ церковныхъ книгахъ, что поэтому желаніе отдѣлить славянскій языкъ отъ русскаго есть только незнаніе и невѣжество; что языкъ книжный отъ словеснаго долженъ быть необходимо отдѣленъ, что порча того и другого происходитъ отъ нашего воспитанія: „Еслибъ воспитаніе наше было такое, говоритъ онъ, чтобъ мы отъ самаго дѣтства своему языку основательно учились, своимъ языкомъ говорили, свои книги читали, тогда бы разговорный языкъ сталъ, возвышаться и чиститься отъ книжнаго, на разумъ основаннаго, а не книжной упадать и портиться отъ разговорнаго, невѣжественнаго языка“³⁾). Весь этотъ первый разго-

¹⁾ Ibid., стр. 50.

²⁾ Ibid., стр. 73.

³⁾ Разговоры, стр. 26—7.

воръ Шишкова касается мелкихъ вопросовъ правописанія, употребленія нѣкоторыхъ буквъ въ предлогахъ, сложныхъ съ глаголами, измѣненія ихъ и т. п. Въ немъ встрѣчаются тѣ же словопроизводства, которыя всегда любилъ Шишковъ, напр. *граница* отъ храненіе, *мстница* отъ лезу, *обоняніе* отъ обвоняніе и пр., то же, какъ и прежде, отдѣленіе высокаго слога отъ низкаго и т. п. Словомъ, упорный ненавистникъ новаго слога стоялъ на прежнемъ; для него какъ бы не существовали критическія замѣчанія его противниковъ.

Второй разговоръ „о русскомъ стихотвореніи“ посвященъ собственно народной поэзіи и надобно поставить въ заслугу Шишкову, что онъ заговорилъ въ ту пору объ этомъ забытомъ или вовсе неизвѣстномъ для современныхъ писателей предметѣ. Онъ говорилъ о необходимости примкнуть искусственной поэзіи къ народной, говорилъ, что первая уклонилась отъ второй не только мѣрою, но слогомъ, мыслями, выраженіями и даже словами, и даетъ наконецъ образцы языка въ народной поэзіи, приводя ея отрывки. Шишковъ глубоко убѣжденъ въ достоинствѣ народной поэзіи, утверждаетъ, что первоначальный видъ нашихъ пѣсенъ и сказокъ былъ превосходный, любитъ ихъ образами и выраженіями. Онъ первый указалъ на нѣкоторыя характеристическія особенности языка нашей народной поэзіи, которыя потомъ повторяли только изслѣдователи, напр.: повтореніе, постоянные эпитеты, сокращенныя прилагательныя, употребленіе уменьшительныхъ и ласкательныхъ, вводныя поговорки, отрицаніе, выражающееся въ сравненіяхъ, простота и естественность этихъ сравненій и т. п. Изъ довольно длиннаго разговора Шишкова видно, что онъ глубоко и искренно любилъ народную поэзію и понималъ ея красоты. Онъ требовалъ отъ современной литературы знакомства съ нею. „Мы бросились на новѣйшіе иностранные языки, заключаетъ онъ этотъ разговоръ свой, и переводя съ нихъ, стали придерживаться ихъ свойствамъ. Чего у нихъ въ языкѣ нѣтъ, того уже и мы въ сочиненіяхъ своихъ употреблять не смѣемъ. Сіе излишнее подражаніе имъ отводитъ насъ отъ собственныхъ красотъ языка нашего и, стѣсняя предѣлы онаго, служитъ болѣе ко вреду, нежели къ пользѣ словесности“¹⁾. То, что высказалъ Шишковъ въ этомъ разговорѣ о народномъ языкѣ, составляетъ его дѣйствительную заслугу, и современная критика, преслѣдовавшая всякое его сочиненіе, не задѣла это; напротивъ, отзывалась съ полнымъ одобреніемъ его мысли. Зато первый разговоръ, гдѣ снова повторялись его мысли о единствѣ славянскаго, т.-е. церковнаго языка съ русскимъ, встрѣ-

¹⁾ Ibid., стр. 156.

тиль новаго и очень дѣльнаго критика въ издателѣ „Вѣстника Европы“ — Каченовскомъ (1811 г., №№ 12 и 13). Онъ оспаривалъ главное положеніе Шишкова, доказывалъ, что не въ церковныхъ книгахъ заключаются правила русскаго правописанія, а въ грамматикахъ, что славянскій языкъ нашихъ церковныхъ книгъ очень удаленъ отъ современнаго русскаго и несходствомъ словъ, и разностію въ спряженіяхъ и даже въ синтаксисѣ, что русскій языкъ не нарѣчіе славянскаго, а другой самостоятельный языкъ, что на немъ излагаются законы, пишутся книги и пр. Каченовскій доказывалъ и всю неестественность словопроизводства у Шишкова, но, конечно, не могъ убѣдить своего противника никакими доводами. Попрежнему далъ онъ отпоръ и въ „Прибавленіи къ разговорамъ о словесности“ отвѣтилъ Каченовскому (Спб., 1812 г.), опровергая его, хотя и весьма слабо. На этотъ разъ онъ по крайней мѣрѣ не затрагивалъ личностей.

Въ такомъ видѣ представляется этотъ продолжительный и, по правдѣ сказать, бесполезный для жизни и литературы споръ о языкѣ, поднятый Шишковымъ; онъ велъ этотъ споръ до 1812 года, когда новыя обязанности отвлекли Шишкова отъ любимаго предмета и когда потомъ, послѣ великихъ событій временъ, общество и литература не могли уже воротиться къ прежнему. Разбирая фазисы этого спора и содержаніе рѣчей противниковъ, мы могли видѣть, что споръ этотъ былъ какъ бы чисто внѣшняго характера, касался словъ, а не идей и не понятій. Подъ словами однакожь, какъ мы замѣчали не разъ, скрывались понятія; спорящіе ихъ подразумѣвали только, но не высказывали. Шишковъ раздѣлялъ понятія и убѣжденія Глинки. Онъ самъ это высказывалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Бардовскому, большому поклоннику его идей. Этотъ Бардовскій перевелъ одно изъ сочиненій Лагарпа, въ которомъ тотъ нападалъ на философію XVIII вѣка: „Опроверженіе злоумышленныхъ толковъ, распространенныхъ философами XVIII вѣка противъ христіанскаго благочестія“ (М. 1810 г.). Шишкову нравится „Русскій Вѣстникъ“ за то именно, что журналъ этотъ не любитъ новаго просвѣщенія. „Для того весьма охотно читаю „Русскій Вѣстникъ“ — пишетъ онъ къ Бардовскому — который не твердитъ о словахъ *эстетика*, *образованіе*, *просвѣщеніе* и тому подобныхъ, но говоритъ всегда объ истинной и чистой нравственности, отъ которой въ нынѣшнія времена родъ человѣческій, къ злополучію своему, далѣе и далѣе отпадаетъ. Онъ не смотритъ на то, что таковыя его писанія многимъ, у которыхъ голова вскружена *новыми понятіями*, не нравятся; онъ продолжаетъ, исполняя долгъ свой, и свѣтъ сѣмена общаго и давно проповѣдываемаго благомыслія, не угадывая предбудущаго и не зная, дождь ли ихъ

залететь или солнце согрѣть“ ¹⁾. Такъ точно смотрѣлъ и Шишковъ на свою дѣятельность: „Господа журналисты и большая часть молодыхъ людей (нынѣшняго образа мыслей) крайне меня не жалуютъ; но признаюсь, что изъясляемая ими ненависть ко мнѣ есть самое то, чѣмъ я горжусь; знавъ, что я различно съ ними думаю, а они такъ худо и вредно думаютъ, что быть съ ними различнаго мнѣнія дѣлаетъ человѣку честь“ ²⁾. Изъ этихъ словъ Шишкова очевидно для всякаго, что, несмотря на всю его любовь къ корнямъ русскаго языка, было ему что-то другое дороже. Это другое — старыя понятія и ненависть къ идеямъ прогресса и развитія, ненависть, соединявшаяся въ то время съ патриотизмомъ.

Кажется, съ цѣлю распространенія въ обществѣ своихъ понятій и убѣжденій Шишковъ придумалъ организовать собранія своихъ единомышленниковъ по литературнымъ взглядамъ въ нѣчто правильное, не случайное, а періодически повторяющееся. Мы говорили уже о литературныхъ друзьяхъ Шишкова, людяхъ болѣе извѣстныхъ въ литературѣ своею привязанностію къ старымъ формамъ и идеямъ, чѣмъ талантомъ. Часто собирались они другъ у друга; наконецъ, по предложенію князя Голицина ³⁾, Шишкову или Державину пришло на мысль сдѣлать эти частныя собранія общественными. Частныя собранія эти возникли гораздо раньше. Писатели одного закала, поклонники Державина и Шишкова, собирались еще съ 1806 года то у того, то у другого. На собраніяхъ этихъ, кромѣ записныхъ литераторовъ, старыхъ и молодыхъ, публики впрочемъ не было. Общій характеръ ихъ и содержаніе нѣкоторыхъ чтеній съ ихъ обстановкою представлены довольно подробно въ запискахъ Жихарева, принадлежавшаго къ числу молодыхъ литераторовъ, начинающихъ свою карьеру подъ покровительствомъ старшихъ. Жихаревъ прославился въ этомъ обществѣ, какъ чтецъ и декламаторъ, и старикъ Державинъ любилъ слушать изъ устъ его свои оды, и часто заставлялъ его читать. Мысль сдѣлать чтенія публичными возникла въ 1810 году, по разсказу Вигеля, въ то время, когда въ Петербургъ пришло извѣстіе о томъ, что Карамзинъ въ Твери у В. К. Екатерины Павловны читалъ свою исторію и еще какое-то другое произведеніе императору Александру, который будто бы склонился къ его образу мыслей. Мы знаемъ, что Шишковъ, въ своемъ блаженномъ невѣдѣніи, все еще продолжалъ смотрѣть на Карамзина, какъ на якобинца; вѣроятно, въ публичности

¹⁾ Записки. Берлинъ 1870 г. II, стр. 319.

²⁾ Ibid., стр. 317.

³⁾ Это былъ князь Борисъ Владиміръ Голицинъ (1769—1813). См. Соч. Держ. Изд. Ак. Н. т. VIII, стр. 905.

„Бесѣды“ онъ думалъ образовать противодѣйствіе возникшему вліянію Карамзина. Какъ ни былъ онъ преданъ русской словесности, какъ ни любилъ онъ старый слогъ и изслѣдованіе корней, все же, сколько можно видѣть изъ его „Записокъ“, въ немъ была значительная доля честолюбія и онъ считалъ нужнымъ жаловаться, что его забыли. Въ это время, послѣ тильзитскаго мира, государь, по его словамъ, былъ въ негодованіи на него за какіе-то имъ написанные французскіе стихи по поводу этого мира. Шишковъ не любилъ ни Сперанскаго, ни его преобразованій; безъ сомнѣнія, онъ рѣзко отзывался въ обществѣ о томъ и другомъ; образъ мыслей его былъ извѣстенъ, и въ этомъ, конечно, надобно искать причину, почему онъ не могъ участвовать въ высшемъ управленіи. Когда въ 1810 году, по проекту Сперанскаго, образовался Государственный Совѣтъ, Шишковъ не былъ назначенъ его членомъ по личному нежеланію Александра. Одному изъ близкихъ къ Шишкову людей—Философову Александръ будто бы сказалъ, что „лучше согласится не царствовать, нежели сдѣлать его членомъ“ ¹⁾. Тогда, говоритъ Шишковъ, я попрежнему обратился къ любимымъ своимъ занятіямъ словесностью. И организованная „Бесѣда“ съ своими публичными засѣданіями скоро выдвинула его впередъ.

„Бесѣда любителей Русскаго слова“ была Высочайше утверждена 17 февраля 1811 года, и первое публичное чтеніе ея съ торжественною обстановкою происходило 14 марта того же года. Организацию этого любимаго дѣтища Шишкова и Державина можно узнать изъ 1 и 13 книжки „Чтеній“, которыхъ вышло 20 книжекъ (1811—1815 г.). „Бесѣда“ имѣла четыре разряда и у всѣхъ ихъ вмѣстѣ были попечители, принадлежавшіе къ самымъ знатымъ лицамъ по служебной іерархіи. Эти попечители были, при основаніи „Бесѣды“: Н. С. Мордвиновъ, Графъ А. К. Разумовскій, И. И. Дмитріевъ, В. С. Поповъ и С. К. Вязьмитиновъ,—не всѣ, какъ видно, литераторы. Предсѣдателями разрядовъ были: Шишковъ, Державинъ, А. С. Хвостовъ и И. М. Муравьевъ-Апостолъ. Затѣмъ шли дѣйствительные члены, члены—сотрудники и наконецъ почетные члены, къ числу которыхъ принадлежали лица духовныя и, между прочимъ, нѣкоторыя дамы-писательницы, которыя подъ покровительствомъ Державина и Шишкова получили тогда литературную извѣстность, какъ княжна Урусова и дѣвицы Бунина и Волкова. Нельзя не замѣтить, что старики организаторы „Бесѣды“, по привычкѣ служебной и согласно своимъ понятіямъ, ввели въ собраніе нѣсколько чиновничій характеръ, что,

¹⁾ Зап. I, стр. 114—115.

разумѣтся, не могло понравиться нѣкоторымъ молодымъ писателямъ. Такъ Гнѣдичъ, извѣстный впоследствии какъ переводчикъ Иліады, а тогда только что начинающій поэтъ, завелъ по поводу этого чинопочитанія довольно забавную переписку съ Державинымъ. Онъ замѣтилъ, что члены второго разряда подъ предсѣдательствомъ Державина, куда и его помѣстили, *разставляются по чинамъ*.

„Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ, я тогда только позволю себѣ видѣть чина свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесенъ я въ списокъ, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“. Онъ не понималъ также разности между званіемъ дѣйствительнаго члена и члена-сотрудника и просилъ позволенія не называться просто членомъ-сотрудникомъ, а или „членомъ-сотрудникомъ Его Высокопревосходительства Державина“ или только *членомъ*. „Еслижъ на это или не дадутъ согласія гг. члены, или не буду я въ правѣ по моему чину, то въ обоихъ случаяхъ мнѣ ничего не остается, кромѣ заслуживать еще и лучшее о себѣ мнѣніе и большій чинъ“ ¹⁾. Такихъ, впрочемъ, независимыхъ молодыхъ писателей въ „Бесѣдѣ“ было немного.

Не безъ мысли противодѣйствовать Карамзину и его школѣ и проводить въ общество свои любимыя идеи и убѣжденія была задумана и организована со стороны Шишкова „Бесѣда“. Въ печатномъ планѣ „Бесѣды“ высказывался намекъ на Карамзина и почему публика такъ любитъ его сочиненія: „Временная слава возрастаетъ отъ нѣкотораго стеченія обстоятельствъ, говорилось здѣсь ²⁾, отъ случайнаго расположенія умовъ и часто отъ размноженія пустыхъ голосовъ, повторяющихъ одинъ другого“. Въ „Бесѣдѣ“ есть и прямая выходка противъ Карамзина, написанная не безъ злости и не безъ правды, въ посланіи Марина ³⁾.

„И впрямь, что нужды мнѣ въ дѣла другихъ мѣшаться?
На свѣтѣ можетъ всякъ, чѣмъ хочетъ заниматься.
Пускай нашъ Ахаленнъ стремится въ новый путь,
И вдохами свою наполня томну грудь,
Опишетъ, свойства плаксь давъ Игорю и Кію,
И добренькихъ Славянъ и милую Россію“...

„Бесѣда“ была то же, что и Россійская академія; большинство членовъ первой было и членами послѣдней, но Академія не имѣла тогда никакого значенія и никакого вліянія на общество; тамъ въ эту пору засѣдали удрученные лѣтами маститые старцы; молодыхъ

¹⁾ Соч. Державина. Изд. Ак. Н. т. 8, стр. 909.

²⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русск. слова, кн. I. стр. IV.

³⁾ Ibid., кн. III, стр. 121.

и дѣятельныхъ членовъ не было, а между тѣмъ Шишкову, который только въ 1813 году сдѣлался президентомъ Россійской Академіи, хотѣлось имѣть вліяніе на общество: главная цѣль „Бесѣды“ состояла „въ чтеніи произведеній своихъ предъ посѣтителями обоюбо пола“. Патріотическія стремленія времени, все болѣе и болѣе увеличивающіяся по мѣрѣ приближенія грознаго 12 года, способствовали участію общества къ этому учрежденію. „Воспрянувшее въ разныхъ состояніяхъ чувство патріотизма, говоритъ въ своихъ „Запискахъ“ Вигель, видимо однако нерасположенный къ „Бесѣдѣ“, потому что самъ принадлежалъ къ „Арзамасу“, подѣйствовало, наконецъ, и на высшее общество: знатныя барыни на французскомъ языкѣ стали восхвалять русскій... Имъ и придворнымъ людямъ натолковали, что онъ искаженъ, зараженъ, начиненъ словами и оборотами, заимствованными у иностранныхъ языковъ, и что „Бесѣда“ составила единственно съ цѣлю возвратить ему его чистоту и непорочность“... Конечно въ этомъ поворотѣ общественнаго мнѣнія въ высшемъ кругу была виновата вовсе не пропаганда, дѣлаемая сочиненіями Шишкова, быстро слѣдовавшими одно за другимъ, но обстоятельства времени, мода и наконецъ образъ дѣйствій самой власти, которая желала воспользоваться этимъ патріотическимъ настроеніемъ общества. Наивно было бы повѣрить Шишкову, что послѣ перваго чтенія въ „Бесѣдѣ“ „многія присутствовавшія на немъ господа почувствовали, что не похвально языкъ свой презирать и многихъ, прекрасныхъ на немъ сочиненій не читать и не знать“¹⁾. Изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени въ знатныхъ кружкахъ петербургскаго общества вращался только одинъ Крыловъ, начавшій съ 1806 года писать и печатать свои знаменитыя басни. Ихъ, конечно, слушали съ удовольствіемъ въ разныхъ домахъ, но любили Крылова въ то время вовсе не за басни, а за его шутливость и другія свойства характера.

Собранія членовъ „Бесѣды“ были частныя и публичныя. Послѣднія происходили обыкновенно по вечерамъ; посѣтители стѣзжались не иначе, какъ по пригласительнымъ билетамъ и этимъ собраніямъ старались придать какъ можно болѣе торжественный видъ. Въ домѣ Державина была нарочно приспособленная къ этимъ собраніямъ зала, которая ярко освѣщалась. По срединѣ залы стоялъ большой круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, вокругъ котораго сидѣли члены, обыкновенно подъ предсѣдательствомъ Державина, по „мановенію котораго начиналось и перемежалось занимательное чтеніе въ слухъ и часто образцовое“, говоритъ современникъ (Стурдза). Слушатели помѣщались на сѣдалищахъ, возвышавшихся уступами вокругъ залы.

¹⁾ Записки I, стр. 117.

На часть внѣшнюю, декоративную было обращено особенное вниманіе. Она, конечно, была гораздо красивѣе самаго содержанія чтеній, которыя до 1812 года ничѣмъ не отличались отъ статей, помѣщаемыхъ въ журналѣ Глинки. Въ самомъ дѣлѣ, изъ всего, что было прочитано въ „Бесѣдѣ“ и потомъ напечатано въ ея изданіи, кромѣ нѣсколькихъ басенъ Крылова, ничего не удержалось въ исторіи нашей литературы. Едва ли большая часть публики могла слушать съ удовольствіемъ эти скучныя чтенія, въ которыхъ не было ничего живаго. Самый большій вкладъ въ „Бесѣду“ вложили главные ея представители и учредители: Державинъ и Шишковъ. Первый, въ продолженіе дѣлаго ряда чтеній излагалъ здѣсь свое длинное разсужденіе „о лирической поэзіи“—старческую компиляцію изъ разныхъ нѣмецкихъ эстетикъ, которая никого не могла интересовать. Одно мѣсто этого разсужденія подало поводъ къ продолжительнымъ насмѣшкамъ надъ легковѣріемъ Державина. Въ Петербургѣ былъ тогда какой-то любитель и собиратель древностей Селакадзе, плохой знатокъ древностей или, можетъ быть, плутъ¹⁾, который продалъ Державину кожаный свитокъ, на которомъ было написано якобы славено-рунное стихотвореніе І вѣка и нѣсколько произреченій новгородскихъ жрецовъ V вѣка. Державинъ напечаталъ эти рѣдкости особенными буквами—точнымъ снимкомъ съ мнимыхъ рунъ, съ переводомъ на русскій и разсуждалъ о нихъ, какъ объ остаткахъ древнѣйшей лирической поэзіи славянъ²⁾. Кажется, что всѣ члены „Бесѣды“ вѣрили подлинности рунъ. Вообще Державинъ былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ „Бесѣды“. Всѣ послѣднія его стихотворенія помѣщены въ этомъ изданіи, которое и прекратилось вмѣстѣ съ его смертію. Шишкова еще раньше отвлекли отъ „Бесѣды“ другія обязанности. Но онъ открылъ эти собранія. Его рѣчь при открытіи „Бесѣды“³⁾ говорила вообще о словесности, и служила какъ бы введеніемъ въ предстоящія чтенія. Она наполнена множествомъ отрывковъ изъ любимыхъ имъ прозаиковъ и поэтовъ русскихъ, которыми онъ хотѣлъ возбудить любовь къ нашему языку и чтенію на немъ собственныхъ нашихъ произведеній. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова читалъ свою извѣстную рѣчь, или „Разсужденіе о любви къ отечеству“⁴⁾. Онъ рассказываетъ въ своихъ „Запискахъ“, что долго не рѣшался читать этой рѣчи, зная неблаговоленіе къ себѣ государя, боясь французскаго посла Коленкура и опасаясь „чтобъ не поставили мнѣ это въ какое нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народну“, но наконецъ рѣшился

¹⁾ Зап. Жихарева, стр. 360—361.

²⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ люб. русск. слова, кн. VI, стр. 5—7.

³⁾ Соч. IV, стр. 108—146.

⁴⁾ Чтеніе, кн. V, стр. 1—54.

послѣ долгихъ колебаній. Рѣчь эта, конечно, имѣетъ отвлеченный характеръ, но онъ получилъ реальное содержаніе, въ виду близившихся событій 1812 года. Рѣчь исполнена пылаго чувства; съ силою говорилъ Шишковъ о народной гордости, о вѣрѣ, воспитаніи, языкѣ. Собраніе было многочисленно; рѣчь имѣла успѣхъ; о ней заговорили въ столицѣ и безъ сомнѣнія она была причиною, что въ мартѣ 1812 года, тотчасъ по паденіи Сперанскаго, Александръ послалъ за Шишковымъ и сдѣлалъ его государственнымъ секретаремъ. Тогда сталъ онъ писать свои знаменитые манифесты, которые возбуждали народъ и общество въ эпоху отечественной войны.

ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX.

Крыловъ.—Комедіи его «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».—Озеровъ и его трагедіи: «Ярополкъ и Олегъ», «Эдипъ въ Афинахъ», «Фингалъ».

Патріотическое возбужденіе общества въ годы съ 1806 по 1812 было до такой степени сильно, что люди съ несомнѣннымъ талантомъ въ какомъ-нибудь литературномъ родѣ увлекались невольно общимъ настроеніемъ и пытали свои силы въ томъ, что находило къ себѣ сочувствіе, что нравилось большинству. Къ числу такихъ талантовъ въ литературѣ, заплатившихъ дань времени, принадлежалъ Крыловъ. Имя его, правда, было уже извѣстно въ литературныхъ кружкахъ и между лицами интересовавшимися литературою, но дѣйствительный родъ поэзіи, который доставилъ ему славу, еще не вполне былъ признанъ имъ. Литературная дѣятельность знаменитаго баснописца началась давно; уже въ 1789 году онъ является издателемъ-журналистомъ, писателемъ для театра, поэтомъ, но недостатокъ серьезнаго образованія, лѣнь—характеристическая черта Крылова, различные мелкія увлеченія, бродячая жизнь по Россіи, которая унесла безслѣдно нѣсколько лѣтъ его жизни, не позволяли Крылову ни на чемъ сосредоточиться. Первые годы царствованія Александра, не принимая ни въ чемъ участія, относясь совершенно безразлично къ признакамъ новой жизни, которая началась тогда въ Россіи, Крыловъ прожилъ въ саратовской деревнѣ стараго своего покровителя князя Голицына, вдали отъ всякаго умственнаго движенія и, повидимому, чуждый всякимъ современнымъ вопросамъ,—не то въ качествѣ учителя при дѣтяхъ, не то въ качествѣ веселаго домашнего чело-вѣка и собесѣдника, посреди приволья и жирныхъ блюдъ крѣпостной помѣщичьей жизни. Въ 1806 году, къ счастью Крылова, эта лѣнивая и беззаботная деревенская жизнь кончилась для него и онъ поѣхалъ въ Петербургъ, безъ сомнѣнія, искать мѣста, рассчитывая на преж-

нія занятія и связи литературныя. Этотъ годъ замѣчателенъ въ жизни Крылова въ томъ отношеніи, что тогда написаны были имъ первыя басни и онъ нашелъ такимъ образомъ тотъ литературный родъ, который доставилъ ему извѣстность. Проѣздомъ Крыловъ остановился въ Москвѣ; здѣсь возобновилъ онъ прежнее литературное знакомство съ Дмитріевымъ, который уже тогда имѣлъ славу русскаго Лафонтена. По рассказамъ біографовъ Крылова (Соч. Спб. 1859 г. I, XLVI—XLVII) Дмитріевъ, которому на судъ представилъ Крыловъ свои первыя двѣ басни, переведенныя имъ изъ Лафонтена, первый увѣрилъ его, что басня есть настоящее его призваніе.

„Дубъ и трость“ „Разборчивая невѣста“, „Старикъ и трое молодыхъ“—были первыя печатныя басни Крылова. Онѣ появились въ 1 и 2 № за 1806 годъ журнала Шаликова „Московскій Зритель“ и были переданы издателю Дмитріевымъ съ одобреніемъ, о чемъ печатно заявилъ въ журналѣ и самъ Шаликовъ. Съ этихъ поръ Крыловъ почти ничего уже не писалъ до самой смерти своей, кромѣ басенъ. Вернувшись, однако, въ 1806 году въ Петербургъ, онъ поставилъ въ слѣдующемъ году двѣ комедіи и еще волшебную оперу. Кажется, впрочемъ, что пьесы эти были имъ написаны ранѣе и онъ привезъ ихъ съ собою въ Петербургъ. Еще въ прежнюю эпоху своей литературной дѣятельности, когда онъ являлся журналистомъ, Крыловъ любилъ писать комедіи и оперы, литературный родъ, который завелся у насъ было въ концѣ XVIII вѣка. Въ 1793 году Крыловъ напечаталъ комическую оперу „Бѣшеная семья“ и комедію „Проказники“, а въ 1794 году—прозаическую комедію „Сочинитель въ прихожей“. Зная Крылова по его баснямъ, любуясь въ нихъ его тонкимъ, наблюдательнымъ умомъ, насмѣшливостью и многими, чисто русскими, вполне народными свойствами характера, казалось, можно было бы ожидать отъ комедій Крылова высокихъ поэтическихъ и вообще литературныхъ достоинствъ. Выходило однакожь совсѣмъ не то, и комедіи Крылова стоятъ неизмѣримо ниже писанныхъ значительно ранѣе комедій Фонъ-Визина. Общая, рутинная подражательность погубила эти комедіи. Напрасно стали бы мы искать въ нихъ наблюденія надъ русскою общественною жизнію, ея пониманія, сознательной, прочувствованной сатиры, какъ у Фонъ-Визина. Это какіе-то „образы безъ лицъ“, а не характеры, грубая каррикатура на нравы, на случаи, а не наблюденія ихъ. Интрига комедій ведена по общепринятому, господствовавшему тогда французскому образцу. Всѣмъ дѣйствіемъ заправляютъ ловкій слуга или служанка, чуждые нашимъ нравамъ; это дѣйствіе вертится обыкновенно на пустомъ волокитствѣ. Ни жизни, ни правды не было въ этомъ комическомъ мірѣ, который занималъ тогда Крылова; это былъ міръ нелѣпый и вдобавокъ еще скучный и до крайности утомительный.

Всѣми этими недостатками отличаются и двѣ комедіи Крылова, которыя были имъ поставлены на сцену въ 1807 году: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Очень вѣроятно, что уродливое искаженіе нашей всеобщей тогда подражательности французскому, утрировка этого недостатка въ провинціи, гдѣ жилъ Крыловъ до того времени, навели его на главную идею и содержаніе этихъ комедій. Безъ сомнѣнія также, что патріотическое чувство и ненависть къ Французамъ, возбужденныя современными обстоятельствами и начинавшей имѣть вѣсь патріотической литературой, коснулись и Крылова; современное содержаніе придало имъ жизнь и значеніе и способствовало успѣху комедій на сценѣ. Комедія „Модная лавка“, какъ уже показываетъ самое названіе, имѣетъ цѣлю осмѣять пристрастіе къ моднымъ, т.-е. французскимъ товарамъ. Представительницею этой страсти является деревенская помѣщица Сумбурова, пріѣхавшая въ Москву закупать приданое для надчерицы. Модная лавка, куда является эта Сумбурова, скорѣе похожая на каррикатурную дуру, чѣмъ на живое лицо, выставлена притономъ разнаго мошенничества и нечистыхъ дѣлъ. Французы, введенные въ пьесу, конечно, плуты. Мужъ Сумбуровой, ненавистникъ модныхъ товаровъ и поклонникъ всего русскаго, изъ-за чего у него происходятъ безпрестанныя ссоры съ женою, не внушаетъ къ себѣ симпатіи, потому что весьма недалекъ, да и самое дѣйствіе поглощено любовной интригой, такъ что выходы противъ подражательности русскіхъ и слѣпного поклоненія всему иностранному, встрѣчаются очень рѣдко. Комедія, однако, несмотря на всѣ свои недостатки, имѣла большой успѣхъ. Современникъ замѣчаетъ, что на сценѣ Сумбуровъ, жена его и деревенскій лакей ихъ Антропка являли собою настоящіе провинціальныя, всѣмъ знакомые типы; но это, вѣроятно, происходило отъ искуснаго выполненія ролей на сценѣ¹⁾.

Другая комедія Крылова съ тѣмъ же современнымъ патріотическимъ направленіемъ „Урокъ дочкамъ“ кажется намъ еще неудачнѣе. Цѣль ея—осмѣять исключительное воспитаніе на французскомъ языкѣ и неумѣренное пристрастіе къ нему. У помѣщика Велькарова—двѣ дочери; самъ онъ вдовъ и на службѣ, а дочерей отдалъ воспитывать къ теткѣ въ Москву. Онѣ и воспитались „на послѣдній манеръ“. По возвращеніи со службы Велькаровъ пріѣхалъ посмотреть на дочерей, „чтобы до замужества ими полюбоваться“. „Ну, правду сказать, утѣшили же онѣ старика! говоритъ горничная Даша. Лишь вошли къ батюшкѣ, то поставили домъ вверхъ дномъ, всю его родню и старыхъ знакомыхъ отвадили грубостями и насмѣшками. Баринъ

1) Зап. Жихарева, стр. 443.

не знаетъ языковъ, а онѣ накликали въ домъ такихъ не-Русей, между которыхъ бѣдный старикъ шатался, какъ около Вавилонской башни, не понимая ни слова, что говорятъ и чему хохочутъ". Старикъ разсердился и увезъ ихъ изъ дома московской тетки въ деревню, гдѣ строго запретилъ имъ между собою и съ кѣмъ бы то ни было изъ гостей разговаривать по-французски. Собственно „урокъ дочкамъ" состоитъ въ томъ, что съ вѣдома отца имъ приходится принимать простого русскаго лакея за французскаго маркиза, разговаривать съ нимъ, приходитъ отъ него въ восторгъ, за которымъ слѣдуетъ жестокое разочарованіе. Обѣ дочери Велькарова—характеры преувеличенные и каррикатурные, но „Урокъ дочкамъ" правился той части русскаго общества, которая была настроена патріотически. Конечно, урокъ этотъ не послужилъ никому въ пользу, и комедія Крылова, когда прошла мода на патріотическое направленіе, скоро забылась—вѣрное доказательство той мысли, что для успѣха литературное произведеніе, кромѣ живого сочувствія къ современности, нуждается еще и въ талантѣ.

Къ этимъ же годамъ патріотическаго возбужденія въ обществѣ относится непродолжительная, но громкая слава трагическаго поэта *Озерова*, прогремѣвшаго своимъ именемъ и немногими драматическими произведеніями и потомъ вдругъ неожиданно удалившагося отъ успѣховъ и славы, въ глушь уединенія, гдѣ его постигло сумасшествіе за нѣсколько лѣтъ до смерти. Эта злополучная судьба Озерова, постигшая его послѣ необычайныхъ, до тѣхъ поръ неслыханныхъ успѣховъ на русской сценѣ, гдѣ долгіе годы послѣ его смерти давались съ успѣхомъ его пьесы, возбуждала къ нему общее сочувствіе, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ мы не имѣемъ положительныхъ свидѣтельствъ о тѣхъ дѣйствительныхъ нравственныхъ причинахъ, которыя привели несчастнаго поэта къ катастрофѣ; о ней существуютъ въ литературѣ только неясные намеки и неопредѣленные догадки, такъ что дѣло останется, вѣроятно, навсегда темнымъ. Единственная біографія поэта „О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова", приложенная къ изданію его сочиненій, была написана княземъ Вяземскимъ еще въ 1817 году, вскорѣ послѣ смерти поэта; съ тѣхъ поръ къ неопредѣленнымъ высказываемымъ въ видѣ предположеній и догадокъ фактамъ этой біографіи не прибавилось до сихъ поръ почти ничего. Друзья Озерова,—а онъ, будучи двоюроднымъ братомъ Блудова и даже чѣмъ-то въ родѣ опекуна его въ молодости, принадлежалъ къ кружку карамзинистовъ,—оставили о немъ и о судьбѣ его въ своихъ произведеніяхъ искреннія сожалѣнія, но ни одного положительнаго факта. Его имя, съ неясными намеками, встрѣчается въ стихахъ Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина и др. Его, по

ихъ понятіямъ, необыкновенный гений и несчастная судьба интересовали ихъ живо.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ былъ дворянскаго происхожденія. Онъ родился 29 Сентября 1769 года въ деревнѣ зубцовскаго уѣзда тверской губерніи. Отецъ его былъ старый офицеръ гвардіи временъ Елисаветы Петровны, жилъ очень долго, говорятъ, пережилъ своего несчастнаго сына и имѣлъ отъ двухъ женъ 22 человѣка дѣтей. Кажется, что писатель былъ отъ первой жены, которая умерла, когда онъ былъ еще ребенкомъ. О судьбѣ другихъ дѣтей намъ ничего неизвѣстно, равно какъ и объ отношеніяхъ ихъ къ писателю. Въ раннемъ дѣтствѣ отецъ отвезъ его въ тотъ сухопутный кадетскій корпусъ, гдѣ воспитывался нѣсколько позднѣе и С. Глинка. Здѣсь Озеровъ пробылъ двѣнадцать лѣтъ, до 1788 года, учился, какъ видно, отлично, получилъ при выпускѣ изъ корпуса чинъ поручика и въ награду первую золотую медаль. По другимъ свѣдѣніямъ онъ пробылъ въ корпусѣ десять лѣтъ и выпущенъ изъ него въ концѣ 1787 года ¹⁾. Выпущенный изъ корпуса Озеровъ опредѣлился въ дѣйствующую армію, былъ адъютантомъ у графа де Бальмена и подъ начальствомъ Потемкина участвовалъ во взятіи Бендеръ въ 1789 году. По заключеніи мира съ турками Озеровъ поступилъ на службу въ тотъ же корпусъ, гдѣ воспитывался, адъютантомъ къ извѣстному намъ графу Ангальту. Такія сухія, официальные свѣдѣнія дошли до насъ о молодости поэта, пріобрѣтшаго потомъ такую громкую извѣстность. Такъ мало эта извѣстность и слава возбудила интересъ къ его личности, несмотря на его слишкомъ печальную, трагическую судьбу. Это свидѣтельствуетъ о томъ маловажномъ значеніи, которое общество и тогда, и долго потомъ придавало литературѣ. „Повѣрить ли кто, говоритъ Гречъ въ своемъ „Опытѣ краткой исторіи русской литературы“, напечатанномъ вскорѣ послѣ смерти Озерова, что мнѣ невозможно было получить свѣдѣній о жизни и службѣ В. А. Озерова, при всемъ моемъ стараніи, при всемъ желаніи его родственниковъ“. А между тѣмъ, по выраженію критиковъ, писавшихъ о немъ, „жизнь Озерова, богатая особенностями, была игрищемъ враждующей судьбы и людей, коихъ злоба бываетъ еще изобрѣтательнѣе и постояннѣе“ (Вяземскій). Даже самая исторія его поэтическаго развитія для насъ неизвѣстна и приходится довольствоваться сухими свѣдѣніями.

Мы знаемъ, что тотъ корпусъ, въ которомъ воспитывался Озеровъ, давалъ своимъ питомцамъ вполне французское воспитаніе и что литература Франціи была имъ гораздо извѣстнѣе своей родной, по

¹⁾ Карабановъ, Основаніе русскаго театра. Спб. 1849, стр. 68.

истинѣ жалкой и незначительной. Мы знаемъ также, что въ корпусѣ еще со временъ Сумарокова была развита между учащимися особенная страсть къ театральнымъ представленіямъ; притомъ учителемъ Озерова былъ знаменитый тогда трагикъ Княжнинъ, драматическую славу котораго онъ и наслѣдовалъ. Глинка въ своихъ „Запискахъ“ передаетъ, что Озеровъ зналъ наизусть трагедіи Корнеля, Расина, Вольтера, что онъ самъ участвовалъ въ театральнхъ французскихъ представленіяхъ въ домахъ русскихъ вельможъ, гдѣ исполнялъ трагическія роли ¹⁾, и такимъ образомъ приготавлился къ своей будущей дѣятельности. Міръ греческихъ и римскихъ героевъ, изъ которыхъ состоялъ персоналъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, былъ такимъ образомъ рано усвоенъ Озеровымъ, но, разумѣется, въ одеждѣ двора Людовика XIV. Съ этимъ увлеченіемъ французскимъ трагическимъ міромъ, по свидѣтельству біографа его князя Вяземскаго, соединилось для Озерова страстное влеченіе къ женщинѣ, имени которой никто не назвалъ, и это влеченіе рѣшило судьбу почти всей его жизни. Этой любви онъ отдалъ всю свою молодость, для нея онъ игралъ во французскихъ трагедіяхъ и писалъ французскіе стихи. Эта женщина принадлежала, кажется, къ высшему кругу; она была замужняя и добродѣтельная, говоритъ біографъ. Французскіе стихи къ ней Озерова не дошли до насъ. Намъ извѣстны французскіе стихи его, написанные въ 1794 году на смерть его начальника и покровителя — графа Ангальта ²⁾. Несмотря на условныя ходячія выраженія этихъ чисто отдѣланныхъ александрійскихъ стиховъ, позволительно видѣть въ нихъ искреннее чувство поэта, тѣмъ болѣе, что Ангальтъ былъ вполне достоинъ его. По всей вѣроятности, вскорѣ послѣ смерти Ангальта, когда начальство и самый характеръ воспитанія въ корпусѣ измѣнились, Озеровъ долженъ былъ оставить въ немъ службу и перейти въ другую. Князь Куракинъ далъ ему мѣсто въ лѣсномъ департаментѣ тогдашняго министерства финансовъ, гдѣ онъ и служилъ до самой отставки. Трагическій поэтъ долженъ былъ объѣзжать казенные лѣса Казанской и Симбирской губерніи, писать отчеты о ревизіи ихъ и придумывать средства объ извлеченіи изъ нихъ доходовъ.

Первое печатное произведеніе Озерова появилось въ томъ же 1794 году, когда были написаны и французскіе стихи на смерть Ангальта. Это былъ стихотворный переводъ Ироиды или придуманнаго, по образцу Овидія, посланія Элоизы къ Абеляру изъ незначительнаго французскаго поэта Жолардо, съ довольно длиннымъ пре-

¹⁾ Записки, Сиб. 1895, стр. 60.

²⁾ Караб., стр. 69—70.

дисловиємъ переводчика, гдѣ онъ говоритъ о причинахъ, побудившихъ его къ этому труду, и излагаетъ довольно подробно жизнь знаменитаго схоластика, сдѣлавшагося жертвой несчастной любви. Эта Ироида была уже у насъ переведена прозою въ 1786 году, но Озеровъ не доволенъ этимъ переводомъ; онъ не узнаетъ въ немъ знакомаго ему произведенія, а главное—находитъ въ немъ болѣе ума, нежели *чувства* и потому рѣшается издать свой переводъ. Озеровъ самъ говоритъ, что это первый его опытъ въ стихахъ. „У меня спросятъ: зачѣмъ для перваго опыта я выбралъ столь трудное твореніе? Съ обработаннаго и совершеннаго языка предпріять перевести лучшую героиду на нашъ языкъ, начинающій образовываться, конечно, было дерзко. Но на сіе отвѣчаю, что природа въ томъ виновна. Читая Колярдо, я былъ восхищенъ; мнѣ открылся путь парнасскій и я почувствовалъ вдохновеніе Аполлона, о которомъ прежде и мысли не имѣлъ“¹⁾. Признаніе это любопытно; оно показываетъ какимъ искусственнымъ образомъ зародилось въ Озеровѣ желаніе быть по-этомъ. Можетъ быть впрочемъ,—но Озеровъ не говоритъ о томъ,—героида понравилась ему, какъ выраженіе несчастной любви. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ переводъ этотъ ничѣмъ не замѣчательнъ, но стихъ его выгодно отличается отъ современниковъ; онъ значительно глаже другихъ. Можетъ быть къ этому же начальному періоду поэтической дѣятельности Озерова относятся нѣсколько мелкихъ его стихотвореній (кромя, разумѣется, плохихъ одъ его: на смерть Екатерины и на восшествіе на престолъ Александра), но во всѣхъ ихъ нѣтъ ничего замѣчательнаго и ничего не прибавляютъ они къ поэтической характеристикѣ Озерова.

Воспитаніе, чтеніе и игра на домашнихъ театрахъ влекли его къ сценѣ и, разумѣется, къ трагедіи, какъ къ господствующему въ XVIII вѣкѣ роду драматической поэзіи, тѣмъ болѣе, что онъ подкормилъ и къ сердечному настроенію Озерова. У насъ трагедія давно уже получила господство въ литературѣ; ихъ писалось очень много; онѣ доставляли извѣстность и деньги поэтамъ; притомъ писать ихъ въ ту пору, по общепринятымъ правиламъ и утвердившемуся шаблону, было дѣломъ вообще не труднымъ, особенно тому, кто былъ хорошо знакомъ съ обширнымъ репертуаромъ французскаго театра и могъ оттуда черпать и заимствовать смѣлою рукою, что было тогда вполне въ литературныхъ нравахъ, ни для кого не считалось предосудительнымъ, а напротивъ даже дѣлало честь автору. Озерову легко было выбрать эту карьеру, имѣя множество русскихъ предшественниковъ и при отличномъ знакомствѣ съ ложноклассиче-

¹⁾ Соч. Озерова. Изд. 5-ое. Спб. 1828 г., 8^о ч. III, стр. 64—65.

скими образцами. Первая трагедія его была „Ярополѣ и Олегъ“, поставленная имъ на сцену въ 1798 году. И заимствованіемъ сюжета изъ древней русской исторіи, и всѣмъ развитіемъ трагедіи, и даже стихомъ онъ стоитъ здѣсь на почвѣ Сумарокова и Княжнина и видимо имъ подражаетъ. И неизбѣжная любовная страсть въ этой трагедіи, и соперничество братьевъ, и имѣющія притязаніе на возвышенность поэтическія тирады, и самый языкъ, который ничѣмъ не хуже прочихъ трагедій Озерова, все дѣлало эту пьесу не лучше и не хуже прочихъ современныхъ, а между тѣмъ она не имѣла успѣха и была принята публикою неблагоклонно. Догадываются, что причиною этого была нетрагическая развязка трагедіи, но ей недоставало вмѣстѣ съ тѣмъ и новаго элемента, внесеннаго уже въ литературу Карамзинымъ: чувствительности, безъ которой долго съ тѣхъ поръ не могло обойтись и не могло имѣть успѣха литературное произведеніе. Послѣ паденія своей театральной пьесы, Озеровъ нѣсколько лѣтъ не является въ литературѣ, если не считать его весьма обыкновенную оду на восшествіе на престолъ Александра I. Въ это время онъ былъ усердно занятъ службою въ своемъ лѣсномъ департаментѣ и, кажется, служилъ успѣшно; по крайней мѣрѣ въ 1804 году онъ былъ уже въ чинѣ генераль-маіора. Литературныя знакомства Озерова въ это время намъ неизвѣстны, кромѣ, какъ кажется, близкихъ и давнишнихъ отношеній его къ Державину. Въ обществахъ, гдѣ появлялся Озеровъ, онъ не блисталъ ничѣмъ. О немъ говорили, что это человѣкъ ума весьма обыкновеннаго, какъ вдругъ въ 1804 году, поставленная на петербургской сценѣ его трагедія „Эдипъ въ Афинахъ“ окружила имя его необычайной громкой славой и разнесла это имя по всей Россіи. Успѣхъ трагедіи былъ полный; ему въ особенности способствовала молодая, талантливая, чрезвычайно красивая актриса — Семенова, имя которой неразрывно связано съ именемъ Озерова въ литературныхъ воспоминаніяхъ, какъ и въ извѣстномъ стихѣ Пушкина о русскомъ театрѣ:

Тамъ Озеровъ невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій
Съ молодой Семеновой дѣлилъ.

Сама она, для которой какъ бы нарочно были писаны трагедіи Озерова, представлявшія прекрасныя женскія роли, только и блистала въ нихъ; вскорѣ послѣ послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“ Семенова, сдѣлавшись княгиней Гагариной, навсегда оставила сцену.

Изъ всѣхъ литературныхъ знакомствъ своихъ того времени, Озеровъ выше всѣхъ ставилъ Державина и склонялся передъ его *гениемъ*. Державину посвятилъ онъ своего „Эдипа“. Въ чрезвычайно льстивыхъ напыщенныхъ фразахъ восхвалялъ онъ въ этомъ посвященіи характеръ поэзіи Державина. „Вдохновеннымъ пѣснямъ вашей музы, писалъ онъ, величественнымъ какъ стройное теченіе вселенной, плѣнительнымъ, какъ свѣтлый *ключъ Гребеневской*, быстрымъ, блистательнымъ, какъ *водопадъ Суны*, поучительнымъ, какъ смерть, современница міровъ, и безсмертнымъ, какъ герои, предметы хвалы вашей; я обязанъ живѣйшими наслажденіями въ жизни; и, можетъ быть, сіянію вашей славы буду обязанъ я спасеніемъ труда моего отъ мрака забвенія“. Но Державинъ не раздѣлялъ общихъ восторговъ публики по отношенію къ трагедіи Озерова. Правда, онъ отвѣчалъ одою на посвященіе Озерова, но эта плохая ода ¹⁾ была имъ написана черезъ годъ; притомъ Державинъ, какъ самъ онъ пишетъ въ своихъ объясненіяхъ ²⁾, соглашаясь съ тѣми „многими знатоками“, которые „находили въ сей трагедіи слабости“, отзывался при свиданіи съ Озеровымъ объ „Эдипѣ“ довольно критически и общалъ автору ея прислать на нее даже примѣчанія по разсмотрѣніи ея съ *пріятелями*. Этимъ Державинъ объясняетъ поводъ на неудовольствіе къ нему со стороны Озерова. Дѣло въ томъ, что къ числу пріятелей, о которыхъ говоритъ Державинъ, принадлежалъ сторонникъ его старческихъ взглядовъ на литературныя произведенія—Шишковъ, который „встрѣчалъ недоброжелательно всякое новое дарованіе“ (Гротъ), потому что видѣлъ въ немъ и новый слогъ и вредную новизну. Его отзывы имѣли вліяніе на сужденіе Державина и разстроили добрыя прежде отношенія поэтовъ. Потомъ Державинъ отзывался о другой трагедіи Озерова „Димитрій Донской“ весьма неблагоклонно, говорилъ что она не имѣетъ порядочнаго плана, и „характеры великихъ князей весьма въ ней подлы“, а Шишковъ написалъ даже подробный неблагопріятный разборъ „Димитрія“. Шишковъ видѣлъ въ новомъ, вдругъ прославившемся трагикѣ,—пріятелѣ и родственникѣ ненавистныхъ ему карамзинистовъ,—представителя новаго слога, и этого было довольно для него. Озеровъ же неблагоклонность къ нему Державина объяснялъ, и довольно справедливо, завистію къ быстро возникшей его славі. До сихъ поръ Державинъ еще не встрѣчалъ

¹⁾ Соч., изд. Акад. Наукъ, II, стр. 580—582.

²⁾ Ibid., III, стр. 698.

соперниковъ своей славѣ; потомъ онъ привыкъ къ паденію своего таланта, а въ тѣ годы это было для него чувствительно. Онъ самъ сознается, что изъ соревнованія сталъ писать трагедіи; но мы уже говорили объ этихъ жалкихъ попыткахъ его.

Неслыханный, всеобщій восторгъ публики и хвалебныя привѣтствія журналовъ и другихъ поэтовъ совершенно вознаградили Озерова за эти непріятности. Уже тогда въ стихахъ его поклонниковъ говорилось о зависти къ нему. Такъ у Капниста:

„Теки-жъ, любимецъ музы! Во храмъ Мельпомены,
Къ которому взомель по скользкой ты горѣ,
Неувядаемый, рукой ея сплетенный,
Лавровый ждешь тебя вѣнокъ на алтарѣ.
Теки и, презря ядъ зоиловъ злоязычныхъ,
Въ опасномъ поприщѣ ты бѣгъ свой простирай;
Внемли плесканью рукъ, и вѣкъ не забывай,
Что зависть спутница однихъ даровъ отличныхъ,
Что яркимъ озаренъ сіяніемъ предметъ,
Уродливу на долъ и мрачну тѣнь владеть“.

(Озеровъ, Соч., стр. 438).

Трагедіи Озерова, за исключеніемъ одной изъ нихъ, и по достоинству своему стоящей ниже другихъ, именно „Димитрія Донского“, берутъ свое содержаніе изъ поэтическихъ преданій, принадлежащихъ обще-европейскому міру, но отъ насъ удаленныхъ пространствомъ времени и мѣста; ничего общаго съ нашею жизнію и этимъ содержаніемъ въ трагедіяхъ Озерова не было. Казалось бы поэтому, что современная публика не могла интересоваться внутреннимъ міромъ трагедій Озерова и должна была безучастно отвернуться отъ его героевъ, съ которыми у ней не было ничего общаго. Какое ей дѣло было до трагической судьбы Эдина, до борьбы чувствъ и страстей въ душѣ Фингала, до проклятій Кассандры, до слезъ и стоновъ Поликсены? А между тѣмъ, содержаніе это въ высшей степени нравилось, и публика съ восторгомъ принимала трагедіи Озерова и имя его окружила славою. Это происходило отъ того, что міръ чувства, изображаемый трагикомъ, заключаая въ себѣ общечеловѣческое содержаніе, въ сильной степени интересовалъ ее, что она уже выросла до пониманія этого міра чувства, что чувствительность или сентиментальность, отличавшая всѣ тогдашнія произведенія литературы, входила, какъ существенный элементъ, въ трагедіи Озерова. Но все это не составляетъ большой заслуги со стороны нашего трагика; все историческое и все литературное содержаніе своихъ трагедій онъ заим-

ствовавъ изъ французскихъ образцовъ, съ которыми только и былъ знакомъ; всѣ знаменитыя фразы и тирады онъ по большей части только переводилъ; въ наше время сказали бы съ насмѣшкою—укралъ, но въ ту пору на это дѣло смотрѣли иначе и не ставили въ вину автору вольныя и невольныя его заимствованія. „Подражаніе не всегда бываетъ удѣломъ низкихъ писателей, говоритъ современный рецензентъ Озерова; нерѣдко гении не стыдились заимствовать изъ сочиненій другихъ, не говорю высокихъ, но весьма посредственныхъ“¹⁾. Заимствование хорошаго, усвоеніе того, что твердила вся Европа,—было честью для писателя.

„Эдипъ въ Афинахъ“ передаетъ послѣднюю судьбу знаменитаго героя греческихъ сагъ и преданій. „Доселѣ злословія грековъ, говоритъ тотъ же современный критикъ, не извлекали у насъ слезъ на русскомъ театрѣ“. Дѣйствительно за исключеніемъ „Демофонта“, трагедіи Ломоносова, которая по своему характеру и не могла имѣть успѣха на сценѣ, Эдипъ Озерова былъ первою у насъ греческою трагедіею; для пониманія „злословія“ Эдипа нужно было нѣкоторое развитіе, знакомство съ содержаніемъ преданія. Эти требованія общество могло уже выполнить. Судьба Эдипа давно сдѣлалась предметомъ сценической передачи, начиная съ безсмертной трилогіи Софокла. У Озерова для его пьесы было весьма много образцовъ, изъ которыхъ главными были: „Эдипъ въ Колонѣ“, послѣдняя часть Софокловой трилогіи, и пьеса посредственнаго французскаго трагика Дюси — „Эдипъ у Адмета“. Изъ той и другой пьесы Озеровъ заимствовалъ одинаково, но не повторилъ однако буквально ни той, ни другой. По словамъ современной критики „въ его твореніи нѣтъ ни *сухости* (!) трагика греческаго, ни любовныхъ шалостей французскихъ“. Эти слова показываютъ, какъ смотрѣли тогда, согласно риторической теоріи французовъ, на греческій театръ. И Озеровъ былъ воспитанъ въ тѣхъ же понятіяхъ. Было бы очень долго указывать здѣсь подробно отношенія трагедіи Озерова къ двумъ названнымъ нами пьесамъ Софокла и Дюси, у которыхъ заимствовалъ Озеровъ, у перваго—общій планъ и частію характеры дѣйствующихъ лицъ, у другого — тоже характеры и подробности. Русская критика давно уже и подробно обратила вниманіе на эту сторону вопроса. О немъ говорится и въ статьѣ „Сѣвернаго Вѣстника“, но болѣе подробно и съ большимъ знаніемъ дѣла—Мерзляковымъ на его публичныхъ лекціяхъ о трагедіяхъ Озерова²⁾, а также и въ большой критической статьѣ Галахова о сочиненіяхъ

¹⁾ Сѣв. Вѣстн. 1805 г. Июль, стр. 25.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. XCII, стр. 267—297.

Озерова ¹⁾. Нечего и говорить, что ни для самого сочинителя, ни для его восторженных поклонников — зрителей его трагедии, вовсе не существовало того глубокого, религиозного и патристического содержания, которое заключено в Софокла. Очень хорошо сказать об этом уже очень давно князь Вяземский в статье своей об Озеровѣ: „трагедія греческая заимствовала свою силу отъ всего, что было священо для греческаго сердца. Слава предковъ и современныхъ гражданъ, народныя преданія и обычаи, таинства религіи, торжественныя обряды богослуженія, были, такъ сказать, сокровищемъ греческихъ трагиковъ. Мы можемъ постигать красоту ихъ искусства, но и постигнувъ ее, будемъ единственно холодными зрителями дѣйствія, а не участниками онаго. Смерть Эдипа, залогъ благоденствія Аѳинъ, можетъ ли производить надъ зрителями чуждыми то дѣйствіе, которое имѣла она на аѳинскомъ театрѣ?“ ²⁾. Чѣмъ же восторгались наши зрители въ греческой трагедіи Озерова? Ихъ влекло въ театръ прекрасное, одушевленное для времени, выраженіе обще-человѣческаго содержанія, человѣческихъ чувствъ и страстей, согласное съ новымъ развитіемъ современнаго общества. По глубинѣ душевнаго содержанія, по силѣ и интенсивности сердечнаго чувства, по красотѣ выраженія въ языкѣ—трагедія Озерова далеко ушла впередъ отъ всего предшествовавшего ей на русской сценѣ. Не страданія Эдипа, какъ Эдипа греческаго, печальной жертвы неумолимаго древняго фатума, вызывали сочувствіе въ сердцахъ зрителей, а страданія отца, оставленнаго злыми и неблагодарными сыновьями, его душевная скорбь при воспоминаніяхъ о нихъ, его прощеніе раскаявшемуся сыну, его нѣжныя отношенія къ Антигонѣ, характеръ которой принадлежитъ къ самымъ плѣнительнымъ созданіямъ трагической музы грековъ. Изящныя скульптурныя черты греческой Антигоны, ея беззавѣтная преданность отцу, ея нѣжное отношеніе къ братьямъ—повторились и въ Антигонѣ Озерова, но она нѣсколько потеряла свою древнюю простоту, то безмолвіе греческой женщины, которое составляло ея достоинство въ гинекеяхъ. Она—трагическая героиня новаго времени: она дѣйствуетъ и разсуждаетъ; она высказываетъ сознаніе самой себя и того, что ее окружаетъ. Озеровъ не зналъ греческаго подлинника, и если былъ знакомъ съ пьесою Софокла, то, по всей вѣроятности, во французскомъ переводѣ іезуита Вушоу. Главнымъ образцомъ поэтому былъ для него Дюси, и его пьеса скроена по эстетической теоріи французовъ. Это

¹⁾ Отеч. Зап., 1847 г., т. LII, стр. 3—14.

²⁾ Соч. Озерова, изд. 5-ое, ч. III, стр. 140—141. Эта біографія вошла въ собраніе Соч. Вяз., т. I, стр. 24—60.

очевидно по многимъ отступленіямъ отъ греческаго первообраза. У Софокла, напр., Эдипъ умираетъ въ концѣ трагедіи; смерть является для него желанною, давно жданною гостьею, исполнительницею воли боговъ, примирительницею послѣ долгихъ, неслыханныхъ бѣдствій и страданій; этою смертію онъ примиряется съ богами, а прахъ его, оставшійся въ аѳинскомъ-предмѣстіи Колонѣ, по обѣщанію оракула, дѣлается залогомъ счастья и будущаго цвѣтущаго развитія гостепріимныхъ Аѳинъ. Даже у Дюси—Эдипа поражаетъ громъ небесный. У Озерова же знаменитый страдалецъ остается въ живыхъ, и этимъ фактомъ ослабляется общее окончательное впечатлѣніе трагедіи. Чтò Эдипу жизнь, на чтò она ему послѣ всего того, чтò онъ выстрадалъ? Современный критикъ передаетъ объ этомъ обстоятельстве любопытный разсказъ, свидѣтельствующій о могуществѣ теоріи для тогдашнихъ авторовъ. Озеровъ желалъ первоначально кончить Эдипа такъ, какъ онъ оканчивается у Софокла, т.е. смертью, но одинъ актеръ, воспитанный въ школѣ Сумарокова (по всей вѣроятности Дмитревскій) напугалъ его своимъ предсказаніемъ, что публика дурно приметъ конецъ, противный тогда господствующимъ понятіямъ о цѣли драматическихъ произведеній, по которымъ пороки должны быть наказаны, а добродѣтели восторжествовать въ трагедіи. И Эдипъ остался жить, а жертвою трагическаго возмездія является Креонъ—лицо, находящееся и у Софокла, гдѣ оно необходимо и служитъ для объясненія и развитія дѣйствія; въ трагедіи же Озерова этотъ Креонъ, братъ Эдиповой жены,—ходульный злодѣй, какихъ любили выставять ложно-классическіе трагики, а не живое лицо: онъ гордится, хвалится на каждомъ шагѣ зломъ и преступленіями. Зато воспоминаніемъ греческаго театра и очень удачнымъ нововведеніемъ у Озерова являются хоры, которые онъ написалъ не столько въ подражаніе трагедіи Софокла, сколько въ подражаніе современной французской оперѣ „Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи“, излагавшей то же самое содержаніе.

Какъ бы мы ни рассматривали эту первую трагедію Озерова, для насъ на первомъ планѣ стоитъ та мысль, что несмотря на все свое греческое содержаніе, она не даетъ опредѣленнаго представленія о духѣ личностей древняго театра и, кромѣ внѣшней ткани греческой басни, не заключаетъ въ себѣ ничего греческаго. Трагедія Озерова ближе всего подходитъ къ своему французскому образцу; изъ пьесы Дюси вышелъ и Эдипъ, болѣе похожій на резонирующаго отца XVIII вѣка, чѣмъ на печальную жертву боговъ, и Антигона съ своею изысканною нѣжностію, и сынъ Эдипа—Полиникъ, обратившійся на путь добра и чистосердечно выпрашивающій себѣ прощеніе у ногъ отца. Заслуга Озерова заключалась въ хорошемъ усвоеніи

французской пьесы, въ умѣннѣ передать ея содержаніе сильными и прекрасными для того времени стихами, которыми любовались его современники. Заслуга, конечно, не очень большая, чисто относительная, но этими стихами передавались на сценѣ выраженія трогательныхъ чувствъ и они, удерживаясь въ памяти, невольно способствовали воспитательному элементу театра и его вліянію на общество. Очень многія изъ французскихъ трагедій XVIII вѣка, въ особенности у Вольтера, у М. Ж. Шенье, проникнуты были вполнѣ современнымъ содержаніемъ и направленіемъ мысли: нѣкоторыя изъ нихъ являлись вдохновенною проповѣдью политической свободы, гражданского равенства, вѣротерпимости и другихъ идей, волновавшихъ современное общество. Мы не имѣемъ права искать этого широкаго общечеловѣческаго содержанія въ трагедіяхъ Озерова: онъ самъ былъ не настолько образованъ, чтобъ сочувствовать полнотѣ современной мысли, да и русская литература вся страдала тогда бѣдностію ея. Выраженія, сентенціи и отдѣльныя мысли трагедіи Озерова были слишкомъ общаго содержанія, но они были написаны прекраснымъ языкомъ и невольно удерживались въ памяти. Чуткая публика, а это было въ первые годы царствованія Александра, когда мы еще не начинали пагубныхъ войнъ, съ жадностію ловила въ пьесѣ всѣ современные намеки. Государственныя реформы того времени приводили въ восторгъ мыслящее молодое поколѣніе и, напр., при слѣдующихъ словахъ Тезея:

Мой мечъ—союзникъ мнѣ
И подданныхъ любовь къ отеческой странѣ;
Гдѣ на законахъ власть царей установлена,
Сразить то общество не можетъ и вселенна“—

при стихахъ этихъ, въ которыхъ видѣли современный намекъ на государя,—театръ московской ломился отъ рукоплесканій и криковъ ¹⁾).

Разбирая взгляды, сужденія и отношенія современниковъ къ этой первой трагедіи Озерова, мы должны сказать, что, несмотря на общій восторгъ, возбужденный ею, мнѣнія вообще раздѣлились, и безусловными поклонниками „Эдипа“ являлись представители молодого поколѣнія, на сторонѣ которыхъ были, впрочемъ, и болѣе умные писатели, какъ, напр., Карамзинъ, Дмитріевъ, Мерзляковъ, Капнистъ, тогда какъ старое поколѣніе стояло все еще за трагическія преданія временъ Сумарокова и Княжнина: этимъ объясняется и враждебное отношеніе къ пьесѣ Державина и Шишкова. Но господствующій взглядъ, однако, состоялъ въ томъ, что до „Эдипа“ не встрѣчается въ нашей литературѣ трагедіи, столь превосходной въ теоретическомъ отношеніи.

¹⁾ Записки Жихарева, стр. 82.

тическомъ отношеніи, что стихи трагедіи безподобны, выражая прекрасныя мысли, и главное — множество чувства, что умилительныя сцены трагедіи невольно исторгаютъ слезы, что дѣйствіе ея просто и естественно ¹⁾. Словомъ, успѣхъ трагедіи былъ полный, а восторгъ отъ нея публики вездѣ единодушный; театръ былъ постоянно полонъ при ея представленіи. Необыкновенный успѣхъ Эдипа, казалось, указывалъ Озерову, что его призваніе есть трагическая поэзія, и черезъ годъ послѣ первой трагедіи его явилась на петербургской сценѣ (8 декабря 1805 года) вторая — „Фингалъ“ — также съ хорами и даже пантомимными балетами, которыхъ не знала прежде русская трагедія, но которые, однако, оживляли сцену. На этотъ разъ содержаніе трагедіи взято было Озеровымъ изъ міра, очень далекаго къ Греціи и совершенно чуждаго ей по содержанію, по характеру дѣйствующихъ лицъ, по природной обстановкѣ и религіознымъ понятіямъ. Содержаніе новой трагедіи взято изъ Оссіановыхъ поэмъ, которыя были въ большомъ уваженіи въ концѣ прошлаго и даже началъ нынѣшняго вѣка въ европейскихъ литературахъ и вызвали много подражательныхъ явленій. Поэмы Оссіана, кромѣ множества различныхъ отрывковъ, появлявшихся въ журналахъ, конечно, въ переводахъ съ французскаго, были у насъ извѣстны еще въ 1792 году въ переводѣ Кострова. Озеровъ заимствовалъ содержаніе своей трагедіи изъ 3 пѣсней. Дѣйствіе ея раздѣлено между немногими лицами. На первомъ планѣ является старикъ *Старнъ*, царь локлинскій, бывший плѣнникомъ *Фингала*, царя Морвенскаго. Фингалъ убилъ когда-то въ сраженіи сына Старнова — Тоскара, и старикъ, постоянно оплакивая сына, только живетъ и дышитъ мыслию о мщеніи, а между тѣмъ Фингалъ влюбленъ страстно въ сестру убитаго Тоскара и дочь Старна — *Моину*, которая отвѣчаетъ ему взаимностію. Любовь Фингала и Моины исполнена лирическаго чувства и идилліи, а Старнъ скрываетъ отъ дочери свое негодованіе и приготовленія къ мести. Моина колеблется между любовью къ отцу и любовью къ Фингалу; она спасаетъ его отъ меча отцовскаго, но сама падаетъ отъ его руки. Вотъ содержаніе новой трагедіи Озерова, у которой, въ противность правиламъ классической теоріи, только три дѣйствія: очевидное доказательство, что у поэта недоставало содержанія на два. Справедливо въ этомъ случаѣ замѣтилъ князь Вяземскій объ Оссіанѣ: „Ровное и, такъ сказать, одноцвѣтное поле его поэмъ обѣщаетъ ли богатую жатву для трагедіи, требующей дѣйствія сильныхъ страстей, безпрестаннаго ихъ боренія и великихъ послѣдствій? Не думаю“ ²⁾.

¹⁾ Ibid, стр. 81.

²⁾ Соч. Озерова. 5-е изд., т. III, стр. 147.

Не оставляя своихъ классическихъ воспоминаній, Озеровъ, въ посвященіи „Фингала“ А. Оленину, съ которымъ онъ былъ соединенъ многолѣтнею дружбою, говоритъ, что и въ этомъ отношеніи содержаніе новой трагедіи получено имъ не самостоятельно, а что по его совѣту онъ рѣшилъ „народовъ сѣверныхъ Ахилла описать“. Оленинъ, указавшій на этотъ разъ Озерову содержаніе для новой трагедіи, принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей въ царствованіе Александра и Николая; хотя собственно въ литературѣ имя его встрѣчается и на брошюрахъ самаго разнообразнаго содержанія, доказывающихъ, что онъ, какъ человекъ русскій, брался за многое, говорилъ о многомъ поверхностно, не изучивъ глубоко предмета, о которомъ говорилъ. Оленинъ получилъ образованіе за границею. Въ царствованіе Екатерины онъ прожилъ пять лѣтъ въ Дрезденѣ, обучаясь воинскимъ и словеснымъ наукамъ; въ этомъ городѣ, гдѣ собрано такъ много произведеній искусства и гдѣ вообще развита художественная жизнь, Оленинъ полюбилъ искусство. Его успѣхи по службѣ начались при Александрѣ и были довольно быстры, хотя Оленинъ ничѣмъ не выдавался, кромѣ любви къ художествамъ и поэзіи, къ художникамъ и литераторамъ. Это влеченіе Оленинъ могъ удовлетворять въ сильной степени, когда въ 1808 году онъ сдѣлался помощникомъ главнаго директора Императорской публичной библіотеки, а вскорѣ потомъ и директоромъ ея и наконецъ президентомъ Академіи художествъ. Его домъ, гдѣ въ двадцатыхъ годахъ господствовала умная жена его Елисавета Марковна, урожденная Полторацкая, и красивыя и образованныя дочери, былъ пріютомъ художниковъ и писателей. Самъ Оленинъ, при своей чрезвычайной любознательности, сочувствовалъ весьма многому и былъ очень полезенъ совѣтами собиравшимся къ нему писателямъ. Представитель Екатерининскаго поколѣнія, онъ не принадлежалъ однакожъ къ тѣмъ старикамъ, которые навсегда остаются при воспоминаніяхъ своей молодости и смотрятъ подозрительно и угрюмо на новыя явленія жизни. Гостиная Олениныхъ была нейтральною, гдѣ сходились представители обоихъ поколѣній. Оленинъ былъ друженъ, какъ сверстникъ, съ Державинымъ, Шишковымъ и другими литераторами стараго закала; затѣмъ онъ находился въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Карамзинымъ и его послѣдователями: Жуковскимъ, Батюшковымъ, Озеровымъ и другими. Гнѣдичъ и Крыловъ были домашними людьми въ домѣ Олениныхъ. И потомъ, когда послѣ 1815 года началось у насъ быстрое развитіе либеральныхъ идей, вызванное какъ противодѣйствіе правительственному гнету, въ гостиной Оленина радушно принимались и молодой Пушкинъ и представители новаго порядка идей, враждебныхъ идеаламъ Ка-

рамзина. Вообще имя Оленина тѣсно связано съ біографіями нашихъ писателей въ царствованіе Александра. Прибавимъ, что единственныя достовѣрныя свѣдѣнія о біографіи Озерова заключаются въ нѣсколькихъ письмахъ послѣдняго къ Оленину ¹⁾.

Совѣтъ, данный Оленинымъ Озерову, воспользоваться для новой трагедіи пѣснями Оссіана былъ, однако, не совсѣмъ удаченъ. „Фингалъ“ вышелъ гораздо слабѣе „Эдипа“. Въ послѣднемъ Озеровъ имѣлъ дѣло съ содержаніемъ давно разработаннымъ всемірною литературою. Образы древняго преданія стояли предъ нимъ ясно очерченные, выразительные, точные, какъ статуи изъ мрамора. Таланту его оставалось немного; воспользоваться чужою работою было ему легко. Расплывающіеся же, неясные, туманные образы Оссіановой поэзіи, созданные болѣзненною фантазіей человѣка XVIII вѣка, требовали гораздо болѣе глубокой обработки: имъ вообще недоставало трагическаго содержанія, а дать его Озеровъ былъ не въ состояніи по недостатку таланта. Мерзляковъ справедливо замѣтилъ въ своемъ разборѣ „Фингала“, что изъ поэмъ Оссіана обыкновенно составляли тогда на парижскихъ театрахъ оперы или балеты, ибо, говоритъ онъ, „почитали ои басни совсѣмъ неспособными для образованной сцены по отдаленности и странности обычаевъ и по самой дикости нравовъ“ ²⁾. И Озеровъ, въ самомъ дѣлѣ, чтобы придать разнообразіе трагедіи, ввелъ въ нее хоры и танцы, что придавало особую красоту исполненію трагедіи на сценѣ. Это исполненіе, однако, многимъ было обязано, по свидѣтельству современниковъ, талантливой игрѣ въ пьесѣ Яковлева и Семеновой, произносившихъ звучные для того времени стихи Озерова ³⁾. Вся прелесть трагедіи заключалась только въ этихъ стихахъ да въ сценической обстановкѣ, которая изображала дикія скалы, грозное море и мрачную сѣверную природу. Самая же трагедія была вообще плоха и по слабому развитію дѣйствія и по неопредѣленности, невыдержанности и даже бессмыслию. Фингалъ и Моина—лица вовсе не трагическія; одна только Моина, съ ея любовью, съ ея страданіями печальной жертвы, возбуждаетъ къ себѣ сочувствіе и выкупаетъ своимъ прекраснымъ образомъ общую бѣдность содержанія трагедіи. Но пѣса нравилась публикѣ. „Самая новостъ сцены, дикостъ характеровъ и мѣстъ, старинные храмы, игры и тризна, скалы и вертепы: все вмѣстѣ съ арфою и стихами Озерова, облеченное сѣверными туманами, придаетъ пьесѣ этой какую-то меланхолическую занимательность“ — говоритъ Мерзляковъ ⁴⁾. Это, какъ ви-

¹⁾ Гротъ. Соч. Держ. II, стр. 493 сл.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1817 г., ч. ХСІІІ, стр. 37.

³⁾ Записки Жихарева, стр. 265—266.

⁴⁾ Вѣстн. Евр. Ibid. стр. 46—47.

дите, были чисто внѣшнія достоинства; замѣтимъ, что трагедія „Фингаль“ произвела сильное впечатлѣніе на воображеніе Жуковскаго, который оставилъ въ стихахъ своихъ полученное имъ впечатлѣніе.

Съ небольшимъ черезъ годъ (январь, 1807 г.) послѣ „Фингала“ появилась на сценѣ и третья трагедія Озерова „Димитрій Донской“, посвященная имъ въ сознаніи патріотическаго чувства императору. Представленіе происходило во время самаго разгара нашей войны съ Наполеономъ, въ 1807 году. Эти обстоятельства придали трагедіи Озерова особое значеніе, да и самъ сочинитель, создавая свою трагедію, имѣлъ ихъ въ виду. Въ своемъ посвященіи онъ сравнивалъ Александра съ Димитріемъ передъ битвою съ Мамаемъ на Задонскихъ поляхъ, говорилъ, что Александръ принялъ оружіе для спасенія разноплеменныхъ народовъ отъ ига честолюбиваго завоевателя, для защищенія свободы европейскихъ державъ, называлъ Александра покровителемъ угнетенныхъ и пр. Все это патріотическое содержаніе посвященія выражалось на каждомъ шагу въ самой трагедіи: она была написана для обстоятельствъ и общества того времени.

Эти чисто внѣшнія причины способствовали необыкновенному успѣху трагедіи; онѣ подкупили современниковъ, и пьеса приводила ихъ въ неописанный восторгъ. Многіе изъ нихъ смотрѣли на это новое произведеніе Озерова, какъ на гениальное. „Я въ восторгѣ! записываетъ въ свой дневникъ одинъ современникъ, воротившійся съ репетиціи „Димитрія Донскаго“. У насъ не слыхано и не видано такой театральной пьесы, какою завтра будетъ подбивать публику Озеровъ. Роль Димитрія превосходна отъ перваго и до послѣдняго стиха. Какое чувство и какія выраженія!.. Оттого ли, что стихи въ трагедіи мастерски принаравлены къ настоящимъ политическимъ обстоятельствамъ, или мы всѣ вообще теперь еще глубже проникнуты чувствомъ любви къ государю и отечеству, только дѣйствіе, производимое трагедіею на душу,—невообразимое.

Стоя у кулисы... я плакалъ, какъ ребенокъ, да и не я одинъ: мнѣ показалось, что самъ Яковлевъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей роли какъ будто захлебывался и глоталъ слезы“¹⁾.

„Димитрій Донской“ имѣлъ громаднѣйшій успѣхъ, какого не помнятъ наши театральныя лѣтописи. Нѣкоторые стихи этой трагедіи, очевидно, рассчитанные на обстоятельства времени, были привѣтствуемы тогда всеобщимъ восторгомъ; напр.

Бѣды платить врагамъ настало нынѣ время!

¹⁾ Зап. Жихарева, стр. 265—266.

Или

Ахъ! лучше смерть въ бою, чѣмъ миръ принять безчестный!

Посланникъ Мамаѣ являлся для публики посланникомъ Наполеона, Димитрій—Александромъ.

„Иди къ пославшему и возвести ему,
Что Богу русскій князь покоренъ одному“.

Или

„Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:
Кто чести, правдѣ врагъ, тотъ врагъ, конечно, мой—

говорилъ Димитрій послу Мамаѣ и публикѣ казалось, что передъ ней происходило современное дѣйствіе.

Восторженное чувство зрителей доходило до крайнихъ предѣловъ, когда въ концѣ трагедіи, послѣ побѣды надъ татарами израненный Димитрій, поддерживаемый князьями, становится на колѣни и говорить:

„Но первый сердца долгъ къ Тебѣ, Царю царей!
Всѣ царства держатся десницею Твоей:
Прославь, и утверди, и возвеличь Россію,
Какъ прахъ земной сотри враговъ кичливыхъ выю,
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменные могъ:
Язвы! вѣдайте: великъ Россійскій Богъ!“

Такое патріотическое содержаніе новой трагедіи „Димитрій Донской“, гдѣ заключалось такъ много намековъ на современность, всѣхъ занимавшую, должно было совершенно скрыть отъ глазъ современниковъ всѣ недостатки ея. Относиться скептически къ достоинствамъ трагедіи, отыскивать въ ней разныя погрѣшности, выражать открыто свое мнѣніе о томъ, чѣмъ грѣшитъ она, — значило вооружать противъ себя общественное мнѣніе, являться не патріотомъ. Такое несвободное отношеніе критики къ „Димитрію“ продолжалось довольно долгое время. Замѣчательно, что Мерзляковъ, уже по смерти Озерова, сдѣлавшій въ 1817 году на своихъ публичныхъ лекціяхъ подробный и весьма справедливый по тому времени разборъ всѣхъ трагедій Озерова, не подвергалъ однако разсмотрѣнію „Димитрія Донскаго“, безъ сомнѣнія, по тому соображенію, что безпристрастное сужденіе о трагедіи было бы непріятно его слушателямъ. Еще въ то время всѣ были убѣждены, что „Озеровъ возвратилъ трагедіи ея истинное достоинство: питать гордость народную священными воспоминаніями и вызывать изъ древности подвиги великихъ героевъ, благотворителей современникамъ, служащихъ образцемъ для потом-

ства“¹⁾. Въ 1812 году повторился вновь чрезвычайный успѣхъ „Донского“. Современники говорили, что въ этой трагедіи были предсказаны многія событія года отечественной войны.

ЛЕКЦІЯ XXX.

„Димитрій Донской.“ — Служебныя непріятности Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — «Поликсена.» — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. — Кн. А. А. Шаховской.

Трагедія Озерова „Димитрій Донской“ имѣла временное значеніе, которому помогали историческія событія, вызвавшія патріотическое настроеніе общества. Но, какъ художественное произведеніе, она стоитъ гораздо ниже прочихъ его драматическихъ произведеній и не выдержитъ самой снисходительной критики. Въ другихъ трагедіяхъ у Озерова было содержаніе, чрезвычайно разработанное европейскими литературами; трагическія лица и событія стояли передъ нимъ вполнѣ готовыя и отдѣланныя; Озерову оставалось только брать смѣлою рукою и переводить на русскій языкъ, на свой звучный, для того времени, стихъ. Здѣсь, въ событіяхъ отечественной исторіи, въ ихъ отношеніи къ его поэтическому пониманію было совершенно другое дѣло. Озерову, трагическому поэту начала XIX вѣка, воспитанному вполнѣ по-французски и на классическихъ образцахъ французской литературы, содержаніе и характеръ родной исторіи были совершенно неизвѣстны; разумѣется, онъ не читалъ ни одного лѣтописнаго разсказа о побѣдѣ Димитрія надъ Мамаемъ, ни одной древне-русской повѣсти о ней; сраженіе Куликовское представлялось въ его воображеніи въ образахъ совершенно общихъ, лишенныхъ мѣстнаго колорита, чѣмъ-то въ родѣ сраженія Марафонскаго. Озеровъ не зналъ русской исторіи, а если онъ и зналъ что-нибудь о настоящемъ историческомъ Димитріи, то считалъ себя въ правѣ измѣнить эту личность дѣйствительную въ небывалую и идеальную фигуру средне-вѣковаго рыцаря, влюбленнаго въ столь же небывалую и фантастическую княжну Ксенію, прибывшую въ русскій лагерь для брака съ княземъ тверскимъ, по волѣ отца и противъ стремленія своего сердца, влекущаго ее къ Димитрію, свободно расхаживающую со своею наперсницею и безпрестанно толкующую о своей страстной любви. Озеровъ имѣлъ, впрочемъ, право измѣнить дѣйствительное содержаніе на фантастическое, потому что и его зрители были

¹⁾ Соч. Озерова, изд. 5, ч. III, стр. 150.

совершенно равнодушны къ первому, подобно поэту не знали русской исторіи, и ихъ національное чувство нисколько не могло оскорбиться грубымъ искаженіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Значеніе этой трагедіи Озерова должно было быстро исчезнуть, вмѣстѣ съ обстоятельствами времени; для насъ содержаніе, состоящее изъ нелѣпой любви, наполняющей всѣ пять дѣйствій, и напыщенные тирады о любви къ отечеству, долгу, рыцарскихъ чувствахъ и т. п. дѣлаютъ ее невыносимою. Для тѣхъ зрителей, которые въ сонмѣ русскійскихъ князей, бояръ и воеводъ, собиравшихся въ трагедіи для разсужденій о благу отечества, для рѣшеній вопроса о войнѣ или мирѣ, воображали видѣть личностей, напоминающихъ сенаторовъ древняго Рима, — ихъ рѣчи звучали и величіемъ и патріотизмомъ. Но для людей, искусившихся знаніемъ своего прошлаго, читавшихъ, что эти князья, бояре и воеводы въ княжеской московской думѣ сидѣли большею частію молча, уставя брады или грызясь между собою изъ-за мѣстъ, — ихъ рѣчи въ трагедіи Озерова звучатъ ходульной декламаціей и возбуждаютъ только смѣхъ. Не то было во время представленія трагедіи. Современники были возбуждены патріотически, громкая рѣчь о любви къ отечеству казалась имъ близкою къ дѣлу.

Даже „любовныя шалости“, столь изобильно наполняющія трагедіи Озерова, за исключеніемъ одного „Эдипа“, не казались тогда приторными. Общество того времени уже было воспитано чувствительностію Карамзина; Озеровъ принадлежалъ къ его школѣ, былъ увлеченъ общимъ направленіемъ и хлопоталъ въ своихъ трагедіяхъ объ изображеніи чувства. Оно было выражено въ самомъ дѣлѣ съ значительною вѣрностію и глубиною, хотя уже, согласно духу времени, переходило въ тотъ мечтательный, неопредѣленный, расплывающійся романтизмъ, представителемъ котораго вскорѣ сдѣлался у насъ Жуковскій. Озеровъ можетъ быть названъ въ этомъ смыслѣ его предшественникомъ. Оттого у Жуковскаго было такое сочувствіе къ Озерову. Онъ говоритъ о немъ:

„Чувствительность его сразила!
Чувствительность, которой сила
Моины душу создала,
Пѣвцу погибелью была“..

Эта чувствительность была наслѣдіемъ Карамзина; Жуковскій придавалъ ей туманный характеръ современнаго европейскаго романтизма. У Карамзина дѣло шло только о чувствительности сердца, искушеннаго любовными страданіями; у Жуковскаго эта скорбь расширялась и распространялась на всю жизнь, на весь міръ, въ которомъ человѣкъ

не видѣлъ для себя мѣста для дѣйствія, гдѣ были только разбитыя надежды, печальныя, напрасныя жертвы, гдѣ было все невѣрно, обманчиво, гдѣ человѣкъ приучался только мечтать о грядущемъ, объ очарованномъ *тамъ*, которое замѣнить и искупить земныя страданія. Начало этого болѣе широкаго романтизма, который, въ свою очередь, подобно Карамзинской чувствительности, сдѣлался однимъ изъ воспитательныхъ элементовъ нашего общества, замѣтно и у Озерова. Женскія лица всѣхъ его трагедій вполнѣ романтическія героини.

Необычайный успѣхъ „Димитрія Донскаго“ былъ однако послѣднимъ сценическимъ успѣхомъ Озерова. Вскорѣ начались его неудачи въ жизни, кончившіяся такъ печально. „Частныя неудовольствія, легкія можетъ быть для другого, но нестерпимыя для нѣжной и благородной души, удалили Озерова въ деревню“ — говоритъ кн. Вяземскій. Въ чемъ заключались эти „частныя неудовольствія“, мы не знаемъ положительно. По разсказу двоюроднаго брата Озерова, Блудова, слѣшанному Гротомъ, выходитъ, что неудачи эти были служебныя. Мы говорили уже, что Озеровъ дослужился до чина генераль-маіора, будучи совѣтникомъ въ лѣсномъ департаментѣ по министерству финансовъ, которымъ управлялъ государственный казначей Голубцевъ. Озеровъ терпѣлъ большія непріятности отъ своего начальника и былъ въ 1808 году уволенъ вовсе отъ службы, безъ прошенія и безъ пенсіи¹⁾. За что нападалъ Голубцевъ на Озерова, мы не знаемъ, но честный характеръ этого Голубцева извѣстенъ намъ изъ записокъ современниковъ. Изъ писемъ самого Озерова къ пріятелю его Оленину, видно, что обвиненія падали не на него одного; онъ раздѣлялъ ихъ съ прочими лѣсными чиновниками, заподозрѣнными, какъ видно, во взяточничествѣ. Слава поэта-патріота не спасла Озерова. „Мою обязанность къ отечеству исполнилъ, пишетъ онъ къ Оленину, находясь въ службѣ болѣе тридцати лѣтъ и служивъ оберъ-офицеромъ болѣе 20 лѣтъ. Если не могъ быть ему полезенъ столько, сколько желалъ, тому не я причиною, а судьба, стѣснявшая всегда кругъ моихъ обязанностей. По лѣсному же департаменту я имѣлъ случай доставить казнѣ, въ продолженіе семи лѣтъ, болѣе милліона трехъ сотъ тысячъ рублей дохода новою и мною найденною и обработанною статьею сборовъ, которая ежегодно приносить отъ 50 до 70 тысячъ рублей. Но вмѣсто поощреній и награжденій я чувствовалъ одни огорченія, испыталъ несправедливости и подвергнулся со всѣми лѣсными чиновниками подозрѣнію правительства. Послѣднее довершило мое негодованіе на службу, когда я увидѣлъ, что ни моя скромная жизнь, ни отказываніе себѣ во многомъ не могли меня

¹⁾ Соч. Держ. II, стр. 581.

исключить изъ подъ ложнаго мнѣнія, по которому, можетъ быть, считаютъ, что сынъ не царскій и не боярскій, а просто дворянскій, не можетъ быть честнымъ человѣкомъ по воспитанію, по собственному понятію своему и совѣсти“¹⁾). Эти искреннія слова вполне оправдываютъ Озерова и заставляютъ убѣдиться, что общее обвиненіе, можетъ быть, въ сущности и справедливое, не должно было касаться его. Всѣ хлопоты Озерова о пенсіонѣ, который былъ ему необходимъ, чтобы имѣть возможность, при его незначительномъ состояніи, жить въ Петербургѣ, кончились неуспѣхомъ, и онъ долженъ былъ, уѣхать въ тверскую деревню отца своего, которому шелъ тогда 73-й годъ.

Къ этимъ служебнымъ непріятностямъ, которыя повели къ несчастной отставкѣ Озерова и заставили его оставить Петербургъ, гдѣ онъ провелъ лучшіе года своей жизни, гдѣ онъ наслаждался славою поэта и блестящими сценическими успѣхами и гдѣ были всѣ его созданныя годами привязанности, присоединился неуспѣхъ его послѣдней трагедіи „Поликсена“, почти оконченной до отъѣзда его въ деревенскую глушь. Этотъ неуспѣхъ нанесъ окончательный нравственный ударъ Озерову. Изъ писемъ къ Оленину видно, что несчастный поэтъ уѣхалъ бодрымъ изъ Петербурга. Онъ сообщаетъ насмѣшливыя замѣчанія о своей деревенской обстановкѣ, объ эстетическомъ развитіи и вкусѣ своихъ сосѣдей. Пославъ къ Оленину изъ тверской деревни осенью 1808 года свою „Поликсену“, въ чисто переписанномъ экземплярѣ и возложивъ на него всѣ заботы о постановкѣ этой трагедіи на петербургской сценѣ, съ условіемъ взять за нее съ театральной дирекціи не менѣе 3 тысячъ рублей и не уступать изъ этой суммы ни рубля, потому что „пора признать въ Россіи, что таланты не для дневнаго пропитанія трудятся“²⁾, Озеровъ наполняетъ свои письма заботами о своемъ послѣднемъ трагическомъ дѣтищѣ и спѣшитъ поправить въ ней изъ деревни тотъ или другой стихъ, который ему не нравится. Изъ тверской деревни Озеровъ долженъ былъ уѣхать дальше, именно въ деревню Красной Ярѣ, въ 30 верстахъ отъ г. Чистополя, Казанской губерніи. По его словамъ, это была его единственная собственность и въ ней требовалось необходимо его присутствіе для устройства хозяйственныхъ дѣлъ. Даль и глушь не пугали его сначала: „Исключая нѣкоторое малое число милыхъ пріятелей, которыхъ я покинулъ въ Петербургѣ, я ни о комъ и ни о чемъ, тамъ оставленномъ, не тужу,—пишетъ онъ уже изъ чистопольской деревни. Здѣсь живу я въ настоящей хижинѣ, потому что мой домъ не отдѣланный стоитъ, безъ печей и окон-

¹⁾ Русск. Арх. 1869 г. стр. 139—140.

²⁾ Ibid., стр. 131.

чинъ, но признаюсь вамъ, что мою безпечную и свободную жизнь не промѣняю ни на сенаторское, ни на министерское мѣсто¹⁾. Пославъ свою „Поликсену“ въ Петербургъ къ Оленину, Озеровъ составляетъ планы и выбираетъ содержаніе для будущихъ трагедій. Онъ слѣдитъ за текущею русскою литературою по журналамъ. Впередѣ всѣхъ шумѣлъ тогда „Русскій Вѣстникъ“ Глинки, который, какъ мы знаемъ, писалъ передъ тѣмъ трагедіи съ содержаніемъ, взятымъ изъ русской исторіи. Это требованіе Глинки—обращаться за содержаніемъ къ родной жизни—сначала, повидимому, вызываетъ ироническія замѣчанія Озерова. „Изъ его разсужденій, пишетъ онъ, выводится заключеніе, что ни Корнель, ни Расинъ, ни Вольтеръ, ни Кребильонъ не были истинными трагиками, хотя мы всѣ, упражняющіеся въ трагическомъ искусствѣ, почитаемъ ихъ своими учителями“. Но мало-по-малу теорія Глинки овладѣваетъ умомъ Озерова, и онъ думаетъ писать трагедію изъ русской исторіи, но не въ томъ, далекомъ отъ истины видѣ, въ какомъ написанъ былъ „Димитрій Донской“, а съ разработкою дѣйствительнаго историческаго содержанія; съ этою цѣлью Озеровъ обращается за совѣтомъ и помощью къ Оленину. Содержаніе думаетъ онъ взять теперь изъ царствованія Анны Ивановны, именно смерть Волинскаго, „пострадавшего отъ Бирона за правду и защиту русскаго народа“. Мысль о такомъ содержаніи занимала Озерова еще въ Петербургѣ; оно было весьма благопріятно для трагедіи и надо удивляться, что такая мысль пришла на умъ Озерову, для котораго дороже всего были его французскіе образцы. Но Волинскій все-таки была личность неясная для трагика, для разработки матеріала въ этомъ родѣ тогда вовсе не доставало источниковъ, и, чтобы добыть ихъ, онъ обращается къ Оленину: „По вашимъ связямъ съ министрами и, другими сильными людьми въ довѣріи и власти, не можете ли открыть производство слѣдственнаго дѣла надъ Волинскимъ и мнѣ о томъ сообщить?“ Но Озеровъ понималъ тогдашнее положеніе литературы, съ ея робкимъ и ничтожнымъ содержаніемъ, понималъ ея печальную зависимость отъ цензуры и высказывалъ грустное убѣжденіе, что его трагедія съ этимъ избраннымъ имъ содержаніемъ *никогда* не можетъ быть играна на нашемъ театрѣ, а потому онъ и намѣревался писать ее только для своихъ пріятелей. А между тѣмъ его взглядъ на содержаніе и развитіе предполагаемой трагедіи былъ широкъ и свободенъ: „И какое широкое поле для сочинителя, говоритъ онъ, чтобъ показать во всемъ блескѣ правду русскаго боярина, должность вельможи и сенатора, и противоположить злоупотребленія временщика-

¹⁾ Ibid., стр. 139.

иностранца, алчущаго одной своей корысти и. можетъ быть, ненавидящаго народъ, ввѣренный управленію его слабою государынею; и наконецъ представить настоящее положеніе народа подъ слабымъ и недовѣрчивымъ правленіемъ" ¹⁾. „Вы чувствуете, какія истинныя картины можно изобразить, заимствуя кое-что изъ нашихъ временъ“. Но для такой картины, вдали отъ Петербурга и безъ помощи архивовъ, у Озерова, въ его глуши, не доставало матеріаловъ. Оленинъ же не совѣтовалъ ему приниматься за Волинскаго, и Озеровъ снова обратился къ вѣчнымъ сюжетамъ классической трагедіи. По словамъ кн. Вяземскаго, онъ сжегъ написанныя имъ три дѣйствія новой трагедіи „Медея“. въ припадкѣ унынія и оскорбленнаго самолюбія отъ не успѣха его „Поликсены“. Онъ не хотѣлъ болѣе ничего писать: „Ни сей трагедіи, ни другихъ писать болѣе не хочу“—говоритъ онъ—„тысячи непріятностей, навлеченныхъ мнѣ званіемъ автора и обиды, которая, можетъ быть, оное навело мнѣ по службѣ (любопытный намекъ) заставляютъ меня отстать отъ стихотворства, бросить перо, приняться за заступъ, и обрабатывая свой огородъ, возвратиться въ толпу обыкновенныхъ людей“.

Содержаніе послѣдней трагедіи Озерова „Поликсена“, представленной въ первый разъ на петербургской сценѣ, въ отсутствіе автора, 14 мая 1808 года, взято имъ снова изъ классическаго міра, изъ круга троянскихъ сказаній. Современные критики считали эту трагедію лучшимъ изъ произведеній Озерова, а слѣдовательно, лучшимъ изъ всѣхъ русскихъ трагедій. Можетъ быть, въ этомъ сужденіи участвовала и значительная доля сожалѣнія о несчастной судьбѣ Озерова, соединенной съ этою трагедіею. У трагика въ обработкѣ содержанія „Поликсены“ было много предшественниковъ, какъ и въ „Эдипѣ“. Кто не пользовался, кто не обрабатывалъ вѣчное содержаніе Гомеровыхъ поэмъ! Три образца въ особенности лежали передъ Озеровымъ: „Гекуба“ — трагедія Эврипида, „Троада“ — Сенеки и „Троянки“ — тогда молодого и пользовавшагося уже большою славою французскаго писателя, Шатобріана. О своемъ подражаніи Эврипиду говоритъ самъ Озеровъ: „Если третье дѣйствіе нѣсколько поразило слушателей, то обязаны они симъ удовольствіемъ Эврипиду, у котораго я занялъ почти весь разговоръ Гекубы съ Улиссомъ“ ²⁾. Кромѣ Эврипида, и Сенека, и Шатобріанъ доставили также много матеріала Озерову. Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности о содержаніи „Поликсены“. Всякому образованному человѣку извѣстны вѣчныя преданія, связанныя съ троянскою сагою. Здѣсь дѣло идетъ

¹⁾ Ibid., стр. 143.

²⁾ Ibid., стр. 149.

о жертвоприношеніи Полиksены, дочери Пріама и Гекубы, когда-то невѣсты Ахилла, въ угоду тѣни греческаго героя, требовавшей жертвы, которая нужна была еще и потому, что съ этою жертвою соединенъ былъ счастливый возвратъ грековъ на родину изъ подъ стѣнъ разрушенной Трои. На троянскомъ берегу ихъ держало безвѣтріе и принесенная жертва должна была умиловить разгнѣванныхъ боговъ. Въ трагедіи нѣтъ той уже опошленной любовной страсти, которая такъ портила „Димитрія Донскаго“. Все сосредоточено на чувствѣ любви материнской и дочерней, и эта сосредоточенность чувства придаетъ особую простоту дѣйствию. Лучшій характеръ, конечно, Поликсена, какъ и другія женскія лица трагедій Озерова. Но и другіе характеры трагедіи, окружающіе Поликсену: ея мать Гекуба, сестра Кассандра, Агамемнонъ, скорѣе, впрочемъ, похожій на рыцаря, чѣмъ на древняго грека, Пирръ, Улиссъ—характеры также вѣрные себѣ въ развитіи пьесы. На отдѣлкѣ характера Полиksены сосредоточился, однако, весь талантъ Озерова. Изъ рукъ его она вышла вполне романтической дѣвкой. Прощаясь съ матерью передъ тѣмъ, какъ идти на закланіе, она произноситъ слѣдующія слова, полныя романтическаго чувства:

„Благослови меня послѣднимъ цѣлованьемъ!
Но духа моего ты не смущай рыданьемъ,
И слезъ не лей: я ихъ не въ силахъ отереть.
Повторъ: не стоитъ жизнь, чтобы о ней жалеть.
И Гекторъ и Пріамъ и смертный, сердцу милый,
Всѣ ждутъ меня, всѣ тамъ, за темною могилой.
Тамъ мы увидимся! О матери! отпусти,
Прости въ послѣдній разъ! и ты, сестра, прости!“

Такое представленіе древней гречанки съ романтическими сторонами характера было уже въ духѣ времени, то же чувство разлито въ баллады Шиллера, посвященныхъ Греціи, напр., въ балладѣ „Торжество побѣдителей“. Конечно, оно одно и могло быть понимаемо, и могло нравиться зрителямъ, для которыхъ и сцена дѣйствія и содержаніе его не представляли никакого интереса. Въ душу типовъ древней Греціи вливалось новое чувство, понятное современникамъ. Пониманія древней жизни нельзя требовать отъ Озерова. То же самое романтическое чувство слышится и въ послѣднихъ словахъ Нестора, заключающихъ трагедію:

„Какой постигнуть умъ боговъ совѣтъ чудны!
Жестоки-ль были мы, иль были правосудны?
Среди тщеты надеждъ, среди страстей борьбы
Мы бродимъ по землѣ игрищемъ судьбы.
Счастливъ, кто въ гробъ скорѣй отъ жизни удалится,
Счастливѣе стократъ, кто въ жизни не родится!“

Современный критикъ слышалъ въ словахъ этихъ отголосокъ души самого поэта. „Обманувшійся во многихъ надеждахъ, говоритъ онъ, растерзанный въ живѣйшихъ чувствахъ сердца, онъ взоромъ разочарованнымъ глядѣлъ на жизнь и съ удовольствіемъ думалъ о смерти, спокойномъ убѣжищѣ утомленныхъ странниковъ земли“¹⁾.

„Поликсена“, представленная въ первый разъ 14 мая 1808 года, появлялась на сценѣ только два раза, и въ оба раза театральнѣйшій сборъ былъ неполонъ. Отчего публика такъ неблагосклонно встрѣтила послѣднюю трагедію Озерова, тогда какъ она только годъ тому назадъ привѣтствовала его единодушнымъ восторгомъ на представленіяхъ „Димитрія Донского“, объяснить едва ли возможно. Дѣло это представляется до того темнымъ, до того закрытымъ разными современными и послѣдующими намеками и догадками, что теперь, за неимѣніемъ положительныхъ свидѣтельствъ, о немъ ничего нельзя сказать точнаго. По заведенному порядку, директоръ театровъ, послѣ втораго представленія пьесы, долженъ былъ дать предписаніе кому слѣдуетъ о выдачѣ Оленину 3 тысячъ р., которые Озеровъ просилъ за „Поликсену“; два представленія были даны, а деньги, которыя такъ нужны были Озерову, не выдавались, и разсерженный трагикъ писалъ въ Петербургъ къ своему другу, чтобъ онъ не допускалъ трагедіи до третьяго представленія и взялъ ее обратно изъ дирекціи. Это были послѣднія слова послѣдняго письма его, написаннаго къ Оленину. „Для моей славы довольно и двухъ представленій“—говорилъ онъ. Изъ дѣлъ театральной дирекціи видно, что „Поликсена“ была отдана ей за 3 тысячи р. съ условіемъ получить ихъ „если она будетъ имѣть успѣхъ и принесетъ выгоды дирекціи“. Въ два представленія „Поликсена“ дала сбору только 1846 р. 25 к., изъ чего дирекція, заключая, что представленія трагедіи невыгодны, пріостановилась давать ее, но „дабы у автора, сдѣлавшаго уже себѣ имя прежними твореніями, не отнять охоты къ сочиненію впредь, говорилось въ докладѣ директора Нарышкина императору Александру, несмотря на малый успѣхъ его трагедіи, дирекція не имѣя суммъ на заплату, испрашивала на то Высочайшаго соизволенія“. Докладъ Нарышкина представленъ былъ черезъ кн. А. Н. Голицына Государю, но Александръ не разрѣшилъ уплаты, основываясь на точномъ исполненіи условія²⁾.

Все это дѣло и восхожденіе его на утвержденіе императора, который отказывается въ незначительномъ количествѣ рублей Озерову, только годъ тому назадъ написавшему имѣвшую чрезвычайный успѣхъ патріотическую трагедію, и самая оцѣнка „Поликсены“ послѣ

¹⁾ Соч. Озерова, ч. III, стр. 156.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 2031—2032.

двухъ представлений, куда публика могла собраться не въ полномъ количествѣ и совершенно случайно, — представляется чрезвычайно страннымъ. Въ ходѣ этого дѣла, отъ условія, заключеннаго Озеровымъ и до доклада императору, все кажется естественнымъ, нигдѣ не проглядываетъ та личная къ Озерову вражда, способствовавшая неуспѣху „Поликсены“, а слѣдовательно, и погубившая поэта, о которой единогласно говорятъ современники. Изъ разсмотрѣнія всего этого дѣла, сдѣланнаго княземъ Вяземскимъ ¹⁾, является очевиднымъ, что къ Озерову не были враждебно расположены ни Нарышкинъ, ни Голицынъ, ни самъ императоръ, что подъ всею этою вполне законною обстановкою скрывается, однако, какая-то темная пружина, руководившая всѣми обстоятельствами, враждебными Озерову, что было какое-то лицо, которое желало вредить ему и имѣло на то средства. Всѣ показанія современниковъ единогласно указываютъ на такое лицо; одно только странно, что обвиненія стали высказываться, не ранѣе 1815 года, т.-е. за годъ до смерти Озерова, а до тѣхъ поръ никто ни слова не говорилъ въ теченіе семи лѣтъ. Лицо, которое называли сознательнымъ врагомъ Озерова, былъ князь Александръ Александровичъ *Шаховской* (род. 24 Апр. 1777 года), извѣстный авторъ множества комедій и водевилей, весьма долго державшихся на русской сценѣ и любопытныхъ для изученія, такъ какъ изъ нихъ можно извлечь многія черты для характеристики общества во вторую половину царствованія Александра ²⁾. Шаховской былъ самъ страстнымъ поклонникомъ театра, вообще сцены и закулиснаго міра; онъ самъ имѣлъ большой комическій талантъ и, по рассказамъ современнымъ, былъ превосходнымъ актеромъ, такъ что игра его заставляла совершенно забывать о неуклюжей и безобразной его фигурѣ ³⁾. Эта страсть къ театру и сценическія способности сдѣлали Шаховского извѣстнымъ директору императорскихъ театровъ Нарышкину; онъ сдѣлалъ Шаховского начальникомъ репертуарной части, что придавало ему большое значеніе, такъ что судьба авторовъ, актеровъ и пьесъ находилась вполне въ его рукахъ. Шаховской принадлежалъ къ тремъ разнымъ кругамъ общества: и къ знатному, по рожденію, и къ литературному, и къ закулисному. Изъ этихъ круговъ сосредоточивались въ домѣ Шаховского всевозможныя сплетни. Самъ онъ отличался удивительною раздражительностью характера и, по свидѣтельству современниковъ, завистливостью ко всякому таланту, обра-

¹⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 2036—2041.

²⁾ „О заслугахъ кн. Шаховского въ драматической словесности“. Полное собраніе соч. С. Т. Аксакова, СПб. 1886 г., т. IV, стр. 144—149.

³⁾ Записки Вигеля, III, стр. 126.

щавшему на себя вниманіе общества. При всемъ томъ, всё свидѣтельствуешь о его добротѣ и мягкости: виною всѣхъ его выходокъ была раздражительность, которая однако скоро проходила. По своимъ литературнымъ вкусамъ и убѣжденіямъ, Шаховской былъ съ самаго начала своего писательства сторонникомъ Шишкова и врагомъ Карамзина и его школы. Въ своей комедіи „Новый Стернь“ онъ прежде всего вывелъ на сцену Карамзина и старался осмѣять его сентиментальность; разумѣется, это было непріятно поклонникамъ Карамзина. Въ другой, позднѣйшей комедіи „Липецкія воды“ онъ осмѣивалъ Жуковскаго и его романтизмъ. Говорятъ, вообще въ его комедіяхъ много современныхъ личностей, почему либо возбудившихъ къ себѣ неблаговоленіе Шаховскаго. Понятно, что поклонники Карамзина и Жуковскаго, такъ называемые „Арзамасцы“ не любили Шаховскаго и сдѣлали его мишенью для выстрѣловъ своихъ многочисленныхъ эпиграммъ, въ которыхъ онъ обыкновенно назывался *Шутовскимъ*. Другое литературное имя его, за современные намеки въ комедіяхъ, было Аристофанъ. Вдругъ возникшая слава, дѣйствительный талантъ, и необыкновенный успѣхъ трагедій Озерова—должны были сильно подѣйствовать на завистливый характеръ Шаховскаго; эти неожиданные лавры раздражали его воображеніе; этихъ успѣховъ Шаховской перенести не могъ. Были ли какія-нибудь личныя причины вражды его къ Озерову, намъ неизвѣстно, но самое мягкое объясненіе дѣйствій Шаховскаго (въ чемъ они состояли, мы также положительно не знаемъ) будетъ то, что онъ, какъ человѣкъ другихъ литературныхъ убѣжденій, думалъ, что „въ самомъ дѣлѣ оказываетъ услугу русской литературѣ, затормозивъ дальнѣйшее движеніе Озерова. Во всякомъ случаѣ было бы непростительно допустить, что онъ могъ предвидѣть пагубныя и плачевныя послѣдствія, которыя повлекло за собою противодѣйствіе его успѣхамъ Озерова“¹⁾.

ЛЕКЦІЯ XXXI.

Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Сперанскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Крюковскаго. — Записка Карамзина „о древней и новой Россіи“.

Всѣ современники согласны въ томъ, что причиною несчастья, постигшаго Озерова, и причиною сознательною—былъ князь Шаховской. По разсказамъ Влудова, переданнымъ въ его біографіи Ковалевскимъ, Шаховской „затѣялъ противъ него интригу“ и для паде-

¹⁾ Рус. Арх. 1869 г., стр. 2044.

нія „Поликсены“ „подготовили общественное мнѣніе, а можетъ быть и самихъ актеровъ“ ¹⁾. Какъ дѣйствовалъ Шаховской и какія средства употреблялъ онъ для достиженія своей цѣли—намъ неизвѣстно. Всѣ однако-жъ говорятъ въ одинъ голосъ объ интригахъ, сгубившихъ Озерова, и о зависти, породившей ихъ. Батюшковъ, въ своей баснѣ „Пастухъ и Соловей“, посвященной Озерову, намекаетъ на „зоиловъ строгихъ, богатыхъ завистью, талантами убогихъ“. Въ своей статьѣ о Петраркѣ тотъ же Батюшковъ, говоря о „любимцѣ Мельпомены“, упоминаетъ о завистникахъ дарованія и заключаетъ мыслію, выражающею взглядъ его на поэзію: „Великое дарованіе и великое страданіе почти одно и то же“. Жуковский также говоритъ о зависти ²⁾:

„Увы! Димитрія творецъ
Не отличилъ простыхъ сердецъ
Отъ хитрыхъ, полныхъ вѣроломства:
Зачѣмъ онъ свой билетъ вѣнецъ
Давалъ завистникамъ съ друзьями?
Пусть дружба нѣжными перстами
Изъ лавровъ сей вѣнецъ свила—
Въ нихъ зависть тернія вплела;
И торжествуетъ: растерзали
Ихъ иглы славное чело“.

Дашковъ, въ своемъ ироническомъ „письмѣ къ новѣйшему Аристофану“, подъ названіемъ котораго онъ и друзья его разумѣли кн. Шаховского, остроумно подсмѣивается надъ нимъ, увѣряя, что онъ совершенно не причастенъ зависти: „Зависть! Можетъ ли сіе слово вамъ приличествовать! Подобно Вольтеру, который Вамъ однимъ, вашему участию въ переводѣ его трагедій обязанъ истинною своею славою, подобно ему вы чуждаетесь низкихъ страстей человѣчества. De qui dans l'univers peut il être jaloux“; говоритъ онъ также и объ отношеніяхъ Шаховскаго къ Озерову: „Явился писатель, коего образованію природа и искусство равно содѣйствовали, который заслужилъ безсмертное имя въ лѣтописяхъ русскаго театра, и разительными красотами своихъ трагедій заставилъ забыть свои недостатки. Такъ мы судили: Вы одни, М. Г., открыли грубую ошибку нашу и всѣми силами стремились сокрушить несправедливую славу творца Поликсены и Димитрія... Ахъ! Вы ли виною, что небольшія огорченія (можетъ быть, съ самымъ лучшимъ намѣреніемъ причиненныя) раздражили глубокую чувствительность, неразлучную съ гениемъ, и погубили его. О несправедливость! о суета славы!“ ³⁾. Когда пришло

¹⁾ Ковалевскій. Графъ Блудовъ и его время, стр. 37.

²⁾ „Посланіе къ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину“.

³⁾ Сынъ Отеч. 1815 г., ч. XXV, № 42, стр. 143—144.

въ Петербургъ первое извѣстіе о смерти Озерова, въ томъ же „Сынѣ Отечества“ появилась слѣдующая эпитаграмма ¹⁾:

„Угасъ нашъ Озеровъ, лучъ славы Россіянъ:
Умолкъ пѣвецъ Фингала, Полиесены!
Рыдайте, нѣвскія камены!
Ликуй, Аристофанъ!“

Молодой, только что начинающій Пушкинъ, въ своемъ посланіи къ Жуковскому, зоветъ даже литературныхъ друзей своихъ, на мсть за Озерова:

„Смотрите! Пораженъ враждебными стрѣлами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ, взываетъ, други, мѣсть!“

Такимъ образомъ, всѣ современники, болѣе другихъ интересовавшіеся литературою, желавшіе ей успѣха, новаго содержанія и новыхъ формъ, сходились въ общемъ мнѣніи, что зависть была причиною гибели Озерова и что лицомъ, способствовавшимъ ей какими-то темными продѣлками и интригами, былъ князь Шаховской. Можетъ быть, все это было преувеличено; можетъ быть, поклонники таланта Озерова въ своемъ рвеніи заходили далеко, и на нихъ могла имѣть вліяніе несчастная судьба Озерова. Онъ былъ до крайности самолюбивъ и раздражителенъ и „чувствительность его стубила“ — по выраженію Жуковского. Мы приводили уже мѣсто изъ писемъ его къ Оленину, гдѣ онъ совершенно отказывается отъ поэзіи, въ первое время по полученіи извѣстія о неуспѣхѣ на сценѣ его „Поликсены“. За недовольствомъ и раздраженіемъ наступило отчаяніе; вѣроятно, деревенское уединеніе развило больше это отчаяніе и сомнѣніе въ своемъ талантѣ и все кончилось тѣмъ, что Озеровъ сошелъ съ ума въ своей чистопольской деревнѣ. Оттуда старикъ отецъ перевезъ его въ Зубцовскій уѣздъ и лѣтъ семь, до смерти своей въ ноябрѣ 1816 года, несчастный поэтъ не приходилъ въ сознаніе. Озеровъ долженъ быть, такимъ образомъ, причисленъ къ тѣмъ напраснымъ и несчастнымъ жертвамъ, которыхъ довольно представляетъ русская литература. Нельзя, однако, припоминая печальную судьбу Озерова, не сдѣлать замѣчанія о положеніи поэта въ тогдашнемъ обществѣ. Неужели возможно въ болѣе развитомъ состояніи послѣдняго такое обстоятельство, что чиновничьи продѣлки могутъ возвысить и уронить славу поэта, что литературная судьба его можетъ зависѣть отъ канцелярскихъ отношеній и отъ формы доклада, хотя бы и самому государю?

¹⁾ Ibid., 1816 г., т. XXXIII, стр. 267.

Судить о значеніи Озерова и о его положеніи въ исторіи нашей литературы, конечно, можно только съ современной ему точки зрѣнія, принимая во вниманіе тогдашніе вкусы, тогдашнія требованія отъ поэзіи и литературы. Для насъ даже тотъ родъ произведеній, въ которомъ упражнялся Озеровъ, не существуетъ; мы требуемъ отъ поэзіи и вообще отъ искусства, чтобъ они изображали передъ нами жизнь дѣйствительную, жизнь настоящую, а такой родъ поэзіи, гдѣ эта жизнь является въ преувеличенныхъ, неестественныхъ размѣрахъ, гдѣ передъ зрителями выходятъ на сцену не простые люди, а герои,—не можетъ удовлетворить насъ. Господство французской теоріи и французскихъ образцовъ, которымъ Озеровъ подражалъ и по воспитанію и по убѣжденіямъ,—давно прошло. Но въ свое время трагедіи Озерова были дѣйствительнымъ шагомъ впередъ, потому что онѣ вносили новыя понятія и новыя представленія на сцену и расширяли сферу ея содержанія, трактуя о томъ чувствѣ, котораго не было въ прежнихъ трагедіяхъ, и выражая его прекраснымъ для того времени языкомъ и звучнымъ стихомъ. Въ этомъ смыслѣ, по словамъ современнаго критика, Озерова можно дѣйствительно назвать „преобразователемъ“ нашего театра; но говорить о немъ, какъ о гениі, могли только увлеченные современники. Въ Озеровѣ не было ничего самобытнаго, ничего оригинальнаго; онъ былъ созданіемъ французской теоріи и французскихъ образцовъ, и только совершенно случайныя, временныя обстоятельства придали ему чрезвычайное значеніе и увеличили восторгъ современниковъ, подкупаемыхъ, кромѣ того, и изяществомъ стиха Озерова, и романтическимъ выраженіемъ. Приведемъ, однако, въ заключеніе сужденіе объ Озеровѣ одного изъ чрезвычайно умныхъ современниковъ, чуждаго, впрочемъ, литературѣ. Оно доказываетъ, что и тогда были люди, не увлекавшіеся общимъ восторгомъ и смотрѣвшіе на дѣло другими глазами: „Эдипъ Озерова точно таковъ, какъ ты его понимаешь,—пишетъ въ частномъ письмѣ къ своей дочери Сперанскій. Слабое, натянутое подражаніе, сборъ разныхъ мѣстъ изъ французскихъ трагедій. Озеровъ никогда и ни въ чемъ не имѣлъ истиннаго таланта. Это трудолюбивая посредственность. Я зналъ его коротко. Онъ лучше писалъ по-французски и весьма поздно принялся за русскій. Но, еслибъ онъ и ранѣе началъ, то не болѣе бы сдѣлалъ. Меня раздражаетъ не то, что онъ могъ ошибиться въ своемъ родѣ, но то, что вкусъ нашей публики такъ еще мало образованъ, въ такомъ ребячествѣ, что всякая мишура его веселитъ и восхищаетъ. Впрочемъ, мы поздно пришли, чтобъ желать или надѣяться имѣть у себя драматическихъ стихотворцевъ; родъ сей вообще проходитъ или уже прошелъ во всей Европѣ (надобно ду-

мать, что Сперанскій говорить здѣсь о ложно-классической трагедіи). Поэзія, языкъ боговъ, перелилась нынѣ вся въ политику. Нынѣ не стихи строить воображеніемъ, но государства“¹⁾). Отзывъ этотъ, конечно, одностороненъ, такъ какъ принадлежитъ человѣку, для котораго интересы литературы составляли второстепенное дѣло, но нельзя отказать ему въ нѣкоторой доли справедливости.

Что обстоятельства времени могли способствовать въ ту пору успѣху даже нисколько не замѣчательной по таланту и выраженію пьесѣ, только потому, что въ ней заключалось много намековъ на современныя событія и высказывалось сильно возбужденное патріотическое чувство,—можетъ служить доказательствомъ чрезвычайный успѣхъ трагедіи Крюковского „Пожарскій или освобожденная Москва“, поставленной на сцену въ одинъ годъ съ „Димитріемъ Донскимъ“ Озерова. Авторъ этой трагедіи, тогда еще очень молодой человѣкъ (род. 1781 г.), Матвѣй Васильевичъ Крюковской, не былъ замѣчательнъ ничѣмъ, но вдругъ, отъ восторга публики, поднялся на верхъ человѣческой славы. Подобно Озерову, онъ учился въ томъ же кадетскомъ корпусѣ и также былъ выпущенъ изъ него въ чинѣ поручика. Служилъ онъ переводчикомъ въ комиссіи для составленія законовъ, а потомъ въ банкѣ и до своей трагедіи не писалъ ничего. Трагедія его имѣла необычайный успѣхъ на сценѣ; всѣ называли Крюковского вторымъ Озеровымъ, а были и такіе, которые ставили его по таланту выше. Самое содержаніе пьесы высказано въ заглавіи ея, но исторіи, какъ и у Озерова, здѣсь искать не слѣдуетъ. Въ трагедіи нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни страстей; вся она состоитъ изъ патріотическихъ тирадъ и возгласовъ, отъ которыхъ трепетали сердца современниковъ. Крюковской вдругъ сдѣлался знаменитостью, его приглашали въ дома знатныхъ на расхватъ. Службу свою онъ забылъ, къ должности пересталъ являться и былъ за то уволенъ; но императоръ Александръ, которому была поднесена трагедія, смотрѣлъ благосклонно на Крюковского и даже велѣлъ спросить у него: чего бы онъ желалъ²⁾). Крюковской сознавалъ свой талантъ и высказалъ желаніе быть отправленнымъ за границу. Дѣйствительно, онъ, былъ отправленъ на казенный счетъ въ Парижъ „для усовершенствованія трагическаго таланта“. Но изъ этого путешествія не вышло ничего, онъ прожилъ въ Парижѣ два года совершенно бесполезно, закутился тамъ повидимому, и вывезъ оттуда болѣзнь, которая и свела его въ могилу въ 1811 году, на 30-мъ году жизни. Вторая трагедія Крюков-

1) Русск. Арх. 1868 г., стр. 1730—1731.

2) Карабановъ. Основаніе русск. театра, стр. 81.

скаго „Елисавета, дочь Ярослава“, содержаніе которой составляет любовь норвежскаго принца Гаральда къ русской княжнѣ, такъ слаба вообще, что даже не могла быть поставлена на сценѣ. Она напечатана въ 1820 г. „Пожарскій“ — тоже слабое произведеніе въ художественномъ отношеніи, поставленъ былъ *кстати*, вовремя, и оттого имѣлъ чрезвычайный успѣхъ на сценѣ; стихи, которые кажутся намъ напыщенной декламаціей, приводили слушателей въ полный восторгъ, особенно, когда произносилъ ихъ звучнымъ голосомъ знаменитый трагическій актеръ того времени — Яковлевъ. Стихи эти говорили о любви къ отечеству: „Любви къ отечеству сильна надъ сердцемъ власть“ — или о ненависти къ врагамъ, говорили о томъ, что чувствовалъ въ то время каждый мыслящій русскій. Поэтъ все-таки былъ человекъ умный. Онъ умѣлъ понять данное настроеніе общества и выразить его въ звучныхъ стихахъ. Та же ненависть къ иностранцамъ и нападенія на нравственный вредъ ихъ вліянія, которыя обильно заключались въ произведеніяхъ патріотической литературы, у Шишкова, Растопчина, Глинки, проповѣдуется и Крюковскимъ:

„Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливаютъ,
И нравы нѣгою постыдной разслабляютъ.
Обычай суетный почто перецимать
И рабски чуждому примѣру подражать?
Не пользу отъ сего, какъ мыслятъ, обрѣтаемъ,
Но русскій духъ въ мѣнѣ толь низкой мы теряемъ;
Издѣлій роскоши не зная Россѣ цѣнить, —
Умѣлъ карать пороки и добродѣтель чтить“.

Тѣ же и упреки въ недостаткѣ патріотизма, котораго было гораздо больше встарину, чѣмъ теперь:

„Прошли на вѣкъ сіи счастливы времена,
И истинныхъ сыновъ Россія лишена:
Отечество у насъ одно лишь изреченье“.

Стихи оставались надолго въ памяти современниковъ и многіе изъ нихъ, имѣвшіе отношеніе къ Москвѣ, потомъ въ эпоху 1812 года, считались пророческими, такъ какъ въ самомъ дѣлѣ между обѣими знаменательными эпохами русской исторіи было много общаго. Такова, напримѣръ, слѣдующая тирада Пожарскаго:

„Погибни лучше все! и градъ, порабощенный
Въ отеческой странѣ рукой иноплеменной,
Готовъ разрушить я, въ прахъ зданія попратъ,
Во храмы бросить огнь и пламенемъ объять
Ихъ гордыя главы, что въ золотѣ сіяютъ,
И блескъ протекшаго величія являютъ“.

Когда Москва въ 1812 году была уступлена Кутузовымъ безъ боя французамъ, и когда это событіе сильно поразило и огорчило современниковъ, а въ депешахъ Кутузова и въ тогдашней печати выражалось убѣжденіе, что съ потерю Москвы не соединяется еще гибель отечества,—то же говорилось и въ стихахъ Пожарскаго, въ трагедіи Крюковского, гдѣ было столько словъ и фразъ, посвященныхъ Москвѣ:

„Россія не въ Москвѣ—среди сыновъ она,
Которыхъ вѣрна грудь любовью къ ней полна...“

Самый сильный, однако, восторгъ производилъ тотъ знаменитый стихъ, который произноситъ Пожарскій, узнавшій въ одно время и объ измѣнѣ Заруцкаго и объ опасностяхъ, въ которыхъ находится его семейство. Онъ жертвуетъ семейными привязанностями общему чувству любви къ Москвѣ, не слушаетъ друзей своихъ, уговаривающихъ его спѣшить на помощь къ семьѣ:

„Родные!—но Москва не мать ли мнѣ?“

Все подобное могло имѣть мѣсто только въ извѣстное время. Прошли годы возбужденія, перемѣнились обстоятельства и трагедія Крюковского, въ которой не было почти художественнаго достоинства, была совершенно забыта. Мы видѣли, что онъ и самъ не былъ въ состояніи написать что-либо другое. Возбужденія достало у него только на „Пожарскаго“.

Не то бываетъ съ произведеніями, написанными авторомъ съ дѣйствительнымъ талантомъ и опирающимися на положительное знаніе и опытъ. Къ тому же кругу идей, вызванныхъ къ жизни обстоятельствами времени, къ тому же патріотическому возбужденію, которое проникало большинство литературныхъ произведеній времени, принадлежитъ сочиненіе, написанное также въ виду грозныхъ, современныхъ обстоятельствъ, передъ страшною войною съ Наполеономъ, уже грозившимъ своимъ нашествіемъ, сочиненіе, не предназначенное однако для печати, для обращенія въ публикѣ, для дѣйствія на общественное мнѣніе, но, по таланту и положенію автора, несмотря на эту таинственность происхожденія, имѣвшее гораздо болѣе вліянія, чѣмъ, даже иное талантливое сочиненіе въ печатной литературѣ. Сочиненіе это, если оно и не предназначалось для печати, то было написано съ цѣлю произвести вліяніе на образъ мыслей и на образъ дѣйствій человека, котораго мнѣніе значило гораздо больше, чѣмъ все общественное мнѣніе тогдашней Россіи. Записка Карамзина „О древней и новой Россіи въ ея политическомъ, и гражданскомъ отношеніяхъ“, ибо объ этомъ сочиненіи будетъ

теперь рѣчь, имѣла вліяніе и на того, для кого она была писана, и на высшія правительственныя сферы послѣдующаго царствованія, которыя какъ бы соображали свои дѣйствія, свои мѣры съ сужденіями и мнѣніями, высказанными Карамзинымъ. Мы очень далеки отъ мысли придавать его „Запискѣ“ именно такое значеніе; она была написана для другого времени, для другихъ обстоятельствъ; но кодексъ консервативныхъ идей, въ ней заключающійся, по ея взгляду на направленіе и содержаніе русской исторіи остались надолго въ употребленіи у извѣстной партіи. Вокругъ этого сочиненія до сихъ поръ сосредоточивается борьба противоположныхъ взглядовъ на русское развитіе и на русскую политическую жизнь, на цѣли и стремленія въ будущемъ. Эта борьба мнѣній изъ-за „Записки“ Карамзина высказывалась однако не совсѣмъ полно и не совсѣмъ ясно, потому что самое сочиненіе, о которомъ спорили, было не вполне извѣстно публикѣ или было извѣстно въ извлеченіяхъ, сдѣланныхъ невѣрно. Только изданіе „Записки“ въ „Русскомъ Архивѣ“ позволило наконецъ познакомиться съ мыслями Карамзина во всей ихъ полнотѣ. Постараемся представить, по возможности безпристрастно, содержаніе этого замѣчательнаго сочиненія Карамзина, гдѣ онъ является публицистомъ-историкомъ и говоритъ, какъ власть имѣющій.

Карамзинъ, прекративши изданіе „Вѣстника Европы“ и получивъ по ходатайству Муравьева, при посредствѣ друга своего, И. И. Дмитріева, званіе исторіографа, отдался весь съ любовью избранному имъ труду надъ русской исторіей. Онъ жилъ въ Москвѣ и до 1810 года не былъ лично извѣстенъ государю. Но друзья Карамзина и, главнымъ образомъ, Дмитріевъ, назначенный министромъ юстиціи и близкій къ государю, часто говорили о немъ съ Александромъ, интересовавшимся ходомъ его труда. Въ 1810 году Карамзинъ былъ награжденъ орденомъ и чиномъ. Сближенію его съ государемъ способствовала сестра Александра, Екатерина Павловна. Воспитанная въ консервативныхъ убѣжденіяхъ и въ ненависти къ французской революціи и къ новому Наполеоновскому господству во Франціи своею матерью, императрицею Марією Ѳеодоровною, великая княгиня, женщина очень умная и образованная, любила являться патріоткою, покровительницею всего русскаго, а въ томъ числѣ и литературы. Мѣстопробываніе ея было въ Твери, при мужѣ, принцѣ Георгѣ, который былъ главнымъ директоромъ путей сообщенія. Здѣсь у нихъ былъ небольшой дворъ, къ которому Екатерина Павловна любила собирать избранное общество и людей почему-либо замѣчательныхъ. Карамзинъ былъ первымъ лицомъ въ тогдашней литературѣ. Не могла она не обратить на него вниманія, а позна-

комившись съ нимъ, не могла не полюбить его, такъ какъ во взглядахъ ихъ и убѣжденіяхъ было очень много общаго. Въ Москвѣ въ 1810 году она узнала Карамзина и пригласила его посѣтить ее въ Твери. Карамзинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ въ первый разъ въ февралѣ 1810 года, пробылъ тамъ шесть дней и читалъ отрывки изъ своей исторіи ей и великому князю Константину Павловичу, цесаревичу. Объ этомъ чтеніи Карамзина счелъ нужнымъ сообщить своему правительству сардинскій посланникъ Ж. де-Местръ, передавшій при этомъ случаѣ нѣсколько любопытныхъ подробностей о самой великой княгинѣ. Дворъ ея, по его словамъ, походитъ на монастырь; по вечерамъ тамъ нѣтъ другого развлеченія, кромѣ чтенія. Она сама учитъ своего мужа русскому языку и знакомитъ его съ простолюдинами. „Ея голова способна на дальновидные планы и на сильную рѣшимость“—прибавляетъ де-Местръ. Константинъ Павловичъ, вернувшись въ Петербургъ послѣ чтенія, рассказывалъ со смѣхомъ, что онъ изъ русской исторіи только и знаетъ то, что узналъ въ тотъ вечеръ ¹⁾. Послѣ того Карамзинъ былъ еще два раза въ Твери, въ декабрѣ 1810 года, и въ февралѣ 1811 года. Карамзинъ былъ въ полномъ восторгѣ отъ пріема великой княгини и отъ своихъ отношеній съ нею. Ея дворецъ онъ называетъ „очарованнымъ замкомъ“; онъ не нахвалится ея любезностію, ангельскою добротою и „необыкновенными познаніями“ принца, ея мужа ²⁾. Карамзинъ, кромѣ чтенія своихъ отрывковъ изъ исторіи, долго и много бесѣдовалъ съ великою княгинею. То было время общаго патріотическаго настроенія умовъ; ни о чемъ другомъ не могла быть ихъ бесѣда, какъ о современномъ состояніи Россіи, въ виду великихъ приближающихся событій и грозной тучи нашествія, которая подымалась на дальнемъ западѣ. Всѣ умы были заняты однимъ, и Екатерина Павловна съ перваго знакомства съ Карамзинымъ оцѣнила его консервативныя убѣжденія и взгляды, основанные, по ея мнѣнію, на глубокомъ изученіи прошедшей исторіи Россіи. Она смотрѣла на него, какъ на человѣка государственнаго и, конечно, много толковала съ нимъ о современныхъ государственныхъ реформахъ въ Россіи, полезности которыхъ она не вѣрила. Когда во второй разъ Карамзинъ посѣтилъ Тверь въ декабрѣ 1810 года, она просила его изложить свои мысли о современномъ положеніи Россіи на бумагѣ и даже торопила его этою работою. Такъ возникла эта знаменитая „Записка“ Карамзина, которую онъ въ февралѣ 1811 года, переписанную рукою жены, отвезъ въ Тверь и прочиталъ великой княгинѣ, долго бесѣдуя

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 0192.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 137.

съ нею о ея содержаніи. По прочтеніи „Записки“ она взяла рукопись у Карамзина и оставила у себя. Цѣль ея была передать „Записку“ своему брату, сблизить его съ Карамзинымъ. Она думала, что факты, изложенные въ „Запискѣ“ краснорѣчивымъ языкомъ Карамзина, сужденія и мнѣнія его о современномъ положеніи Россіи, вполне ею раздѣляемые, произведутъ впечатлѣніе на государя, и не ошиблась. Заинтересованный разсказами и рекомендаціей сестры, Александръ самъ пожелалъ сблизиться съ Карамзинымъ и послушать его. Александръ долженъ былъ въ Мартѣ того же 1811 года быть въ Твери у сестры, и великая княгиня пригласила Карамзина пріѣхать также къ этому времени. Сближеніе послѣдовало, и Карамзинъ, разумѣется, былъ въ восхищеніи отъ пріема государя, какъ это видно изъ писемъ его къ Дмитріеву ¹⁾. Онъ обѣдалъ вмѣстѣ съ нимъ, болѣе двухъ часовъ читалъ ему свою исторію, говорилъ съ нимъ о самодержавіи, при чемъ даже былъ не согласенъ съ нѣкоторыми мыслями государя (вѣроятно, Карамзинъ былъ въ этомъ разговорѣ *plus royaliste que le roi*). Александру понравился и Карамзинъ и его исторія: Онъ любезно звалъ его въ Петербургъ съ женою; предлагалъ для житія комнаты въ Аничковскомъ дворцѣ и сдѣлалъ какое-то милостивое предложеніе, о содержаніи котораго Карамзинъ, однако, умалчиваетъ. Вообще, Карамзинъ пишетъ, что государь выѣхалъ изъ Твери съ благопріятнымъ къ нему расположеніемъ. Въ сущности это было не совсѣмъ такъ, и Александръ былъ сначала недоволенъ Карамзинымъ и недоволенъ именно за „Записку“, о чемъ тотъ не могъ писать Дмитріеву, потому что знаменитая записка эта тогда, да и долго потомъ, считалась государственною тайною. Карамзинъ не читалъ ея самъ императору. Великая княгиня передала ее брату наканунѣ его отъѣзда изъ Твери и, вѣроятно, онъ успѣлъ познакомиться съ ея содержаніемъ тогда же, потому что на другой день онъ „обошелся съ исторіографомъ холодно, не говорилъ съ нимъ ни слова, какъ будто не замѣчалъ его, и уѣхалъ не простившись съ Карамзинымъ“ (Гротъ). Чѣмъ при чтеніи „Записки“ Карамзина остался тогда недоволенъ Александръ: оскорбила ли его самая форма сочиненія, гдѣ подданный принималъ смѣлость свободно говорить съ своимъ самодержавнымъ монархомъ, не разглядѣлъ ли онъ, подъ наружнымъ видомъ свободной грубости рѣчи того фиміама лести, который курилъ здѣсь Карамзинъ самодержавной власти, или ему дороги еще были тогда его учрежденія первыхъ лѣтъ царствованія, его реформы, о которыхъ онъ когда-то мечталъ, будучи юношей, и

¹⁾ Ibid., стр. 139—141.

онъ былъ недоволенъ за нихъ на Карамзина? Отвѣчать положительно на вопросъ этотъ невозможно.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и самыхъ замѣчательныхъ, конечно, въ русской исторіи. Ходъ событій, европейскія вліянія, люди, окружавшіе Александра, исчезновеніе прежнихъ либеральныхъ друзей его молодости, появленіе новыхъ совѣтниковъ, которые подъ наружнымъ видомъ преданности, умѣли на пользу себѣ льстить, самая слабость характера, все влекло Александра по другой, совершенно противоположной дорогѣ, на которой онъ могъ только раздражительно осуждать идеальныя стремленія своей молодости. Тогда, въ эти годы нравственного поворота, онъ оцѣнилъ консервативное содержаніе „Записки“ Карамзина, оно пришлось ему по мыслямъ, а Аракчеевъ успѣлъ его примирить не только съ Карамзинымъ, но и со многими другимъ, гораздо худшимъ. Александръ приблизилъ къ себѣ Карамзина; послѣдній считалъ государя своимъ искреннимъ другомъ. Въ 1816 году, пожаловавъ Карамзину ленту, Александръ замѣтилъ, что онъ награждаетъ его *не за исторію, а за записку*. Тогда онъ вполнѣ уже раздѣлялъ ея сужденія. Странная судьба, однако-жъ, этой „Записки“, имѣющей такую историческую важность по своему вліянію на правительство. Отдавая рукопись Екатеринѣ Павловнѣ, Карамзинъ не оставилъ у себя съ нея копій. Она стала дѣлаться извѣстною въ высшихъ сферахъ петербургскаго общества только въ 1826 году. Первые, весьма незначительные отрывки ея были напечатаны въ „Современникѣ“ 1837 года ¹⁾ и только въ 1871 году она появилась вполнѣ. А между тѣмъ, вокругъ нея сталкиваются до сихъ поръ противоположныя взгляды на русское развитіе.

ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV.

Содержаніе „Записки“ Карамзина.

Для знакомства съ самимъ Карамзинымъ, для изученія его взглядовъ и убѣжденій по исторіи русскаго развитія и по внутренней политикѣ государства „Записка“ представляетъ очень много, такъ какъ, по всей вѣроятности, несмотря на ея вылощенный, гладкій языкъ, составляющій особенность Карамзина, какъ писателя, онъ менѣе думалъ въ ней о сочинительствѣ, чѣмъ въ другихъ случаяхъ. Въ ней высказываетъ онъ свои убѣжденія вполнѣ искренно, не стараясь скрывать ихъ подъ формою придуманной фразы; нельзя

¹⁾ Т. V, стр. 89—112.

не отдать также полной справедливости смѣлости его выраженія, желанію высказать въ ней вполне то, что онъ думалъ, желанію не скрывать своей мысли. Очевидно, Карамзинъ писалъ не для цензуры, какъ привыкли писать всѣ русскіе сочинители, и эта смѣлость выраженія была причиною того, что „Записка“ такъ долго не могла появиться въ печати. Кромѣ того, „Записка“ весьма важна и въ томъ отношеніи, что въ ней высказался вполне опредѣленно весь кодексъ тогдашней охранительной партіи, ея взгляды и убѣжденія относительно прошлаго и настоящаго Россіи и въ особенности относительно реформъ, въ которыхъ преимущественно выражалась государственная дѣятельность Сперанскаго, единственнаго совѣтника Александра со времени эрфуртскаго свиданія. На этомъ человѣкѣ, поднявшемся такъ быстро въ Имперіи, сосредоточилась вся ненависть консервативной партіи, дошедшая до крайностей въ началѣ 1812 года, когда Александръ долженъ былъ уступить ея крикамъ и рѣшиться на ссылку Сперанскаго. Конечно, Карамзинъ нигдѣ въ своихъ нападеніяхъ на реформы не говоритъ о Сперанскомъ прямо, не называетъ его имени, но эти оуждаемыя имъ реформы были созданіемъ Сперанскаго, и оужденіе, разумѣется, падало косвенно и на него. Карамзинъ, мы сказали, въ „Запискѣ“ своей является выразителемъ мнѣнія тогдашнихъ охранителей; онъ представилъ въ изящной литературной формѣ, что выражалось болѣе просто и грубо въ разговорахъ партіи, всю ту ненависть къ реформамъ, которая накипѣла въ сердцахъ этой партіи. Если мы употребляемъ здѣсь слово *партія*, то считаемъ, однако, необходимымъ оговориться. Партія охранителей, партія консерваторовъ,—выраженія эти предполагаютъ существованіе партіи либераловъ и прогрессистовъ; но послѣдней-то мы и не видимъ въ тогдашнее время. Мы знаемъ уже, какъ слаба была тогда либеральная печать наша, которая могла бы оправдывать и защищать реформы, задумываемыя правительствомъ, и готовить къ нимъ общественное мнѣніе. Все, что слабо говорилось въ этомъ духѣ и въ этомъ родѣ, все это смолкло вдругъ въ эпоху войны, и раздавался громко только голосъ патріотической литературы, которая, нападая на наши заимствованія отъ иностранцевъ, требуя возвращенія къ роднымъ началамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно осуждала все то, что было сдѣлано правительствомъ въ послѣдніе годы. Если и находились люди, вступавшіе въ споръ съ господствовавшимъ направленіемъ, то мысль ихъ не могла быть ясно сформулирована и представлена въ полномъ видѣ. Споръ шелъ, какъ мы видѣли, о старыхъ и новыхъ словахъ, а не о томъ, что занимало мысль каждого, не о тѣхъ реформахъ, которыя касались коренныхъ основъ государственной жизни. Гдѣ же тутъ могла быть прогрессив-

ная партія, которая бы защищалась и вступила въ борьбу съ охранителями? Ея не было. Прогрессивную партію собственно составляло одно правительство, но у него не было нравственной точки опоры, не было и силы убѣжденія, которой не допускалъ слабый, колеблющійся характеръ самого Александра. Правда, у правительства были цѣлые полки чиновниковъ-исполнителей, орудій его воли, но это была безмолвная масса, слѣпое орудіе, которое, исполняя порученное ему дѣло, могло относиться къ нему совершенно равнодушно и даже враждебно. Правительство было одиноко. Реформы, задуманныя имъ, не смотря на всю ихъ неотложную необходимость, стояли выше понятій невѣжественнаго большинства общества, всегда защищающаго свои эгоистическія цѣли, и вотъ, когда подзадоренное войною и грубыми криками патріотической литературы, не встрѣчая ни въ чемъ себѣ отпора, громко поднялось невѣжественное мнѣніе этого большинства, — правительство должно было уступить ему и пойти по противоположной дорогѣ, на которую оно уже отчасти вступило при началѣ войны. Александръ не былъ Петромъ Великимъ и не могъ до конца вести свое дѣло, одолевая препятствія и вѣря въ могущество идеи, вводимой имъ въ русскую жизнь. Какъ прежде онъ безусловно вѣрилъ преобразовательнымъ планамъ Сперанскаго, такъ теперь онъ повѣрилъ Карамзину и его ненависти къ реформамъ, высказанной въ „Запискѣ“. Сочиненіе это принадлежитъ къ тѣмъ же явленіямъ патріотической литературы передъ войною 1812 года, но оно стоитъ выше ихъ всѣхъ и по полнотѣ содержанія, и по силѣ выраженія, и по вліянію, которое оно получило въ послѣдствіи.

Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ хотѣлъ представить общій ходъ всего русскаго развитія, всей русской исторіи со времени основанія государства, разумѣется, съ своей исключительной точки зрѣнія, руководствуясь мыслію, высказанною имъ въ самомъ началѣ: „Настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго. Чтобъ судить о первомъ, надлежитъ вспомнить послѣднее“. Очеркъ древняго русскаго развитія не отличается у Карамзина, однако, полнотою и обстоятельностью; вся сила его краснорѣчія и убѣжденія оставлена для новаго времени. Но и въ прошедшемъ Россіи Карамзинъ старается выставить событія въ свѣтѣ своей любимой теоріи и доказать ее. Взглядъ его здѣсь тотъ же, что и въ „Исторіи Государства Россійскаго“. Все древнее величіе Руси заключалось въ самодержавіи, оно одно только спасало ее въ трудные моменты исторической жизни, и Карамзинъ поэтому останавливается съ особеннымъ уваженіемъ и любовью на политическомъ возвышеніи и развитіи Москвы и на дѣйствіяхъ ея князей. Для „мудрой политики“ ихъ онъ не находитъ

достаточно похвалъ, равно какъ для описанія величія и благоденствія московскаго государства. Отсюда онъ не замѣчаетъ вовсе разложенія этого государства въ эпоху самозванцевъ и междоусобицъ, и ограничивается только слѣдующими сентенціями по поводу низложенія Самозванца. „Самовольныя управы народа бывають для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей или заблужденій государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей“. Карамзинъ, разумѣется, не на сторонѣ бояръ или „мятежной аристократіи“, и съ восторгомъ привѣтствуетъ Романовыхъ на престолѣ. Время царей изъ этого рода вызываетъ новыя похвалы публициста. „Отечество успокоилось подъ сѣнію самодержавія“. „Народъ не жалѣлъ о своихъ древнихъ вѣщахъ и сановникахъ, которые умѣряли власть государеву; довольный дѣйствіемъ не спорилъ о правахъ“...

Карамзинъ замѣтилъ сближеніе наше съ Европою и вслѣдствіе этого постепенное измѣненіе нашей государственной жизни и въ періодъ прежнихъ царей и царей изъ дома Романовыхъ. „Еще прежде наши усердно слѣдовали своимъ обычаямъ, но примѣръ начиналъ дѣйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ обычаемъ“... Но „сіе измѣненіе дѣлалось постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія: мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣняя все къ нашему и новое соединяя съ старымъ“. Съ этой точки зрѣнія Карамзинъ смотритъ и на реформу Петра. Ея насильственный, рѣзкій характеръ не могъ ему нравиться. Онъ забылъ, что источникъ этой рѣзкости надобно искать въ томъ же самодержавіи, отъ котораго онъ приходитъ въ восторгъ, и его взглядъ на реформу совершенно соотвѣтствуетъ тому, который принадлежитъ позднѣйшимъ славянофиламъ.

Карамзину, съ его консервативными убѣжденіями, которыя никогда его не покидали, съ его привязанностію къ старинѣ и преданію, натура и дѣйствія Петра должны были казаться въ высшей степени антипатичными. Петръ былъ величайшимъ реформаторомъ, крутымъ и радикальнымъ революціонеромъ, не задумывающимся надъ средствами, и Карамзинъ, въ жертву своего идеала *тихаго* и постепеннаго развитія, не обращая вниманія на историческія обстоятельства, какъ это было бы желательно для настоящаго историка, сводитъ Петра съ пьедестала. Правда, онъ ссылается на исторію, но, очевидно, это только одна пустая оговорка. „Мы, Россія, не имѣя предъ глазами свою исторію, говоритъ онъ, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иностранцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть

творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную, и, что не менѣе важно, учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Славя славное въ семь монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанія вредную сторону его блестящаго царствованія?”

Но Карамзинъ не „славить славное“ въ Петрѣ, не видитъ исторической необходимости реформы, не хочетъ сознать, что она была единственнымъ нашимъ выходомъ изъ душнаго китаизма московскаго государства, а напротивъ, сваливаетъ на Петра всевозможныя обвиненія. „Страсть Петра къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ границы благоразумія“. Онъ оскорбилъ народный духъ, тѣ особенныя свойства народа, которыми онъ отличается отъ другихъ. „Искоренія древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глупыми, хвали и вводя иностранныя, государь Россіи унижалъ россиянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ“. И Карамзинъ отстаиваетъ тѣ русскія особенности, которыя старался уничтожить Петръ, желая, чтобъ и по наружному виду его подданные походили на европейцевъ. Доказательства Карамзина, повидимому, имѣютъ на своей сторонѣ справедливость: „Русская одежда, пища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя“. Последнее положеніе, впрочемъ, вовсе несправедливо: просвѣщеніе находится въ полной зависимости отъ нравовъ и обычаевъ, и Петру, именно, нужно было бороться съ нравами и обычаями, чтобъ проложить широкую дорогу для просвѣщенія. Что за бѣда, если на этой дорогѣ попались и мелочи, которыя пришлось устранить, а говорить объ униженіи народнаго духа и упрекать за него Петра едва ли было справедливо со стороны историка, тѣмъ болѣе, что и въ московской Руси, которая ему такъ нравится, едва ли онъ могъ замѣтить со стороны царей особенное уваженіе къ народу. Уваженія этого не было никогда, ни прежде Петра Великаго, ни потомъ. Воюя съ мелочными наружными формами народности, Петръ, конечно, понималъ, что не въ нихъ заключается истинное величіе народа, что послѣднее создается только развитіемъ, просвѣщеніемъ, успѣхами гражданственности, и на нихъ было обращено его главное вниманіе. Карамзинъ былъ, по меньшей мѣрѣ, сентименталенъ и здѣсь, какъ и вездѣ, сожалѣя о бородѣ, кафтанѣ и т. п. Не то говорилъ онъ въ своихъ „Письмахъ“, когда находился подъ обаяніемъ европейской жизни и развитія.

Петру онъ приписываетъ разладъ въ русской жизни, разъединеніе между собою классовъ народа, потому что онъ ограничилъ свое

преобразование дворянствомъ. „Со временъ Петровыхъ,—говоритъ онъ,—вышшія степени отдѣлились отъ нижнихъ, и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ, увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній“. Въ теченіе вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей, ознаменованныхъ величіемъ, поклонялся имъ съ истиннымъ *уничженіемъ*, когда они съ своими благородными дружинами, съ азіатскою пышностью, при звукѣ бубновъ, являлись на стогнахъ, шествуя во храмъ Божій, или на совѣтъ къ государю“... Эта идиллическая картинка въ сентиментальномъ родѣ едва ли свидѣтельствуетъ о томъ, что въ древней Руси не было розни сословій. Карамзину не нравится, что Петръ уничтожилъ бояръ и понадѣлалъ чиновниковъ. вмѣстѣ съ боярами онъ сожалеетъ о патріархѣ и жалуется, что съ уничтоженіемъ патріаршества упало въ народѣ достоинство духовенства. И здѣсь, на патріаршество онъ смотритъ съ своей сентиментальной точки зрѣнія. „Первосвятители имѣли у насъ одно право,—говоритъ онъ:—вѣщать истину государямъ, не дѣйствовать, не мятежничать, право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоитъ въ справедливости“. Но мы хорошо знаемъ, пользовались ли представители высшаго духовенства нашего правомъ „вѣщать истину царямъ“, знаемъ также и то, что именно въ нихъ—то Петръ встрѣтилъ самыхъ сильныхъ противниковъ задуманнаго имъ преобразованія. Представители духовенства отличались невѣжествомъ и недостаткомъ развитія. Духовенство должно было пасть не потому, что было уничтожено достоинство патріарха, а потому, что свѣтская образованность опередила его. И даже самая столица Петра, на которую сыпались проклятія позднѣйшихъ славянофиловъ, вызываетъ сентиментальное осужденіе Карамзина. „Основаніе новой столицы, на сѣверномъ краѣ государства, среди зыбей болотныхъ, въ мѣстахъ, осужденныхъ природою на безплодіе и недостатокъ“—онъ считаетъ ошибкою Петра.

Забывая исторію и законы исторической необходимости, игнорируя время и его условія, Карамзинъ собираетъ всевозможныя обвиненія на дѣло Петра и старается унижить его преобразованія; онъ сходится въ этомъ протестѣ противъ реформы съ славянофилами, но послѣдніе не признаютъ въ немъ своего, по различію своихъ идеаловъ. Если славянофилы цѣнятъ народное самоуправленіе, уважаютъ форму вѣча, судъ и голосъ народный, то для Карамзина нѣтъ спасенія внѣ самодержавія, „ибо нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“,—говоритъ онъ. Во всемъ остальномъ они сходятся. „Честію и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось подражаніе“. Русь пала, а не возвысилась, утративъ прежнія, коренныя добродѣтели. „Чѣмъ

болѣ мы успѣвали въ людкости, въ обходительности, тѣмъ болѣ слабѣли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокровія“. И сюда ввелъ Карамзинъ свою чувствительность, какъ ни была она не у мѣста.

Нравственный вредъ реформы Петра, по словамъ Карамзина, состоитъ въ томъ, что въ насъ исчезло всякое патріотическое чувство. „Должно согласиться, что мы съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ утратили гражданскія. Имя русскаго имѣетъ ли теперь для насъ ту силу неисповѣдимую, какую оно имѣло прежде? И весьма естественно: дѣды наши уже въ царствованіе Михаила и сына его, присвоивая себѣ *многія выгоды* иноземныхъ обычаевъ, все еще оставались въ тѣхъ мысляхъ, что правовѣрный Россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а *святая Русь*—первое государство. Пусть назовутъ то заблужденіемъ, но какъ оно благопріятствовало любви къ отечеству и нравственной силѣ онаго! Теперь же, болѣе ста лѣтъ находясь въ школѣ иноземцевъ, безъ дерзости можемъ ли похвалиться своимъ гражданскимъ достоинствомъ? Нѣкогда называли мы всѣхъ иныхъ европейцевъ *неверными*, теперь называемъ *братями*. Спрашивается: кому бы легче было покорить Россію (намекъ на собиравшуюся грозу): *невернымъ* или *братямъ*, т.-е. кому бы она, по вѣроятности, долженствовала болѣе противиться? При царѣ Михаилѣ или Ѳеодорѣ, вельможа руссійскій, обязанный всѣмъ отечеству, могъ ли бы съ веселымъ сердцемъ на вѣки оставить его, чтобы въ Парижѣ, Лондонѣ, Вѣнѣ спокойно читать въ газетахъ о нашихъ государственныхъ опасностяхъ? Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи, — виною Петръ“. Всѣ эти громкія фразы для безпристрастнаго, критическаго взгляда должны показаться только преувеличеніемъ. Въ русскомъ обществѣ того времени такъ мало было развитъ космополитизмъ, въ такомъ жалкомъ видѣ представлялось просвѣщеніе, на которое будто бы мы промѣняли древнія гражданскія доблести, что іереміады Карамзина и его сожалѣнія о старинѣ и о святой Руси—скорѣе смѣшны, чѣмъ заслуживаютъ опроверженія. Черезъ годъ слова Карамзина получили блестящее опроверженіе въ историческихъ фактахъ, и если масса народа, нетронутая европейскимъ развитіемъ, въ 1812 году выказала свой старинный религіозный патріотизмъ и ту же ненависть къ иноземцамъ, которая отличала ее въ эпоху междоцарствія, то и образованные по европейски общественные классы, которыхъ Карамзинъ укорялъ въ недостаткѣ патріотизма вслѣдствіе просвѣщенія, твердо стояли за Русь и одинаково, вмѣстѣ съ народомъ, умѣли умирать.

„Онъ великъ, безъ сомнѣнія,—говорить Карамзинъ свои заключительныя слова о Петрѣ,—но еще могъ бы возвеличиться гораздо болѣе, когда бы нашелъ способъ просвѣтить умъ Россіянъ безъ вреда для ихъ гражданскихъ добродѣтелей“. Въ немъ онъ оуждаетъ даже самовластіе, даже самодержавіе, которому поетъ хвалебный гимнъ во всей древней Россіи. „Предписывать уставы обычаямъ,—говоритъ онъ,—есть насиліе незаконное и для монарха самодержавнаго“. Но кто же можетъ писать уставы для самодержавія, если въ немъ все благо народа и государства, по мнѣнію Карамзина, и кто же осмѣлится спорить, если это самодержавіе пойдетъ по одной дорогѣ, а не по другой? Кто имѣетъ право судить его? Очевидно, Карамзинъ въ своихъ выводахъ и заключеніяхъ былъ невѣренъ себѣ. Остальныя царствованія, до Александра, Карамзинъ обзрѣваетъ довольно бѣглымъ образомъ, представляя только общія заключенія или останавливаясь на самыхъ рельефныхъ фактахъ, но все-таки удерживая главную мысль, что Россія была потрясена насильственными переменами, и видя въ нихъ источникъ зла. „Пигмеи спорили о наслѣдіи великана. Аристократія, олигархія губили отечество....“, а потому самодержавіе сдѣлалось необходимѣе прежняго для охраненія порядка... Несмотря, однако, на торжество этого самодержавія при Аннѣ, положеніе Россіи не стало лучше; при Елизаветѣ тоже было не хорошо. Переходя къ царствованію Екатерины, которую онъ называетъ „истинною преемницею величія Петрова и второю образовательницею новой Россіи“, Карамзинъ оставляетъ, однако, тонъ панегирика, которымъ онъ описалъ это царствованіе при воцареніи Александра и находитъ въ немъ много темныхъ пятенъ. Онъ хвалитъ Екатерину, что „ею смягчилось самодержавіе, не утративъ силы своей“. „Ея душа, гордая, благородная, боялась унизиться робкимъ подозрѣніемъ, и страхи тайной канцеляріи исчезли“. Похвала эта, конечно, преувеличена, и публицистъ не принялъ въ соображеніе различные періоды этого царствованія и различные случаи, которые опровергли бы его мысль. Не смотря на это увлеченіе, Карамзинъ смотритъ на царствованіе Екатерины правильно. „Нравы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ... Богатства государственныя принадлежатъ ли тому, кто имѣетъ единственно лицо красивое?... Замѣтимъ еще, что правосудіе не цвѣло въ сіе время... Въ самыхъ государственныхъ учрежденіяхъ Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности, избиралось не лучшее по состоянію вещей, но красивѣйшее по формамъ... Екатерина хотѣла умозрительнаго совершенства въ законахъ, не думая о легчайшемъ, полезнѣйшемъ дѣйствіи оныхъ; дала намъ суды, не образовавъ судей, дала правила безъ средствъ исполненія... Екатерина... дремала на

розахъ, была обманываема, или себя обманывала, не видѣла, или не хотѣла видѣть многихъ злоупотребленій...“ Всѣ эти вѣрно подмѣченныя черты царствованія Екатерины очень далеки отъ панегирика, а между тѣмъ, по словамъ Карамзина, „время Екатерины было счастливѣйшее для гражданина руссiйскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время...“ Откуда это противорѣчiе? Вѣроятно, происходило оно отъ слабости мысли, подкупленной внѣшнею славой Екатерининскаго царствованія. Время Павла представлено за то съ полною откровенностью; Карамзинъ какъ бы забылъ о томъ, что онъ говорилъ сыну объ отцѣ, и это дѣлаетъ ему большую честь. „Что сдѣлали якобинцы въ отношеніи къ республикамъ, то Павелъ сдѣлалъ въ отношеніи къ самодержавію: заставилъ ненавидѣть злоупотребленія онаго“. По словамъ Карамзина, Павелъ хотѣлъ быть Іоанномъ IV: „онъ началъ господствовать всеобщимъ ужасомъ, не слѣдуя никакимъ уставамъ, кромѣ своей прихоти; считалъ насъ не подданными, а рабами; казилъ безъ вины, награждалъ безъ заслугъ“. Царствованіе Павла есть „царствованіе ужаса“, по выраженію Карамзина. Но въ обществѣ жило „великодушное остервенѣніе противъ злоупотребленія власти“, а потому, когда узнали о смерти Павла, то „вѣсть о томъ въ цѣломъ государствѣ была вѣстью искупленія: въ домахъ, на улицахъ люди плакали отъ радости, обнимая другъ друга, какъ въ день Свѣтлаго Воскресенія“. Несмотря на это изображеніе крайностей самодержавія, Карамзинъ, однако, не подвергаетъ его критикѣ, не думаетъ о возможности устранить на будущее время злоупотребленія самодержавной власти, которая въ Павлѣ дошла до полного, все отрицающаго произвола, какъ того желалъ Александръ, вступая съ тяжелою думою на отцовскій престолъ послѣ катастрофы 11 марта. Карамзинъ говоритъ, что „благоразумнѣйшіе руссiйне сожалѣли, что зло вреднаго царствованія было пресѣчено способомъ вреднымъ“. Этотъ вредный способъ былъ заговоръ, и Карамзинъ возстаетъ, и совершенно справедливо, противъ этого способа. „Заговоры суть бѣдствія, колеблющія основу государствъ, говоритъ онъ, и служащія опаснымъ примѣромъ для будущности. Если нѣкоторые вельможи, генералы, тѣлохранители присвоятъ себѣ власть тайно губить монарховъ, или смѣнять ихъ, что будетъ самодержавіе? Игралищемъ олигархiи, и должно скоро обратиться въ безначаліе“... Эти заговоры были, однако, такъ часты у насъ въ XVIII вѣкѣ, что прямо указывали на постоянную причину ихъ—безграничный произволъ самодержавія, приводившій людей къ самоуправству, а между тѣмъ Карамзинъ ни слова не говоритъ объ этихъ историческихъ причинахъ, а старается проповѣдать обществу, вмѣсто пріисканія дѣйствительныхъ, законныхъ средствъ,

только пассивную покорность неисповѣдимымъ путямъ провидѣнія: „кто вѣритъ провидѣнію, говоритъ Карамзинъ, да видитъ въ зломъ самодержцѣ битья гнѣва небеснаго! Снесемъ его, какъ бурю, землетрясеніе, язву, феномены страшныя, но рѣдкія, ибо мы въ теченіе 9 вѣковъ имѣли только двухъ тирановъ... Заговоры да устрашаютъ народъ для спокойствія государей! Да устрашаютъ и государей для спокойствія народовъ!“ Въ словахъ этихъ слышится полное отрицаніе всего того, что занимало Александра при вступленіи его на престолъ, именно желанія ограничить произволъ самовластиа, опредѣлить власть закономъ. Мы знаемъ, что Александръ и тогдашніе либеральныя друзья его желали конституціи. Этого послѣдняго понятія, какъ мы увидимъ далѣе, Карамзинъ не могъ переварить. Не понимая дѣйствительности, строго держась своихъ консервативныхъ взглядовъ и теоріи божественнаго права, Карамзинъ отнималъ у народа возможность даже мысли объ улучшеніи порядка вещей, подъ властію котораго ему пришлось жить, отнималъ всякую идею совершенствованія и проповѣдывалъ безусловную, слѣпую покорность судьбѣ или случаю, смотря потому, какъ кто понимаетъ. На основаніи этой теоріи понятно, какими глазами долженъ онъ былъ смотрѣть на все, сдѣланное въ царствованіе Александра для развитія государственной жизни.

Вторая и самая важная половина „Записки“ Карамзина имѣла тогда живой современный интересъ; она относилась къ царствованію Александра, къ тому, что было сдѣлано имъ и его совѣтниками для преобразованія государства, и вообще къ современному состоянію Россіи, котораго Александръ, конечно, не зналъ вполнѣ или смотрѣлъ на него глазами тогдашнихъ своихъ приближенныхъ. Особенный вѣсъ словамъ Карамзина придавали великія современныя событія и то грозное ополченіе, которое уже собиралъ Наполеонъ противъ Россіи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ тогдашней, совершенно естественной тяжелой думѣ о будущихъ судьбахъ своей страны, Александръ долженъ былъ обратить вниманіе на слова Карамзина, долженъ былъ подчиниться ихъ вліянію, тѣмъ болѣе, что въ ту пору около него не было ни одного человѣка, который бы могъ парализовать вліяніе Карамзина и опровергать печальныя выводы его одинокой проповѣди. А между тѣмъ грозная туча, все ближе и ближе подвигалась на горизонтъ. Россія была въ опасности; нужны были крутыя рѣшительныя мѣры. Карамзинъ принималъ на себя судъ дѣлъ Александра, строгую критику всего совершеннаго въ его царствованіе и принималъ на себя видъ искренняго патріота. „Какое имѣю право? спрашивалъ онъ.—Любовь къ отечеству и монарху, нѣкоторыя, можетъ быть, данныя мнѣ Богомъ способности, нѣкоторыя знанія, приобретенныя мною въ лѣтописяхъ міра и въ бесѣдахъ съ мужами вели-

кими, то есть въ ихъ твореніяхъ. Чего хочу? Съ добрымъ намѣреніемъ испытать великодушіе Александра и сказать, что мнѣ кажется справедливымъ и что нѣкогда скажетъ исторія“.

И онъ даетъ рѣзкую критику либеральныхъ начинаній и различныхъ мѣръ, предпринятыхъ при Александрѣ. Въ началѣ царствованія, замѣчаетъ онъ, было два мнѣнія, двѣ партіи. Одни желали, чтобъ „Александръ взялъ мѣры для обузданія неограниченнаго самовластія, столь бѣдственнаго при его родителѣ“; другіе желали возстановленія Екатерининской системы. Карамзинъ, понятно, съ своей стороны, высказываетъ мнѣнія, принадлежавшія второй партіи; онъ противъ всякаго ограниченія самодержавія, откуда бы оно ни шло, и съ замѣчательною логикою и силою убѣжденія возстаётъ противъ конституціонныхъ порядковъ, введеніе которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, было затруднительно въ тогдашнемъ положеніи общества и государства. Но Карамзинъ считаетъ эту затруднительность постоянною, вѣчною, онъ знать не хочетъ ни о какомъ послѣдующемъ развитіи. „Самодержавіе основало и воскресило Россію, говоритъ онъ, съ перемѣною государственнаго устава ея она гибла и должна погибнуть, составленная изъ частей столь многихъ и разныхъ, изъ коихъ всякая имѣетъ свои особенныя гражданскія пользы. Что, кромѣ единовластія неограниченнаго, можетъ въ сей махинѣ производить единство дѣйствія?“ Въ этомъ вопросѣ Карамзинъ остался неподвижнымъ. Онъ былъ противъ всѣхъ тѣхъ, которые думали въ то время не о полной конституціи для Россіи, что, разумѣется, было невозможно, а только объ исправленіи стараго. Съ этою цѣлью Карамзинъ совѣтовалъ государямъ только править *добродѣтельно* и довольствовался совершенно этою вялою сентиментальною фразою.

Приступая къ характеристикѣ современнаго царствованія, Карамзинъ говоритъ о добрыхъ, человѣческихъ свойствахъ Александра и объ общей любви къ нему всѣхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ „собираетъ твердость духа“, чтобъ „сказать истину“. Эта „истина“ заключается въ слѣдующемъ изображеніи того времени: „Россія наполнена недовольными, жалуются въ палатахъ и въ хижинахъ; не имѣютъ ни довѣренности, ни усердія къ правленію, строго осуждаютъ его цѣли и мѣры“. Недовольство это, выставленное Карамзинымъ, какъ всеобщее, было нѣсколько преувеличено; недовольны были, конечно, всѣ ретрограды, но причины ихъ недовольства легко объяснить: онѣ были чисто личныя. Карамзинъ въ своей „Запискѣ“ объясняетъ это горестное расположеніе умовъ „несчастными обстоятельствами Европы и важными, какъ думаю, ошибками правительства“. Очень рѣзко осуждаетъ Карамзинъ нашу тогдашнюю внѣшнюю политику и отношенія къ Европѣ: ошибки дипломатіи, вмѣшательство въ войну,

проигранныя сраженія, постыдный тильзитскій миръ. Осужденія эти легко было сдѣлать Карамзину, потому что они высказывались уже послѣ совершившихся событій, когда судить можетъ всякій. Тутъ не нужно было ни особаго ума, ни знанія дѣла; такія сужденія оправдываетъ успѣхъ или неуспѣхъ дѣйствія, а потому сужденія Карамзина, въ родѣ, напр., слѣдующихъ словъ: „Никто не увѣритъ Россіянъ, чтобы совѣтники трона, въ дѣлахъ внѣшней политики слѣдовали правиламъ истинной мудрой любви къ отечеству и къ доброму государю“—ничего не доказываютъ. Карамзинъ обвиняетъ этихъ совѣтниковъ или „сихъ несчастныхъ“, какъ онъ выражается, въ томъ, что они „думали единственно о пользѣ своего личнаго 'самолюбія'“. Намъ извѣстно, насколько было это справедливо.

Переходя къ внутреннимъ дѣламъ государства, т.-е. къ тѣмъ немногимъ преобразованіямъ, которые допустили сдѣлать обстоятельства времени, Карамзинъ откровенно высказываетъ свои охранительныя убѣжденія и свою нелюбовь ко всякаго рода преобразованіямъ: „Вмѣсто того, чтобы немедленно обращаться къ порядку вещей Екатеринына царствованія, утвержденному опытомъ 34 лѣтъ и, такъ сказать, оправданному безпорядками Павлова времени, вмѣсто того, чтобы отмѣнить единственно излишнее, прибавить нужное, однимъ словомъ, *исправлять по основательному разсмотрѣнію*, — совѣтники Александровы захотѣли новостей въ главныхъ способахъ монаршаго дѣйствія, оставивъ безъ вниманія правила мудрыхъ, что *всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло*, къ коему надобно прибѣгать только въ необходимости: ибо одно время даетъ надлежащую твердость уставамъ“. Идеаломъ Карамзина, слѣдовательно, было время Екатерины, но онъ самъ уже представилъ въ „Запискѣ“ темныя стороны этого времени, а Александръ еще при жизни Екатерины видѣлъ всю тогдашнюю неурядицу: и всеобщій грабежъ, и бѣдствія угнетеннаго народа, и царствовавшее вездѣ и во всемъ неправосудіе и пр. Можно ли было, зная все это и сочувствуя бѣдствіямъ массъ, не затыкая ушей и не закрывая глазъ, оставаться при старыхъ порядкахъ? Но Карамзинъ считаетъ правленіе Екатерины лучшимъ, нежели реформы, введенныя въ началѣ царствованія Александра. „Сія система правительства, говоритъ онъ, не уступала въ благоустройствѣ никакой иной европейской, заключая въ себѣ, кромѣ общаго со всѣми, нѣкоторыя особенности, сообразныя съ мѣстными обстоятельствами Имперіи“. Такъ Карамзинъ нападаетъ на министерства и ихъ учрежденіе въ 1802 году, и, повидимому, на поверхностный взглядъ, замѣчанія его кажутся справедливыми. Прежде всего онъ замѣчаетъ „излишнюю поспѣшность“ въ учрежденіи министерствъ. Съ своей точки зрѣнія онъ убѣжденъ, что съ этимъ

учрежденіемъ правительство лишилось консервативнаго характера и потеряло послѣдовательность въ своихъ дѣйствіяхъ. Онъ доказываетъ, что Сенатъ утратилъ прежнее свое правительственное значеніе (эту мысль раздѣлялъ съ Карамзинымъ и Державинъ), и жалѣетъ о прежнихъ коллегіяхъ и ихъ порядкахъ. Карамзинъ нападаетъ также и на Государственный Совѣтъ, придуманный, по словамъ его, чтобы ограничить нѣсколько неограниченную власть министровъ. Онъ даже впередъ осуждаетъ всѣ нововведенія, всѣ новыя преобразованія, которыя разрабатывались тогда главнымъ образомъ Сперанскимъ. Все сдѣланное доселѣ, по словамъ его, имѣетъ характеръ неожиданности. „Спасительными уставами бываютъ единственно тѣ, коихъ давно желаютъ лучшіе умы въ государствѣ, и которые, такъ сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближайшимъ цѣлебнымъ средствомъ на извѣстное зло: учрежденіе министерствъ и совѣта имѣло для всѣхъ дѣйствіе внезапное“. Карамзинъ требуетъ, чтобы для этихъ новыхъ учреждений были приготовлены умы, чтобы объяснены были намѣренія, цѣли правительства и смыслъ вводимаго, забывая, что все это несообразно съ самодержавіемъ. Противорѣчія его мнѣній особенно вѣрно выставлены въ біографіи Сперанскаго барона Корфа, въ статьѣ о Сперанскомъ Дмитріева ¹⁾ и въ книгѣ Пыпина „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“. Останавливаясь подробно на критикѣ противорѣчій Карамзина и указывать то, что было въ его замѣчаніяхъ вѣрнаго и невѣрнаго, — не стоитъ, да и далеко отъ нашей цѣли. То онъ нападаетъ на всемогущество министровъ, на ихъ безотвѣтственность, то недоволенъ тѣмъ, что въ учрежденіи о министерствахъ говорится о возможности суда надъ ними. Этотъ судъ нарушаетъ самодержавіе; отвѣтственность министровъ несовмѣстна съ послѣднимъ, потому что выборъ ихъ зависитъ отъ государя. „Пусть государь награждаетъ достойныхъ своею милостью, а въ противномъ случаѣ удаляетъ недостойныхъ безъ шума, тихо и скромно. Худой министръ есть ошибка государя; должно исправлять подобныя ошибки, но скрытно, чтобы народъ имѣлъ довѣренность къ личнымъ выборамъ царскимъ“.

На каждомъ шагу въ „Запискѣ“ Карамзина сквозитъ не только недовѣріе ко всему тому, что было до сихъ поръ сдѣлано въ царствованіе Александра съ искреннимъ желаніемъ добра и блага народу и государству, но и рѣзкое осужденіе всѣхъ реформъ въ соединеніи съ сожалѣніемъ о старомъ. Къ преобразователямъ относится онъ съ глубокимъ презрѣніемъ, какъ къ людямъ только одной теоріи:

¹⁾ Р. А. 1868 г.

„Вообще новые законодатели Россіи, говоритъ онъ, славятся наукою писмоводства болѣе, нежели наукою государственною“. Понятно, что прежде все было лучше, и Россія болѣе была счастлива: „Разсматривая такимъ образомъ сіи новыя государственныя творенія и видя ихъ незрѣлость, добрые Россіяне жалѣютъ о бывшемъ порядкѣ вещей. Съ Сенатомъ, съ коллегіями, съ генераль-прокуроромъ у насъ шли дѣла, и прошло блестящее царствованіе Екатерины“. Въ своемъ консерватизмѣ Карамзинъ доходитъ до тупости: „Зло, къ которому мы привыкли, для насъ чувствительно менѣе новаго, а новому добру какъ то не вѣрится; перемѣны сдѣланныя не ручаются за пользу будущихъ; ожидаютъ ихъ болѣе со страхомъ, нежели съ надеждою, ибо къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно; Россія же существуетъ около 1000 лѣтъ и не въ образѣ дикой орды, а въ видѣ государства великаго. А намъ все твердятъ о новыхъ образованіяхъ, о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ. Требуемъ болѣе мудрости хранительной, нежели творческой“. Всякое нововведеніе, по мысли Карамзина, благопріятствуетъ произволу. Пугая Александра будто бы всеобщимъ недовольствомъ противъ правительства, Карамзинъ старается доказать, что одна изъ главныхъ причинъ этого неудовольствія есть „излишняя любовь правительства къ государственнымъ преобразованіямъ, которыя потрясаютъ основу имперіи и коихъ благотворность остается доселѣ сомнительною“. Таковъ общій взглядъ Карамзина на значеніе совершившихся преобразованій. Нѣкоторые изъ нихъ онъ разбираетъ. Въ особенности сильно досталось отъ Карамзина министерству народнаго просвѣщенія и преобразованіямъ, сдѣланнымъ по этой части, что составляетъ самое лучшее дѣло изъ царствованія Александра. „Онъ употребилъ *милліоны* для основанія университетовъ, гимназій, школъ; къ сожалѣнію, видимъ болѣе убытка для казны, нежели выгодъ для отечества. Для выписанныхъ профессоровъ не было учениковъ приготовленныхъ; ученики, по незнанію латинскаго языка, не понимаютъ профессоровъ“... „У насъ нѣтъ охотниковъ для высшихъ наукъ“; „выгоды ученаго состоянія у насъ неизвѣстны“. По Карамзину, ни одно сословіе, ни одна профессія въ Россіи не нуждается въ высшемъ образованіи, и потому нужно было заводить его въ размѣрахъ втрое меньшихъ. „Строить, покупать дома для университетовъ, заводить библіотеки, кабинеты, ученыя общества, призывать знаменитыхъ иноземныхъ астрономовъ, филологовъ, есть — пускать пыль въ глаза. Чего не преподаютъ нынѣ даже въ Харьковѣ и Казани“. Такъ скептически смотрѣлъ Карамзинъ на то, что было сдѣлано правительствомъ для образованія вообще и высшаго въ особенности. Онъ былъ недоволенъ и уставомъ

внутренняго устройства университетовъ, тѣмъ, что профессора должны заниматься дѣлами хозяйственными или ѣздить осматривать училища. „Вообще, говоритъ онъ, министерство *такъ называемаго* просвѣщенія въ Россіи донинѣ дремало, не чувствуя своей важности и какъ бы не вѣдая, что ему дѣлать, а пробуждалось отъ времени до времени единственно для того, чтобы требовать денегъ, чиновъ и крестовъ отъ государя“. Конечно, въ словахъ Карамзина заключалась часть правды, но насъ поражаетъ въ нихъ это неуваженіе къ наукѣ и просвѣщенію цѣлой страны, болѣе чѣмъ странное въ писателѣ, пользовавшемся заслуженною извѣстностью.

Гораздо болѣе Карамзинъ былъ правъ, нападая на извѣстный указъ объ экзаменахъ 1809 года, хотя и здѣсь нельзя не сказать, что пренебрежительный отзывъ его страдаетъ преувеличеніемъ. Государство желало, чтобы его органы-чиновники были люди сколько-нибудь образованные. Указъ былъ задуманъ и приведенъ въ исполненіе по волѣ государя только однимъ Сперанскимъ и потому на него одного обрушилось негодованіе заинтересованныхъ въ немъ людей. Указъ этотъ, объясняя предпринимаемую мѣру, говорилъ, что „всѣ части государственнаго служенія требуютъ свѣдущихъ исполнителей, и чѣмъ далѣе будетъ отлагаемо твердое и отечественное образованіе юношества, тѣмъ недостатокъ въ послѣдствіи будетъ ощутительнѣе“. Причина, по словамъ указа, заключалась въ легкости достигать чиновъ не заслугами и отличными познаніями, но однимъ пребываніемъ и счисленіемъ лѣтъ службы. Чтобы прекратить этотъ вредный порядокъ вещей, было постановлено не производить никого въ чинъ коллежскаго ассесора безъ университетскаго свидѣтельства объ окончаніи курса или вообще о знаніяхъ. То же самое требовалось и для производства въ статскіе совѣтники. При указѣ приложена была довольно обширная программа предметовъ общаго образованія, знаніе которыхъ требовалось отъ чиновника, желавшаго пріобрѣсти высшій чинъ. Понятно, какое сильное негодованіе долженъ былъ произвести этотъ неожиданный указъ въ многочисленной арміи нашихъ невѣжественныхъ чиновниковъ того времени, въ странѣ, которая была лишена тогда всякихъ средствъ для высшаго образованія. Старики чиновники, долго служившіе, лишались вдругъ возможности дальнѣйшаго повышенія. Злоба противъ Сперанскаго, противъ этого выскочки-поповича, изъ столицъ распространилась по провинціямъ. На него посыпались злобные сарказмы, анонимныя письма, ругательныя стихотворенія. Но не одни чиновники нападали на указъ; съ ихъ голоса стали кричать въ обществѣ и тѣ, которые были недовольны реформами Сперанскаго. Указъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, отчасти несправедливъ, потому что онъ нисколько не цѣнилъ

продолжительную опытность чиновника и требовалъ отъ него только общихъ теоретическихъ знаній, которыя, повидимому, вовсе ни на что не годились въ его специальной службѣ. Когда для такихъ стариковъ чиновниковъ открыты были особенные экзаменные комитеты при университетахъ, то, понятно, что экзамены эти превратились въ пустую формальность, а профессора-экзаменаторы брали съ чиновниковъ взятки. Началась торговля университетскими свидѣтельствами. Самый главный недостатокъ этого указа Сперанскаго состоялъ въ томъ, что онъ былъ очень крутъ и касался не только будущаго, но и настоящаго; онъ вводился тотчасъ же; не было положено срока, послѣ котораго слѣдуетъ требовать университетскаго свидѣтельства. Но это былъ единственный недостатокъ указа 1809 года. Сперанскій явился настоящимъ государственнымъ человѣкомъ, требуя отъ чиновника общаго университетскаго свидѣтельства, а не specialнаго административнаго экзамена, который былъ рѣшительно невозможенъ при тогдашнемъ состояніи у насъ специальной науки. Служба, однако, во всякомъ случаѣ, выигрывала, когда пріобрѣтала людей, развитыхъ умственнымъ и нравственнымъ образомъ. Другихъ требованій невозможно было и дѣлать въ ту пору. Въ этомъ отношеніи указъ Сперанскаго составилъ дѣйствительную эпоху и принесъ несомнѣнную пользу. Съ него начинается паденіе сословія подъячихъ и невѣжественныхъ чиновниковъ-взяточниковъ, этой старинной язвы нашего общества. Въ темный міръ брошена была искра свѣта, начала чести и правды, которыя даются общимъ развитіемъ.

Карамзинъ, нападая на этотъ указъ, который онъ называетъ *несчастливымъ*, не выказалъ ни такта государственнаго человѣка, который смотритъ не на одно настоящее, ни любви къ просвѣщенію и наукѣ. Онъ говоритъ объ одномъ только настоящемъ и дѣлается, такимъ образомъ, отголоскомъ всеобщаго вопля невѣжественныхъ чиновниковъ. Карамзинъ ограничивается только сарказмами, правда, злыми и язвительными, но едва ли справедливыми съ широкой государственной точки зрѣнія. Онъ согласенъ на specialный, административный экзаменъ, который, какъ мы сказали, не былъ возможенъ тогда въ Россіи, и негодуетъ на требованіе общаго образованія.

„У насъ предсѣдатель гражданской палаты обязанъ знать Гомера и Теокрита; секретарь сенатскій — свойства кислорода и всѣхъ газовъ; вице-губернаторъ — Пиеагорову фигуру; надзиратель въ домѣ сумасшедшихъ — римское право, или умрутъ коллежскими и титулярными совѣтниками... Никогда любовь къ наукамъ не производила дѣйствія столь несогласнаго съ ихъ цѣлью!“ Кромѣ вреда Карамзинъ ничего хорошаго не ожидаетъ отъ этого указа и въ особен-

ности налегаетъ на *принудительный* характеръ его, вызванный, впрочемъ, бездѣйствіемъ, инерціей самого общества.

Далѣе Карамзинъ разсуждаетъ о крѣпостномъ вопросѣ и о тѣхъ мѣрахъ, которыя задумывались въ началѣ царствованія Александра для облегченія участи крѣпостного сословія. Достаточно зная уже Карамзина, мы не имѣемъ никакого права ожидать, чтобы въ этомъ случаѣ онъ былъ особенно либераленъ и шелъ въ своихъ требованіяхъ впереди общественнаго мнѣнія. Напротивъ, какъ помѣщикъ и строгій консерваторъ, онъ раздѣлялъ и поддерживалъ мнѣніе большинства, стоялъ за *statu quo*, вовсе не желалъ освобожденія, такъ что невольно приходитъ въ голову весьма естественная мысль: не привело ли Карамзина желаніе сохранить *statu quo* въ крестьянскомъ вопросѣ вообще къ его консерватизму. Странное впечатлѣніе производитъ этотъ умный и талантливый писатель своими отсталыми мнѣніями по крестьянскому вопросу въ то время, когда все живое и молодое было предано идеямъ свободы и хлопотало объ облегченіи угнетенныхъ массъ. Мы привыкли съ XVIII вѣка говорить, что наша литература шла впереди общественнаго развитія, что она всегда проповѣдовала любовь къ человѣчеству и развитіе. На этотъ разъ вышло не такъ, и человѣкъ, который такъ много въ своихъ сочиненіяхъ наговорилъ сентиментальныхъ фразъ о свободѣ, о любви въ человѣчеству, о просвѣщеніи и пр., дѣлается защитникомъ темнаго дѣла и стоитъ за принципъ крѣпостного права.

Прежде всего, въ своей защитѣ крѣпостного права, Карамзинъ осуждаетъ указъ, которымъ запрещалась продажа и купля людей съ цѣлю отдать ихъ въ рекруты; это былъ обычай, который велъ ко многимъ злоупотребленіямъ, какъ всякая торговля людьми. Карамзинъ посмотрѣлъ на этотъ указъ весьма односторонне; онъ жалѣетъ, что онъ отнялъ средство у „небогатыхъ владѣльцевъ“ сдавать дурныхъ людей въ рекруты и у хорошей крестьянской семьи возможность нанять за себя рекрута. Собственно объ освобожденіи крестьянъ Карамзинъ не могъ говорить прямо и открыто, потому что желанія правительства, въ началѣ, повидимому, весьма широкія, ограничились въ этомъ дѣлѣ слабыми полумѣрами, но онъ считалъ своею обязанностію высказать въ запискѣ свои мнѣнія вообще по предмету освобожденія.

„Нынѣшнее правительство, говоритъ онъ, имѣло, какъ увѣряютъ, намѣреніе дать господскимъ людямъ свободу“. Поэтому онъ исторически разбираетъ у насъ рабство и старается доказать, что крестьяне никогда не имѣли права на землю, всецѣло принадлежащую помѣ-

щику. Онъ не допускаетъ даже мысли о возможности освобожденія крестьянъ съ землею, а на освобожденіе безъ земли, по его словамъ, не рѣшится „благоразумный самодержавецъ“. Карамзинъ рисуетъ бѣдственное положеніе государства и самихъ крестьянъ въ случаѣ, если послѣдуетъ освобожденіе. Онъ какъ бы старается напугать правительство ужасающими для порядка послѣдствіями. Связь между помѣщиками и крестьянами разрушится. „Дотошъ щадили они въ крестьянахъ свою собственность,—тогда корыстолюбивые владѣльцы захотятъ взять съ нихъ все возможное для силъ физическихъ“. Начнутся безконечныя тяжбы между тѣми и другими, когда придется юридически опредѣлять отношенія или заключать контракты. Когда крестьянинъ не будетъ болѣе прикрѣпленъ къ землѣ, казна неминуемо потерпитъ убытокъ въ сборѣ подушныхъ денегъ и другихъ податей, самое земледѣліе потерпитъ. Поля останутся не обработанными, житницы пустыми. Крестьяне, не имѣя надъ собою безденежнаго суда помѣщичьяго, станутъ ссориться между собою, судиться въ городахъ; отсюда ихъ общее разореніе. Лишенные помѣщичьей опеки, лучшей чѣмъ всѣ земскіе суды, крестьяне станутъ пьянствовать, злодѣйствовать: „какая богатая жатва для кабаковъ и мздоимныхъ исправниковъ, но какъ худо для нравовъ и государственной безопасности!“ Карамзинъ пугаетъ даже правительство его безсиліемъ, если оно лишится содѣйствія дворянъ-помѣщиковъ. „Дворяне, разсыянные по всему государству, содѣйствуютъ монарху въ храненіи тишины и благоустройства; отнявъ у нихъ сію власть блюстительную, онъ, какъ Атласъ, возьметъ себѣ Россію на рамена... Удержитъ ли? Паденіе страшно!“ Свобода земледѣльцевъ вредна для государства. Освобожденные отъ власти господской, они не будутъ счастливы, „преданные въ жертву ихъ собственнымъ порокамъ, откупщикамъ и судьямъ безсовѣстнымъ“. Помѣщичьи крестьяне и теперь гораздо счастливѣе казенныхъ. „Знаю, что теперь неудобно возвратить крестьянамъ свободу—говоритъ Карамзинъ, а что если и есть злоупотребленія помѣщичьей властію, то лучше *подъ рукою* взять мѣры для обузданія господъ жестокихъ. Въ заключеніе своей защиты крѣпостного состоянія Карамзинъ считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ доброму монарху съ слѣдующими словами: „Государы! Исторія не упрекнетъ тебя зломъ, которое прежде тебя существовало (положимъ, что неволя крестьянъ и есть рѣшительное зло), но ты будешь отвѣтствовать Богу, совѣсти и потомству за всякое вредное слѣдствіе твоихъ собственныхъ уставовъ!“

Такимъ образомъ, въ вопросѣ столь важномъ, такъ глубоко затрагивающемъ всѣ основы государственной и народной жизни, въ вопросѣ, который занималъ лучшихъ людей того времени, воспользо-

вавшихся идеями гуманной и просвѣтительной философіи прошлаго вѣка, Карамзинъ стоялъ на неподвижной, строго консервативной точкѣ зрѣнія. Онъ отсталъ отъ передовыхъ писателей, даже русскихъ. Пусть онъ не былъ человѣкомъ съ государственнымъ тактомъ и широкимъ взглядомъ, смотрѣвшимъ въ даль будущаго, но онъ былъ писатель—филантропъ, воспитанный въ гуманной масонской школѣ; въ своихъ сочиненіяхъ онъ безпрестанно твердилъ о любви къ человѣчеству и свободѣ, а когда пришлось примѣнять слова къ дѣлу, оказалось, что всѣ красивыя слова, имъ когда-то произнесенныя, были только фразами безъ содержанія, оказалось, что вмѣсто филантропа-писателя передъ нами риторъ—помѣщикъ, изъ низкихъ эгоистическихъ цѣлей старающійся защищать даже торговлю людьми!

Въ защитѣ крѣпостного права, въ виду уже созрѣвшей мысли передовыхъ людей и даже самого правительства, которое относилось къ угнетенной массѣ простого народа болѣе гуманно, чѣмъ человѣкъ, считавшійся первымъ писателемъ своего времени, высказался весь тупой консерватизмъ Карамзина. Аргументы, приводимые имъ, конечно, не принадлежали ему собственно; они составляли кодексъ убѣжденій рабовладѣльческаго большинства. Съ тою же силою и убѣжденіемъ они высказывались еще недавно, и несправедливость ихъ доказана временемъ. Мы не знаемъ, насколько аргументы Карамзина подѣйствовали въ этомъ вопросѣ на умъ и волю Александра, но при извѣстной слабости его характера, надобно полагать, что теоретически сочувствуя бѣдственному положенію крѣпостного сословія, онъ едва ли рѣшился бы на практическое рѣшеніе вопроса: такъ много было вокругъ него совѣтниковъ, раздѣлявшихъ изъ личныхъ выгодъ мнѣнія, высказанныя Карамзинымъ.

Но „Записка“ не оканчивается крѣпостнымъ вопросомъ. Карамзинъ далъ себѣ задачу разобрать всѣ главныя правительственныя мѣры въ царствованіе Александра, оцѣнить ихъ критически и во всемъ представить бѣдственное положеніе государства. Далѣе слѣдуетъ разборъ *финансовыхъ мѣръ*, о которомъ упомянемъ коротко вслѣдствіе его спеціальности. Карамзинъ осуждаетъ множество ассигнацій, неравномѣрность и увеличеніе налоговъ, расточительность казны, въ противоположность съ личною, дворцовою бережливостію самого Александра. „Сколько изобрѣтено новыхъ мѣстъ, сколько чиновниковъ ненужныхъ! Здѣсь три генерала стерегутъ туфли Петра Великаго; тамъ одинъ человѣкъ беретъ изъ пяти мѣстъ жалованье; всякому столовыя деньги; множество пенсій излишнихъ; даютъ въ займы безъ отдачи и кому? Богатѣйшимъ людьми!“ Расточительность, казнокрадство, тунеядство и роскошь—вотъ черты финансоваго поло-

женія Россіи въ то время, по словамъ Карамзина. Но между средствами ограничить лишнюю расточительность казенныхъ денегъ Карамзинъ рекомендуетъ между прочимъ: „отказывать невѣждамъ, требующимъ денегъ для мнимаго успѣха наукъ“. Это былъ прямой упрекъ тогдашнему министерству народнаго просвѣщенія, котораго Карамзинъ не любилъ.

Послѣ осужденія финансовыхъ мѣръ и неудовлетворительности тогдашняго финансоваго положенія Россіи, самыя сильныя обвиненія Карамзина падаютъ на законодательныя мѣры того времени, гдѣ главнымъ дѣятелемъ былъ Сперанскій. Нельзя сказать, чтобъ въ этихъ нападеніяхъ его присутствовали только желчь и раздраженіе; было въ нихъ и довольно правды, потому что законодательное дѣло при Александрѣ шло весьма поспѣшно и необдуманно, для него не доставало у насъ тогда людей съ научнымъ юридическимъ образованіемъ, на что горько жаловался и Сперанскій, первый человѣкъ, который сталъ дѣлательно заботиться о развитіи у насъ юридическаго образованія. Поговоривъ о прежнихъ попыткахъ законодательства у насъ, съ самыхъ древнихъ временъ, Карамзинъ переходитъ къ разбору того, что сдѣлано было при Александрѣ. „Александръ, ревностный исполнить то, чего всѣ монархи россійскіе желали, образовалъ новую комиссію, набрали многихъ секретарей, редакторовъ, помощниковъ, не сыскали одного и самаго необходимѣйшаго—человѣка способнаго быть ея душою.“ Этимъ человѣкомъ, главнымъ дѣятелемъ въ комиссіи до Сперанскаго, былъ Розенкампфъ. На его работы нападать было не трудно. Томъ предварительныхъ работъ его Карамзинъ характеризуетъ такъ: „Множество ученыхъ словъ и фразъ, почерпнутыхъ въ книгахъ, ни одной мысли, почерпнутой въ созерцаніи особеннаго гражданскаго характера Россіи. Добрые соотечественники наши ничего не могли понять, кромѣ того, что голова авторовъ въ лунѣ, а не на землѣ русскоѣ!“ Но „вотъ опять новая декорація: видимъ законодательство въ другой рукѣ“. Это былъ Сперанскій. Онъ напечаталъ двѣ первыя книжки „Проекта новаго уложенія“, и хотя онѣ были предназначены только для членовъ совѣта, но сдѣлались извѣстными и въ дубликѣ, которая изъ ненависти къ Сперанскому находила въ ней одни недостатки. Достоинство законодательныхъ работъ Сперанскаго, какъ предварительныхъ при Александрѣ, такъ и послѣдующихъ, при составленіи „Свода“ въ царствованіе Николая, признано наукою. Карамзинъ отнесся къ нимъ, однако, съ крайнимъ порицаніемъ и раздражительно, и видѣлъ въ нихъ только недостатки. Въ двухъ томахъ „Проекта“, онъ находитъ „Переводъ Наполеонова кодекса!“ „Какое изумленіе для Россіяны! Какая пища для зловолія! Благодаря Всевышняго, мы еще не подпали желѣзному

скипетру сего завоевателя; у насъ еще не Вестфалія, не Итальянское королевство, не Варшавское герцогство, гдѣ кодексъ Наполеоновъ, со слезами переведенный, служить уставомъ гражданскимъ. Для того ли существуетъ Россія, какъ сильное государство, около тысячи лѣтъ, для того ли около ста лѣтъ трудимся надъ сочиненіемъ своего полного уложенія; чтобы торжественно предъ лицомъ Европы признаться глупцами и подсунуть сѣдую нашу голову подъ книжку, слѣпленную въ Парижѣ 6-ю или 7-ю эссъ-адвокатами и эссъ-якобинцами!" Такъ презрительно третируетъ Карамзинъ,—конечно, не юристъ и даже не ученый—лучшій законодательный памятникъ той эпохи, который „вполнѣ соотвѣтствовалъ всѣмъ тогдашнимъ требованіямъ науки и общества“—по словамъ барона Корфа ¹⁾). Конечно, трудъ Сперанскаго былъ слишкомъ поспѣшенъ, но это былъ только проектъ, и высокоумное отношеніе къ нему Карамзина, съ разнообразными мелкими натяжками въ обвиненіяхъ, не оправдывается ничѣмъ. Баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго приписываетъ только раздражительности Карамзина его упрекъ Сперанскому въ томъ; что въ его проектѣ говорится *о правахъ гражданскихъ* (т.-е. о правѣ собственности, завѣщаніяхъ и т. п.). Ихъ, по словамъ Карамзина, „въ истинномъ смыслѣ не бывало и нѣтъ въ Россіи“. У насъ только политическія или особенныя права разныхъ государственныхъ состояній: у насъ дворяне, купцы, земледѣльцы и пр.; всѣ они имѣютъ свои особенныя права. При поспѣшности работы Сперанскаго, легко было Карамзину нападать на ошибки перевода съ французскаго, но ненависть его къ кодексу Наполеона можно объяснить только тогдашними нашими политическими отношеніями и общимъ тономъ всей патріотической литературы того времени, къ которой принадлежала и „Записка“ Карамзина. „Оставляя все другое, говорилъ онъ, спросимъ: время ли теперь предлагать Россіянамъ законы французскіе, хотя бы оныя и могли быть удобно примѣнены къ нашему гражданскому состоянію? Мы всѣ—всѣ любящіе Россію, государя ея, славу, благоденствіе, — такъ ненавидимъ сей народъ, обогранный кровію всей Европы, осыпанный прахомъ столь многихъ державъ разрушенныхъ. И въ то время, когда имя Наполеона приводитъ сердца въ содроганіе, мы положимъ его кодексъ на святой олтарь отечества!“

Вмѣсто систематическаго кодекса, основаннаго на современныхъ понятіяхъ науки и болѣе развитого общества, Карамзинъ предлагалъ только систематическое собраніе и изложеніе законовъ, заключающихся въ указахъ и постановленіяхъ, изданныхъ отъ временъ царя

¹⁾ Жизнь графа Сперанскаго. Спб., 1861 г., т. I, стр. 162.

Алексѣя Михайловича до нашихъ: „вотъ содержаніе кодекса“—говорилъ онъ.—„Для стараго народа не нужно новыхъ законовъ“. Нужно было только кое-что исправить, кое-что прибавить. Этотъ же самый способъ предлагалъ и Сперанскій, но это, по его мнѣнію, былъ худшій родъ законодательства; у Карамзина это лучший. „Сей трудъ великъ,—говорилъ онъ,—но онъ такого свойства, что его нельзя поручить многимъ. Одинъ человѣкъ долженъ быть главнымъ; истиннымъ творцемъ Уложенія Россійскаго; другіе могутъ служить ему только совѣтниками, помощниками, работниками. Здѣсь единство мыслей необходимо для совершенства частей и цѣлаго, единство воли необходимо для успѣха; или мы найдемъ такого человѣка, или долго будемъ ждать кодекса“. Замѣчательно,—и это служить доказательствомъ вліянія „Записки“ Карамзина въ послѣдующее время,—что дѣло законодательное приняло у насъ такой ходъ, какой совѣтовалъ Карамзинъ, хотя единственнымъ составителемъ „Свода Законовъ“ въ царствованіе Николая является тотъ же Сперанскій, на котораго Карамзинъ нападалъ.

Разобравъ такимъ образомъ и осудивъ внутреннее состояніе Россіи въ то время, Карамзинъ опять возвращается къ тому, съ чѣго началъ, т.-е. къ общему недовольству правительствомъ въ Россіи. „Удивительно ли, спрашиваетъ онъ, что общее мнѣніе столь не благопріятствуетъ правительству? Не будемъ скрывать зла, не будемъ обманывать себя и государя, не будемъ твердить, что люди обыкновенно любятъ жаловаться и всегда недовольны настоящимъ: сіи жалобы разительны ихъ согласіемъ и дѣйствіемъ на расположеніе умовъ въ государствѣ“. Но Карамзинъ не отчаивается въ будущемъ Россіи, хотя и видитъ въ ней „еще обширное поле для всякихъ новыхъ твореній самолюбиваго, неопытнаго ума“. Онъ предлагаетъ для излѣченія всеобщаго зла нѣсколько цѣлебныхъ средствъ, по его словамъ, самыхъ простѣйшихъ. Возвратиться къ прежнему, т.-е. къ системѣ Екатерины, составлявшей идеалъ Карамзина, уже поздно; надобно искать другихъ средствъ. „Главная ошибка законодателей сего царствованія состоитъ въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности“, а потому надобно перемѣнить систему, думать и хлопотать не о формахъ, а о *модяхъ*. Главное правило—*искать моды*; „теперь всего нужнѣе люди“—говоритъ Карамзинъ. Люди эти нужны вездѣ и въ особенности на губернаторскихъ мѣстахъ. Пусть будутъ вездѣ хорошіе губернаторы, и министрамъ и совѣту можно тогда „отдыхать на лаврахъ“. Губернаторами того времени Карамзинъ совершенно недоволенъ, но, несмотря на то, онъ желаетъ увеличенія губернаторской власти, сожалеетъ, что много частей въ составѣ губерніи не принадлежатъ къ вѣдомству губер-

натора, требуетъ возвысить его санъ и сдѣлать его похожимъ на Екатерининскаго намѣстника. Карамзинъ хлопоталъ, такимъ образомъ, объ усиленіи власти, о ея централизаціи, что соотвѣтствовало его представленію о неограниченномъ самодержавіи. Та же мысль является и во второмъ его правилѣ: „умѣйте обходиться съ людьми“. Здѣсь требуетъ онъ силы правительственной, а не мягкости,—грозы и страха, но только изъ рукъ монарха. Личная строгость монарха — все въ государствѣ. Онъ самъ—„живой законъ“. „Сирены могутъ пѣть вокругъ трона: „Александръ! воцари законъ въ Россіи“ и пр. Карамзинъ это объясняетъ такъ: „Александръ, дай намъ именемъ закона господствовать надъ Россіею, а самъ покойся на тронѣ, изливай единственно милости, давай намъ чины, ленты и деньги!“ Карамзинъ возстаетъ, такимъ образомъ, противъ силы закона; въ нее онъ не вѣритъ и все спасеніе видитъ въ *хорошихъ людяхъ*. Но кому неизвѣстно это, рекомендуемое имъ средство, и не приготовляются ли сами люди, для настоящаго исполненія своихъ обязанностей хорошими законами, высшимъ образованіемъ, наконецъ, личнымъ участіемъ въ дѣлахъ государственныхъ, согласно конституціоннымъ порядкамъ,—а Карамзинъ не признаетъ силу первыхъ, считаетъ ненужнымъ для Россіи второе и рѣшительно вооружается противъ третьяго. Не отзываются ли его *цѣлебныя средства* тѣмъ же вялымъ сентиментализмомъ, какъ и вся его прежняя литературная дѣятельность?

Подъ конецъ своей „Записки“ Карамзинъ считаетъ почему-то нужнымъ вставить цѣлую патетическую тираду въ пользу дворянства, какъ будто на него было сдѣлано особое нападеніе или Александръ особенно не благоволилъ къ нему. „Самодержавіе есть палладіумъ Россіи, говоритъ онъ; цѣлость его необходима для ея счастья; изъ сего не слѣдуетъ, чтобы государь, единственный источникъ власти, имѣлъ причины унижать дворянство, столь же древнее, какъ и Россія“. Дворянству предоставляет онъ единственно служебное поприще, а потому совѣтуетъ государю какъ можно болѣе „возвышать санъ дворянина“. Блескъ его „можно назвать отливомъ царскаго сіянія“. Для этого хорошо бы монарху являться самому въ торжественныхъ собраніяхъ дворянства и не въ гвардейскомъ мундирѣ, а въ дворянскомъ. Точно такъ же Карамзинъ желаетъ поднятія значенія духовенства, чтобы, по крайней мѣрѣ, синодъ имѣлъ болѣе важности въ составѣ его и дѣйствіяхъ, чтобы іереи были лучше и образованнѣе, чтобы по закону они болѣе „пеклись о нравственности прихожанъ“, и пр. Вотъ программа исцѣленія язвъ Россіи, по правдѣ сказать, слишкомъ неопредѣленная и не глубокая. „Дворянство и духовенство, сенатъ и синодъ, какъ хранилища законовъ,

надъ всѣми государь, единственный источникъ властей,—вотъ основаніе россійской монархіи, которое можетъ быть утверждено или ослаблено правилами царствующихъ“. При наличности этихъ условій Карамзинъ не вѣритъ въ возможность бѣдствій Россіи, не видитъ близкой гибели для нея; но Александру нужно быть „осторожнѣе въ новыхъ государственныхъ твореніяхъ, стараясь всего болѣе утвердить существующія и думая болѣе о людяхъ, нежели о формахъ“. Это любимая мысль Карамзина. Онъ не любитъ *формы*, нападаетъ на нихъ и хочетъ остаться при старомъ произволѣ. Подъ поклономъ формамъ разумѣется Карамзинымъ конституціонный проектъ Сперанскаго, опередившій далеко то общество, для котораго онъ былъ писанъ, и раздѣляемый только государемъ и самымъ ничтожнымъ меньшинствомъ развитыхъ людей.

Таково было общее содержаніе знаменитой „Записки“ Карамзина. Долго она являлась чѣмъ-то запретнымъ, таинственнымъ; это обстоятельство придавало ей особое значеніе и воображаемыя достоинства. Теперь запретъ снятъ; мысль Карамзина знакома намъ въ полнотѣ, а не въ преднамѣренныхъ пересказахъ. Критика свободно можетъ разбирать это произведеніе; для общества же не бесполезно прошли годы развитія и его не подкупятъ красивыя фразы Карамзина. Мы знаемъ мысль Карамзина и видимъ, что она не была ни глубока, ни блестяща по своему содержанію, не отличалась ни знаніемъ дѣла, ни безкорыстіемъ. „Записка“ была выраженіемъ цѣлой системы консерватизма въ обществѣ невѣжественномъ, своекорыстномъ, напуганномъ задуманными и отчасти начатыми реформами. Но консерватизмъ этотъ, по характеру литературной дѣятельности Карамзина, получилъ какой-то туманный, сентиментальный видъ, облекся въ красивыя, но крайне безсодержательныя фразы. „Несмотря на странныя несообразности и недомолвки, „Записка“ Карамзина имѣетъ для насъ, потомковъ, большую историческую цѣну, говоритъ біографъ Сперанскаго, вовсе не по внутреннему ея достоинству и не по краснорѣчивому изложенію въ ней индивидуальныхъ его мыслей, но какъ искусная компиляція того, что онъ слышалъ вокругъ себя. Карамзинъ, гораздо болѣе литераторъ, нежели человѣкъ государственный или вообще политическій, говорилъ здѣсь, разумѣется, не одно свое. Если современная ему публика нашла въ его „Запискѣ“ свое собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму изящной рѣчи, то нѣтъ сомнѣнія, что взаимно и та среда, въ которой онъ жилъ, не могла остаться безъ широкаго на него вліянія. Въ этомъ смыслѣ „Записка о старой и новой Россіи“, представляя собою общій, такъ сказать, итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обветшавъ, требо-

вали обновленія, еще болѣе подтверждаетъ мысль, выше нами высказанную, что Александръ и первый его министръ, въ порывѣ высокихъ своихъ увлеченій, опережали возрастъ своего народа, даже между образованнѣйшими его классами" ¹⁾).

Существованіе „Записки“ Карамзина и ея содержаніе сдѣлались извѣстными, къ сожалѣнію, въ такую эпоху русской жизни, когда ея начала и мысли стали господствующими и когда свободное отношеніе къ ней критики было немыслимо. Все, что только въ обществѣ и литературѣ было либеральнаго по взглядамъ и убѣжденіямъ, все это было разсѣяно бурей или задавлено новымъ тяжелымъ порядкомъ вещей. А между тѣмъ имя Карамзина, глубоко уважаемое по личному характеру и по разнымъ другимъ отношеніямъ, напр., хотя бы потому, что, будучи другомъ Александра, онъ ничего не искалъ лично для себя и отклонялъ разныя блестящія предложенія, окружено было въ передовомъ литературномъ кругу славой и почетомъ. Уваженіе къ нему перешло въ массу общества, и каждое слово Карамзина принималось какъ откровеніе свыше, — тѣмъ болѣе, что никто не вникалъ въ настоящій смыслъ его „Записки“, никто не зналъ даже вполнѣ ея текста; принимали на вѣру, какъ авторитетъ. Только одинъ русскій изгнанникъ, Н. И. Тургеневъ, счастливо избѣгнувшій послѣдствій катастрофы 14 декабря, уже въ поздніе годы могъ свободно разсуждать за границею о содержаніи „Записки“ Карамзина. Но онъ, подобно прочимъ современникамъ, относится съ особеннымъ пѣтетомъ къ личности Карамзина, говоритъ о его благородной и возвышенной душѣ и отдаетъ справедливость той смѣлости, съ какою онъ говорилъ Александру, хотя послѣдній легко и скоро, конечно, могъ простить грубость Карамзина, именно потому, что источникъ этой грубости заключался въ его любви къ абсолютизму. Но Тургеневу не нравится въ „Запискѣ“ защита дворянскихъ привилегій, желаніе возвысить это сословіе, неуваженіе къ русскому народу, для котораго Карамзинъ считалъ какъ бы невозможнымъ всякій прогрессъ, и видѣлъ прогрессъ только въ дѣйствіяхъ абсолютной власти, безъ которой онъ считалъ невозможнымъ существованіе и развитіе Россіи. Въ особенности Тургеневу, всю жизнь мечтавшему объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ и положившему такъ много труда для этого дѣла, не нравились взгляды Карамзина на крѣпостной вопросъ. Но критика Тургенева была единственною справедливою критикою „Записки“; къ сожалѣнію, у насъ она не имѣла вліянія, будучи напечатана за границею. Первый баронъ Корфъ въ своей біографіи Сперанскаго, вышедшей въ 1861 г.,

¹⁾ Корфъ. Жизнь Сперанскаго, I, стр. 143.

сказалъ о запискѣ Карамзина нѣсколько дѣльныхъ и мѣткихъ замѣчаній и наконецъ Пыпинъ въ 1870 году (Вѣстникъ Евр., кн. V, стр. 202—246)¹⁾ подробно и вѣрно разобралъ ея содержаніе и указалъ значеніе ея для того и послѣдующаго времени. Всѣ остальные лица, писавшія объ этомъ произведеніи Карамзина, только хвалили его.

Мы должны перейти теперь къ совершенно иному кругу идей, который не имѣетъ ничего общаго ни съ современными вопросами государственнаго устройства, ни съ общимъ содержаніемъ патріотической литературы, господствовавшей въ описываемое время въ обществѣ, но который, тѣмъ не менѣе, имѣетъ право на существованіе, потому что выражаетъ извѣстную духовную потребность общества, и заслуживаетъ быть упомянутымъ въ исторіи русскаго умственнаго развитія. Мы говоримъ о масонствѣ и мистицизмѣ, которые возродились къ жизни въ первые годы царствованія Александра, чему способствовали нѣкоторый относительный просторъ мысли и гуманный взглядъ на это направленіе ума со стороны самого императора. Направленіе это высказалось въ литературѣ цѣлымъ рядомъ сочиненій, переводовъ и даже періодическихъ изданій, проникнутыхъ одною мыслию, преимущественно мыслию и содержаніемъ христіанскаго піэтизма, применувшаго тогда къ нѣкоторымъ именамъ мистиковъ-піэтистовъ Германіи, сдѣлавшихся у насъ неопровержимыми авторитетами. Сочиненія ихъ были переведены почти въ полномъ объемѣ. Въ сущности, эта мистическая литература первыхъ временъ царствованія Александра была продолженіемъ такого же движенія, начавшагося еще въ XVIII вѣкѣ въ кружкѣ Новикова и друзей его, составившихъ тогда общество масоновъ и мистиковъ, разогнанное преслѣдованіями Екатерины въ послѣдніе годы ея правленія. Теперь, однако, и самый характеръ цѣлей и стремленій мистиковъ нашихъ долженъ былъ измѣниться, сообразно обстоятельствамъ. Не было дѣтски-нелѣпныхъ увлеченій прежняго времени розенкрейцерствомъ, не было слишкомъ пестраго внѣшняго ритуала и обрядности, но зато не было также и прежнихъ широкихъ филантропическихъ и педагогическихъ цѣлей, которыми отличалось „Дружеское общество“ Новикова. Все дѣло ограничивалось чисто-нравственными стремленіями, исключительно христіанскимъ мистицизмомъ, возникшимъ изъ недовольства догматическою стороною религіи, плохо объясняемою грубымъ и невѣжественнымъ духовенствомъ официальной церкви, и изъ желанія развить и усвоить себѣ это христіанство болѣе разумнымъ, внутреннимъ и сердечнымъ образомъ. Тутъ стрем-

¹⁾ См. „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“.

ленія нашихъ мистиковъ, встрѣтились съ одинаковыми же стремленіями мистиковъ протестантскихъ, идущихъ и развивающихся непрерывнымъ рядомъ со временемъ знаменитаго Якова Бема. Но связь этого литературнаго мистицизма первой половины царствованія Александра (во второй его половинѣ, при другихъ обстоятельствахъ, появился правительственный мистицизмъ) съ нашимъ московскимъ масонствомъ XVIII вѣка была, однако, очевидна. Тогда жилъ еще знаменитый страдалецъ Новиковъ. Удрученный болѣзнями, онъ слѣдилъ за этимъ движеніемъ въ своемъ сельскомъ уединеніи, куда являлись на поклонъ болѣе молодые мистики. Въ этомъ движеніи принималъ участіе и товарищъ его—старикъ Лопухинъ. Въ мистической литературѣ дѣйствовали ихъ прямые ученики и воспитанники. Мы укажемъ главныхъ представителей и главныя черты этой мистической литературы.

ЛЕКЦІЯ XXXV.

Масонство и мистицизмъ.—Новиковъ.

Масонство и мистицизмъ XVIII вѣка, съ Новиковымъ во главѣ, облеченное тайной и окруженное преслѣдованіями, долго въ сознаніи общества являлось чѣмъ-то неяснымъ, неопредѣленнымъ и до крайности отрывочнымъ; содержаніе этого движенія долго было неуловимо. Только въ недавнее время, изъ довольно многочисленныхъ изслѣдованій и документовъ, опубликованныхъ по дѣлу и дѣятельности Новикова и друзей его, выяснилось достаточнымъ образомъ это нравственно-общественное движеніе, въ которомъ сказалось такъ много различныхъ сторонъ времени, выяснились всѣ дурныя и хорошія стороны этого движенія, обусловливаемаго, разумѣется, обстоятельствами. Въ особенности ясно выступила передъ нами въ масонствѣ XVIII вѣка цѣль филантропическая и педагогическая, служеніе общему благу, которое имѣли въ виду главныя и самыя энергическіе представители масонства и мистицизма—Новиковъ и Шварцъ, хотя, конечно, и эти цѣли и это служеніе они понимали одностороннимъ мистическимъ образомъ. Обстоятельства времени и безсмысліе правительства ввели нашихъ масоновъ, людей честныхъ и искреннихъ, но не глубокихъ, и легкомысленныхъ по своимъ увлеченіямъ, въ политическій процессъ и сдѣлали изъ нихъ напрасныя жертвы, пріостановивъ внутреннее движеніе масонства и не позволивъ ему развиваться дальше. Это преслѣдованіе сдѣлало еще болѣе загадочнымъ для мысли масонское движеніе, которое выражало собою, ко-

нечно, одну изъ любопытѣйшихъ сторонъ состоянія нашего общества въ прошломъ вѣкѣ. Массонство обусловливалось у насъ не подражаніемъ, не модою, не увлеченіемъ личностью одного человѣка, хотя бы эта личность была и Новиковъ. Тутъ были болѣе глубокія общественныя причины. Конечно, главная причина появленія у насъ масонскихъ ученій заключалась въ той общей съ Европою духовной жизни, которою мы стали пользоваться болѣе сознательнымъ и глубокимъ образомъ въ концѣ XVIII вѣка. Самое явленіе масонства, въ основѣ котораго лежала идея личнаго дѣятельнаго нравственнаго совершенствованія, возникло въ самой Европѣ не ранѣе начала этого вѣка, богатаго вообще идеями, и очень скоро, въ первой его половинѣ, перешло уже и на нашу грубую и необработанную общественную почву: и у насъ, какъ и въ Европѣ, люди, конечно, лучше, стали искать въ масонскихъ ложахъ отвѣта на свои индивидуальныя нравственныя стремленія. Этотъ переходъ масонскихъ идей въ нашу жизнь доказываетъ уже значительное духовное общеніе наше съ Европою. Въ нравственныхъ, въ общественныхъ идеяхъ, которыми руководилось европейское масонство XVIII вѣка, господствовалъ тотъ же духъ деизма, гуманности и филантропіи, которымъ была проникнута вся литература того времени, только онъ получилъ въ масонскихъ ложахъ осязательное выраженіе въ различныхъ формулахъ и обрядахъ, говорившихъ фантазіи и сердцу, потому что масонство удовлетворяло болѣе всего этимъ сторонамъ человѣческаго существа. Очень скоро, однако, какъ во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ, къ масонству, какъ выраженію чистаго нравственнаго стремленія, привились посторонніе факторы: подражаніе, мода, обманъ. Почвою самаго разнообразнаго движенія масонства сдѣлалась въ XVIII вѣкѣ особенно Германія, гдѣ для этого было много благоприятныхъ обстоятельствъ, и оттуда заимствовали мы и піэтизмъ и мистицизмъ, и наконецъ различные бредни, которыми такъ богата была эта страна въ концѣ того вѣка, напр. дѣланіе золота, добываніе жизненнаго элексира и т. п., что проповѣдывалось, какъ чудеса вѣры въ безчисленныхъ тайныхъ сектахъ иллюминатовъ, розенкрейцеровъ, тамплиеровъ и т. п. Эти бредни, эта экзальтація были крайнимъ развитіемъ піэтистической вѣры, которая въ своемъ увлеченіи могла видѣть чудеса въ природѣ. Это было, слѣдовательно, извращеніе религіознаго протестантскаго движенія, но не въ немъ заключалась главная сущность масонства. Кромѣ восторженныхъ піэтистовъ въ общество шли и другіе люди, въ особенности, какъ мы увидимъ потомъ, у насъ въ XIX вѣкѣ, люди, недовольные официальною церковностью, ея неподвижностью и безжизненностью. Въ обществѣ

масоновъ было много людей дѣйствительно просвѣщенныхъ, которые искали въ немъ себѣ духовнаго удовлетворенія, не находя его въ дѣйствительности. Конечно, не стоитъ говорить о тѣхъ, которые искали въ ложахъ развлеченія, моды, веселыхъ собесѣдниковъ. Масса искала въ ложахъ какого-то высшаго знанія, которое давалось легко, безъ большихъ трудовъ и усилій, требуемыхъ дѣйствительною наукою. Здѣсь, для приобрѣтенія этого высшаго знанія, которымъ открывалось все,—стоило только исполнить нѣкоторыя обрядности въ ложахъ.

Нѣмецкое масонство, сказали мы, перешло къ намъ въ концѣ XVIII вѣка. Лучшіе люди нашего общества того времени, искавшіе и желавшіе развитія, должны были невольно увлечься идеями, до которыхъ дошла Европа, тѣмъ болѣе, что въ тогдашнихъ условіяхъ, при слабости научнаго образованія, при ничтожности нашей несамостоятельной литературы, это увлеченіе было легко. Общественная русская жизнь въ XVIII вѣкѣ представляла такъ много мрачныхъ, возмущающихъ душу явленій, что они невольно вызывали на протестъ. Самостоятельнымъ образомъ, законными и естественными средствами бороться съ ними, при недостаткѣ умственныхъ и нравственныхъ силъ въ обществѣ, было невозможно, и вотъ лучшіе люди наши ухватились за масонское движеніе Германіи, видя въ немъ якорь спасенія. Бороться противъ этого наплыва чужихъ идей, весьма темныхъ, туманныхъ, дикихъ и фантастическихъ, были тогда не въ состояніи у насъ даже такія энергическія личности, какъ Новиковъ, потому что у нихъ не доставало образованія и науки, спасающихъ вообще отъ такого рода увлеченій. У насъ, къ тому же, было просвѣщеніе призрачное, а не настоящее, не допускавшее самостоятельной умственной работы; недостатокъ знанія и логики естественно влекъ, такимъ образомъ, нашихъ лучшихъ людей къ печальному явленію масонства, къ дикой фантастикѣ мистицизма, которая даже въ кружкѣ Новикова доходила до крайней нелѣпости. Все нелѣпое нѣмецкихъ ложъ было имъ усвоено почти цѣликомъ. Новиковъ и друзья его увлеклись самымъ дикимъ толкомъ нѣмецкаго масонства—розенкрейцерствомъ, или какъ у насъ переводили тогда—„златорозоваго креста“. Увлеченіе этихъ лучшихъ нашихъ людей того времени крайними нелѣпостями — представляется въ исторіи нашего духовнаго развитія прошлаго вѣка чрезвычайно печальнымъ явленіемъ: оно свидѣтельствуетъ, что въ обществѣ нашемъ были и жизнь и стремленія, но лишенная всякаго основанія, всякаго сознанія, и люди бросались въ туманъ, не имѣя руководительной идеи. Удивительное дѣтство и легкомысліе этихъ людей, при множествѣ хорошихъ другихъ сторонъ,—свидѣтельствуетъ только о

слабости нашего умственного развитія. Умъ молчалъ въ нихъ, но это забвеніе и неразвитость мысли искупались другими дѣйствительно благородными сторонами нашего масонства. Кругокъ. Новикова представлялъ лучшихъ по нравственному развитію, искренне-убѣжденныхъ людей: для нихъ служеніе общественному благу было не пустою фразою и филантропическія цѣли ихъ, вытекавшія изъ братской любви къ людямъ, заставляютъ невольно смотрѣть сквозь пальцы на ихъ умственные заблужденія. Тутъ были они вполне безпомощны; Новиковъ самъ говорилъ, что не имѣя точки опоры, онъ неожиданно попалъ въ масонское общество. Онъ искалъ въ немъ, подобно нѣкоторымъ другимъ, нравственного совершенствованія, о которомъ такъ много говорили масонскія ложи на своемъ вычурномъ языкѣ. Это исканіе нравственного совершенствованія составляло заветную думу Новикова, оно выразилось въ его волненіяхъ, въ его безпрестанныхъ колебаніяхъ, въ переходѣ отъ одной системы къ другой, пока онъ не успокоился на дикомъ розенкрейцерствѣ, въ составъ упражненій котораго входили и алхимія и каббалистика. Понятно, что съ такимъ жалкимъ духовнымъ запасомъ, наше масонство прошлаго вѣка было почти безплодно для общественнаго развитія, оно не давало обществу никакого здороваго содержанія; оно было совершенно безсильно при рѣшеніи вопросовъ о религіи, о нравственности, объ общественной жизни. Въ особенности печально было это явленіе масонства и мистицизма по отношенію къ наукѣ, которая едва только зарождалась тогда въ нашей жизни. Естественнo, что мистицизмъ долженъ былъ бояться здоровой научной критики, потому что разлетался въ прахъ при первомъ соприкосновеніи съ нею, но эту боязнь онъ замѣнялъ высокомернымъ отношеніемъ къ наукѣ, презрѣніемъ къ ней, старался выставить всю ея недостаточность для познанія истины. Между людьми съ сколько-нибудь строгимъ научнымъ образованіемъ мистицизмъ не могъ найти сочувствія. Онъ распространялся, подобно суевѣрію, въ той средѣ, гдѣ умъ уступаетъ воображенію, между людьми, не знакомыми съ наукою, и это главнымъ образомъ обуславливало успѣхъ масонства и мистицизма въ русскомъ обществѣ XVIII вѣка. Этотъ кругъ идей, въ родѣ популярной философіи, удовлетворялъ вполне людей съ незавиднымъ образованіемъ. Его гораздо легче было заимствовать изъ Европы, чѣмъ другія, болѣе строгія, научныя явленія; послѣднія были тогда не по плечу нашему обществу. Главное содержаніе въ этомъ заимствованномъ кругу идей составлялъ піетизмъ, но у Новикова онъ не могъ быть ни смѣлымъ, ни послѣдовательнымъ, какъ у нѣмецкихъ піетистовъ, опиравшихся на протестантизмъ; ему хотѣлось только болѣе разумнаго или, скорѣе, болѣе сердечнаго пониманія православнаго ученія, хотѣлось болѣе

простора, самостоятельности, поменьше officialнаго отношенія къ церкви, однимъ словомъ — самодѣтельности. Но въ этомъ мистицизмѣ, къ сожалѣнію, очень часто сказывалось недовѣріе къ наукѣ и даже враждебное отношеніе къ ней.

Была, однакожь, въ масонствѣ и мистицизмѣ прошлаго вѣка одна сторона, по которой они занимаютъ въ исторіи нашего общественнаго развитія почетное мѣсто. Въ нихъ мы видимъ первыя попытки общественной самодѣтельности, желаніе служить нравственнымъ интересамъ общества свободно, безъ вызова, безъ правительственной укаски, по одному внутреннему убѣжденію въ пользѣ дѣла. Въ Новиковѣ и друзьяхъ его присутствовала дѣятельная любовь къ человечеству, и въ этомъ отношеніи эти натуры были чистыя натуры, рѣзко выдѣлявшіяся на общемъ мрачномъ фонѣ грубой жизни, гдѣ царили чувственность, своекорыстіе и презрѣніе къ людямъ. За эту нравственную, чистую сторону можно простить нашимъ мистикамъ и масонамъ разныя вздорныя бредни ихъ и увлеченія.

Въ своихъ двухъ главныхъ проявленіяхъ, въ мистицизмѣ и нравственно-общественной инициативѣ, масонство у насъ было заимствовано, какъ уже сказано выше, съ Запада. Мистицизмъ былъ стариннымъ явленіемъ христіанской жизни Европы. Онъ вытекалъ изъ религіознаго чувства, недовольнаго положительною религіею, и проповѣдывалъ чудесное соединеніе съ Богомъ, безъ всякаго участія разсудочной дѣятельности, — однимъ чувствомъ и экстазомъ. Естественно, что мистицизмъ, въ этихъ стремленіяхъ своихъ, постоянно твердилъ о тщетѣ и недостаточности человѣческаго разума. Онъ увлекался и до галлюцинацій и до фанатическаго преслѣдованія науки, до обскурантизма, какъ это всегда бываетъ съ разсужденіями, основанными только на чувствѣ. Но мистицизмъ гораздо понятнѣе и увлекательнѣе для неразвитыхъ массъ всякаго сколько-нибудь раціональнаго отношенія къ предмету, и это способствовало его обширному распространенію и существованію чрезвычайно плодотворной мистической литературы, явленія которой идутъ до нашего времени. Она не признаетъ раціональной науки, нападаетъ на нее, считаетъ ее вредною и опасною. Это направленіе, къ сожалѣнію, было усвоено и нашими мистиками и по преемственности мистической литературы породило у насъ, во второй половинѣ царствованія Александра, когда мистицизмъ проникъ въ правительственныя сферы и сдѣлался такъ сказать officialнымъ, — весьма печальныя явленія. Таковы были дѣйствія Магницкаго.

Хотя главнымъ представителемъ мистицизма для нашихъ масоновъ былъ французскій мистикъ Сень-Мартень, имѣвшій много личныхъ знакомыхъ и адептовъ между членами высшей русской ари-

стократіи ¹⁾, масоны наши увлекались и мистицизмом нѣмецкаго розенкрейцерства. Это было общество, возникшее въ Германіи въ началѣ XVIII вѣка, въ противоположность школьному протестантскому богословію, желавшее основываться только на словахъ Писанія и хлопотавшее о преобразованіи общества на христіанскихъ началахъ, объ усовершенствованіи человѣчества и объ улучшеніи всѣхъ общественныхъ отношеній. Впослѣдствіи это общество, въ которомъ сначала господствовалъ чистый кальвинистскій мистицизмъ, вслѣдствіе разнообразныхъ условій нѣмецкой исторіи, дошло до величайшихъ нелѣпостей, стало принимать участіе въ іезуитскихъ проискахъ и играть политическую роль. Новиковъ, увлеченный Шварцемъ, думалъ черпать въ этомъ мутномъ источникѣ, конечно, не будучи знакомъ со всею его грязью.

Не говоря о ложахъ, дѣйствіе которыхъ на общество совершалось болѣе вѣшнимъ образомъ, при инициативѣ Новикова и его кружка возникла у насъ обширная литература для распространенія масонскихъ идей въ обществѣ, для приготовленія его къ тайнамъ масонства. Правда, дѣйствіе этой литературы было насильственно остановлено, но она, съ нѣскольکو измѣненнымъ характеромъ, продолжалась во все время царствованія Александра. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этой литературы, вызывателемъ ея является Новиковъ. Масонскія убѣжденія пришли къ нему совершенно естественно. Человѣкъ этотъ, безъ сколько-нибудь серьезнаго образованія, не зная даже иностранныхъ языковъ, выступилъ въ очень молодыхъ еще годахъ сатирическимъ журналистомъ и, возмущенный многими явленіями русской общественной жизни, обличалъ ихъ съ энергіею и страстію. Недовольный жалкимъ состояніемъ русскаго просвѣщенія того времени, онъ требовалъ отъ русской литературы гораздо больше, чѣмъ всѣ современники. Вспомнимъ, что онъ первый заговорилъ съ настоящей точки зрѣнія о крѣпостномъ вопросѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, тогда же въ его журналѣ высказывалось и недовольство наукою вообще съ ея „физическими доказательствами“, и вражда къ французской просвѣтительной философіи того вѣка, и недовѣріе къ духовнымъ учителямъ, т.-е. къ священникамъ официальной церкви. Всѣ эти убѣжденія его выходили изъ глубины сердца, и онъ былъ преданъ имъ всею душою. Недовольный современной наукою, въ которой онъ видѣлъ только грубый матеріализмъ, Новиковъ искалъ религіозно-нравственнаго идеала. Этотъ идеалъ представился ему въ масонствѣ, облеченномъ тайною,

¹⁾ Сочиненіе Сень-Мартена „О заблужденіяхъ и истинѣ“ было напечатано у насъ въ переводѣ въ 1785 г.

разукрашенномъ восторженными описаніями друзей его, бывавшихъ и въ русскихъ и въ заграничныхъ ложахъ. Относиться критически къ масонству и даже къ увлеченіямъ розенкрейцерства Новиковъ не могъ по недостатку своего образованія и сдѣлался масономъ, потому что масонство вполнѣ удовлетворяло его и въ религіозномъ отношеніи своимъ мистицизмомъ, и въ научномъ, открывая ему легкій доступъ къ самымъ таинственнымъ и казавшимся столь глубокими знаніямъ, и въ политическомъ, такъ какъ масонство примиралось со всѣми государственными формами, а Новиковъ былъ слишкомъ вѣрно-подданный, чтобъ примириться съ такою системою идей, которая отрицала существующій у насъ порядокъ вещей. Такова была исторія и всѣхъ нашихъ мистиковъ и масоновъ, друзей Новикова, ихъ учениковъ и послѣдователей.

Мистицизмъ ихъ, однако, не доходилъ до тѣхъ крайнихъ предѣловъ, до которыхъ доходило розенкрейцерство въ Германіи. Наши мистики не думали о дѣланіи золота, не искали философскаго камня, не бредили алхиміей. Можетъ быть, это потому, что они не были посвящены въ такъ называемые „вышіе градусы“, но, кажется, все ихъ направленіе было чуждо этихъ увлеченій. Главная дѣятельность Новикова и друзей его была литературная; для нея образовывали они „Дружеское типографское общество“ и ею думали они приготовить публику къ пониманію масонскихъ идей и распространить ихъ. Такъ возникла наша обширная мистико-масонская литература, существовавшая и въ XIX вѣкѣ. Надобно сказать вообще объ этой литературной дѣятельности, что въ ней было весьма мало самостоятельнаго и что она отличалась эклектическимъ характеромъ. Кромѣ сочиненій общаго содержанія, которыя естественно выходили изъ типографіи Новикова, какъ изъ всякой другой, онъ печаталъ книги по христіанской философіи и по аскетизму и въ особенности много чисто мистическихъ книгъ и съ христіанскимъ и съ не-христіанскимъ содержаніемъ, такъ какъ масоны всякую древнюю отдаленную мудрость старались представить какимъ то откровеніемъ свыше. Разумѣется, что главное мѣсто въ этой мистической библіотекѣ занимали сочиненія знаменитыхъ протестантскихъ мистиковъ Арндта, Я. Бема, Таулера и др., въ особенности Бема, сочиненія котораго были давно переведены у насъ и обращались въ рукописи въ масонскихъ кругахъ. Они же были оракуломъ и для мистиковъ Александровскаго времени. Собственно масонскія сочиненія, напечатанныя Новиковымъ, тоже были эклектическаго содержанія и тоже всѣ почти переводныя. Они говорили намеками, неопредѣленно, языкомъ туманнымъ, не открывали всей тайны масонства, а какъ бы давали предчув-

ствовать ее тому, для которого она вполне раскроется въ ложахъ. Наконецъ къ этой масонской литературѣ принадлежало также много сочиненій, написанныхъ розенкрейцерами и трактовавшихъ объ алхиміи, съ самымъ фантастическимъ и нелѣпымъ содержаніемъ. Оригинальныхъ русскихъ масонскихъ сочиненій было очень мало, и всѣ они не выдерживаютъ никакого сравненія съ переводными, — ясно, что явленіе у насъ масонства было скорѣе случайно, чѣмъ коренилось въ дѣйствительныхъ потребностяхъ русскаго общества. Вся эта литература доказываетъ, что понятія нашего масонства были чрезвычайно смутны и скорѣе походили на мистическую теософію въ общемъ своемъ составѣ. Новиковъ самъ думалъ, что посредствомъ масонства онъ достигнетъ лучшаго пониманія Бога и христіанства; онъ былъ глубоко-религіозный человѣкъ, но лишенный образованія и науки.

Лучшею стороною нашего масонства прошлаго вѣка было, конечно, то, что перешло къ нимъ отъ англійскихъ масоновъ: идеи естественной религіи и братская любовь къ человѣчеству — филантропія. Въ этомъ масонствѣ воспитывались уваженіе ко всѣмъ вѣроисповѣданіямъ и космополитическое чувство. Филантропія нашла свое примѣненіе у московскихъ масоновъ въ разныхъ человѣколюбивыхъ заведеніяхъ, основанныхъ Новиковымъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ воспитаніи молодыхъ людей, которымъ масоны давали всѣ средства, и въ обширномъ благотвореніи неимущимъ. Всѣ старые масоны отличались нищелюбіемъ. Походящій роздалъ почти все свое имѣніе на помощь народу во время голода, Лопухинъ прожилъ свое на нищихъ. Въ масонствѣ воспитывалась нравственная человѣческая личность, а это было важнымъ приобритеніемъ для тогдашняго русскаго общества, которое нигдѣ на практикѣ не встрѣчало глубокихъ нравственныхъ понятій. Къ сожалѣнію, мистическій элементъ преобладалъ въ масонствѣ и затемнялъ то немногое въ немъ, что было сдѣлано въ нравственно-человѣческомъ направленіи.

Нельзя отрицать, такимъ образомъ, того, что русское масонство имѣло нравственное вліяніе на общество. Наша русская жизнь въ XVIII вѣкѣ была крайне бѣдна въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, не говоря уже о сторонѣ политической. Наука и литература занимали немногихъ и были ничтожны по своему содержанію и вліянію на общество. Внѣшность, стремленіе къ грубымъ чувственнымъ удовольствіямъ, матеріализмъ, рядомъ съ внѣшнею обрядностью церкви—вотъ чѣмъ жило наше общество. Въ такомъ обществѣ и масонскіе идеалы, при всей своей неопредѣлен-

ности и неясности, были уже значительнымъ успѣхомъ; сравнительно съ грубымъ содержаніемъ общества, они были и широки и прогрессивны. Кромѣ того въ нашемъ масонствѣ проявилась, какъ мы сказали, общественная самодѣятельность, индивидуальная свобода мысли и проявилась въ первый разъ, хотя это проявленіе и шло рядомъ съ проповѣдью обскурантизма. Вотъ въ чемъ историческое значеніе нашего масонства прошлаго вѣка.

Дальнѣйшее развитіе нашего масонства въ XVIII вѣкѣ, очевидно, невозможное и по самому ходу общественнаго развитія, которое вскорѣ уже не могла удовлетворить эта туманная и неопредѣленная форма, было однако приостановлено насильственно дѣйствіями правительства, вслѣдствіе различныхъ, вовсе неосновательныхъ опасеній его. Два враждебныя начала встрѣтились здѣсь лицомъ къ лицу: начало авторитета и государственной опеки, и начало общественной инициативы; первая давно уже, и въ особенности въ царствованіе Екатерины, все брала на себя и не могла терпѣть рядомъ съ собою свободы и простора выбора со стороны общества. Рядомъ съ правительствомъ, въ масонствѣ возникла свободная нравственная сила, гдѣ главнымъ двигателемъ былъ Новиковъ; его изданія выражали образъ мыслей, появившійся совершенно независимо отъ инициативы правительства, и Екатерина, конечно, не могла помириться съ этимъ. Съ другой стороны и масса неразвитого русскаго общества смотрѣла съ недовѣріемъ и подозрительностію на возникшее въ средѣ его явленіе, видѣла въ немъ что то вредное и опасное. Въ угоду этимъ общественнымъ толкамъ и по противоположности своего внутренняго развитія, Екатерина давно преслѣдовала масонство и сатирическими сочиненіями и комедіями. Этотъ литературный способъ борьбы былъ единственно справедливъ. Но европейскія тайныя общества, къ которымъ передъ революціей примѣшались политическіе элементы, и разнообразныя обвиненія противъ нихъ обскурантовъ въ литературѣ—увеличили подозрѣніе и нелюбовь Екатерины къ русскимъ масонамъ, и она сочла ихъ якобинцами. Началось преслѣдованіемъ и запрещеніемъ масонскихъ книгъ, кончилось ссылками, допросами и тюрьмами для главныхъ представителей масонства. На Новикова преимущественно обрушилось гоненіе, именно потому, что онъ главнымъ образомъ развилъ общественный характеръ масонства, онъ способствовалъ нравственному пробужденію общества и вызывалъ всю филантропическую и образовательную дѣятельность кружка. Кружокъ масоновъ, конечно, рѣзко выдѣлялся изъ всего общества своими особенностями. Всѣ они считались „братьями“, несмотря на различіе своего общественнаго положе-

нія,—а это нарушало укоренившіяся въ обществѣ понятія. Всѣ масоны были болѣе или менѣе оригиналами, и на глаза, привыкшіе къ обыкновеннымъ общественнымъ типамъ, должны были казаться чрезвычайно странными, тѣмъ болѣе, что образомъ жизни и мыслей своихъ они выражали твердое убѣжденіе, а его въ массѣ не было. Не правилось обществу также и вліяніе масонства на молодое поколѣніе, чтò масоны считали необходимымъ для пропаганды своихъ идей. Все это увеличивало къ нимъ непріязнь общества. Началось революціонное движеніе во Франціи, и близорукіе современники сваливали всю вину его на личности. Такъ возникло нелѣпое подозрѣніе невинныхъ масоновъ въ революціонныхъ замыслахъ, началось, по выраженію Лопухина, „сраженіе съ тѣнью“, кончившееся пораженіемъ и страданіемъ слабыхъ.

ЛЕКЦІЯ XXXVI.

Мистическая литература при Александрѣ I.—Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его «Разсужденіе о злоупотребленіи разума». — Записки Лопухина. — Защита духоборцевъ.

Памятникомъ русскаго масонства въ XVIII вѣкѣ осталась для потомства обширная мистическая и масонская литература, стоившая много трудовъ, много усилій, которые могли быть употреблены съ гораздо большею пользою. Въ этой массѣ произведеній съ самымъ дикимъ и нелѣпымъ содержаніемъ, писанныхъ тяжелымъ непонятнымъ языкомъ, похоронено много стремленій честныхъ, благородныхъ людей, не находившихъ, къ несчастію, въ тогдашней русской жизни лучшей, болѣе полезной для общества дѣятельности. Едва ли есть какая-нибудь возможность въ настоящее время читать всѣ эти масонскія и мистическія книги; во всей этой массѣ произведеній только съ величайшимъ трудомъ можно выслѣдить общую первоначальную мысль масонства: такъ много постороннихъ наростовъ появилось на ней. Но литература эта, съ своимъ страннымъ содержаніемъ, находила, однако, читателей, ея произведенія покупались. Послѣ нѣсколькихъ годовъ преслѣдованія, она возродилась снова въ царствованіе Александра, правда, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, но въ столь же многочисленныхъ произведеніяхъ, какъ и прежде и также не самостоятельныхъ, а по большей части переводныхъ. На эту мистическую литературу и ея представителей при Александрѣ мы обратимъ теперь вниманіе.

Послѣ Екатерининскаго преслѣдованія наше масонство замолкло на нѣсколько лѣтъ. При Павлѣ, хотя онъ освободилъ изъ вѣрѣпости Новикова, и многіе прежніе масоны получили при немъ важныя мѣста въ служебной іерархіи, время было вообще неблагопріятно для возстановленія дѣятельности ложъ, тѣмъ болѣе, что вмѣсто масонскаго ордена, новый Императоръ покровительствовалъ ордену мальтійскихъ рыцарей, который изъ политическихъ видовъ выбралъ его гротъ-мейстеромъ. Естественно было, что съ воцареніемъ Александра, любившаго свободу, отличавшагося мягкостію характера и ненавидѣвшаго на первыхъ порахъ всякое преслѣдованіе, масонскія ложи должны были открыться и выказать свою дѣятельность. Открытію ложъ и ихъ дѣятельности способствовало то обстоятельство, что многіе старые московскіе масоны были въ живыхъ; вокругъ нихъ, какъ около учителей, группировалось нѣсколько болѣе молодыхъ учениковъ ихъ, приготовленныхъ ими прежде для спеціальныхъ цѣлей масонства, было много и другихъ разрозненныхъ членовъ прежнихъ ложъ. Подъ вліяніемъ обстоятельствъ времени и новаго общественнаго развитія, старыя преданія, конечно, должны были ослабѣть или измѣниться, тѣмъ болѣе, что старые масоны почти не участвовали въ новыхъ ложахъ. Въ нихъ мы не видимъ ни Новикова, ни Гамалѣи, ни Лопухина, ни Поздѣева, ни Карнѣева и др., не-смотря на то, что эти лица пользовались большимъ авторитетомъ и глубокимъ уваженіемъ между братьями новыхъ ложъ; этотъ авторитетъ поддерживался главнымъ образомъ письмами и личными бесѣдами. Въ началѣ царствованія Александра не было дано офиціального разрѣшенія на открытіе масонскихъ ложъ, но тѣмъ не менѣе онѣ скоро возникли и существовали сначала тайно. Говорятъ, что при вступленіи на престолъ Александръ возобновилъ указъ Павла противъ масонскихъ ложъ, но въ 1803 году самъ сдѣлался масономъ, подъ вліяніемъ убѣжденій стараго масона Бебера. Это обстоятельство должно было дать свободное движеніе масонскимъ ложама и, дѣйствительно, вскорѣ начали возобновляться старыя ложи и основываться новыя. Исторія этихъ ложъ еще неполнѣ известна. Офиціальное разрѣшеніе ложъ послѣдовало только въ 1810 году, когда онѣ сдѣлались извѣстными министру полиціи, а до тѣхъ поръ на нихъ смотрѣли сквозь пальцы. Почти всѣ сколько нибудь выдающіяся личности царствованія Александра были тогда членами ложъ, но о внутреннемъ содержаніи ихъ дѣятельности мы малѣ имѣемъ свѣдѣній. Одно только можно сказать, что характеръ масонства измѣнился. Въ немъ было гораздо меньше того пустого розенкрейцерскаго суевѣрія, которое занимало простодушныхъ московскихъ масоновъ, но попрежнему въ ложахъ господствовали чужія вліянія, теперь новыя нѣмецкія, и эти вліянія отра-

зились въ возникшей тогда между учениками старыхъ масоновъ религіозно-мистической литературѣ, проповѣдывавшей обществу вмѣсто розенкрейцерства—піэтизмъ и аскетизмъ.

Взглянемъ сначала на судьбу прежнихъ масоновъ, доживавшихъ свой вѣкъ, но оказывавшихъ замѣтное вліяніе на новыя движенія. Освобожденный изъ крѣпости Павломъ въ 1797 году, Новиковъ, съ разстроеннымъ отъ заключенія здоровьемъ, все остальное время до самой смерти своей въ 1818 году провелъ подъ Москвою въ небольшомъ имѣніи своемъ Бронницкаго уѣзда въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ процессъ и потомъ тюрьма прервали весь ходъ его предпріятій и запутали всѣ дѣла. Старое масонство походило нѣсколько на секту, гдѣ члены были связаны между собою искреннею, почти родственною любовью. Въ домѣ своемъ Новиковъ пріютилъ стараго друга своего, масона С. И. Гамалѣю (1743—1822), малороссіянина, воспитанника Кіевской духовной академіи, человѣка глубоко-религіознаго, честнаго и безкорыстнаго, получившаго за свои душевныя качества прозваніе „Божьяго человѣка“. Гамалѣя очень много переводилъ изъ мистической литературы и часть его переводовъ была напечатана Новиковымъ; но большая часть осталась въ рукописи. Вмѣстѣ съ нимъ у Новикова жила вдова его друга Шварца, такъ какъ у нея не было другихъ средствъ къ существованію. Образъ жизни Новикова и его занятія въ этотъ послѣдній періодъ ея довольно подробно описаны въ книгѣ Лонгинова.¹⁾ По-видимому, знаменитый вождь стараго масонства былъ преданъ тогда исключительно набожности и благотворительности. Онъ не принималъ уже участія въ новомъ движеніи масонскихъ ложъ и въ мистической литературѣ того времени. Тогда не вышло ни одного его сочиненія въ печать, но онъ писалъ очень много и велъ обширную переписку, изъ которой опубликована весьма незначительная и незамѣчательная часть; всѣ прочія рукописи, по словамъ Лонгинова, неизвѣстно куда дѣвались. Думалъ онъ было въ 1805 году снова взять на откупъ университетскую типографію и начинать дѣло, но оно почему-то не состоялось. Въ 1812 году онъ опять было сдѣлался подозрительнымъ въ глазахъ Растопчина, потому что по челолюбію не различалъ среди раненыхъ и больныхъ—своихъ отъ враговъ. Посѣщали его нѣкоторые друзья и сотрудники по прежней его дѣятельности; посѣщали и нѣкоторые ученики его, напр. Карамзинъ, къ которому остались два очень замѣчательныя письма Новикова, рисующія ихъ прежнія отношенія, но вообще о связяхъ Новикова и о его дѣятельности въ продолженіе болѣе, чѣмъ двадцати послѣд-

¹⁾ Новиковъ и московскіе мартинисты. М. 1867.

нихъ лѣтъ его жизни, мы знаемъ очень мало. Онъ умеръ въ глубокомъ уединеніи.

Гораздо больше свѣдѣній за это время мы имѣемъ о другомъ вождѣ масоновъ прошлаго вѣка, — Лопухинѣ, благодаря тому, что, служа при Александрѣ сенаторомъ, онъ входилъ въ сношенія съ разными лицами и оставилъ намъ довольно любопытныя „Записки“ о своей дѣятельности масонской и служебной, которыя могутъ служить матеріаломъ для опредѣленія нравственнаго вліянія масонства на тогдашнихъ людей. Лопухинъ былъ годами тринадцатью моложе Новикова. Онъ родился въ Москвѣ въ 1756 году, принадлежалъ къ знатной и богатой фамилии, родственной по женѣ Петру I. Его первоначальное домашнее воспитаніе и образованіе по его собственному разсказу, было крайне недостаточно. „Русской грамотѣ училъ меня домашній слуга. По-французски училъ Савояръ, незнавшій совсѣмъ правилъ языка. По-нѣмецки Берлинецъ, который ненавидѣлъ языка нѣмецкаго и всячески старался сдѣлать мнѣ его противнымъ, а хвасталъ французскимъ, и сколько умѣлъ, училъ меня ему тихонько, пользуясь охотою моею къ чтенію. Нѣмецкія же книги держали мы на учебномъ столѣ моемъ для одного виду“. Этому языку онъ выучился уже послѣ „отъ сильнаго желанія читать духовныя книги“. Съ такимъ плохимъ образованіемъ Лопухинъ поступилъ на 17-мъ году въ военную службу, къ которой приготавлилъ его отецъ; старый служака. Онъ разсказываетъ, что здоровье его было вообще очень слабо, что ему часто приходилось быть больнымъ, и онъ пользовался этимъ временемъ болѣзни для чтенія. Такимъ образомъ всѣ познанія Лопухина, до поступленія въ масоны, были ничтожны. Приобрѣтались случайно, самоучкою, и мы не видимъ на немъ никакого сколько-нибудь сильнаго духовнаго вліянія. Въ началѣ 1782 года, когда масонская дѣятельность Новикова уже получила развитіе, Лопухинъ вышелъ въ отставку полковникомъ и пріѣхалъ въ Москву на житье. Безъ сомнѣнія, до этого времени встрѣчался онъ съ Новиковымъ и другими масонами; по крайней мѣрѣ, по его разсказу, еще въ 1780 году съ нимъ совершился умственный и нравственный переворотъ, и онъ сталъ вдругъ писателемъ. По разсказу Лопухина, до того времени онъ былъ вольнодумцемъ, т.-е. раздѣлялъ идеи французской философіи прошлаго вѣка, читалъ Вольтера, Руссо и др. и даже перевелъ изъ извѣстной тогда книги *Systeme de la Nature*, въ которой проповѣдывался матеріализмъ, „Уставъ Натѹры“, а такъ какъ по цензурнымъ отношеніямъ его напечатать было нельзя, то онъ рѣшился раздавать его въ рукописи знакомымъ. Когда онъ сталъ для этого переписывать рукопись, имъ овладѣло, по его собственному наивному признанію, сильное раскаяніе. Рукопись свою

онъ сжегъ и въ очищеніе совѣсти написалъ опроверженіе того, что такъ недавно ему нравилось. Это небольшое его „Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями, и опроверженіе ихъ вредныхъ правилъ, и чтущимъ Бога и любящимъ добродѣтель усердно посвящаемое“ напечатано въ 1780 году. Содержаніе его видно изъ самого заглавія. Хотя Лопухинъ и не называетъ именъ тѣхъ писателей, на которыхъ нападаетъ, но ясно, что это представители свободной философіи того вѣка, которые „разумъ свой содѣлываютъ орудіемъ погубленія людей“. Разсужденіе Лопухина похоже на дѣтское реторическое упражненіе; онъ опирается на одно нравственное чувство и старается доказать бытіе Бога и безсмертіе души, опровергаемая авторомъ *Systeme de la Nature*. Эта точка зрѣнія Лопухина была совершенно масонская, и дѣйствительно, черезъ два года онъ сдѣлался масономъ. На образъ мыслей его имѣли большое вліяніе двѣ, весьма уважаемыя масонами книги: Сентъ-Мартеня „О заблужденіяхъ и истинѣ“ и Арндта „О истинномъ христіанствѣ“. Съ этихъ поръ Лопухинъ полюбилъ чтеніе духовныхъ книгъ, удовлетворявшихъ его религіозной потребности и приготовившихъ его къ масонству. Вскорѣ онъ вступилъ въ масонское общество и сдѣлался однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ его, но на дѣло масоновъ и мартинистовъ смотрѣлъ, повидимому, только съ религіозной стороны. „Цѣль сего общества, говоритъ онъ въ „Запискахъ“¹⁾, была издавать книги духовныя и наставляющія въ нравственности истинно евангельской, переводя глубочайшихъ о семъ писателей на иностранныхъ языкахъ, и содѣйствовать хорошему воспитанію, помогая особливо готовящимся на проповѣдь слова Божія чрезъ удобнѣйшія средства приобрѣтать знанія и качества, нужныя къ оному званію, для чего и воспитывались у насъ больше 50 семинаристовъ, которые отданы были отъ самихъ епархіальныхъ архіереевъ съ великою признательностію“. Все дѣло масоновъ, по его словамъ, было „упражненіе въ познаніи самого себя, творенія и Творца, по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ премудрости (VII, 17—22), науки, содержащейся въ библіи, и писаніяхъ мужей, непосредственнымъ откровеніемъ просвѣщенныхъ отъ Бога, открывающей начало всѣхъ вещей, безъ познанія коихъ никогда *натура вещей* истинно извѣстна быть не можетъ“. Наука эта, какъ видите, всеобъемлющая, дается откровеніемъ, т.-е. чувствомъ, серд-

¹⁾ Записки нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни и службы д. т. сов. сенатора И. В. Лопухина, сочиненныя имъ самимъ. М. 1860. Изъ II и III книжекъ Чтенія въ Общ. ист. и древн., стр. 15.

Другое изданіе, съ предисловіемъ А. Герцена, въ Лондонѣ 1860 г.

цемъ. Изъ его объясненій и признаній видно, что масонство имѣло для него религіозно-нравственный характеръ, и Лопухинъ не увлекался тѣми алхимическими бреднями розенкрейцеровъ, которыя излагались во множествѣ масонскихъ книгъ. Онъ удивляется, какъ мало даже самые разумные люди занимаются тѣмъ, что необходимо нужно для ихъ вѣчнаго благополучія и для истиннаго блага въ здѣшней жизни. Это необходимое есть духъ Христовъ, духъ чистой любви къ Богу и ближнему, источникъ настоящей добродѣтели. „Въ школахъ и на каедрѣхъ твердятъ, говоритъ Лопухинъ: люби Бога, люби ближняго, но не воспитываютъ той натуры, коей любовь сія свойственна, какъ бы разслабленнаго больного, не вылѣчивъ и не укрѣпивъ, заставляли ходить и работать“. Человѣку нужно переродиться нравственно, и это перерожденіе достигалось въ масонствѣ. „Тогда евангельская нравственность будетъ ему возможна и природна. тогда онъ будетъ любовію къ Богу любить ближняго“. Что слова эти о любви къ ближнему не были для Лопухина ничего не значащими фразами, а вошли въ содержаніе всей его жизни, сдѣлались твердыми убѣжденіями его ума, свидѣлствуютъ многія стороны его жизни. Въ томъ же 1782 году, когда Лопухинъ вступилъ въ общество масоновъ, онъ сдѣлался совѣтникомъ Московской уголовной палаты, а въ 1784 году предсѣдателемъ ея. Стоитъ только вспомнить, общую грубость и жестокость нравовъ того времени, то презрѣніе къ человѣчеству, которымъ было проникнуто тогда общество, чтобъ убѣдиться, сколько человѣкъ съ нравственно-чистыми взглядами и христіанскою любовью къ ближнему, какую высказывалъ Лопухинъ, могъ сдѣлать добра людямъ по мѣсту своего служенія. „Въ должности сей принялъ я за правило наблюдать, говоритъ онъ, чтобъ какъ невинной не былъ никогда осужденъ, такъ бы и виноватой не избѣжалъ наказанія, но по человѣколюбію сколько можно больше умѣреннаго, не удаляясь, однакожъ, отъ силы законовъ“. Лопухинъ считалъ цѣлю наказанія—исправленіе преступника. Онъ возставалъ противъ жестокости въ наказаніяхъ, которую называлъ „плодомъ злобнаго презрѣнія къ человѣчеству“ и „безполезнымъ тиранствомъ“. Лопухинъ былъ, конечно, самый гуманный судья въ тотъ желѣзный вѣкъ; это человѣколюбіе было въ немъ воспитано не „Наказомъ“ Екатерины, а масонскими книгами; съ ихъ помощью ему легче было понять нравственное ученіе христіанства. У Лопухина это была единственная точка зрѣнія. Въ ту пору, въ уголовной палатѣ, очень часто шла рѣчь о количествѣ ударовъ кнутомъ преступнику, и Лопухинъ всегда стоялъ за меньшее число ихъ и входилъ по этому въ споры съ своими сослуживцами и московскими

генераль-губернаторами, смотрѣвшими на такую мягкость, какъ на нарушение строгости законовъ. Надобно думать, что сила убѣжденія и искренность чувства не разъ давали перевѣсъ словамъ и доводамъ Лопухина, о чемъ онъ и самъ говоритъ. Свой взглядъ на человѣколюбиваго судью Лопухинъ высказалъ въ слѣдующихъ словахъ: „Какъ странно видѣть, когда люди напрягаютъ всѣ силы свои, чтобъ найти виноватаго, для того только, чтобъ его наказать, и безъ совершеннаго увѣренія въ его винѣ, спѣшатъ осудить его, и сіе часто изъ мнимаго правосудія и усердія къ сохраненію порядка, какъ будто безъ того онъ совершенно бы возмущился, и остановилось бы дѣйствіе невидимо, но всегда и вездѣ безпогрѣшно дѣйствующаго источника его. Страннѣе еще иногда видѣть, съ какимъ рвеніемъ нѣсколько грабителей и мздоимцевъ, при чувствахъ, самой видъ добраго усердія имѣющихъ, стараются натянуть доказательства къ обвиненію какого-нибудь бѣдняка, впадшаго и въ неважное преступленіе, и по какому нибудь, можетъ быть, особливо несчастному стеченію обстоятельствъ“¹⁾. Смертную казнь Лопухинъ называетъ бесполезною и возстаётъ противъ нея изъ христіанскаго чувства. И въ послѣдствіи, когда Лопухинъ, уже при Александрѣ, сдѣлался сенаторомъ въ Москвѣ, онъ не измѣнялъ своимъ прежнимъ взглядамъ и человѣколюбію. „Большаго труда стоило мнѣ, говорить онъ, успѣвать въ пощадѣ челоѣчества, по причинѣ того несчастнаго предубѣжденія, коимъ исполнены были мои товарищи, что государю будто угоденъ судъ самый строгій“²⁾. И тутъ много разъ приходилось ему защищать челоѣчество передъ сенаторами, которые, по его выраженію, часто не могутъ разглядѣть „мелкое челоѣчество въ людяхъ породы незнатной или скудной благами земли“. Лопухинъ умѣлъ объяснять преступления тою средою, къ которой принадлежалъ преступникъ; онъ не смотрѣлъ безусловно и допускалъ многія извиняющія обстоятельства. Онъ позволялъ себѣ ставить на одни вѣсы, съ одной стороны судью-сенатора съ его привилегированною обстановкою, а съ другой „какого нибудь крестьянскаго сына, въ грубомъ невѣжествѣ выросшаго, развращеннаго пьянствомъ, который, заворовавшись, укрывается въ лѣсахъ и рѣжетъ людей для того, чтобъ чрезъ нихъ не быть пойманнымъ и сосланнымъ на каторгу“....³⁾. Но въ Сенатѣ Лопухину было гораздо труднѣе дѣйствовать, чѣмъ прежде въ уголовной палатѣ. Сенаторы рѣдко поддавались его убѣжденіямъ, особенно когда прошли лучшіе годы

¹⁾ Ibid., стр. 4—5.

²⁾ Ibid., стр. 71.

³⁾ Ibid., стр. 82.

царствованія Александра. Консерваторы приободрились и явились строгими защитниками и исполнителями законовъ. „Были голоса, чтобъ сѣчь по жеребью десятаго“—говорить Лопухинъ. Его называли „мартинистомъ и спорщикомъ“. „На ихъ языкѣ мартинистомъ называется тотъ, говоритъ онъ, кто вѣритъ Христу и Евангелію, а спорщикомъ—кто не соглашается на все изъ угожденія Двору и имъ не притакиваетъ“¹⁾.

Такъ практическое пониманіе христіанства въ масонствѣ привело Лопухина къ дѣятельному человѣколюбію, къ желанію видѣть ближняго и въ преступникѣ. Съ другой стороны, тотъ же образъ масонскихъ мыслей развилъ въ Лопухинѣ вѣротерпимость, конечно, рѣдкую въ томъ обществѣ, потому что въ устахъ Екатерины, преслѣдовавшей раскольниковъ, она была только фразою. Въ 1801 году, Лопухинъ, въ качествѣ сенатора, съ товарищемъ своимъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, ревизовалъ Слободско-Украинскую губернію. Тамъ встрѣтился онъ въ первый разъ съ сектою *духоборцевъ*. Въ мѣстномъ архіерее онъ нашелъ только строгаго для нихъ судью. Земскій исправникъ называлъ ихъ „злодѣями“, потому что они не похожи на христіанъ: „кровинки въ лицѣ нѣтъ“. Лопухинъ захотѣлъ познакомиться съ тѣми изъ нихъ, которые въ началѣ воцаренія Александра были возвращены изъ каторги и поселенія, куда они были сосланы указами Екатерины и Павла. Ихъ велѣно было водворить на прежнихъ мѣстахъ жительства и наставлять ихъ, въ случаѣ нужды, безъ принужденія. Но архіерей послалъ тотчасъ же для увѣщанія духоборцевъ двухъ, по его словамъ, ученѣйшихъ священниковъ, и при нихъ отправился засѣдатель земскаго суда съ командою—по распоряженію губернатора. Слѣдствіемъ этихъ дѣйствій было непослушаніе раскольниковъ, названное бунтомъ; они отказались отъ уплаты податей и отъ рекрутъ, а засѣдатель прислалъ ихъ религіозные стихи, какъ доказательство безбожія. Лопухинъ взялся поправить дѣло и представилъ Александру особый докладъ о духоборцахъ, послужившій поводомъ человѣколюбивыхъ для нихъ мѣръ. Кротость отношеній къ сектѣ и стремленіе какъ можно менѣе насиловать совѣсть сектантовъ—вотъ что рекомендуетъ Лопухинъ, какъ главный образъ дѣйствій въ сношеніяхъ съ духоборцами. Любопытенъ отзывъ Лопухина о нихъ въ донесеніи къ императору, свидѣтельствующій о томъ, что масоны видѣли во всякой сектѣ искреннюю вѣру и за нее прощали увлеченія: „Кромѣ безмѣрныхъ, фанатическихъ, можно сказать, предразсудковъ противъ всякой наружности и скептическаго особеннества и предпочтенія себя, нашелъ я въ нихъ понятія о

¹⁾ Ibid., стр. 125.

христіанствѣ самыя коренныя и правильныя. Сила вѣры въ нихъ весьма замѣчательная и общая. Никто почти изъ нихъ грамотѣ не знаетъ хорошенько, писать изъ многихъ, бывшихъ тогда у насъ, худо умѣлъ только одинъ, а всякой о законѣ говоритъ какъ книга“¹⁾). По представленію Лопухина, всѣ харьковскіе духоворцы избѣгли дальнѣйшихъ преслѣдованій и были переселены въ особую мѣстность, извѣстную подъ именемъ „Молочныя Воды“, съ щедрымъ пособіемъ отъ правительства. Защита Лопухинымъ духоворцевъ, полное любви и чуждое фанатизма отношеніе къ нимъ возбудили противъ него недовольство высшаго духовенства, что было совершенно естественно, такъ какъ послѣднее не понимало широкаго взгляда его и не могло отказаться отъ своихъ узкихъ обличеній и преслѣдованій. Противъ Лопухина кричали, его называли покровителемъ раскольниковъ и даже раскольниковъ. Первенствующій членъ синода въ письмѣ своемъ прямо обвинялъ Лопухина, что отъ его именно дѣйствій увеличивается число духоворцевъ. По словамъ Лопухина, за духоворцевъ возстало противъ него большинство общества, что и свидѣлствуетъ, на какомъ низкомъ уровнѣ развитія оно стояло. „Бранили меня нѣсколько ученыхъ монаховъ, говоритъ онъ, которые думаютъ, что все, касающееся религіи, есть ихъ монополія, и что безъ рясы и клобука не можно имѣть истиннаго просвѣщенія въ сей религіи, коея начало и конецъ есть сый вездѣ и вся исполняй“. Эта замѣтка Лопухина, къ великому несчастію русскаго общества, гдѣ религія существуетъ только какъ внѣшняя обрядность, употребляемая въ извѣстныхъ обстоятельствахъ жизни, и до сихъ поръ не утратила своей свѣжести. Люди безъ клобука, и рясы у насъ не могутъ писать о религіи. Извѣстный Хомяковъ, для котораго религіозные вопросы составляли потребность духа, долженъ былъ первоначально печатать статьи свои въ защитѣ православія за границею и по-французски, а когда ихъ напечатали по-русски, то книга была недопущена цензурою къ обращенію въ русскомъ обществѣ. Естественно, Лопухинъ долженъ былъ вызвать осужденіе этого общества своимъ гуманнымъ обращеніемъ съ духоворцами. „Бранили меня благочестивыми слышущіе старцы, кои не пропускаютъ обѣдней и прилежно разбираютъ, рыба ли вязига и можно ли въ постные дни чай пить съ сахаромъ, потому что въ него-де кладется кровь, и которые готовы безъ разбора подписывать людямъ ссылку, и всякую неправду для пріятели, особливо для вельможи придворнаго“²⁾). Лопухинъ принужденъ былъ оправдывать свой образъ мыслей и дѣйствій въ особой книжкѣ,

¹⁾ Ibid., стр. 98.

²⁾ Ibid., стр. 105—106.

оставшейся въ рукописи, „Отзывъ искренности“, любопытной потому, что въ ней раскрывается взглядъ масона на секты. Между масонами было въ большомъ уваженіи извѣстное сочиненіе протестанта Арнольда „Исторія ересей и расколовъ“. Оно воспитало ихъ вѣротерпимость и ихъ уваженіе къ ересямъ, въ которыхъ они замѣчали присутствіе живой вѣры. За эту вѣру Лопухинъ и защищалъ духовъ борцевъ. Для насъ важно то, что эта вѣротерпимость, уваженіе къ чужому вѣрованію воспитаны въ немъ масонствомъ. Точно также и дѣятельная помощь неимущимъ составляла отличительную черту нравственного характера Лопухина, также воспитанную въ немъ масонствомъ. Правительство смотрѣло даже на милостыню, раздаваемую Лопухинымъ, подозрительно. Онъ раздавалъ ее въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что московскій главнокомандующій при Екатеринѣ, князь Прозоровскій, думалъ, не дѣлаетъ ли онъ фальшивыхъ денегъ. Въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ безусловно стоитъ за милостыню изъ чувства человеколюбія. Что за бѣда, если иной проплетъ нѣсколько поданныхъ копѣекъ? Лопухинъ роздалъ все свое имѣніе неимущимъ. Карамзинъ называетъ его „нищелюбивымъ“. Его дворъ былъ полонъ всегда нищими и ни одинъ не уходилъ отъ него безъ помощи — говорить о немъ Н. И. Тургеневъ.

ЛЕКЦІЯ XXXVII.

Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.—Эккартсгаузенъ.

Въ разныхъ сторонахъ характера и общественной дѣятельности Лопухина, какъ мы видѣли, отразилось сильное нравственное вліяніе масонства, котораго онъ былъ дѣятельнымъ членомъ, принимая участіе во всѣхъ издательскихъ, педагогическихъ и благотворительныхъ предпріятіяхъ Новикова. Мы уже видѣли, какую цѣль искалъ Лопухинъ въ масонствѣ: это было нравственное совершенствованіе человѣка, какъ онъ самъ высказывалъ; средства для этой цѣли давались религіознымъ, въ духѣ масонства, воспитаніемъ. На эту сторону масонской дѣятельности больше всего обращалъ вниманіе Лопухинъ и жертвовалъ для нея своимъ состояніемъ. Онъ имѣлъ даже своихъ собственныхъ воспитанниковъ, имъ самимъ выбранныхъ. Такъ онъ отправилъ на свой счетъ за границу учиться медицинѣ двухъ молодыхъ воспитанниковъ Новиковской семинаріи, Невзорова и Колокольникова, изъ которыхъ первый сдѣлался въ Александровское время весьма дѣятельнымъ мистическимъ писателемъ и въ своихъ изданіяхъ отзывался самымъ восторженнымъ образомъ о благодѣтелѣ

своимъ Лопухинѣ. Въ исторіи масонства, кромѣ того, Лопухинъ извѣстенъ своимъ усердіемъ къ распространенію новыхъ ложъ въ провинціи и завербованію членовъ въ братство, чему способствовали его богатство, связи, частыя поѣздки въ имѣнія и общительный характеръ. вмѣстѣ съ прочими мартинистами и онъ подвергнулся допросамъ и преслѣдованіямъ, но избѣжалъ, однако, ссылки. Его оставили въ Москвѣ, кажется, изъ уваженія къ престарѣлому отцу его, заслуженному генералу, когда-то очень любимому прусскимъ королемъ Фридрихомъ В. Онъ и жилъ въ Москвѣ до самой смерти Екатерины, впрочемъ, окруженный шпіонами.

Царствованіе Павла, отмѣнявшаго всѣ распоряженія своей матери, выдвинуло впередъ Лопухина, но на короткое время. Вскорѣ послѣ вступленія Павла на престолъ, Лопухинъ получилъ письмо отъ своего пріятеля, близкаго къ новому императору—Плещеева, тоже масона, съ увѣдомленіемъ, что Павелъ желаетъ поступленія на службу Лопухина. Это было вскорѣ послѣ освобожденія Новикова. Затѣмъ Лопухинъ получилъ уже именное повелѣніе императора ѣхать въ Петербургъ и лично явиться къ нему. Павелъ давно зналъ о дружбѣ Лопухина съ Плещеевымъ и извѣстнымъ масономъ, княземъ Н. В. Репнинымъ, которыхъ уважалъ. Онъ настоятельно требовалъ къ себѣ Лопухина и торопилъ его, принявъ его въ высшей степени ласково и сдѣлавъ тотчасъ же статсъ-секретаремъ. Довѣріе Павла къ Лопухину, согласно свойствамъ его увлекающейся натуры, на первыхъ порахъ было безгранично, но Лопухинъ, лишенный всякаго честолюбія и изъ христіанскаго смиренія, не воспользовался своимъ положеніемъ, не искалъ ни почестей, ни наградъ. Зная чловѣколюбіе Лопухина, Павелъ поручилъ ему, конечно, пріятное для него дѣло. Въ его вѣдѣніе перешли всѣ дѣла по тайной канцеляріи, ему открытъ былъ свободный доступъ ко всѣмъ заключеннымъ и дано право присутствовать при всѣхъ слѣдствіяхъ. Но Лопухину, не имѣвшему свойствъ придворнаго чловѣка, нельзя было долго удержаться въ милости при Павлѣ.

Близость къ императору возбудила сначала зависть, но завистники, по словамъ Лопухина, успокоились вскорѣ, видя неспособность его характера для придворной жизни. Вскорѣ Павелъ, дѣйствительно, сталъ выказывать холодность Лопухину; объясниться откровенно и положить конецъ недоразумѣніямъ было невозможно, да и друзья Лопухина не совѣтовали. Притомъ, несмотря на свою холодность къ Лопухину, самъ Павелъ долго не рѣшался отпустить его отъ себя. Наконецъ придворная служба его кончилась благополучно и, конечно, къ полному удовольствію Лопухина. Онъ былъ произведенъ въ тайные совѣтники и назначенъ сенаторомъ въ

Москву. Онъ вынесъ, какъ и слѣдовало ожидать, не совсѣмъ благопріятное представленіе о придворной жизни. „Картина ея, говоритъ онъ, весьма извѣстна и всегда та же, только съ нѣкоторою переменною въ тѣняхъ. Корысть — идолъ и душа всѣхъ ея дѣйствій. Угодничество и притворство составляютъ въ ней весь разумъ, а острое словцо въ толчокъ ближнему — верхъ его“¹⁾).

Мы уже говорили, что служебная дѣятельность Лопухина въ Москвѣ происходила по уголовному департаменту, гдѣ онъ старался по возможности смягчать тяжесть наказаній и облегчать участь преступниковъ. Въ послѣдній годъ царствованія Павла Лопухинъ, вмѣстѣ съ другимъ сенаторомъ, Спиридовымъ, отправленъ былъ для ревизіи Вятской губерніи. Памятникомъ этой ревизіи осталась небольшая книжка, напечатанная Лопухинымъ въ 1800 году, „Выпискѣ наставленій и приказаній, данныхъ гг. сенаторами при осмотрѣ Вятской губерніи“. Она представляетъ первый, хотя, конечно, довольно ограниченный, опытъ примѣненія гласности къ дѣламъ административнымъ и судебнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное изображеніе губерніи въ этихъ отношеніяхъ. Лопухинъ очень подробно обревизовалъ ее, нашелъ въ ней множество злоупотребленій, и послѣдствіемъ ревизіи, уже при Александрѣ, было строгое наказаніе виновныхъ. Въ губерніи было много взяточничества; и вотъ какъ Лопухинъ, съ своей точки зрѣнія, смотритъ на эту язву: „Кажется, справедливо сказать можно, что едва ли не тщетны почти всѣ старанія о искорененіи взятокъ. Надобно сдѣлать прежде, если можно, чтобъ въ людяхъ лакомства не было, чтобъ они нужды и прихотей не имѣли, чтобъ наконецъ боялись Бога, какъ свидѣтеля всего, или бы страстно любили правду, что безъ любви къ небесному ея источнику невозможно, или весьма ненадежно“. Это былъ идеальный, масонскій взглядъ.

По вступленіи на престолъ Александра, Лопухинъ исполнялъ, въ качествѣ сенатора, тоже нѣсколько порученій императора. О его поѣздкѣ въ Харьковскую губернію и о его отношеніи къ духовоборцамъ мы уже говорили. По окончаніи этой ревизіи, Лопухинъ былъ выбранъ въ Москвѣ въ совѣстные судьи, но Александръ почему-то не утвердилъ этого выбора и, неожиданно для Лопухина, назначилъ его предсѣдателемъ комиссіи для разбора споровъ и опредѣленія повинностей на Крымскомъ полуостровѣ. Это удалило его на нѣсколько лѣтъ на неизвѣстный ему югъ Россіи и заставило изучать также совершенно неизвѣстныя ему отношенія края. Несмотря на успѣхи предпринятыхъ имъ мѣръ, Лопухину не нравилась эта слу-

¹⁾ Ibid., стр. 70.

жебная дѣятельность. Ему хотѣлось отставки, которую онъ и получилъ въ 1805 году, воротившись снова въ сенаторскимъ обязанностямъ. Въ концѣ 1806 года Лопухинъ снова выступаетъ, однако, на государственную дѣятельность. Въ это время, по поводу войны съ Наполеономъ, была учреждена въ Россіи милиція. Нѣсколько сенаторовъ было послано въ разныя губерніи для наблюденія за сохраненіемъ порядка и тишины. Надзору Лопухина ввѣрены были губерніи: Тульская, Калужская, Владимірская и Рязанская. Изъ донесеній его къ государю, писанныхъ имъ въ это время и включенныхъ въ „Записки“, видно, что Лопухинъ не раздѣлялъ общаго восторженнаго взгляда правительства на милицію и видѣлъ въ ней чрезвычайную тягость для народа.

„Нѣтъ никого, кромѣ водимыхъ личными видами выгодъ, пишетъ онъ, кто бы не находилъ учрежденіе милиціи тягостнымъ и могущимъ разстроить общее хозяйство и мирность поселянской особливо жизни. Кто скажетъ Вамъ иное, Государь, тотъ обманщикъ“. Точно также Лопухинъ возстаетъ и противъ возбужденія къ денежнымъ пожертвованіямъ, которыми выказывалось тогдашнее патріотическое увлеченіе. Такъ онъ былъ свидѣтелемъ громаднаго приношенія московскаго купечества посредствомъ общей раскладки по гильдіямъ. „Видѣлъ я отъ того ропотъ даже не между бѣднымъ купечествомъ, говоритъ Лопухинъ, а у послѣдняго видѣлъ я и слезы отчаянія. Впрочемъ, они же за это наложатъ на товары, и возвышеніемъ цѣнъ усугубится общественная трата“ ¹⁾. Такая откровенность Лопухина, впрочемъ, не понравилась Александру и онъ далъ ему это замѣтить. Къ этому времени относятся также нѣсколько мыслей Лопухина по поводу крѣпостного вопроса, изложенныхъ въ донесеніяхъ къ государю. Лопухинъ былъ противникомъ освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ, и такой взглядъ на вещи кажется весьма страннымъ и необъяснимымъ въ человѣкѣ, столь гуманномъ и воспитанномъ по масонскимъ идеаламъ. Объяснить такой взглядъ можно; кажется, только преувеличенною боязнью Лопухина за спокойствіе государства при общемъ недовольствѣ тяжелымъ бременемъ милиціи. „Усердствуя именно о спокойствіи“, по его словамъ, Лопухинъ представляетъ государю о томъ, чтобъ „не возобновлялся указъ, раздѣляющій время работъ крестьянскихъ на себя и на помѣщиковъ, ограничивающій власть послѣднихъ, несходно съ общею пользою, — указъ, котораго памяты слѣдствія при изданіи его, и который, смѣю сказать, хорошо, что оставался какъ бы безъ исполненія“ ²⁾. Ло-

¹⁾ Ibid., стр. 136.

²⁾ Ibid., стр. 137.

пухинъ былъ человѣкъ осторожный; онъ близко видѣлъ положеніе вещей въ губерніяхъ и, можетъ быть, причина его страха была нѣсколько основательна въ то время; до взглядовъ настоящаго государственнаго человѣка онъ не могъ возвыситься, но онъ старается отстранить отъ себя всякое подозрѣніе въ чисто личныхъ, эгоистическихъ, помѣщичьихъ разчетахъ: „Въ Россіи ослабленіе связей подчиненности крестьянъ помѣщикамъ, говоритъ онъ, опаснѣе самаго нашествія непріятельскаго, и не въ настоящемъ положеніи вещей. Я могу о семъ говорить безпристрастно, никогда истинно не дороживъ правами господства, стыдясь даже выговаривать слово холопъ, до слабости можетъ быть снисходителенъ будучи къ своимъ крестьянамъ. Первый, можетъ быть, желаю, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было; и наконецъ, будучи наканунѣ, по извѣстнымъ Вашему Величеству обстоятельствамъ долговъ моихъ, не имѣть, можетъ быть, ни одной деревни“ ¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ Лопухинъ высказываетъ свою боязнь мятежей и волненій, которые ему были также страшны, какъ и „ложное просвѣщеніе, на безвѣріи основанное“. Послѣднее онъ не любилъ, какъ масонъ. Эти мысли и убѣжденія привели Лопухина къ консерватизму и къ нелюбви вообще европейскаго просвѣщенія, въ которомъ онъ видѣлъ ни болѣе ни менѣе, какъ заразу для своей родины: „Главное искусство россійской политики должно состоять въ томъ, говоритъ онъ, чтобъ сколько можно не только меньше зависѣть отъ Европы, но и меньше связей съ нею имѣть, какъ политическими сношеніями, такъ и нравственными. Подъ именемъ послѣднихъ разумѣю я обычаи, коихъ заразительная гнилость снѣдаетъ древнее здравіе душъ и тѣлъ россійскихъ“ ²⁾. Мысль объ освобожденіи помѣщичьихъ крестьянъ, по его мнѣнію, принадлежитъ также къ этой европейской заразѣ и Россіи она можетъ принести только вредъ. Когда въ московскомъ сенатѣ, гдѣ Лопухинъ присутствовалъ, разбирались дѣла крѣпостныхъ, ищущихъ вольности отъ помѣщиковъ, какихъ дѣлъ во время существованія крѣпостнаго права было у насъ вообще много, и когда прочіе сенаторы, въ угоду мысли объ освобожденіи, которая никогда не покидала Александра, старались угодить государю, поддерживая, иногда съ натяжками, права ищущихъ вольность, то Лопухинъ, „никогда не соглашался удовлетворять просьбамъ такихъ ищущихъ вольности, безъ совершеннаго, по законамъ, ихъ на то права“. Вообще въ мысляхъ о крѣпостномъ состояніи Лопухинъ сходилъ во

¹⁾ Ibid., стр. 137—138.

²⁾ Ibid., стр. 153.

взглядѣ на тотъ же предметъ съ Карамзинымъ. Дѣйствительно, можно сказать, что идея освобожденія не была у насъ въ то время глубоко сознаваема лучшими представителями русскаго общества, не была воспитана собственнымъ развитіемъ, а существовала только какъ общая идея, была плодомъ свободной европейской философіи прошлаго вѣка. Лопухинъ боялся освобожденія въ видахъ государственной пользы.

„Еще скажу, что я первой, можетъ быть желаю, говорить онъ, чтобъ не было на русской землѣ ни одного несвободнаго человѣка, еслибъ только то безъ вреда для нея возможно было. Но народъ требуетъ обузданія и для собственной его пользы. Для сохраненія же общаго благоустройства нѣтъ надежнѣе полиціи, какъ управленіе помѣщиковъ (то же говорилъ и Карамзинъ). Тираны изъ нихъ должны быть обузданы, но сіе должно быть такъ расположено, чтобъ начальники губерній, при обузданіи тиранства, столько же бы страшились наказанія за малѣйшее при томъ излишество или пристрастіе, и столькожъ бы увѣрены были не избѣжать того наказанія, сколько тираны за тиранство“.

„И еще скажу, что по сіе время въ Россіи ослабленіе связей подчиненности помѣщикамъ опаснѣе нашествія непріятельскаго. Свойственно мягкосердечію жалѣть и о томъ, когда не совсѣмъ еще отъ болѣзней оправившіеся могутъ только прогуливаться въ больничномъ саду и вѣсть только то, что имъ велятъ лекари, свойственно доброму сердцу желать, чтобъ они какъ можно скорѣе воспользовались полною для всѣхъ свободою; но дать ее имъ прежде времени, было бы ихъ же уморить“ ¹⁾. Изъ приведенныхъ мыслей и словъ Лопухина очевидно, что масоны никогда не думали о совершеніи какихъ-нибудь реформъ въ государственномъ строѣ страны, хотя бы эти реформы совершенно соотвѣтствовали нравственнымъ цѣлямъ масонства. Они, какъ это извѣстно, примирялись съ государственными формами всякаго рода, со всякимъ правительствомъ, что и доказываетъ, какъ бессмысленно было преслѣдованіе ихъ со стороны власти. Масоны хлопотали только о нравственномъ и религіозномъ совершенствованіи внутренняго человѣка. Такова была вся масонско-мистическая литература; такова, въ особенности, и замѣчательная литературная дѣятельность Лопухина. Она очень цѣнилась мистическими писателями Александровскаго времени.

Мы уже говорили, что писательская дѣятельность Лопухина началась нападками съ его стороны на матеріальныя ученія француз-

¹⁾ Ibid., стр. 158—159.

сихъ философовъ. Самое масонство отчасти возникло изъ противодѣйствія этому матеріализму, а потому Лопухинъ, еще не будучи масономъ, уже раздѣлялъ мысли масоновъ. Дальнѣйшая его литературная дѣятельность развилась въ особенности во время преслѣдованія масоновъ. Его возмущало невѣжественное недовѣріе власти къ тѣмъ мыслямъ, которыя занимали масоновъ. Въ разговорахъ съ митрополитомъ Платономъ, который также не одобрялъ масоновъ, возникла, по словамъ Лопухина, первая мысль небольшого сочиненія, въ которомъ онъ выступилъ на защиту ученія своихъ единомышленниковъ и гдѣ хотѣлъ „представить въ самыхъ истинныхъ и краткихъ чертахъ всѣ начала науки и нравственности нашего общества“. То былъ „Нравоучительный Катихизисъ истинныхъ франкъ-масоновъ“, сочиненіе, переведенное Лопухинымъ по французски и анонимно напечатанное въ компанейской типографіи, а потомъ пущенное въ продажу будто книга, присланная изъ-за границы. Въ этомъ катихизисѣ Лопухинъ старается доказать, что въ масонствѣ и заключается истинное пониманіе христіанства и что оба понятія равнозначущи. Онъ доказываетъ, что масоны отличаются духомъ братства, одинаковымъ съ христіанствомъ, что цѣли ихъ одинаковы, что истинный масонъ долженъ также любить Бога больше всего и ближняго, какъ самого себя, подобно христіанину, что главное упражненіе масоновъ есть послѣдованіе Іисусу Христу. Далѣе слѣдуетъ уже собственное ученіе масоновъ и ихъ представленія, выраженные на не совсѣмъ понятномъ языкѣ. Искусство франкъ-масоновъ состоитъ въ наукѣ вѣдать тайны царствія Божія; живутъ они въ обновленномъ Эдемѣ и таинство ордена пріобрѣтается *возрожденіемъ*. Это таинство открываетъ „то, чего око не видѣло и ухо не слышало, и на сердце человѣку не всходило“. Затѣмъ идутъ опредѣленія, какихъ нравственныхъ свойствъ долженъ быть настоящій франкъ-масонъ, въ чемъ заключаются его обязанности къ государю, къ властямъ, къ правительственной церкви, къ подвластнымъ, къ людямъ вообще, къ врагамъ и проч., затѣмъ къ роднымъ, къ женѣ, дѣтямъ и къ самому себѣ, — правила, которыя легко могутъ найти мѣсто и во всякомъ катихизисѣ, изданномъ официальной церковью. Дѣятельность масоновъ опять излагается языкомъ мистическимъ, понятнымъ только для однихъ посвященныхъ. Истинная работа въ нравственности начинается тогда, когда человѣкъ начнетъ „совлекаться ветхаго Адама, а оканчивается, когда ветхій Адамъ совлеченъ совершенно. Всякой трудъ и работа (т.-е. дѣло масонства) перестанутъ тогда, „когда не останется на землѣ ни единой воли, которая бы не совершенно предалась Богу; когда золотой вѣкъ, который Богъ хочетъ прежде внутренне возстановить, въ маломъ своемъ избранномъ народѣ, рас-

пространится вездѣ и явится внѣшне, и когда царство самой природы освободится отъ проклятій и возвратится въ средоточіе солнца“. Такими неопредѣленными, широкими фразами, повидимому, удовлетворялись масонскіе братья; подѣ ними можно было разумѣть какое угодно содержаніе. А въ заключеніе они говорили: „Могій вмѣстити да вмѣститъ“. Впрочемъ, всѣ эти опредѣленія „Нравственнаго Кати-хизиса франкъ-масоновъ“ были подкрѣплены текстами, почерпнутыми Лопухинымъ изъ Св. Писанія, такъ что, присоединяя это сочиненіе къ другому, нѣсколько позднѣе вышедшему, „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, Лопухинъ могъ справедливо назвать этотъ катихизисъ, составленный въ вопросахъ и отвѣтахъ, „Краткое изображеніе качествъ и должностей истиннаго христіанина, почерпнутое изъ Слова Божія“. Небольшое сочиненіе это, какъ апологію масоновъ, Лопухинъ считалъ очень важнымъ. Онъ присоединилъ его и къ другому сочиненію, вышедшему также въ 1791 году, подѣ названіемъ „Духовный рыцарь или ищущій премудрости“, подѣ которымъ разумѣется также масонъ. Сочиненіе это написано тѣмъ непонятнымъ и туманнымъ языкомъ, которымъ привыкли писать масоны, и потому даетъ, къ сожалѣнію, самое неопредѣленное представленіе о догматической сторонѣ масонскаго ученія. По словамъ самого Лопухина, въ этой книгѣ представлены имъ „главные пункты герметической науки, образъ ея святилища, ходъ внутренняго обновленія чело-вѣка и начала самопознанія и глубокой морали“ ¹⁾. Все это изложено туманнымъ мистическимъ языкомъ, и читатель, конечно, не пойметъ изъ этой книги, что такое герметическая или тайная наука. Лопухинъ, повидимому, нападаетъ на тайную науку. Онъ называетъ въ этомъ сочиненіи членами Антихристовой церкви тѣхъ „духовныхъ сластолюбцевъ“, которые „прилежатъ къ тайнымъ наукамъ не по любви къ истинѣ, но для удовлетворенія самолюбію своему“, которые „прилѣпляются къ златодѣланію, къ продолженію грѣховной своей жизни, къ упражненію въ буквѣхъ теософіи, каббалы, алхиміи“. Отсюда однако легко вывести заключеніе, что Лопухинъ не причисляетъ къ Антихристовой церкви тѣхъ, кто занимается этими предметами не изъ самолюбія, а по любви къ истинѣ. Слѣдовательно, въ ту пору, и Лопухинъ вѣрилъ въ возможность тайныхъ наукъ и, подобно Новикову, былъ зараженъ вздоромъ нѣмецкаго розенкрейцерства. Общія правила „духовнаго рыцаря“ — тѣ же, что и въ катихизисѣ. Очень любопытно постановленіе, что масонами могутъ быть только христіане.

¹⁾ Ibid., стр. 30.

Самымъ важнымъ для масонства и мистицизма сочиненіемъ Лопухина, весьма уважаемымъ мистиками нашими, были „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели“. Сочиненіе это напечатано было въ первый разъ уже въ царствованіе Павла (СПБ., 1798), когда прекратились преслѣдованія масоновъ, но написано оно было, по разсказу Лопухина, еще въ 1791 году, вмѣстѣ съ другими сочиненіями, посвященными защитѣ и объясненію масонства. Книгѣ этой вообще посчастливилось между мистиками. Въ 1799 году она была переведена на французскій языкъ, подѣ наблюденіемъ самого Лопухина и напечатана въ Петербургѣ; въ 1801 году въ Парижѣ была сдѣлана перепечатка этого перевода, и вышло второе русское изданіе. Въ 1803 и 1804 годахъ оно было переведено Эвальдомъ на языкъ нѣмецкій и напечатано въ его духовномъ журналѣ „Christliche Monatschrift“, а потомъ отдѣльно (Нюрнбергъ, 1809 г.). Самъ Лопухинъ считаетъ это свое сочиненіе лучшимъ и важнѣйшимъ. Сочиненіе этой книги будетъ для Лопухина, по его словамъ, всегдашнимъ утѣшеніемъ, онъ увѣренъ въ пользѣ ея и убѣжденъ, что помощь Божія присутствовала при сочиненіи этой книги. И ученики Лопухина, напр., Невзоровъ, не находили словъ для похвалы этой книги. „Необходимымъ долгомъ почитаю, говоритъ Невзоровъ, единственную въ своемъ родѣ въ нынѣшнія времена сію книгу совѣтовать читать всѣмъ, кто не хочетъ довольствоваться одною поверхностью и наружностью христіанства, а желаетъ быть участникомъ внутреннихъ сокровищъ“¹⁾. Но для Невзорова и въ особенности Лопухина, чрезвычайно важна была похвала этому сочиненію, сдѣланная Экартсгаузеномъ, величайшимъ авторитетомъ для мистиковъ Александровскаго времени, котораго всѣ сочиненія были переведены тогда ими и котораго самъ Лопухинъ считаетъ однимъ изъ „величайшихъ свѣтилъ божественнаго просвѣщенія, извѣстныхъ въ нашемъ времени“²⁾. Лопухинъ съ этого времени сталъ съ нимъ переписываться. Здѣсь стоитъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ забытомъ теперь и не упоминаемомъ въ курсахъ исторіи нѣмецкой литературы имени. Вся его дѣятельность принадлежитъ XVIII вѣку, но его теософическія и мистическія сочиненія, изложенныя туманнымъ и дикимъ языкомъ, были писаны имъ подѣ конецъ жизни и сдѣлались у насъ извѣстны преимущественно въ переводахъ Лабзина и другихъ мистиковъ Карлъ Экартсгаузенъ, баварецъ, былъ побочнымъ сыномъ какого-то

¹⁾ Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 112.

²⁾ Зап. стр. 31.

графа, родился въ 1752 году и получилъ сначала блестящее домашнее воспитаніе, которое развило въ немъ духовныя стремленія и жажду знанія. Потомъ изучалъ онъ въ Мюнхенѣ и Ингольштадтѣ юридическія науки, поступилъ на службу и до самой смерти своей, въ 1803 году, жилъ въ Мюнхенѣ въ довольно скромной должности перваго архивариуса двора баварскаго курфюрста. Экартсгаузенъ оставилъ послѣ себя множество литературныхъ произведеній и его справедливо называютъ самымъ плодovitымъ писателемъ Баваріи. Извѣстность литературную и уваженіе общества Экартсгаузенъ приобрѣлъ своими первыми сочиненіями, посвященными распространенію чистой нравственности и вообще просвѣщенію. Въ нихъ старался онъ опредѣлить отношеніе религіи и науки между собою, не нарушая правъ ни той, ни другой. Сочиненія эти проникнуты любовью къ человѣчеству. Въ особенности имѣли успѣхъ посвященные защитѣ оскорбленныхъ правъ человѣчества „Судейскія исторіи“ (Rittergeschichten, Münch., 1782), написанныя для молодыхъ юристовъ. Потомъ написаны были имъ „Нравственное ученіе для всѣхъ сословій“ (1784), „Рѣчи о благѣ человѣчества“ (1784), посвященныя общей нравственности; въ томъ же духѣ издавалъ онъ еженедѣльный журналъ „Sittenblatt“. Но самымъ извѣстнымъ его сочиненіемъ, переведеннымъ на нѣсколько языковъ, было сочиненіе, напечатанное въ Мюнхенѣ въ 1790 году, „Gott ist die reinste Liebe“ („Богъ есть любовь чистѣйшая“. Перев. Як. Уткинъ, СПБ., 1817). Уже въ этихъ сочиненіяхъ Экартсгаузена проглядываетъ мистицизмъ, но въ болѣе чистомъ видѣ; за то въ послѣдніе годы своей жизни онъ отдался ему съ особеннымъ увлеченіемъ и сталъ писать и издавать множество сочиненій, посвященныхъ магіи и теософско-алхимическимъ бреднямъ. Онъ сдѣлался авторитетомъ въ тайныхъ наукахъ и думалъ, что ему раскрыты таинства природы. Сочиненія его въ этомъ родѣ отрицали всякую возможность мысли, были въ постоянномъ спорѣ съ разумомъ, распространяли самый туманный и вредный мистицизмъ и между тѣмъ эти-то именно сочиненія Экартсгаузена пользовались у насъ величайшимъ уваженіемъ, переводились и распространялись въ обществѣ нашими мистиками. Они даже вѣрили въ дѣйствительность его видѣній. о которыхъ онъ печаталъ, и старались объяснить ихъ разумнымъ образомъ, а не какъ галлюцинаціи. Вообще у Экартсгаузена, какъ у всѣхъ мистиковъ, преобладало сердце надъ головою и оказывался недостатокъ положительныхъ знаній.

ЛЕКЦІЯ XXXVIII.

Соч. Лопухина «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви». — Драма «Торжество правосудія и добродѣтели». — «Отрывки».

Сочиненіе Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутренней церкви“, столь уважаемое мистиками, было написано имъ въ защиту и объясненіе масонства, подобно упомянутому нами прежде сочиненію его, „Ο Ζηλωσσοφος, Искатель премудрости или духовный рыцарь“. По словамъ Лопухина, сочиненіе это навлекло ему много непріятностей, особенно со стороны духовенства, и только похвала Эккертсгаузена ободрила его. Оно очень важно и любопытно для знакомства съ тѣмъ понятіемъ о масонствѣ, которое имѣли Новиковъ и его друзья. Къ сожалѣнію, въ немъ, какъ и въ прочихъ писаніяхъ нашихъ масоновъ, мистическія и теософическія увлеченія смѣшаны съ дикими представленіями объ алхиміи, магіи и каббалѣ, такъ что понятіе о „внутренней церкви“ дается слишкомъ смутное и нисколько не соответствующее христіанству. Очень вѣрно рецензентъ по богословію въ *Goetting. gelehrte Anzeigen* 1804 г., когда вышелъ нѣмецкій переводъ книги Лопухина, замѣтилъ, что она написана въ духѣ и языкомъ Арндта и что всѣ подобныя слова, какъ „возрожденіе, вѣчная любовь, распинаніе плоти, совлечь съ себя ветхаго Адама“ и т. п. заимствованы у Арндта,—замѣчаніе не понравившееся поклонникамъ Лопухина ¹⁾. Для насъ любопытно познакомиться съ общимъ очеркомъ и главнымъ содержаніемъ книги Лопухина, чтобъ понять, какъ смутны вообще представленія мистиковъ, нашихъ въ особенности, и какъ неопредѣленъ и фантастиченъ ихъ языкъ, въ которомъ люди увлеченные видѣли что-то чрезвычайно глубокое. Глава I говоритъ „О началѣ и продолженіи внутренней церкви“. Тутъ общія христіанскія представленія о грѣхопадении, о перво-родномъ грѣхѣ и пр. выражаются мистическими образами и языкомъ. Начало идетъ съ Адама, съ его блаженнаго состоянія въ раю. „Злоупотребленіе воли, преслушаніе Адамово, изгнало его изъ рая, погасило въ умѣ его свѣтильникъ небесной Премудрости, и низринуло его и въ немъ весь человѣческій родъ въ царство болѣзней, труда и смерти—на землю, покрытую терніемъ и волчцами“ (§ 4). Но „вѣчная любовь“ въ самую минуту паденія Адама, уже думала о его восстановленіи и „премудростію своею уготовляла средство возжечь въ душѣ его искру того свѣтильника, который освѣщалъ его до паденія“ (§ 5). „Первый

¹⁾ Др. Юн. 1811 г. Мартъ, стр. 105, сл.

вдохъ покаянія Адамова былъ, можно сказать, первый лучъ возсіянія въ немъ онаго Свѣта (онъ же и Слово), и первая точка основанія *внутренней церкви* Божіей на земли“. Эту церковь составляютъ патріархи, праведники, души благочестивыя. Въ ней Богъ творитъ великое дѣло обновленія. Съ другой стороны создалась на землѣ *церковь Антихристова*; ее составляютъ „воспаленные духомъ Каиновымъ“ (§ 7). Главное содержаніе книги Лопухина составляетъ изложеніе противоположныхъ свойствъ двухъ этихъ церквей. Церковь Христова описывается мистически въ видѣ Соломонова храма. Это и есть масонство, въ которомъ сохраняется лучшее пониманіе христіанства. Церковь Антихристову составляютъ главнымъ образомъ: „духовные сластолюбцы, прилежащіе къ тайнымъ наукамъ *не по любви къ истинѣ*, но для удовлетворенія самолюбію своему“. Они ищутъ познаній изъ любопытства, корысти и эгоизма, стремятся къ дѣланію золота, ищутъ средствъ для продолженія грѣховной жизни своей, упражняются въ теософіи, каббалѣ, алхиміи, тайной медицинѣ и магнетизмѣ. Изъ этого видно, что Лопухинъ не вводилъ всѣ эти такъ называемыя тайныя науки въ область предметовъ занятій настоящихъ масоновъ, а между тѣмъ, какъ извѣстно, они не только писали объ этихъ предметахъ, но дѣйствительно занимались ими: разница та только, что масоны думали заниматься этимъ не для удовлетворенія самолюбія или изъ эгоистическихъ расчетовъ, а по любви къ истинѣ, упражняться „не въ буквахъ только, а въ самой сущности“, какъ говорилъ Лопухинъ. Тутъ же онъ придаетъ большое значеніе какой-то *истинной* химіи для высшаго просвѣтленія человѣка. Но всякому понятно, что такое была эта истинная химія у масоновъ, для которыхъ вовсе не существовало положительной науки; они были врагами ея ¹⁾).

Главные орудія въ Антихристовой церкви, по Лопухину, суть *духовные фарисеи* (III, § 3), а дѣйствительными орудіями и проповѣдниками ея являются *модные философы*, старающіеся доказать, что душа смертна, что основаніе всѣхъ дѣйствій человѣческихъ—самолюбіе, что христіанство есть фанатизмъ (III, § 4). Подъ этими словами Лопухинъ разумѣлъ просвѣтительную философію вѣка. Эти же *пустословы* „содѣйствовали къ порожденію буйнаго стремленія ко мнимому равенству и своеволю, въ противность порядка небеснаго и земнаго благоустройства... Сей духъ круженія воцарился въ погибающей Франціи“ (III, § 6). Изъ этого видно, въ какомъ отношеніи находился масонскій мистицизмъ къ современной мысли и къ современному политическому движенію, которое было антипатично ему.

¹⁾ Ешевскій, Соч. III, стр. 427.

Въ главѣ IV Лопухинъ разсуждаетъ „О знакахъ“ (т.-е. признакахъ) истинной церкви Божіей и членовъ ея. Всѣ свойства, которыя можно бы было назвать свойствами истинной натуры христіанской; напр., вѣра, молитва, постъ, видѣнія, чудеса, могутъ являться и безъ нея. Дѣйствительный признакъ настоящаго члена церкви Христовой составляетъ только одна любовь, начальное свойство божественной натуры. Посредствомъ любви человѣкъ возрождается или обновляется въ Иисусѣ Христѣ и посредствомъ этого возрожденія освобождается отъ преобладанія Антихристовой церкви. Главный факторъ этого возрожденія есть глубокое самоотверженіе, гдѣ должно быть совершенно забыто свое Я, и здѣсь Лопухинъ пускается въ такую глубину мистицизма и выражается такъ темно, что дѣлается рѣшительно непонятнымъ. Путь возрожденія человѣка есть путь Христовъ въ душѣ, состоящій въ подражаніи Иисусу Христу, образу и ученію его, которые открыты въ Евангеліи. „На семъ пути должно упражнять волю свою въ насилуваніи всѣхъ естественныхъ свойствъ и силъ своихъ на исполненіе заповѣдей Христовыхъ, на подражаніе внутренне и внѣшне его примѣру“ (VII, § 1). Совершающій этотъ путь къ Христу долженъ искренно любить добро. „Наипаче должно упражняться въ любленіи ближняго“, говоритъ Лопухинъ, выдвигая такимъ образомъ впередъ практическую сторону масонскаго мистицизма (§ 4). На пути къ божественной жизни или на пути къ началу возрожденія во Христѣ, рекомендуются слѣдующія упражненія: а) насилуваніе своей воли, б) молитва, с) воздержаніе, d) дѣла любви и e) поученіе въ познаніи натуры и самого себя (VIII, § 1). Изъ этого очевидно, что мистицизмъ Лопухина граничитъ близко съ монашескимъ аскетизмомъ. Таково, напр., предписаніе относительно разума: „Разумъ должно воздерживать не только отъ упражненія въ томъ, что явно вредно; но и отъ всякихъ размышленій бесполезныхъ и отъ изученія того, что томо служить къ удовлетворенію любопытства, а не нужно для преусиѣнія въ жизни христіанской и для отправленія должностей человѣка, живущаго въ обществѣ, гражданина или подданнаго“ (VIII, § 15). Съ этимъ легко было дойти до отрицанія всякой науки, кромѣ мистической. За то въ возможность послѣдней Лопухинъ вполне вѣритъ. Онъ убѣжденъ, что „сотворшая премудрость“ открыла избраннымъ тайну творенія, что имъ доступенъ „внутреннѣйшій составъ и различныя дѣйствія глубоко сокровеннаго духа натуры“, но что такое „истинное, живое познаніе тайны творенія“ открывается только при свѣтѣ благодати, озаряющемъ душу въ новой жизни возрожденія“ (VIII, § 21, 22). Наука эта, слѣдовательно, не похожа на общепринятую и идетъ совершенно инымъ путемъ. Весьма немногимъ избранныкамъ дано было это по-

знаніе тайнъ природы: „Многимъ и святымъ, и угодникамъ Божиимъ, не опредѣлено было созерцать сіяніе онаго свѣта въ натурѣ“. Посредствомъ этой науки люди ея просвѣщенные „раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ истинныя (первоначальныя) ихъ стихіи; и при семъ дѣйствіи собственными очами своими созерцаютъ таинства Іисуса Христа, послѣдствіе страданія Его, и въ сокращеніи и въ химическихъ явленіяхъ видятъ все происшествіе и слѣдствія Его воплощенія!“ (VIII, § 24). Науки, преподаваемыя въ обыкновенныхъ школахъ, напр., математика, физика, химія и пр. даютъ познаніе только самыхъ, такъ сказать, наружныхъ нитей грубой, стихійной одежды природы. Если и это познаніе полезно, „то колико уже полезно для ищущихъ царства Божія должно быть изученіе теоріи познанія природы, происходящаго изъ училища небеснаго?“ Не всѣмъ дано упражняться въ этомъ изученіи таинствъ природы. Эта наука есть только средство къ пути въ царствіе Божіе. Съ этою наукою нужно обращаться осторожно и не обращать ее на нечистые виды собственности. „Да страшатся даже и для удовлетворенія только любопытству своему, или для забавы, упражняться въ таинственномъ семъ ученіи!“ (VIII, § 27). Оно только для избранныхъ, а для массы довольно познаніе самого себя, которое постепенно открывается человѣку, при совлеченіи ветхаго Адама.

Вотъ положительное ученіе нашихъ масонскихъ мистиковъ, проповѣдуемое ими съ такимъ убѣжденіемъ, съ такою вѣрою въ дѣйствительность и глубину содержанія ихъ туманныхъ фразъ и находившее такъ много вѣрующихъ прозелитовъ. Лопухинъ только намекнулъ, только указалъ на это высшее знаніе, которымъ, путемъ благодатнаго осіянія свыше, открывается счастливому избраннику познаніе глубочайшихъ тайнъ природы, закрытыхъ для глазъ непосвященныхъ. Другіе пошли дальше и увѣровали въ тайныя науки, посредствомъ которыхъ открывается „первое то вещество, нетлѣнная та персть, изъ коея все сотворено“. Мысли Лопухина и его понятіе о таинственномъ знаніи—не новостъ въ исторіи человѣческихъ заблужденій и не представляютъ ничего оригинальнаго, сколько-нибудь характеризующаго наше русское общество масоновъ и мистиковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ христіанская мистика, даже еще раньше, въ теософическихъ экстазахъ неоплатониковъ, мы найдемъ тѣ же самыя представленія. Въ особенности много ихъ въ сочиненіяхъ нѣмецкихъ протестантскихъ мистиковъ, начиная съ эпохи Возрожденія. Въ XVIII вѣкѣ въ Германіи мистицизмъ этотъ былъ въ большомъ развитіи, онъ такъ былъ силенъ, что даже философія природы Шеллинга заразилась довольно сильно этими мистическими представленіями. Изъ Германіи они перешли и къ намъ. Понятно,

какой вредъ они должны были приносить нашему неразвитому и лишенному всякихъ положительныхъ знаній обществу и какъ много, можетъ быть, хорошихъ и дѣятельныхъ натуръ погибло въ этихъ туманныхъ, нелѣпыхъ стремленіяхъ, которыми самообольщались наши наивные масоны. Выдается, однако, во всѣхъ этихъ неопредѣленныхъ фразахъ Лопухина, напоминающихъ таинственныя изреченія древнихъ гіерофантовъ, одна, хотя и не оригинальная, особенность, которую мы встрѣтимъ и у позднѣйшихъ мистиковъ нашихъ,—это частое употребленіе чисто христіанскихъ образовъ и представленій въ смѣшеніи съ неопредѣленными масонскими понятіями. Примѣры этого смѣшенія можно было видѣть изъ нѣкоторыхъ приведенныхъ мною мѣстъ Лопухинской книги. Это служитъ намъ доказательствомъ, что увлеченія нашихъ масоновъ и бредни нашихъ мистиковъ вытекали изъ чистаго источника — изъ желанія объяснить себѣ праотеческую вѣру, изъ стремленія придать наивному вѣрованію болѣе глубокой смыслъ, уяснить его до такой степени, чтобъ оно могло удовлетворять умъ. Но, лишенные настоящаго философскаго и богословскаго образованія, которое боится мистическихъ толкованій, они запутались въ собственныхъ представленіяхъ, встали въ противорѣчіе и съ официальною церковью и съ положительною наукою, возбудили недовѣріе и той и другой, и сами презрительно относились и къ той и къ другой, не имѣя на то никакого права. Этотъ мистицизмъ не могъ принести русскому обществу ничего иного, кромѣ вреда. Онъ сталъ въ отрицательное положеніе къ политическимъ теоріямъ времени.

Сочиненій Лопухина, написанныхъ противъ этихъ теорій и въ особенности противъ французской революціи,—нѣсколько. Они напечатаны въ 1794—1796 годахъ и не заслуживали бы вовсе упоминанія—такъ мало въ нихъ достоинства мысли и изложенія, еслибъ не доказывали ту мысль, что мистицизмъ дѣлалъ человѣка совершенно не способнымъ къ пониманію положительной стороны жизни. „Изліяніе сердца, чувствующаго благость единоначалія и ужасающагося, взирая на пагубные плоды мечтанія, равенства и буйной свободы“ и пр. (Калуга, 1794), или „Описаніе нѣсколькихъ картинъ и списковъ съ нѣкоторыхъ отрывковъ, находящихся въ магазинѣ дивнаго смотрѣнія на внутреннія причины дѣйствій и на слѣпоту развращенныхъ французовъ“ (Москва, 1796), какъ показываютъ сами длинные названія ихъ, суть не что иное, какъ небольшія статейки въ родѣ риторическихъ упражненій. „Равенство! Свобода буйная! мечты, порожденныя чадомъ тусклаго свѣтильника лжемудрія, распложденныя безумными писаніями нечестивыхъ татей философскаго имени, адскимъ пламенемъ стремящихся отвращать взоръ человѣче-

свій даже отъ тѣни пресвѣтлаго Софіина лица“¹⁾. Таковъ слогъ и тонъ этого рода статей Лопухина. Ненависть къ французской революціи и фантастическое преувеличеніе ея злодѣйствъ—полныя. „Безначаліе и своеволие Франціи—исчадіе папистическаго изуверія и новой философіи“. Лопухинъ старается доказать, что единоначаліе самый лучший образъ правленія. Ни одна страна въ мірѣ больше счастливой Россіи не „насладилась отъ рѣкъ милосердія Монаршаго“²⁾. Французовъ Лопухинъ пугаетъ гнѣвомъ Екатерины: „А вы, варвары, расторгшіе узы законной священной власти и покорившіе себя нечестивому самовластію многоглавнаго чудовища звѣрскихъ тирановъ,—трепещите побѣдительнаго Екатеринина скипетра. Несчастные! трепещите“...³⁾. Лопухинъ доказываетъ, что въ природѣ и въ жизни нѣтъ и не можетъ быть равенства, что это только буйная мечта, что на землѣ не можетъ быть и ничего похожаго на золотой вѣкъ. Какъ мистикъ онъ не цѣнилъ дѣйствительность, съ презрѣніемъ относился къ міру. „Что есть міръ сей? Зеркало тлѣнности и смерти. Сонмъ немощей и внезапно подсѣгаемой силы, здравія, какъ сельный цвѣтъ увядающаго, и скорбей ежедневныхъ, смѣховъ мгновенныя радости, которыя съ болью изъ груди вылетая, въ туманѣ печалей исчезаютъ, и горестей, многіе годы душу терзающихъ“⁴⁾. Мистика доводила именно до этого мрачнаго аскетическаго взгляда на міръ, и понятно, что всякое въ немъ движеніе на ея глаза казалось подозрительнымъ и грѣховнымъ.

Юридическіе вопросы, въ особенности по уголовному праву, сильно занимали Лопухина. Лопухинъ не былъ однако настоящимъ юристомъ; для этого недоставало у него ни образованія, ни свѣдѣній. Его интересовали не частные случаи, а общая внутренняя нравственная сторона дѣла. Не имѣя никакого литературнаго таланта, Лопухинъ написалъ драму въ пяти дѣйствіяхъ: „Торжество правосудія и добродѣтели или доброй судьи“. (М. 1798 г.) Она не была вовсе представлена на сценѣ, да вѣроятно, и не имѣла бы сценическаго успѣха. Цѣль этой драмы была совершенно дидактическая. Русскому обществу, воспитанному на безправіи, на незаконности отношеній, привыкшему къ тайному суду и взяткамъ, авторъ желалъ показать идеаль безкорыстнаго и честнаго судьи, неподкупнаго и строгаго, жертвующаго даже собственными выгодами, даже счастьемъ своего сына, только для того,

¹⁾ Др. Юн. 1809 г. Апрѣль, стр. 32.

²⁾ Ibid., Мартъ, стр. 38.

³⁾ Ibid., стр. 45.

⁴⁾ Ibid., Апр., стр. 40.

чтобъ торжествовала истина. Лопухинъ самъ говоритъ въ своемъ послѣсловіи къ драмѣ, что у него была эта нравственная поучительная цѣль, и нисколько не претендуетъ на драматическій талантъ: „Говорятъ, что драма сія неудобна для театра, что много въ ней противнаго его правиламъ и пр., но ежели чтеніе ея можетъ принести хотя малую пользу, то весьма награжденъ будетъ трудъ автора, который никогда не занимался театромъ и его правилами, и который всегда думалъ, что если не единственный, то, по крайней мѣрѣ, главный предметъ всѣхъ книгъ долженъ быть *польза* или умноженіе способовъ распространяться добродѣтели“ ¹⁾). Къ пользѣ необходимо, однако, долженъ присоединяться талантъ, чтобы литературное произведеніе дѣйствовало на массу, а его не было у Лопухина, и драма его совершенно забыта. Честный судья, выведенный имъ на сцену, чрезвычайно далекъ отъ дѣйствительности; его рѣчи, въ которыхъ онъ непрерывно говоритъ о правосудіи, законности и любви къ истинѣ и людямъ, похожи на сухую мораль, легко наскучивающую; дѣйствіе и развитіе въ драмѣ совершенно ничтожно, а изъ лицъ ни одно не возбуждаетъ къ себѣ сочувствія живостію изображенія и характеромъ.

То же желаніе представить въ настоящемъ свѣтѣ достоинство судьи въ томъ обществѣ, которое не могло его цѣнить и уважать, видно въ небольшомъ сочиненіи Лопухина „Отрывки. Сочиненіе одного стариннаго судьи“ (М. 1809. 12^о) ²⁾, посвященномъ имъ юношеству. Онъ предлагаетъ ему въ этихъ „Отрывкахъ“, написанныхъ въ видѣ небольшихъ афоризмовъ, „нѣчто, могущее не бесполезно занять размышленіе о гражданскомъ званіи“. Этому юношеству, которое тогда, въ XVIII и началѣ XIX вѣка, все стремилось въ военную службу, пренебрегая должностію и званіемъ судьи, Лопухинъ говоритъ о достоинствѣ этого званія: „Добродѣтели судьи, блюстителя земскаго устройства, законискусника, правосудіе однимъ предметомъ имѣющаго, не меньше для отечества нужны, не меньше почтенны, какъ и доблести воинскія“. Для строгаго, состоящаго исполненія этой обязанности нужно не меньше мужества, какъ и для войны съ врагами внѣшними. „Тысячами считаемъ мы людей, неустрашимо жертвующихъ своею жизнію на битвахъ съ непріятелями, и сколь не часты тѣ, кои бы не только ею, но какими нибудь выгодами собственной корысти жертвовали правдѣ въ судахъ“. „Отрывки“ говорятъ въ общихъ словахъ объ обязанностяхъ судьи; повторяютъ то, что въ своихъ „Запискахъ“ Лопухинъ показалъ жиз-

¹⁾ Изд. 1798 г., стр. 131.

²⁾ Др. Юн. 1808 г. Октябрь, стр. 9—30.

неннымъ примѣромъ. И въ нихъ нашелъ онъ случай напасть на политическія теоріи вѣка; онъ возстаетъ противъ „Contrat social“ Руссо и совѣтуетъ подданнымъ пассивное подчиненіе всякой власти, какъ бы жестока и тяжела ни была она. „Не только зло, во всякомъ правленіи человѣческомъ неотвратимое, терпѣливо сносить должно, говоритъ онъ; но лучше терпѣть величайшее притѣсненіе и тиранство, нежели возмущаться и частнымъ людямъ предпринимать перемѣну правленія“. Такія скромныя правила гражданскихъ отношеній требовало масонство отъ своихъ членовъ. Старость, кажется, прекратила служебную дѣятельность Лопухина, но онъ считался на службѣ до самой смерти своей. По словамъ его „Записокъ“, послѣдніе годы онъ жилъ въ Москвѣ, какъ въ пустынѣ. „Лучшіе друзья мои почти всѣ разлучены со мною смертью или отсутствіемъ“. Но литературное движеніе мистицизма при Александрѣ было не чуждо ему; напротивъ, онъ принималъ въ немъ самое дѣятельное участіе, вызывалъ его, возбуждалъ его. Съ новымъ заграничнымъ оракуломъ мистицизма — Юнгомъ Штиллингомъ, котораго сочиненія были переведены тогда на русскій языкъ, Лопухинъ даже вступилъ въ переписку. Онъ, кажется, гордился нѣсколько этою перепискою и называлъ Штиллинга „сей небомъ просвѣщенный проповѣдникъ истины и предвѣстникъ явленій ея царства“¹⁾. Мы дадимъ понятіе объ этомъ теософѣ, когда будемъ говорить о русскихъ переводахъ его сочиненій. Для мистиковъ нашихъ онъ стоялъ выше Эккартсгаузена. Когда въ началѣ царствованія Александра стали заводиться и въ Москвѣ масонскія ложи, то Лопухинъ смотрѣлъ на это неблагосклонно и не желалъ имѣть никакого сношенія съ этими новыми ложами. Его примѣру слѣдовали и его ученики. Они считали ложи въ это болѣе свободное время ненужными. „Люди, представлявшіе себя правителями ихъ здѣсь (въ Москвѣ), по репутаціи своей не могли быть для меня приманкою для вступленія съ ними въ масонскій союзъ“, говоритъ Невзоровъ²⁾. „Это были не Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) и подобные ему свободные каменщики“. Главное вниманіе Лопухина и его единомышленниковъ было обращено на мистицизмъ, на распространеніе мистическихъ сочиненій, которыхъ тогда выходило много. Любопытно, что Лопухинъ желалъ даже посвятить въ мистическую литературу Сперанскаго, съ которымъ находился въ перепискѣ и по дѣламъ службы и по своимъ собственнымъ о долгахъ по имѣнію, хлопоча о нихъ у государя. Изъ снисходительности ли или изъ научнаго любопытства интересовался Сперанскій мистическою литературою, мы не знаемъ, но онъ просилъ

¹⁾ Зап., стр. 169.

²⁾ Библ. Зап., т. I, 1858 г., стр. 658.

у Лопухина о доставленіи ему разныхъ книгъ и указаній. Лопухинъ посылалъ ему множество книгъ съ своими о нихъ заключеніями. „Тому вкусу въ чтеніи, который вы, любезный другъ, описываете, пишетъ онъ къ Сперанскому, надобно радоваться... Главное искусство, если можно такъ сказать, въ этомъ дѣлѣ не знать стараться о свѣтѣ и истинѣ, но умѣть стараться о соединеніи съ ними или о способахъ давать имъ въ насъ раскрываться и дѣйствовать, не мѣшая только имъ“¹⁾. Лопухинъ хлопоталъ у Сперанскаго о помощи въ его разстроенныхъ дѣлахъ. Причиною этого разстройства была собственно его благотворительность: онъ нажилъ долги, которые лежали на его имѣніи, и сталъ тягаться объ этихъ долгахъ, желая, вѣроятно, сохранить свое имѣніе. До насъ дошло одно очень жесткое письмо Сперанскаго къ Лопухину по поводу этихъ хлопотъ его. Оно наполнено горькими истинами: „Быть богатымъ и употреблять богатство на благотворенія, конечно, хорошо, пишетъ Сперанскій, но дѣлать долги и потомъ тягаться о долгахъ, какое бы ни было впрочемъ ихъ начало, сіе и въ обыкновенномъ человѣкѣ есть дѣло непохвальное, а въ васъ оно и совсѣмъ непонятно... Развѣ все дѣло наше состоитъ въ томъ, чтобы исповѣдовать словами имя Христово и услаждаться въ кабинетѣ размышленіемъ о семъ великомъ имени, а внѣшнія дѣла попускать идти такъ, какъ бы они шли и безъ него, по внѣшнему движенію страстей? Развѣ на крестѣ надобно смотрѣть съ умиленіемъ, а несть его не наше дѣло? Развѣ словами только надобно намъ здѣсь считать себя изгнанниками и пришельцами, а на дѣлѣ за каждый кусокъ земли воевать съ цѣлымъ свѣтомъ и всѣхъ, съ нами разномыслящихъ, считать за беззаконниковъ?“²⁾. Мы не знаемъ хорошо обстоятельствъ жалобъ Лопухина на его кредиторовъ, но нельзя не признать справедливости словъ Сперанскаго, хотя съ другой стороны намъ извѣстно, что въ жизни Лопухина не было замѣтно противорѣчія между словомъ и дѣломъ.

Послѣдніе годы своей жизни Лопухинъ дѣятельно заботился о распространеніи мистическихъ сочиненій и изданій, которыя стали тогда появляться. Онъ самъ писалъ очень много въ этомъ родѣ и печаталъ преимущественно въ журналѣ Невзорова „Другъ Юношества“. Въ статьяхъ его замѣтно что-то дѣтское; о прежнемъ масонствѣ не было и помину, и все содержаніе ихъ какой-то добродушный, старческій религіозный мистицизмъ. Онъ вѣритъ въ возможность распространенія и пользу „благодатнаго свѣта“ и совершенно

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 610—611.

²⁾ Ibid., стр. 623—625.

чуждѣ дѣйствительности. „Надобно пользоваться модою на благочестіе“, пишетъ онъ къ Руничу. „Она, конечно, подвержена переменѣ; но непрочно быть не можетъ. Чтѣмъ издано, то издано. А чтеніе такое—тинеттура, которая непримѣтными капельками дѣлаетъ спасительныя превращенія въ тысячахъ, и многіе годы“... ¹⁾).

ЛЕКЦІИ XXXIX и XL.

Ковальковъ. — Невзоровъ. — Лабзинъ.

Мистики Александровскаго времени и во главѣ ихъ старикъ Лопухинъ вели какую-то почти монастырскую жизнь, вдали отъ волненій свѣта, и чуждаясь совершенно вопросовъ общественныхъ. Крѣпостное владѣніе и его удобства помогли обставить Лопухину свое деревенское уединеніе разными художественными затѣями въ мистическомъ родѣ. Было въ этомъ что-то добродушное и даже забавное на глаза современнаго человѣка, но мистикамъ правилась эта обстановка, они приходили отъ нея въ умиленіе, и въ журналахъ того времени встрѣчались описанія жизни Лопухина въ его деревнѣ. „Живучи въ глубокомъ уединеніи, пишетъ онъ къ пріятелю своему Руничу, утѣшаюсь только упражненіями въ своей *маленькой домашней церкви*, которая продолжаетъ заниматься сочиненіями и переводами“ ²⁾. Сюда, въ эту „маленькую церковь“, въ изысканное уединеніе Лопухина, недалеко отъ Москвы, являлись молодые мистическіе писатели на поклонъ къ нему, жили у него, пользуясь гостепріимствомъ и бесѣдами его въ извѣстномъ родѣ. Тутъ сообщались, по выраженію Лопухина, разныя деревенскія проповѣди. Самымъ дѣятельнымъ и плодовитымъ писателемъ этой домашней Лопухинской церкви былъ его воспитанникъ, дитя его сердца, племянникъ жены его, Александръ *Ковальковъ*, который сталъ писать подъ руководствомъ Лопухина чуть-ли не съ дѣтскаго возраста и писалъ изумительно много. „Онъ написалъ тысячи листовъ, пишетъ о немъ Лопухинъ, и всякій день пишетъ или, лучше сказать, выливаетъ“. Для него онъ былъ „чудо въ своемъ родѣ“. Его первое печатное произведеніе „Плодъ сердца, полюбившаго истину, или собраніе краткихъ разсужденій о ея сущности, написанныхъ пламенною къ ней любовью“ (М. 1811 г.) появилось въ печати на счетъ Лопухина и съ портретомъ автора, когда ему было только 17 лѣтъ. Оно было встрѣ-

¹⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1219.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1233.

чено восторгомъ со стороны мистиковъ. Невзоровъ говорилъ, что эта книга „принесла бы честь и самому почтенному старцу писателю“ ¹⁾. Содержаніе ея, по словамъ ея издателя Лопухина, есть „сущность христіанства, которую составляютъ: любовь къ Богу и смерть самолюбію“. Въ дѣйствительности, это какая-то аскетическая проповѣдь, весьма печальная для юноши 17-ти лѣтъ, говорящая о покаяніи, о принесеніи въ жертву воли, о крестѣ, объ умерщвленіи ветхости, т.-е. плоти и пр.. Ковальковъ былъ слабый, болѣзненный юноша, подвергнувшійся вполне вліянію Лопухина. Онъ писалъ очень много и все въ одномъ и томъ же родѣ. Въ кругу мистиковъ впрочемъ сочиненія его находили и порицаніе, а не одни хвалебные отзывы. Изъ словъ самого Лопухина видно, что нѣкоторые изъ того же круга, разумѣется, письменно, нападали на непонятность, еудреватость, темноту его сочиненій, а одинъ пріятель Лопухина даже писалъ къ нему: „сдѣлайте милость, запретите ему писать!“ такъ что послѣдній, въ защиту своего воспитанника, долженъ былъ напечатать большую статью: „Нѣсть пророкъ во отечествіи своемъ“ ²⁾, доказывающую способности и талантъ Ковалькова и нападающую на несправедливыхъ критиковъ, которые осуждали въ Ковальковѣ его молодость. Въ 1815 году Лопухинъ напечаталъ въ Орлѣ мистическія сочиненія своего воспитанника въ двухъ томахъ, писанныя имъ на 18 и 19 году жизни: „Созиданіе церкви внутренней и царства свѣта Божія“, „Иисусъ пастырь добрый своего стада, свѣтъ и камень, глава, жрецъ и жертва своей церкви“ и „Мысли о мистикѣ и ея писателяхъ“. Сочиненія эти, по словамъ издателя, заключаютъ въ себѣ внутреннюю сущность христіанства и ни слова не говорятъ о его внѣшности, о его обрядахъ. Конечно, этимъ никто не долженъ соблазняться, говорить Лопухинъ. „Описаніе путей духа и внутренняго поклоненія души не отвергаетъ пользу только нужныхъ средствъ внѣшняго и образовъ; но нѣтъ надобности всегда писать вмѣстѣ о томъ и о другомъ“. Для насъ любопытно въ этихъ твореніяхъ Ковалькова, которыя ведутъ ожесточенную войну съ разумомъ и его свободною дѣятельностію, то представленіе о мистикѣ, которое онъ самъ высказываетъ. „Мистика или изліяніе духа языкомъ человѣческимъ должна имѣть своимъ непремѣннымъ закономъ любовь чистую, отдаленную отъ корыстей и собственности, дабы изреченіе ея не смѣсилась съ *плотскимъ естественнымъ мудрованіемъ*, и гласъ бы ея чистѣйшій проникалъ въ самый мракъ нечистоты и запустѣнія и *заллушалъ бы всякой гласъ ума соб-*

¹⁾ Др. Юн. 1811 г., Авг., стр. 111.

²⁾ Др. Юн. 1812 г., Ноябрь, стр. 88—136.

ственного¹⁾. Умъ даетъ одну только теорію, а мистика есть вмѣстѣ съ тѣмъ и практика. Эта практика есть соединеніе съ вѣчнымъ Словомъ, съ Іисусомъ. „Философія міра сего и собственнаго ума есть самая жесткая, гнилая, противная, вредная пища душъ и изліяніе духа нечистоты“²⁾. Разумъ, эта игра чувствъ и воображенія, нуженъ только тому, кто не имѣетъ истиннаго свѣта. Познанія, исходящія отъ тварей, исполнены мертвенности и слабости ученія³⁾, потому что они произведенія собственнаго разума; для мистическаго познанія нуженъ разумъ человѣка возрожденнаго, тогда онъ дѣлается премудростію⁴⁾. Все, что разумъ производитъ отъ самого себя и въ самомъ себѣ, безъ помощи премудрости Іисуса, — чуждо истины, есть буйство, заблужденіе и одна мертвенность, злобныя идеи. Сущность ихъ заключается въ слабости или пустотѣ и въ ядовитости⁵⁾. Ученіе такого ума есть пища плоти⁶⁾. Три свойства заключаются въ этомъ ученіи: 1) буйство, исполненное невѣрія, матеріализма или атеизма: тогда разумъ есть эхидна⁷⁾; 2) ученіе страстей, совѣтъ слѣдовать ихъ наклонностямъ и ни въ чемъ не противиться побужденіямъ натуры, называя ее матерью, которой слѣдуетъ повиноваться; такое ученіе есть похоть очесъ и похоть плоти и гордость житейская⁸⁾; 3) неполное понятіе истины, потому что ученіе основывается на одномъ собственномъ умозрѣніи; такое ученіе учитъ добродѣтелямъ не христіанскимъ, а фарисейскимъ⁹⁾. Всего этого нечистаго дѣла разума стоитъ неизмѣримо выше мистика, опредѣленію сущности которой авторъ посвящаетъ большую часть своихъ разсужденій. Руководителями его являются Бемъ, Дютуа и „божественная“ Гюнша (Гюнъ де ла Мотъ—мистическая писательница). Мистика эта даетъ совершенное познаніе существъ движущихся и вещей бездыханныхъ и сокровенныхъ, но оно невозможно безъ содѣйствія той *maïm*, которою они сотворены; она открываетъ ихъ истинную квинтъ-эссенцію, ихъ тинктуру. Познать эту силу можетъ только человѣкъ свѣже просвѣщенный¹⁰⁾. Ему дается настоящее познаніе не только натуры нижней, но и высшей — натуры ангеловъ и всей небесной іерархіи и даже духа Іисусова или „тинктуры всей

¹⁾ Мысли о мистикѣ, стр. 5—6.

²⁾ Ibid., стр. 20.

³⁾ Ibid., стр. 36.

⁴⁾ Ibid., стр. 42.

⁵⁾ Ibid., стр. 57.

⁶⁾ Ibid., стр. 58.

⁷⁾ Ibid., стр. 62.

⁸⁾ Ibid., стр. 65.

⁹⁾ Ibid., стр. 74.

¹⁰⁾ Ibid., стр. 130—131.

вѣчной натуры“¹⁾. До такихъ неясныхъ опредѣленій договорилась наша мистика, объявивъ непримиримую вражду наукѣ и разуму. И это писалъ юноша едва двадцати лѣтъ. Мы не знаемъ, что вышло изъ него впослѣдствіи. Умирая въ 1816 году, Лопухинъ поручилъ его извѣстному покровителю мистиковъ въ Александровское время, неловѣку, увлекавшемуся всякимъ религіознымъ движеніемъ, А. Н. Голицину; о Ковальковѣ хлопоталъ также Жуковский, изъ уваженія къ Лопухину²⁾. Кажется впрочемъ, что Ковальковъ умеръ въ молодыхъ годахъ, а то изъ него выпелъ бы непременно такой же гонитель просвѣщенія и науки, какимъ былъ Магницкій и другіе ему подобные.

Для того, чтобъ погружаться въ эти волны мистическаго познанія, надобно было имѣть совершенно спокойное существованіе, безъ заботъ вѣшнихъ. Способы для этого, какъ мы сказали, давало тогда крѣпостное право. Лопухинъ былъ большой охотникъ до садовъ и разводилъ ихъ съ помощію своихъ крестьянъ дешевымъ способомъ въ своихъ имѣніяхъ. И въ стихахъ и въ прозѣ описывали его друзья и поклонники эти сады, украшенные мистическими символами и посвященные мистическимъ удовольствіямъ. Таково „прозо-поэтическое твореніе“ того же Ковалькова: „Мирное уединеніе въ садахъ сельца Савинскаго, во время нашествія враговъ“³⁾. Тутъ былъ знаменитый Юнговъ островъ, о которомъ часто упоминали друзья и поклонники, съ памятниками, сооруженными тѣмъ героямъ, кои „отличались терпѣніемъ на крестномъ пути своемъ во слѣдъ крестоносцу Іисусу“: Гіоншѣ, Фенелону и Дютуа. Подъ памятниками этими хранились волосы ихъ. На холмѣ, окруженномъ сосновымъ кустарникомъ, стоялъ крестъ съ мистическими фигурами, поставленный въ честь знаменитаго теософа Бема, а бюстъ его находился у подножія креста. Оттуда идетъ дорожка къ холму, на которомъ опять стоитъ урна въ честь Гіонши, Дютуа и Фенелона; далѣе хижина, посвященная имени Ж. Ж. Руссо; затѣмъ большой мраморный столбъ съ урною и съ надписью: „памяти мудраго“, посвященный Эккертсгаузену. Тутъ же памятникъ и извѣстному протестантскому мистикѣ XVII вѣка Квирину Кульману, который, по настоянію пасторовъ и ортодоксовъ протестантизма, былъ сожженъ въ Москвѣ въ 1689 году. Рядомъ *пустынька*, посвященная уединенію и мистическому размышленію. На стѣнѣ ея крестъ съ надписью: „крестъ дражайшій! вождь вѣрный мой!“ На столѣ въ пустынькѣ *письмо*, содержащее въ себѣ „правила душамъ, желающимъ побѣдить

¹⁾ Ibid., стр. 148.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 804, 807.

³⁾ Др. Юн. 1813 г., Февраль, стр. 1—127.

міръ со всіми его прелестями". Колоколъ на верху пустыньки, конечно, напоминаетъ „спасительную силу божественнаго гласа, возбуждающаго отъ сна грѣховнаго ко бдѣнію во храмъ истины и любви". Въ гротѣ два памятника: одинъ Тихону Задонскому, незадолго передъ тѣмъ признанному святымъ; другой—мистика Краевичу, другу Лопухина. Въ такомъ же родѣ была и „Орлиная пустынь", англійскій садъ, устроенный и описанный самимъ Лопухинымъ¹⁾. Эта пустынь находилась въ другомъ имѣніи Лопухина, въ селѣ Воскресенскомъ или Ретяжи, Орловской губерніи, Кромскаго уѣзда. Эта пустынь была устроена какъ *памятникъ* страданіямъ какого-то *Андрея*, „знаменитаго твердостію духа въ послѣдней половинѣ прошлаго вѣка". По всей вѣроятности, это былъ Арсеній Мацѣвичъ, митрополитъ Ростовскій, знаменитый своимъ энергическимъ отпоромъ только что вступившей на престолъ Екаторинѣ, послѣдній защитникъ старыхъ правъ духовенства, разрушенныхъ регламентомъ Петра В. Извѣстно, что въ мартѣ 1763 года онъ послалъ въ синодъ пространный протестъ противъ распоряженія Екаторины, которымъ учреждался надзоръ за доходомъ съ имѣній духовенства; въ этомъ протестѣ онъ нападалъ также очень рѣзко на современное равнодушіе къ религіи. Въ апрѣлѣ того же года Арсеній былъ лишенъ архіерейства и сосланъ въ Никольскій Корельскій монастырь подъ Архангельскомъ. Здѣсь онъ сдѣлался въ мнѣніи народа мученикомъ и пророкомъ; его пророчества были направлены всѣ противъ Екаторины, которую онъ ненавидѣлъ. Черезъ четыре года какой-то монахъ подалъ доносъ на Мацѣвича; было произведено слѣдствіе и его лишили монашества и по собственному распоряженію Екаторины переодѣли въ простое крестьянское платье и, подъ нарочно-придуманымъ императрицею именемъ *Андрея Врала*, заперли въ Ревельскую крѣпость, гдѣ онъ и умеръ въ 1772 году, до самой смерти своей не видя при себѣ ни одного живого существа. Эта чрезвычайная жестокость окружила Арсенія вѣнцемъ мученичества и святости; о немъ сложилась легенда, и въ представленіяхъ народа онъ является страдальцемъ за правду, хотя въ сущности защищалъ неправоє дѣло. Какимъ образомъ этотъ представитель прерогативъ духовенства, котораго сочиненія имѣютъ чисто церковный характеръ, сдѣлался достойнымъ особаго уваженія и поклоненія со стороны масона и мистика Лопухина? Повидимому, въ характерѣ и дѣятельности Арсенія не было для Лопухина ничего сочувственнаго; всего вѣроятнѣе, онъ видѣлъ въ немъ поборника независимости церкви отъ государства и религіознаго челоѣка, искренно преданнаго церкви, и сверхъ того врага современнаго просвѣщенія.

¹⁾ Др. Юн. 1814 г., Мартъ, стр. 20—38 и Августъ, стр. 113—128.

Но главнымъ образомъ, страданія Мацѣвича, жестокое обращеніе съ нимъ власти и его христіанское смиреніе влекли къ себѣ Лопухина. Въ его тюрьмѣ остались написанными углемъ на стѣнѣ слова: „благо мнѣ, яко смирилъ мя еси“, и эти слова повторены Лопухинымъ на его памятникѣ Андрею ¹⁾. Лопухинъ въ своемъ памятникѣ Арсенію Мацѣвичу сдѣлалъ его какимъ-то розенкрейцеровъ: изъ мертвой головы вырастаетъ роза; на стѣнахъ изображеніе розоваго креста, по угламъ гіероглифическія изображенія: оковы, переломленный посохъ, закрытая книга и горящій трисвѣчникъ. Вверху надпись: „вѣрному до смерти, вѣнецъ живота“. Эта Андреева пустынь была любимымъ мѣстомъ для прогулокъ Лопухина: въ ней все символически изображало страданія Мацѣвича. Вообще у Лопухина была особая какая-то любовь къ памятникамъ и монументамъ, которые онъ ставилъ по разнымъ случаямъ. Такъ въ томъ же Орловскомъ имѣніи были памятники въ честь русскихъ побѣдъ въ 1812 году, въ память убитыхъ на этой войнѣ воиновъ изъ окрестныхъ жителей, въ память взятія Парижа въ 1814 году и проч. Вообще Лопухинъ незадолго до своей смерти впалъ въ дѣтство. Въ письмѣ къ Руничу онъ передаетъ, какъ онъ праздновалъ у себя торжественно похороны славы Бонапартовой, лѣтъ за семь до настоящей смерти Наполеона, созывая на этотъ праздникъ своихъ деревенскихъ сосѣдей особыми для того приготовленными пригласительными билетами. Лопухинъ самъ является на этомъ торжествѣ какимъ-то первосвященникомъ. Онъ громко провозглашаетъ слова: „И память вражія погibe съ шумомъ“, велитъ стрѣлять изъ домашнихъ пушекъ и раздаетъ крестьянамъ 500 крестиковъ для обыкновеннаго ношенія въ память торжества о побѣдѣ и одолѣніи врага ²⁾. Такъ забавлялись наши мистики.

Самымъ пылкимъ и восторженнымъ поклонникомъ Лопухина былъ дѣйствительно многимъ ему обязанный Максимъ Ивановичъ *Невзоровъ*; изъ своей преданности Лопухину онъ сдѣлалъ какъ бы особый культъ, которому оставался вѣренъ до самой смерти своей. Онъ не былъ ревностнымъ мистическимъ писателемъ, мало вообще пускался въ мистическій туманъ, былъ скорѣе практическимъ человѣкомъ и честнымъ дѣятелемъ, довольно полезнымъ по времени журналистомъ и оригинальною личностью, всѣмъ хорошо знакомою въ Москвѣ, но тѣмъ не менѣе, его можно считать распространителемъ мистическихъ убѣжденій и врагомъ свободнаго просвѣщенія, основаннаго не на исключительно религіозныхъ началахъ. Воейковъ въ

¹⁾ Лонгиновъ. День, 1862 г., № 19.

²⁾ Русск. Арх. 1770 г., стр. 1226—1227.

своемъ знаменитомъ „Сумасшедшемъ Домѣ“ съ насмѣшливой ироніей отозвался о немъ слѣдующимъ четверостишіемъ:

Я взглянулъ: Максимъ Невзоровъ
Углемъ пишетъ на стѣнѣ.
Если-бъ такъ, какъ на Вольтера,
Былъ на мой журналъ расходъ,
Пострадала-бъ горько вѣра:
Я вреднѣй чѣмъ Дидеротъ.

Боейковъ становится какъ-бы на сторону официальной церкви, враждебной мистикѣ.

Невзоровъ родился въ 1762 или 1763 году, слѣдовательно, онъ принадлежалъ уже къ молодому поколѣнію масоновъ и мистиковъ Новиковскаго кружка, да и вся его дѣятельность принадлежитъ къ Александровскому времени. Происходилъ онъ изъ духовнаго званія, былъ сыномъ священника изъ окрестностей Рязани и первое образованіе получилъ въ семинаріи этого города. Какъ самый лучшій ученикъ ея, онъ былъ присланъ епархіальнымъ начальствомъ въ 1779 году въ Москву по вызову „Дружескаго общества“ Новикова; на его счетъ и подъ его надзоромъ поступилъ онъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, а потомъ перешелъ на медицинскій, такъ что въ университетѣ онъ пробылъ около девяти лѣтъ. Безъ сомнѣнія, въ эти годы Невзоровъ слушалъ вліятельныя лекціи Шварца, вербовавшаго членовъ въ масонское общество: отрывки этихъ лекцій были помѣщены потомъ Невзоровымъ въ его журналѣ. Безъ сомнѣнія, онъ былъ также участникомъ въ собраніяхъ масонскихъ ложъ. Въ своемъ „убѣдительномъ“ посланіи къ Поздѣву, своему товарищу и также масону, Невзоровъ положительно говоритъ о своемъ масонскомъ воспитаніи. Масонство и И. В. Лопухинъ—вотъ два источника, отъ которыхъ Невзоровъ, по его словамъ, получилъ все: „отъ незабвеннаго и одного Ивана Владиміровича получилъ все наружное свое состояніе, такъ какъ отъ свободнаго каменщичества внутреннее, гдѣ также всего главнымъ и для меня, можно сказать, единственнымъ орудіемъ былъ тотъ же Иванъ Владиміровичъ“¹⁾. Посланіе это писано черезъ много лѣтъ послѣ его масонскаго воспитанія; въ немъ сохранились его прежнія воспоминанія и для насъ любопытны слова его о томъ, чѣмъ онъ обязанъ масонству. „Мое исповѣданіе объ орденѣ свободнаго каменщичества, говоритъ онъ, въ которомъ мнѣ по волѣ Бога милосердаго посчастливилось учиться, есть таковое, что я его собственно для себя почитаю истинною женою, облеченною въ солнце,

¹⁾ Библ. Зап. I, стр. 645.

о коей упоминается въ 22 главѣ Апокалипсиса, и породившею во мнѣ чадо истины“... Это, конечно, мистическое и неопредѣленное выраженіе. „Болѣе же всего къ такому рожденію во мнѣ истины служилъ поводомъ бывшій мой великій мастеръ въ ложѣ Блισταющей Звѣзды, неподражаемый мой благодѣтель во всемъ И. В. Лопухинъ, который истинно одинъ изъ не послѣднихъ, и, можно сказать, изъ первыхъ драгоценныхъ камней, украшающихъ корону вышеозначенной жены“... Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „послѣ Бога и простыхъ бѣдной матери моей наставленій, ежели есть во мнѣ что хорошаго, я всѣмъ обязанъ ему“¹⁾. Гораздо положительнѣе говоритъ Невзоровъ о значеніи для него масонства въ слѣдующихъ словахъ: „Орденъ свободныхъ каменщиковъ, въ которомъ я былъ членомъ, для меня былъ лучшимъ училищемъ христіанскимъ, и я по милости Бога не хотѣлъ иначе понимать его“²⁾. Каноническою книгою масонства Невзоровъ считаетъ „Пастырское Посланіе“ (СПБ., 1806). Ученіе и обязанность масона должны состоять въ подражаніи Христу... Затѣмъ говоритъ онъ съ полнымъ одобреніемъ о практической или филантропической сторонѣ масонства и о его литературѣ, которой призваніе есть борьба съ философскимъ невѣріемъ вѣка. „Самая же лучшая услуга тогдашнихъ членовъ свободного каменщичества русскому отечеству въ особенности, а христіанству вообще, состояла въ изданіи безчисленныхъ душевспасительныхъ книгъ, которыхъ цѣлое море на русіискомъ и другихъ языкахъ противопоставили они адской водѣ вольнодумческихъ и безбожныхъ книгъ, прорвавшейся тогда со всѣхъ сторонъ. Словомъ сказать, Богъ явилъ тогдашнихъ свободныхъ каменщиковъ въ Россіи точно въ самое нужное время, дабы противопоставить ихъ антихристовскому племени, со всѣхъ сторонъ начавшему воевать противъ истинной церкви Христовой“³⁾. Эту же цѣль предполагаетъ онъ и для своей литературной дѣятельности.

Въ 1788 году, будучи такимъ образомъ увлеченнымъ поклонникомъ масонства, Невзоровъ, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Колокольниковымъ, также воспитанникомъ Дружескаго общества, былъ отправленъ за границу на счетъ общества, какъ для усовершенствованія въ наукахъ, такъ, по всей вѣроятности, и для специальныхъ цѣлей масонства. Цѣлью ихъ путешествія былъ знаменитый тогда Лейденскій университетъ, гдѣ оба они выслушали полный курсъ наукъ и получили степень доктора медицины. Довольно долго про-

¹⁾ Др. Юв., 1812 г., Авг.

²⁾ Библ. Зап. т. I, стр. 646.

³⁾ Библ. Зап., т. I, стр. 649.

жилъ Невзоровъ въ Германіи и познакомился со многими нѣмецкими университетами, въ которыхъ остался недоволенъ анти-христіанскимъ духомъ и направленіемъ науки. Конечно, человеку, воспитанному въ школѣ Новикова, нечего было дѣлать въ нѣмецкихъ университетахъ, гдѣ преподавалась свободная протестантская наука; онъ явился туда уже съ сложившимися убѣжденіями, и московское вліяніе было сильнѣе заграничнаго, тѣмъ болѣе, что Невзоровъ не былъ хорошо знакомъ съ языкомъ нѣмецкимъ. Отсюда постоянная ненависть его къ профессорамъ и къ наукамъ нѣмецкихъ университетовъ, которая такъ часто проглядываетъ въ его сочиненіяхъ, особенно въ его журналѣ. Точно также и въ политическомъ отношеніи масонскія вліянія остались преобладающими. Осенью 1790 года былъ онъ вмѣстѣ съ Колокольниковымъ въ Страсбургѣ. Весь Эльзасъ былъ полонъ тогда революціоннымъ движеніемъ. Въ Страсбургѣ образовалось патріотическое общество для революціонной пропаганды, и нашихъ масоновъ приглашали посѣтить его не только нѣкоторые жители Страсбурга, но и бывшіе тогда въ немъ русскіе путешественники, но они рѣшительно отъ того отказались, почитая, по словамъ Невзорова, „всѣ таковыя заведенія плодомъ мятежнаго буйства“, и не поѣхали въ Парижъ, куда имъ слѣдовало ѣхать, потому что тамъ господствовала революція¹⁾. У нихъ были масонскія цѣли и порученія. Въ чемъ они состояли однако, кромѣ продажи и покупки книгъ, намъ неизвѣстно. Находясь подъ вліяніемъ московскихъ масоновъ, даже наслаждаясь чтеніемъ масонскихъ книгъ за границею, Невзоровъ однако не сближался съ заграничными масонами и, по совѣту Лопухина, избѣгалъ посѣщенія тамошнихъ ложъ. Въ 1791 году его приглашали посѣтить ложу въ Геттингенѣ, но онъ отказался и потомъ высказывалъ свою радость, что отказался, потому что въ собраніи этой ложи великій мастеръ, профессоръ Бюргеръ, говорилъ похвалу французскому равенству. Нѣмецкіе университеты и въ особенности Геттингенскій, по словамъ Невзорова, „сіе молодое, но слишкомъ далѣе другихъ забѣжавшее въ новомъ безуміи дитя Германіи (замѣтимъ, что въ немъ учились нѣкоторые лучшіе люди царствованія Александра) были первѣйшими орудіями, разсадниками и распространителями всякаго разврата и безбожія и послѣдовавшаго оттого несчастія своего отечества“. Все это Невзоровъ писалъ въ спокойное время, въ частномъ письмѣ, въ полномъ убѣжденіи, а не изъ боязни преслѣдованія.

Не смотря, однако, на такой безвредный образъ мыслей молодыхъ масоновъ, ихъ пребываніе за границею во время революціоннаго

¹⁾ Библ. Зап., I, стр. 650.

движенія, напугавшаго уже правительство Екатерины, ихъ связи съ мартинистами, противъ которыхъ начались тогда преслѣдованія, сдѣлали ихъ людьми подозрительными для власти. По приѣздѣ Невзорова и Колокольниковъ въ февралѣ 1792 года въ Ригу, ихъ тотчасъ взяли подѣ стражу и повезли въ Петербургъ въ Невскій монастырь, подѣ именемъ яковинцевъ, а оттуда въ Петропавловскую крѣпость. Началось слѣдствіе, веденное пресловутымъ Шешковскимъ. Въ его допросахъ было много забавнаго, напр., онъ спрашивалъ у Невзорова: „отчего произошла французская революція?“ Невзоровъ доказывалъ, что революція, „сіе чудовищное произведеніе кровопійственной философіи просвѣщенной политики“, не имѣетъ ничего общаго съ масонствомъ, что напротивъ того всѣ дѣйствія масонства имѣютъ цѣлью борьбу съ нею. На слѣдствіи Невзоровъ показалъ большую твердость духа и достоинство характера, даже тогда, когда Шешковскій грозилъ пыткою; онъ ничего не хотѣлъ отвѣчать безъ депутата отъ университета, къ которому принадлежалъ, ссылаясь на законъ. Слѣдствіе, однако, несмотря на то, что не привело ни къ какимъ результатамъ, произвело такое сильное впечатлѣніе на умъ молодыхъ людей, что оба они изъ крѣпости переведены были въ домъ сумасшедшихъ при Обуховской больницѣ, гдѣ Колокольниковъ вскорѣ и умеръ, а Невзоровъ подѣ тяжестью душевной болѣзни оставался нѣсколько лѣтъ, до самаго воцаренія Павла и одновременнаго освобожденія Новикова. Невзоровъ рассказываетъ, что Павелъ самъ посѣтилъ его въ больницѣ пять разъ и однажды съ императрицею и наследникомъ ¹⁾ Только въ 1798 году можно было взять Невзорова изъ больницы, и по Высочайшему повелѣнію онъ былъ отправленъ въ Москву на попеченіе прежняго его воспитателя—Лопухина. Онъ жилъ въ его домѣ, какъ родственникъ. Это пребываніе его въ домѣ Лопухина напоминало ему прежнее время: Невзоровъ жилъ въ обществѣ масоновъ и мистиковъ, которыхъ давно привыкъ уважать,— слѣдовательно, онъ не разрывалъ связей съ прошедшимъ, не могъ понять новаго времени, и никакая другая дѣятельность не могла замѣнить той, которая ему была такъ хорошо знакома. Литературная дѣятельность Невзорова (до тѣхъ поръ онъ ничего не печаталъ) началась стихотвореніями, которыя были собраны имъ потомъ въ одну книжку (М., 1804). Это были обычные оды на разныя событія или въ честь лицъ, которыхъ особенно уважалъ Невзоровъ, но поэтическаго таланта въ немъ не было.

Невзоровъ, нигдѣ не служившій и не имѣвшій никакихъ средствъ къ существованію, жилъ въ домѣ Лопухина и на его счетъ. Въ

¹⁾ Библ. Зап. I, стр. 653—654.

1800 году. Лопухинъ взялъ его съ собою въ качествѣ секретаря во время ревизіи имъ Вятской губерніи. Плодомъ этого путешествія съ Лопухинымъ было описаніе его, изданное въ 1803 году: „Путешествіе въ Казань, въ Вятку и Оренбургъ въ 1800 году“, въ формѣ писемъ, въ подражаніе Карамзину и В. Измайлову, но безъ сентиментальнаго направленія, господствовавшаго у нихъ. По плану Невзорова должно было появиться пять частей этого описанія, но все дѣло ограничилось первой. Авторъ остановился на описаніи Казани. Описаніе его путешествія отличается преобладаніемъ въ немъ фактической стороны; Невзоровъ сообщаетъ факты по исторіи, географіи и статистикѣ, но весьма кратко. Почему не продолжалось изданіе — намъ неизвѣстно.

По возвращеніи изъ этой поѣздки, Невзоровъ по ходатайству Лопухина опредѣленъ былъ въ канцелярію Московскаго университета, съ употребленіемъ по ученой части, и съ тѣхъ поръ служилъ этому университету въ разныхъ должностяхъ, особенно въ качествѣ начальника типографіи, шестнадцать лѣтъ, до самой отставки своей въ 1816 году. На этой службѣ Невзоровъ отличался рѣдкимъ въ нашемъ обществѣ безкорыстіемъ и презрѣніемъ къ матеріальнымъ выгодамъ. Два раза жертвовалъ онъ значительныя суммы изъ денегъ, слѣдовавшихъ ему по закону съ доходовъ университетской типографіи: разъ въ пользу университета, а въ другой бѣднымъ чиновникамъ и наборщикамъ типографіи, потерпѣвшимъ отъ непріятельскаго нашествія въ 1812 году, 6.000 р. Въ это время онъ до самой послѣдней крайности въ виду непріятеля оставался при типографіи и своими заботами спасъ ее отъ разоренія, хотя и съ трудомъ выбрался изъ Москвы. Свои испытанія и волненія этого времени Невзоровъ описалъ въ замѣчательной статьѣ „Исходъ мой изъ Москвы во время нашествія французовъ“¹⁾. По возвращеніи въ Москву онъ съ тѣмъ же рвеніемъ отдался своей службѣ, жертвуя собственными средствами на устройство и приведеніе въ порядокъ типографіи послѣ непріятельскаго нашествія. Личный характеръ Невзорова отличался прямою, соединенною съ нѣкоторою раздражительностію, что приводило его нерѣдко въ непріятныя столкновенія съ разными лицами и въ особенности съ начальниками. Непріятности эти увеличивались съ годами и повели къ тому, что онъ долженъ былъ покинуть службу въ 1816 году, оставивъ по себѣ память вполне честнаго человѣка.

Почти вся литературная дѣятельность Невзорова, почти все дѣло его жизни, на которое онъ употреблялъ всѣ свои способности и

¹⁾ Др. Юв., 1812 г., Октябрь.

всѣ свои познанія, соединены съ изданіемъ журнала „Другъ Юношества“, къ чему въ послѣдствіи онъ прибавилъ: „и всякихъ лѣтъ“. Большую помощь въ основаніи и распространеніи этого журнала оказалъ Невзорову извѣстный тогдашній попечитель Московскаго университета Муравьевъ, который именно желалъ, чтобъ университетъ имѣлъ свое педагогическое изданіе. Съ 1807 года Невзоровъ и сталъ издавать свой журналъ, посвященный М. Н. Муравьеву, котораго онъ называетъ „другомъ юношества“. По разсказу Невзорова, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотрудники „двухъ старинныхъ своихъ почтенныхъ пріятелей“, но именъ ихъ назвать не желаетъ¹⁾. Это были Багрянскій и Дмитріевскій. Кромѣ нихъ былъ Лопухинъ, всегда и во всемъ помогавшій Невзорову. Изданіе, впрочемъ, шло не вполне удачно. Въ первый годъ помогать деньгами Лопухинъ, да и въ остальные годы число подписчиковъ было незначительно. Невзоровъ говоритъ, что онъ вовсе не ищетъ выгодъ и прибылей отъ журнала, а желалъ бы только, чтобъ онъ окупался, но и этого едва ли всегда достигалъ: журналъ былъ слишкомъ серьезенъ, отвлеченъ, не по-плечу тогдашней публикѣ и совершенно чуждъ современнымъ вопросамъ. Сначала въ первые годы онъ былъ исключительно посвященъ вопросамъ и предметамъ воспитанія, но многіе ли тогда могли интересоваться этимъ? „Хотя съ большимъ сожалѣніемъ, однако должно сказать, говоритъ издатель, что у насъ многіе называютъ воспитаніемъ дѣтей то, когда они отдадутъ сына въ какую школу или пенсіонъ, или наймутъ въ домъ учителя, и особенно иностранца, и заплатя деньги, сами никогда не хотятъ болѣе имъ заниматься“²⁾. По смерти Муравьева, въ 1813 году журналъ былъ посвященъ Лопухину и сталъ называться „Другъ юношества и всякихъ лѣтъ“. Еще прежде измѣнился исключительно педагогическій характеръ изданія и стали помѣщаться статьи мистическаго содержанія, въ особенности принадлежащія Лопухину. Самъ Невзоровъ сталъ писать въ этомъ родѣ, не забывая, однако, первоначальной цѣли изданія. Онъ былъ глубоко преданъ этому дѣлу. Въ 1814 году, по собственному его признанію, онъ былъ такъ утомленъ препятствіями, встрѣчавшимися при изданіи журнала, что желалъ совсѣмъ прекратить его, какъ вдругъ въ Августѣ мѣсяцѣ того года вышелъ указъ Александра въ комиссію духовныхъ училищъ, въ которомъ уже проглядывалъ правительственный мистицизмъ, и Невзоровъ счелъ своимъ долгомъ продолжать изданіе.

Поддержку своему журналу, какъ нравственную, такъ и матеріальную—въ подписчикахъ, Невзоровъ находилъ преимущественно въ лю-

¹⁾ Др. Юн., 1809 г., Январь.

²⁾ Ibid. V—VI.

дахъ одного съ нимъ направленія, частію въ тѣхъ, которые принадлежали къ старому кругу Новикова, частію въ ихъ послѣдователяхъ и воспитанникахъ. Это было понятно потому, что „Другъ Юношества“ былъ совершенно чуждъ современности, и, имѣя задачей сначала улучшеніе воспитанія, распространеніе пригодныхъ для юношества свѣдѣній и чисто нравственно-христіанское направленіе, склонился потомъ къ содержанію масонскому и высказывалъ постоянно на страницахъ своихъ недовѣріе къ современной наукѣ и просвѣщенію. Общество уходило впередъ въ своемъ развитіи, а Невзоровъ не думалъ удовлетворять его потребностямъ. Никто изъ сколько-нибудь извѣстныхъ тогда литературныхъ талантовъ не принималъ участія въ журналѣ, и Невзоровъ принужденъ былъ довольствоваться писателями только что начинающими, неизвѣстными. Весь трудъ изданія лежалъ на одномъ издателѣ, но у него не было вовсе художественнаго таланта, а научныя статьи его писаны были исключительно съ педагогическими цѣлями. Въ объявленіяхъ своихъ о журналѣ Невзоровъ постоянно повторялъ, что не принимаетъ къ напечатанію эпиграммы, сатиры, комедіи, романы, ссылаясь въ этомъ случаѣ на нравственный долгъ свой и говорилъ, что не намѣренъ служить вкусу. Можно сказать положительно, что онъ боролся въ своемъ журналѣ со вкусомъ времени, съ духомъ вѣка, презиралъ ихъ, какъ и человѣческую науку, основанную на доводахъ и доказательствахъ, а не на мистикѣ, а потому и былъ все время изданія своего журнала цѣлю насмѣшекъ и эпиграммъ.

Невзоровъ былъ человѣкъ ученый, воспитанный въ строгой классической школѣ, а потому въ журналѣ его встрѣчается много статей, посвященныхъ древнему міру, мифологіи, исторіи и проч., но правильному и свободному взгляду на этотъ предметъ мѣшала исключительно религіозная точка зрѣнія, которая вела его къ поученію, да и статьи его не были самостоятельны, а составлялись по французскимъ переводамъ. На исторію всемірную Невзоровъ также смотрѣлъ съ нравственной точки зрѣнія, выдѣляя изъ нея только тѣ лица, которыя по содержанію своему сколько нибудь соответствовали его масонско-мистическому воспитанію въ школѣ Новикова и Шварца: таковы были вообще реформаторы и протестантскіе мистики, о которыхъ онъ говоритъ съ особеннымъ уваженіемъ. Но вся исторія новой Европы казалась ему только приготовленіемъ къ французской революціи, которую онъ ненавидѣлъ всѣми силами души своей. Постоянная война идетъ въ его журналѣ противъ энциклопедистовъ и вообще французской философіи XVIII вѣка. Здѣсь онъ высказывалъ свои собственныя сужденія, обязанныя существованіемъ масонскому воспитанію его. Статей, написанныхъ имъ противъ знаменитыхъ пред-

ставителей мысли въ XVIII вѣкѣ и противъ нѣмецкой науки, зараженной, по мнѣнію Невзорова, тѣмъ же нехристіанскимъ направле-ніемъ,—въ журналъ много. Нападенія его на западную науку особенно сильны въ статьѣ: „Все ли хорошо, что въ чужихъ земляхъ водится?“ ¹⁾ Съ своей точки зрѣнія онъ нападалъ на чрезвычайное развитіе преподаванія въ университетахъ и гимназіяхъ классическихъ писателей и почти совѣтовалъ замѣнить изученіе древнихъ поэтовъ изученіемъ псалмовъ Давида и другихъ священныхъ пѣсень, которыя, конечно, были гораздо нравственнѣе произведеній древней музы.

Современное развитіе естественныхъ наукъ въ Германіи было также не по вкусу Невзорову. Онъ не могъ примириться съ чисто опытнымъ ихъ направленіемъ и совѣтовалъ лучше вѣрить, чѣмъ прибѣгать къ какимъ-нибудь научнымъ гипотезамъ. Также своеобразно смотрѣлъ онъ на созданія нѣмецкой литературы. Шиллера бранилъ за то, что разбойниковъ сдѣлалъ героями, Гёте за его „безнравственнаго“ Вертера и за подобострастіе къ Наполеону. Онъ пророчилъ умственное паденіе Германіи. „Германія! говорилъ Невзоровъ. Я гласомъ соотчича твоего, сочинителя предлагаемой здѣсь статьи, реку тебѣ и всему бѣдотворною мудростію міра упоенному Вавилону, что ежели не престануть въ васъ толикія безумства и ослѣпленія поражать горестные плоды свои, то вся мнимо-великая громада Вавилона, какъ брошенный въ море тяжелый жерновъ, погрязнетъ въ немъ и во всемъ пространствѣ владѣній его живныя хитрости и изящества исчезнутъ, цвѣты поблекнутъ, свѣтъ погаснетъ и не будетъ слышно ни веселаго пѣнія, ни гласа жениха и невѣсты; взыщется кровь всѣхъ истинныхъ учителей, учащихъ словомъ и дѣломъ, избѣнныхъ и избиваемыхъ мнимо—мудрыми вашими философами—мудрецами“ ²⁾ А для Германіи начиналось тогда только что время политическаго возрожденія. Яркій лучъ свѣта истиннаго просвѣщенія Невзоровъ общалъ Европѣ отъ Сѣвера, только что побѣдившаго второго Навуходоносора. Отсюда и славянофильство Невзорова и постоянные совѣты презрѣть западную наукою и западнымъ образованіемъ, остерегаться слѣпого подражанія. Онъ убѣжденъ, что иностранцы принесли намъ больше вреда, чѣмъ пользы. „Любезные юноши! говоритъ Невзоровъ. Уважайте просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ иностранцевъ, но не перенимайте всего того, что водится, дѣлается и славится въ чужихъ краяхъ, а слѣдуйте во многомъ простодушнымъ своимъ предкамъ, подражайте имъ особливо въ томъ, что надлежитъ до Богопочитанія и будьте по

¹⁾ Другъ Юношества. 1811 г., Ноябрь.

²⁾ Ibid., 1819 г., Апрель.

примѣру ихъ привержены къ вѣрѣ, закону и религіи“¹⁾. Эти убѣжденія и мысли особенно усилились въ Невзоровѣ со времени отечественной войны. Въ 1813 году онъ взялъ на свою отвѣтственность, кромѣ „Друга Юношества“, еще изданіе „Политическаго журнала“. Онъ издавался отъ московскаго университета, но издатель его, профессоръ Гавриловъ во время Наполеонова нашествія уѣхалъ изъ Москвы, и журналъ прекратился. По изгнаніи французовъ онъ отказался отъ продолженія изданія, и дѣло это добровольно и безвозмездно взялъ на себя Невзоровъ, по словамъ его, „для сохраненія чести университета и не желая лишить удовольствія читателей прерваніемъ столькихъ лѣтъ современной исторіи“. Невзоровъ продолжалъ изданіе журнала полтора года и наполнялъ его статьями противъ Наполеона, французовъ и „философіи міра сего“. Лучшія статьи его въ этомъ родѣ составили потомъ особое сочиненіе: „Наполеонова политика или царство гибели народной и состояніе Европейскихъ государствъ до войны 1812 года“. (М. 1813).

Въ „Другѣ Юношества“ Невзоровъ является и сатирикомъ-памфлетистомъ, рѣзко нападающимъ на современные нравы и на то, что казалось ему уклоненіемъ отъ настоящей нравственности. Въ журналѣ его встрѣчается множество мелкихъ замѣтокъ, высказанныхъ имъ по разнымъ поводамъ, нападеній на разные мелкія слабости окружавшей жизни. Нападенія эти, впрочемъ, рѣдко попадали въ цѣль и едва ли могли имѣть какое-либо вліяніе на читателей по недостатку таланта въ ихъ авторѣ. Ихъ, конечно, любопытно изучить тому, кто желалъ бы всестороннимъ образомъ познакомиться съ тогдашней эпохой, но вообще примѣръ Невзорова и его журнала, несмотря на твердость и честность его убѣжденій, несмотря порою даже на оригинальность его мысли, служить намъ доказательствомъ бесплодности масонско-мистическаго направленія въ литературѣ. Невзоровъ не понималъ современности, и, оставаясь вѣренъ полученному имъ направленію, онъ является какою-то аномаліей въ эпохѣ, какъ и вся мистика.

Вполнѣ мистическимъ писателемъ Невзоровъ не былъ; онъ не употреблялъ даже туманный и вычурный языкъ мистики, но, конечно, уважалъ ее и даже писалъ о ея значеніи и содержаніи. Такъ въ статьѣ своей, заключающей разборъ задачи, данной Геттингенскимъ ученымъ обществомъ, написать разсужденіе объ исторіи мистицизма, гдѣ мистицизмъ называется *родомъ философствованія*, Невзоровъ опровергаетъ это, говоритъ о сочиненіяхъ Таулера, Парадельза, Арндта и доказываетъ, что мистика есть „не что иное, какъ христіанское

¹⁾ Ibid., 1808 г., Ноябрь.

ученіе о дѣятельномъ послѣдованіи Іисусу Христу, или, что одно и то же, о любви къ Богу и ближнему“ ¹⁾). Такимъ образомъ, Невзоровъ желалъ какъ бы практическаго христіанства, но вмѣстѣ съ тѣмъ мистика; по его словамъ, должна учить не прямому, а таинственному смыслу св. Писанія, а это давало естественно широкое поприще личному произволу. Впрочемъ, чисто мистическихъ статей, гдѣ бы простой смыслъ христіанства смѣшивался съ мистическими выраженіями, и опредѣленнаго мистическаго направленія въ журналѣ Невзорова не было, и это спасло его отъ цензурныхъ преслѣдованій въ началѣ царствованія Александра, когда императоръ самъ еще не любилъ мистики, и она строго преслѣдовалась нашимъ духовенствомъ.

Бартеневъ, въ своей большой статьѣ, посвященной М. И. Невзорову ²⁾), дѣлаетъ изъ него какого-то героя, исполненнаго высокой доблести и глубокаго сознанія своего долга не только въ жизненныхъ его отношеніяхъ, но и во всей литературной его дѣятельности. Въ жизни своей Невзоровъ былъ дѣйствительно глубоко честный человѣкъ, исполненный сознанія долга, безкорыстный и прямой, чуждый эгоистическихъ цѣлей, человѣкъ, какихъ вообще было очень мало въ нашемъ обществѣ, съ нѣсколькими оригинальными особенностями, какъ у многихъ старыхъ масоновъ, — лицо типическое въ своемъ родѣ. Въ запискахъ современнаго московскаго студента (Жихарева) сохранилось нѣсколько воспоминаній объ этой оригинальной личности, которая влекла къ себѣ даже вѣтренаго молодого человѣка: „Что за умный и добрый человѣкъ этотъ Максимъ Ивановичъ! какихъ гоненій онъ не натерпѣлся за свою рѣзкую правду и вѣрность въ дружбѣ, какъ искренно прощаетъ онъ врагамъ своимъ и какъ легко переноситъ свое положеніе! При всей своей бѣдности онъ не ищетъ ничьей помощи, хоть многіе старинные сотоварищи его (масоны) принимаютъ въ немъ живое участіе и желали бы пособить ему. Ходитъ себѣ въ холодной шинелишкѣ по знакомымъ своимъ, большею частію изъ почетнаго духовенства, и не думаетъ о будущемъ. Говоритъ: *довольтъ дневи злоба его*“ ³⁾). Въ такомъ же родѣ, какимъ-то стойкомъ является Невзоровъ и въ замѣткахъ о немъ Лопухина ⁴⁾). По выходѣ въ отставку, получая пенсію по университетской службѣ, Невзоровъ постоянно однако нуждался, потому что всѣ деньги свои раздавалъ бѣднымъ. Изъ этихъ послѣднихъ лѣтъ жизни сохранилось о немъ нѣсколько анекдотовъ, рису-

¹⁾ Ibid., 1812 г., Янв., стр. 132.

²⁾ Русск. Бес. 1856 г., III.

³⁾ Записки Жихарева, стр. 21.

⁴⁾ Др. Юн. 1812, Ноябрь.

шихъ его какъ оригинала. Рассказываютъ, что онъ каждый день ходилъ въ обѣднѣ и послѣ словъ „оглашенніи изыдите“ всегда спѣшилъ выйти изъ церкви, считая себя недостойнымъ быть при окончаніи обѣдни. Невзоровъ дожилъ до 1827 года и умеръ въ крайней бѣдности, такъ что при смерти нашлось у него нѣсколько копѣекъ, и друзья похоронили его на свой счетъ.

Что касается до значенія литературной дѣятельности Невзорова, то мы уже отчасти говорили о ней. Еслибъ онъ былъ вполнѣ мистическимъ писателемъ, то мы и имѣли бы съ нимъ дѣло, какъ съ представителемъ этого рода идей, и смотрѣли бы на его сочиненія, какъ на извѣстное заблужденіе ума человѣческаго, подѣ влияніемъ разныхъ историческихъ и общественныхъ обстоятельствъ. Но Невзоровъ желалъ быть публицистомъ, думалъ статьями своего журнала дѣйствовать на развитіе общества и вести его къ определенной цѣли. Для этого недостало у него ни таланта, ни знаній, ни достаточнаго знакомства съ духомъ времени. Положимъ, что онъ хотѣлъ бороться съ послѣднимъ, но во имя чего? Цѣль у него была неясна. Воспитанный европейскою наукою, всѣмъ обязанный ей, Невзоровъ сдѣлался потомъ недоволенъ ею и нападалъ на нее при всякомъ удобномъ случаѣ. За что же онъ не любилъ ее, были ли у него какія нибудь для того основанія? А не любилъ онъ науку за то, что она была наука и противорѣчила его сердечнымъ вѣрованіямъ. Примирить эти два противорѣчія онъ былъ не въ состояніи. Нападая на западное образованіе, онъ не сознавалъ однакожь ясно, въ чемъ заключаются коренныя русскія основы, потому что не зналъ ихъ и не вдумывался въ нихъ. Источникомъ всѣхъ его сатирическихъ выходокъ было масонско-мистическое воспитаніе, но мы знаемъ, какъ неопредѣленно было содержаніе его. Однимъ словомъ, во всей литературной дѣятельности Невзорова было что-то недосказанное; вся она имѣетъ какой-то неопредѣленный и вмѣстѣ съ тѣмъ несимпатичный характеръ и о ней не стоило бы долго говорить въ исторіи русской литературы, еслибъ не нужно было на этомъ оригинальномъ публицистѣ показать, какъ бесплодно было влияніе на общество масонско-мистическихъ началъ.

Съ гораздо болѣе опредѣленными чертами дѣятельности и стремленія является передъ нами въ Александровское время другой воспитанникъ стараго московскаго общества масоновъ, глава петербургскихъ мистиковъ, дѣйствовавшій чрезвычайно энергически и плодovitо въ мистической литературѣ во все время царствованія Александра—А. Θ. Лабзинъ. Человѣкъ большого ума и значительнаго образованія, отличавшійся, по рассказамъ современниковъ, силою воли, энергіею характера и практическою дѣятельностію, Лабзинъ образо-

валъ вокругъ себя довольно значительный кружокъ единомышленниковъ въ мистическомъ направленіи, изъ которыхъ сдѣлалъ своихъ сотрудниковъ, какъ въ журналѣ имъ издаваемомъ, такъ и въ многочисленныхъ переводахъ нѣмецкихъ мистическихъ сочиненій. Обладая значительною духовною силою, Лабзинъ господствовалъ въ этомъ кружкѣ деспотически и всѣ подчинялись его власти. Онъ давалъ тонъ и направленіе; онъ имѣлъ вліяніе. Лабзинъ пережилъ при Александрѣ гоненіе, торжество и снова гоненіе мистицизма. Когда онъ палъ и долженъ былъ отправиться въ ссылку, то извѣстный представитель ортодоксальной партіи духовенства, архимандритъ Фотій, сломившій министра духовныхъ дѣлъ кн. А. Н. Голицина, называлъ его „гордый Лабзинъ, отецъ и ересіархъ“¹⁾. Съ этой стороны и съ другихъ Лабзинъ нажилъ себѣ много враговъ, но онъ былъ истинно увлеченный человѣкъ и глубоко преданный своему дѣлу — своеобразному пониманію христіанства. Его дѣятельность въ этомъ отношеніи, конечно, должна была возбуждать разные толки въ обществѣ, тѣмъ болѣе, что Лабзинъ вездѣ, не разбирая источниковъ, искалъ удовлетворенія своей духовной потребности. „Писатель, который въ теченіе двадцати лѣтъ непрестанно занимается изданіемъ христіанскихъ книгъ, по необходимости долженъ быть ненавидимъ и злословимъ, пишетъ о немъ Сперанскій къ Столыпину; для меня сіе не новостъ и сіе злословіе именно составляетъ его достоинство. Люди безъ религіи никакъ не понимаютъ, какъ можно ею заниматься постоянно, не бывъ сумасшедшимъ или лицемеромъ“²⁾ Александръ Ѳеодоровичъ Лабзинъ происходилъ изъ дворянъ и родился въ Москвѣ въ 1766 году. Первоначальное образованіе получилъ онъ дома и, по разсказу его воспоминаній, съ дѣтства полюбилъ ариметику, что сдѣлало его потомъ хорошо знакомымъ вообще съ математикою. Изъ дѣтства же, въ которомъ пробудилось въ немъ религіозное чувство, Лабзинъ вынесъ любопытное воспоминаніе о томъ, въ какомъ положеніи находилось тогда, да и теперь находится, въ образованныхъ русскихъ семействахъ чтеніе книгъ Св. Писанія, сравнительно не только съ протестантскими, но и съ католическими семействами. „Библию, если кто и не презиралъ вовсе, разсказываетъ Лабзинъ, то по крайней мѣрѣ почиталъ книгою, для церквей только потребною, для поповъ однихъ годною... Никто къ чтенію Библии не увѣщевался, и никто не предполагалъ, что Библія служитъ даже и къ просвѣщенію разума; напротивъ того, самые набожные люди имѣли тогда несчастную мысль,

¹⁾ Русск. Арх. 1863 г. I, стр. 851.

²⁾ Русск. Арх. 1870 г., стр. 1152.

что отъ чтенія священной сей книги люди съ ума сходятъ. Въ малолѣтствѣ моемъ я разъ наказанъ былъ отъ матери моей *изъ набожности* (?) за то, что читалъ Библію и прелаталъ въ стихи плачъ Іереміинъ“ ¹⁾. Воспоминаніе очень любопытное и весьма характерное.

Лѣтъ десяти Лабзинъ поступилъ въ гимназію, находившуюся при университетѣ, а въ 1780 г. сдѣлался уже студентомъ (четырнадцати лѣтъ). По разсказу самого Лабзина, въ университетѣ онъ занимался больше древними писателями, но изучалъ ихъ не для содержанія, а для языка и по выходѣ изъ университета, разумѣется, забылъ ихъ и не принимался за нихъ. Потомъ, впрочемъ, случайно прочитавъ сочиненіе Цицерона „О должностяхъ“ (de officiis), пораженный его чистыми понятіями о нравственности, Лабзинъ сталъ читать и другихъ древнихъ писателей и убѣдился, что „древніе вообще были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное евангеліе и называющіеся христіанами“. Лабзинъ сравниваетъ мысли Цицерона съ мыслями Бентама и ставитъ послѣдняго, конечно, гораздо ниже ²⁾. Очень рано, еще въ университетѣ, Лабзинъ подчинился нравственному вліянію кружка московскихъ масоновъ, которое воспитало его и на всю жизнь дало направленіе его духовной дѣятельности, сдѣлало его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, — мистикомъ. Вѣроятно, его способности и успѣхи обратили на него вниманіе со стороны профессора Шварца, набиравшаго умныхъ молодыхъ людей для масонскихъ цѣлей. Вліянію Шварца Лабзинъ обязанъ всѣмъ внутреннимъ содержаніемъ своимъ и съ глубокимъ чувствомъ передавалъ онъ потомъ, по воспоминаніямъ, какимъ образомъ Шварцъ спасъ его отъ современной философіи. „Издатель имѣлъ счастье, говоритъ Лабзинъ о себѣ, бывъ еще 15 лѣтъ, предостереженъ быть отъ такихъ преткновеній благодѣяніемъ одного просвѣщеннаго мужа, который въ самое то время, когда модные писатели поглощались съ жадностью незрѣлыми умами, принялъ на себя благородный трудъ разсѣять сіи возстающіе мраки, и безъ всякаго иного призыва, по сему единственно возбужденію, въ партикулярномъ домѣ, открылъ лекціи новаго рода для всѣхъ желающихъ. Съ ними разбиралъ онъ Гельвеція, Руссо, Спинозу, Ламетри и пр., сличалъ ихъ съ противными имъ философами, и показывая разность между ними, училъ находить и достоинство каждаго. Какъ будто новый свѣтъ просіялъ тогда слушателямъ! Какое направленіе и умамъ и сердцамъ далъ сей благодѣтельный мужъ! Издатель съ благодарными

¹⁾ Сіонск. Вѣстн. VII, стр. 223—224.

²⁾ Сіон. Вѣст. I, стр. 22—23.

чувствованіями воспоминаетъ сію счастливую эпоху, составляющую и понынѣ первое благо въ его жизни. Главное, и для тогдашняго времени поразительное, явленіе было то, съ какою силою простое слово его исторгло изъ рукъ многихъ соблазнительныя и безбожныя книги, въ которыхъ, казалось тогда, весь умъ заключался, и помѣстило на мѣсто ихъ святую библію“... ¹⁾). Лекціи Шварца читались сначала у него на квартирѣ, а потомъ въ болѣе обширномъ помѣщеніи, въ домѣ Новикова. Они служили приготовительнымъ курсомъ для масонства. Нѣкоторые отрывки ихъ были напечатаны Невзоровымъ, тоже его слушателемъ, въ журналѣ „Другъ Юношества“. Эти лекціи возбудили недовѣріе университетскаго начальства и московскаго духовенства и были прекращены, но вліяніе ихъ на мистиковъ осталось на всю жизнь.

ЛЕКЦІЯ ХІІ.

Литературная дѣятельность Лабзина — Юнгъ Штиллингъ.

Литературную дѣятельность свою Лабзинъ началъ подѣ вліяніемъ того же Новиковскаго кружка, которому былъ обязанъ своимъ нравственно-религіознымъ направленіемъ и отчужденіемъ отъ идей современной философіи. Первые студенческія произведенія его были напечатаны въ періодическомъ изданіи Новикова „Вечерняя Заря“ съ нравственно-религіознымъ содержаніемъ (М. 1782 г., 3 ч.), въ которомъ участвовали всѣ воспитанники Новиковской семинаріи. Одно изъ стихотвореній Лабзина, напечатанное въ этомъ журналѣ, именно „Французская Лавка“ ²⁾, удостоилось даже перепечатки въ „Собесѣдникѣ“, издававшемся подѣ покровительствомъ Екатерины ³⁾. Оно замѣчательно въ томъ отношеніи, что показываетъ направленіе мысли Лабзина въ эту пору, выражающее нелюбовь къ французскому вліянію на русскіе нравы. Содержаніе этой небольшой пьесы то же, что и комедіи Крылова „Модная Лавка“, и осмѣиваетъ тѣхъ, которые покупаютъ за дорогую цѣну гнилой французскій товаръ. Смерть Шварца, оплакиваемая всѣми почитателями и учениками его, была почтена торжественнымъ собраніемъ единомышленниковъ, на которомъ произносились рѣчи и читались стихи въ честь его. И Лабзинъ написалъ также по этому поводу стихи,

¹⁾ Сіон. Вѣст. VII, стр. 222.

²⁾ Вечерн. Заря, ч. II, стр. 230.

³⁾ Собесѣдникъ, XI, стр. 23—26.

въ которыхъ говоритъ объ общемъ и своемъ собственномъ горестномъ чувствѣ. Такимъ образомъ, Лабзинъ, подобно многимъ другимъ, началъ свою литературную дѣятельность стихотвореніями. Одно изъ нихъ обратило даже на него вниманіе власти. Это была „Торжественная Пѣснь Екатерины II“, написанная Лабзинымъ и поднесенная вмѣстѣ съ другими подобными одами отъ Университета, отъ благороднаго университетскаго пансіона, отъ Духовной Академіи по случаю пріѣзда императрицы въ Москву изъ ея извѣстнаго путешествія въ Крымъ (М. 1787). За эту оду Лабзинъ получилъ награду. Лабзинъ и потомъ часто употреблялъ стихи въ своихъ сочиненіяхъ, но случайно, не стараясь писать много. Тогда же для типографіи Новикова, а всего вѣроятнѣе для денегъ, онъ сдѣлалъ два перевода, въ которыхъ, однако, не было ничего общаго съ послѣдующею его литературною дѣятельностью мистическаго содержанія. То были „Фигарова женитьба“ комедія Бомарше (М. 1787) и „Судья“ комедія Мерсье (М. 1788). Лабзинъ былъ еще очень молодъ, не писалъ ничего въ масонско-мистическомъ направленіи, повидимому, не былъ въ близкихъ дружескихъ связяхъ ни съ кѣмъ изъ старыхъ мартинистовъ, когда разразилось надъ ними преслѣдованіе власти, такъ что оно нисколько не коснулось его, даже имя Лабзина не встрѣчается въ процессѣ. Лабзинъ въ теченіе долгихъ лѣтъ, до самой ссылки своей, служилъ по разнымъ вѣдомствамъ и былъ очень усерднымъ и исполнительнымъ чиновникомъ. Его служебной дѣятельности не мѣшали, однако, литературные труды, его изданія и переводы въ мистическомъ родѣ, которые онъ предпринималъ въ очень значительномъ количествѣ. Это соединеніе двухъ жизненныхъ работъ, изъ которыхъ одна не мѣшала другой, можно объяснить, мы думаемъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что мистико-литературная дѣятельность Лабзина, несмотря на то, что она удовлетворяла его сердечному влеченію и соотвѣтствовала его вкусамъ и направленію, не была, однако-жъ, оригинальною, а потому и не могла всецѣло поглотить его.

Познакомившись въ университетѣ, а всего болѣе въ Новиковской семинаріи съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, Лабзинъ, по выходѣ изъ университета, поступилъ на службу переводчикомъ въ Московское губернское правленіе, черезъ три года перешелъ къ той же должности въ конференцію Московскаго университета, а въ 1789 году перешелъ на службу въ Петербургъ, изъ котораго и не выѣзжалъ до самой ссылки своей. Здѣсь служилъ онъ сначала въ секретной экспедиціи С.-Петербургскаго почтамта (т.-е. онъ долженъ былъ слѣдить за иностранными газетами, чтобъ не проскользнуло въ русскую публику что-нибудь для нея непригодное, и, безъ сомнѣнія, перечитывать подозрительныя письма). Царствованіе Павла нѣсколько вы-

двинуло его впередъ. Въ 1799 году онъ перемѣщенъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и назначенъ исторіографомъ ордена Іоанна Іерусалимскаго, т.-е. мальтійскихъ рыцарей, гротмейстеромъ которыхъ, къ полному своему удовольствію, сдѣлался тогда императоръ Павелъ. Въ качествѣ исторіографа ордена, Лабзинъ издалъ, вмѣстѣ съ А. Вахрушевымъ, исторію ордена (С.-ПБ. 1799—1801, 5 ч.), за что получилъ значительные подарки отъ Павла, хотя и эта исторія не была самостоятельнымъ трудомъ Лабзина, а переводомъ сочиненія Верто. Императоръ Александръ также обратилъ на него вниманіе, и Лабзинъ быстро возвышался по службѣ, получая чины, ордена и высочайшіе подарки. Въ 1804 году Лабзинъ былъ уже дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и сдѣлался директоромъ департамента военныхъ морскихъ силъ. Еще прежде, при Павлѣ, по Высочайшему повелѣнію онъ сдѣлался конференцъ-секретаремъ Академіи художествъ и по этому званію часто приводилось ему произносить рѣчи на торжественныхъ собраніяхъ академіи. Эту должность Лабзинъ не оставлялъ до конца своей дѣятельности, а впослѣдствіи былъ даже вице-президентомъ Академіи. До 1804 года, когда служебное положеніе Лабзина упрочилось, когда онъ сталъ пользоваться уваженіемъ и извѣстностью въ соединеніи съ достаточнымъ жалованьемъ, когда онъ завелъ знакомства и литературныя связи, мы не видимъ въ дѣятельности его, какъ писателя, ничего особеннаго. Онъ не выказывалъ ни литературнаго таланта, ни направленія, которое пріобрѣло ему потомъ такую извѣстность. Въ 1804 году Лабзинъ напечаталъ переводъ съ французскаго „Дионирамъ на безсмертіе души“ Делиля, въ которомъ не было ничего, кромѣ обыкновенныхъ поэтическихъ фразъ. Но тогда уже началась усиленная литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи, состоявшая во множествѣ переводовъ съ нѣмецкаго и въ оригинальномъ собственномъ изданіи, — дѣятельность, которая сдѣлала имя Лабзина всѣмъ извѣстнымъ, пріобрѣла ему враговъ и поклонниковъ, вызвала то преслѣдованіе, то сочувствіе со стороны власти, а главное представила нѣсколько любопытныхъ страницъ изъ исторіи русскаго общества. На новыхъ переводахъ и изданіяхъ Лабзина мы не встрѣчаемъ даже его имени; оно скромно замѣняется буквами: *У. М.*

Литературная дѣятельность Лабзина въ мистическомъ направленіи удовлетворяла прежде всего его самого, человѣка, воспитаннаго предшествовавшимъ масонствомъ, искренне преданнаго христіанству и искавшему разными способами, не разбирая ихъ сущности и содержанія, удовлетворить своему религіозному исканію истины. Такъ, впослѣдствіи, когда послѣ великихъ всемірныхъ событій, которыя пришлось пережить и русскому обществу, оно, потрясенное этими со-

бытіями, невольно впало въ мистическое состояніе, думало видѣть воочию Бога посреди громадныхъ волненій времени и склонялось естественно къ мистическому міросозерцанію, когда Александръ, на верху возможной человѣческой славы, сталъ прислушиваться къ голосу разныхъ пророковъ и пророчицъ, всегда появляющихся посреди великихъ историческихъ переворотовъ, когда большинство, чуждое крѣпкаго умственного образованія и лишенное положительныхъ знаній, бросилось въ экстатическую молитву и религіозный восторгъ— и Лабзинъ сталъ искать удовлетворенія своей религіозной потребности въ пророческихъ собраніяхъ г-жи Татариновой ²⁾ Эти колебанія и эти заблужденія были совершенно естественны при сильно возбужденномъ религіозномъ чувствѣ. У Лабзина не было богословскаго образованія, да и никакое богословіе не въ состояніи удовлетворить сердечному чувству вѣры; въ официальной церкви, въ сношеніяхъ съ ея представителями, всего менѣе могло быть удовлетворено это чувство, а между тѣмъ масонское воспитаніе постоянно твердило ему о таинственномъ смыслѣ христіанства, о „внутренней“ церкви, такъ не похожей на наружную, приготовило его къ туманнымъ представленіямъ, къ неопредѣленнымъ, но говорящимъ неясному чувству символамъ и фигурамъ, и онъ нашелъ удовлетвореніе въ современныхъ ему мистическихъ писателяхъ Германіи, въ которыхъ такъ же, какъ и въ немъ, господствовало броженіе религіозной мысли, произведенное масонствомъ и иллюминатствомъ прошлаго вѣка. Эти писатели, въ противоположность ортодоксальному протестантскому богословію, обращались не къ наукѣ, а къ простому чувству народа и умѣли заинтересовать его содержаніемъ своихъ сочиненій, въ которыхъ весьма часто неподдѣльное поэтическое чувство соединялось съ экстатическими видѣніями о загробной жизни, всегда интересовавшими народное воображеніе. Къ этому содержанію произведеній тогдашнихъ нѣмецкихъ мистиковъ надобно присоединить еще свойственное имъ мистическое представление о современномъ революціонномъ переворотѣ, только что пережитымъ европейскимъ міромъ, представление о тяжелой бурѣ, въ видѣ гнѣва Божія разразившейся надъ человѣчествомъ, но произведенной *буйствомъ разума*, вышедшаго изъ опредѣленій религіи. Эта мистическая ненависть къ французской революціи, весьма ясно высказываемая въ каждомъ сочиненіи нѣмецкихъ мистиковъ, сдѣлала ихъ весьма любезными для тогдашнихъ потентатовъ Европы, и въ годы начинавшейся реакціи мистицизмъ сдѣлался однимъ изъ дѣйствительныхъ полицейскихъ средствъ для вящаго усыпленія „мир-

¹⁾ Тр. Кіев. Дух. Ак. 1863 г., III, стр. 175—176.

ныхъ народовъ“. Вотъ почему онъ и у насъ пользовался покровительствомъ правительства. Лабзинъ и нѣсколько писателей одного съ нимъ, направленія, людей имъ возбужденныхъ, были главными проводниками этого рода мистическихъ идей въ нашу литературу. Оригинальная дѣятельность ихъ была крайне ничтожна. Весь трудъ этихъ людей заключался главнымъ образомъ въ переводахъ съ нѣмецкаго двухъ прославленныхъ и возвеличенныхъ ими мистиковъ, Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга. Эти переводы наводняли русскую литературу съ первыхъ годовъ нашего вѣка до послѣднихъ годовъ царствованія Александра и представляютъ, посреди другихъ болѣе жизненныхъ теченій и явленій, какой-то мутный источникъ, ни съ чѣмъ не соприкасавшійся, но въ которомъ тонули умы, къ сожалѣнію, не малаго числа читателей. Эта переводная мистическая литература изъ вліятельной и преобладающей очень скоро перешла на толкучіе рынки или хранилась какъ драгоценность въ библіотекахъ старыхъ мистиковъ, пережившихъ ея рожденіе, процвѣтаніе и смерть. Но въ свое время она шумѣла, имѣла большое общественное значеніе, а потому вполне заслуживаетъ нѣсколькихъ страницъ въ исторіи умственнаго движенія нашего общества.

Эккартсгаузенъ и Юнгъ Штилингъ—вотъ два авторитета нашихъ мистиковъ, которымъ они слѣпо подчинялись, два вдохновенные небесною силою мыслителя, два христіанскіе пророка, которыхъ каждое слово было драгоценно для нихъ. О первомъ и его значеніи въ умственномъ развитіи Германіи мы уже имѣли случай говорить. Юнгъ Штилингъ гораздо болѣе оригинальная и талантливая личность; его сочиненія имѣли въ свое время большое вліяніе на читателей, а его разнообразная, исполненная самыхъ пестрыхъ приключеній жизнь, чрезъ которую постоянно проходитъ религіозно-мистическое, страстное увлеченіе, невольно приковывала къ себѣ вниманіе лучшихъ людей времени. Объ этой личности необходимо сказать нѣсколько словъ, хотя бы для того, чтобъ сравнить богатство нѣмецкой духовной жизни съ необычайною бѣдностью нашей, для доказательства существенной разности между волненіями мысли въ Германіи и неподвижностію ея у насъ. Жизнь Штиллинга описана довольно подробно имъ самимъ и друзьями его по смерти; она занимательна какъ романъ ¹⁾.

Юнгъ Штилингъ былъ сынъ народа и вышелъ изъ среды его, но было бы весьма ошибочно представлять поэтому, что онъ внесъ въ литературу здоровое, крѣпкое содержаніе. Нѣмецкій народъ въ

¹⁾ Русскій переводъ — Лабзина, части 1—3. Спб. 1816—1818 г., 12°.

своей долгой исторической жизни подчинялся такимъ разнообразнымъ вліяніемъ, что въ немъ трудно искать непосредственной простоты и естественности. да и духовная сфера всякаго простаго народа окружена такимъ суевѣріемъ и такими нездоровыми вліяніями, что только сильныя умы выбиваются изъ нея и то тогда, когда они попадутъ на настоящій путь развитія. Они стремятся вырваться изъ этихъ жалкихъ отношеній, возбужденные случайнымъ чтеніемъ, которое остается для нихъ на половину понятнымъ и даетъ очень смутный идеалъ для жизни и дѣятельности. Почти вездѣ религіозное чувство или піетизмъ является посредствующимъ звеномъ между бѣдною грубою жизнію и образованіемъ. Ремесленники, крестьяне въ земляхъ протестантскихъ недовольны проповѣдью пастора, которая не раскрываетъ передъ ними глубокихъ божественныхъ тайнъ и не удовлетворяетъ ихъ возбужденнаго религіознаго чувства. Библия дѣлается ихъ любимымъ предметомъ чтенія, по своему истолковываютъ они ея изреченія и приходятъ въ мистическій восторгъ. Почти то же происходитъ и въ нашемъ такъ называемомъ расколѣ. Это даетъ возможность такимъ людямъ говорить о религіи съ извѣстнымъ оттѣнкомъ поэзіи и не безъ нѣкотораго образованія— слѣдствія начитанности. По-немногу пріучаются они говорить, разсуждать и спорить о предметахъ религіозныхъ, получаютъ авторитетъ и слушателей. Такая духовная жизнь распространена почти во всей Германіи; въ ней суевѣріе, піетизмъ и шарлатанизмъ всякаго рода соединяются въ одно смутное цѣлое. Такая жизнь господствовала и въ той мѣстности, гдѣ родился Юнгъ Штиллингъ (деревня Грундъ, Нассау, Зигенскаго великаго герцогства, въ Вестфалии). Юнгъ родился въ 1740 году въ простой семьѣ, въ которой уже давно господствовалъ такого рода мистицизмъ. Его дѣдъ съ отцовской стороны былъ угольщикъ, но былъ начитанъ и въ библии и въ народныхъ книгахъ и любилъ богословскіе споры; къ тому-жъ онъ былъ духовидцемъ; другой дѣдъ со стороны матери занимался алхиміей; дядя мечталъ о квадратурѣ круга, а отецъ, болѣзненный, робкій портной, съ ранней юности былъ знакомъ съ послѣдователями Бема и Парацельза. Такимъ образомъ Юнгъ Штиллингъ стоялъ какъ бы на распутьи между піетистами и свободными умами, которыхъ мысли проникали и въ мастерскую его отца. Но онъ рѣшительно всталъ на сторону піетизма. Движенія свободной мысли и просвѣщенія, которое наполняло Германію въ XVIII вѣкѣ, какъ бы не существовало для него, вліяніе среды и семейныхъ преданій было гораздо могущественнѣе, и Штиллингъ сдѣлался мистикомъ. Чохоточная мать Штиллинга умерла очень скоро; онъ почти не помнилъ ея, и заботы о его воспитаніи легли на отца, дѣда и бабу. Строгость отцовская пріучила мальчика ко лжи, а дѣдъ познакомилъ его съ

богословскими вопросами, такъ что пасторъ, экзаменовавшій его на девятомъ году, пораженный знакомствомъ Штиллинга съ библейскими текстами, принужденъ былъ сказать семьѣ: „Сынъ вашъ перещеголяетъ всѣхъ своихъ предковъ, продолжайте только держать его подъ розгою, и онъ будетъ великимъ человѣкомъ“. Была рѣчь и о томъ, чтобъ учить Штиллинга, но бѣдность семьи и опасенія отца и пастора, чтобъ это не было бесполезно, разрушили это намѣреніе. Пришлось ему учиться портняжному ремеслу отца, къ которому онъ не чувствовалъ никакой охоты, сознавая въ душѣ другія наклонности и стремленія и жалуясь на провидѣніе, что оно не давало возможности удовлетворить ихъ. Его беспорядочное и разнообразное чтеніе, состоявшее изъ библіи, средневѣковыхъ романовъ, Фенелона, Гомера, Оомы Кемпійскаго, сильно возбудило его воображеніе; Штиллингъ представлялъ себя героемъ чудесныхъ приключеній, а бѣдная мастерская портного наполнялась странными, фантастическими образами. Міръ внѣшній за ея предѣлами лежалъ въ неясныхъ смутныхъ очеркахъ для его представленія. Этотъ міръ былъ ему вовсе неизвѣстенъ; онъ казался ему нехристіанскимъ, языческимъ,—особенно большой свѣтъ.

Попалъ, наконецъ, Штиллингъ и въ сельскую школу, выучился латинскому языку по собственному методу, безъ грамматики, но все ученіе его, какъ и чтеніе книгъ, шло беспорядочно. На 17 году доставили Штиллингу по сосѣдству мѣсто школьнаго учителя; это былъ первый опытъ его практической дѣятельности; онъ возобновлялъ его нѣсколько разъ, но всегда безъ успѣха. То не нравилось сельской общинѣ, что онъ училъ дѣтей азбукѣ по игральнымъ картамъ, то пасторъ приходилъ въ негодованіе, что онъ посвящаетъ учениковъ въ таинства ариеметики. Нѣсколько разъ лишали его должности школьнаго учителя, и Штиллингъ принужденъ былъ возвращаться снова въ отцовскую мастерскую, пребываніе въ которой сдѣлалось ему невыносимо, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ отецъ его женился во второй разъ. Въ душѣ его затаилась глубокая печаль; ему казалось, что онъ живетъ въ чужой землѣ, оставленный всѣми. Его душевное состояніе въ ту пору, по его собственному изображенію, было чрезвычайно оригинально: когда свѣтило солнце, Штиллингъ чувствовалъ, что его страданія удваивались; переменна свѣта и тѣни осенью возбуждала въ немъ самое горькое чувство; когда же, напротивъ, была ненастная, бурная погода, ему чувствовалось лучше; ему казалось, что онъ сидитъ въ глубокой черной пещерѣ, и хорошо ему было въ сознаніи полной безопасности. Такое настроеніе духа выразилъ онъ въ пѣсняхъ своихъ, въ которыхъ находилъ полное утѣшеніе. Разъ встрѣтилъ онъ умнаго пастора, который ему дока-

залъ, что его страданія суть испытанія, ниспосланныя Богомъ, котораго онъ оскорбилъ своею гордостію и честолюбіемъ. Въ полномъ душевномъ сокрушеніи воскликнулъ тогда Юнгъ: „Ахъ! сердце мое есть самое лживое созданіе на землѣ, созданной Богомъ. Я всегда думалъ, что у меня есть искреннее желаніе служить своими познаніями Богу и высшимъ интересамъ, но въ дѣйствительности выходитъ это неправда: я хочу сдѣлаться только великимъ человѣкомъ“.

Послѣ разныхъ неудачныхъ опытовъ на родинѣ, Юнгъ весною 1761 года, когда ему исполнилось 21 годъ, пустился въ странствіе, безъ всякой опредѣленной цѣли, просто искать счастья. Одинъ богатый человѣкъ сдѣлалъ его у себя домашнимъ учителемъ дѣтей, но въ его домѣ Юнгъ чувствовалъ себя вполне несчастнымъ человѣкомъ и черезъ годъ, послѣ разныхъ колебаній и нерѣшительности, бѣжалъ изъ этого дома. Разъ, во время странствованія, Юнгъ зашелъ въ семью портного и тамъ услышалъ, какъ хозяинъ объяснялъ ученикамъ своимъ, что отъ собственной воли человѣческой зависитъ главнымъ образомъ возможность непосредственнаго дѣйствія Спасителя на душу. Глубокая радость, по разсказу Штиллинга, наполнила его душу, онъ узналъ, что находится посреди набожныхъ людей, онъ не могъ болѣе удерживаться и началъ плакать, безпрестанно восклицая: „Господи! я дома, я дома!“ Разъ на прогулкѣ посѣтила его благодать свыше. Онъ шелъ задумавшись и, нечаянно взглянувъ вверхъ, увидѣлъ легкое облако прямо надъ своею головою. Съ этимъ вмѣстѣ какая-то непонятная для него сила проникла въ его душу, ему сдѣлалось необыкновенно хорошо; онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ и едва могъ удержаться, чтобъ не упасть. Съ этой минуты Штилингъ почувствовалъ въ себѣ непобѣдимое стремленіе посвятить всю жизнь свою для прославленія Бога и для блага людей. Любовь его къ Отцу всѣхъ людей и къ божественному Искупителю, какъ и вообще ко всѣмъ людямъ, въ эту минуту была такъ велика, что онъ охотно пожертвовалъ бы своею жизнію, еслибъ то было нужно. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ощущалъ непреоборимое стремленіе — наблюдать за своими мыслями, дѣлами и словами, чтобъ они, соотвѣтствуя божественной волѣ, были пріятны и полезны. Тотчасъ же заключилъ Штилингъ твердый и неразрывный союзъ съ Богомъ и далъ обѣтъ подчиняться съ этихъ поръ единственно его руководству, не имѣть въ душѣ никакихъ пустыхъ желаній, но, если Богу будетъ угодно, чтобъ онъ на всю жизнь остался ремесленникомъ, то онъ долженъ подчиниться этому охотно и съ полною радостію.

Въ другой разъ Штилингъ очутился въ лѣсу, безъ кофѣйки въ карманѣ. „Пришелъ часъ, восклицаетъ онъ, когда великое слово Спасителя должно исполниться надо мною: „ни одинъ волосъ съ

главы вашей не упадетъ безъ воли моей“. Если это правда, то ко мнѣ должна явиться скорая помощь, ибо я до сихъ поръ на нее надѣялся и вѣрилъ этому слову. Я такое же созданіе Божіе, какъ та птичка, которая поетъ на деревьяхъ и находитъ себѣ пищу, когда въ ней нуждается“. Богъ, въ самомъ дѣлѣ, помогъ Штиллингу. Черезъ нѣсколько времени онъ поселяется у богатаго купца и этому приходитъ въ голову однажды, что настоящее призваніе Штиллинга быть врачомъ. Это открытіе поражаетъ Штиллинга какъ молнія; онъ падаетъ въ обморокъ. „Да, восклицаетъ онъ, я чувствую въ душѣ своей, что это и есть то великое дѣло, которое постоянно было скрыто для меня, которое я такъ долго искалъ и не могъ найти. Для него небесный отецъ, приготовлялъ меня тяжелыми испытаніями. Да прославится имя премилосерднаго Бога, что онъ открылъ наконецъ мнѣ волю свою; смѣло пойду я теперь впередъ по его указанію“.

Это „божеское указаніе“ подкрѣпляется еще тѣмъ обстоятельствомъ для ума Штиллинга, что какой-то чахоточный старикъ завѣщаетъ ему рецептъ противъ глазныхъ болѣзней. Другое божеское указаніе такого же рода приводитъ Штиллинга, довольно неожиданнымъ образомъ къ браку съ болѣзненною дочерью одного купца. Теперь рѣшается онъ изучать науку на тридцатомъ году жизни. Онъ не выбралъ еще мѣста, гдѣ учиться, и ждетъ для того указаній отъ небеснаго Отца; ибо, если онъ вздумалъ учиться изъ „искренней вѣры“, то уже ни въ чемъ не долженъ слушаться своей воли. О средствахъ онъ не заботится.

Штиллингъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „Богъ ничего не начинаетъ, а если начнетъ, то приводитъ къ концу какъ слѣдуетъ; истина въ томъ, что онъ устроилъ мое настоящее положеніе, безъ всякаго содѣйствія моей воли, а слѣдовательно, справедливо, что онъ доведетъ до конца мое призваніе... Тотъ, кто тотчасъ же выслушиваетъ молитву человѣческую и видимымъ образомъ и чудесно руководитъ судьбою человѣческою, долженъ быть безспорно настоящимъ Богомъ, и ученіе его есть слово Божіе. Отъ самаго дѣтства я поклонялся Иисусу Христу, какъ моему Богу и Спасителю, и молился ему; онъ слышалъ меня въ моихъ нуждахъ и чудеснымъ образомъ помогалъ мнѣ. Слѣдовательно Иисусъ Христосъ безспорно есть истинный Богъ, его ученіе есть слово Божіе и его религія — истинная.“ Издатель автобіографіи Штиллинга, знаменитый Гете, совершенно справедливо замѣчаетъ по поводу этихъ мыслей: „Я охотно предоставляю каждому устраивать его жизнь, какъ ему кажется лучше, но все доброе, что встрѣчается намъ на дорогѣ жизни посреди различныхъ приключеній, приписывать непосредственному божественному вліянію, кажется мнѣ

довольно дерзкимъ и притязательнымъ, а представленіе—всѣ тяжелыя и дурныя послѣдствія, вытекающія изъ нашего легкомыслія и заблужденія, считать за божественное воспитательное средство, никакъ не примирается съ моею мыслию“.

Съ такими убѣжденіями и съ такимъ приготовленіемъ въ 1769 году Юнгъ Штиллингъ явился въ Страсбургъ изучать медицину.

Легкомысліе, съ какимъ онъ дѣлалъ здѣсь долги въ томъ убѣжденіи, что казначеемъ у него Богъ, является весьма страннымъ въ человѣкѣ тридцати лѣтъ, въ нѣмцѣ, конечно, а не въ русскомъ. Здѣсь Штиллингъ познакомился съ Гете и Гердеромъ, которые приняли въ немъ дружеское участіе. Первый рельефно нарисовалъ его фигуру на двухъ страницахъ въ своихъ „Dichtung und Wahrheit;“ ему нравились наивные рассказы Штиллинга, и онъ побудилъ его описать свою жизнь. Въ 1772 году Штиллингъ окончилъ свой экзаменъ и поселился въ Эльберфельдѣ въ качествѣ врача. Мѣсто это не приносило доходовъ, но Штиллингъ приобрѣлъ себѣ нѣкоторую извѣстность, какъ глазной врачъ, и это дало поводъ одному богатому франкфуртскому купцу въ началѣ 1775 г. пригласить его за значительное вознагражденіе сдѣлать ему операцію. Операція эта не удалась, и Гете, у котораго онъ жилъ тогда, очень наглядно описываетъ тѣ совершенно естественныя упреки совѣсти, которые мучили Штиллинга, когда онъ понималъ, какъ легкомысленно взялся безъ всякаго приготовленія за трудное дѣло. Онъ узналъ, что пребываніе его въ Эльберфельдѣ не можетъ быть продолжительно, и Богъ снова выручилъ его изъ бѣды. Чтобъ поправить свое стѣсненное положеніе, Штиллингъ издалъ нѣсколько сочиненій по технологіи, по сельскому хозяйству и по лѣсоводству. На основаніи этихъ сочиненій въ 1778 году правительство Пфальца пригласило его въ качествѣ профессора камеральныхъ наукъ въ Кайзерслаутернъ: новую науку онъ зналъ такъ же мало, какъ и прежнюю. Здѣсь началась его литературная дѣятельность.

ЛЕКЦІЯ XLII.

Сочиненія Штиллинга.—Журналъ «Сіонскій Вѣстникъ».—Заключеніе.

Литературная дѣятельность Юнга Штиллинга, кромѣ довольно значительнаго числа руководствъ, которыя онъ составлялъ для своихъ слушателей въ качествѣ преподавателя по лѣсоводству, сельскому хозяйству, фабричному дѣлу, наукъ о торговлѣ, ветеринарному искусству, полицейскому праву, камеральнымъ наукамъ, а также множества статей по вопросамъ экономическимъ и статистическимъ, находилась въ довольно близкомъ отношеніи къ духовнымъ волне-

ніямъ въ Германіи, которыя онъ самъ пережилъ. Какъ специалистъ по камеральнымъ наукамъ, Штиллингъ не получилъ никакой извѣстности. То, о чемъ писалъ онъ, узналъ онъ самоучкою и случайно. Другія его сочиненія, которыя находились въ близкомъ отношеніи къ тому, что онъ пережилъ внутри себя, нашли ему много поклонниковъ, особенно тѣ, которыя были имъ писаны впослѣдствіи, когда онъ сталъ самоувѣреннѣе въ своихъ убѣжденіяхъ; почти всѣ они были переведены у насъ Лабзинымъ и кружкомъ его поклонниковъ и печатались каждое по нѣскольку разъ.

Штиллингъ, несмотря на свою добродушную натуру, началъ полемику. Къ такого рода литературной дѣятельности побудили его извѣстные піетисты прошлаго вѣка—братья Якоби, и онъ выступилъ защитникомъ піетизма противъ очень извѣстнаго тогда раціоналиста въ Берлинѣ, Николаи, котораго вся литературная дѣятельность посвящена была борьбѣ съ піетизмомъ. Въ этой полемикѣ противъ Николаи Штиллингъ борется съ невѣріемъ и раціонализмомъ не логикою, не разумными доводами, а ссылается на чудесныя событія своей жизни, на то, что Іисусъ Христосъ видимо слышалъ его вздохи. Это было для него важнѣе всевозможныхъ доказательствъ; живая вѣра присутствовала въ его сердцѣ и онъ утверждалъ, что христіанство основывается только на историческихъ фактахъ и на собственномъ душевномъ опытѣ, а потому изъ всѣхъ доказательствъ не выйдетъ ничего, кромѣ язычески-морально-философскаго христіанства, которое будетъ нисколько не лучше религіи Магомета, Конфуція и т. п. Это, конечно, удовлетворяло вполне нашихъ мистиковъ.

Штиллингъ не допускалъ голоса разума въ предметахъ вѣры, и вся полемика его противъ современнаго раціонализма служить тому доказательствомъ: она выразилась во многихъ статьяхъ и въ особенностяхъ въ извѣстной „Великой панацеей противъ болѣзни невѣрія“ (1776). Штиллингъ писалъ очень легко и много; сочиненія его съ этимъ содержаніемъ, которое онъ сталъ считать теперь призваніемъ своей жизни, быстро слѣдовали одно за другимъ. Формою для своихъ произведеній онъ выбралъ теперь романъ. Основою этихъ романовъ всегда былъ нравственно-религіозный интересъ; въ нихъ является онъ ожесточеннымъ противникомъ философскаго атеизма, хотя самъ онъ, страннымъ образомъ, послѣ изданія своей автобіографіи былъ подозрѣваемъ жителями Эльберфельда въ свободомысліи. Для оправданія себя въ такомъ обвиненіи онъ напечаталъ „Исторію господина Моргентау“ (1779), романъ, въ которомъ онъ упрекаетъ и піетистовъ за ихъ удаленіе отъ міра и за недостатокъ общественнаго смысла. За нимъ слѣдовалъ „Флорентинъ фонъ Фаллендорфъ“ (1781—1783),—сочиненіе, во многомъ напоминающее его жизнеописаніе, которое онъ

вообще любилъ повторять, но, по выраженію Гервинуса, тутъ была только капля его прежней наивности, разведенная уже въ ведрѣ воды; тенденціозность становится на первомъ планѣ. Также точно изъ жизненнаго своего опыта Штиллингъ взялъ содержаніе для своего новаго, болѣе другихъ замѣчательнаго романа: „Оеобальдъ или мечтатели, истинная повѣсть“ (1784—1785) съ эпиграфомъ: „По срединѣ дороги идти всего безопаснѣе“ (русскій переводъ О. Лубяновскаго, 4 ч. М. 1819. 8^о). Цѣль этого сочиненія, по словамъ Штиллинга, заключается въ томъ, чтобъ „показать соотечественникамъ моимъ, что путь къ временному и истинному благополучію проходить посрединѣ между невѣріемъ и мечтаніемъ“. Разсматривая произведеніе это съ художественной стороны, мы не найдемъ въ немъ ничего, кромѣ безсвязнаго матеріала, взятаго изъ жизненнаго опыта самого автора; онъ не далъ ему почти вовсе обработки. Ему казалось, что и не стоитъ труда обрабатывать содержаніе, интересное само по себѣ. Все содержаніе „Оеобальда“ направлено, казалось, противъ злоупотребленій піэтизма, а между тѣмъ Штиллингъ защищаетъ здѣсь піэтизмъ, какъ поэзію жизни. „Вѣрить въ библію, со всѣмъ чудеснымъ ея содержаніемъ, говоритъ по поводу этого романа Гервинусъ, есть уже требованіе не критической, совершенно неспособной къ сравнительному мышленію головы, и такую бесполезную жизнь, какъ жизнь піэтиста — называть хорошею, — свидѣтельствуетъ объ умѣ, который недалеко ушелъ въ политической экономіи“. „Затѣмъ, спрашиваетъ Юнгъ, вы считаете великимъ гениемъ того человѣка, котораго душа постоянно носится въ царствѣ фантазіи и выводитъ оттуда поэтическія созданія? Его вы не порицаете; напротивъ, если богатая фантазіей голова считаетъ религію за предметъ, достойный себя, и имѣетъ о ней *романическія* представленія—вы осуждаете такого человѣка“. Едва ли, однако, можно согласиться съ Штиллингомъ, даже примиряясь съ поэтическою стороною піэтизма, что въ представленіи, напр., близкаго Страшнаго Суда заключается какое-то сладкое чувство.

Въ Кайзерслаутернѣ, гдѣ Штиллингъ никакъ не могъ освободиться отъ долговъ, онъ потерялъ первую свою жену, постоянно больную, но нѣжно имъ любимую. Не прошло, однако, года послѣ ея смерти, какъ онъ женился на другой; впослѣдствіи Штиллингъ былъ женатъ и въ третій разъ. Въ 1787 году рескриптомъ Гессенскаго ландграфа Штиллингъ былъ переведенъ профессоромъ экономіи, финансовъ и камеральныхъ наукъ въ Марбургскій университетъ. Здѣсь сталъ онъ получать жалованье въ 1200 тал. и съ помощью второй жены своей успѣлъ выпутаться изъ долговъ и привести дѣла свои въ порядокъ. Въ Марбургѣ Штиллингъ былъ почти исключительно занятъ препода-

ваніемъ и читаль много лекцій. Здѣсь посѣтилъ его старшій отецъ, попрежнему портной, который теперь съ уваженіемъ смотрѣлъ на своего ученаго сына, сдѣлавшагося между тѣмъ уже гофратомъ. Въ это же время Штиллингъ познакомился съ „Критикою чистаго разума“. Философія для нѣмцевъ въ то время была второю религіею; каждый изъ нихъ подчинялся какой-нибудь системѣ, которая навсегда опредѣляла не только образъ мыслей его, но даже и образъ жизни. Философія Канта освободила Штиллинга отъ оковъ детерминизма, господствовавшаго въ Лейбнице-Вольфіанской системѣ. Въ ученіи Канта, что человѣческій разумъ за предѣлами чувственнаго міра ничего не знаетъ и что въ сужденіяхъ о предметахъ сверхъ чувственныхъ онъ всегда впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, онъ думалъ видѣть комментарій къ словамъ Ап. Павла: „Душевный человекъ не понимаетъ яже суть духа Божія“ и пр. Но другія сочиненія Канта: „Критика практическаго разума“ и „Религія въ предѣлахъ разума“ не удовлетворили, однако, Штиллинга, потому что Кантъ „источника сверхъ чувственныхъ истинъ искалъ не въ Евангеліи, а въ моральномъ чувствѣ“. Штиллингъ даже переписывался съ Кантомъ по поводу христіанства.

Между тѣмъ съ Штиллингомъ произошелъ новый, по его словамъ, важнѣйшій и послѣдній нравственный переворотъ, который далъ ему новое направленіе и приготовилъ къ истинному его назначенію. Этотъ нравственный переворотъ въ немъ произвели политическія событія времени, волненія французской революціи, которыя онъ близко могъ наблюдать, живя на границѣ Франціи. Эти великія событія, по нашему мнѣнію, скорѣе сбили съ толку его мысль, и безъ того болѣзненно направленную. По его словамъ, онъ давно уже замѣчалъ существованіе какого-то тайнаго союза, цѣлью котораго было ниспровергнуть откровенную религію и монархическое правленіе. Когда началась революція, онъ сталъ сравнивать событія настоящаго времени съ библейскими пророчествами; его мысль постепенно стала наполняться апокалиптическими образами и онъ издалека предчувствовалъ приготовленіе царства „человѣка беззаконія“. Съ этихъ поръ задачею литературной дѣятельности Штиллинга сдѣлалась борьба съ этою разразившеюся грозой. Явилось нѣсколько сочиненій его въ этомъ направленіи; сочиненій, которыя одинъ историкъ нѣмецкой литературы справедливо называлъ „Verdummungsschriften“, свидѣтельствующихъ о крайней болѣзненности мысли Штиллинга и наполненныхъ туманомъ мистицизма. Сочиненія эти очень помогли послѣдующей реакціи; они имѣли чрезвычайный успѣхъ, и къ Штиллингу за нихъ со всѣхъ сторонъ, отъ престола до сохи, шли письма, выражавшія искреннюю за нихъ благодарность. Замѣча-

тельно, что эти именно сочиненія и удостоились перевода со стороны Лабзина.

Первое изъ этихъ произведеній было „Heimweh—Тоска по отчизнѣ“, съ ключемъ къ нему (1794—1796). Русскій переводъ этого сочиненія сдѣланъ былъ въ 1807 году Ѳ. П. Лубяновскимъ, и первыя двѣ части уже были напечатаны. Но въ то время мистицизмъ и Штиллингъ не были еще у насъ въ модѣ, за переводы подобныхъ сочиненій не давались ордена и, по воспоминаніямъ переводчика¹⁾, министръ, графъ Кочубей, у котораго онъ служилъ, нѣсколько разъ не былъ принятъ государемъ съ докладомъ по поводу этого перевода. Александръ говорилъ, что за эту книгу переводчику мѣсто въ Якутскѣ, и все напечатанное въ типографіи было истреблено. Впослѣдствіи переводъ Лубяновскаго былъ напечатанъ весь (5 ч., М., 1818).

Это сочиненіе Штиллинга по своему содержанію носитъ на себѣ слѣды вліянія тайныхъ обществъ масоновъ, иллюминатовъ, розенкрейцеровъ и пр., которыми была полна Германія во второй половинѣ XVIII вѣка, и организація которыхъ интересовала многихъ. Въ ней видѣли что-то поэтическое и чудесное. Множество современныхъ литературныхъ произведеній, особенно романовъ, имѣютъ въ основѣ своей подобныя таинственныя братства. Такъ и въ „Тоскѣ по отчизнѣ“ являются таинственные рыцари, составляющіе братство. Каждый изъ рыцарей совершаетъ путь покаянія, обращенія и освященія истиннаго христіанина. Все это заканчивается въ храмѣ Іерусалимскомъ, при чемъ рыцари подвергаются различнымъ испытаніямъ. Штиллингъ говоритъ, что на сочиненіе этого романа имѣли большое вліяніе, во первыхъ, „Жизнь Тристрама Шанди“—извѣстное сатирическое произведеніе Стерна и сочиненіе англійскаго піэтиста XVII вѣка Буньяна „Путешествіе христіанина къ вѣчности“. Приключенія этихъ христіанскихъ рыцарей, тоскующихъ по отчизнѣ, такъ однородны, что естественно думать, что и здѣсь въ основу разсказа положена собственная жизнь автора, но все это закрыто такимъ густымъ аллегорическимъ покровомъ, что чтеніе этого романа утомляетъ до крайности. Аллегорія такъ подробна, такъ мелочна, что Штиллингъ нашелъ даже необходимымъ написать къ ней объяснительный ключъ, но до того запутался, что самъ не понималъ уже себя.

„Тоска по отчизнѣ“ написана противъ современнаго просвѣщенія и пробужденнаго тогда духа свободы. Штиллингъ выставляетъ себя въ ней какимъ-то пророкомъ и борцемъ за христіанство. „Духъ ложнаго просвѣщенія, какъ въ Апокалипсисѣ лже-пророкъ, говоритъ онъ, служитель звѣря, началъ собирать воинство подъ знамена его

¹⁾ Русск. Арх. 1872 г., стр. 489—490.

чудовища“. „Чувства мои и чувства всѣхъ истинныхъ христіанъ въ дни наши весьма схожи съ естественною тоскою по родинѣ: желалось бы тотчасъ идти въ путь и возвратиться во-свояси. И поистинѣ! тяжело становится жить въ землѣ чуждой, гдѣ общая склонность, общій долгъ есть терпимость ко всему и ко всѣмъ, но только не къ христіанамъ; гдѣ каждый можетъ громко поносить Христа, но никто уже не смѣетъ явно исповѣдывать его передъ людьми, гдѣ проповѣдуются вольность, равенство, братство, и одни только христіане исключаются изъ числа братій“ ¹⁾). Какъ съ невѣріемъ времени, такъ очень легко раздѣлался здѣсь Штиллингъ и съ Кантовой философій: онъ представилъ ее въ видѣ подземнаго лабиринта: „Кто не возьметъ туда съ собою масла посвященныхъ и свѣта не будетъ сохранять бережно—тотъ погибнетъ“.—„Тоска по отчизнѣ“ имѣла чрезвычайный успѣхъ и была переведена на всѣ европейскіе языки. По его словамъ, даже ученые невѣрующіе были обращены ею въ христіанство. Штиллингъ сталъ выставлять себя защитникомъ христіанства посреди господствующаго невѣрія, и сочиненія его въ этомъ направленіи слѣдовали одно за другимъ. Не упоминая о всѣхъ его сочиненіяхъ, изъ которыхъ многія и не были переведены по-русски, мы укажемъ на „Побѣдную повѣсть христіанской религіи“ (1799), которая появилась въ русскомъ переводѣ и считалась у насъ самымъ важнымъ сочиненіемъ Штиллинга. „Побѣдная повѣсть“ представляетъ апокалиптическіе взгляды на революцію, которые развились тогда въ мистически настроенныхъ умахъ. Многіе, какъ у насъ Державинъ, примѣняли мечтанія Апокалипсиса къ современности; многіе думали, что „звѣрь изъ бездны“ уже вышелъ и „человѣкъ грѣха“ уже явился, считали французскую трехцвѣтную кокарду за „знаменіе звѣря“ и т. п. Въ особенности большую извѣстность и распространеніе въ обществѣ пріобрѣли его „Сцены изъ царства духовъ“ (1797—1801) и его „Теорія познанія духовъ“ (1808). Первое изъ этихъ произведеній переведено было Лабзинымъ, подъ названіемъ „Приключенія по смерти“ (Спб. 1805, 3 ч.). „Русскій издатель перемѣнилъ сей титулъ по обстоятельствамъ того времени, говоритъ Лабзинъ въ 1817 году, неблагопріятствовавшаго духамъ и духовному, и дававшаго всему такому удивительно страннымъ толки, до того странные, что, напримѣръ, одна весьма значущая особа не постыдилась и не посовѣстилась сдѣлать представленіе противъ „Угроза“ ²⁾, чтобы взять на замѣчаніе и книгу сію и издателя оной, у котораго есть-де какіе-то злые умыслы, ибо де самое названіе „Угрозъ“ показываетъ, что онъ страшать хо-

¹⁾ Ч. V, стр. XVI—XVII.

²⁾ Угрозы—одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“.

четъ" ¹⁾. „Приключенія по смерти“ написаны тоже противъ господствующаго невѣрія, съ полною вѣрою въ загробную жизнь, которую Штиллингъ изображаетъ сообразно своей собственной фантазіи. Главная мысль сочиненія заключается въ томъ, чтобъ доказать необходимость для гражданскаго общества ученія о наградахъ и наказаніяхъ по смерти и опровергнуть свободную мысль, что быть добродѣтельнымъ должно не изъ страха наказаній и не въ надеждѣ наградъ. Приключенія, придуманныя Штиллингомъ, не имѣютъ поэтическаго достоинства; но онъ убѣжденъ, что они не противорѣчатъ ни разуму, ни Св. Писанію, хотя въ сущности они противорѣчатъ и тому и другому. Штиллингъ говоритъ, что душа по выходѣ изъ тѣла, до дня воскресенія, носится надъ своимъ тѣломъ, какъ бы привлекаемая магнитомъ, а если тѣло раздроблено на части, то надъ зародышемъ или сѣменемъ будущаго тѣла, и носится до тѣхъ поръ, пока при воскресеніи не соединится съ новымъ тѣломъ — къ вѣчной жизни или къ вѣчной смерти. Штиллингъ совершенно убѣжденъ въ этомъ; онъ говоритъ, что у него есть на то даже чувственные доказательства. На книгу свою онъ смотритъ какъ на нравственную поэму, которая ничего не можетъ принести людямъ кромѣ добра и пользы. Въ „Теоріи познанія о духовъ“, для которой со всѣхъ сторонъ Штиллингъ собиралъ рассказы о чудесахъ и видѣніяхъ, онъ является непреложно убѣжденнымъ. Онъ снова возвращается къ той „вѣрѣ угольщика“, къ тому народному суевѣрію, которое окружало его дѣтство. Творческой фантазіи, какъ у Парацельза, нѣтъ у Штиллинга, но за то сочиненіе полно какою-то досадою и духомъ оппозиціи противъ философіи и просвѣщенія времени, которыхъ онъ не былъ въ состояніи понять.

Революціонныя войны отозвались на границахъ Германіи большими бѣдствіями и опустошеніями. Разоренье народа, которымъ сопровождалось нашествіе французовъ, возбуждало къ нимъ сильную ненависть; идеи, проповѣдуемыя революціей, въ виду дѣйствительныхъ несчастій, производимыхъ ею, скоро потеряли для многихъ свое обаяніе. Этимъ обстоятельствомъ можно объяснить чрезвычайный успѣхъ періодическаго изданія Штиллинга, писаннаго имъ для народа и посвященнаго имъ борьбѣ съ началами французской революціи и съ духомъ времени. Сочиненіе это носило названіе „Der graue Mann“ — сѣрый человѣкъ, сѣрокафтанникъ (1795—1815). Въ русскомъ переводѣ (1806—1815), который имѣлъ и второе изданіе (Спб. 1815. 12°), сочиненію этому дано было переводчикомъ его Лабзиннымъ названіе „Угрозы Свѣтовостоковъ“. „Der graue Mann“, т. е.

¹⁾ Жизнь Штиллинга, II, стр. 245—246.

сѣрый, суровый и грозный человѣкъ есть одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тоскѣ по отчизнѣ“. Это, конечно, аллегорія. Страшное и благотворное, оно наводитъ ужасъ, но помогаетъ странствующимъ въ отчизну достигать ее. Вѣроятно въ немъ Штиллингъ желалъ олицетворить совѣсть. Все сочиненіе идетъ какъ бы отъ его лица. Русское названіе, данное этому лицу, Лабзинъ объясняетъ такимъ образомъ: Угрозы—по главному его качеству, а Свѣтовостоковъ—по его происхожденію. Мы не знаемъ изъ словъ Штиллинга, какой успѣхъ имѣло это популярное изданіе въ народѣ, для котораго собственно оно писалось, но что оно понравилось различнымъ владѣтельнымъ особамъ Германіи и знатымъ лицамъ, которыя желали бы держать народъ въ рукахъ посредствомъ мыслей, проповѣдуемыхъ Штиллингомъ,—это вѣрно. И у насъ эта книга имѣла чрезвычайный успѣхъ. Говорятъ, что Лабзинъ доходы отъ нея назначалъ на благотворительныя цѣли ¹⁾. Весьма вѣроятно, что нападенія на революцію и французовъ здѣсь совпадали съ патріотическимъ настроеніемъ общества и способствовали успѣху изданія. У Штиллинга не было этого патріотическаго настроенія, его занимали болѣе общіе вопросы, но во всякомъ случаѣ книга эта весьма замѣчательна, какъ выраженіе духа того времени. Она имѣла большое вліяніе на духовные вопросы, на содержаніе духовныхъ стремленій реакціонныхъ годовъ и удовлетворяла той страсти ко всему таинственному и мистическому, которая наполняла душу современниковъ, потрясенную великими тогдашними событіями. Образы и выраженія Апokalипсиса играли въ ней главную роль, какъ и въ „Побѣдной повѣсти христіанства“.

Но между тѣмъ въ Марбургѣ Штиллингу становилось трудно жить. Студенты университета, которые шли за временемъ, проникнутые современнымъ скептицизмомъ и либерализмомъ, перестали уважать своего профессора, по мѣрѣ того, какъ въ его сочиненіяхъ высказывалась упорная борьба со временемъ и его надеждами. На него нашло раздумье, и онъ наконецъ отказался отъ профессорства и въ 1803 году переселился на службу къ новому покровителю своему, тогдашнему курфюрсту, а потомъ великому герцогу Баденскому въ Гейдельбергъ. Ему дано было здѣсь приличное содержаніе, какъ главному оператору, но Штиллингъ обязанъ былъ только продолжать свое дѣло—т.-е. начатую борьбу съ духомъ вѣка. Великій герцогъ въ 1806 году взялъ съ собою Штиллинга въ Карлсруэ; онъ долженъ былъ жить въ его дворцѣ и обѣдать съ нимъ. Какъ поборникъ престоловъ и алтарей, онъ сдѣлался теперь важною личностію и въ своихъ запискахъ тщеславится постепеннымъ увеличеніемъ числа своихъ

¹⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 827.

знакомыхъ въ знатныхъ кругахъ. До глубокой старости Штиллингъ пользовался завиднымъ здоровьемъ, продолжалъ издавать своего „Угроза Свѣтовостокова“ и велъ обширную корреспонденцію съ многочисленными поклонниками своими въ различныхъ частяхъ свѣта. Великій герцогъ баденскій, полюбившій Штиллинга и пріютившій его въ своемъ дворцѣ, былъ дѣдомъ тогдашней нашей императрицы Елисаветы Алексѣевны. Когда императоръ Александръ посѣтилъ въ Карлсруэ герцога, то онъ чрезвычайно благосклонно обращался съ Штиллингомъ и потомъ посылалъ ему значительные подарки. Съ этихъ поръ снято было запрещеніе съ его сочиненій, и они вошли у насъ въ моду. Больше и больше принималъ на себя Штиллингъ пророческій тонъ и употреблялъ въ своихъ сочиненіяхъ апокалиптическія выраженія, особенно въ томъ, что писалось имъ противъ революціоннаго духа. Онъ умеръ въ 1817 году въ полномъ убѣжденіи, что въ позднѣйшіе годы его жизни въ немъ воплотился Христосъ. Но намъ въ оригинальномъ жизненномъ поприщѣ Штиллинга гораздо привлекательнѣе личность его, когда онъ является передъ нами легкомысленнымъ и добродушнымъ подмастерьемъ портного и школьнымъ учителемъ, чѣмъ въ образѣ полного умиленія и святости придворнаго тайнаго совѣтника, офіціального пророка и любимца государей.

Такова была личность этого человѣка, который выставился у насъ за какого-то просвѣтленнаго пророка и учителя христіанскаго, и таковы были сочиненія этого новаго апостола, появившіяся у насъ въ переводахъ, выдерживавшихъ по нѣскольку изданій и распространявшихся въ обществѣ всѣми возможными средствами. Всякій легко можетъ составить себѣ сужденіе, здоровая ли это была пища, такъ усердно заимствуемая изъ больной среды нѣмецкаго мистицизма и піэтизма, которую обогналъ духъ времени, и годилась ли она для русскаго общества, только что сдѣлавшаго первые робкіе шаги на пути реформъ? Мы нарочно нѣсколько подробно остановились на Юнгѣ Штиллингѣ, чтобъ не ограничиваться одними именами и общими фразами, а познакомиться съ самою сущностью предмета, мало знакомаго вообще и теперь почти забытаго, а между тѣмъ этотъ кругъ идей и эти сочиненія, съ тѣхъ поръ какъ они получили у насъ офіціальное одобреніе, вошли въ духовную исторію нашего общества. Мы не будемъ говорить о многочисленныхъ переводахъ сочиненій Эккартсгаузена, который раздѣлялъ вмѣстѣ съ Штиллингомъ почетъ и уваженіе нашихъ мистиковъ, потому что и они имѣли такое же общее содержаніе, какъ и сочиненія Штиллинга. Названія множества его странныхъ сочиненій не прибавятъ ничего къ уразумѣнію нашего мистицизма. Притомъ вообще о нихъ можно сказать, что по тяжелому

изложенію своему они не пользовались такою распространенностью и популярностью, какъ сочиненія Штиллинга, хотя Лабзинъ и отдаеть имъ преимущество за глубину мыслей.

Сравнительно съ богатствомъ у насъ переводной мистической литературы въ первую половину царствованія Александра, оригинальная дѣятельность нашихъ мистиковъ была, конечно, весьма незначительна. Единственнымъ почти или, по крайней мѣрѣ, самымъ виднымъ въ ряду этихъ явленій былъ журналъ Лабзина „Сіонскій вѣстникъ“, издававшійся имъ въ 1806 году; его появилось тогда только девять книжекъ. Но и въ немъ, главнымъ образомъ, вниманіе обращалось на западные духовныя явленія, потому что въ русскомъ обществѣ этихъ духовныхъ стремленій не оказывалось, помѣщались переводы нѣмецкихъ мистическихъ статей, а изъ оригинальныхъ вошли незначительные отрывки изъ сочиненій Рѣпина, Лопухина, Сковороды и самого Лабзина. Журналъ желалъ удовлетворить своимъ содержаніемъ религіозной потребности самого издателя, который говоритъ, что у насъ не было еще подобнаго христіанскаго изданія; но едва ли онъ находилъ большое распространеніе въ русскомъ обществѣ: читали его и были имъ довольны преимущественно лица духовныя. Митрополитъ Евгеній въ частномъ письмѣ къ кому-то, нападая на догматическіе промахи издателя, несоотвѣтствующіе православію, очень, однако, хвалить „Сіонскій Вѣстникъ“: „Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи, и это уже великое благодѣяніе человѣчеству“¹⁾. Кажется, это преувеличено. Въ нѣсколько мѣсяцевъ не могъ оказать вліянія журналъ, имѣвшій главной задачей борьбу съ философіей міра сего и по направленію совсѣмъ не соотвѣтствовавшій духу времени. Притомъ „Сіонскій Вѣстникъ“ былъ вскорѣ запрещенъ тѣмъ самымъ оберъ-прокуроромъ Синода, который впослѣдствіи, когда мистицизмъ сдѣлался у насъ правительственнымъ орудіемъ борьбы съ либерализмомъ, стоялъ во главѣ самыхъ дивныхъ религіозныхъ стремленій — кн. А. Н. Голицынымъ. Тогда и „Сіонскій Вѣстникъ“ возродился къ жизни и не съ тою уже робостію и запуганностью мысли, какая отличала его въ первый годъ изданія. Объ этомъ самоувѣренномъ мистицизмѣ другого времени мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, а теперь мы оканчиваемъ изложеніе этого явленія въ первые годы царствованія Александра.

Россіи пришлось въ 1812 году выдержать много тяжелыхъ испытаній, изъ которыхъ она возродилась къ новой жизни и дѣятельности.

¹⁾ Москвитанинъ 1848 г., № 8.

Величайшимъ плодомъ этихъ испытаній народныхъ было измѣненіе отношеній между двумя факторами развитія, изъ которыхъ слагалась наша умственная и гражданская жизнь, отношеній между властію и обществомъ. До сихъ поръ правительство шло впереди развитія, тянуло общество, какъ бы на буксирѣ; теперь само общество, потрясенное великими событіями своей исторіи, пробудилось къ жизни болѣе сознательной, стало въ болѣе близкія отношенія къ западному развитію и заимствовало изъ него болѣе свѣжее содержаніе, а правительство заподозрило это движеніе, стало сдерживать его, противодѣйствовать ему. Глухая борьба этихъ двухъ началъ происходитъ во всю вторую половину царствованія Александра.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

X ЛЕКЦІЯ I. Значеніе литературы въ обществѣ. — Отношеніе ея къ жизни. — Зависимое положеніе нашей литературы. — Причина непрочности литературной славы нашихъ писателей. — Взгляды славянофиловъ . . .	3
ЛЕКЦІЯ II. Вступленіе на престолъ Александра I. — Отношеніе къ нему общества. — Воспитаніе Александра. — Замѣтки Протасова. — Лагариъ. Его юность.	9
ЛЕКЦІЯ III. Прибытіе Лагарпа въ Россію. — Дальнѣйшая судьба его — Уроки Лагарпа. — Вліяніе ихъ на Александра. — Воспоминанія Адама Чарторыскаго. — Столкновеніе Александра съ жизнью	18
ЛЕКЦІЯ IV. Двойственность характера Александра. — Борьба принциповъ на Западѣ. — Отраженіе этой борьбы въ Россіи. — Направленіе нашего общественнаго движенія. — Приближенные Александра	25
ЛЕКЦІЯ V. Роль императора Александра I въ „комитетѣ“. — Планъ организаціи народнаго образованія. — Учрежденіе Министерства Народнаго Просвѣщенія и Главнаго Правленія Училищъ. — Первый по времени министръ Народнаго Просвѣщенія графъ П. В. Завадовскій и его сотрудники	32
ЛЕКЦІЯ VI. Заботы Главнаго Правленія Училищъ о развитіи просвѣщенія въ Россіи. — Уставы Университетовъ 1804 г. — Студенты и русскіе профессора въ Университетахъ Московскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ	41
ЛЕКЦІЯ VII. Недостатокъ въ профессорахъ. — Профессора иностранцы и ихъ просвѣтительное вліяніе. — Значеніе нѣмецкой философіи въ то время. — Отношеніе русскихъ университетовъ начала XIX в. къ обществу и народному образованію. — Характеристика профессорской среды.	49
X ЛЕКЦІЯ VIII. Цензура и ея значеніе въ русской литературѣ. — Пушкинъ о цензурѣ Александровскаго времени. — Цензура при Екатеринѣ II и отзывъ о ней Радищева.	57
ЛЕКЦІЯ IX. Проектъ Баккаревича. — С.-Петербургскій журналъ. — Начало литературной дѣятельности Карамзина	65
ЛЕКЦІЯ X. Вѣстникъ Европы	74
ЛЕКЦІЯ XI. Пнинъ. — „Петербургскій Журналъ“. — „Вольное Общество любителей словесности, наукъ и художествъ“. — „Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи“	82
ЛЕКЦІЯ XII. Цензурное дѣло Пнина. — Смерть Пнина. — С.-Петербургскій журналъ. — Мартыновъ. — Сѣверный Вѣстникъ	91

ЛЕКЦІЯ XIII. Журналы: „Лицей“, „Журналъ Россійской Словесности“, „Журналъ для пользы и удовольствія“. — Макаровъ и его журналъ	100
ЛЕКЦІЯ XIV. Безплодность сентиментальнаго направленія. — Князь Шаликовъ. — В. В. Измайловъ. — Его педагогическія идеи. — Журналъ „Патріотъ“.	110
ЛЕКЦІЯ XV. Споръ о старомъ и новомъ слоgъ. — Принципіальное значеніе этого спора. — П. И. Голенищевъ-Бутузовъ. — Его доносъ на Карамзина. — Шишковъ	119
ЛЕКЦІЯ XVI. Взгляды Шишкова на русскій языкъ. — Полемика противъ Шишкова. — П. И. Макаровъ. — Каченовскій	128
ЛЕКЦІИ XVII и XVIII. Отвѣтъ Шишкова на критики. — И. И. Дмитриевъ. — Его литературная дѣятельность	137
ЛЕКЦІЯ XIX. Державинъ. — Его отношенія къ царствованію Александра	155
X ЛЕКЦІЯ XX. Отношеніе общественнаго мнѣнія къ западно-европейскимъ событіямъ. — Первая война съ Наполеономъ. — Аустерлицкое пораженіе. — Разгромъ Пруссіи и Тильзитскій миръ	165
ЛЕКЦІЯ XXI. Впечатленіе отъ Тильзитскаго мира. — Удаленіе Чарторыскаго, Новосильцева и Кочубея. — Аракчеевъ. — Сперанскій. — Патріотическая литература. — „Геній времени“. — О. В. Растопчинъ. — Его дѣтство. — Служба.	174
ЛЕКЦІЯ XXII. Растопчинъ при Павлѣ. — Отставка Растопчина. — Занятія сельскимъ хозяйствомъ. — Брошюра „Плугъ и соха“. — „Мысли вслухъ“	182
X ЛЕКЦІЯ XXIII. Вліяніе Растопчина на литературу. — Повѣсть „Охъ, французы“. — Комедія „Вѣсти или убитой живой“. — Отношеніе Растопчина къ Сперанскому.	192
ЛЕКЦІЯ XXIV. С. Н. Глинка. — Его дѣтство, пребываніе въ корпусѣ и служба. — Первые произведенія Глинки. — Перемѣна въ убѣжденіяхъ Глинки. — Программа „Русскаго Вѣстника“	201
ЛЕКЦІЯ XXV. Сотрудники Глинки: Растопчинъ, княгиня Дашкова. — Отношеніе публики и правительства къ „Русскому Вѣстнику“. — Содержаніе журнала. — Отношеніе къ нему журналистики. — Эпиграммы на Глинку	210
ЛЕКЦІЯ XXVI. Новыя нападки Шишкова на современную литературу. — Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа. — Д. В. Дашковъ и его критика на сочиненія Шишкова. — Отвѣтъ Шишкова	220
ЛЕКЦІЯ XXVII. Книга Дашкова „О легчайшемъ способѣ возражать на критики“. — „Разговоры о словесности“ Шишкова. — Критика Каченовскаго на первый разговоръ. — „Бесѣда“	229
ЛЕКЦІИ XXVIII и XXIX. Крыловъ. — Комедіи его „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. — Озеровъ и его трагедіи „Ярополъ и Олегъ“, „Эдипъ въ Афинахъ“, „Фингалъ“	239
ЛЕКЦІЯ XXX. „Димитрій Донской“. — Служебныя непріятности Озерова. — Намѣреніе писать трагедію изъ русской исторіи. — „Поликсена“. — Неуспѣхъ пьесы. — Его причины. — Кн. А. А. Шаховской	258
ЛЕКЦІЯ XXXI. Интриги Шаховскаго противъ Озерова. — Сумасшествіе Озерова. — Отзывъ Сперанскаго объ Озеровѣ. — Трагедіи Брюковскаго. — Записка Карамзина „о древней и новой Россіи“	267

ЛЕКЦІИ XXXII, XXXIII и XXXIV. Содержаніе „Записки“. Ка- рамзина	277
ЛЕКЦІЯ XXXV. Масонство и мистицизмъ.—Новиковъ	303
ЛЕКЦІЯ XXXVI. Мистическая литература при Александрѣ I.— Судьба старыхъ масоновъ.—Лопухинъ.—Его „Разсужденіе о злоупотре- бленіи разума“.—Записки Лопухина.—Защита духоборцевъ	312
ЛЕКЦІЯ XXXVII. Лопухинъ въ царствованіе Павла и Александра.— Эккартсгаузенъ	321
ЛЕКЦІЯ XXXVIII. Соч. Лопухина „Нѣкоторыя черты о внутрен- ней церкви“. — Драма „Торжество правосудія и добродѣтели“. — „Отрывки“	331
ЛЕКЦІИ XXXIX и XL. Ковальковъ.—Невзоровъ.—Лабзинъ	340
ЛЕКЦІЯ XLI. Литературная дѣятельность Лабзина.—Юнгъ Штил- лингъ	359
ЛЕКЦІЯ XLII. Сочиненія Штилинга. — Журналъ „Сіонскій Вѣст- никъ“.—Заключеніе	368



